Павел Лукницкий. Путешествия по Памиру

© Copyright Павел Николаевич Лукницкий
Email: SLuknitsky(a)freemail.ru
Date: 25 Jan 2008

"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"

Автор выражает свою признательность геологам Н. С. Катковой и А. Ф. Соседко, прочитавшим эту книгу в рукописи и сделавшим ценные замечания.

Автор также глубоко благодарен пограничникам, неизменно оказывавшим ему самое внимательное и заботливое содействие во всех его путешествиях по Памиру.

ОТ АВТОРА

Сравнительно недавно требовался месяц пути верхом, чтобы от последней станции железной дороги, из города Оша (Киргизской ССР) или из столицы-Таджикистана Сталинабада (в прошлом Дюшамбе) пробраться каменными нагорными пустынями с севера либо узкими, опасными тропами с запада в административный центр Горно-Бадахшанской автономной области -- маленький, единственный на Памире город -- Хорог.

Горно-Бадахшанская автономная область -- официальное название Памира, страны высочайших в Советском Союзе гор. Область входит в состав Таджикской ССР, занимает половину ее территории площадью в шестьдесят с лишним тысяч квадратных километров.

Животноводы киргизы, в недавнем прошлом кочевые, а в наши дни живущие оседло в колхозах, населяют высокогорные, широкие, образованные когда-то ледниками долины Восточного Памира -- Мургабского района Горно-Бадахшанской области.

Горные таджики -- бадахшанцы занимаются земледелием, садоводством и шелководством в своих селениях, расположенных по берегам бурных рек на дне глубоких тесных ущелий Западного Памира.

Эти таджики -- представители мелких, разъединенных высочайшими, крутыми горными хребтами национальностей Горного Бадахшана: шугнанцы, ваханцы, ишкашимцы, горанцы, рушанцы, бартангцы, язгулемцы, ванчцы. Они населяют пять административных районов области: Ишкашимсмий, Шугнанский, Рошт-Калинский, Рушамский и Ванчский.

На востоке с Памиром граничит Китай, на юге -- Афганистан.

Из-за своей исключительной труднодоступности многие географические районы Памира были еще четверть века назад настолько не изучены, что даже на картах обозначались белыми пятнами. Территория этих белых пятен была впервые исследована и нанесена на карту лишь в тридцатых годах.

До 1931 года советским начинаниям на Памире в значительной мере мешали и басмаческие, организованные империалистической разведкой банды и контрреволюционная агитация фанатически настроенных местного феодального кулачества, родовой знати, реакционного духовенства.

Но героическими усилиями пограничников и добровольных отрядов из местного бедняцкого населения последние басмаческие банды на Памире были навсегда ликвидированы в 1931 году. В том же году государственная граница была закрыта.

И год 1931-й стал перевалом, за которым открылось новое, социалистическое будущее этой страны. Уже в 1932 году аэроплан и автомобиль практически освоили пути на Памир. С тех пор он становится все более доступным. Семьдесят два отряда Таджикской комплексной экспедиции Академии наук СССР и СНК СССР приступили к замечательной научноисследовательской работе, проводившейся до того только отдельными мелкими экспедициями, из которых самой крупной была экспедиция 1928 года. В 1933 году на Памире возникли два первых колхоза, а в 1935 году их стало уже два десятка. В эти годы на Памире произошло столько нового, важного, способствующего дальнейшим колоссальнейшим достижениям во всех областях народного хозяйства и культуры, что Памир в своей социалистической перестройке начал не только быстро догонять республики Средней Азии, но и становиться примером для народов примыкающего к нему, стонущего под ярмом империализма Востока.

В примечательнейшие переломные годы -- 1930, 1931, 1932 -- мне довелось совершить три продолжительных путешествия по всей территории Памира. Я работал в составе маленьких геологоразведочных и геологопоисковых партий, отправлявшихся в экспедиции на Памир, а в 1932 году был ученым секретарем Таджикской комплексной экспедиции.

За три года я проехал верхом и прошел пешком по высокогорью десять тысяч километров.

В предисловии к одной из моих книг, изданной в 1933 году, я писал:

"Я надеюсь посетить Памир еще раз -- через несколько лет. Я проеду его в легковом быстроходном автомобиле. Я пролечу над ним в комфортабельном самолете. Мне будет приятно в несколько дней, с легкостью и удобствами, повторить те маршруты, которые я совершал в течение долгих месяцев, полных трудностей и лишений. И, конечно, я опять не узнаю эту хорошо знакомую мне страну!"

Мечта моя осуществилась в 1952 году, когда мне удалось вновь совершить поездку по всем районам Памира, кроме Мургабского. Это была поучительная поездка, полная размышлений о величии всего, что достигнуто нами за такой исторически короткий срок.

И, вернувшись с Памира, я решил написать эту книгу, чтобы поведать читателям все главное из того, что видел своими глазами почти четверть века

назад и снова видел теперь; чтобы передать читателю некоторые мои звания о Памире; чтобы постараться вызвать в читателе те чувства, какие испытаны мною самим во время путешествий по известному все еще столь немногим людям Памиру.

Обрабатывая часть материала, извлеченного из путевых дневников разных лет, я решил в изложения его предпочесть принцип географический принципу хронологическому. Такой географический принцип, хоть часто и заставляет меня пренебрегать строгой последовательностью событий, но зато помогает сконцентрировать в каждой из глав сведения об одном и том же, посещенном мною несколько раз районе, а значит, дает возможность нарисовать более живо и полно картину его.

Оправданным мне представляется стремление рассказать кое-что о прежних исследованиях Памира, совершенных во все времена истории. Не претендуя на полноту моих сообщений (о Памире написаны многие сотни специальных научных трудов!), я буду удовлетворен, если предлагаемая книга даст читателю хотя бы общее представление об этой своеобразнейшей высокогорной области.

Буду признателен читателям, которые укажут мне на те неточности и ошибки, какие в этой книге, возможно, окажутся допущенными мною, хоть я и старался избежать их.

Москва, июль 1954 года

ГЛАВА I. МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА ПАМИР

В Геологическом комитете. Год 1930-й

"... содержит spirifer radiatus sow и потому, почти наверное, представляет верхний силур, верхние горизонты... " Здесь тонкие, с отливом синевы жилистые пальцы в последний раз надавили на обшмыганную ручку пера, вывели мелкую, без всякого росчерка подпись: "Профессор В. Палей".

Определение фауны было закончено. До начала заседания оставался свободный час, который можно было использовать как угодно. Можно было спуститься вниз, во второй этаж, и проконсультировать работу картографов. Можно было пройти в библиотеку и спросить отчет XIII Геологического конгресса в Торонто, из которого давно нужно было выписать цифры подсчета запасов Домбровского угольного бассейна в Польше. Наконец можно было сходить в столовую, пообедать. В столовой, конечно, очередь. ("Безобразие, хоть бы разные часы установили для студентов и для профессорского состава", -- подумал профессор Палей.) Коллекторы опять пристанут с расспросами. ("Никакого самолюбия... Когда я был в их возрасте, я бы лучше лишний день просидел над книгами, а постыдился бы признаться старшим в своей неграмотности".) Библиотека? Подождет. ("В мое время профессоров не заставляли бегать по библиотекам из-за каждого пустяка. Только скажи, все выпишут, принесут на дом".)

Профессор Палей потер ладонью под столом онемевшее колено. Хотел вытянуться, побаливала поясница, приятно было разогнуть спину. Он уперся руками в стол, чтобы отодвинуться вместе со стулом. Но позади стояли вьючные ящики, загромоздившие все пространство между профессорской спиной и громадньш застекленным книжным шкафом, и потому стул не сдвинулся с места.

-- Чортова теснота, -- буркнул Палей и, облокотившись на стол, охватил ладонями серые, небритые щеки. Не поворачивая головы, он обвел утомленными глазами всю комнату и, зло усмехнувшись, задумался.

Закуток, где находился профессор Палей, впрочем, никак нельзя было считать комнатой. Громадное помещение с высоким потолком, с большими светлыми окнами было во всех направлениях перегорожено шкафами, примкнутыми один к другому. Шкафы образовали узкие коридоры, в которые едва мог бы протиснуться человек, будь он объемов, хоть немного превышавших обычные. ("Что делал бы тут старый Мушкетов?" -- подумал Палей о геологической знаменитости, известной своей полнотой.) Коридоры соединяли между собой крохотные клетушки, в каждой из которых едва умещался стол с приставленным к нему стулом. У подоконников и во всех остающихся свободных местах громоздились простые и вьючные ящики, наполненные неразобранными образцами с фауной -- бесформенными грудами острых камней, завернутых вместе с этикетками в маленькие, помеченные номерами мешочки. Эта фауна годами свозилась сюда со всех концов Средней Азии, и, конечно, профессор Палей мог бы скорее в ней разобраться, если б не был обременен, по меньшей мере, двумя десятками самых разнообразных обязанностей -- от чтения лекций студентам до участия в заседаниях месткома. Фауна была всюду: на кромках книжных полок, на ящиках, на подоконниках, даже на столе, заваленном картами, книгами и бумагами. На столе образцы пород лежали без оберток среди карандашей, линеек, луп, склянок с кислотой -- серые, желтые, черные, присыпанные пеплом папиросных окурков, сдвинутые грудой к краям стола и образовавшие подобие скалистых берегов вокруг лагуны, в которую упирались локти профессора и в которой, кроме этих локтей, умещались лист мелко исписанной бумаги, большая чернильница и тяжелое медное пресспапье.

Все это называлось кабинетом профессора Палея. За шкафами, в других закоулках, за такими же загроможденными столами сидели другие профессора, горные инженеры, научные работники. Каждый из них шуршал бумагами, скрипел пером, постукивал по камням молоточком, разговаривал с посетителями, которые усаживались прямо на угол стола, иногда передвигал ящики. Каждый из них был руководителем отдельного участка научной работы, каждый имел печатные труды и свою творческую идею. Огромная комната походила на улей,

в сотах которого сырой материал геологии -- фауна, шлифы, анализы, записи путевых дневников -- перерабатывался в гипотезы, в теории, в густой мед научного знания о недрах исследуемой страны.

Геологический комитет, сокращенно именуемый Геолком, состоял из множества таких комнат, окнами выходивших на Просторный пустырь, на котором медленно воздвигалось колоссальное новое здание, Даже сквозь двойные замазанные рамы оттуда доносился стук уже не геологических, а строительных молотков, визг круглой пилы, скрип лебедок и талей. Новое здание вырастало в лесах, в пыли строительных материалов, в напряжении ударничества и социалистического соревнования. Новое здание не могло быть готово раньше, чем через два года.

Профессор Палей не думал об этом здании. Вся жизнь профессора Палея прошла в мыслях о прошлом, исчисляемом миллионами лет; в мыслях о прошлом -- от архея до кайнозоя, до послетретичных плейстоцена и голоцена. Профессор Палей яснее многих других представлял себе все, что случилось с Землею за эти миллионы лет. Профессор Палей вобрал в себя все накопленные учеными знания об этих миллионах лет. От Эмпедокла Агрегентского, приписывавшего возникновение гор действию центрального огня; от Страбона, искавшего причины горообразования в вулканических силах; от Аристотеля, считавшего, что горы возникают в результате грандиозных провалов в обширные подземные пустоты, до современной гипотезы геолога Джоли, утверждающей, что главную роль в истории и жизни планеты играет распад радиоактивных веществ, дарящий Земле вечное тепло, вечную юность, способность вечного возрождения. Все, что вобрал в

себя профессор Палей, построилось строгой системой в клеточках его мозга, увлекало и волновало его и действовало на его воображение. Выше всего на свете, ценнее собственной жизни была великая истина науки, дающей ответ на все вопросы, какие ставит природа перед человеческим разумом. Профессор Палей работал неустанно всю свою жизнь, считая, что если вся его деятельность поможет человечеству хоть на йоту приблизиться к правильному познанию мира, значит всей своей жизнью он выполнил предначертанное ей назначенье. По справедливости, профессор Палей считался одним из лучших специалистов в Советском Союзе.

Профессор Палей сидит за своим столом, охватив сухими руками худые щеки. Закрывает глаза и трет морщинистый лоб концами пальцев. Если бы в эту минуту внезапно исчезли надвинутые друг на друга шкафы, и горы вьючных ящиков, и все

столы вместе с работниками, навалившимися на них, если б исчезло все, что создало здесь тесноту, неудобства, шумы, весь новый быт, то, открыв глаза, профессор Палей увидел бы себя одного в огромной, просторной, первозданного вида комнате за массивным дубовым, старинной работы, столом, на зеленом сукне которого не нашлось бы ни единой пылинки, а по краям которого в строгом порядке стояли бы лампа с яйцевидным розовым абажуром, тяжелая малахитовая чернильница, аккуратная стопочка книг -- и ничего больше, кроме настольного электрического звонка. Позвонить -- дверь ответит почтительным стуком, неслышными шагами по мягкому ковру к столу подойдет курьер с блестящими пуговицами на суконном мундире, кашлянет в кулак вместо вопроса и мелкой трусцой побежит исполнять поручение. А в комнате -- никого, тишина, чистый воздух, и не надо ни о чем беспокоиться, не надо никуда торопиться, -- штатный геолог Палей может, как хочет, располагать своим временем. Он упитан и благодушен, пушисты его молодые, аккуратно расчесанные усы. В этом кабинете он полновластный хозяин, кабинет его светел и чист, как сама наука, которой он предан, -- только ей одной служит он в этом мире. Глаза науки смотрят в тайны веков и пространств. Штатный геолог Палей думает о рожденье и преображеньях Земли. Перед ним на столе планшет геологической карты. Слева направо по карте тянутся разноцветные полосы: бледнорозовая чистая полоса -- это докембрий, это архейская группа, это розовое детство планеты. Ниже протянулась серозеленая полоса -- это силур, это цвет бесконечного зеленого моря, насыщенного граптолитами и плеченогими моллюсками. В зеленую полосу врывается темный коричневый цвет девонской системы. Его пересекает голубая, как воздух, которым люди дышат сейчас, полоса юрской системы. Эти полосы наползли одна на другую, эти полосы повествуют о том, как наслаивались пластами осадки древних морей. Четыре года в поле и в своем кабинете работал штатный геолог Палей, чтоб провести на карте эти четыре разноцветные полосы. Он счастлив: эта карта -- ценный вклад в сокровищницу науки. Эту карту он повесит на стене своего кабинета, эту карту он напечатает в своем немногословном труде. Над ней будут спорить и волноваться поколенья геологов.

И, наклонившись над геологической картой, собрав свои мысли, профессор Палей размышляет о несогласном налегании мезозоя на отложениях девона.

Тишина кабинета помогает ему глубоко погрузиться в раздумье. За толстыми стенами кабинета, вправо и влево, располагаются такие же тихие и огромные кабинеты. В каждом из них помещается один человек. Каждый такой человек -- штатный геолог. Всех штатных геологов числится тридцать. Впрочем, есть еще кабинеты адъюнкт-геологов. Эти работники науки рангом пониже. Их двадцать. Всех научных работников, занятых геологическими исследованиями на всем пространстве России, насчитывается сто пятьдесят человек.

Да... Так было, кажется, еще совсем недавно. Так было до 1920 года -- года революционной реорганизации комитета.

Почти все тридцать штатных геологов работали над составлением

стоверстной геологической карты России. Но и за десять лет работы они могли бы составить только ничтожную ее часть. Их теоретический вклад в сокровищницу науки был ценен, но слишком мал. Многие из них к тому же презирали всякий "практицизм", считая, что их долг служить только "чистой" науке.

Профессор Палей отнял ладони от лба, открыл серые, выцветшие глаза и взглянул на часы. Вставая, он едва не задел локтем кучу образцов и, побледнев, отшатнулся -- всю жизнь считал он, что рассыпать фауну было бы святотатством... Но такая здесь теснота!.. Молча, с предельною аккуратностью он переложил образцы подальше от края стола, снова взглянул на часы ("уже началось, наверно") и направился к двери.

В прежнее время в коридоре комитета можно было бы устраивать велосипедные гонки. Прямой и широкий, от одного до другого конца он тянулся не менее чем на полкилометра. По одной его стороне мелькали однообразные двери, по другой стороне -- такие же однообразные широкие окна. Теперь коридор был рассечен по всей длине невысокою тонкою переборкой. Мелко нарезанные клетушки занимали все пространство между переборкой и окнами. В клетушках упирались друг в друга столы, и зеленый свет абажуров настольных ламп смешивался с дневным зимним сумраком, плывущим из окон. Над столами склонялись бесчисленные, бледные от двойного света лица сотрудников. В каждой клетушке помещался какой-нибудь отдел или сектор огромного учреждения. Пространство между переборкой и дверями осталось коридором, который стал вдвое уже прежнего. Вся переборка была заклеена картами, диаграммами, профилями, схемами, стенными газетами, приказами и уведомлениями. Между дверями высились забитые книгами шкафы и все те же ящики с образцами пород. В оставшемся проходе двигались, топтались, как в трамвае, раздвигая один другого, люди. Все они работали в одном учреждении, но большинство из них не знало друг друга. Здесь были профессора, горные инженеры, бухгалтеры, лаборанты, студенты, чертежники, топографы и коллекторы. Здесь были стратиграфы, палеонтологи, петрографы, картографы, геофизики, минералоги.

Здесь были мужчины и женщины, юноши и старики -- коммунисты, комсомольцы и беспартийные; люди в пиджаках и кожаных куртках; в бухарских тюбетейках и в мордовских меховых шапках; в болотных сапогах и в лакированных туфельках. Половина этих людей была начальниками и сотрудниками геологических, поисковых и разведочных партий, по весне отправлявшихся во все углы Советского Союза: в Хибины и в Бурят-Монголию, на Камчатку и на Кавказ, на Новую Землю и в Казахстан, к границам Афганистана и к границам Норвегии. Поздней весною коридор пустел. Летом он был безлюден, как ночная захолустная улица. Но сейчас, в конце зимы, он был подобен перрону вокзала, отправляющему поезда каждые десять минут. Люди готовились к полевой работе. Люди бились за сметы, за планы, за снаряжение и продовольствие, за каждый инструмент, за штаты, за ассигнования. Люди штурмовали кабинеты профессоров, лаборатории, кладовые, месткомы; люди волновались и суетились, спешили, забывали обедать, забывали адреса своих квартир и общежитий, забывали свои имена. Восемьсот партий должны были выехать в поле до 1 мая. Восемьсот партий должны были всем обеспечить себя до зимы. Сотрудники восьмисот партий должны были десятки и сотни раз пройти взад и вперед по этому коридору.

Профессор Василий Дементьевич Палей медленно шел по коридору от дверей своего кабинета к кабинету директора Института геологической карты. Из гущи людей навстречу ему выдвинулся человек громадного объема и роста, в сером, отлично сшитом пиджаке, в тщательно проутюженных брюках. Чуть накрахмаленный воротничок, казалось, стеснял его загорелую массивную шею. Толстые губы, широкие скулы, узкие прорези почти раскосых глаз -- все его мясистое, словно с размаху выделанное лицо ясно свидетельствовало о его киргизском происхождении. Малахай и широкополый халат, казалось, гораздо более, чем

аккуратный городской костюм, соответствовали бы его обветренному лицу и массивной плечистости.

Посторонний человек, прежде чем заговорить с ним, вероятно, невольным движением оглянулся бы, ища переводчика. Однако, надвинувшись на Палея, этот киргизского облика молодой человек произнес без всякого акцента, по-русски, мягким, немного грудным голосом:

-- Простите, Василий Дементьевич... Парочку слов... Не задержу вас? Или вы спешите?

Профессор Палей остановился и приветливо улыбнулся:

-- Нет, почему же, Георгий Лазаревич... Пожалуйста... Я -- в заседание, но там начать могут и без меня. Успею. Да... Искренне рад вас поздравить.

10

С чем именно, Василий Дементьевич?

Ну, как же, как же... В мое время молодой человек, успешно окончивший институт, вспрыскивал свое звание горного инженера, по меньшей мере, дюжиною шампанского. Искренне поздравляю. Теперь получайте партию и поезжайте начальником... Куда думаете? Давайте отойдем в сторонку, вон как толкаются и разговаривать не дадут.

Собеседники прижались к перегородке, за которой стрекотали пишущие машинки. Оба они не уступали друг другу в росте, но профессор Палей сейчас казался тощим и жилистым, а его тонкий с горбинкою нос и сухо поджатые узкие губы делали его когда-то красивое лицо острым и худосочным. Чуть заметное вздрагивание выпуклых мелкоморщинистых век выдавало давно уже нажитую им неврастению. Здоровое, полнокровное лицо собеседника вызывало в нем чувство зависти, впрочем совершенно им неосознанное. Профессор Палей вынул из жилетного кармана серебряный портсигар и раскрыл его перед молодым геологом.

Не курю.

Ах, простите, пожалуйста... Слушаю вас, весь внимание.

Так вот, Василий Дементьевич. Шампанского мне и пробовать не приходилось. А звание свое я с удовольствием отметил бы, но иначе. Меня на Урал хотят отправить, а мне хотелось бы взять другой район. Что я Уралу и что мне Урал? Думается, в другом районе я могу принести больше пользы...

Профессор Палей прищурился:

-- Что, дорогой мой, на экзотику потянуло? Знаю я, на Памир хотите!

Юдин подобрал губы; лицо его приобрело выражение деловитой серьезности:

-- Видите ли, Василий Дементьевич... Экзотика тут ни при чем. Но выбор этого объекта мне представляется рациональным по следующим причинам... Я привык к высоким горам. Я превосходно владею местными языками. Я уже не раз бывал там на студенческой практике вместе со знатоком Памира, моим учителем Дмитрием Васильевичем Наливкиным. Непосредственное руководство такого авторитета, каким является он, дало мне, я смею надеяться, достаточные основы для понимания геологии этой страны. Объект этот, безусловно, заслуживает внимания. Мало кто захочет туда поехать из-за его труднодоступности. Я туда еду охотно. А на Урал желающих и без меня наберется много.

Профессор Палей, дымя папиросой, быстро соображал. И мысли его задерживались на следующих опорных точках:

"Хочет ехать, потому что никто больше там не работает. Тщеславие. Хочет обратить на себя внимание... Конечно, других причин нет. Но Памир действительно интересен. Юноша неопытен, но склонность к науке у него есть. Ну что ж! Дам ему маленький район, пусть составляет карту и собирает фауну... "

Я, Георгий Лазаревич, не против Памира. Ваше желание ехать на Памир свидетельствует о вашей скромности, о том, что вы не гонитесь за большим и не ищете славы открывателя каких-нибудь колоссальных сырьевых богатств. У нас бывает: едва получил геолог самостоятельность, едва пух на крылышках показался, он уж и норовит в киты вылезти, открыть что-нибудь этакое особенное. А я скажу: сначала надо прокипеть в глубинах науки, набраться опыта, а уж потом прославляться, как хочешь. Рад за вас, искренне рад. Если распредбюро спросит моего мнения, буду поддерживать. Вы, конечно, возьмете задание по геолкарте?

Конечно, Василий Дементьевич... Не скрою, за большим не гонюсь. Значит, я могу рассчитывать на ваше содействие?

Вполне.

Собеседники раскланялись: один с любезностью дипломата, другой -- с подчеркнутой почтительностью. Профессор Палей направился дальше по людному коридору. Юдин свернул в одну из клетушек, над дверью которой чернела надпись: "Распредбюро".

Георгий Лазаревич Юдин, родившийся в городе Караколе, у озера Иссык-Куль, был горным жителем. Он обладал крепким здоровьем. Отец его, Лазарь Юдин, постоянно пребывавший под надзором полиции (за организацию забастовки при постройке Оренбург-Ташкентской железной дороги), отличался суровым нравом. Когда сын окончил школу второй ступени, отец дал ему на дорогу немного денег, хлеба и сказал:

-- Иди. И учись. Будь, кем хочешь, но чтоб ты у меня был человеком. Каждый сам себя должен ставить на ноги.

И Георгий Юдин пошел пешком из Каракола в Ташкент. Пересек горы Тянь-Шаня, степи и реки. Поступил в Ташкентский университет. Стал геологом. Деньги за все эти годы зарабатывал себе сам.

Знающие его люди утверждали, что он обладал непреклонной волей, был расчетлив, сметлив, хитер и бесконечно самоуверен. Двадцати лет от роду он мог без видимого усилия поднять за ушки пятипудовый мешок риса и навьючить его на лошадь. Лошадей он знал превосходно, умел их ковать и лечить. Хорошо стрелял и ничего не боялся.

Впервые на Памир он попал благодаря профессору Д. В. Наливкину.

В 1927 году Д. В. Наливкин занимался составлением геологической карты Памира и делал общие геологические наблюдения. До него геологи, посещавшие Памир, составляли только маршрутные описания, и почти никто из них не пытался систематизировать геологические знания об этой в ту пору малоисследованной стране.

Д. В. Наливкин начал свои путешествия по Памиру в 1915 году. К своему отчету он тогда приложил схему древнего оледенения Памира, иллюстрировал ее рядом детальных описаний и, сличив работы прежних геологов со своими, сделал первую попытку дать общие геологические представления о Памире.

Отправляясь в 1927 году вновь в экспедицию на Памир, Д. В. Наливкин, -- к этому времени уже один из виднейших в Советском Союзе палеонтологов и стратиграфов, -- ненадолго задержался в Ташкенте. Однажды ему пришлось экзаменовать ташкентских студентов-геологов. Лучше всех определил какую-то ракушку, лучше всех на все вопросы ответил студент Георгий Юдин.

Выяснив, что, кроме теоретических познаний, Юдин отлично владеет киргизским языком, а также обладает и хорошим знанием лошадей, Д. В. Наливкин предложил ему должность коллектора в своей маленькой экспедиции.

По окончании экспедиции Д. В. Наливкин помог Юдину поступить в Ленинградский горный институт.

В 1928 году Юдин участвовал в первой крупной Памирской комплексной экспедиции Академии наук СССР; в следующем, 1929 году, уже получив самостоятельное задание, Юдин побывал на Памире в третий раз.

Конечно, к 1930 году он был уже специалистом по изучению этой все еще

малоисследованной высокогорной области нашей страны. И, конечно, он был увлечен Памиром!

Стол. За столом человек во френче, тонколицый, бледный, с черною бородой. Это человек гражданской войны. Вместо треска пулеметов за стенами его штаба сейчас треск "континенталей" и "ундервудов". Он в штабе одной из армий, завоевывающих недра земли. Его минуты рассчитаны. Его разговоры размеренны и лаконичны. Наступление назначено на начало весны. Он со своими двумя заместителями должен принять восемьсот начальников, выслушать их доклады, дать им инструкции, утвердить намеченную ими дислокацию генерального боя. Восемьсот начальников могут быть в кожаных куртках,

с полевыми сумками через плечо, с кобурами револьверов. Но могут быть и в пиджаках, в крахмальных воротничках, в туфельках на высоком лакированном каблуке. Внешность безразлична. Суть -- одна. Каждый из них -- командир полевого и боевого отряда армии геологов, разведчиков и поисковиков. Перед Юдиным десяток затылков и спин. Очередь уменьшается. Юдин подходит к столу.

Распорядитель гладит черную бороду, поднимает строгие металлические глаза:

-- Куда направляетесь?

С этим человеком незачем рассыпаться в любезностях, нельзя тянуть нерешительных фраз. Юдин прям, лицо его сурово, в глазах и в голосе -- убежденность.

Направляют на Урал. Считаю нецелесообразным.

Почему?

Урала не знаю. Не был там: Специализируюсь по другому району.

Именно?

Памир.

Экзотика тянет?

Нет. Я уже трижды был на Памире. Знаю языки. Привык к высокогорью.

("Это довод. Но какую пользу стране может он принести, работая на Памире?")

Какой наметили план работы?

Страна не освещена геологически. Были только отдельные маршрутные съемки. Хочу взять на себя картирование.

("Работа чисто теоретическая. Нужна как основа дальнейшего изучения. В Союзе не должно быть ни одного не освещенного картой района. Надо подумать".)

-- В каких еще районах бывали?

-- Не был нигде. В литературе о Памире есть указания об отдельных точках металлических ископаемых. Попутно с основным заданием -- составлением геолкарты -- хочу проверить данные о них на месте. Могут быть неожиданности.

("Ну, это еще бабушка надвое сказала. Но небольшие кредиты на первоначальное исследование отдаленных областей у нас есть".)

Какую сумму вы считаете достаточной? Смету составили?

Да. Ориентировочно -- десять тысяч.

("Он скромен. Одна зарплата да транспорт обойдутся не меньше. Ну, если уложится в такую смету, пусть едет".) -- Со специалистами советовались?

-- Да. Профессор Палей.

А еще с кем?

С Дмитрием Васильевичем Наливкиным. Я его ученик. Ездил с ним по Памиру, коллектором.

Хорошо, я переговорю с ними. Приходите завтра с планом и сметой.

Юдин вышел из распредбюро со сдержанною улыбкой. Он уже не сомневался в том, что дело наладится. Десять тысяч... Однако... Юдин шел по коридору, прикидывая в голове стоимость путешествия. Штат минимальный -- три человека. Срок минимальный -- два месяца полевой работы. Маловато. Забираться в такую даль, чтобы проработать там только два месяца, когда этот край -- непочатое поле для деятельности, когда в этом крае каждый лишний шаг дарит новые открытия и исследования, -- да это же обидно по меньшей мере. Но -- ничего. Выкручусь!

На улице Юдина подмывало петь и подпрыгивать. Но, осознав этот юношеский порыв, Юдин только два раза качнул взад и вперед портфелем и, застегнув шубу на последнюю пуговицу, твердым и неторопливым шагом пошел домой.

На четвертом этаже, в крошечной, никак не меблированной комнате, ибо можно ли называть мебелью походную кровать, стул и стол, стиснутые углами, Юдин скинул шубу, повесил ее на гвоздь, вбитый в дверь, и, взяв с подоконника бутылку виноградного сока, наполнил стакан. Медленно, как сластена, отпил половину и, чтоб растянуть удовольствие, отставил стакан. Подошел к кровати, скинул пиджак, распустил галстук и вместе с воротничком бросил его на кровать. Взял со стола книгу, но внезапно почувствовал, что отчаянно хочет есть. Опять подошел к подоконнику и принялся возиться с примусом, на время сняв с него сковородку, наполненную вчерашними котлетами, принесенными из столовой.

Разогрев котлеты, Юдин пододвинул к себе сковородку и отломил кусок хлеба. Съев все, что было на сковородке, запив еду остатками виноградного сока, Юдин захотел спать. Не пытаясь противиться такому естественному желанию, он быстро разделся догола, лег в постель. Кровать задергалась и заныла от непосильной тяжести. Юдин натянул на себя одеяло и взглянул на часы.

"Половина шестого... Палей, наверно, еще торчит на своем заседании... Надо бы детализировать смету и план... А чорт с ними, сделаю утром!"

Юдин повернулся на бок, сжал тяжелые, сочные губы, закрыл глаза и заснул. Дневной свет не мешал ему спать. Сол всегда овладевал им немедленно, едва только полнокровная щека его касалась подушки. Юдин знал, что вечером к нему

никто не придет, а если и придет, то, не достучавшись, решит, что не застал его дома. Зато встанет Юдин раньше всех советских служащих в городе, в четыре часа утра, после десятичасового спокойного сна...

Пусть читатель не ищет фамилии Палей в списках известных геологов, Эту фамилию я, по праву писателя, выдумал. Ну, а все остальное передано мною, как говорится, "в точном соответствии с действительностью".

Из Ленинграда в Ош

Март 1930 года.

Телефонный звонок.

-- С вами говорит начальник Памирской геологоразведочной партии Юдин. Вы поехали бы на Памир?

Я, конечно, ответил с волнением.

Юдин подробно расспросил меня, бывал ли я в экспедициях раньше, здоров ли я, в порядке ли мое сердце. Предупредил, что люди с нездоровым сердцем не переносят разреженного воздуха памирских высот. Ответы мои вполне удовлетворили Юдина.

В Геолкоме меня встретил человек громадного объема, с узкими, прищуренными глазами, с мягким заботливым голосом. Мне показалось, что этому человеку лет тридцать. Ему было двадцать четыре.

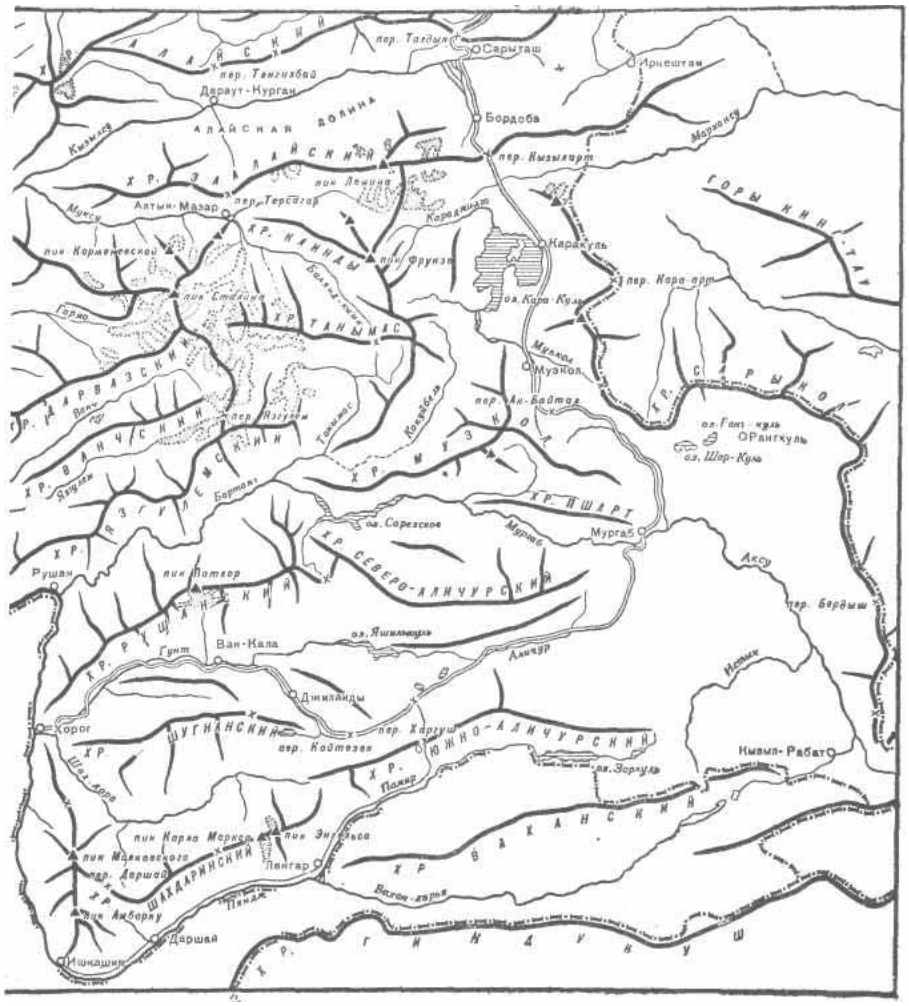
Судьба моя была решена. Мы вышли из Геолкома вместе, прошлись по линиям Васильевского острова. Юдин пригласил меня зайти к нему, угощал меня виноградным соком, показывал памирские фотографии, дал мне толстый том

Мушкетова.

На изучение литературы о Памире у меня оставался месяц.

В ту пору я мало знал о Памире. Я, знал, что эту страну гигантских гор называют "Подножием смерти" и "Крышею мира", что до середины XVIII века сведений о ней вообще почти не было -- они ограничивались лишь несколькими строками в дневниках китайского путешественника Суэнь Цзяня, кем впервые (в VII веке) упомянут Памир, и венецианца Марко Поло, прошедшего через Памир в XIII веке.

В 1930 году эта страна, вдвигающаяся на карте клином в Индию, Афганистан и Китай, была все еще мало исследована. Русские геологи, ботаники, этнографы проникали на Памир с семидесятых годов прошлого века, но знания, приобретенные ими, ограничивались лишь склонами тех хребтов, что высились над узенькими линиями их маршрутов. Чуть в



2 П. Лукницкий
Схема горных хребтов Памира.

сторону от этих маршрутов все горы оставались никому из исследователей неведомыми.

Первым европейцем, прошедшим с севера на Памир до Аличурской долины, был Н. А. Северцов -- в 1878 году. Первым европейцем, посетившим Шугнан, был русский ботаник

А. Э. Регель -- в 1882 году. Первым русским геологом, совершившим маршрут по Восточному Памиру, был горный инженер Г. Л. Иванов. Ряд других

исследователей Памира после них совершали разные маршруты, но начало систематическому, всестороннему изучению Памира было положено лишь в 1928 году. Тогда на Памир отправилась комплексная экспедиция Академии наук СССР. Ее участники прошли и изучили неведомую область самого большого на Памире белого пятна -- область исполинского современного оледенения, Дотоле никто не знал, что собою представляет высокогорный бассейн ледника Федченко, открытого и названного так энтомологом

В. Ф. Ошаниным в 1878 году.

Рухнули легендарные, созданные прежними иностранными путешественниками, близко не подходившими к этой области, фантастические представления о будто бы обитавшем здесь "племени карликов" (датчанин Олуфсен и другие) и о разных других чудесах. Появились первые точные знания -- географические, климатические, гляциологические. Нужны были и точные геологические знания обо всем Памире, на котором и после 1928 года все еще оставались белые пятна, хоть и меньших размеров. Мне предстояло работать сначала на Восточном Памире, пересеченном во многих направлениях уже многими исследователями, а затем углубиться в никем не исследованное хаотическое сплетение горных хребтов междуречья Пянджа и Шах-Дары. Долины Восточного Памира взнесены на четыре тысячи метров над уровнем моря, а гребни гор возвышаются над долинами еще километра на полтора, на два. Именно об этих местах писал Суэнь Цзянь: "... царствует здесь страшная стужа, и дуют порывистые ветры. Снег идет и зимою и летом. Почва пропитана солью и густо покрыта мелкой каменной россыпью. Ни зерновой хлеб, ни плоды произрастать здесь не могут. Деревья и другие растения встречаются редко. Всюду дикая пустыня, без следа человеческого жилища... "

Столь же унылым представал передо мною Памир и в описании Марко Поло:

"... поднимаешься на самое высокое, говорят, место на свете... Двенадцать дней едешь по той равнине, называется она Памиром; и во все время нет ни жилья, ни травы, еду нужно нести с собой. Птиц тут нет оттого, что высоко и холодно. От великого холода и огонь не так светел и не того цвета, как в других местах... "

Отправляясь на Памир в 1930 году, я 'знал, что мой путь верхом, с караваном, будет длиться несколько месяцев, что там, где не пройти лошадям, придется пробираться пешком, что в разреженном воздухе будет трудно дышать, что пульс у здорового человека на этих высотах достигает ста пятидесяти ударов в минуту.

Отправляясь на Памир, я знал, что советская власть уже проводит на Памире первые хозяйственные и культурные мероприятия, уже оказывает всяческую помощь темному и отсталому местному населению. Но мог ли я себе представить в, том 1930 году, что спустя всего лишь год мне в следующем моем путешествии придется наблюдать поход двух первых в истории Памира автомашин и что еще через год Восточный Памир пересечет первый автомобильный тракт? И что вскоре в селениях по рекам Памира возникнут многие десятки школ, амбулаторий, кооперативов, клубов? Что в областном центре -- Хороге -- появятся кинотеатр, кустарные фабрики, своя областная газета, а затем и гидроэлектростанция, которая даст ток многим селениям в ущельях Гунта, Пянджа и Шах-Дары? Мог ли я думать, что самолет будет совершать регулярные пассажирские рейсы через высочайшие в Советском Союзе, обвешанные ледниками хребты? Ничего этого не было в 1930 году, и тогда, изучая прошлое Памира, наблюдая настоящее, о его будущем я мог только мечтать. И я понимал, как трудны и опасны были путешествия первых научных исследователей: Северцова, Грумм-Гржимайло, Громбчевского, Ошанина и других. Но, читая их дневники и отчеты, я не догадывался, что мне самому предстоят столь неожиданные и необычные происшествия, какие не выпадали и на долю тех пионеров русской науки на Памире, которыми я так увлекался. Описанию этих происшествий и будут посвящены некоторые из глав моей книги.

Все мои дни, с утра до глубокой ночи, я отдал чтению геологических книг. Но времени было мало, и к моменту отъезда я никак не мог похвалиться знаниями. Кроме того, я не знал еще очень многого: я не знал, какая разница между узбекским и киргизским способами завьючивать лошадь, я не умел обращаться с эклиметром и удивлялся, почему восток и запад в горном компасе переменились местами? Неведомые мне геологические термины: синклиналь, флексура, грабен и другие подобные им, казались мне иногда непостижимою мудростью, и когда вдруг на каком-нибудь повороте строки их смысл для меня неожиданно становился ясен, я убеждался, что погружаться в специальные научные знания и весело и интересно, и жалел только, что остается так мало времени до отъезда!

Юдин был по горло занят сметами, планами и расчетами. Мне он поручил два основных дела: добыть все, что нужно для снаряжения и экипировки экспедиции, и найти подходящего для путешествия топографа.

После долгих поисков топограф нашелся. Гигантского роста юноша -- Юрий Владимирович Бойе -- вошел в мою комнату. Он был наивен, смешлив, разговорчив. С ним вместе я поехал к Юдину. Юдин решил, что во всем, кроме опытности, он человек подходящий, ну, а опытность... она явится на Памире.

Второе дело было труднее. В руках у меня был длинный список предметов, которые надлежало добыть. Палатки, вьючные ящики, геологические инструменты, седла, оружие, посуду, одежду, фотоматериалы, рыболовные и охотничьи принадлежности, железные "кошки" для хождения по ледяным склонам, консервированные и сухие продукты, географические карты, и мало ли что еще? Продовольствия нужно было купить ровно столько, чтоб обеспечить себя на четыре месяца, -- ведь, кроме мяса и кислого молока, на самом Памире мы решительно ничего не найдем. Я рыскал по всему Ленинграду. Я избегал десятки магазинов, складов, снабженческих баз, учреждений и, наконец, достал почти все, что было обозначено в моем тщательно составленном списке. Все приобретенное было зашито в мешки, упаковано в ящики и отправлено на вокзал.

18 апреля 1930 года, обвешанные биноклями, полевыми сумками, фотоаппаратами, альтиметрами и всем, чем особенно дорожили, усталые от хлопот, полные радостных размышлений о будущем, мы -- Юдин, Бойе и я -- сели в поезд с билетами до Ташкента. Из Ташкента нам предстояло проехать по железной дороге в Андижан, а оттуда на автомобиле в Ош.

Ферганская долина -- это огромный оазис, с трех сторон ограниченный отрогами гор Тянь-Шаньской и Памиро-Алайской горных систем, а с четвертой стороны, с запада, примыкающий к Голодной степи, которая дальше, на запад, переходит в знойную пустыню, простирающуюся до самого Каспийского моря. Ферганская долина -- это сплошные поля хлопчатника, абрикосовые сады, бахчи с дынями и арбузами, это миндальные рощи, мудрая сетка оросительных каналов, питающихся водой горных рек. Сотни кишлаков, десятки маленьких, полных зелени городов. Три среднеазиатские республики: Узбекистан, Таджикистан и Киргизия -- сплетают тут свои невидимые глазом границы. Летом здесь жарко и душно. Весна -- мягка, тепла, невыразимо хороша. Тот, кто раз побывал в этих краях весной, всю свою жизнь будет стремиться сюда.

В юго-восточном углу Ферганской долины расположен маленький город Ош. Древний город, который упоминали китайские летописцы и другие азиатские путешественники еще тысячу лет назад. Через этот город, расположенный на пересечении больших караванных путей, монгольские ханы и китайские купцы возили свои товары в пределы современной Европы. Через Ош проходили орды завоевателей. Из Оша начинается караванный путь на Памир. Здесь обосновываются исходные базы всех памирских экспедиций. На берегу реки Ак-Бура, в маленьком доме местного агронома Кузьмы Яковлевича Жерденко, организовали нашу базу и мы. Нам предстояло нанять лошадей для каравана, закупить сахар, муку, рис, овощи и другие продукты, которые не было смысла везти из Ленинграда. Мы провели в Оше почти две недели.

Я был молод, полон сил и энергии. Впервые пускаясь в столь дальнее "настоящее" путешествие, я, конечно, был настроен романтически, а потому Ош в том 1930 году представлялся мне городом необыкновенным. Казалось бы, какая особая разница была между ним и другими известными мне городами? Я не говорю о Ленинграде и о Москве: в них, конечно, совсем другая, суровая, северная природа. Они провожали меня мутным апрельским небом, рыжим, тающим снегом улиц, каменными громадами многоэтажных домов.

Но, например, Ташкент, Андижан, -- чем отличались они от Оша? Пожалуй, только своими размерами. Те же аллеи зыблющихся тополей вместо улиц, такие же арыки, омывающие корни тополей и ноги узбеков-прохожих. Такая же насыщенность воздуха тонкими ароматами цветущих абрикосовых деревьев, миндаля и акаций, такие же, наперекор дневному зною и ночной духоте, холодные реки; такие же бледные, легкие очертания снежных гор по краям голубого, словно занемевшего неба. В чем же дело? Может быть, Ош вообще не был похож на город? Нет. Напротив. В нем дымила длинная труба большой шелкомотальной фабрики. В нем, пересекая арыки, громыхали тяжелые тракторы, проезжая по кратчайшему пути от одного колхоза к другому. В нем было много мягких извозчичьих экипажей, запряженных парою лошадей, и были автобусы Автопромторга. Может быть, Ош казался мне тише, спокойнее других городов? Тоже нет. В нем бродили толпы народа -- узбеков, киргизов и русских, в нем по пятницам шумели многоголосые пестрые базары, такие, что автомобиль и арба одинаково вязли в гуще говорливых людей, а по другим дням шла буйная торговля на маленьком новом "Пьяном базаре"; в нем физкультурники собирались на площадках городского

сада, где по вечерам ревел духовой оркестр, кричали мороженщики; а в другом саду шли спектакли... Может быть, в том тридцатом году этот город еще сохранял в себе экзотичность древней Азии, превыше всего почитавшей пророка? Того самою, уставшего от тяжелых странствий, который будто бы остановил своих быков словом "ош" (в переводе на русский -- "стой") вот под этой скалистой грядой, что от века называется Сулейман-и-тахта? Думаю, не ошибусь, сказав еще раз: нет. Какая уж экзотичность, если громкоговорители заливались соловьями над старинной крепостью и по всем углам города? Если с каждым днем все ближе подбирался к нему железнодорожный путь от станции Карасу? Если в школах мусульмане читали книги Ленина, Сталина, обсуждали план пятилетка? Если в сельсоветах столь же горячо обсуждались сроки тракторных полевых работ? Если продавцы газет осаждались толпами покупателей в полосатых халатах, больные шли не к табибам, а в советские аптеки и амбулатории, а в бывшей гарнизонной церкви библиотекарша перебирала книги, зачитанные до дыр?.. И над всем этим по вечерам, прожигая густую черную листву, висели яркие белые созвездья электрических лампочек. Природа в Оше была такая же, как и всюду в предгорных городах Средней Азии, -- тихая, теплая, благодатная. И только изредка в ее тишину врывались черные грозы, гнувшие стройную выправку тополей, хлеставшие город струями теплой воды и замешивавшие в липкое тесто слой тончайшей лессовой пыли.

И все-таки Ош казался мне необыкновенным.

Почему?

Потому, что я сам пребывал в необычайном душевном подъеме, и мне было радостно все, все люди представлялись приветливыми, а если вдуматься, то и в самом деле были гостеприимными, заботливыми, внимательными и доброжелательными к нам, отправлявшимся на Памир.

Слово "Памир" здесь звучало иначе, чем в Ленинграде и в других городах России. В Оше были люди, побывавшие на Памире. В Оше все знали, что те, кто отправляется на Памир, не должны терпеть недостатка ни в чем. Самое недоверчивое учреждение в Союзе -- Госбанк, и тот отступил от всегдашних строгих своих правил, выдав Юдину деньги по переводу, в котором не были соблюдены все формальности. Банк сделал это, чтоб ни на один день не

задержать наш отъезд. Все понимали, как трудна и нужна стране научная экспедиция на Памир.

Мог ли Ош показаться мне обыкновенным? Ведь он был воротами в те края, в которых так много еще было неведомого, неразгаданного!

... И, проверив все вещи и все записные книжки, я убедился, что экспедиция экипирована и снабжена превосходно. У нас были отличные, сытые лошади, караван с продовольствием и великолепное настроение.

Выступление из Оша

Три года подряд каждую весну я выезжал на Памир из Оша караваном. В этом маленьком отрывке я описываю выступление из Оша в 1932 году, -- я был тогда начальником центральной объединенной колонны огромной Таджикской комплексной экспедиции и потому двигался с большим караваном. В 1930 году, когда я впервые ехал на Памир с Юдиным, у нас был совсем маленький караван.

На пыльном дворе гора тяжелых мешков, кожаных вьючных сум, свертков, бидонов.

Вьючка большого каравана -- важное, мудреное дело, в котором есть свои законы и тайны, известные только самим караванщикам. С детства приучается узбек-караванщик к этому трудному делу. Сначала он только ходит и смотрит и юлит меж ног лошадей. Лошади относятся к нему с высокомерным презрением, не кусают и не лягают его, пока он не наберется храбрости взять одну из них за аркан. Если он сделал это, обиженная лошадь ткнет его головою так, что он турманом летит, кувыркаясь в лессовой пыли. Перепуганный, он отступает и снова ходит и смотрит, преодолевая робость. Однако слишком долго ходить и смотреть не следует, иначе его засмеют караванщики. Понабравшись мужества, он подходит к лошади, которая кажется ему смирнее других. Но самая смирная лошадь уже издали косит на него рыжий выпуклый глаз. И когда очертя голову он двумя руками вцепится в повод, лошадь срывается с места и летит карьером вдоль глиняных дувалов, ограждающих улицу, волоча обмершего от страха, но не выпускающего повода мальчугана. Лошадь попросту шутит с ним, но ему кажется, что само небо рушится с грохотом на землю и что у него постепенно отрываются руки, ноги и голова. Натешившись его страхом, взмыленная лошадь, наконец, останавливается. Тогда мальчишка, еще не успев зареветь благим матом, слышит одобрительный смех собравшихся зрителей и, шмыгнув носом, всхлипнув разок, в первый раз воспламеняется гордостью и с видом победителя ведет назад иронически настроенную лошадь и, по возможности незаметно, потирает ушибленные места.

С этого дня мальчуган становится подмастерьем караванского цеха. С этого дня он гордится своим общением с лошадьми. Лишь годам к восемнадцати своей жизни он понимает, что все приобретенные им познания дают ему право только подводить лошадей к вещам, которые будут навьючены на лошадь взрослыми караванщиками.

В самом деле, ведь надо одним глазом рассчитать груз так, чтобы он равномерно распределился на оба бока; надо без всяких весов подобрать мешки так, чтобы каждая половина вьюка весила ровно три пуда, а если лошадь слаба, то надо при этом придать обеим половинам вид такой, чтобы каждая из них весила в глазах нанимателя каравана ровно три пуда, хотя бы действительный их вес был в два раза меньше; надо положить груз на вьючное седло так, чтобы он не свалился от тряски в пути, чтобы он не набил животному бока, чтоб он не съехал на одну сторону, не нарушил равновесия лошади; надо угадать, где именно всего удобней для каждой лошади должен прийтись центр тяжести вьюка, где, с точки зрения закона о неравноплечих рычагах, надо приспособить привьючки.

Кроме того, у каждой лошади имеется свое собственное отношение к грузу. Одна ненавидит квадратные ящики, предпочитая им узкие и продолговатые,

другая в клочья изорвет о ближайшее дерево мешки с рисом, потому что ей не нравится тугое поскрипывание риса в мешке, но ничего не имеет против мешков с мукой... Словом, только к тридцати пяти -- сорока годам караванщик научается с первого взгляда определять все самые затаенные черты лошадиных характеров и узнает все премудрости водительства караванов.

Поэтому нет каравана без старшего караванщика -- караванбаши, что значит на русском языке "глава каравана". Поэтому лучшие, опытнейшие караванбаши славятся на всю Среднюю Азию.

Поэтому никогда не надо ничего советовать караванбаши в его деле, если нет желанья испортить груз, загубить лошадей и прослыть навсегда невеждой и глупцом среди всего племени караванщиков.

Зато честный и опытный караванбаши может провести караван за тысячи километров по труднейшим горным тропинкам, по безводью и бездорожью, через гигантские перевалы, провести так, что к последнему дню путешествия лошади будут веселы, и резвы, и сыты и можно будет гордиться их развитой мускулатурой, дыханием, поставленным, как у певца, крепостью копыт, надлежащей сухостью ног и отличным, спокойным нравом.

А груз... Вы можете быть совершенно спокойны: ни грамма **груза** не убавится в караване, если только по вашему приказанию он не будет расходоваться в пути. Ни расписок, ни договоров не нужно. Узбеки-караванщики не любят бумаг. Всякая бумага, по их мнению, подразумевает взаимное недоверие. Каравайцик верит на слово и верен своему слову. И берегитесь изменить слову. Если вы хоть раз изменили ему, лучше никогда вам не ездить по караванным путям, лучше ждать, когда в горах и пустынях блеснут рельсы железной дороги. Вы потеряли доверие караванщиков, и вы не можете нанимать караваны!

Все это я знаю отлично. Поэтому, когда еще затемно на базу экспедиции в городе Оше является караванбаши Турсун с оравою своих людей, я показываю ему на гору тяжелых мешков, ящиков, кожаных вьючных сум, свертков, бидонов, сосчитанных, перевешанных руками караванщиков, распределенных и перевязанных арканами еще вчера, и говорю ему:

-- Ну, Турсун-ака, распоряжайся!.. А я пойду смотреть лошадей.

Лошади только в ночь приведены с пастбища, я их еще не видел. Я не мог их видеть, потому что паслись они за много километров от города и выбирал их из общего табуна специально назначенный человек. На лошадях -- вьючные седла.

Караванщики группируются по трое. Один из трех подводит лошадь к грузу, ставит ее меж двух половин вьюка и держит на коротком поводе. Лошадь тянет голову вбок, пугливо озирается на лежащий на земле груз, словно пытаясь определить его природу. Лошадь припрыгивает и дрожит всем телом в лошадиной, особенной лихорадке. Но караванщик стоит, как железный столб, и лошадь может податься только в сторону, а никак не вперед, не назад. По сторонам уже наклонились над вьюком два других караванщика и, подняв груз, привалили его к бокам лошади. Они сдавили ее двумя половинками вьюка, и, как в тисках, лошадь никуда уже не может податься, она только похрапывает и нервно поводит ушами, пока караванщики обвивают ее хитросплетеньем арканов. Они ухватывают вьюк за углы и дергают его в разные стороны, словно ввинчивая его в лошадиный бок, потом сверху на спину укладывают привьючку и долго притирают и примащивают ее, чтоб легла она, как на спальное ложе. Лошадь превращается в бочку, и эту бочку обводят последним длинным арканом. Запустив концы аркана себе за плечи и обернув его вокруг поясницы, караванщики упираются коленом в лошадиный дрожащий бок и отваливаются, кряхтя, натуживаясь до пота на лбу, так что вены выступают из-под кожи лиловыми выпуклыми жгутами. Лошадь покряхтывает, выдавливая из себя шипящий, протяжный выдох. И, закрутив узлы, караванщики разом, стремительно, как от падающего камня, отскакивают в разные стороны, потому что бочка становится внезапно выпущенной пружиной, -- со всех четырех ног рванувшись от них, заломив вспотевшие уши, лошадь несется по двору, как тяжелый снаряд, чтобы вдребезги

разбить все, рискнувшее оказаться на ее пути: на другую сторону двора, за пролом в саманной стене, за арык, на пыльную улицу, туда, где сбились в кучу другие, завьюченные, уже бессильные сбросить вьюк, уже присмиревшие лошади. Долетев до них, разом повернув боком, тяжело дыша, она вдруг всеми копытами упирается в землю и, ударившись о посторонние вьюки, испуганно останавливается. И если вьюк остается цел, значит все в порядке, и караванщики, как к эшафоту, ведут к горе груза следующую, полную подозрений лошадь.

Вьючные ящики должны быть крепки; потому они оковываются железом и плотно обшиваются парусиной. А в мягкие вьючные сумы нельзя класть твердых предметов; даже толстые подошвы альпийской обуви свиваются от удара, как закрутившийся тополевый листок. А жестяные керосиновые бидоны обжимаются деревянной клеткой. И все-таки все это превращается в прах, если бесятся лошади.

Вот почему я опасливо смотрю на вьючный ящик с необходимым для горных работ динамитом, когда его взвьючивают на лошадь. И вот почему, приказав везти этот вьюк отдельно от других лошадей, я поручаю ее отдельному караванщику.

Русские рабочие обычно в лошадях понимают мало, а многие сотрудники экспедиции глядят на них и вовсе бессмысленными глазами. Большинство сотрудников отправляется на Памир в первый раз, и некоторые впервые садятся в седло. Даже заседлать коней не умеют. Но у них воинственный вид, потому что работа предположена у самой границы, из-за которой всегда возможен налет басмачей. У всех за плечами торчат винтовки, сбоку болтаются наганы, а у иных на животе даже поблескивают жестянкой бутылочные ручные гранаты. Бывалые участники экспедиции хмуро оглядывают таких новичков, боясь не басмачей, а этого воинства, потому что любой из новичков способен по неосторожности и неопытности взорвать гранату на собственном животе или вогнать наганную пулю в круп лошади. Но каждый такой всадник мнит себя похожим, по меньшей мере, на партизана времен гражданской войны, и каждый уверен в своей превосходной боеспособности. Наконец последняя завьюченная лошадь, звеня тазами и ведрами, как пожарный автомобиль, вылетает на улицу. Потный, возбужденный и охрипший, я вскакиваю в седло и даю распоряжение выступать. Тут, решив в последний раз перед Памиром отведать мороженого, один из коллекторов, одетый в алую фланелевую рубаху-ковбойку и бархатные оливковые

шаровары, устремляет своего конягу к будке мороженщика, красующейся на краю улицы, среди тополей. Коллектор этот, минуту назад не знавший, с какой стороны подойти к седлу, нечаянно поднимает коня в галоп. Заждавшийся конь рвется так, что коллектор, едва не вылетев из седла, вцепляется руками в луку, а его осетинская широкополая шляпа съезжает с затылка и никнет на своем ремешке у шеи.

-- Держи коня!.. Держи!.. -- яростно кричу я, но, поняв, что коллектор не властен справиться с конем, вылетаю вперед и, настигнув коллектора, хватаю за повод его коня.

Подбегает караванщик и ведет коня "храброго джигита" в поводу. Караванщик ничему не удивляется и даже не позволяет себе улыбнуться. Караван вытягивается, идет вниз по улице. Лошади, еще не привыкшие к вьюку, бросаются в стороны и разбегаются. Караванщики, ругаясь, гоняются за ними, тщетно стараясь наладить порядок.

Улица ведет к мосту через пенную Ак-Буру. За мостом -- базарчик, на котором мелочные торговцы урюком и черешней состязаются с горланящими лепешечниками в зазывании покупателей. Однако и те и другие умолкают, когда караван проходит мимо разгульной ордой. А посетители чайханы, бросив свой дымящийся кок-чай, толпятся у дверей и окон. Собаки визжат и лают.

Сразу за базаром, на узкой улице как с цепи срывается лошадь, груженная

динамитом. Она на полном скаку лягает другую лошадь, та оскорблена, и обе выносятся вперед, растолкав всех лошадей каравана. На пути -- телеграфный столб, краешком ящика лошадь за него задевает, вьюк съезжает на сторону, лошадь окончательно перепугана, и... тут уж ничто в мире не может ее удержать. Она мчится вперед скачками, беспрерывно давая козла, динамитные ящики съезжают набок все больше и больше, наконец один из ящиков вываливается из сдерживающих его пут и с треском падает в узкий арык. Метрах в сорока дальше летит второй ящик, а еще дальше падают два других. Аркан запутал лошади ноги, она подпрыгивает еще разок, но другой аркан оказывается у нее на шее, и она, вся в пене, вздрагивая губами, останавливается. Караванщики задерживают весь караван и бегут собирать ящики, которые, к счастью, оказались слишком прочны для того, чтобы рассыпаться от такой передряги. Через двадцать минут караван шествует дальше. Люди злы и утомлены.

Через два часа караван выходит из закоулков старого города. Широкая прямая дорога переваливается с холма на холм. То, что не могли сделать люди, делает солнце. Оно так яростно припекает лошадей, что все теряют теперь охоту носиться и сбрасывать вьюки. Люди качаются в седлах, как сонные мухи. Ремни непривычных винтовок натирают им плечи. У многих ноют растертые ляжки. Если не порядок, то тишина возникает сама собой. Отсель все будет нормально и благополучно. Завтра все упорядочится, завтра у нас будет превосходное настроение.

Караван научно-исследовательской экспедиции выступил в поход на Памир.

Наконец в седле... (Из записей 1931 года)

Есть особенно торжественные минуты, в какие человек почти физически ощутимо сознает себя на грани двух совершенно различных существований. Когда караван по пыльной дороге медленно взобрался на первый в пути перевал, тяжело завьюченные лошади сами остановились, словно и в них проникло то же сознание.

Сзади, в склон горы, в крупы лошадей уперлись красные, низко лежащие над равниной воздушные столбы заката. Я повернулся боком в седле, уперся рукою в заднюю его луку. Туда, на закат, сбегала к травянистым холмам лессовая дорога. Она терялась вдали, в купах засиненных предвечернею дымкой садов. За ними, под невысокой, но острой, истаивающей в красном тумане горой, распростерся покинутый экспедицией город. Он казался плоским темным пятном, в котором пробивались белые полоски и точки. Некоторые из них поблескивали, как осколки красного зеркала. Отдельные купы деревьев, будто оторвавшись от темного большого пятна, синели ближе, то здесь, то там. Это были маленькие селения -- предместья города. Тона плодородной долины казались такими нежными и мягкими, словно вся природа была одета в чехлы, -- скинуть бы их в парадный день -- и равнина засверкала бы ярким играющим блеском.

Сзади -- нежнейших тонов равнина, заполненная закатом, город как последний форпост привычного культурного быта, оставляемого, кажется, навсегда: улицы, дома, фабрики, конторы, столовые, кинотеатры, автомобили, извозчики, электричество, телефонные провода, магазины, киоски, библиотеки -- весь сложный порядок шумного и деятельного человеческого сообщества.

Впереди -- только горы: вершины, ущелья, вспененные бурные реки, горные хребты, врезавшиеся в голубое небо острыми снежными пиками. И дорога уходит туда перевитой, небрежно брошенной желтою лентой. Впереди -- неизвестность, долгие месяцы верхового пути, никаких населенных пунктов на Восточном Памире, кроме Поста Памирского да редких киргизских кочевий. И только далеко-далеко за ними, в глубочайших ущельях кишлаки Горного Бадахшана. И главное впереди -- особенные скудость, ясность и простота форм жизни, которые обозначат дни и месяцы каждого двинувшегося туда человека.

Еще вчера -- кипучая организационная деятельность, заботы, хлопоты, а сейчас -- бездонная тишина, в которой только мягкий топот копыт, гортанные понукания караванщиков, свист бичей да медлительный перезвон бубенчика под

гривой первой вьючной лошади каравана. Теперь каждый из путников предоставлен себе самому. Все черты характера, все физические способности каждого приобретают огромное, непосредственное, заметное всем значение. Никаких условностей и прикрас: все как есть! Если ты мужествен, неутомим, спокоен, энергичен, честен и смел, ты будешь уважаем, ценим, любим. Если нет -- лучше вернись обратно, пока не поздно. Здесь, в долгом пути, время тебя обнажит перед всеми, ты никого не одурачишь и не обманешь, все твои свойства всплывут наружу. Ни красноречие, ни объем твоих знаний, ни степень культурности -- ничто не возвысит тебя над твоими товарищами, не послужит тебе в оправдание, если ты нарушишь точный, простой, неумолимый закон путешественника.

Все это промельнуло в уме мгновенно, но с беспредельной отчетливостью, -- так отчетлива, полна и мгновенна бывает предсмертная мысль, и, может быть, именно поэтому созерцание дальних, вечных снегов влекло к раздумьям о величии жизни и смерти. Горы -- это будет иное, для многих сейчас еще неведомое существование, которым сменится прошлый, обычный образ городской жизни.

Георгий Лазаревич! -- в задумчивости сказал я Юдину, который, подъехав сзади, придержал рядом со мной своего коня. -- Вы никогда не испытывали пространственного голода?

Какого голода? -- внимательно взглянув мне в глазка, переопросил Юдин.

Пространственного, -- почему-то вдруг смутившись, повторил я. -- Ну, такого особого чувства тоски по постоянному передвижению.

Не знаю, пространственным ли его назвать, а голод я ощущаю. Еще какой! Так и съел бы сейчас баранью ляжку! -- с веселой насмешливостью заявил Юдин. -- Особенно если с лучком поджарить... С утра ничего не ел!

Понимаю, -- окончательно смутился я. -- Ну, это я так... Поезжайте, я вас догоню!

А что, вы тоже объелись этого проклятого зеленого Урюка?.. Я говорил вам: не увлекайтесь!

Я резко выпрямился в седле и хлестнул камчою по крупу коня. Бедняга, озлившись на незаслуженный удар, рванулся вниз с перевала галопом.

-- Павел Николаевич! Ноги лошади поломаете! -- донесся сзади (наставительный голос Юдина.

Я осадил коня, поехал медленным шагом, откинулся в стременах и только тогда оглянулся.

А оглянувшись, увидел караван, вытянувшийся на спуске, и впереди каравана группу всадников. Юдин, петрограф Н. С. Каткова, прораб, оба коллектора... Трое караванщиков, спешившись с вьючных лошадей, шли, широко размахивая рукавами ванных халатов. Позади всех, сблизив лошадей, стояли и скручивали махорочные цыгарки двое рабочих. Гребень перевала скрыл равнину вместе с городом и красными лучами заката.

Я вынул из, полевой сумки трубку, туго набил ее махоркой и закурил на ходу.

Новая жизнь началась, надо было проверить себя, как проверяют перед боем винтовку.

Вечером, когда караван остановился на ночлег под двумя холмами, на густой травянистой лужайке, у спокойно журчащей речки; когда на большом разостланном брезенте был прямо в котле подан и съеден плов, отлично сваренный караванщиками; когда люди разлеглись на теплой траве под огромными звездами, а спать еще не хотелось, Юдин, примяв траву, грузно распростерся животом кверху рядом со мной.

-- Ну, здорово! -- добродушно пробурчал он. -- Теперь до утра не захочется есть... Молодец Дада, умеет кухарить!

Я молчал.

-- А скажите, Павел Николаевич, -- повернувшись на локте, с интимными нотками в тоне заговорил Юдин, -- вы, конечно, могли обидеться на меня тогда, а только, честное слово, мне здорово есть хотелось... Что такое вы мне хотели сказать об этом, -- как вы его назвали? -- пространственном голоде?

Юдин редко говорил на отвлеченные темы, и я искоса взглянул на него: не ждать ли опять насмешки? Но в щелочках глаз моего собеседника было одно добродушие: ведь Юдин обливает меня ушатом холодной воды, только когда я впадаю в романтический пыл, а сейчас я ничем не проявляю такого пыла.

-- Так, пустяки... ("Как бы это похолодней да попроще?") Может быть, я не нашел слова. Неудачно выразился. Просто оглянулся на перевале: закат, позади город, и все такое, а впереди... Ну, вспомнил о том, как я чувствовал себя на севере, когда невмоготу стало брюки протирать за столом, заваленным недописанными бумагами...

Юдин, деловито ковыряя травинкой в зубах и методически сплевывая на сторону, спокойным взглядом изучал мерцающие звезды. Глухо, будто скрывая никак не подобающую ему лиричность, проговорил:

-- А вы думаете, мне на перевале такие мысли не пришли в голову? Только я не особенно умею въедаться в эту, ну, как сказать... в лирику. Вам, как писателю, оно, конечно, и карты в руки... Ну, а что же такое все-таки этот пространственный голод, как вы его называете?

Я заговорил медленно, прерывая слова паузами:

Вот, Георгий Лазаревич... Попробуйте поголодать суток трое, ручаюсь вам, вы станете ни к чорту не годным. Потребность простейшая и здоровая. А, например, потребность пьяницы в алкоголе, наркомана в наркотиках -- больные потребности. Их, этих людей, лечат. Вы не пьете, не курите, а я вот курю и чувствую, что мне это вредно. А бывают потребности, которые не назовешь ни здоровыми, ни больными, для данного организма естественные, хоть многим они и кажутся странными. Одна из них та, которую я называю, -- может быть, неточно и неправильно называю, -- пространственный голод. Это потребность в постоянном передвижении.

Так, пожалуй. Вот тут кашгарлыки скоро нам попадутся. Это самое чувство их и заставляет кочевничать, -- спокойно заметил Юдин.

Нет, напротив, -- чуть улыбнулся я. -- В данном случае факторы социальные. Кочевые народы в поисках пастбищ, воды -- словом, всего, без чего им прожить нельзя, вынуждены были постоянно передвигаться с места на место. Отсюда и чувство. Не причина, а следствие! Вкоренилось оно в людей, превратилось в привычку. Цивилизация и культура устранили причину, а следствие осталось и живет себе как атавистический пережиток. Мы с вами дорвались до седел и оба счастливы, а есть миллионы людей в городах и селах, каждый из которых двумя руками отмахнулся бы от этого. Вот проснулся, встал человек. Утро. Служба. Работа. Обед. А вечером -- все, что на ум взбредет. Нужное, может быть, и полезное. Так день, два, год... А то и за всю свою жизнь из родного города носа не высунет.

Когда мы начинали организовывать экспедицию, помните, сколько просителей было: ах, хотим, ах, так заманчиво, так интересно! А как до дела дошло, все разбежались! По сути, любителей передвигаться мало!

Ну, это по другим причинам! Струсили, или условия вы им предложили неподходящие. А по-моему, вовсе не мало,

а множество: моряки, паровозные машинисты, летчики, шоферы, даже вагоновожатые -- словом, в первую очередь транспортники. Кто это, как не люди с чувством пространственного голода? Потом, возьмите, какие-нибудь агенты заготовительных организаций, да просто иного почтальона попробуйте посадить за прилавок -- взвоет! Никто из них года на месте не усидит. Такого в гроб положи, и то под землей ползать начнет! Различны только масштабы и

способы утоления этого голода, а никакой принципиальной разницы нет. А вы думаете, туристы только за здоровьем да за умственным развитием ходят? Не сидится, вот и идут. А мало таких бродяг, что к сидячей профессии не способны, а подвижную сами не умели и никто им не помог подыскать? Весь вопрос сводится к температуре этого чувства. Вот у меня, я сам знаю, странническая горячка, а у вас...

Ну, это вы бросьте! -- засмеялся Юдин. -- У меня никакой горячки нет, да, признаться, если б можно было заниматься геологией, лежа в постели, разве стал бы я по всяким Памирам шататься?

Значит, я в вас ошибся, вы по существу своему -- лежебока, а к путешествию вас вынуждают сугубые обстоятельства!

Чорт его знает, Павел Николаевич! -- беспечно заключил Юдин. -- Знаете что? Завтра вставать до света... Сегодня спим без палаток? Теплынь!..

Юдин встал и двинулся, шурша травой, к свету костра, чтоб разыскать в груде вьючных ящиков и кожаных сум 1 свою. Я выкурил папиросу, выдул искры прямо в черное небо, вскочил на ноги и двинулся вслед за Юдиным.

Маслагат (Из записей 1932 года)

Маслагат -- совещание, и это был большой маслагат, затянувшийся до глубины ночи. Придя в Гульчу, я получил сообщение из Мургаба, что нигде дальше в пути на Памир для моего каравана не заготовлен фураж и надо взять с собою отсюда не меньше шести тонн ячменя. А между тем все сто шестьдесят лошадей каравана завьючены доотказа. Я созвал в мою палатку всех караванщиков, и они превзошли себя в желании помочь мне выйти из затруднения. Они обсуждали по очереди каждый вьюк, они говорили:

-- Белая кобыла Османа Ходжи может взять биш кадак| (пять фунтов)...

-- Привьючки желтого мерина с рассеченным ухом и короткохвостой лупоглазой кобылы можно переложить на длинношеего мерина, носящего гриву на правую сторону. Тогда на желтого мерина положим полмешка ячменя...

Иргаш сидит на своем вьюке, Иргаш весит, наверно,

четыре пуда, Иргаш до Ак-Босоги пойдет пешком, вместо него мы прибавим к вьюку три пуда (Иргаш -- живой, ячмень -- мертвый, надо поменьше); лошадь сильная, может три дня нести восемь пудов, а в Ак-Босоге отдадим это зерно лошадям, Иргаш опять может ехать...

Я точно рассчитываю каждодневную дачу. Норма караванных лошадей -- два килограмма в день. От Гульчи до Мургаба с дневками -- четырнадцать дней. Сто шестьдесят лошадей по два килограмма... Но зерно можно давать не каждый день.

Турсун-ака, в Суфи-Кургане дать надо?

Конечно, надо.

А в Ак-Босоге можем не давать? Там ядовита трава, от нее лошади дохнут, но это под самым перевалом Талдык, а ниже, -- мы можем стать ниже, -- знаешь, там, на левой стороне, у ручья, поближе к киргизской летовке...

Правда, там хорошая, как сахар, трава.

В Сарыташе не давать, там пустим лошадей в левую щель, там хватит травы. В Алае -- и думать нечего: не давать, два дня не давать, потому что дневка. В Бордобе, конечно, прокормимся, ерунда. Ну, потом -- Маркансу. Давать: пустыня; Каракуль -- солончак, песок, травы там есть немножко, но ее, может быть, уже съели, может, мороз, -- надо дать. Южный Каракуль -- дать, Муз-кол -- дать: лед и камни, Ак-Байтал -- там, под моренами, у реки... впрочем, надо дать. Вот и Мургаб... Сколько всего?

Турсун считает по пальцам:

Старый холм -- раз, Мертвая Вода -- два, Черное Озеро -- три, еще Черное Озеро -- четыре... Хамма сакыз...

Всего восемь? Правильно, восемь... Два на сто, шестьдесят на восемь... Ну, в общем два с половиной, считая, что еще дневка в Суфи. Первые дни в Мургабе -- одна, неприкосновенный запас -- полтонны, всего, следовательно, четыре тонны, или восемьдесят три мешка. Первые Дни лошади повезут по восемь пудов, с каждым днем продовольствие и фураж будут уменьшаться, словом... возьмем, Турсун-ака?

Но Турсун еще не научился считать на тонны, я все пересчитываю в пуды, и тогда он опять прикидывает:

-- Белая кобыла столько-то, черная кобыла... желтая кобыла... синяя кобыла (у Турсуна есть даже синяя)...

** П. Лукницкий

Считает Турсун, считает Насыр, считает Иргаш, считают все шестнадцать караванщиков. Когда хрипота одолела всех, когда головы мутны от усталости, когда обсуждены качества каждой из ста шестидесяти лошадей, а ночь уже наклонилась к рассвету, Турсун упирается ладонями в колени, медленно, подбирая халат, встает и простирает над собранием руки:

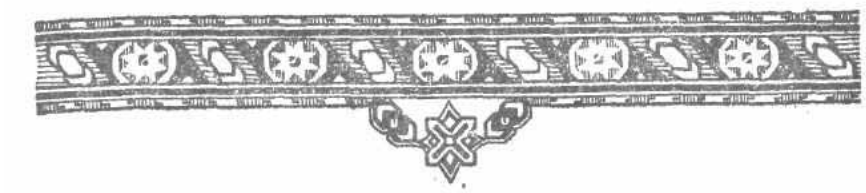
Хоп, хоп, болды, келады ухлайдэн! * Хоп, товарыш началнык, пайдет.

Вот спасибо, Турсун... Ты большой караванбаши... Ну, ладно, ладно, айда спать. Спать, товарищи, спать, спать!..

Караван может выступить утром. Утром -- радиограмма в Мургаб:

"Фуражом обеспечен. Задержки пути не будет".

* -- Довольно, пойдем спать!



ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ ТКЭ

Но прежде чем приступить к описанию двух моих первых памирских путешествий, в которых было много событий, необычных и неожиданных, я расскажу о том, как была организована ТКЭ. Эта глава даст читателю возможность дальше, на всем протяжении книги сравнивать масштабы научноисследовательской работы на Памире, проводившейся в 1930 и 1931 годах, с масштабами работы 1932 и последующих лет.

Первые решения

ТКЭ -- так называлась Таджикская комплексная экспедиция 1932 года. В следующие, 1933--1937 годы эта экспедиция продолжала работу под названием

ТПЭ -- ТаджикскоПамирской экспедиции. История организации экспедиции такого небывалого, возможного только в Советской стране масштаба стоит того, чтобы о ней рассказать.

Весной 1936 года в Москве праздновался юбилей пятилетия со дня начала организации этой экспедиции. В Доме ученых собралось около тысячи человек, каждый из которых так или иначе принимал участие в экспедиции. Выставка, посвященная итогам пятилетних работ, рассказывала посетителям о сотнях открытых и изученных месторождений полезных ископаемых, о разгаданных белых пятнах, замененных на географических картах линиями горизонталей рельефа, сеткой речных систем, треугольничками высочайших пиков, названиями кишлаков и ущелий; выставка рассказывала об особенностях климата, о ледниках Памира, о деятельности созданных экспедицией в самых труднодоступных углах страны обсерваторий, метеорологических пунктов, биологических стационаров -- обо всем, что было сделано руками тех, кто в этот вечер присутствовал в Доме ученых.

В залах были выставлены сотни книг, составлявших труды экспедиции. Тысячи фотографий и рисунков изображали рудники, шахты, заводы, фабрики, комбинаты, созданные на открытых и изученных экспедицией месторождениях; оазисы, белеющие тонковолокнистыми, невиданными прежде в СССР сортами хлопчатника, там, где почвы, грунтовые воды, энергетические ресурсы горных рек и возможности ирригации были исследованы экспедицией; тропические станции, больницы, новые поселки, построенные по планам, подсказанным экспедицией... И много, много другого, что явилось следствием огромной работы десятков, даже сотен экспедиционных отрядов и групп.

-- Я восхищен вполне энергией и энтузиазмом молодых деятелей науки, -- говорил, аплодируя собранию, президент Академии наук, белоглавый, но всегда жизнерадостный академик А. П. Карпинский. -- Вам, мои друзья, есть что вспомнить сегодня...

Слушая академика Карпинского, я размышлял о том, почему иные экспедиции бывали неудачными, умирали в зародыше, не приносили народу никакой пользы, а эта Таджикско-Памирская экспедиция сделала так много для развития народного хозяйства и культуры Таджикистана и даже всей Средней Азии.

Конечно, первой, главной причиной успеха работ экспедиции было повсеместное и непрестанное содействие, оказанное ей всем населением республики, хорошо подготовленным партийными и комсомольскими организациями. Но, кроме этой и многих других причин успеха всякой научно-исследовательской экспедиции, есть и еще одна -- первостепенная, хотя о ней редко вспоминают. Я имею в виду хорошую организованность экспедиции. От того, как организована экспедиция, зависит успех или неуспех всей ее полевой работы. До революции в нашей стране (а в капиталистических странах и по сию пору) люди, отправляющиеся в экспедицию, чаще всего не умели (или не могли) снарядить экспедицию так, чтобы в будущем ни в чем не терпеть недостатка; не разрабатывали плана работ до мельчайших подробностей, не координировали работу ученых различных специальностей между собой так, чтобы каждый из них помогал друг другу; в экспедицию часто попадали случайные люди -- недостаточно опытные, выверенные, бескорыстные, не воспитано было в людях чувство локтя, чувство товарищества. Именно поэтому погибали многие полярные путешественники. Именно поэтому столько экспедиций на величайшую вершину мира Чомолунгму (Эверест) оказались неудачными. Карьеризм, корыстолюбие и тщеславие были единственным стимулом некоторых авантюристов, отправлявшихся в неисследованные области.

Таджикско-Памирская экспедиция была советской. Преобладающее большинство ее участников были людьми опытными, волевыми, воспитанными в советских традициях, глубоко бескорыстными, влюбленными в свое дело. Конечно, в экспедиции этой, состоявшей из сотен научных работников, попадались и люди другого порядка, но сама жизнь отметала их очень быстро, они в экспедиции не удерживались, им нечего было в ней делать.

Как же создавалась Таджикско-Памирская экспедиция?

Но прежде чем рассказать об этом, скажу несколько слов о том, зачем она была создана.

Железные и шоссейные дороги, гидростанции, хлопкоочистительные заводы, машинно-тракторные станции, сотни школ, ирригационные сооружения -- громадное строительство развернулось в Таджикистане на территории, где за несколько лет перед тем жители отдавали своих девушек в рабство, в виде налога; где басмачи зверски пытали и убивали всех, кто вступал в борьбу за свободу; где в горных ущельях люди не представляли себе, как выглядит колесо.

Быстрые темпы строительства требовали прежде всего таких же темпов изучения естественных ресурсов страны. Изучение страны было затруднено отсутствием простейших географических знаний, белыми пятнами на картах республики. Вся сумма научных знаний об этой республике сводилась, в сущности, к разрозненным и чаще всего поверхностным маршрутным описаниям случайных путешественников. По ним можно было судить только, что Таджикистан может стать богатейшей во всех отношениях страной, что он как будто бы обладает огромными естественными ресурсами.

Степень изученности Таджикистана отставала от насущных потребностей строительства, страна не знала по-настоящему своей экономики, страна хотела строить новые гидростанции -- и не знала, где их поставить; страна строила новые шоссейные дороги -- и не знала, через какой перевал выгоднее и разумнее их проложить; страна хотела удвоить, Утроить свои хлопковые площади и площади своих абрикосовых садов, но не знала, где могут оказаться летние заморозки, угрожающие посевам, и откуда могут хлынуть сили -- грязекаменные потоки; страна хотела строить фабрики и заводы, шахты и комбинаты, но не знала промышленной ценности известных с древности месторождений полезных ископаемых и не представляла, где и какие новые месторождения могут и должны быть открыты...

Страна приступала к составлению второго пятилетнего плана -- и не знала, где развернуть сельское хозяйство, как расставить на своей территории фабрики и заводы, чтоб они оказались возможно более эффективными, чтоб они принесли максимум пользы.

Как же получилось, что работавшие до тех пор экспедиции не обеспечили стране этих необходимых ей сведений?

Дело, очевидно, заключалось в устаревших методах их работы.

Экспедиции, посылавшиеся разными учреждениями, были никак не связаны между собой: ни организационно, ни в отношении программы их работы. Они выезжали из Москвы, из Ленинграда, из Ташкента (в Сталинабаде своего научного центра тогда еще не было), каждая имела свои задания, каждая работала самостоятельно и в той области науки, к какой принадлежали осуществлявшие экспедицию специалисты.

Взаимной консультации не было вовсе или она бывала недостаточной. Часть добытых материалов "консервировалась" и фактически пропадала. Чтоб восстановить их, требовались лишние средства, лишние работники, время, усилия. В период басмачества разные экспедиционные партии оказывались часто без взаимной связи, без должной охраны, без сведений о том, что ждет их в пути, и даже иногда без оружия. В обеспечении экспедиций продовольствием и снаряжением не было никакой системы. Задания, получаемые научными работниками, бывали случайными.

Мысль о необходимости новых форм и методов научноисследовательской работы давно уже зрела в умах наиболее активных и передовых ученых, обсуждалась и в Академии наук, и в других научных учреждениях, и в крупных хозяйственных организациях республик и центра.

В частности, говоря о Таджикистане, можно было опереться на первый удачный опыт организации Академией наук СССР Памирской экспедиции 1928 года. Она была сравнительно небольшой, но, организованная на новых началах, на началах комплексности, дала очень хорошие результаты.

И вот в 1931 году ищущая мысль ученых привела к убеждению: для

быстрого, всестороннего, целеустремленного изучения естественных ресурсов Таджикистана (половину территории которого составляет Памир) необходимо немедленно приступить к созданию такой экспедиции, в которой приняли бы участие научные работники по всем научным специальностям, требуемым поставленною задачей, -- к созданию экспедиции, основой которой был бы единый научный план и которая осуществлялась бы под единым руководством и в научном, и в организационном, и в хозяйственном отношениях.

Такая экспедиция должна была быть комплексной.

Организация такой экспедиции требовала большого внимания к себе со стороны правительственных, научных и хозяйственных учреждений, требовала больших средств, опытных и энергичных, коммунистически мыслящих и умеющих работать сотрудников. В работах такой экспедиции должны были быть заинтересованы самые широкие народные массы Таджикистана, ибо для полного успеха ее работ важно было содействие каждого дехканина, каждого жителя отдаленных и заброшенных в дикие горы селений.

Такая экспедиция могла быть создана только в Советском Союзе. Она должна была быть во всех отношениях советской.

22 ноября 1931 года в научно-исследовательском совете ВСНХ СССР состоялось совещание по вопросу "об организации в 1932 году комплексной экспедиции в Таджикистан и на Памир". Идею комплексности выдвинули и убежденно поддерживали передовые ученые нашей страны, в числе которых --назову прежде всего академиков И. М. Губкина и А. Е. Ферсмана. На совещании присутствовали представители ВСНХ, Главного управления цветных металлов, Всесоюзного объединения редких элементов, Цветметзолота, Энергоцентра, Полярного комитета, Азугля, Института прикладной минералогии и других существовавших в то время в нашей стране учреждений. Конечно, присутствовали и представители правительств Таджикистана и Киргизии.

Первый период

В Совете по изучению производительных сил Академии наук СССР была создана специальная Таджикская секция. В состав секции вошли шесть академиков и тринадцать профессоров. Экспедицию возглавил научный совет под председательством академика А. Е. Ферсмана. Начальником экспедиции был назначен Н. П. Горбунов. В состав руководства вошли виднейшие ученые нашей страны: геохимик Д. И. Щербаков, геолог Д. В. Наливкин, паразитолог Е. Н. Павловский, ботаник Б. А. Федченко, геологи Б. Н. Наследов, В. А. Николаев, А. П. Марковский и другие.

27 декабря 1931 года состоялся пленум Совета по изучению производительных сил. Были обсуждены научные планы,, формы организации и методы работы экспедиции, разделенной на отряды, охватывавшие самые различные научные специальности. В числе многих десятков экспедиционных отрядов, которые предстояло создать, были геологические, геохимические, метеорологические, гидроэнергетические, гравиметрические, гляциологические, геодезические, астрономические, магнитные, сейсмологические, ботанические, этнографические, зоологические, паразитологические, экономические...

Автору этих строк -- ученому секретарю экспедиции -- поручена была организационная работа, которая к этому времени уже началась.

Надо было определить все основные объекты работ, определить их районы, составить программы, сметы, установить маршруты, исходные пункты, привлечь лучших специалистов, координировать их работу, обеспечить всем необходимую консультацию, добыть средства, заготовить продовольствие, снаряжение, инструменты, и приборы, материалы, реактивы, карты... Решение отказаться от импорта обязывало поставить на наших фабриках и заводах производство тех предметов, какие до того времени выписывались из-за границы. Надо было наладить транспорт, базы снабжения, охрану, медицинскую помощь. Надо было заинтересовать работами экспедиции местное население, разъяснить тысячам колхозников Таджикистана, горцам самых отдаленных ущелий Памира цели и задачи экспедиции.

Академия наук тогда еще была в Ленинграде, а большинство руководителей

экспедиции жило в Москве. Когда мы приступали к работе, у нас не было ни рубля государственных денег, ни сотрудников, ни места, где мы могли бы работать, кроме своих жилищ. В этот "утробный" период организации экспедиции, что было у нас, кроме огромного желания осуществить задуманное предприятие?

Моя маленькая ленинградская комната временами напоминала переполненный пассажирами трамвай, в котором к тому же разрешалось курить. Все было так зыбко и проблематично, все так еще не перешло из будущего в настоящее, что только очень убежденный человек мог верить в осуществление идеи этого предприятия. Не скрою, в этот период находились неверующие. Один из научных работников однажды в ответ на мои приставания осадил меня:

Ну вас, только морочите голову, таскаете меня по заседаниям. Дергают, сулят с три короба, а потом и десятой доли не выйдет... Да неужели вы думаете, что моя научная специальность действительно найдет у вас применение? Буду ходить на ваши заседания -- только время зря потеряю!..

Через месяц этот самый -- почтенного возраста -- ученый, запыхавшись, бегал из учреждения в учреждение, шумно теребил молодых, вдохновлял их своей восторженностью и торопился как можно скорее выехать к месту работ.

"Утробный" период организации кончился очень скоро. Завелись первые деньги. Нашлось помещение: Совет по изучению производительных сил выделил для экспедиции комнату в просторном, но переполненном здании бывшей Фондовой биржи, на берегу Невы.

Начали появляться первые люди, между которыми можно было разделить организационную работу.

В Москве, например, -- начальник снабжения. Это был низкорослый, всегда суетящийся человек с быстрыми жестами, невозмутимый только в подтверждении своих обещаний достать то, что, казалось, явно он не достанет. Мы прозвали его "Плавунец", потому что своей суетливостью он действительно напоминал жука-плавунца. Он очень любил командовать и распоряжаться, а командовать и распоряжаться было некем, все приходилось делать ему самому. Он злился и бегал и все делал сам. Он был хорошим "добытчиком", но совершенно не умел планировать и вносил страшный беспорядок в дела. Впоследствии Плавунцу пришлось покинуть экспедицию, как покинули ее еще до отъезда в "поле" и некоторые другие сотрудники, не умевшие достаточно хорошо справляться со своим делом.

В Москве и в Ленинграде у нас уже были первые машинистки, которые, возгорясь энтузиазмом, прощали нам бескорыстное наше стремление заваливать их работой. Первый представитель финансовой части, в задачи которого входило странствование по учреждениям для добывания обещанных денег, обладал даром убедительного красноречия и, страшно жестикулируя ладонями перед собственным лицом, талантливо склонял любого скупца к выполнению взятых им на себя обязательств. Технический секретарь, гражданка солидных лет, тщетно силилась проникнуть в премудрость самых замысловатых геологических и гравиметрических терминов, чуть не плакала, звоня мне по телефону и требуя разъяснений, и очень старалась жить в бешеном темпе организационных работ. Бухгалтеры Совета по изучению производительных сил ожесточились на нас необычайно: мы нарушали спокойную атмосферу их существования, мы негодовали, когда бумага тащилась, как ломовая телега, по созданным ими бесчисленным инстанциям; нам требовалась быстрота голубиной почты, мы беззастенчиво ломали ветхие, на наш взгляд, формы делопроизводства, мы упрощали их до крайности.

Мы неустанно тормошили ученых и научных работников, которые по своей ли вине или по причине загруженности прочей научной работой мешкали или слишком "медленно торопились". И постепенно в наш лагерь "воинствующих организаторов" переходили все новые и новые люди.

В московском научном штабе

Шла зима. В Ленинграде появился энергичный работник -- Ольга Александровна Крауш, которая раньше работала у А. Е. Ферсмана. Заняв должность второго секретаря экспедиции, она с первого же дня вошла в самую сердцевину дела и повела его с умом и тактом. Такт был необходим потому, что в процессе организации иногда возникали мелкие конфликты между научными работниками -- из-за личных ли отношений, из чувства ли неверно понятого самолюбия, или еще по каким-либо неясным для нас причинам. **Тот** хотел ехать начальником отряда, а его утверждали помощником; этот интересовался одним районом, **а** его посылали в другой, практически гораздо более важный; другой хотел иметь в караване своего отряда двенадцать лошадей, **а** ему предоставляли только одиннадцать; четвертый обижался, что, выдав ему на руки сметные деньги на полевые работы, мы попридержали, опасаясь перерасхода, деньги, полагавшиеся на камеральную обработку будущих коллекций; пятый... Но ведь не перечислить всех мелочных вопросов, для разрешения которых требовался прежде всего такт.

Дело уже разрослось необычайно. Работать без ежедневного личного общения с академиками, возглавлявшими экспедицию, стало невозможно. Не помогали ни мои ежесуточные рапорты, ни еженощные телефонные разговоры по прямому проводу Ленинград -- Москва. Пришлось выехать в Москву. В Москве, в приютившейся под крылышком Комиссии содействия ученым конторе экспедиции, с утра до ночи шумели и волновались многочисленные сотрудники. Контора эта походила на штаб времен гражданской войны. Так мы и называли ее -- штабом. Папки с бумагами, карты, книги, образцы снаряжения загромождали коридор и комнаты, столы, диваны и стулья. Научные работники приезжали из Ленинграда и засиживались здесь до глубокой ночи. Ночью на полу расстилался ковер, на ковре разворачивались
спальные мешки, люди забирались в них, как на памирских высотах, и спали рядком до утра, а проснувшись на рассвете, вновь ожесточенно принимались за дело.

Приходил альпинист, ведавший заготовкой высокогорного снаряжения, -- сильный и здоровый человек, спокойный, энергичный, выдержанный, прекрасный товарищ. Он приносил с собой образцы. Тогда здесь начинались странные дела, которые очень удивили бы случайно зашедшего, неподготовленного, постороннего зрителя: альпинист снимал с себя элегантный пиджак, стягивал свежевыутюженные брюки, облачался в штормовой зеленый костюм, в шакельтоны и начинал проделывать хитроумные махинации, скажем, с альпийской веревкой. Потом цеплялся ледорубом за карниз книжного шкафа и повисал на нем. Развитое, массивное тело альпиниста качалось навесу, и кто-нибудь из нас тянул его за ноги. Это называлось -- испытанием прочности ледоруба.

На полу расставлялись палатки, и мы ползком забирались в низкую, так называемую "шустеровскую", сшитую из пропитанного специальным составом парашютного шелка, -- надо было на себе испытать ее качества.

Однажды вечером явился Плавунец, в ту пору еще у нас работавший. Ему хотелось удостовериться в прекрасном впечатлении нашем от образцов альпийских ботинок, присланных накануне с фабрики. Он пришел в неудачный момент: двое здоровяков -- альпинист и геолог, пробуя все наличные ножи и даже пилу, прилагая все свои силы, кряхтя и посмеиваясь, силились разрезать пополам тяжелый ботинок, с толстенной -- в палец толщиною -- подошвой. Плавунец ужаснулся такому святотатству: резать пополам великолепный новый ботинок!

Но когда ботинок разлетелся, наконец, на две половины, когда альпинист и геолог мрачно переглянулись, обнаружив между слоями кожи пластину картона, Плавунец попытался возможно незаметнее удалиться. Он был настигнут жалом спокойных, но весьма язвительных замечаний. Подошве полагалось быть только из кожи. Ботинки "навзрез" оказались недоброкачественными.

В следующей партии обуви никаких дефектов обнаружить уже не удалось.

Однажды утром москвичи, проходившие по переулку мимо нашего штаба,

столпились у ворот дома, во дворе которого раскинулся большой лагерь палаток. Москвичи удивлялись, а орава восхищенных мальчишек прыгала из палатки в палатку, воображая себя в дебрях неизвестной страны.

Плавунец приносил банки с консервами, изготовленными Для экспедиции, и целая комиссия собиралась дегустировать
какую-нибудь банку иваси или сгущенного молока. Члены комиссии были неумолимы. Они браковали продукты без всякого зазрения совести, и Плавунец истошным голосом клялся и божился, уверяя, что продукты хороши и что сотрудники экспедиции не цацы, могут, мол, съесть и такие. Плавунец и слышать ничего не хотел об особенностях климата, о предстоящей многомесячной перевозке продуктов во вьюках и в кузовах автомашин -- то под лучами жгучего солнца, то под покровом морозной ночи. А члены комиссии требовали, требовали, не теряя спокойствия, ровным, чуть обиженным тоном. Плавунец никогда не бывал в экспедициях, о многом имел неверное представление. Именно поэтому нам и пришлось с ним расстаться.

Как я уже сказал, в нашем штабе работа начиналась с рассвета. Раззванивался телефон, столы заваливались бумагами, толпами осаждали штаб посетители. Нечто вроде летучего клуба бывало в передней, где стоял широкий диван. Здесь, в табачном дыму, возникали иной раз дискуссии по сложнейшим теоретическим научным вопросам.

Приходили: профессор-геолог, сейсмолог, этнограф и... страницы не хватило бы, чтоб перечислить научные специальности всех бывавших здесь ученых; студенты, альпинисты, сапожных дел мастер, военный топограф, охотник, предлагавший себя в зимовщики, шофер (они являлись обычно толпою), кооператор, лошадник -- специалист по горным породам лошадей, радист, врач со списком заказанных в лучшей аптеке лекарств, портной, председатель треста и все варианты хозяйственников, репортер, нарком Таджикской республики, академик, агент треста точной механики, бухгалтер, пограничник, шугнанец -- студент Восточного факультета, летчик, взволнованный и разгоряченный аспирант-гляциолог, хладнокровный пожарник, фотограф, свободный художник, шахтер, энтомолог-любитель, статистик и многие, многие другие...

Иногда они приходили порознь, поодиночке. Чаще они вваливались все вместе. Тогда в гуле голосов слышались термины из всех научных и технических словарей сразу. Тогда приносимые образцы, портфели, покупки загромождали входы и выходы и приходилось ходить по комнатам, как по моренам, -- перепрыгивая через препятствия.

В этой обстановке нам предоставлялось право продуктивно и спокойно работать... переговорив с каждым из пришедших, дав ему совет, указание, расспросив о подробностях дела, узнав самую его суть.

Мы работали. Мы разговаривали с посетителями об изотермических вагонах, о звездных хронометрах, о восстановлении разрушенных мостов на реке Мук-су, о тысяче лошадей, закупаемых на Тянь-Шане, о тысяче других полезных и нужных вещей.

Вот входит геолог и предлагает новую идею: на всех реках Памира поставить крупные работы по промывке золота, -- всюду, где его можно предполагать, а предполагать его можно всюду, потому что памирцы намывали золото в своих реках со времен глубочайшей древности и золотоносность памирских рек была известна еще Плинию. Геолог предлагает собрать местных жителей, -- ведь все они опытны в этом деле, -- расставить их в намеченных пунктах, дать каждой группе по одному специалисту и тут же, на самом Памире, установить походные лаборатории, чтобы сразу же делать количественные и качественные анализы. Тогда будет полное представление о всех месторождениях золота на Памире. Геолог говорит долго и убежденно, доказывает, увлекается сам. Все сразу загораются этой идеей, подходят к шкафам, роются в книгах, перелистывают их, обсуждают детали...

Вот гляциологи рассказывают, как они будут строить на леднике Федченко высочайшую в мире обсерваторию. Идея великолепна, но почти фантастична: можно ли втащить на высоту почти в четыре с половиной километра над уровнем

моря, по леднику, сотни тонн груза?

Вот А. Е. Ферсман... Но у Александра Евгеньевича идеи рождались пачками, и мы шутя называли его "фабрикой идей".

Кроме Москвы и Ленинграда, дело организации экспедиции творилось еще во многих городах Союза.

В Баку, в Одессе, в Керчи, в Таганроге, в Куйбышеве (который тогда еще назывался Самарой) с фабрик, с заводов, с промыслов к вокзалам подъезжали автомашины. Грузились вагоны консервами, рыбой, копченостями, сапогами, -- кто запомнит, чем еще? Вагоны шли в Москву или прямиком в Среднюю Азию.

В городах и селениях Средней Азии

А в Средней Азии работа кипела во многих местах.

В селении Кочкорка, недалеко от Фрунзе, в пределах Тянь-Шаня, заведующий хозяйственной частью Леонид Маслов, участник нескольких экспедиций на Памир, всю свою жизнь проскитавшийся по среднеазиатским степям и горам, закупал лошадей киргизской горной породы. Не десятки, не сотни -- лошадей нужна была тысяча, отборных, здоровых, выносливых. Им предстояло пройти больше пятисот километров по горам до города Ош, где мы должны были распределить их по отрядам. Вторую партию лошадей Маслов отправлял в вагонах до Сталинабада.

Я забрасывал Маслова тревожными телеграммами:

"Нам ничего не известно о лошадях. Сколько их? Сколько за них уплачено? Отправлены ли они в Ош самоходом? По какому маршруту? С каким сопровождением? Когда? Организована ли их охрана? Когда будут в Оше? Какое нужно содействие? Нужно ли распоряжение о предоставлении вагонов Турксибом?"

И Маслов в ответ слал "молнии":

"Лошадей отправляю 247 зпт отряд семь человек зпт погонщиков двенадцать остаюсь дополучать маслов".

"Выступили нарына следуют курорт через перевал конвой добротряд сам остаюсь дополучать лошадей маслов".

Однажды пришла "молния" странного содержания:

"Сообщаю сотрудник маслов номер 9 лошадей принимаю сам маслов".

Перед тем мы запрашивали номер контокоррентного счета Маслова, для того чтоб перевести ему сорок тысяч рублей. Но был у завхоза Леонида Маслова старший рабочий Егор Маслов -- мой старый знакомый по прошлым экспедициям на Памир, которого я пригласил на должность повара в ту экспедиционную группу, которую должен был вести на Памир сам. Этот Егор Маслов был опытнейшим экспедиционным рабочим. Тринадцать лет подряд, участвуя в различных научных экспедициях, ездил он по Памиру, Тянь-Шаню, Монголии и Кашгарии. Бывал во всяческих переделках, знал несколько восточных языков, был подлинным знатоком лошадей. Жил он в городе Караколе, недалеко от Кочкорки и Фрунзе, и потому я временно назначил его помощником к Леониду Маслову.

Мы перевели на контокоррентный счет No 9 сорок тысяч рублей, но у меня тут же возникло сомнение в правильности телеграммы. Мы несколько раз проверяли ее, однако почтамт неизменно уверял нас, что наши сомнения напрасны.

Через неделю пришло письмо от Леонида Маслова с извещением о том, что в телеграмме вместо слова "номер" должно быть "помер" и что Егор Маслов умер девятого числа, схватив воспаление легких после падения с автомобиля в холодную горную реку.

Мне было искренне жаль Егора Маслова, он был прекрасным работником, верным товарищем, честным и хорошим человеком и совершенно неутомимым спутником в самых тяжелых странствиях по горам...

Огромная работа велась в Оше и в Сталинабаде. Здесь создавались основные, как их называли, исходные, базы экспедиции. Маленький город Ош Киргизской республики, как и во всех прежних экспедициях на Памир, был пунктом, где нанимались караваны, -- здесь были кадры проверенных

длительными путешествиями караванщиков; сюда к 1932 году была проведена железная дорога от станции Карасу, и потому естественно было основную базу для отрядов, отправляющихся на Памир, создать, по примеру прошлых лет, именно здесь.

Маленький дом ошского агронома Кузьмы Яковлевича Жерденко, на берегу реки Ак-Бура, по традиции был пунктом сбора всех сотрудников памирских экспедиций. В саду и на просторном дворе устанавливались палатки. Кладовая и кухня дома заполнялись экспедиционными грузами, -- на этот раз грузов, однако, было столько, что они заняли огромную территорию вдоль всего берега реки Ак-Бура. Дом, сад и двор Жерденко были превращены в территорию стройки огромной базы. Здесь к приезду отрядов должны были вырасти склады, столовая, контора, гараж, общежитие, конюшня, пекарня и мясосушилка. Жерденко, приглашенный в состав экспедиции на должность заведующего ошской базой, получил распоряжение построить все за месяц.

В Сталинабаде опорного пункта не было. Через Сталинабад должна была пройти почти половина отрядов южного и центрально-таджикистанского направления. Для организации базы был арендован дом Тропического института, один из немногих крупных домов быстро строящейся молодой таджикской столицы. Сюда заведующим сталинабадской базой экспедиции был направлен ее парторг -- человек твердого характера, энергичный, прекрасный организатор. Он быстро создал базу и потом все лето планировал работу экспедиционных отрядов, выступивших в долины и горы из Сталинабада.

К началу полевой работы была создана и третья исходная база, в городе Пенджикенте -- для отрядов, направлявшихся в Кухистан -- в верховья Зеравшана, на Ягноб, в ущелья Туркестанского, Гиссарского и Зеравшанского хребтов. Здесь вся организационная работа была поручена местному гидрометеорологическому комитету.

Кроме этих исходных баз, было организовано множество полевых баз в горных кишлаках, на пограничных заставах, а иногда и просто в безлюдных местах у пастбищных площадок и у берегов рек. Сюда заблаговременно забрасывались мука, фураж, рис и другие тяжелые грузы.

К маю важнейшая часть всей организационной работы в Москве и на базах была закончена.

Последний месяц...

В специальном постановлении Совнаркома СССР о Таджикской комплексной экспедиции, признававшем за экспедицией всесоюзное значение и устанавливавшем основные направления ее работы, был пункт, которым Управление автомобильной промышленности обязывалось выделить экспедиции шесть полуторатонных автомашин.

Мысли об автомобильном транспорте мучили нас перед тем долгое время. Можно или нет организовать на Памире автомобильные перевозки? Единственный автомобильный тракт Ош -- Хорог еще только начинал строиться. Некоторые специалисты утверждали, что попытка пустить на Памир -- на высокогорный Памир -- автомобили, в лучшем случае, легкомысленна; что все машины, бесспорно, будут погублены и вообще не дойдут до Памира, потому что разве мыслимо одолеть огромные памирские перевалы, бешеные памирские реки, узкие каменистые ущелья и многие другие препятствия?

Первое время руководство экспедиции колебалось. Геолог Юдин и я были, однако, ярыми сторонниками участия в экспедиции автомобильного транспорта. У нас были веские основания. В 1931 году мы вышли из Оша на Памир вместе с караваном Памирского погранотряда, которому тогда предстояло поставить на Памире заставы там, где их прежде не было, и закрыть государственную границу. Начальник Памирского погранотряда, приняв поданную нами идею, рискнул взять на Памир две грузовые автомашины. Решили, что они пойдут самоходом до тех пор, пока неодолимые препятствия не заставят разобрать машины и погрузить их на верблюдов. Превосходные водители Гончаров и

Стасевич -- рядовые андижанские шоферы -- сговорились между собой, что ни при каких обстоятельствах не допустят разборки машин. Автомобили шли впереди каравана и дожидались его на ночлегах. Препятствий было великое множество, и об этом походе дальше, в этой книге, я расскажу подробнее. 14 июля 1931 года обе машины в целости и исправности, самоходом пришли в Мургаб -- впервые в истории Памира. Я присутствовал при великолепной, торжественной встрече, которая была организована населением Восточного Памира. Оба автомобиля остались здесь и успешно работали на Памире все лето и осень до закрытия перевалов.

Об этом мало кто знал. Газеты сообщили об этом в кратких заметках. А дело это было огромной важности.

Юдин и я наблюдали весь поход тех двух машин, в отдельных местах сами оказывались их пассажирами и потому были убеждены в том, что и в наступившем году автомобили
нашей экспедиции будут работать не хуже. Нам удалось настоять на своем, хлопоты, как и следовало ожидать, увенчались успехом. Мы получили с Горьковского завода шесть новеньких полуторатонных машин с запасными частями, с солидными нарядами на горючее. Лучшие автомобилисты Москвы добивались чести стать водителями этих машин.

К середине мая отряды экспедиции один за другим двинулись из Москвы. В окончательном плане работ значилось семьдесят два отряда, в которых оказалось двести девяносто семь научных работников, триста пятьдесят караванщиков и постоянных рабочих, до четырехсот временных местных рабочих.

Задачи экспедиции определялись краткой формулировкой: "изучение производительных сил Таджикистана в целях наилучшего использования их во втором пятилетнем плане социалистического строительства".

Вся работа экспедиции должна была опираться на хорошие топографические карты. А на Памире было еще много белых пятен. Ликвидировать их, составить точнейшие карты предстояло четырнадцати отрядам, возглавляемым видным топографом И. Г. Дорофеевым, которому в Памирской экспедиции 1928 года удалось хорошо исследовать бассейн ледника Федченко и сделать подробную карту этого бассейна, применив, вместе с немецкими участниками той экспедиции, впервые в СССР метод стереофотограмметрической съемки.

Идея комплексного, всестороннего изучения страны, как показало будущее, нашла самый живой, самый горячий отклик не только в учреждениях и общественных организациях Таджикской республики, но и среди дехканства, среди жителей самых затерянных, самых глухих горных кишлаков. Где-либо на самой границе Афганистана, в каком-нибудь еще не обозначенном на картах кишлаке, жители, вчера еще не знавшие, что такое оконное стекло, поклонявшиеся "живому богу" исмаилистской религии, собирались толпами вокруг сотрудников экспедиции, едва те появлялись там, слушали лекции профессоров о полезных ископаемых, о кормах, о будущих гидроэлектростанциях. И после такой лекции горные пастухи, садоводы и землепашцы организовывали при сельсоветах ячейки содействия экспедиции, несли в сельсоветы образчики горных пород, редких высокогорных растений...

Такое отношение местного населения к экспедиции было результатом огромной разъяснительной работы местных партийных и комсомольских организаций.

К концу мая почти все отряды прибыли в Ош, в Сталинабад, в Пенджикент. В июне они приступили к полевой работе.

В Сталинабаде

18 мая 1932 года в автомобиле, мчавшемся полным ходом к Казанскому вокзалу, я еще додиктовывал Ольге Александровне Крауш, остававшейся вместо меня в Москве, все, что поручалось теперь другим. А Ольга Александровна, прощаясь, заботливо сунула мне в руку листок, на котором был записан ею мой ташкентский, хорошо известный мне адрес. Она была права: как и все мы, я так

переутомился, что даже мой собственный адрес мог забыть. Я ехал в Ташкент, откуда мне предстояло вылететь в Сталинабад, чтоб сделать доклад таджикскому правительству. Оттуда я должен был вернуться в Ош и, отправив на Памир все отряды, выехать с последним из них сам. С моим отъездом в Ташкент экспедиция для меня началась. И она действительно уже началась.

Англичане, создавая первую экспедицию на Чомолунгму (Эверест), подготовлялись к ней ровно три года, но хорошо организовать ее не сумели. Подготовка бесконечно большей по объему работ Таджикской комплексной экспедиции продолжалась ровно пять месяцев. Благодаря вниманию к ней правительства и энергии ее научного руководства организована она была превосходно.

Летим в Сталинабад. Через полтора часа пути, после посадки в Самарканде, потянул резкий, холодный ветер от вечных снегов. Мы вплотную приближались к острозубому, сверкающему снежными склонами Иллик-Башу. Через четыре минуты нетающие снега оказались внизу, а перед нами, в упор -- ледяная стена, и еще через минуту спиралью, обжимаемые шершавыми, отвесными скалами, мы тянемся вверх, как дым в трубе, -- к свободному воздуху. Нам не хватает высоты, и об этом, отскочив от скал, будто сотней ревущих моторов, угрожающе гремит эхо... Нам не хватает высоты, и целые три минуты мы кажемся себе маленькими. А потом небо скатывается вниз, все плоскости перемешиваются, как в кино, когда обрывается лента, и, высунув голову из окна кабины, я вижу поползший вниз серебряный склон. Это значит: мы начали переваливать. Дует очень резкий, морозный ветер. Еще две минуты под очень крутым углом наш "Л-741" карабкается на перевал, потом сразу Иллик-Баш обрывается отвесной, дикой, скалистой грядой, под нами долина знойного Ширабада, нас качает, и мы ложимся на прямой курс, наперерез горам, на Сталинабад. Через час полета над зубцами хребтов, выключив все три мотора, мы идем на посадку. Поле красных маков встает дыбом, но вот колеса уже бегут по земле и маки сливаются в красное полотнище.

Сталинабад... Сколько раз я бывал в этом городе, и всегда все в нем по-новому. Ни улиц старых не узнаю, ни целых кварталов. Новые дома, сады, проспекты. Там, где в тридцатом году я проезжал верхом, видно двухэтажное белое здание. Там, где в тридцать первом году я спал в чайхане, сейчас проходит автобус. Вот только жара в нем всегда неизменная. Впрочем, и она через несколько лет, когда подрастут насаженные повсюду деревья, станет, конечно, не так ощутима. В тридцатом году я сам, как и все приезжавшие в Сталинабад -- город, только что получивший свое новое гордое название, -- посадил несколько деревьев. Я их не искал сейчас, но не сомневаюсь -- они растут.

Автомобиль мчится по городу -- весь в клубах лессовой пыли. Здесь будут улицы, залитые асфальтом, здесь вдоль улиц будут аллеи тенистых деревьев, здесь пустыри исчезнут, а вместо них сомкнутся ряды красивых домов... Сейчас год 1932-й. Столица Таджикистана -- вся в стройке, вся в будущем, но уже и сейчас она приобрела очертания большого города.

Меня везут в дом отдыха, что устроен в Варзобском ущелье, в старинном кишлаке Варзоб-кала. Там мне предстоит встречаться со всеми людьми, с которыми надо беседовать об экспедиции. Миновав город, едем дальше по сузившейся, подступающей к горлу ущелья автомобильной дороге. Это начало нового автомобильного тракта, который, прорезав два огромных хребта -- Гиссарский и Зеравшанский, выйдет напрямую к Ура-Тюбе и далее, через Урсатьевскую, к Ташкенту. Вместо тысячи двухсот километров -- всего двести восемьдесят. Вместо двух суток пути по железной дороге, огибающей эти горы, всего лишь день автомобильного путешествия. Дорога проложена только на сорок километров, и чем дальше она врезается в горы, тем больше тонн аммонала и динамита нужно на каждый новый километр.

Холмы вырастают в горы, река уже бурлит по камням, мы едем ущельем.

Неожиданно слева от дороги -- огромный лагерь палаток, мешанина вагонеток, машин, инструментов, железного лома, а через реку -- висячий, на тросах, мост. Это все -- Варзобстрой, строительство Варзобской гидроэлектрической станции, которая будет питать током город Сталинабад. Белые дома, кооператив, клуб, почта, столовая, красные плакаты на въездной и выездной арках поселка, оживленные люди. Три года назад ущелье в этом месте было первобытным и диким.

Навстречу машине идут рабочие, едут путники на ослах. Над нами -- скалистые стены ущелья и каменистая, узкая дорога петлит над громыхающею рекой. И вот -- мост. Древний мост из ветвей и качающихся под пешеходом бревен. Мост, по которому только в поводу можно перевести осторожную лошадь. Выхожу из машины, вступаю на мост. Несколько красноармейцев сидят под деревом в группе дехкан -- взрослых и детей: импровизированный урок грамоты. У дехкан в руках буквари; красноармейцы терпеливо исправляют ошибки. Дехкане -- в халатах, в обуви из козлиных шкур.

За мостом срываю с деревьев сладкие ягоды тута, прыгаю через ручьи, пересекаю маленький горный кишлак, такой же, как все горные таджикские кишлаки. Здесь -- покой, особенный, безмятежный. Навстречу поднимаются белобородые, словно сошедшие со страниц библии, старики. Здороваются, прикладывая ладони к груди, подходят, жмут руку, разговаривают просто, будто с соседом по дому.

Старинный кишлак Варзоб-кала -- древняя крепость. Оазис гигантских платанов среди скал и журчащих ручьев. Небольшая ограда; над калиткой полощется красный флаг; под платанами ровная, как бы выутюженная площадка, на ней наискось -- шесть больших палаток, за пологами видны железные кровати, -- это дом отдыха, в котором меня встречает таджик, коренастый и крепкий, темнолицый, приветливый, в защитных армейских галифе и гимнастерке. Он заведует домом отдыха.

Площадку омывает бурливая речка Оби-Замчируд, глубоко прорезавшая это ущелье. Над речкой -- большой камень, плоский, черный камень, на нем -- ковры, одеяла и подушки. На коврах и подушках -- работники Таджикской республики, русские и таджики, все в белом, -- летом в городе жарко. Многие деловые встречи происходят здесь.

После обеда -- разговор о делах. Обсуждается план работ экспедиции, это, так сказать, предварительное обсуждение. Официальный доклад будет в Сталинабаде. Речь заходит о месторождениях полезных ископаемых. Один из сидящих рядом дехкан вмешивается в беседу. Выясняется, что он любит камни, что он многое знает, что дома у него, в соседнем кишлаке, есть какие-то образцы.

-- Товарищ Абдукагор, -- обращается к нему мой сосед, -- вы, значит, местный геолог?

Абдукагор не знает, что значит слово "геолог", но охотно рассказывает все, что ему известно. И я, с его слов, записываю сведения о старых копях в пяти километрах от кишлака Гаджни, о следах древних разработок в Такобе *, и в кишлаке Демаян, и в Куй-Тепе, что расположено в четырех километрах выше кишлака Бегар, и о какой-то обнаруженной при постройке дороги двадцатиметровой жиле против кишлака Бега...

* Теперь на этом месте работает один из гигантов таджикской индустрии -- Такобский комбинат, вступивший в строй в 1948 году.

Это все надо выяснить. Может быть, и действительно, расспросные сведения помогут нашим геологам отыскать таимые горами полезные ископаемые?

В районе Варзоба будет работать геохимическая партия Поляковой. Надо ей сообщить. Абдукагор берется проводить "инженера" к указанным им месторождениям.

Мы идем осматривать ближайший кишлак. Кругом -- острозубые, скалистые

горы. Со всех сторон -- дикие горы. Я в самом сердце страны, в еще не обжитой глуши, и кажется, брожу по горам уже долгие месяцы. Неужели сегодня, еще только сегодня, я был в Ташкенте? В огромном культурном центре, где ходят трамваи, где советские учреждения ничем не отличаются от московских, где три четверти жителей не представляют себе таких, как эти, диких, скалистых гор? Какой длинный сегодня день!

Вечером меня зовут к дастархану. Под платанами, на площадке, огромный ковер. По краям -- одеяла, между одеялами скатерть, уставленная фруктами, мясными блюдами, салатами. Мы пьем и едим, отрываясь только для тостов. У края ковра располагаются музыканты -- дехкане, и один из них, бренча на дуторе, поет песню, часть которой можно перевести вот так:

Узнай мою родину, --
Она на истоках самого Бадахшана.
Между розовых скал
Бьется чистый ручей.
Узнай мою родину, -- В ней солнце скрывается рано. В ней за целую ночь не устал Петь о легкой любви соловей.
Узнай мою родину, -- Здесь, под тенью платана, Я сегодня слыхал Разговор об отчизне моей.
Узнай мою родину, -- Я и сам никогда не устану Петь о том, чем он стал, -- Бадахшан без богов и царей...

Певец трясет головой и качается. Он сидит, широко раздвинув колени. Песня его нескончаема. Он оставляет дутор и объясняет смеясь:

-- Это начало. В три дня можно кончить. Если ты решишься слушать, то к восходу солнца я могу кончить.

А музыка чья? -- улыбаясь, я спрашиваю его. Он смотрит на меня веселыми глазами и молчит.

Его, это его музыка! -- говорит за него мой сосед. Имя певца -- Алим. Усто Алим, что значит: "мастер
Алим".

Его профессия?

Он блюдо делает. Понимаете? Деревянное блюдо.

Я хочу посмотреть на изделия его рук. Прошу его принести образцы. Старик поднимается к уходит.

Почему же сейчас? Почему не потом?

Ему завтра надо рано итти на пастбище.

Два других музыканта поют и играют "Гороулы" -- "Сын гроба", "Оля миор" -- "Мир -- его друг" и другие длинные песни.

В песне встречается слово "бог". Мы говорим о боге. Музыкант перечисляет его имена: рахим -- милосердный, рахман -- милостивый, джалиль -- сверкающий, каллог -- создатель, раззог -- всепитающий... Музыкант неожиданно прерывает перечисление:

-- Вот скажу: бог слышит, но ушей не имеет; видит, но глаз не имеет; кушает, но рта не имеет; дышит, но сердца не имеет; думает, но головы не имеет... это последнее правильно!

Общий смех, и мы продолжаем чаепитие.

... Сталинабад. Здесь создается Таджикская база Академии наук СССР. Председатель базы академик С. Ф. Ольденбург. Заведующий геологическим сектором -- Г. Л. Юдин, ботаническим -- Б. А. Федченко.

Белый одноэтажный дом. В нем сейчас организационный хаос. Груды ящиков, мебели, книг. Все еще не устроено. Между ящиками, раздвинув их, уместились кровати, -- сотрудники базы еще не наладили свою жизнь. База и экспедиция

находятся в тесном взаимодействии и в меру сил помогают друг другу. Больше того: база Академии наук не могла бы быть создана, если б не опиралась на работы сотрудников экспедиции.

А недостроенный дом Тропического института, в котором поместились уходящие в "поле" отряды экспедиции, пребывает в еще более взъерошенном виде. Неоштукатуренный, весь в дранке, с незастекленными окнами, этот двухэтажный дом, однако, уже заполнен людьми и всяческими припасами. В нем обитают энергетики, этнографы, геохимики. На пустыре, перед домом, пылают костры, на кострах чернеют казаны, в них булькает и пенится суп. Дальше, на коновязи стоят лошади, приводимые с пастбища. Они худы, тощи после железнодорожного путешествия из Фрунзе, их надо откармливать.

Между базой экспедиции и базой Академии наук белеет общежитие таджикского правительства. Это третий угол треугольника, составленного маршрутами, по которым с утра до вечера носится предоставленная мне автомашина.

В Сталинабаде побывал академик А. Е. Ферсман. Ему показали образец руды, только что найденной таджиком-дехканином в верховьях Харангона. Ферсман дал определение образцу, направил на Харангон научных сотрудников.

Список называемых дехканами месторождений все увеличивается. В Бальджуане, в горах Кааль-а-ги называют несколько месторождений металлов. Неподалеку от Варзоба называют ценный минерал. Каждый день указания умножаются. Обо всем этом надо подумать, это все надо проверить.

И вот, наконец, официальные доклады об экспедиции в Совнаркоме и на пленуме Сталинабадского горсовета. Выслушать и обсудить доклады собралось больше двух тысяч дехкан из окрестных селений.

В постановлении пленума -- горячие приветствия экспедиции и множество пунктов, обеспечивающих нам всяческое содействие.

Прямо с пленума колхозники уносят в дальние горные кишлаки весть о том, что без них, без широких народных масс, никакое научное знание не может проникнуть в толщу древних загадочных гор.

Период торжественных встреч и торжественных взаимных обещаний кончился. Надо немедленно приступать к исполнению обещаний.

Спешу в Ош.

В Оше

Здесь уже почти все готово. Целый город вырос на территории ошской базы. Многие десятки палаток, заняв весь двор, спустились на берег реки Ак-Бура, заполнили его на полкилометра вширь. Сотни людей хлопочут, напряженно работают, волнуются в этом городе. Каждый день прибывают все новые люди, все новые грузы.

Кроме всех других задач, на организаторах экспедиции лежит еще одна большая задача -- обезопасить полевую научную работу от всяких случайностей. Многим отрядам предстоит заниматься исследованиями вдоль самой границы с Кашгарией и Афганистаном. Памир сам по себе совершенно мирен и тих. Времена басмачества кончились. Никаких басмаческих банд в наших пределах нет и не предвидится. Но никто не может гарантировать, что не будет вражеских наскоков из-за границы. Мирная работа нашей экспедиции, как всякая работа, связанная с интересами социалистического строительства, неминуемо должна вызывать злобу и ненависть классовых врагов, зарубежных империалистов. Нам следует быть начеку. Поэтому для охраны экспедиции дается несколько взводов пограничников, а сама экспедиция военизируется: все сотрудники получают оружие. В ошской базе под руководством командиров Красной Армии проводятся учения. В лагере соблюдается воинская дисциплина. Установлены постоянные ночные дежурства.

Однажды утром, в середине июня, телефон сообщает о прибытии в Ош нашей автоколонны. Весть облетает палатки, люди спешат из палаток на улицу, нетерпеливо расхаживают по аллее гигантских тополей. Вдали, между тополями, показывается облако пыли.

-- Идут!.. Идут!..

Автоколонна быстро к нам приближается. Все шесть автомобилей движутся плавно, как эскадра, один за другим, с равными интервалами. На первой машине развевается большой красный флаг. С протяжным, торжественным ревом сигналов эскадра автомобилей подходит к нам полным ходом; соблюдая те же интервалы, замедляет ход, разворачивается и стопорит, тщательно выровнявшись по фронту. Гудки смолкают разом, и встречающие, не сговариваясь, кричат: "Ура!"

На кузове каждой машины, внутри большого белого круга, крупными буквами сверкает обозначение: "ТКЭ", и стоит порядковый номер. Из машины No 1 выходит в элегантном белом костюме начальник автоколонны -- Г. Н. Соколов, в далеком прошлом -- летчик, в недавнем -- участник Памирской экспедиции 1928 года, ловец диких зверей, отправлявший их в Зоологический сад Москвы. Все водители выстраиваются, каждый перед своей машиной. Каждый -- в синей, новенькой, с иголочки, тщательно выутюженной спецовке. Г. Н. Соколов берет под козырек и отчетливо рапортует о прибытии автоколонны ТКЭ из Москвы. Только сегодня утром машины выгрузились с железнодорожных платформ.

Ошские жители толпятся вокруг, с любопытством разглядывая новенькие, безукоризненно чистые машины и удивляясь этому неожиданному параду. Ошские шоферы -- водители старых, тарахтящих "гробов", грязные, как и их машины, сбежались сюда и обсуждают происшествие с деланой насмешливостью и плохо скрываемой завистью:

-- Гляди, какие приехали! Фасон развели: москвичи!.. По асфальтам привыкли кататься!.. А только посмотрим на их физиономии примерно через неделю... Все машины погробят, все под обрывами будут валяться. Тогда увидим, какой у них парад будет. Это им не Москва!

Ошские шоферы не знают, что автоколонну ТКЭ организовал московский совет Автодора; что водители выбраны из лучших московских шоферов; что чести завоевать автомобилем
Памир добивались в Москве многие гонщики и инженеры-автомобилисты. И мрачным предсказаниям ошских водителей, как показало будущее, не суждено было оправдаться: все шесть машин работали на Памире превосходно, ни одна не имела значительных аварий, две машины осенью совершили поход Памир -- Москва.

... Первые отряды, снарядив караваны, уходят. Тем временем грузы продолжают прибывать и не хватает еще только плащей, брезентов и вьючных ящиков. Это "только" -- очень существенное: в Алае идут проливные дожди, -- как спасти от них сахар, фотопластинки и все, что боится сырости и воды? Вьючные ящики, которые есть в Оше, приходится распределять между уходящими отрядами с большим выбором. Ошский телеграф перегружен "молниями" и срочными телеграммами экспедиции.

Наконец прибывают и ящики, и плащи, и брезенты. Караваны на Памир уходят один за другим, каждая группа сотрудников получает верховых и вьючных лошадей, и, конечно, споров, обид, недовольств среди любителей лошадей -- много.

Часть геологов уезжает к Заалайскому хребту на автомашинах. К концу июня ошская база пустеет: здесь остаются дватри, последних отряда да огромный караван центральной группы с небольшим количеством сотрудников. В этом караване все дефицитные продукты, специальное, особо высокогорное альпинистское снаряжение, оружие, запасы патронов, точные приборы, которые нужно будет раздать отрядам на самом Памире. С караваном центральной группы идут шесть фототеодолитных отрядов и лазуритовый отряд, направляющийся на Южный Памир к месторождению ляпис-лазури, открытому Юдиным, Хабаковым и автором этих строк в 1930 году. В составе центральной группы -- ботаники, зоологи, фотограф В. Лебедев, художники П. Староносов и Н. Котов и три геолога. Задача центральной группы, помимо собственных исследований в пути, инспектировать работу всех отрядов экспедиции на местах. Поэтому маршрут центральной группы -- самый извилистый и протяженный.

Все перечисленные отряды и центральная группа выходят на Памир одной огромной колонной. Она называется центральной объединенной колонной.

Начальником этой колонны назначен я. Это назначение, чреватое хлопотами и множеством новых бессонных ночей, не доставляет мне удовольствия. Но что поделать? Принимаю его без возражений в надежде, что на самом Памире мне удастся заняться и собственными географическими исследованиями, о которых все эти месяцы я мечтал, а также сбором этнографических коллекций для Музея этнографии.

Мы выступили в путь 29 июня. Наш караван состоял из ста шестидесяти вьючных лошадей и тридцати всадников. Наш путь пролегал через знакомые мне по прежним странствиям Гульчу, Суфи-Курган, Алайскую долину и Заалайский хребет -- к Мургабу. В Суфи-Кургане в состав колонны включился кавалерийский взвод пограничников под командой И. Н. Мутерко, с которым у меня сразу же установились самые приятельские отношения

Подо мной был добрый киргизский конь. И когда я оказался в седле, до предела измотанный полугодовой организационной работой, я впервые за многие месяцы легко вздохнул..

Прародитель будущей академии

Я не ставлю своей задачей описать все работы ТаджикскоПамирской экспедиции за шесть лет ее существования. Научные результаты работ ТПЭ изложены в "Трудах экспедиции", составляющих целую библиотеку, в которой больше сотни томов.

Коротко изложу самое главное.

Только в 1932 году за шесть месяцев полевых работ, -- от открытия до закрытия перевалов, -- экспедиция, если вытянуть в ниточку все маршруты, прошла сто тысяч километров пути и исследовала на территории Таджикистана площадь в сто тысяч квадратных километров.

Места, еще за несколько лет перед тем не нанесенные на карты, никем не изученные, оказались центрами оживленной деятельности. Легендарные, считавшиеся недоступными перевалы, ледники, такие грандиозные ледопады, как Кашал-аяк, стали торными дорогами научных работников.

Не все белые пятна были раскрыты экспедициями предшествовавших лет. Районов, никогда прежде не посещенных исследователями, оказалось еще достаточно. На Северо-Западном Памире, к западу от пика Гармо, сплелись в запутанный узел Заалайский хребет, хребет Петра Первого, меридиональный хребет Академии наук и ответвляющийся от него Дарвазский хребет. Средоточием этого узла, там, где сходятся хребты Академии наук и Петра Первого, оказалась исполинская, необычайной высоты вершина. В 1928 году эту вершину издали сочли пиком Гармо. В 1932 году обнаружилось, что тогда двумя группами экспедиции за пик Гармо были ошибочно приняты две разные вершины, что подлинный пик Гармо (названный перед тем пиком Дарваз) имеет высоту всего 6 615 метров. А к этой венчающей памирские выси вершине никому еще подойти близко не удавалось. Ее высота была определена в 7 495 метров.

Этой высочайшей в Советском Союзе вершине дано было название -- пик Сталина.

Результаты всех работ экспедиции за 1932 год были огромны. Были изучены флора и фауна республики, определены и подсчитаны кормовые и топливные запасы, гидроэнергетические ресурсы рек, выяснены перспективы освоения неорошенных земель, собраны значительные материалы по этнографии. И самые важные результаты были достигнуты в области геологии и геохимии. Изучая прообразующие процессы, ученые установили, что возникновение многих памирских гор связано с явлениями вулканизма, что существует зависимость между этими явлениями и образованием многочисленных, найденных экспедицией рудных месторождений. И если раньше в геологии господствовала теория о "нищете" горных недр Средней Азии, об ее "металлической" бесперспективности (эта теория была создана еще до революции иностранцами), то теперь, на

основании блестящих открытий, сделанных экспедицией, была выдвинута, развита и доказана новая, советская теория, открывавшая исключительные перспективы для использования рудоносности гор, и не только Таджикистана, а именно всей Средней Азии. В частности, были определены практические возможности промышленного развития Таджикистана, превращения его в страну с богатой, развитой индустрией.

Огромные теоретические и практические знания, приобретенные, в 1932 году, требовали детализации и углубления дальнейшей работы. Поэтому сразу двинулась, оказалась насыщенной и целеустремленной работа созданной в Сталинабаде в том же году Таджикской базы Академии наук СССР -- зародыша будущей, собственной республиканской Академии наук. Важнейшими секторами базы стали геологический и ботанический.

И потому же экспедицию в тех же масштабах решено было продолжить в следующем году.

Весною 1933 года в Ленинграде, в Академии наук СССР состоялась конференция по изучению производительных сил Таджикистана. В конференции участвовало несколько сот человек -- виднейшие ученые, научно-исследовательские работники, сотрудники экспедиции 1932 года и предстоявшей экспедиции 1933 года.

На основе добытых исследователями и обсужденных на конференции научных материалов Советским правительством было определено направление всей дальнейшей практической народнохозяйственной деятельности в Таджикистане.

Во всем Советском Союзе в том году вступала в действие вторая пятилетка. В Таджикистане, как и везде, она была прочно обоснована последними данными советской науки.

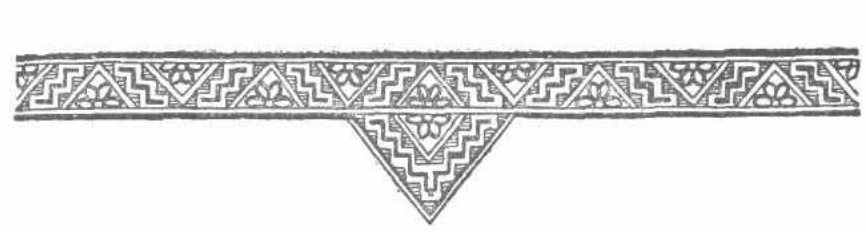
Весной 1933 года вся экспедиционная громада снова двинулась из исходных баз на Памир, в Каратегин и Дарваз, на Вахш и на север республики -- во все горы и все долины стремительно развивавшегося Таджикистана.

Население этих гор и долин, в том году уже почти всюду, кроме Памира, объединившееся в колхозы, попрежнему не только приветливо встречало сотрудников экспедиции, оказывало им содействие и помощь, но и само повсюду включалось в работу экспедиционных отрядов. Так зарождались кадры местных экспедиционных работников таджиков. Многие из них впоследствии окончили специальные учебные заведения, стали научными работниками, молодыми учеными.

В этот и в следующие годы на основе работ ТПЭ и благодаря энергичной инициативе ученых, принимавших в ней участие, в Таджикистане начали развиваться и умножаться стационарные научные учреждения, превратившиеся впоследствии в многочисленные научные и научно-исследовательские институты. Большинство их позже вошло в комплекс, объединяемый сначала базой, потом, с 1940 года, Таджикским филиалом Академии наук СССР и, наконец, созданной в Сталинабаде в 1951 году Академией наук Таджикской ССР.

Прародителем ее была ТКЭ. Вот почему я решил рассказать читателю об истории организации этой замечательной экспедиции.

И теперь я могу вернуться к 1930 году, когда вся наша маленькая геологическая экспедиция состояла только из трех ленинградцев да фрунзенского рабочего Егора Маслова и повара узбека Османа.



ГЛАВА III. БАСМАЧИ

От **Ош**а до **Ак-Босоги**

7 мая 1930 года вместе с Юдиным и Бойе я выехал из **Ош**а вдогонку нашему каравану, ушедшему вперед, под водительством старшего рабочего нашей экспедиции Егора Петровича Маслова. Мы нагнали караван на следующий день. Он стоял лагерем под перевалом Чиль-Бели, у горного озерка Капланкуль. В этот день мы уже оставили большую дорогу и ехали по узкой тропе. Сразу за Ошем начался подъем в горы. Сначала они были гладкими, округлыми, невысокими. Это, в сущности, были холмы -- отроги системы тех горных хребтов, какие мы видели на горизонте перед собой и которые называются КичикАлаем -- "Малым Алаем". С водораздельной гряды КичикАлая берут начало реки, стекающие к Ферганской долине. Тысячи лет они выносили с собой размельченные ими земные породы. Холмы, по которым мы ехали в первый день, созданы этими выносами. Склоны холмов в эту пору покрыты яркозеленой травой. Здесь отличные пастбища, на которые местные жители веснами выгоняют свой скот. Перевал Чиль-Бели невысок и нетруден, -- наши вьючные лошади легко спустились с него в долину Гульчи. Уже сверху 9 мая мы увидели маленький городок с белыми домами старинного укрепления, с просторами зеленых лугов по окраинам, с зарослями камыша по берегам шумливой реки Талдык, вдоль течения которой нам предстояло подниматься несколько дней до урочища Ак-Босога, о котором будет речь впереди. В камышовых зарослях вблизи Гульчи водятся кабаны, на которых мне в этот раз не пришлось поохотиться. Через год, в 1931 году, во втором моем путешествии на

Памир, здесь несколько дней размещался наш лагерь, и тогда однажды я провел бессонную ночь, подстерегая при свете луны кабанье семейство, оставившее следы в хлипкой и вязкой почве, среди этих густых, почти непролазных зарослей. Но в тридцатом году нам было не до кабанов. Мы торопились и, переночевав в Гульче утром, двинулись дальше. Кто из нас думал тогда, что через немногие дни Гульча будет сожжена и разгромлена, а те из нашей маленькой экспедиции, кто останется жив, вернутся сюда в лохмотьях вместо одежды, еще не опомнившись от перенесенных бед?

Сразу за Гульчей мы снова вышли на большую караванную дорогу, ведущую на Памир, но эта дорога сама превратилась в узенькую, крутую тропу, змеящуюся меж скал, над рекой. Мы вступили в ущелье, в котором уже не было ни абрикосовых деревьев, ни тополей: мы незаметно поднялись на полторы тысячи метров над уровнем моря, и на склонах гор виднелись только узловатые стволы арчи -- древовидного можжевельника. Книжное слово "древовидный" не соответствовало действительности, ибо арча группировалась тесными рощами, в тени которых было прохладно, как в настоящем лесу. Заросли колючего кустарника -- облепихи, низкорослого тала, шиповника разнообразили вдоль ущелья густозеленый цвет ветвей арчи. Полевые цветы пестрели на узких прогалинах, воздух был чист и свеж, река, называемая здесь Гульчинкой, нетерпеливо ворчала под нами, скалы ущелья становились все круче, мы подходили к мосту через Бель-Аули. Приток Гульчинки, река БельАули, за тысячелетия пропилила взнесенную под облака громаду горного хребта. Образованная водою теснина была отвесностенной и узкой, по ней вилась

тропинка, уходящая в Китай, до границы которого отсюда было не больше тридцати пяти километров по прямой линии. Но эта граница пролегала по недоступным снеговым хребтам, через которые зимой вряд ли возможно было перевалить. Отсюда, от Бель-Аули, уже виднелись далекие белоснежные шапки, -- ближе, над горами, тоже виднелись снега, это были снега Алая, могучего хребта, к которому мы медленно приближались. А само ущелье Бель-Аули напоминало нам о битвах казачьих отрядов Скобелева с местными киргизскими феодалами, -- здесь, на этом самом шатком мосту, по которому мы проводили наших лошадей с осторожностью и опаской, происходил некогда известный в истории края бой отряда полковника Ионова с родовичами киргизского хана Абдулло-бека.

13 мая мы пришли на пограничную заставу Суфи-Курган, на месте которой в наши дни вырос большой поселок и которая

тогда, в 1930 году, несла те обязанности, какие ныне несут другие заставы, поставленные вдоль самой границы. Этой заставе Суфи-Курган предстояло сыграть большую роль во многих эпизодах местных событий 1930 года, -- речь о них впереди.

Мы остановились лагерем в урочище Ак-Босога, перед Алайским хребтом, преградившим нам доступ в долину Алая. Алайский хребет значительно ниже хребта Заалайского, но и его высота над уровнем моря -- в среднем -- четыре километра. Он был еще покрыт тяжелыми, непроходимыми снегами. Местные кочевые киргизы сообщили нам, что с караваном перевалить хребет пока невозможно. Сказали, что в Алайской долине даже телеграфные столбы скрыты под мощным покровом снега.

Мы поставили палатки в Ак-Босоге и решили работать здесь до начала июня, когда стают снега и откроются перевалы. Мы знали, что июнь превратит дикую, белую Алайскую долину в роскошное зеленое пастбище -- богатейшее джайляу, протянутое на сто тридцать километров в длину, двадцать -- в ширину. Армия баранов, овец, яков, лошадей войдет в рай, ибо Алай в переводе -- "рай". Эта блеющая, мычащая армия нарушит горную тишину. Но сейчас -- май. Тишина. У кого хватит смелости проникнуть в Алайскую долину сейчас?

Урочище Ак-Босога -- небольшая долина. Ее высота над уровнем моря -- две тысячи пятьсот метров. Вся она -- зеленый, узкий и длинный луг. Он врезался в горы десятками лощин, щелок, ущелий. Щелки, ущелья, лощины в эту пору переполнены. В них -- юрты киргизов, стада и отары. Скоро ли придет день, когда можно будет погнать скот через перевалы? Этот день будет праздничным днем. Киргизы ждут его с нетерпением.

Май, начало весны... Розовые, голубые солнечные пятна на горах. Гора за горой, хребет за хребтом -- зубцы, купола, шапки и конусы, словно фантастическая лестница в неведомый мир. Ниже снежных массивов -- заросли арчи и рябины, -- темные пятна. Долина зеленеет мелкой молоденькой травкой. На этом "транзитном" пастбище еще не может отъесться изголодавшийся за зиму скот.

Середина долины пуста и открыта. Горные киргизы не любят широких, плоских пространств. В середине долины две белые точки. На десятки, на сотни километров уже известно киргизам про две эти белые точки. Сотни глаз из юрт, из ущелий, из-под арчи, с вершин, с деревянных седел -- со всех четырех сторон с любопытством наблюдают за ними. Белые точки в середине долины -- это палатки "урусов". Кто они, эти "урусы"? Зачем они здесь? Куда поедут? Разговорам о них нет конца.

Тишина. Ослепительные снега. Никого и ничего нет среди великолепия сверкающих гор. По вечерам -- дождь и холодные, серые, ползающие туманы. По ночам выпадает снег. Долина сбрасывает его в утренние часы, словно белую простыню, окутывается легким паром. Пар медленно всползает наверх,

отрывается от хребтов и плывет, сворачиваясь, в прозрачное синее небо. Так образуются облака.

Тревога

Из-под одеяла -- в морозный воздух палатки. Брр!.. Но Юдина вызывает какой-то киргиз-пастух. Стуча зубами от холода, Юдин торопливо сует ноги в сапоги, руки -- в рукава альпийской куртки. Выходит. Полог палатки откидывается, и Юдин спокойно, тихо и удивительно неожиданно:

-- Никакой паники... Гульча разгромлена басмачами...

Басмачи?

Неожиданное известие, сообщенное нам в палатке заезжим киргизом-кочевником, свидетельствовало о том, что зарубежные империалисты затеяли новую авантюру. Мы знали, что среди местных жителей -- киргизов Алая и Памира мы найдем друзей, готовых отдать жизнь за советскую власть. В тишине долин мы слышали смелые голоса комсомольцев -- киргизской молодежи, разоблачавшие на собраниях деятельность всяческих реакционеров. Но мы знали и то, что многие муллы, баи, бывшие активные басмачи, полные ядовитой ненависти к русским, "испортившим их народ", к народу, изгнавшему их из своей среды, ко всему живому на свете, притаились до случая в здешних горах, полны лицемерия и показного смирения. Мы знали, что они готовы примкнуть к любой авантюре вновь затеянной их заграничными покровителями. Мы понимали, что в слепой своей ненависти к советскому строю они готовы опять вооружиться вырытым из-под камней английским оружием и, забрав с собой родовые семьи, сбросить овечьи шкуры и, став снова волками, примкнуть к той волчьей стае бандитов, что кинется на нашу территорию из-за рубежа -- из-за той границы, что тянется в почти неисследованных горах и еще плохо защищена. Кинется, чтобы грабежом возместить былые богатства, чтобы громить мирные верблюжьи караваны, заоблачные аульные кооперативы, убивать и пытать девушек-комсомолок, изучающих в школах грамоту, резать всех советских людей, которые попадутся им в руки, -- чтоб не оставалось свидетелей, чтоб некому было изобличить главарей. А при первой же неудаче -- вразброд, через висячие ледники, сквозь самумные ветры пустынь -- бежать за границу, зная, что от населения ничего, кроме пули

в затылок, уже не получишь, бежать туда, где власть в руках английской разведки, где еще можно -- и то лишь за золото -- найти укрывателей...

Известие о разгроме Гульчи басмачами было ошеломляющим. Однако мы еще имели время трезво обо всем поразмыслить. Мы находились в опасности, но реально еще не представляли ее себе.

Мы оделись. Умылись. Велели Осману кипятить чай. Солнце слепило долину длинными праздничными лучами. Мы деловито обсуждали положение: Юдин, Осман и я. Бойе спал, и мы не стали его будить. В свои девятнадцать лет еще очень неуравновешенный, он мог бы нарушить размеренный ход обсуждения действительных наших возможностей.

Первая -- оставаться здесь.

Но... ничем не обеспечены мы от внезапного нападения, ни ночью ни днем. С малыми силами никто на нас нападать не станет. А если явится крупная банда, что сделаем мы, обладая лишь двумя карманными пистолетами да одним стареньким карабином с полусотней патронов? Что будет здесь завтра? Даже сегодня? Даже через час?

Вторая -- укрыться на погранзаставе Суфи-Курган, тридцать пять километров отсюда.

Это ближайшее и единственное место, где есть вооруженная сила. Застава находится между Гульчей и нами, следовательно, басмачи по ту ее сторону. И если даже пастух, поведавший Юдину про разгром Гульчи, врет о спокойствии в Суфи-Кургане и о свободном проезде туда, все же надо итти на заставу, потому что, появившись там, банда неминуемо придет и сюда. Итти на заставу -- есть риск наскочить на банду. Не итти -- нет шансов на спасение здесь.

Третьей возможности нет, ибо в Алай (даже если там спокойно, даже если мы уверим себя, что там не догонят нас, даже если забудем и о том, что из Алая-то нам уж вовсе некуда будет деться) уйти мы не можем: в Алае непроходимы для вьюков снега, и нет там ни пищи, ни корма.

К лагерю приближается всадник. Кто это? Беру бинокль: старик в черной бекеше и черной с козырьком ушанке. Подъезжает. Встревоженные, красные, плутающие глаза:

Вы слышали?
Да.
Что же вы думаете делать?
Заберем все ценное и двинемся в Суфи-Курган. Как в Ак-Босоге?
Пока спокойно. А где ваши лошади?
6 П. Лукницкий

У нас нет лошадей. Мы отправили их неделю назад на пастбище к Капланкулю. Надо узнать, нельзя ли нанять их здесь.

А если теперь их вам не дадут?

Тогда... Ну, тогда... Надо, чтоб дали. А сами вы что думаете делать?

Да что же... Больше ведь ничего не придумаешь. Поеду в Суфи-Курган. А пока -- в кочевку, вон туда, в щелку, узнаю насчет лошадей для вас, вам и туда ведь не на чем съездить. Сейчас же вернусь.

Старик Зауэрман, районный лесообъезчик, уезжает.

В Памирской экспедиции Академии наук в 1928 году работал киргиз Джирон. Он бедняк и хороший человек; старый знакомый Юдина. Джирон живет в кочевке Ак-Босога, за два километра от нас, через реку. Посылаем за ним киргиза, известившего нас о басмачах и спокойно дожидавшегося за палаткой нашего решения.

Бойе потягивается, встает -- веселый, смешливый. Коротко сообщаем ему.

-- Да ну? Басмачи? Вы знаете -- меня не надуете. Вот здорово придумали: басмачи. Ха-ха! Ну что ж, им не поздоровится. Я восемьдесят человек перестреляю. Я же призовой стрелок. Вот так одного, вот так другого...

Бойе моется, балаганит, прыгает, шутит.

Пьем чай в большой палатке. Приезжает Зауэрман. Приезжает Джирон. Коротко сообщают: лошадей нет, но можно достать ишаков и верблюдов. Бойе видит: мы не шутим. Сразу присмирел, молчит. Изредка, вполголоса: "Вот это номер!", "Ни за что б не подумал!", "Что ж теперь делать?"

Бойе растерян. У него, как всегда, все чувства наружу. Он не умеет размышлять про себя.

Собирались мы долго. Ждали верблюдов, перебирали вещи, -- часть мы берем с собой, часть оставляем на хранение Джирону; укладываем, связываем во вьюки. Зауэрман уехал один, не захотев дожидаться нас, высказав убеждение, что его, живущего здесь двадцать лет, не тронет никто, и обещав, в случае опасности, к нам вернуться. Лагерь кишел понаехавшими с делом и без дела советчиками, любопытными. Привели верблюда -- что нам один верблюд?

Час спустя привели второго... Мало! Мы ждали. Мне было нечего делать и, разостлав на траве одеяло, разлегшись на нем, я писал подробный дневник за два дня и закончил его словами:

"10 утра. Вещи сложены. Ждем верблюдов. Сами пойдем пешком. В рюкзаках -- все необходимое, на всякий случай. Оружие вычищено и смазано, кроме берданки, у которой сломан боек и к которой патронов нет... " Юдин ходил по лагерю, объяснялся с киргизами, распоряжался. Бойе валялся на траве лицом к небу, нежась на солнце, и зачем-то поднимался на ближайший пригорок, я фотографировал лагерь, составлял опись имущества, оставляемого Джирону:

фураж, мука, котел, арканы, палатки караванщиков, ушедших на Капланкуль, мешки, железные "кошки", топор, что-то еще. Привели осла, привели еще двух верблюдов. Джирон все-таки достал нам трех маленьких, несоразмерных с нашими седлами лошадей. Заседлывали, вьючили, в 11 часов 30 минут выступили: сначала караван, за ним мы верхами, Осман пешком. Встретили двух киргизов, спросили их: "Как там?" -- и киргизы сказали: "Хорошо, спокойно". Было жаркое солнце, был полдень. Горы сияли белым великолепием снегов, мы переезжали вброд реку, пересекали долину, трава пестрела маленькими цветами, мы дышали сладким полынным воздухом, поднимались на перевал, это был Кизыл-Белес, или по-русски "Красная спина", -- высотой в три тысячи, кажется, метров.

Три киргиза, нанявшихся к нам в караванщики, шли молча, подвернув к поясам полы халатов, а утомившись, влезали на вьюки верблюдов. Возможность нападения басмачей мы допускали только теоретически, потому что была внутренняя уверенность в благополучии сегодняшнего пути.

Мы поглядывали по сторонам, но чувства наши были спокойны. Мы даже не торопились (да с вьюками и нельзя торопиться), мы смеялись, острили в меру отпущенных нам талантов, подтрунивали друг над другом и не обижались.

Я фотографировал и записывал показания анероида. Юдин определял геологические особенности пород и учил нас премудростям геологии. Бойе останавливался, вычерчивал в пикетажной книжке горизонтали глазомерной топографической съемки, и догонял нас, и спорил с Юдиным о победе в той шахматной партии, которую сыграют они на заставе. Дорога тянулась под стенами красноцветных конгломератов, и нас окутывала пыль. Мы ехали, и перезванивал колокольчик верблюда, и я смотрел, как осторожно раздавливает верблюд подушки своих ступней, переставляя мохнатые угловатые ноги, и слушал, как лошадь покряхтывает под Юдиным, и радовался, что я соразмерен с лошадью и что мне удобно в моем оставшемся у меня со времен гражданской войны комсоставском седле. День был приятен, и хорошо было думать, мерно и лениво покачиваясь.

Ложе реки поворачивает на север, входит в отвесные берега. Направо -- скалистая гора. Очень высоко, в черных прорезях снежных скал, настороженно замерли тонкорогие и тонконогие козлы -- кийки. Холодно. Переправы лошадям по брюхо. Под копытами скрипят и ворочаются валуны, галька, щебень. Отвесы берегов все выше, это террасы конгломерата, в отвесных стенах промывины, узкие щелки. Налево по ложу реки мелкорослые светлозеленые кустики тала. Едем под самой стеной, что тянется справа по борту ложа.

Нападение

Сверху, с террасы над глубоко внизу лежащей рекой, с высоких, отвесных конгломератовых берегов, затаившаяся банда басмачей, наконец, увидела поджидаемый караван. Он тихо, и мирно идет по ложу реки. Впереди из-под двух зыблющихся ящиков торчат большие уши умного маленького ишака. Ишак -- вожатый каравана. За ним гуськом, мягко ступая по гальке, тянутся четыре вьючных верблюда. На вьюках громоздятся три киргиза-караванщика. Банда знает: эти караванщики -- ее друзья, ведь вместе они обсуждали план. За верблюдами, таким же медленным шагом, движутся всадники, один, второй, третий... Три. Это те, ради кого здесь, по щелкам, по всей террасе, устроена такая напряженная тишина. Каждый жест, каждое движение этих троих изучаются с того самого момента, как караван показался на повороте из-за горы. Вот едущий впереди, маленький, бросив повод, закуривает папиросу и, оглянувшись, что-то со смехом говорит едущему за ним. Этот второй -- он их начальник -- большой, грузный, маленькая лошаденка тянет шею, вышагивая под ним. У обоих ремни, реммни -- чего только не навешано на каждом из них. Ружей у них нет, это давно знает банда. Но где же их револьверы?.. А ну, где?.. Закирбай толкает под локоть Боабека, оба кряхтят разглядывая. Закирбай успел во-время, -- он здорово мчался, чтобы окольной тропою обогнать караван и

наладить здесь все. Э!.. Есть!.. Хоп, майли! * Третий едет, болтая длинными ногами, он вынул их из стремян и едва не цепляет землю. Ну и рост у него! У него на ремне карабин. Висит стволом вниз. Этот все что-то отставал, останавливался, писал что-то. Теперь догнал, едет, морда лошади в хвост коню второго. Сзади, пешком, четвертый... Это их повар, узбек, ничего, с ним возиться недолго.

Банда трусит: а вдруг не выйдет?

* Ладно, хорошо!

Нет. Они ничего не знают. Иначе не ехали бы так спокойно, не смеялись бы... Но из ущелья на реку выбежала лошадь, оседланная басмаческая лошадь, -- пить воду. Кто ее упустил? Они ее заметили... Первый, маленький, указывает на нее рукой, чтото пишет. Они поняли. Э!.. Пора начинать. Скорее!.. Давай!.. Банда срывает тишину:

Э-э!.. -- один голос.

Ооо-о-э-э!.. -- десятки голосов.

Ууй-оо-уу-эээй-ээ!.. --две сотни.

Боабек нажимает пальцем спусковой крючок. И сразу за ним -- другие.

... Так вижу я сейчас то, что делалось вверху, на террасе.

Заметив выбежавшую на реку оседланную лошадь, я подумал, что это подозрительно. Указал на нее Юдину, сказал: "Вот смотрите, какая-то лошадь", -- вынул часы, блокнот, записал: "4 часа 20 минут. Выбежала лошадь". Не знаю, зачем записал. Юдин, кажется, понял. Он промолчал и серьезно огляделся по сторонам. Тут я заметил голову, движущуюся над кромкой отвесной стены, и сказал:

-- Посмотрите, вот здорово скачет!

Это была последняя свободная фраза. За ней -- вой, выстрел, от которого разом поспрыгивали с верблюдов караванщики и от которого закружилось сердце, и выстрелы -- вразнобой и залпами, выстрелы сплошь, без конца.

Как я понимаю, все было очень недолго, и размышлять, как мы размышляем всегда, не было времени. Потому что все измерялось долями секунды, Это сейчас можно все подробно обдумывать. Тогда напряженно и нервно работал инстинкт. Многое уже потеряно памятью. Я помню обрывки:

... спрыгнул с лошади, расстегнул кобуру, вынул маузер и ввел патрон в ствол...

... стоял за лошадью, опершись на седло, лицом туда, откуда стреляли...

... хотел выстрелить и подосадовал, -- понял: пуля не долетит, и еще удивился: в кого же стрелять? (ибо их, прятавшихся наверху, за камнями, за грядою стены, не было видно...)

... оглянулся, -- Бойе передает Юдину карабин: "он испортился... Георгий Лазаревич, он испортился... "

... все трое (тут Османа я не видал) мы медленно, прикрываясь лошадьми, отходим к тому берегу (к левому, противоположному)... Пули очень глупо (как кузнечики?) прыгают по камням...

... взглянул назад: рыжая, отвесная стена. Хочется бежать, но надо (почему надо?) итти медленно...

Помню, я заметил: Юдин и я прикрываемся лошадьми, ведя их в коротком поводе, а Бойе тянет свою за повод, сам впереди, -- торопился, что ли? И еще: верблюды наши стоят спокойно и неподвижно, словно понимают, что их это не касается. А поодаль, также спокойно и неподвижно, три караванщика, -- их тоже не касается это. Двоих из трех я никогда больше не видел..

Опять обрывки:

... Бойе и Юдин впереди меня. Бойе сразу присел, завертелся, вскочил, корчась и прижимая к груди ладонь.

-- Павел Николаевич, меня убили... Георгий Лазаревич... убили!.. -- голос загнанный и недоуменный.

Юдин был подальше, я ближе. Я крикнул (кажется, резко):

-- Бегите... бросайте лошадь, бегите...

Бросил лошадь сам и устремился к нему. Бойе побежал согнувшись, шатаясь. Шагов десять, и как-то сразу неожиданной преградой -- река. Она была ледяной и очень быстрой, эта река, но тогда я этого не заметил, я почувствовал только особую, злобную силу сталкивающего меня, сбивающего с ног течения. Бойе упал в реке, и его понесло. Я прыгнул на шаг вперед ("ну же, ну!.. "), схватил Бойе под плечи -- очень тяжел, обвис, вовсе безжизнен, еле-еле (помню трудный упор в мои колена воды) выволок его на берег. Пули -- видел их -- по воде хлюпали мягко и глухо. "Тащить дальше?.. " -- тело в руках, как мешок. Я споткнулся, упал: "нет, не могу... " Положил его на пригорок гравия, побежал зигзагами, пригибаясь, споткнулся опять. Помню, падая, заметил: плоского валуна коснулись одновременно моя рука и пуля. "Попало?.. " "Нет... Дальше" (Юдин позже сказал мне: "Вижу упал... Ну, думаю, второй тоже")...

Когда я добежал до откоса левобережной террасы, я полез, карабкаясь, вверх по склону. Но он встал надо мной отвесом. Я цеплялся руками и прокарабкался вверх на несколько метров. Земля осыпалась под пальцами. В обычных условиях, конечно, я не одолел бы такого отвеса. А тогда, помню, задохнулся и с горечью взглянул на остающиеся несколько метров стены. Невозможно... У меня не хватало дыхания. Остановился. Правее на узкой осыпи, как и я, остановились Осман и Юдин.

Я пробирался к ним и, увидев маленькую нишу, встал в нее спиною к скале, встал удобно, крикнул (хотелось пить):

-- Георгий Лазаревич! Идите сюда. Тут прикрытие... Юдин посмотрел на меня, -- он был бледен, поразительно

бледен. -- посмотрел и безнадежно махнул рукой:

-- Какое это прикрытие!..

Стрельба прекратилась. Несколько минут выжиданья. Внизу -- галечное ложе, река. За нею -- высокая стена берега, и по кромке, то здесь, то там, -- мелькание голов. Под стеною -- четыре спокойных верблюда. Внизу, направо, -- неподвижно, навзничь, как вещь, лежащий Бойе. Над нами сзади уже слышны крики: мы взяты в кольцо. Юдин передал мне карабин:

У меня ничего не выходит... Попробуйте починить. Я тщетно возился с карабином: не закрывался затвор.

Нет, не могу... -- я вернул Юдину испорченный карабин. В тот момент никто из нас не знал (да и не думал об этом),

что будет дальше через минуту. Впереди, над гребнем террасы появилась белая тряпка; из щелки напротив карьером вылетел всадник, помчался вброд, через реку, к нам. Я снял с ремня кобуру, спрятал ее в боковую сумку. Правая рука с маузером на взводе лежала в кармане брезентовой куртки.

Всадник, -- я узнал нашего караванщика, -- осадил лошадь внизу, под нами, что-то кричит. Юдин и Осман ему отвечают. Разговор по-киргизски. Я по-киргизски не говорю.

Басмачи предлагают нам сдать оружие.

Положение наше: нас трое, бежать некуда; прикрытия нет; отстреливаться нечем: испорченный карабин да два маленьких маузера, из которых бить можно только в упор. Сзади -- над нами, впереди -- по всему гребню террасы повыеовывались головы бесчисленных басмачей. Они ждут. Может быть, еще можно помочь Бойе? Говорю это Юдину. Осман: "нас все равно перережут". Но выбора нет. Юдин передает всаднику бесполезный карабин. Маузеры мы не сдаем.

Потрясая над головами карабином, всадник летит назад, под ликующий звериный, отовсюду несущийся вой. Банда -- сто, полтораста, двести оголтелых

всадников -- карьером, наметом, хлеща друг друга нагайками, стреляя, вопя, пригибаясь к шеям коней, льется из щелок, по ложу реки, по склонам -- со всех сторон. Опьянелая, бешеная орда, суживая круг, пожирает пространство, отделяющее ее от добычи. Кто скорей до нее дорвется, тому больше достанется.

Навстречу, пешком, медленными шагами, по склону горы спускаются трое. Двое русских с маузерами в руках, один безоружный узбек...

Нас взяли. Как вороны, они расклевали нас. Меня захлестнули рев, свист, вой, крики... Десятки рук тянулись ко мне, обшаривали меня, рвали, раздергивали все, что было на мне. Бинокль, полевая сумка, маузер, анероид, компас, тетрадь

дневника, бумаги, все, что висело на мне, все, что было в моих карманах, -- все потонуло в мельканье халатов, рук, нагаек, лошадиных морд и копыт... Разрывали ремни, не успевая снять их с меня. Каждый новый предмет вызывал яростные вопли и драку. Я стоял молча, оглушенный, раздавленный. И вдруг я лишился кепки. Она исчезла с головы. Мне показалось: "это уж слишком", и я стал ожесточенно ругаться, показывая на свою голову. Сейчас я улыбаюсь, вспоминая, как тогда, из всего, что со мной делали, возмутило меня только одно: исчезновение кепки. Почему именно кепка взорвала меня, сейчас мне уже трудно понять. Но тогда я ругался неистово и размахивал кулаками. Самое удивительное: басмачи на мгновение стихли и расступились, оглядывая друг друга, и один молча показал рукою: измятая кепка спокойно лежала под припрыгивающими копытами лошади. Я нырнул под лошадь, с силой оттолкнул ее ногу, выхватил кепку... И басмачи снова сомкнулись вокруг меня.

Когда меня обобрали до нитки, когда драка из-за вещей усилилась и сам я перестал быть центром внимания, я протолкался сквозь толпу. Никто меня не удерживал. Я побежал к Бойе, склонился над ним. Он лежал навзничь. Ботинки и пиджак были сняты с него, карманы выворочены наружу, вся грудь залита клейкою кровью. Открытые и уже остекленевшие глаза его закатились, лицо было белым -- странная зеленая бледность. Я сжал кисть его руки: пульса не было. Подбежавший вслед за мною, так же как и я, обчищенный Юдин тоже пытался прощупать пульс и обнаружить признаки жизни. Сомнений, однако, не было.

-- Убит! -- глухо произнес Юдин.

Я не успел ничего сказать: налетевшие снова басмачи схватывают меня сзади, ставят на ноги, больно загибая мне локти назад. Помню, я крикнул сгрудившимся вокруг басмачам, головой указывая на тело Бойе:

-- Яман... яман... *

Один засмеялся, другой спрыгнул с лошади, повернул ее задом. Крепко держат меня и Юдина. Обматывают арканом ноги Бойе, другой конец аркана привязывают к хвосту лошади. Удар камчой -- и лошадь идет вперед, волоча по камням тело Бойе, ставшее вдруг почему-то особенно длинным. Вижу: его голова и откинутые назад руки прыгают с камня на камень. Я забыл, что он мертв, мне подумалось: "Ему больно", и самому мне вдруг до тошноты больно, я вырываюсь, бегу вслед, но у кустов меня снова схватывают, а его отвязывают от хвоста лошади и бросают здесь.

* -- Плохо...

Меня вскинули на круп лошади к какому-то басмачу и, окруженного оравой всадников, карьером повезли назад, через реку, туда, где стояли наши верблюды. В пестроте халатов мелькнула фигура Юдина: его везли так же, как и меня.

Первые часы в банде

Вся страна сплеталась из горных хребтов. Они сверкали снегами, и в расположении их была величайшая путаница. Множество лощин и долин покоилось между ними. В разные стороны текли реки. Всюду царило глубочайшее безмолвие,

и необъятным казалось безлюдье. Даже ветер не нарушал покоя высоких пространств. Над всем этим, в лучах солнца, синело бестрепетное чистое небо. И только в одной точке бесновалось галдящее скопище людей. Гуща из пеших и всадников копошилась вокруг троих. И если бы внезапно я перенесся отсюда в дом для буйнопомешанных, он показался бы мне тишайшим и спокойнейшим местом в мире. Спокойными здесь были только четыре верблюда, Бойе да наши распотрошенные ягтаны * и тюки, которыми распоряжались Закирбай, Суфи-бек, мулла Таш, старики. Конечно, обо всем этом я не думал тогда.

Аркан... За спиной мне вязали руки арканом, стягивая узлы. Словно со стороны наблюдая, я рассчитывал: треснут или выдержат плечевые суставы? Они выдержали, и была только острая боль. Меня протолкнули в середину гущи, к разъятым ягтанам. Здесь, такой же связанный, поддерживаемый басмачами, Юдин называл старикам каждую из вынимаемых ими вещей. Старики боялись, нет ли бомбы в ягтанах? К сожалению, бомб у нас не было. Закирбай попробовал записывать вещи (это удивило меня), но давка разорвала попытку "порядка" в грабеже, басмачи терзали вещи и растаскивали их по щелкам. Меня поволокли назад. Вот было так:

Молодой басмач направляет на меня ружье. Инстинкт подсказывает: я улыбаюсь... Улыбка -- единственное мое оружие... Басмач, кривя губы, кричит: он разъярен, и дырочка ствола покачивается перед моими глазами. Словно огненная точка ходит по моей груди -- мускульное ощущение того места, куда сейчас вопьется пуля... Другой басмач отталкивает ствол, прыгает ко мне. Его прельстили пуговицы на моей брезентовой куртке. Он торопливо срывает их. Деревянные пуговицы, -- они ломаются под грубыми пальцами.

* Вьючные ящики.

Он все-таки их отрывает, одну за другой, шарит в моих карманах -- пусто. Его отталкивают двое других: им тоже надо ощупать меня. В маленьком поясном кармашке моих галифе -- часы на ремешке. Восторженный крик -- рывок, вижу болтающийся обрывок ремешка... Добытчики убегают, дерясь и стегая друг друга камчами.

Разве расскажешь все? Было много всякого, пока длился грабеж внизу, на ложе реки. Таскали из стороны в сторону, накидывались с ножами, свистели камчами, направляли мултуки и винтовки, потрошили еще раз двадцать, самые отъявленные стремились во что бы то ни стало разделаться с нами, и каждый раз спасала только случайность. Могу сказать: нам исключительно везло в этот день. Было несколько поползновений снять с меня сапоги, но каждый, пытавшийся завладеть ими, бывал оттеснен жадною завистью остальных... Сапоги! Я все время таил надежду, что удастся бежать. А если снимут? По острым камням, по колючкам, по снегу, -- как?.. Какой-то старик развязал мне руки. От проблеска жалости? Или понадобился аркан? В расчете, что, рискуя попасть в своих, они не станут стрелять, я стремился замешаться в гуще, стоять теснее, вплотную к басмачам, у меня была тактика: держаться непринужденно, улыбаться, "свободно" ходить. Был нервный, почти инстинктивный учет каждого слова, жеста, движения. Ошибиться нельзя. Неверное движение, жест, слово -- и пуля или удар ножом обеспечены. Вид страха действует на басмачей, как вид крови: они стервенеют.

Моя задача -- держаться ближе к Юдину. Он понимает язык, может объясняться с ними. Он изумительно хладнокровен и не теряет требовательного тона, так, словно он дома, сила за ним и он может приказывать. Это действует. Когда при мне у него выхватили бумажник, он что-то властно и гневно кричал. Его могли тут же убить, но ему вернули бумажник с документами, взяв только деньги. Я верил внутренней силе Юдина. Я старался держаться ближе к нему, но едва удавалось приблизиться -- нас растаскивали. Османа я не замечал вовсе. Это понятно: он в халате ничем не выделялся из толпы. Юдину удалось уговорить Закирбая: вижу Юдин вскарабкался на круп его

лошади. Юдин кричит мне:

-- Подсаживайтесь к старику... какому-нибудь... Так вернее.

Старики кажутся спокойнее, они одни не потеряли рассудка. Но меня не берут. Отмахиваются камчами. Увертываясь от ударов, мечусь от одною к другому. Наконец один указывает на меня молодому. Этот сдерживает коня, вынимает левую ногу из стремени. Отгибается вправо, ставлю

ногу в его стремя, хватаюсь за него, садясь на круп коня, охватываю бока басмача ладонями. И сразу -- галоп, и мы -- с площадки, мимо толпы, в узкую щель над обрывом. Конь скользит, спотыкается, кажется, сорвемся сейчас... Пробрались... Кусты. Группа горланящих. Басмач, осадив коня, сталкивает меня. Кричит, указывая мне на ноги. Понимаю: он хочет отнять сапоги. Жестами пытаюсь отговорить. Орет, лицо исказилось, наскакивает конем, взмахивает ножом... Другие подскочили, валят на землю, стаскивают сапоги. Басмач хватает добычу, озираясь, сует за пазуху, опрометью скачет назад. Встаю. В тонких носках и холщовых портянках больно. Меня выгоняют из щели к толпе.

Все это длилось, быть может, час... или два... Разве я знаю?

В банде -- смятение. Что-то случилось. Пешие ловят коней, всадники волокут остатки вещей, поспешно растекаются по щелям. Меня рванули, гонят перед собой, бегу босиком, некогда думать об острых камнях. По узкой размывине, по штопору каменного колодца, скользя, спотыкаясь, хватаясь за камни, вверх -- на террасу. Она зелена, травяниста, прорезана поперечными логами. Банда -- по балкам, по логам, по всем углам. Никто не кричит. Надоевший вой оборвался. Тишина. Меня держат за руки, за углом скалы. Выжидательная, напряженная тишина. Что такое? Надо мной склон горы. Зеленый луг террасы обрывается над рекой. Отсюда реки не видно. С винтовками, с мултуками басмачи залегли на краю, над обрывом террасы. Ждут. Так же они ждали и нас. И опять то же самое. Бой и стрельба. Палят вниз, я не знаю, в кого. Снизу отвечают. Кто там? Сердце совсем расходилось. Быть может, спасение? Ожесточенные залпы. Минут не определить. И разом, словно смахнуло стрельбу, -- тишина. На миг. За ней удесятеренный вой, басмачи срываются с мест, вскакивают на лошадей и потоками льются вниз. Они победили. Там тоже все кончено. Меня больше не держат. Я на краю лога. На другой стороне -- группа всадников: старики. "Штаб". Закирбай и Юдин на одной лошади. Как мне пробраться туда? Пытаюсь объяснить: "хочу туда... к товарищу... можно?" Не пускают. Все же незаметно спускаюсь по склону. Не удерживают. Дошел до середины спуска. Рев и камни... Меня забрасывают камнями. Два-три сильных удара по руке, в грудь... Целятся в голову. Камни летят потоком. Еле-еле выбираюсь назад. Орут, угрожают. Ладно!.. Басмач глядит на меня в упор. Взгляд жаден. Как намагниченный, медленно, вплотную, подходит. Глядит не в глаза, ниже --

в рот... Тянет руку ко рту. Мычит. Он увидел золотой зуб. Медлит, разглядывая, и я замыкаю рот. Резко хватает меня за подбородок, вырываюсь, он -- сильнее, сует грязный палец в рот, нажимает. Вырываюсь. Меня удерживают другие, им тоже хочется получить золото. Претендентов много. Они дерутся за право вырвать мой зуб. "Яман, яман", -- жестами, словами, хочу объяснить, что зуб вовсе не золотой, просто -- тонким слоем "покрашен золотом". Как объяснить? Дерутся и лезут. Подходит старик, тот, развязавший руки, отгоняет их.

"Штаб" переезжает на эту сторону, чтоб отсюда, по щели, спуститься вниз.

Мы на дергающихся крупах, вместе наконец, -- Юдин, я, Осман. Орава увлекает нас вниз. Вниз, к реке, через реку, по левому' борту ложа, вверх, тут глубокое ущелье бокового притока: речка Куртагата. Над устьем ее на

ровной площадке копошащаяся орда басмачей. Что они делают там? Мы, приближаясь, видим: там маленькая, отдельная, неподвижная группа. На краю площадки, над обрывом к реке... Пленные? Да. Их хотят расстрелять. Вот они встают в ряд. Мы ворвались на площадку, смешались. Внимание басмачей от пленных отвлечено. Это русские?.. Женщины, среди них женщины... У меня защемило сердце. Меня сбросили с лошади. В давке бесящихся, лягающихся лошадей я верчусь, увертываюсь от топчущихся копыт, -- не задавили бы! Из толпы рвутся выстрелы в воздух. Вот наш карабин, басмачи спорят, силясь исправить его. Смотрю на русских сквозь беснование толпы. Они неподвижны. Их неподвижность в этой свалке поразительна. Словно они изваяния. Словно они из красной меди, -- это от заходящего солнца. Они стоят рядом: три женщины, четверо мужчин. Женщины -- в высоких сапогах, в синих мужских галифе, в свитерах. Разметанные волосы, красные лица -- красный свет заливает их мятущиеся глаза. Слева мужчина: высокий, очень сухощавый, узкое, умное лицо, небритые щеки, пестрая тюбетейка, роговые очки... На руках он держит ребенка лет трех. Ребенок припал лицом к его плечу, боится. Второй мужчина -- коренастый, плотный, широкоплечий, такими бывают дюжие сибиряки. Белый тулуп накинут на плечи. По груди, на согнутую в локте руку набегает кровь. Ранен в плечо. Третий -- молодой парень в защитной гимнастерке, светловолосый, без шапки. Чуть позади -- узбек, в полосатом халате, молитвенно сложил руки. Его лица я не помню. Все семеро молчат в тоскующем ожидании. Ни словом перекинуться мы не можем, да и не следует, да и что мы сказали б друг другу? Гвалт забивает уши. Их окружают, ведут мимо меня, и высокий говорит женщинам: "... главное не надо бояться... держитесь спокойнее...

все будет хорошо, не надо бояться... " Их уводят по горной тропе вверх, откуда валится красный пожар заката. Что сделают с ними?

О, теперь-то я знаю, что сделали с ними!

Кто были эти люди, мне стало известно значительно позже. Тот высокий, с умным лицом, что держал на руках ребенка, -- это был Погребицкий, заведующий Узбекторгом на Посту Памирском, или, как в просторечии называют, Пост (из-за реки, на которой он расположен) на Мургабе. Юдин узнал Погребицкого, -- он встретился с ним год назад на Памире, но остальных Юдин не знал так же, как и я. Вся эта группа возвращалась из Мургаба.

Погребицкий, заведующий кооперативом Поста Памирского, жил на Памире три года. Это громадный срок. Обычно служащие на Памире живут год, самое большое -- два. Климат тяжел. Четыре тысячи метров высоты над уровнем моря и отдаленность от всего мира томят людей и расшатывают их здоровье. Немногие жены едут на Памир за своими мужьями. Большинство дожидается их возвращения в городах Средней Азии. Жена Погребицкого, молодая, красивая, очень здоровая женщина, поехала вместе с ним на Памир. Даже киргизки спускаются в нижние долины, чтобы рожать детей. На такой высоте трудны и опасны роды. Но у жены Погребицкого ребенок родился на Посту Памирском. Все обошлось превосходно, ребенок был здоровым, розовощеким, веселым. Осенью этого года кончался срок памирской службы Погребицкого, и жена с ребенком решила уехать раньше, чтобы приготовить в Узбекистане квартиру и наладить хозяйство к возвращению мужа. Жена Погребицкого -- смелая женщина -- не боялась снегов Ак-Байтала, высокогорной пустыни Маркансу, усыпанной костями животных, перевала Кизыл-Арт через Заалажжий хребет. Муж не решился пустить ее без себя, поехал провожать до Алайской долины.

Черемных -- начальник Особого отдела ГПУ на Посту Памирском. Первая жена его была убита басмачами. Он женился вторично. Срок его пребывания на Памире кончался летом этого года. Вторая жена его, как и жена Погребицкого, решила уехать раньше. Сам Черемных не мог покинуть Поста, он поручил жену Погребицкому.

Ростов -- ташкентский студент, проходящий практику на Памире, -- тот парень в защитной гимнастерке. Он и его жена. Они торопились вернуться с

Памира.

Рабочий, золотоискатель, исходивший весь Памир, излазивший все его трущобы, --тот дюжий, в белом тулупе. Не

одну тысячу километров исходил он пешком, там, где только ветер, и свист, и безлюдье. Пора, наконец, возвращаться с Памира, он заскучал по черноземной России.

Мамаджан -- узбек-караванщик, опытный лошадник и верблюжатник, -- вся жизнь его прошагала путями караванов.

Таджик -- второй караванщик. Его расчеты просты: заработать немного денег, купить для своей семьи подарков и вернуться обратно.

Все соединились, чтоб вместе преодолеть памирское безмолвие и снега. Труден был путь до Алая, но верхами, без вьюков, налегке ехали быстро. В Алае Погребицкий хотел повернуть обратно: ведь главные трудности пройдены, дальше жене его почти не грозит опасностей. Но в Алае к ним подъехал киргиз и сказал, что, понаслышке, где-то здесь орудуют басмачи. Погребицкий решил проводить жену до СуфиКургана. Погребицкий -- опытный человек в борьбе с басмачами. Встречается с ними не в первый раз. У Погребицкого две ручные гранаты, винчестер, двести пятьдесят патронов к нему и наган. Остальные тоже неплохо вооружены.

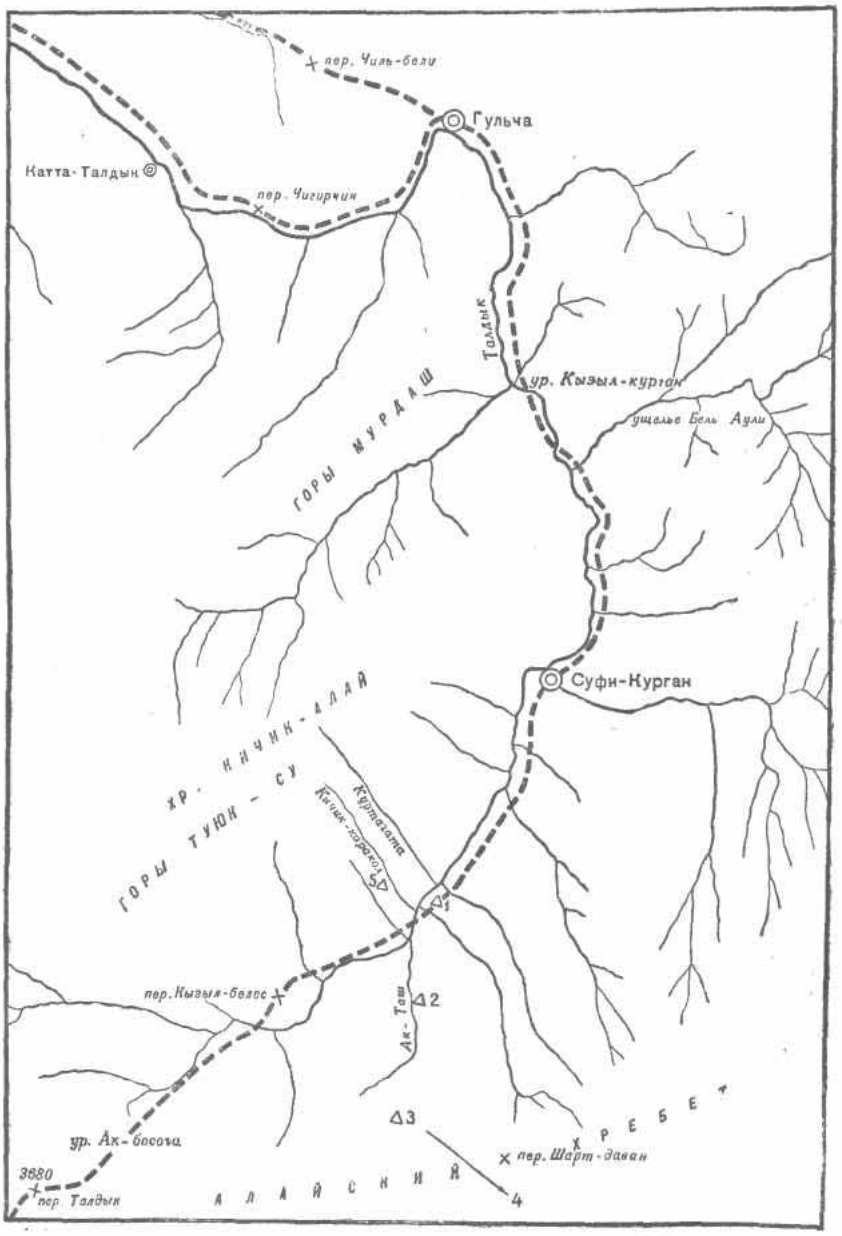
Мургабцы не доехали до Суфи-Кургана двенадцати километров, только двенадцати. Попали в засаду. Отстреливались. Были обезоружены. Золотоискатель пытался бежать, его ранили и мгновенно схватили. Не попался только таджик. Он шел пешком, сильно отстал, услышал стрельбу, бежал. После многих бед и лишений, много дней спустя ему удалось вернуться на Пост Памирский.

Все это теперь знает читатель. Мы тогда знали только то, что мы видели.

В Алае, как и на Памире, вечерних сумерек почти не бывает. Только что был высокий и ясный день, солнце лило свет и тепло. Закатилось солнце -- и сразу ночная тьма и яростный холод.

Здесь, в горах, воздух разрежен и исключительно сух. Пропуская солнечные лучи, он не отнимает у них тепла, потому что в нем влаги нет. И солнце жжет землю необычайно. А едва исчезает солнце, наступает великий холод. В этом отличительная особенность резко континентального высокогорного климата.

Сейчас мы чувствуем эту особенность на себе. Сразу после заката -- тьма. Мне холодно. Два ягтана ходят подо мной, как коленчатые валы. Вверх, вниз, в стороны. Сейчас они упадут.



Путь экспедиции I960 года в Алай-Гульчинеком районе.
I. Место нападения басмачей. 2. Место первой ночевки в плену. 3. Здесь стояли юрты Тахтарбая. 4. Сюда бежали басмачи. 5. Место последней ночевки в плену.

Балансирую, стоя на четвереньках, поддерживая свою же точку опоры. Ягтаны слабо, наспех, примотаны к бокам лошади. В темноте уже не вижу Юдина, который едет верхом впереди. И Османа (он на крупе лошади, за спиной басмача) я уже потерял. Понуканья, перезвякиванья стремян, щелканье копыт по камням.

Куда нас увозят?

Чуть прозрачнее темноты -- звездное небо. Из темноты выплывают на нас и снова удаляются всадники, перекрывая своими фигурами нижние звезды. Ледяной ветер. Почему мне так холодно? Ах да... я же мокрый насквозь, ведь я бежал вброд через реку. Насквозь... Только сейчас замечаю это. Горная ночь морозна. Холодный ветер тянет от вечных снегов. Криками; камчами лошадей гонят рысью. Но из всех лошадей только одна с вьюком, -- та, на которой прыгаю я. Вьючная лошадь может итти только шагом. Моя задыхается, она

загнана, крутой подъем, она отстает. Кричу, хочу объяснить: "надо перевьючить ягтаны, они падают, сейчас упадут... " Меня не слушают. С полдюжины камчей впиваются в голову лошади, в шею, в круп. Лошадь хрипит. Подпрыгивая на ней, изобретаю тысячи уловок, чтоб удержать равновесие. Конец подъема, черная тьма, по отчаянной крутизне -- спуск. Лошадь изнемогла, уперлась, подскочили темные, в мохнатых шапках, нещадно лупят ее, она дрожит, тяжело дышит, стоит. Мне жалко ее, спрыгиваю. Ноги еще не отморожены: больно. Тяну лошадь за повод, через плечо. Ступаю -- каждый шаг на полметра ниже, босиком по острым заиндевевшим камням, словно по раскаленным осколкам стекла. Меня с моей лошадью гонят рысью, бегу, проваливаясь все ниже в темную пропасть. Пересиливаю боль.

Спуск окончился. Срыв вниз, река. Поняли наконец, -- ругаясь, перевьючивают ягтаны. Опять взбираюсь на них, еду вприскачку, вброд через реку: вода как черное масло, тяжело шумит и бурлит. Зги не видать. Нет ни Юдина, ни Османа, вокруг чужие, темные и молчаливые всадники.

До сих пор я угадывал знакомые мне места. Отсюда к АкБосоге -- направо. А мы прямо -- в неизвестность -- вверх по реке, по какому-то притоку. Едем по самому руслу, по мелкой воде, густые брызги как лед. Я коченею. От реки -- влево вверх, на кручу, непонятно куда. Из-под копыт осыпаются камни, и падения их я не слышу. На миг внизу отразились звезды. Пытаюсь запомнить направление. Черные пятна, -- продираемся сквозь виснущие кусты. Шум реки все слабее, все глуше, далеко внизу, подо мной. Все яростней ветер. Ночь. Ночь... Меня не трогают и не разговаривают со мной. Сколько мы едем -- не знаю.

Басмаческий лагерь

Ночью мы сидели в юрте, в кругу тридцати басмачей, по каменным лицам прыгали отблески красного, жаркого пламени. Тянули руки и ноги к костру, чтоб красный жар вытеснил из нас тот леденящий холод, от которого мы содрогались. Шел пар от нашей мокрой и рваной одежды. С отвращением отворачивались от еды и питья, поглощаемых басмачами, хоть и не имели ни маковой росинки во рту с утра. И руками, на которых запеклась кровь Бойе, смешавшаяся с глиной и конским потом, я отстранил чай, предложенный мне тайно сочувствовавшей нам киргизкой, забитой женой курбаши Тюряхана. Смотрели на деловитую дележку имущества, вынимаемого из наших ягтанов, и угрюмо молчали, когда ценнейший хрупкий альтиметр басмачи перешвыривали друг другу, и нюхали его, и прикладывали к ушам: не тикает ли? Уславливались не говорить ни слова друг другу, чтоб басмачи не заподозрили нас в сговоре о бегстве и, зажегшись яростью, тут же не прикончили бы нас. Беспокоились о судьбе Османа, который исчез на пути сюда и о котором басмач сказал: "Узбека увез к себе Суфи-бек. Узбеку хорошо". Слушали завывания ветра, когда вокруг нас вповалку завалились спать басмачи, и передумывали прошедший день, показавшийся длиннее и многообразнее целого года. И, помню, не удержались от печальной улыбки, когда Юдин положил мокрые свои сапоги под голову -- "чтоб не украли". Лежали, тесно прижимаясь друг к другу, чтобы усмирить холодную дрожь хоть своим собственным теплом, когда погас костер и ледяной ветер, поддувавший сквозь рваную боковую кошму, пронизывал нас до костей. Спали, не заботясь о том, прирежут нас спящих или отложат резню до утра. Проснулись от грубых толчков и запомнили: черное небо и великолепные звезды, стоявшие над отверстием в своде юрты. И не верили сами себе, что на час или два сон увел нас от всей этой почти фантастической обстановки. Слушали, как трещала ветвями арчи киргизка, вновь раскладывая костер. Снаружи храпели лошади, и до нас доносились понимаемые Юдиным крики спорящих:

-- Куда их еще таскать? Надо тут, сейчас, кончать с ними, зачем откладывать это дело?..

... И снова ехали на острых, больно поддающих крупах басмаческих лошадей, держась за спину сидящего в седле, владеющего нами врага. Ехали из

темной предутренней мглы в розовое утро, в солнечный тихий день. По узкому, как труба, ущелью, по чуть заметной скалистой тропе, над лепечущим ручьем... Громоздились над нами черные скалы, зава

ленные глыбами снега; всей весенней сочностью дышала в лощинах трава; цеплялись за нас, словно предупреждая о чем-то, темнозеленые лапы арчи. Голод и жажда, неукротимые, мучили нас.

Дальше некуда. Врезались в самый Алайский хребет. Высоко, почти прямо над нами, -- снега. Они тают, и вода бежит вниз множеством тоненьких струй. Они соединяются в ручейки, несутся по скалам вниз, распыляются в воздухе тонкими водопадами. Отсюда видно, где родился тот ручей, над которым мы ехал". Расширившись, он бежит мимо нас, несет с собой мелкие камешки, скрывается за поворотом. Там, ниже, как и десятки других ручьев, он вольется в мутную реку Гульчинку, вдоль которой вчера мы двигались караваном. Помутнев от размытой глины, он сольет свои воды с ней. И эти воды помчатся вниз в широком течении Гульчинки. Будут ворочать острые камни, окатывать их, полировать, пока не станут они круглыми валунами. Еще на несколько •миллиметров углубят дно долины, помогая тем водам, которые за тысячи лет углубили долину на сотни метров, прорезали в ней крутостенные глухие ущелья... Шумя и плещась, промчатся мимо заставы Суфи-Курган, мимо Гульчи, до Ферганской долины. Здесь, нагретые солнцем, успокоенные, разойдутся арыками по хлопковым полям, по садам абрикосов, дадут им веселую жизнь. Опять соединятся с другими водами, текущими с гор так же, как и они... И все вместе ринутся в многоводную, великую Сыр-Дарью, которая понесет их сквозь пески и барханы пустынь до самого Аральского моря, где забудут они о своем рожденье в горах, о снегах и отвесных скалах, о своем родстве со всеми среднеазиатскими реками, составляющими Сыр-Дарью и Аму-Дарью и бесследно исчезающими в знойных азиатских пустынях...

Долгая жизнь и долгий путь у ручья, который сейчас струится над нами, распыляясь в тонкие водопады. А наша жизнь и наш путь не здесь ли теперь окончатся?..

Налево от нас -- очень крутой, высокий травянистый склон. Направо -- причудливые башни и колодцы конгломератов, когда-то размытых все теми же горными водами.

А здесь, на дне каменной пробирки, -- арчовый лес, травяная лужайка, перерезанная ручьями. Отсюда не убежишь...

На лужайке -- скрытая от всех человеческих взоров кочевка курбаши Закирбая: шесть юрт. По зеленому склону и в арче -- мирный, хоть и басмаческий скот: яки, бараны. А здесь -- женщины, дети, -- у курбаши большая родовая семья. Все повылезли из юрт поглазеть на пленных.

Нас вводят в юрту. Поднимает голову, в упор глядит на нас из глубины юрты старик Зауэрман. Впрочем, мы не удивлены.

-- Вы здесь?

Моргает красными глазами, удрученно здоровается: -- И вас?..

Да, вот видите.

А где ваш третий?

Убит.

А... а... убит... Мерзавцы!.. Ну и нам скоро туда же дорога... на этот раз живым не уйду... -- старик умолкает, понурив голову.

Коротко о том, что было дальше

Находясь в басмаческом плену, мы с Юдиным и Зауэрманом оказались свидетелями многих интересных событий. Обо всех этих событиях рассказывается подробно в другой моей книге -- в повести, полностью посвященной описанию басмачества в Алай-Гульчинском районе и борьбе с бандою Закирбая. Здесь же нет места для столь подробного рассказа об одном коротком, хотя и примечательном эпизоде из наших длительных экспедиционных странствий.

Поэтому для того только, чтоб сохранить нить повествования, сообщу самую суть дальнейшего.

Помещенные в юрту Тахтарбая, родного брата Закирбая -- главаря банды, мы были совершенно изолированы от внешнего мира. Запертое со всех сторон глухое ущелье, похожее на каменную пробирку, исключало всякую возможность бегства. Нам, однако, симпатизировала жена Тахтарбая, умная женщина, считавшая, что участие ее мужа и его брата в басмачестве -- величайший позор и бедствие для всего рода. Прекрасное знание Юдиным киргизского языка оказало нам неоценимую услугу, -- тайно от всех старуха осве. домляла нас о положении в банде, о решениях и замыслах ее главарей.

Не слишком приятно было узнать, что Закирбай хочет лично руководить процедурой казни своих пленников, но это желание курбаши давало нам некоторую отсрочку: в ожидании его "победоносного" возвращения из-под осажденной им заставы Суфи-Курган нас не трогали. Обстановка несколько раз менялась то в нашу пользу, то против нас. Неизменно заставляя себя сохранять внешнее спокойствие, не ведая, что произойдет с нами через минуту, мы старались не терять надежды, ждали счастливой случайности, перемены, какой можно было б воспользоваться.

Одной из таких случайностей было появление в кочевье молодого киргиза Джирона, бедняка, за два года перед тем работавшего в Памирской экспедиции Академии наук и хорошо знавшего Юдина. Через Джирона нам удалось установить письменную связь с пограничной заставой.

Семьсот басмачей осаждали эту заставу, но горстке пограничников удалось отстоять себя до прибытия подкрепления. А когда два эскадрона маневренной группы прибыли на помощь заставе и погнали банду, для нас наступили новые критические часы: Закирбай примчался в кочевье с приказанием всем немедленно бежать через закрытый снегами горный хребет, за границу. В банде началась паника, а многие бедняки, понимая, что им, плохо одетым, разутым, переход через снега грозит гибелью, стали возмущаться. Приближенные Закирбая хотели теперь на скорую руку избавиться от обременявших их пленников, но Юдин, умело оценив обстановку, стал исподволь, с огромною силой духа, убеждать Закирбая, что "кончать" нас тому невыгодно: вот, мол, все Закирбаево "воинство" уже восстает против него, он остается один, у него нет иного выхода, кроме как сдаться Красной Армии; и если, мол, он сохранит нам жизнь, то и мы, в свою очередь, гарантируем ему жизнь..

Юдин прекрасно понимал психологию жадного, жестокого, корыстолюбивого, вероломного и трусливого Закирбая. Юдин с удивительным хладнокровием, сохраняя в разговорах с Закирбаем чувство собственного достоинства, придавая все большую уверенность и даже властность своему тону, постепенно воздействовал на Закирбая в нужном нам направлении.

Закирбай метался. То ему приходило в голову немедленно покончить с нами, то страх перед будущим заставлял его верить Юдину, и он оберегал нас от ярости наиболее фанатичных своих соратников... Наконец, когда Закирбай убедился, что бежать вместе со всей бандой не может, потому что ему грозит опасность быть убитым своими же; когда скорое появление отряда красноармейцев в кочевье стало уже несомненным; когда Юдину удалось вселить в голову растерянного курбаши мысль, что единственное спасение для него -- положиться на наше обещание сохранить ему жизнь, -- он предоставил нам лошадей: скачите сами к заставе, скажите там, какой я, Закирбай, хороший; и если командир Красной Армии пришлет за мною гонца с обещанием, что меня не тронут, я приеду на заставу Суфи-Курган и уже никогда больше не стану выступать против советской власти!

Но местность между кочевьем Закирбая, откуда вся банда уже бежала, и пограничной заставой Суфи-Курган была еще в руках тех сподвижников Закирбая, которые не сложили оружия. От нас самих зависело, сумеем ли мы прорваться сквозь эту группировку басмачей.

Мы выехали. И о том, что последовало за этим, можно рассказать подробнее.

Освобождение

А ну, нажмем?

Давайте.

Мы нагнулись над карими шеями, земля, сплываясь, рванулась назад и пошла под нами сухою рыжезеленою радугой.

Кобыла распласталась и повисла в яростной быстроте. Ветер остался сзади. Ветром стали мы сами. С острой, внезапной нежностью я провел ладонью по темной гриве и понял, что эту породу нельзя оскорбить прикосновением камчи -- на такой лошади мне никогда не приходилось сидеть. С нервною чуткостью она лежала на поводу и на поворотах кренилась так, что я едва не зачерпывал землю стременем.

Подъемы, спуски, обрывы, ручьи, рытвины, камни -- она все сглаживала неоглядной своей быстротой. Я верил, что она не может споткнуться. Если б она споткнулась, мы бы рухнули так, что от нас бы ничего не осталось. Кобыла курбаши, главаря басмачей Закирбая, хорошо знала, как нужно вынести всадника из опасности. Мы устремились по руслу реки. Две рыжие отвесные стены неслись, как нарезы ствола от вылетающей на свободу пули. Отвесные стены были пропилены водой, в сухих извилистых промывинах, мы знали, сидят басмачи. Между этими щелями я немного сдерживал кобылу, здесь было меньше вероятия получить в спину свинец. И кобыла меня поняла: она сама уменьшала ход между промывинами и сама выгибалась в стрелу, когда мы проносились мимо щели, из которой мог грохнуть внезапный и ожидаемый выстрел. Я неизменно опережал всех: у всех лошади были хуже. Что было делать? Я домчался бы до заставы на час раньше других, но мог ли я оставить других позади себя? Вырвись басмачи из щелки -- меня б они не догнали, но зато наверняка столкнулись бы с Юдиным и Зауэрманом, потому что, выскочив при виде меня, они оказались бы впереди моих спутников. Они перегородили бы им дорогу. И я останавливался. Трудно было заставить себя решиться на это, и трудно было сдержать разгоряченную кобылу, но я все-таки останавливался и поджидал остальных. Я стоял, и кобыла нервно топталась на месте. Я стоял и был отличной мишенью, и мне было страшно, и страх мой передавался кобыле: она нервничала и пыталась встать на дыбы. Когда Юдин, Зауэрман и киргиз догоняли меня, я отпускал повод и срывался с места в гудящее быстротой пространство.

Навстречу нам попался киргиз. Мы осадили лошадей и наспех прочитали переданную им записку. Это была записка с заставы, в ней начальник отряда беспокоился о нашей судьбе. Мы рванулись дальше, а посланец повернул своего коня и тоже помчался с нами. У него был отличный конь, он не отставал от меня, и теперь у меня был спутник, равный мне по скорости хода. Мы неслись рядом, и на полном скаку я закидывал его вопросами. Прерывисто дыша, ломая русский язык, киргиз рассказал мне, что он почтальон, что обычно он возит почту из Суфи-Кургана, через Алай, в Иркештам, а сейчас живет на заставе. Эту записку он вызвался передать нам потому, что его конь быстр, "как телеграф", -- это его сравнение, и потому, что на таком коне он проскочит всюду, хоть через головы басмачей. Пригибаясь к шее коня, мой спутник поглядывал по сторонам и бормотал коню: "эш... ыш... " -- и только одного не хотел: не хотел останавливаться, чтоб поджидать вместе со мною остальных. Мы все-таки останавливались и снова неслись. Наши лошади косили друг на друга крутые глаза, и ветер падал, оставаясь за нами. Стены конгломератов казались огнем, сквозь который мы должны проскочить, не сгорев. Спутник мой хвалил закирбаевскую кобылу. Халат его надулся за его спиной, как воздушный шар. Я знал, что кобыла моя чудесна, я почти не верил, что четверо суток до сегодняшнего дня Закирбай сам ветром носился на ней, почти не поил, почти не кормил ее, гонял ее дни и ночи. Всякая другая лошадь неминуемо пала бы, а

эта вот никому не сдает замечательной быстроты.

До заставы оставалось несколько километров, разум уже уверял меня в удаче, а чувства еще спорили с ним. Я волновался и даже на этом скаку прижимал рукой сердце, так размашисто стучавшее, и сотню раз повторял себе: "Неужели проскочим? Проскочим, проскочим!" И в цокоте копыт было "проскочим", и уже в последней долине, перед той, где застава, у развалин старого могильника, на зеленой траве я осадил кобылу, спешился и сел на траву, чтоб в последний раз подождать остальных. Мой спутник спешился тоже и угостил меня папиросой, и когда я закурил ее (я не курил уже сутки), я почувствовал, что мы, наконец, спасены. Вскочив на коней, мы присоединились ко всем и ехали дальше рысью. За последним мысом открылась последняя долина, и в дальнем ее конце я увидел белую полоску заставы. Мы ехали шагом, зная уже, что теперь можно ехать шагом, и чтобы продлить ощущение радости -- такой полной, что в горле от нее была теснота. Медленно мы подъезжали к заставе. На площадке ее, над рекой толпились люди, и я понял, что нас разглядывают в бинокли. Лучшим цветом на земле показался мне зеленый

цвет гимнастерок этих людей. Переехав вброд реку, уже различая улыбающиеся нам лица, я взял крутую тропинку в галоп и выехал наверх, на площадку, в гущу пограничников, шумно и почтительно обступивших меня. Нам жали наперебой руки, со всех сторон бежали красноармейцы, чтоб взглянуть на нас хоть одним глазком сквозь толпу, и усатый командир отряда, крякнув, улыбнувшись и положив на плечо мне ладонь, сказал:

-- Вот это я понимаю... Выскочить живыми от басмачей!.. Меня трогали, щупали рваную одежду, нас торжественно

повели в здание заставы, и командир отряда откупорил бутылку шампанского. Я спросил, откуда шампанское здесь, и он, добродушно усмехнувшись, сказал:

-- Пейте!.. Для вас все найдем... Потом объясню.

А Любченко, милый Любченко, начальник заставы, уже тащил нам чистое красноармейское белье, полотенце и мыло и настраивал свой фотоаппарат.

Вымывшись в фанерной беседке, где желоб превращал горный ручей в душ, вымывшись там, потому что баня была временно занята запасами фуража, мы вернулись в здание заставы, и здесь неожиданно кинулся к нам Осман. Он плакал от радости (я раньше не верил, что мужчины плачут от радости, но он плакал крупными, быстрыми слезами) и прижимался к нам, говорил, путая слова, сбиваясь и размазывая по лицу слезы рукавом халата. Осман!.. Живой Осман!.. Он рассказывал и показывал нам свои руки, свое тело, свои босые ноги. И ноги его были в ранах, и руки и тело в ссадинах и крови. И тут мы узнали: Осман прибежал на заставу сейчас, за пятнадцать минут до нас.

Нам рассказали комвзводы:

-- Наблюдали мы за долиной, вдруг видим, из-за мыса показался кто-то. Смотрим -- всадник. Быстро-быстро скачет... Кто такой? -- думаем. Взяли бинокль, смотрим и видим: лошади нет, один человек бежит. Ну, как быстро бежал! Упадет, вскочит, опять бежит -- скорей лошади, честное слово. Прибежал сюда -- и бух в ноги, плачет, смеется, вставать не хочет, хлопнет ладонями и твердит: "Мэн наш человек... мэн наш человек". Затвердил одно и сказать ничего не может... Потом руками всплеснул и еще пуще плачет: "Юдин убит, другой товарищ убит, третий тоже убит... Все убиты... Шара-бара взял, всех убивал... Вай!... Совсем ничего нет... " Ну, подняли мы его, успокоили, еле добились толку. Повар он ваш, оказывается... "Мэн наш человек... " Ну и чудак! Кое-как мы в себя его привели...

Туго пришлось бедняге Осману. Когда нас везли от места нападения в юрту Тюряхана, Суфи-бек с несколькими басмачами отделился и взял Османа с собой. Привез Османа в свою юрту. Фанатик Суфи-бек бил Османа, раздел его догола,

связал в юрте и издевался над ним.

Говорил ему:

-- Ты мусульманин? Ты продался неверным? Ты ездишь с ними? Ты не мусульманин. Ты хуже собаки, все вы, сарты, продались неверным, все вы "коммунист", "коммунист"! Да сгорит ваша земля! Зачем с неверными ездишь? Плюю на твои глаза!..

На ночь положил Суфи-бек связанного и голого (в одном халате на голое тело) Османа в юрте между басмачами и объяснил, что утром зарежет его, утром, когда все приедут сюда, чтоб было всем посмотреть, как карает аллах отступников от "священной воли пророка".

Кочевка Суфи-бека стояла ближе к заставе. Осман знал с детства каждый куст этой местности. Ночью ему удалось бежать. Он сумел развязать веревки, схватил две лепешки и, проскользнув между задремавшими стражами, выскочил в ночь. По снегам, в морозные ночи, голодный, босой и голый -- он бежал. Днем он прятался среди камней. Он пытался пробраться на заставу в обход, через снежный хребет, но едва не погиб в снегах. Он возвращался и кружил по горам. Он скрывался от всякого человека. За ним гнались, его искали, но не нашли. Его долго искали, потому что он был свидетелем преступлений банды и знал по именам главарей. Убедившись, что Осман спасся, Закирбай понял, что теперь все известно заставе. Не поэтому ли еще он переменил свое отношение к нам?

На заставе нам предлагали спать, но до сна ли нам было? Весь день с комсоставом заставы мы обсуждали, как спасти мургабцев, если все-таки они еще живы, как вырвать их -- живых или мертвых -- у басмачей, как доставить на заставу тело Бойе и какие предпринять меры для скорейшей ликвидации банды.

Вечер на погранзаставе. Первый вечер после нашего возвращения из плена. Керосиновая лампа на столе коптит, но мы этого не замечаем. Комвзводы спят на полу, на подстеленных бурках. Юдин играет в шахматы с Моором. Я разговариваю с Янкелевичем о шолоховском "Тихом Доне". Янкелевичу быт казаков хорошо знаком; он прожил среди них многие годы.

Янкелевич хвалит "Тихий Дон" и рассказывает о казаках, покручивая необъятные усы. Янкелевич сам как хорошая книга. Рассказчик он превосходный. За стеной удумывает веселые коленца гармонь, слышу топот сапог и в перерывах приглушенный стенкою хохот.

Разлив гармони резко обрывается, в тишине множится топот сапог. Стук в дверь -- и взволнованный голос:

Товарищ начальник!.. Янкелевич вскакивает:

Можно. Что там такое? В дверях боец:

Товарищ начальник!.. Вас требуется...

Янкелевич поспешно выходит. Прислушиваюсь. Смутные голоса. Слышу далекий голос Янкелевича:

-- Все из казармы... Построиться!

Громыхая винтовками и сапогами, топают пограничники. Комвзводы вскакивают и выбегают из комнаты, на бегу подтягивая ремни. Выхожу и я с Юдиным. Тяжелая тьма. Снуют, выстраиваясь, бойцы. Впереди на площадке 'чьи-то ноги, ярко освещаемые фонарем "летучая мышь". Человек покачивает фонарем, круг света мал, ломаются длинные тени, сначала ничего не понять. Мерцающий свет фонаря снизу трогает подбородки Янкелевича, Любченки и комвзводов. Подхожу к ним, -- в темноте что-то смутное, пересекаемое белою полосой. "Летучая мышь" поднимается -- передо мною всадник, киргиз, и поперек его седла свисающий длинный брезентовый, перевязанный веревками сверток. Фонарь опускается, глухой голос:

-- Веди его на середину...

Фонарь идет дальше, поднимается, -- второй всадник с таким же свертком.

Черная тьма. Фонарь качается, ходит, вырывая из мрака хмурые лица, я

понимаю, что это за свертки, меня берет жуть, кругом вполголоса хриплые слова: "Давай их сюда... ", "Заходи с того боку... ", "Снимай... ", "Тише, тише, осторожнее... ", "Вот... Еще... вот так... теперь на землю клади... ", "И этого... рядом... ", "Развязывай... ", "Ну, ну... спокойно... "

Голоса очень деловиты и очень тихи. Два свертка лежат на земле. Комсостав и несколько бойцов сгрудились вокруг. Черная тьма за их спинами и над ними. Чья-то рука держит фонарь над свертками. Желтым мерцанием освещены только они да груди, руки и лица стоящих над ними. Двое бойцов, стоя на коленях, распутывают веревки.

В брезентах -- трупы двух замученных и расстрелянных басмачами красноармейцев...

Янкелевич подошел к фронту выстроенных бойцов:

Это Бирюков и Олейников, -- командир говорил резко и решительно. -- Завтра выступим. Камня на камне не оставить. Зубами рвать... Понятно?

Понятно. -- ответил глухой гул голосов.

А теперь расходись по казарме. Бирюкова и Олейникова обмыть, одеть. Сейчас же отправим их в Ош.

С начала революции традиция: убитых басмачами в Алае пограничников хоронят в Оше...

Их было трое, на хороших конях. Поверх полушубков -- брезентовые плащи. За плечами винтовки, в патронташах -- по двести пятьдесят патронов. На опущенных шлемах красные пятиконечные звезды. Они возвращались из Иркештама. Одного звали -- Олейников, другого -- Бирюков, третий -- лекпом, фамилии его я не знаю.

Завалив телеграфные столбы, лежал снег в Алайской долине. Бухлый и рыхлый, предательский снег. Три с половиной километра над уровнем моря. В разреженном воздухе бойцы трудно дышали. На родине их, там, где соломою кроют избы, высота над уровнем моря была в десятки раз меньше. Там дышалось легко, и никто не задумывался о странах, в которых кислорода для дыхания не хватает. Там жила в новом колхозе жена Бирюкова, отдавшая в детдом своих пятерых детей. Она не знала, что муж ее на такой высоте. Она никогда не видела гор. Жена Олейникова жила в Оше и перед собою видела горы. Горы, как белое пламя, мерцали на горизонте. Голубое небо касалось дальних, ослепительно снежных вершин. Вверху белели снега, а внизу, в долине, в Оше цвели абрикосы и миндаль. Жители Оша ходили купаться к холодной реке Ак-Бура, чтоб спастись от знойного солнца. Жена Олейникова ходила по жарким и пыльным улицам, гуляла в тенистом саду. Жена лекпома жила где-то там, где земля черна и где сейчас сеют рожь.

Их было трое, на хороших конях. Они возвращались на погранзаставу Суфи-Курган. Иногда они проходили только по полтора километра за день. Лошади проваливались в снегу, бились и задыхались. Пограничники задыхались тоже, но вытаскивали лошадей и ехали дальше. У них был хороший запас сахара, сухарей и консервов. У них были саратовская махорка и спички. Больше ничего им не требовалось. На ночь они зарывались в снег и спали по очереди. Из вихрей бурана, из припавшего к земле облака, в ночной темноте к ним могли подойти волки, барсы и басмачи. По утрам бойцы вставали и ехали дальше. Ветер продувал их тулупы насквозь. Держась за хвосты лошадей, они взяли перевал Шарт-Даван. Здесь

высота была около четырех километров. Спускаясь с перевала они постепенно встречали весну. Весна росла с каждым часом. Через день будет лето. Кони ободрялись, выходя на склоны, где стремена цепляли ветви арчи, где в полпальца ростом зеленела трава. Завтра пограничники въедут во двор заставы.

О чем говорили они, я не знаю. Вероятно, о том, что скоро оканчивается

их срок и они вернутся в родные колхозы и расскажут женам об этих горах.

В узком ущелье шумела перепадами белесой воды река. Солнце накалило камни. Пограничники сняли брезентовые плащи и тулупы. С каждым часом они ехали все веселей.

Но в узком ущелье послышался клич басмачей и со стен вниз разом посыпались пули. Пограничники помчались, отстреливаясь на скаку. Кони знали, что значит винтовочный треск, коням не нужно было оглаживать шеи. Они вынесли пограничников из ущелья, но тут вся банда остервенело рванулась на них.

Пограничники прорвались на вершину ближайшей горы. Здесь банда взяла их в кольцо. Пограничники спешились и залегли на вершине. Тут оказалось два больших камня. Между камнями пограничники спрятали лошадей. Прилегли за камнями и защелкали затворами -- быстро и механически точно. Басмачи падали с лошадей. Воя по-волчьи, басмачи кидались к вершине и умолкали, в тишине уносясь обратно, перекидывая через луку убитых. Пограничники работали методично. Тогда началась осада, и басмачи не жалели патронов. Много раз они предлагали пограничникам сдаться. Пограничников было трое, но они отвечали пулями. Так прошел день. А к вечеру у пограничников не осталось патронов. Жалобно ржала раненная в ключицу лошадь. Тогда пограничники поняли, что срок их кончается раньше, чем они думали. Басмачи опять нажимали на них. Пограничники сломали винтовки и, оголив клинки, бросились вниз. Выбора у них не было. В гуще копыт, лошадиных морд и халатов пограничники бились клинками. Но басмачей было двести, и пограничников они взяли живыми.

Об этом позже рассказали нам сдавшиеся басмачи.

Снова в путь!

4 июня, на рассвете, не выпив даже чаю от спешки, мы -- Юдин, Зауэрман, Осман и я -- выехали с заставы. В первой части пути нас сопровождал эскорт в десять сабель, предоставленный нам Янкелевичем: нам предстояло проскочить мимо ущелья Бель-Аули, занятого бандой Ады Ходжи. Длинной цепочкой всадников растянулись мы по дороге. Нашего возвращения не буду описывать. Ущелье Бель-Аули мы проскочили благополучно. Сделав тридцать километров в урочище Казыл-Курган, мы расстались с эскортом: отсюда дорога была, спокойна. В Гульче простились с Зауэрманом, его встретила здесь жена. Сменив лошадей в Гульче, мы уже втроем: Юдин, я и Осман -- сейчас же двинулись дальше. В этот день мы делали восемьдесят три километра по горной дороге, через перевал Чигирчик, и ночевали в совхозе Катта-Талдык -- первом совхозе по дороге к культурным местам.

Радость, заботливость и сочувствие всюду встречали нас. В Оше нас ждали сотрудники других научных партий, готовившихся к экспедиции на Памир.

Я взял на себя тяжелое дело -- извещение родителей Бойе о смерти их сына.

Осман отказался ехать вторично. Он дрожал и начинал всплакивать при одном упоминании о Памире.

В Оше, как дома, как на курорте, в чудесном, жарком, зеленом, полном запахов цветущего миндаля, урюка, акаций а яблонь Оше мы прожили двадцать дней. Мы снаряжались, "ездил в Андижан, Наманган, Фергану, добывал все, что нам было нужно. Все экспедиционные партии объединились, чтобы выйти на Памир вместе с первой колонной Памиротряда. Эта колонна разбредется по всему Памиру, чтоб сменить на постах красноармейцев, проживших в жестоком высокогорном климате положенный год.

22 июня, ровно через месяц со дня первого моего знакомства с басмачами, мы выехали на Памир. Всех нас, сотрудников экспедиции, и красноармейцев, кроме караванщиков, было шестьдесят всадников. Большой караван верблюдов, вьючных лошадей и ишаков шел с нами. Мы двигались медленно.

1 июля мы пришли в Суфи-Курган. Здесь мы узнали новости: вся банда Закирбая разоружилась и взялась за мирный труд. Осталась только ничтожная горсточка непримиримых, где-то под самым небом, в снегах горных зубцов, над ущельем Куртагата: Боабек и с ним девятнадцать джигитов. Это те, у которых

руки в крови, которые не рассчитывают на прощение. На поимку их Янкелевич послал кавалерийский взвод под командой И. Н. Мутерко.

Тела мургабцев и Бойе не удалось разыскать. (Только месяца два спустя, на Памире, до нас дошла весть о том, что останки Бойе найдены и погребены в Гульче.) Узбеки -- друзья караванщика группы мургабцев Мамаджана -- искали его труп много дней подряд, излазали все горы. Накануне нашего приезда в Суфи-Курган они сообщили, что видели под

обрывом, у разрушенной мельницы, в ложе реки Талдык три трупа: мужчины, женщины и ребенка. Вероятно, это была семья Погребицкого. Посланный сейчас же отряд там не нашел ничего.

В сторону Алайской долины отряды не выходили, чтоб не спугнуть тех басмачей, которые взялись за мирный труд.

Суфи-бек и Закирбай, приезжавшие для переговоров, больше не появлялись. Киргизы сообщили, что они бежали в Китай, опасаясь мести бывших своих соратников.

Нам надо было итти на Памир, и мы послали в Алай киргизов с поручением передать всем, чтобы нас не боялись, потому что хотя мы и идем с отрядом, но намерения у нас мирные и никого из бывших басмачей карать мы не собираемся.

Нам поручено было провести на Алае разъяснительную работу среди кочующих там киргизов.

ГЛАВА IV. В АЛАЙСКОЙ ДОЛИНЕ

Через перевал Талдык в Сарыташ (Из путевого дневника 1930 года)

Утром мы сложили палатки в Ак-Босоге и двинулись дальше, чтоб перевалить Алайский хребет. Мы рубили и навьючивали на лошадей арчу, потому что дальше -- за месяц пути -- не встретим ни одного дерева.

Весь день лил наводящий уныние дождь, был град и снегопад. Мы взяли перевал Талдык под дождем, мы промерзли и вымокли, как говорится, до костей. Я ехал, шатаясь в седле, температура у меня была тридцать девять градусов, потому что накануне ночью, на морозе я скинул с себя во сне одеяло.

С высшей точки перевала -- 3 680 метров над уровнем моря -- открылась Алайская долина, а за ней, в прорывы облаков мы увидели освещенный солнцем, как призрачный ландшафт какой-то иной планеты, Заалайский хребет -- десятки пиков и среди них пик Ленина, высота которого больше 7000 метров.

Алайская долина зеленела сочной травой. Июнь победил снега. Дикая белая пустыня обернулась парадным джайляу -- богатейшим, просторным пастбищем. Армия баранов, яков, лошадей, дожидавшаяся таяния снегов в нижних долинах КичикАлая ("Малого Алая") вошла сюда и нарушила горную тишину. Но тишину нарушал еще и дождь, такой, словно каждый из нас продвигался под отвернутым

краном водопровода. Туча стояла над нами, как гигантское черное блюдце, мы были под центром его и сквозь пелену дождя видели солнечные горы --

Заалайский хребет, над которым стояло бледносинее небо, и яркую даль залитой солнечными лучами долины.

Мы под тяжким темным дождем, а рядом -- яркий солнечный мир и эти снега, напоенные светом снега, вечные, никогда не тронутые человеком!

Из дождя, из водной тьмы к нам подъехали всадники. Они вынырнули, как тусклые призраки, и первым из них был Тахтарбай, да, Тахтарбай, брат курбаши Закирбая -- главаря басмаческой банды, у которого так недавно я и Юдин ждали смерти в плену. Теперь Закирбай смирился и решил, что больше он не басмач. Тахтарбай приехал, чтоб "приветствовать" нас. Это была большая наша победа. Мы поняли, что если сам брат курбаши не боится отряда и едет, улыбаясь, навстречу ему, значит велико доверие к советской власти, значит Тахтарбай уверен, что раз красноармейцы обещали не трогать тех, кто сложит оружие, они действительно так и поступят. Мы постарались дипломатические наши улыбки сделать максимально дружескими, мы вежливо поздоровались с Тахтарбаем и пригласили его в гости в наш лагерь.

Вторым всадником был Умраллы -- служка Тахтарбая, который был моим стражем, когда я и Юдин находились в плену... Только месяц прошел с тех пор, а как изменилось все!

Переезжаем вброд Кизыл-су. Ее название в переводе значит "Красная вода", и вода в Кизыл-су действительно красная, потому что насыщена размытыми ею красными глинами верховьев Алайской долины.

В полутораста километрах отсюда, за пределами Алайской долины, где живут таджики, они называют реку по-своему -- Сурх-об, что тоже самое: "Красная вода". Еще ниже, в пределах срединного Таджикистана, эта река, уже кофейно-коричневая, шумная и многоводная, называется рекой Вахш, знаменитой строительством мощной гидроэлектрической станции и канала, который оросит десятки тысяч гектаров пустынной земли, -- на ней возникнут десятки хлопководческих колхозов *. Покинув навсегда горы, широко разлившись по субтропическим низменностям южного Таджикистана, подойдя вплотную к Афганистану, Вахш вливается в Пяндж, который в том месте получает название Аму-Дарьи.

Только здесь, в Алайской долине, реку Кизыл-су -- Сурхоб -- Вахш можно еще переехать вброд.

Сразу за рекой, миновав урочище Сарыташ ("Желтый камень"), где виднеются разрушенный рабат и несколько юрт, поставленных кочевыми киргизами, мы становимся лагерем.

* Станция и Вахшский канал имени Сталина, оросивший около ста тысяч гектаров земли, вступили в строй в сентябре 1933 года.

... Палатки. Утро. Мороз. Над Кашгарией поднимается солнце. Солнце жжет. Похрустывает трава, выпрямляясь, сбрасывая со стебельков тающий лед. Мы в полушубках и валенках. Через полчаса -- мы в свитерах, еще через полчаса -- в летних рубашках и парусиновых туфлях. Солнце жжет. Еще через час -- мы в трусиках и босиком. Но солнечный жар нестерпим: еще десяток минут такой солнечной ванны, и тело покроется волдырями. Мы опять в летних рубашках, но солнце прожигает рубашки. Мы натягиваем свитеры. Солнце не пробивает их лучами, но в свитерах душно. Мы ищем тени, прячемся за палатки. Но в тени -- мороз. Ежусь и надеваю полушубок. Здесь -- Арктика. В четырех шагах, на траве, под жгучими солнечными лучами -- экватор. В тридцати километрах, над плоской травянистой равниной (кажется, самый белый блеск в мире!) -- Заалайский хребет. Ни человеком, ни птицей -- никем не тронутые снега.

Дневка. Сегодня мы не тронемся с места. Недалеко от палаток -- прямоугольная яма, вокруг нее -- пустые консервные банки. Здесь в 1928 году был лагерь Памирской экспедиции Академии наук. Яма была вырыта для лошадей. Она заменяла конюшню.

К нам стекаются всадники -- кочевые киргизы. Раньше других приехали Тахтарбай с сыном и Умраллы... Вот еще знакомые люди... Тахтарбай навез угощений: кумыс -- превосходный алайский кумыс, катламу -- тончайшую слойку, жаренную на сале; эпкэ... О, эпкэ -- это изысканное угощение. Чтобы приготовить его, из зарезанного барана вынимают легкие вместе с горлом, промывают их в воде, а когда сойдет кровь, через горло наполняют их молоком, так, чтоб они сильно раздулись, затем варят этот мешок дотказа, пока все молоко не впитается в легкие. Кстати, варят тоже в молоке, причем здесь, на Алае, обязательно в ячьем. Эпкэ -- еда нежная, удивительно вкусная!

Тахтарбай ничего не жалеет для нас. Только бы поверили мы в его лучшие чувства.

Ничего, Тахтарбай, довольно пока и того, что ты уже не активный басмач, что выбита почва из-под твоих ног, а кто поверит в чистоту твоего байского сердца?!

... Вечер. Почти полная луна. Хорошая видимость. Заалайский хребет мерцает зеленым светом снегов. На всякий случай в лагере усиленная охрана. Выставлено восемь часовых. Ложимся спать одетыми и сообщаем друг другу пароль: "пуля". Кто знает, что может взбрести в голову тем баям, которые приезжали сегодня к нам в гости?

Переход по Алайской долине (Из записей 1930 года)

Травы в метр высотой поднимаются зелены, сочны и густы. Цветут эдельвейсы, тюльпаны, типчак, первоцвет и ирис. Кузнечики нагибают серебристые метелки сочного ковыля. Среди диких кустов эфедры снуют полевые мыши.

Пронзительно пахнет полынь. Кажется, даже ветер цепляется в зарослях облепихи, чия, тамарикса. И в тысячу голосов верещат сурки, вставая на задние лапки у своих норок, удивленно, по-человечьи, разглядывая прохожих. Сурки -- рыжие, жирные, ленивые, -- они еще не боятся человека, они еще мнят себя хозяевами этой страны.

Удивительные над нами снега! Сегодня я уменьшался весь день. Ехал в седле и уменьшался! И не только я. Лошади, люди, верблюды -- весь караван. Пунктир крошечных точек "а необъятном зеленом пространстве. Словно выбежал в настоящее весеннее поле досужий мальчуган, сунул руку в карман, а в кармане коробочка -- древесинная, овальная, ломкая. Положил коробочку на ладонь, снял легкую крышку и одного за другим двумя пальцами вынул из коробочки ораву плотно уложенных оловянных всадников. Их бы дома расставить на детском столе, в комнате, а он вздумал выстроить их гуськом на настоящем зеленеющем поле, под открытым небом, под полносветным белым накалом солнца. Выстроил -- и постыдно маленькими, несоразмерными с окружающим миром показались они ему. Удивленно распахнул глаза, оглянулся: зеленая долина, мрежащий чистый день, утреннее небо, горы, снежные горы... Перевел глаза на своих оловянных всадников и, словно впервые поняв, громко, разочарованно крикнул: "Не настоящие!.. "

Еще раз, уже злобно, впервые теряя детство, повторил: "Не настоящие!" -- и кинулся в сторону. А оловянные всадники ожили, встрепенулись и тронулись вперед, позвякивая стременами, поскрипывая новыми седлами, подергивая поводами. Конечно, они были затеряны в таких необъятных пространствах, конечно, движение их было таким неощутимо-медленным, что ландшафт вокруг не менялся, не перестраивался, и присутствие их никак не отразилось на великом спокойствии полного тишиной мира. И они ехали целый день, и одним из них был я, а другие были такие же, как я, -- товарищи мои, спутники в этом великолепном путешествии на Памир. И мы уменьшались весь

день -- такое чувство было у всех, потому что Заалайский хребет медленно надвигался на нас, вырастая сверкающими снегами, гигантскими белыми цирками, словно льдистыми кратерами, гранями склонов и чешуйчатыми телами ледников --

неправдоподобными, нереальными... Я бессилен был разбить ощущение будоражащей сердце нереальности этого великолепного мира. Я спорил с ним цифрами.

Ну да, семь километров над уровнем моря. Так и должно быть. Пик Ленина -- вот он -- 7 129 метров, 25 сентября 1928 года там пять минут пробыли люди. Три альпиниста. Конечно, громадная высота... Да и мы не в низине. Алай... Да, 3 100... Ах, цифры, какая абстракция! Нет. Чорт его знает, здесь все ощущается наоборот. Цифры -- самое реальное, самое конкретное, что есть у меня. Ведь они подчиняются мне, делай с ними, что хочешь: прибавь, уменьши. Можно. А эти горы, этот хребет -- вот он тянется от края до края, встал, как барьер, за которым кончается наша планета. Что может быть за таким барьером? Ничего. Конечно, ничего. Пустота, обрыв в межпланетный эфир... Неужели мы едем туда? Неужели мы будем за этими массивами света и снега? Едем. Существуем. Такие снега не вставали никогда предо мной, ни в одном моем сновиденье.

Воображение бастует. Я трогаю повод моей оловянной рукой. Я -- скованный, ни над чем здесь не властный, малый, не настоящий. Конечно, я из этой древесинной овальной коробочки. И я и всадники предо мной, -- они качаются, винтовки торчат над плечами, лошади переставляют ноги, напряженно ходят их мышцы. Неправда. Все они оловянные.

За гигантским барьером, за ослепительно белым, вставшим над нами Заалайским хребтом -- Памир. Что же, наконец, это такое -- Памир? Какой может быть страна, дерзко занявшая место, отведенное воображением для края света, для обрыва в пустоту межпланетных пространств?

Я одно сейчас знаю твердо: сегодняшний день пройдет, и то, что я вижу сегодня, исчезнет. Никогда я не найду слов, которые могли бы обозначить это великолепие. Но бледный, недостижимый Заалайский хребет, ты еще много раз повторишься в жизни каждого, кто хоть раз увидел тебя. Больно и радостно будет ленинградцу в его прокуренной ленинградской комнате, когда он проснется, увидев, как наяву, тебя! В Ленинграде два с половиной миллиона жителей, но только десятка два человек в Ленинграде могут увидеть такой же сон.

Сегодня мы идем в Бордобу -- разрушенный рабат на краю Алайской долины, под самым Заалайским хребтом. Мои спутники фотографируют Корумды. Мои спутники говорят о геологии и о басмачах. Из травы выбегают жирные рыжие большие сурки. Встают на задние лапы, поднимают к небу передние и пронзительно верещат. Они не боятся нас и приветствуют нас. Наша собака опрометью кидается к ним. Они становятся на четыре лапы и скрываются в норах. Собака конфузливо бежит

дальше, задыхаясь от разреженности воздуха, к которой еще не привыкала. Верблюды раскачиваются, как на волнах. Ветер полосует траву и легонько свистит. Солнце работает на наших затылках и спинах, силясь прожечь полушубки и шапки. Красноармейцы сворачивают цыгарки, опустив повода. Завьюченные лошади похожи на пузатые бочки, поставленные на четыре ноги. Сзади -- синий Алайский хребет, с которым расставаться не жалко. Слева -- дымные горы Кашгарии, справа -- долина, зеленая здесь, вдали -- фиолетовая, и холмы над невидимой рекой Кизыл-Арт. Ни юрт, ни кибиток, ни птиц, ни людей. Только мы, оловянные всадники, погрузились по стремена в траву. Я бросил повод. Тишина. Все молчат.

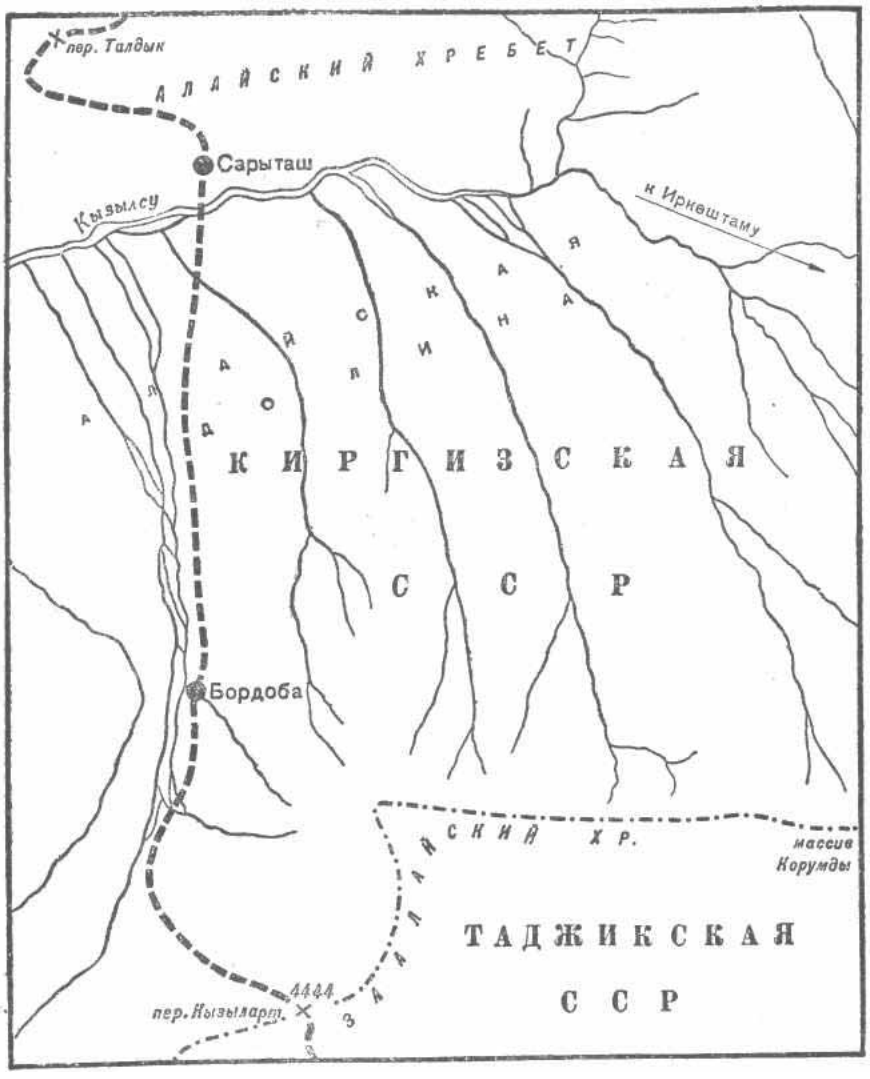
Немного географии

Алайская долина, или, как ее называют проще, Алай, имеет среднюю высоту в 3 052 метра над уровнем моря. Слово "Алай" в джагатайско-турецком языке, по определению профессора А. А. Семенова, обозначает табун, стаю, толпу, а также полк, строй, отряд или батальон. Есть и другие объяснения этого слова. Я уже сказал, что переводят его словом "рай", -- так обильны и сочны здесь пастбища. И еще говорят, что "ал ай!" значит "держи месяц!", то-есть торопись, летние месяцы коротки в этой высокогорной долине!

Алай -- одна из наиболее замечательных высокогорных долин Средней Азии. Она расположена приблизительно в ста пятидесяти километрах к югу от Ферганской долины, от которой ее отделяет мощный Алайский хребет, занимающий своими ветвистыми отрогами все пространство между долинами. От Алайской долины на север, до областного центра Киргизской ССР города Оша, примерно двести километров.

Алайская долина представляет собою глубокое и широкое понижение, тектоническую впадину, зажатую между Алайским и Заалайским хребтами, которые поднимаются по краям долины высокими, резко выраженными грядами. Заалайский хребет покрыт глубокими вечными снегами и зимою и летом, Алайский хребет в летнее время почти полностью от снега освобождается, -- его высота значительно меньше.

Длина Алайской долины равна ста тридцати трем километрам. Ширина на меридиане урочища Сарыташ достигает почти двадцати двух километров, а в западной части сужается до восьми. Проехать из Ферганской долины в Алай возможно только через перевалы, по тропам, доступным лишь всаднику или пешеходу. Из этих перевалов наиболее известны: Шарт-Даван, Калмак-Ашу, Арчат-Даван, Кой-Джулы,



Джип

Маршрут по Алайской долине.

тык, Сарык-Могол, Киндык, Туз-Ашу, Тенгиз-Бай. Самый известный перевал через Алайский хребет -- перевал Талдык (3 651, а по другим данным -- 3 680 метров). Через него с 1932 года проходит автомобильная дорога Ош -- Хорог.

Огромный массив Заалайокого хребта еще менее доступен и до сих пор далеко не весь подробно исследован. До 1932 года в нем были известны только два перевала -- Кизыл-Арт (высотой 4 444 метра), через который в том году был проложен на Памир автомобильный тракт, заменивший прежнюю колесную дорогу, созданную в 1891 -- 1892 годах русским памирским отрядом, и Терс-Агар -- в западной части хребта, выводящий к урочищу Алтын-Мазар, откуда можно пробраться: вверх по реке Мук-су к языку ледника Федченко; двигаясь же вниз по реке -- в Каратегин и далее в средний Таджикистан. По рекам Каинды и Балянд-Киик из Алтын-Маеара есть тропы на Восточный Памир.

На востоке Алайская долина (или, как ее здесь называют, Баш-Алай, то-есть "Голова Алая") начинается у самых границ Китая, -- там, где проходит пологий хребет Тау-Мурун. Постепенно снижаясь к западу, по Алайской долине бежит от ТауМуруна красноводная река Кизыл-су.

В западном конце Алайской долины, там, где Кизыл-су вступает в холмы, издавна известна была старинная киргизская крепостца Дараут-Курган. Созданный здесь районный центр в последние годы превратился в крупный благоустроенный поселок.

Ландшафт восточной части долины типичен для высокогорной степи. Здесь, на межгорном плато, климат суров к жесток. Здесь невозможны посевы, здесь только травы густы и обильны: сочные альпийские травы, прекрасный подножный корм для скота -- в прошлом киргизских кочевников, в наши дни -- богатых колхозов Киргизии, Узбекистана и Таджикистана; в летнее время на великолепных отгонных пастбищах Алая собираются огромные отары и стада, принадлежащие даже отдаленным колхозам Ишкашима, Вахана, Шугнана.

Климат долины подчинен постепенному снижению **ее** с востока на запад. На западе климат значительно мягче, там сеют злаки -- рожь и ячмень, там всегда было много киргизских селений, летовок, зимовок. Оттуда уже можно не уходить на зиму вниз или в защищенные от яростных ветров боковые ущелья. Для западной части долины характерен ландшафт горной полупустыни.

О древнем ледяном панцыре

Но есть еще третий ландшафт в Алайской долине, он в ней наблюдается повсюду -- это особенный ландшафт отложений покровного древнего оледенения.

В отдаленную от нас эпоху вся Алайская долина была покрыта ледниковым потоком, -- исполинский ледяной панцырь

сковывал ее всю, сверху донизу. Спускаясь с гребней Заалайского хребта, боковые ледники протягивались, изгибаясь, на полсотни километров каждый. Все они смыкались внизу в один мощный массив, который медленно оползал вдоль подножия хребта по долине, следуя ее плавному наклону с востока на запад. Этот ледяной панцырь весил биллионы тонн, и, двигаясь между двумя хребтами -- Алайским и Заалайоким, он выпахивал ложе, которое все углублялось под его непомерной тяжестью по мере того, как измельченные породы выносились им к западу.

Это ложе оставалось все-таки перекошенным, наклоненным к северу, потому что Заалайокий хребет был выше Алайского, потому что на южном склоне последнего почти не было ледников, в то время как северный склон Заалайского хребта весь был затянут ледяными потоками. Стекая с крутых склонов на север и постепенно, в силу собственной тяжести, поворачивая по наклону долины на запад, они несли на себе искрошенные ими громады скал. Каменное месиво загромождало левый борт долины, еще более увеличивая ее наклон. А потому вся пода, образовывавшаяся от постепенного таяния ледников, окатывалась к правому борту долины и текла вдоль подножия Алайского хребта -- рекой

Кизыл-су, -- единственной рекой, собиравшей в себя все талые воды с двух гигантских параллельных хребтов, между которыми тянулась долина. Только там, где Заалайский хребет рассекался сверху донизу рекою Мук-су, вытекавшей из другой колоссальной ледниковой системы -- системы ледника Федченко, воды двух рек сливались.

Постепенно алайский "Ледник Подножия" таял, питавшие его боковые ледники отступали, оставляя после себя громады моренных нагромождений.

"Ледник Подножия" умирал медленно, он, казалось, долго боролся за свое существование, он то совсем был близок к истаиванию, то снова набирался силы, увеличиваясь в размерах. Периоды этой титанической борьбы -- периоды наступлений и отступлений -- не прошли бесследно. Свидетельствами ее остались моренные отложения и продольные троги в долине.

Моренные отложения сохранились до наших дней во всей своей свежести, по ним можно судить, сколько раз повторялось оледенение, сколько раз оно исчезало. Ущелья хребтов и сама долина рассказывают об этом тем людям, которые умеют вглядываться взором исследователя в их оригинальные и поучительные формы.

Наконец "Ледник Подножия" исчез. Но все, что он нес •на себе, все, что он сокрушил, измельчил, набросал, столкнул между собою, -- гигантское моренное наследство его -- осталось в виде исполинских каменистых барьеров, перегораживающих долину, в виде бесчисленных холмов, бугров и врезанных в склоны ледниковых "заплечиков".

На размытых отложениях эпохи первого -- покровного -- оледенения покоится все то, что оставили после себя позднейшие оледенения. Ученые насчитывают их четыре стадии, но все они были уже не так мощны, все были неспособны воссоздать древний "Ледник Подножия".

Все меньше становилось льда на склонах Заалайского хребта и в Алайской долине, все выше поднималась линия снегов, питавших ледники, -- она приближалась к гребням хребта.

И, наконец, наступила эпоха современного оледенения. Размеры и мощность его не идут ни в какое сравнение с размерами и мощностью древнего. Ледники, опускающиеся по северным склонам Заалайского хребта, уже не дотягиваются до Алайской долины. Они ползут, заполняя собою поперечные ущелья и долины хребта, -- тесные, глубоко врезанные; они внезапно обрываются на высоте, положив свои короткие и широкие языки на уступы, образованные древними моренами. Они похожи на ледяных изогнувшихся змей, свесивших свои плоские головы над Алайской долиной, -- тем более похожи на змей, что их тела самостоятельны и раздельны, боковых притоков они не имеют. Они не опускаются ниже четырех километров над уровнем моря, не дотягиваясь до Алайской долины на полкилометра по отвесу, иногда почти на километр. Есть, правда, среди них ледник и другого типа -- сложный, разветвленный, образованный из ряда притоков долинный ледник Корженевского, самый большой из всех современных ледников Заалая; он спускается ниже других, но он исключение.

И все-таки, на наш человеческий взгляд, современное оледенение Заалая грандиозно. Оно представляется нам таким потому, что наверху, под гребнем хребта, все ледники, как бы сросшись своими хвостами, как бы рожденные из одного тела, соединены в сплошной сверкающий массив, лоскут древнего всеохватного панцыря. Этот лоскут покрывает весь Заалайский хребет, начиная от высоты в 4 700 метров и до самых гребней, то-есть в среднем поясом высотой в километр, а там, где гребень выгнут к небесам высочайшими пиками, еще больше -- до их вершин. Эти вершины: пик Ленина и немногим не достигающие его по высоте пик Дзержинского -- 6 713, пик Кзыл-Агин -- 6 679, пик Корумды -- 6 555, пик Заря Востока -- 6 346, гора Корженевского -- 6 005 метров, и многие другие, сверкающие в ясный день великаны.

Боковые ледники Заалая, которые считаются маленькими, прославили бы собой любые горы Европы, если бы оползали не со склонов высочайшего в Советском Союзе хребта. Так длина ледника Корженевского (исток реки Джанайдар) --

больше двадцати километров. Но кому он известен, этот запрятанный под пиком Ленина в отроги хребта ледник? Не насчитать и полусотни людей, ступавших по его обнаженному, кристаллически чистому льду. В Заалайском хребте и поныне существуют десятки ущелий и ледников, не пройденных ни одним человеком.

Как ни громадны эти вершины, как ни массивен хребет, но в розовых лучах восходящего солнца он представляется наблюдателю из Алайской долины легким, -- великолепные льды, кажется, парят над миром, исполинские в своей мощи, воздушные и прекрасные, они словно налиты вечностью.

Но в дурную погоду страшно даже представить себе, какие дикие ураганы и бури, пурги и бураны беснуются в этих облаках, кажущихся из Алайской долины только белосерыми клубящимися туманами высоких пространств.

Исследователи Алая

Первым исследователем, увидевшим Заалайский хребет, был известный и талантливый ученый Алексей Павлович Федченко, проникший через перевал Тенгиз-Бай (3 801 метр над уровнем моря) в Алайскую долину, к киргизской крепости Дараут-Курган. 20 июля 1871 года А. П. Федченко со своей женой Ольгой Александровной, столь же знаменитой русской женщиной-путешественницей, поднялся на перевал.

"... Вид с перевала заставил нас остановиться: перед нами открылась панорама исполинских снеговых гор, -- пишет А. П. Федченко о своем первом впечатлении от созерцания неведомого мира, открывшегося ему в тот день. -- Горы эти, впрочем, не все были видны с перевала. Ближайшие гряды отчасти закрывали их. Между тем мне хотелось видеть возможно более; перед нами была местность, едва известная по имени Алай, а что лежало за нею, было никому не известно... "

Федченко двинулся дальше, пока не увидел все:

"Горы вдали незаметно пропадали, и между ними и горами по правому берегу расстилалось ровное степное пространство Алай, без границ сливавшееся на северо-востоке с горизонтом... "

Алай был владением кокандского хана, и кокандокие власти не пропустили русских путешественников в восточную часть долины.

Вместе со своей женой исследователь собрал обширную коллекцию флоры и фауны и дал первое описание Заалайского хребта. Высочайшую в цепи других вершину хребта он назвал пиком Кауфмана. Памирская экспедиция Академии наук

СССР 1928 года переименовала эту взятую альпинистами в том же году вершину в пик Ленина и определила ее высоту в 7 129 метров над уровнем моря *. Эта же экспедиция дала названия ряду других, до той поры безыменных, высочайших вершин хребта: пик Якова Свердлова, гора Цюрупы, гора Красина, лик Дзержинского, пик Архар, пик Пограничник, пик Заря Востока и -- между пиком Ленина и Кзыл-Агином -- хребет Баррикады.

Через несколько лет после путешествия А. П. Федченко, в 1876 году, состоялась военная Алайская экспедиция генерала Скобелева. Вместе со всем Кокандским ханством Алай был присоединен к России. Военные топографы, сделав полуинструментальную съемку долины, нанесли ее на карту; участники экспедиции А. Ф. Костенко и В. Л. Коростовцев опубликовали о ней первые очерки. В 1877 году Алай исследовал геолог И. В. Мушкетов, прошедший долину от устья реки Коксу до перевала Тау-Мурун. В 1878 году Алай посетит зоолог Н. А. Северцов и В. Ф. Ошанин. Участник экспедиции Северцова Скасси произвел нивелировку долины и впервые определил высоты главных вершин Заалайского и Алайского хребтов. В следующие годы Алайскую долину изучали многочисленные географы, геодезисты, геологи, горные инженеры, ботаники. В числе наиболее известных исследователей были Путята, Н. А. Бендерский, Д. Л. Иванов, Г. Е. Грумм-Гржимайло, Б. Л. Громбчевский, С. П. Коржинокий, Б. А. Федченко, Н. Л.

Корженевский и другие.

Колонизаторские устремления мирового империализма в Центральную Азию нашли свое выражение и в путешествиях иностранцев, среди которых почти не было подлинных ученых, -- большинство их оказалось попросту авантюристами, агентами иностранных разведок. Царское правительство, преклонявшееся перед иностранщиной, не ограничивалось предоставлением пропуска через территорию России всем желающим, но и предоставляло им различные привилегии, каких часто не могли добиться от российского правительства русские ученые. С помощью царской администрации и под охраной казачьих конвоев через Алайскую долину прошли: в 1894 году-- швед Свэн Гедин, в 1896 году -- датчанин Олуфсен, в 1903 году -- американцы Пемпелли и Хентингтон, в 1909 году -- француз Ив, в 1911 году -- немец Шульц и другие.

Почти все путешественники конца XIX и начала XX века только пересекали Алайскую долину и оставляли лишь поверхностные ее описания. Поэтому, несмотря на множество упоминаний об Алае всех, кто проникал на Памир, Алай до последнего времени не мог считаться хорошо исследованным.

* Недавно высота пика уточнена: 7 134 метра. Уточнены и некоторые другие упоминаемые в книге отметки высот. -- *П. Л.*

Первую серьезную научную работу по оледенению Алая опубликовал в 1918 году Д. И. Мушкетов, а подробнейшее географическое исследование издал в 1930 году географ и гляциолог профессор Н. Л. Корженевский, давний памирский исследователь, к этому времени совершивший свое десятое, начиная с 1903 года, путешествие по Алаю.

Таким образом, к 1930 году, когда я впервые пересекал Алай, эта долина была уже прекрасно исследована, и если бы не особые обстоятельства, связанные с прокатившейся в том году волною басмачества, участники нашей экспедиции могли бы чувствовать себя здесь "как дома".

Но разведка империалистических государств, провоцировавшая басмаческие выступления в пограничных зонах Памиро-Алая, делала все от нее зависевшее, чтоб сорвать любую советскую работу в этих отдаленных и труднодоступных местах.

Еще в первые годы Октябрьской революции, когда Алай стал ареной ожесточенной классовой борьбы, британские империалисты усиленно способствовали разжиганию здесь гражданской войны. Именно через Алай прошла направлявшаяся в Ташкент из Китая английская миссия (в составе кашгарокого консула Маккартнея, полковника Бейли и других), которая стала центром вооруженной контрреволюции в Средней Азии. Именно здесь, в конце Алайской долины, в старинной крепости Иркештам, находилось сформированное на английские деньги, руководимое английской разведкой контрреволюционное "Временное правительство Ферганы"; сюда, в Алай, из Оша, из Ферганской долины бежали от Красной Армии и революционных дехкан белогвардейские банды Монстрова и басмаческая, панисламистокая армия Мадамин-бека; именно здесь, в глухих ущельях, на скрытых от мира пастбищах, прятались банды басмачей, состоявшие из местных киргизских баев.

Советская власть была установлена здесь в конце 1922 года, после ликвидации бандитских шаек "Временного правительства Ферганы". Первый революционный комитет был организован 9 декабря 1922 года.

Первая техника на Алае

Примыкая к государственной границе СССР, отрезаемая в зимнее время снегами от всего мира, труднодоступная весною и поздней осенью, Алайская долина и после 1922 года

еще не раз подвергалась налетам басмаческих банд и своими скрытыми ущельицами, лабиринтами моренных холмов служила для басмачей удобным убежищем.

В моем путешествии 1930 года мне пришлось самому убедиться в этом.

В 1931 году басмачество разыгрывалось главным образом в других районах, -- старый агент империалистов, правая рука эмира Бухары, изгнанного таджикским народам, Ибрагим-бек перешел советскую государственную границу на реке Пяндж, в южном Таджикистане. Но его крупная, многотысячная банда в кратчайший срок была разгромлена Красной Армией и добровольными отрядами таджикских дехкан -- "краснопалочниками". Сам Ибрагим-бек, в июне 1931 года пытавшийся с последними из своих приближенных спастись бегством в Афганистан, был пойман таджикским колхозником Мукумом Султановым и передан пограничникам.

Все эти события происходили далеко юго-западнее Алайской долины, и хотя нам, ехавшим на Памир, следовало быть начеку, сама Алайская долина показалась мне гораздо более приветливой и гостеприимной, чем год назад. В 1931 году, когда я вторично пересекал Алай, геологическая экспедиция Юдина двигалась с большим караваном пограничников, которые направлялись на Памир, чтобы закрыть государственную границу, до того времени остававшуюся там открытой. Впереди каравана шли две грузовые автомашины-полуторки. Впервые в истории Алая и Памира в том 1931 году вступал туда автомобиль.

Вот запись в моем путевом дневнике 1931 года:

"5 *июля.* Лагерь No 7, у Сарыташа... Автомобиль вчера ходил на разведку дороги к перевалу Талдык. Сегодня обе машины ушли вперед. А мы верхами поднимаемся на перевал Кой-Джулы. Подъем зигзагами, по крутой осыпи, с остановками, чтоб давать лошадям передышку. Дождь. Фигуры всадников в плащах. Киргизы, рубящие арчу на топливо. Облака на скалах. А потом -- быстрый спуск с перевала, скользкая глина, едва удерживаемся, ведя лошадей в поводу; наконец выпадаем из облака и видим внизу, в рваных облачных лоскутах, Сарыташ; сквозь разрывы облаков зеленеют куски глубоких лощин, юрты и стада; в стороне вьется дорога, спускающаяся с перевала Талдык.

Встречные киргизы, угощающие нас кумысом, говорят мне, что "машины еще не проходили".

Спустя полчаса вижу вдали группу всадников и за ней, словно двух ползущих жуков, автомобили! Они спускаются к рабату Сарыташ, и из юрт выбегают навстречу им женщины, дети.

Скачу к рабату. Две тяжело груженные полуторки стоят у стены рабата. Шофер Стасевич, выбив пробку из бутылки, поит свою закоченевшую, промокшую под дождем жену коньяком. Шофер Гончаров проверяет двигатель машины. Не обращая внимания на хлещущий дождь, всадники -- участники экспедиции и съехавшиеся киргизы топчутся вокруг невиданных здесь никогда машин. Удивительно: автомобили взяли перевал Талдык самоходом, на первой скорости, на малом газу. А верблюды на перевале скользили и падали...

7 *июля.* Рабат Бордоба... Вчера здесь поставлено шесть юрт, и одна из них занята динамомашиной. Впервые в истории в Бордобе, под Заалайским хребтом работают крошечная электростанция и радиостанция! Ночью впервые здесь сверкал электрический свет и была установлена в эфире связь с Ташкентом. Все, кто был в юрте, слушали ташкентскую оперу!.. "

Альпинисты и геологи в Бордобе

В 1932 году по Алайской долине, во всех направлениях потянулись караваны и отряды Таджикской комплексной экспедиции.

Строившийся в том году автомобильный тракт Ош -- Хорог проходил по трассе старой колесной дороги и только на перевалах, где зигзаги ("серпантины") были слишком круты, отступал от нее. Поэтому на Талдыке и на Кизыл-Арте сосредоточились временные базы строительной организации "Памирстроя". Там, где еще за год перед тем было безлюдно и дико, выросли многолюдные городки. Везде виднелись палатки, юрты, походные кухни, склады материалов, фуража, продовольствия. Сотни рабочих -- мужчин и женщин, русских, узбеков, киргизов -- жили здесь огромными таборами. Большая часть памирстроевцев жила в Бордобе -- урочище, расположенном на трассе у подножия

Заалайского хребта. **Когда-то** тут была почтовая станция -- маленький каменный рабат, одинокий и неуютный. Во времена басмачества рабат был разрушен, и еще в 1930 году урочище Бордоба ничем не отличалось от прочих безлюдных мест Алая и Памира. Но в **1932** году жизнь здесь закипела. Другой лагерь памирстроевцев находился на северном краю Алайской долины, в урочище Сарыташ, дотоле обитаемом только в летнее время кочевниками.

Сюда, в Сарыташ и Бордобу, весной тридцать второго года съехались сотрудники самых разнохарактерных отрядов Таджикской комплексной экспедиции. В Бордобе разместились в палатках геологи группы Д. В. Наливкина, альпинисты центральной группы, ботаники, зоологи, киноработники, художники П. Староносов и Н. Котов, фотограф-художник В. Лебедев.

Те, кто никогда не бывал на Алае раньше, не могли себе даже представить, как пусто и одиноко чувствовал себя тут случайный путник, ехавший с Памира или на Памир. В период последней волны басмачества это место считалось одним из самых опасных. Басмачи, скрывавшиеся по бесчисленным боковым ущельям Алая и Заалая, всегда могли неожиданно напасть на проходящий караван, на случайно здесь заночевавшего путника.

В тридцать втором году все бордобинские палатки и юрты были освещены электричеством, под стенами заново строившегося рабата лежали запасы топлива, вокруг паслись табуны лошадей, радиостанция вела непрерывные разговоры с Ошем и с Ташкентом, и о прежней "пустынности" этого места люди только делились воспоминаниями за чайным столом.

Днем в ясный день здесь было жарко -- люди ходили в майках, по ночам наваливался мороз -- люди забирались в пуховые спальные мешки или бродили по лагерю, ежась, в полушубках и меховых шапках-ушанках. Три с половиной тысячи метров над уровнем моря давали о себе знать резкими скачками термометра, пронзительными ветрами, холодными густыми дождями, а в перерывах между ними -- нестерпимо жгучими солнечными лучами. Загар срывал кожу с носа и шеи, обветренные губы распухали и трескались, а сердце постепенно приучалось стучать быстрее обычного.

Понаехали к нам сюда эти самые альпинисты! Что их носит? Кому от них толк? -- обиженно говорил какой-нибудь не слишком молодой научный работник. -- Лучше бы еще геологов с полдесятка, чем этих лазателей!

Товарищи! -- в другом месте, тренируясь на скалах, говорил альпинист. -- Не забывайте, что мы не спортом заниматься сюда приехали, а помогать научной работе. Вон геологи уже ворчат, что мы ничего не делаем... На сегодня довольно, идемте-ка поскорее к лагерю, надо еще плов варить, а потом ведь на вечер назначена лекция Наливкина. Ну-ка, милый, что такое палеозой?..

А бес его знает, -- неуверенно отвечал второй альпинист. -- Порода, что ли, такая... А, нет, вспомнил -- не порода, а возраст!

То-то, возраст! Смотри, пропишет тебе Дмитрий Васильевич породу... Ты при всех-то хоть не срамись!..

В лагере шел длинный разговор о геологии, о различных породах:

-- Вот старик Мушкетов говорил: Алай и Заалай -- ничего схожего. Алай -- серые палеозойские известняки, древние породы. Заалай -- красные, -- вон видишь, в снегах? Значит, мел! Под этим самым массивом Корумды -- складки меловых песчаников. Ты слыхал про идею о громадном тектоническом сближении двух территорий? Индийский континентальный щит, подъезжает к сибирскому... Знаешь, что параллельно Алайской долине проходит громадная линия надвига или даже шариажа...

-- Постой, постой! -- перебил альпинист. -- Что такое шариаж? Я забыл...

Шариаж? Эх ты, память! Перемещение гигантского размера масс по пологим

или горизонтальным плоскостям на многие сотни километров. Вот что такое шариаж. Беда!

Какая беда?

С тобою, дружок, беда, никак тебя не научишь!.. Это название из геологии Альп -- покровная структура. "Наб де шариаж" -- салазки перекрытия, понимаешь? Да что я буду тебе рассказывать, на вот, прочти сам!

Всезнающий коллектор отчеркивал ногтем абзац истрепанной книги и досадливо совал ее в руки сконфуженному альпинисту.

К этому разговору теперь, спустя почти четверть века, надо добавить, что те прежние представления о строении Заалая давно устарели, что мел определен теперь и в Алайском хребте -- между Суфи-Курганом и Ак-Босогой; что сейчас спор шел бы о палеогене и неогене; что Алайская долина признана тектонической, ограниченной разрывами впадиной; что устарело само понятие "шариаж" и никто им теперь не пользуется.

Наука ушла вперед. А сейчас я лишь передаю обстановку далекого тридцать второго года. Дождь, дождь, затяжной, унылый, холодный. Обычный период весенних дождей в Алайской долине. На Памире дождей не будет. На Памире почти не бывает дождей. А сейчас дождь -- и с Заалайского хребта разлившейся грязной громадой несется река Кизыл-Арт. Через нее нельзя переправиться: обычное весеннее бедствие всех геологов. Сиди в Бордобе и жди, когда откроются пути на Памир. Геологи ждут, скулят, забавляются фотосъемками, спорят на сугубо-теоретические темы и гуляют... Но гуляют по-своему, -- гуляют "с геологической точки зрения". Бродят по окрестным моренам с молотками и лупами, прыгают с камня на камень, разглядывают камешки, кажется, так, между прочим, а у каждого в голове свои схемы, свои положения, которые нужно доказать, к которым нужно найти подтверждения.

Вот, например, возраст Заалая. Как будто бы ясно: мезокайнозой -- и никаких гвоздей. Ну, ясно же, до самых снегов, -- ведь сколько было исследований!

Но однажды дождливым вечером один из геологов явился в лагерь необычайно возбужденным. Он что-то такое сказал, чтото такое показал на раскрытой ладони, и сразу вокруг столпились геологи, обступили его, рванули из рук самый обыкновенный маленький камешек, в котором никто из непосвященных не узрел бы окаменелости. До ночи и весь следующий день в лагере геологов творилось неописуемое. Ученые мужи бегали из палатки в палатку, никто не пошел "гулять", кипели по палаткам какие-то таинственные пререкания, споры, выкрики, уверения во взаимном уважении и такие же уверения во взаимном невежестве. Работники других научных специальностей шарахались от геологов, как прохожий шарахается от одержимого безумием.

Во всех криках, спорах, пререканиях из уст в уста перекатывалось новое, никому из непосвященных не понятное слово:

-- Фузулина...

С фузулиной обедали, с фузулиной ложились спать, с фузулиной на устах чуть не дрались.

-- Да что же это за чертовщина такая? -- наконец взмолился один из заинтригованных альпинистов. -- Объясните же мне, пожалуйста...

Молодой, но уже известный геолог, белобрысый и ядовитый в речах, смилостивился, наконец, и, усевшись вместе с альпинистом на большой "верблюжий" вьючный ящик, поглубже уткнув подбородок в воротник полушубка, изрек:

-- Самый старинный вид фузулины называется: Fusulina granum avenae, то-есть по-российски "фузулина зерно овса". Первая фузулина, -- вот слушайте, -- была описана в России сто лет назад немцем-ученым. Написал он статью, и называлась эта статья: "Об окаменелых овсяных зернах из Тульской губернии". Понимаете, старый дурень принял фузулину, самую обыкновенную фузулину, за окаменело... -- геолог подавился смешком, -- окаменелое овсяное

зерно. Вы думаете, история знает только один такой случай? Да я вам десяток таких расскажу! Вот, например, известный современный английский палеоботаник Сьюорд. Так он, бродяга, решил сделать ревизию окаменелых растений, которые собраны в коллекции Британского музея. Однажды нашел он один образец сердцевины окаменелого папоротника. Ну, такая гладкая, слабо изогнутая, невыразительная загогулина. Недавно еще она была описана в ученом журнале с таблицами. Чтоб не было сомнений, что образец, выставленный в музее, и есть тот самый, который описан в этом журнале, на загогулине автором описания была наклеена этикетка с латинским названием. Ходили люди, смотрели на загогулину и не понимали: до дьявола она похожа на что-то знакомое. Вдруг один из посетителей, -- умный, полагаю, был парень, -- возьми да и хлопни себя по бокам и расхохотался на весь музей. "Что с вами, мистер?" -- подбежали к нему взволнованные ученые хранители. А он показал на загогулину и опять хохочет, этот самый-то англичанин спокойный. Ну и оказалось, что не папоротник это, а обыкновеннейшая обломанная ручка глиняного чайника... Альпинист сдержанно улыбнулся:

Александр Васильевич... Ну, а фузулина здесь при чем?

Да ни при чем, просто я так рассказал. А фузулина... Ну, понимаете? Вчера фузулину нашли. В куске валуна -- фузулина. А фузулина -- это такое ископаемое, которое обязательно в палеозое бывает. А валун откуда? С Заалайского хребта. Значит, какой же Заалай -- мезокайнозой? Палеозой, значит! Гораздо древнее. Понимаете? Ну, вот мы и спорим. Одни говорят, что существующее представление о строении Заалайского хребта неверно, а другие вопят, что находка палеозойских валунов в реке еще ничего не доказывает. Мало ли? Были большие древние ледники. Они могли притащитъ материал из более далеких мест. Во всяком случае -- доказательство сомнительное. Надо найти палеозой в коренном выходе. Значит, где-то высоко в снегах. Понимаете, к чему речь веду?

Кажется, начинаю понимать, -- задумчиво произнес альпинист.

Ага. Ну, отлично! Пусть будет вам ясно: у нас кое-кто говорит, что вы, альпинисты, лазите хорошо, а собственно говоря, неизвестно зачем. Слушайте... Достать бы палеозой! А? Наши больно тяжеловаты, туда не долезут, а вам, как говорится, сам бог велел. Ну, что скажете?

Альпинист оживился:

Завтра же лезу. Организую небольшую группку, честное слово, Александр Васильевич, вы меня разожгли...

Лезете?

Ну, конечно!..

Тогда имейте в виду: на дрянь не обращайте внимания.

Что -- дрянь?

Да так, вы слишком обращаете внимание на окраску породы да на разные дурацкие разводы, которые бывают на выветрелых камнях. Надо искать ракушку. Понимаете: ракушку! Ракушка дороже золота.

Даже золота? Ну, это вы уж слишком!..

И золота! -- обиделся геолог. -- Поймите же, ведь она датирует возраст слоев!.. Ну, ладно. Нумеруйте камни. Точно

указывайте место, где их нашли. Отмечайте: как лежат пласты, куда наклонены, какие толщи покоятся одна над другой. А почему, -- геолог небрежно указал пальцем на скалы, торчащие над ледником, -- почему вот они там встали на дыбы? Все важно, все нужно определить... Впрочем... напрасно я говорю...

Как это напрасно? В чем дело?

А в том, что уважающий себя геолог ни вам, ни даже своему коллектору ни

в чем не поверит. Он все должен увидеть своими глазами... Ваша задача найти, рассказать, а потом помочь нам пойти по вашим пятам. И уже вместе мы будем определять, всему искать причины: складчатости, горообразованию, разрывным дислокациям, катаклизмам... Понятно?

Меньше половины! -- смеется альпинист. -- Но не беда. Мы завтра полезем... Значит, эту самую, как ее -- фузулину -- искать?..

Вечер. Темнеет. Снова начинает накрапывать дождь. Низко-низко, отсекая весь верхний ряд гор, опущены облака. Словно все живое здесь -- под водой, ниже ватерлинии судна, а там, наверху, на поверхности, наверно, и свет, и солнце, и тепло, и радостно, и можно по-настоящему жить.

Геолог и альпинист расходятся по палаткам.

На следующий день группа альпинистов уходит в горы. Здоровые, веселые, загорелые лица. Шутки и смех. Молодой парень в свитере, выбежав на зеленую лужайку, лихо перекувыркивается через голову под хохот рабочих и альпинистов.

-- Вот мальчишка! -- снисходительно улыбается геолог, которого зовут Александром Васильевичем.

Веревки, шакельтоны, ледорубы, алюминиевые крючья -- все проверено, точно рассчитано, разделено. Альпинисты выходят из лагеря. Через час высоко, на фирновом склоне, видны четыре крошечные черные фигурки с рюкзаками за спиной. Медленно, как водолазы, они поднимаются к острозубому, черному гребню, длинным мысом торчащему из лакированной белизны снежника. Светит солнце, облака отступили: налево -- за массив Корумды и направо, закутав мятущейся пеленой подножие Кзыл-Агина.

Еще через час фигурки скрываются в облаке.

Внизу им завидуют:

Ишь, козлята, как ходят!

Вот я и говорю вам, -- рассуждает другой, тощий и всегда угрюмый геолог, о котором все говорят, что он хороший специалист, но грешит излишним пристрастием к иностранщине. -- Почему до сих пор Центральный Тянь-Шаеь не изучен? Геология темна? Потому что, кроме немцев, никто там не был. Кто? Мерцбахер, Кайдель. Они в равной степени и геологи и альпинисты, -- они члены альпийского клуба, могут лазать...

А мы, что ли, не можем? -- с горячей обидой прерывает его молодой краснощекий геолог.

Вы... Ну, ты-то полезешь, о тебе я не говорю. Ты, так сказать, молодое поколение геологов. А вот я о Тянь-Шане... В царские времена поехали наши туда -- географы, статские советники, директора департамента, большие животы. Доехали до ледника и повернули назад. Потому что для этого дела нужна тренировка...

А что, я, по-твоему, не тренируюсь? -- опять вспылил молодой. -- Вчера только все сапоги изодрал вон на этой чертовине...

Ты, опять ты! Ты больше привык сидеть в седле, чем читать доклады.

И то нужно, и это нужно! -- рассудительно произнес угрюмый и тощий, с козлоподобной бородкой. -- Разве это геолог с одышкой и брюхом? Ты вот видел, как вчера Дмитрий Васильевич вскочил в седло, не коснувшись ногою стремени? Вот и профессор, известность, -- Наливкин, -- и скоро уже старик, а как вскочил! Позавидовать можно. Надо, чтоб вся молодежь такою была... Почему не полез сегодня с альпинистами?

Я-- я... Да просто нужно разобрать вчерашние образцы! -- замялся молодой, смущенный неожиданным поворотом разговора.

Угрюмый и тощий, с козлоподобною бородой, искоса хитро взглянул на него:

А что твой коллектор делает?

Ну, ясно что, этикетажем заниматься будет...

Сказав это, молодой геолог глянул еще раз на облако, в котором скрылись альпинисты, повернулся и, насвистывая, с совершенно независимым видом отошел в сторону.

К вечеру альпинисты вернулись недовольные и усталые.

Нашли фузулину?

Найдешь эту пакость! -- сердито буркнул один. -- Вот какие-то тут красные, -- он протянул геологам мешочек с образцами, -- и зеленые, и еще какая-то дребедень... Поглядите сами...

И зеленые, говорите вы? А ну-ка...

Через час весь лагерь облетела весть, что альпинистами сделана новая важная находка -- зеленые метаморфические сланцы. Ага: сланцы... Такие же, как в Саук-Сае, там у Алтын-Мазара!

И пошли рассуждения о том, что именно в Саук-Сае связано с такими же сланцами. А Александр Васильевич кричал:

-- Но ведь это же, товарищи, большое открытие!.. Вот что

значит не только ракушка, а порой даже ***и*** простой камень дороже золота! Я говорил вам, хватит сувениров, всяких мелких кристалликов колчедана, разводов, щеток кальцита!..

Так шли в Бордобе дни за днями. Отсюда, от Бордобы, начались те догадки, которые определили работу многих геологов на целое лето. Ища фауну, определяя возраст пород, слагающих гигантские горные хребты, геологи думали о рудных богатствах, какими не может не быть чреват Памир.

К осени многие из гипотез, выдвинутых в ту весну, подтвердились, превратились в теории, теория повела к практическим изысканиям и находкам.

В наше время уже никто не спорит о том, что альпинизм не только прекрасный вид спорта, но и первый помощник науке в высокогорье. А в те годы, о которых я говорю, советский альпинизм, особенно в Средней Азии, еще только начинал развиваться, впервые -- и именно здесь, на Памире, -- заводил тесную дружбу с наукой.

Мир становится шире

Лето на Алае проходит в оживленной работе. Геологи делают ряд маршрутов по Алайской долине и Заалайскому хребту. Геолог Марковский слышит от киргизов, что в районе КараМук есть уголь; он едет туда, но оказывается, что киргизы ошиблись: это не уголь, это палеозойские углистые сланцы, которые никак не могут гореть. Киргизы говорят, что у Дараут-Кургана, в арыке, есть ртуть. Геолог Марковский находит несколько капелек ртути, но он осторожен и, допуская, что это, может быть, явление случайное, рассуждает так: "комплекс отложений, слагающих бассейн реки Дараут, близок к имеющимся в районе... " И называет район, где с древних времен известны месторождения ртути: "некоторые общие черты имеются и в характере строения... Эти обстоятельства заставляют отнестись к данному явлению осторожно, впредь до более детальной работы в этом районе... " Ох, как осторожны геологи! Сотню раз взвесить, много ночей думать, много раз обсудить... Что может быть хуже, чем раскричаться о несуществующем месторождении? Но и что может быть вреднее бездоказательного, легкомысленного "закрытия" ценного месторождения?

Геологи пьют кумыс в Дараут-Кургане, в урочищах Курумды-Чукур и Арча-Булак; размышляют о новых сообщениях киргизов. А кочевые киргизы называют места, где имеются древние разработки, штольни, отвалы рудоносных пород... Каждое сообщение нужно проверить. Может быть, далеко не все

интересно. Но важно, что алайские киргизы активны, что они уже не таят стариковских тайн и легенд, что они приезжают в лагери экспедиции, хотят помочь тем, кто помогает им посоветски изучать и развивать их малоизведанную страну.

Попрежнему верещат сурки и, вставая на задние лапки у своих норок, удивленно, по-человечьи, глядят на проезжих. Попрежнему цветут эдельвейсы, тюльпаны, типчак, первоцвет и ирис. Попрежнему кузнечики нагибают серебристые метелки сочного ковыля. А вокруг Дараут-Кургана попрежнему дики кусты эфедры, пронзителен запах полыни, жестки заросли облепихи, чия, тамарикса. И ветер все тот же -- тысячелетний. Но в Дараут-Кургане -- советском центре Алая -- звонит телефон. В Дараут-Кургане кочевники толпятся у кооператива, а другие, организовав добровольный отряд, стерегут от лихих людей склады и табуны и свой сельсовет, непосредственно подчиненный киргизскому ЦИКу. В Алае уже есть партийные группы, и десятки кандидатов партии, и много комсомольских ячеек -- сотни комсомольцев, ведущих яростную борьбу с вредными байскими пережитками, с дикостью и неграмотностью... И главное, в Алае уже нет басмачей. Их уже никогда больше не будет! Алайцы становятся колхозниками, посылают своих детей в школы.

Небольшая группа сотрудников экспедиции, сложив палатки, отправляется из Бордобы в дальний маршрут. В этой группе -- топограф, ботаник, несколько альпинистов, художник Н. Котов и начальник пограничной заставы, который хочет получше узнать свой район. Они едут верхом пока можно, пока горы не слишком круты, а снег не слишком глубок. Они оставляют лошадей там, где уже невозможно ехать верхом. Неделю они скитаются по ледниками и белым склонам восточного Заалая. Их осаждают бури, и они отсиживаются в заваленных снегом палатках. Они ушли из Бордобы на юг, через КизылАрт на Памир. Они возвращаются в Бордобу с севера, из Алайс-кой долины, откуда их никто не мог ждать. Они перевалили Заалайский хребет там, где он от века считался непроходимым.

Они открыли новый перевал и назвали его перевалом Контрабандистов, потому что этот неведомый перевал мог оказаться единственным до тех пор бесконтрольным путем для незваных пришельцев из-за рубежа. С этого времени на картах в Заалайском хребте будет помечено не два перевала, а три. И чужой человек уже не проскользнет к Алайской долине в обход пограничной заставы!

Какие неожиданности предстоят дальнейшим исследователям? У перевала Контрабандистов обнаружен восемнадцатикилометровый ледник Корумды, текущий параллельно Заалайскому хребту, питаемый пятью мощными ледниками, чрезвычайно крутыми, с множеством ледопадов. И ползет этот ледник не по самому Заалаю, а между ним и параллельным ему, до сих пор неизвестным гигантским хребтом, не названным, не описанным. Сделана топографическая съемка -- район оказался не маленьким, во всех отношениях интересным.

На Памире все так: чуть только в сторону от известных путей -- и неожиданностей целый ворох. Многие величайшие хребты и вершины до сих пор еще даже не замечены ни одним исследователем! Здесь совсем иные масштабы. Здесь еще бесконечно многое надо сделать.

Первыми идут топограф, географ. За ними в неизвестную область вступают геоморфолог, геолог, ботаник, зоолог, метеоролог... За ними приходят строители и изменяют первозданный облик еще недавно никому не известного края. Так расширяется мир!

Что я думал о будущем? (Из записей 1932 года)

Алай... Я не оговорился, сказав, что люди в нем кажутся микроскопически малыми. Это оттого, что над волнистой зеленой степью долины гигантским барьером, колоссальным фасадом Памира, высится Заалайский хребет. От солнечного восхода до солнечного заката тянется цепь исполинских гор, величие и красота которых поистине необычайны.

Июнь. Кончается период дождей. По Алайской долине незримо малыми пунктирными линиями тянутся караваны. Мелкими жучками проползают автомобили, -- в тридцатом году их еще не было, в тридцать первом они появились впервые... В тридцать втором -- в экспедиции работает шесть машин, а от Оша до Алая ходят десятки.

Я всматриваюсь в даль Алайской долины и хорошо представляю себе ее близкое будущее.

Нет лучше пастбищ, чем в Алайской долине. Она может прокормить миллиона полтора овец. Не кочевые хозяйства киргизов-единоличников, а колхозы и огромные, оснащенные превосходной техникой совхозы разрешат задачу создания здесь крупнейшей животноводческой базы. Всю Среднюю Азию обеспечит Алайская долина своим великолепным скотом. Потому что мало где есть такие пространства сочнейших альпийских трав. Здесь будут образцовые молочные фермы. У подножия гигантских хребтов возникнут санатории для легочных больных, здравницы для малокровных, дома отдыха для всех, кто нуждается в целительном горном воздухе. Туристские базы расположатся над обрывами, у ледяных гротов, на горбах морен. Отсюда комсомольцы всего Союза, всего мира станут

штурмовать памирские снеговые вершины. Вдоль и поперек по Алаю лягут, как стрелы, автомобильные шоссе. На просторах Алая будут происходить состязания призовых лошадей, вскормленных на конных заводах Киргизии.

Все, что делалось в тридцатых годах, было только началом. Самое трудное всегда начало. Тогда я думал о том, что киргизы Алая скоро станут не темными кочевниками, зябнущими в рваных халатах, бедняками, еще боящимися злобы и мести баев, а иными людьми -- зажиточными, образованными, культурными, гордыми своей свободой и независимостью.

Теперь все то, о чем мечтали мы в те давние годы, осуществилось. Теперь я думаю о том, как поразительно быстро все это произошло! Сознательно и умело пользуются теперь мирные, трудолюбивые колхозники огромной высокогорной долины всеми благами советской науки и экономики; умно и деловито управляют богатым социалистическим советским районом -- цветущей долиной Алая.

ГЛАВА V. НА ВОСТОЧНОМ ПАМИРЕ

От Алая до озера Каракуль

Перевал Кизыл-Арт. Развалины рабата Бордоба. Утро 7 июля 1930 года. Ясная, хорошая погода. Оделись тепло: свитеры и овчинные полушубки. Довольно долго возились с вьюками.

Едем, как всегда, шагом. Геологические определения мест, которые проезжаем. Интересные антиклинали и синклинали. Гипс, сланцы, песчаники. До двух часов дня -- подъем на перевал Кизыл-Арт. Мутнозеленая от растворенных в ней глинистых пород вода речки Кизыл-Сай, которую переходим вброд. Как и вчера -- дорожные знаки: кучи, сложенные из камней. Слияние вод: мертвенно зеленой и красной. Снеговые хребты все ближе к нам по мере подъема. Причудливая фигура из глины, эолового образования, похожа на сурка, словно памятник этому обитателю здешних мест. Множество архарьих рогов, усеивающих подножия горных склонов и даже дорогу. В полушубке сначала жарко, а когда

поднялись высоко -- в самый раз.

Ущелье красноцветных пород. Бесчисленные трупы животных по пути: верблюды, лошади, ослы. Иногда -- скелеты, чаще -- полуразложившиеся. Наши лошади пугаются их. Помня о басмачах, скрывающихся где-то поблизости и, несомненно, следящих за нами, внимательно осматриваемся по сторонам.

Подъем на Кизыл-Арт не очень крут, дорога прекрасно выработана, зигзаги достаточно широки и пологи, чтобы подниматься без особого труда. Верблюжий караван, вышедший позже нас, -- до двухсот верблюдов, -- остался далеко позади. Красноармейский отряд, сопровождающий нас, ушел вперед.

Приближаемся к перевалу. Под кучей камней -- дорожным знаком -- видим человеческий труп, иссохший, засыпанный камнями. Обнаружила его наша собака, обнюхав груду камней. Караванщики утверждают, что это кашгарец (как они говорят: кашгарлык), умерший в пути, -- много беженцев из Кашгарии умирают на памирских высотах.

В два часа дня -- перевал. Здесь -- граница между Киргизией и Таджикистаном. По нашему барометру -- высота 4 080 метров. По карте -- 4 444 метра. На перевале -- могильня: груды камней и воткнутые в них шесты, на шестах меховые привески и вороха разноцветных тряпок. Вся могильня желтеет архарьими рогами. Наши караванщики, встав на колени, молятся.

Спуск с перевала, лошадей ведем в поводу. Меня поздравляют: "Вот вы и на Памире!"

Громадная перспектива: долина Маркансу и широкое ложе одноименной реки. Оно падает с запада, река уходит в Китай. Горизонт окаймлен горами -- снежными и разноцветными. Внизу виднеется рабат Маркансу -- одинокое, полуразрушенное, каменное строение.

Пустыня Маркансу. Спустившись с перевала Кизыл-Арт пешком, опять сели на коней, и вот она перед нами -- Маркансу, "Долина смерчей", или, как ее называют чаще, "Долина смерти", песчаная пустыня на четырехкилометровой высоте над уровнем моря, пустыня, в которой природные опасности усугублены угрозой нападения басмачей. Отсюда до Китая верст тридцать -- прямая дорога.

Отряд красноармейцев, сопровождавший нас, ушел далеко вперед, в последний раз мы видели его с перевала, и заметили, как за ним, когда он проходил Маркансу, следила басмаческая разведка: два всадника, укрывшиеся за сопками.

Сейчас, на случай нападения, мы предоставлены только собственной защите: одна винтовка (у меня), один винчестер (у Е. Андреева), несколько охотничьих ружей да пистолетов. Впрочем, студент-геолог Е. Андреев -- отличный охотник, бывший пограничник -- спутник надежный.

Позже, снова соединившись с отрядом, мы узнали, что отряд стрелял здесь по басмачам, они скрылись, и больше их уже никто из наших людей не видел.

Гладкий -- как зеркало, гладкий и блестящий песок, да справа и слева -- невысокие сопки. До рабата Маркансу, где мы предполагали стать лагерем, осталось два километра. И удивление наше было весьма велико, когда, подойдя к рабату (такому же полуразрушенному, как и все другие в нашем

пути), мы не нашли никого. Песок, да река, да чахлая травка, да горы с ущельями, пологими скатами и иззубренными бровками, -- горы, как и весь день, со всех сторон.

Мы рассуждаем об отряде. "Ушли!" -- "Неужели на Каракуль?" -- "Сколько до Каракуля отсюда?" -- "Верст тридцать!" -- "Нет, они, очевидно, решили остановиться ближе, на Уй-Булак-Беле, там есть травянистая площадка... " -- "Несомненно, там стали, вряд ли ушли к Каракулю, ведь мы же условились!.. "

Идем дальше. Ветер в спину, густая пыль -- самумы и вихри, слепящие нас и скрывающие от нас весь мир. Пыль в глазах, на зубах, пыль забирается всюду, -- облако окутает нас и бежит дальше, сзади набегает новое облако.

И нам понятно, почему это -- "Долина смерти". Был бы посильнее ветер, -- куда бы деваться?

Надеваю очки-консервы, но и они помогают мало. Пути в пустыни, кажется, нет конца; ни птицы, ничего, ничего живого. Сзади -- контрастом нашей серости -- ослепительный блеск снеговых вершин. Солнце жжет, а в полушубке -- не жарко.

Справа, в млеющей дымке показались шесть всадников. Мой спутник Е. Г. Андреев спешился и в двенадцать раз увеличил всадников своим великолепным биноклем. Ему удалось разобрать, что всадники были в халатах и малахаях. Тогда мы, вдвоем, сняли с плеч винтовки и отделились от каравана.

Если бы не песок, конь Андреева померился бы с моим быстротой. Мы спешили навстречу всадникам. Но они исчезли. Пустыня была бугристой, плоской, и всадники исчезли бесследно.

Мы выехали на большой песчаный бархан. Ветер расчесал на мелкие волны его крутую поверхность. Андреев наклонился и, не спешиваясь, что-то поднял с песка. Он посмотрел находку на свет и передал мне. Это был полуистлевший кадр кинофильма. Если бы Андреев сказал мне, что за тем вон ущельем, в роскошном шатре, нас ждет к ужину сам Тамерлан, я бы скорее поверил ему, чем верил сейчас этой находке. Уж не явью ли были и те зыбкие фонтаны, сады и бассейны, что мы все видели сегодня на горизонте, когда нас закружил свирепый, рыжий самум? Мы смотрели, и никто из нас не ошибся, но мы сказали друг другу: "мираж" и, выплюнув песок, набившийся в наши рты, пока мы произносили это слово, поехали дальше.

Сейчас я готов был поверить чему угодно. Осторожно, в обе ладони, я вложил ветхий клочок целлулоида и сдувал с него маленькие песчинки. Потом, еще осторожней взяв его за уголок двумя пальцами, посмотрел сквозь него на свет. Я увидел женщину с оголенными плечами, в вечернем платье, и эту женщину я узнал: с обрывка целлулоида мне улыбалась Лия де Путти,

и я на секунду представил себе мертвящий свет "юпитеров" и количество веских, придирчивых слов режиссера, требующихся для производства такой вот, предназначенной для обольщения бюргеров и буржуа великолепной улыбки.

И все-таки, откуда же здесь кинофильм? Забыв о тех шести всадниках, я углубился с Андреевым в перечисление памирских экспедиций, снабженных киноаппаратурой. Перечисление не удалось: только две киногруппы здесь проходили за все времена, только две, -- одна из них работала в экспедиции 1928 года, вторая пересекла Маркансу в прошлом году, но и они не таскали же с собой на Памир старые фильмы! Мы ни до чего не додумались и вернулись к нашему каравану.

Справа, после холмов и сопок, открылось широкое, ровное пространство: мы подъезжаем к У-й-Булак-Белю, который вот, за этой грядкой, впереди. Песчаные дюны. Уй-Булак-Бель: зеленая луговинка, чахлая травка. Никого, ни души...

К этой записи я могу добавить: много позже, в Хороге я нашел ответ на заданную мне пустынею Маркансу трудную задачу о кинофильме.

Нигде на Памире к тому тридцатому году еще не было выстроено кинотеатра. Но в 1929 году культработники Памира организовали кинопередвижки. Они должны были посетить все военные посты Памира и демонстрировать серию фильмов. Опыт удался наполовину: часть каравана с фильмами была в Маркансу разграблена басмачами, наскочившими из Кашгарии.

Басмачи не поняли истинного смысла и назначения странного груза, но убедившись, что странные ленты отлично горят, поделили фильмы между собой и разжигали ими кизяковые костры... Говорят, что слава об этих кострах пошла по Кашгарии!

... В Уй-Булак-Беле отряда не оказалось. Значит, он ушел к Каракулю. Останавливаемся на площадке, поросшей чахлой травой, -- вокруг нас пустыня, волнистые дюны, горы. Уже шесть часов вечера, лошади изморены, а до Каракуля

еще пятнадцать верст. После долгого обсуждения все же решаем двинуться дальше.

Спуск с Уй-Булак-Беля. Внезапно открывшийся вид на озеро и окружающие его горы. Лошадей стараемся возможно больше вести в поводу, но на такой высоте, тяжело одетым, нам трудно итти. Моренный остаток -- спуск к озеру. Еще два-три километра крутого спуска, -- выходим на равнину, в котловину озера Каракуль, но до воды остается еще километров десять.

В девять вечера, после заката солнца, подходим к стоящему лагерем отряду, ничего не говорим его командиру, но он сам, опережая наши попреки, объясняет: он не знает пути, а вел его проводник Таш-ходжа, который явный трус и потому очень спешил и все время обманывал, преуменьшая расстояние до озера, и -- "вы уж не ругайте меня, так вот все и вышло!".

У озера Каракуль

... Каракуль -- великолепен: дикий, особенный, первозданный мир! На ровном, на гладком песке восточного берега -- редкие альпийские цветы и мелкая травка. Речка, бегущая в озеро. Ставим палатки возле нее. Светит зеленая, призрачная луна. И, наскоро поев консервов, выпив чаю, не чувствуя никакой усталости, а напротив, ощущая необычайную бодрость и легкость, я брожу один, захваченный и вдохновленный суровой красотой местности.

Июльское утро 1930 года. Путь по гладкой, пустынной местности, по мягкому песку, вдоль берега Каракуля. Берег изрезан глубокими заливчиками, бухтами, мысами, к берегу примыкают мелкие острова.

Озеро -- голубое, как разрез зеркального стекла. Безветрие. Солнце жжет до боли, обжигает лицо, руки и -- сквозь рубашку -- тело. Жарко до одури, а ночью все маленькие ручьи замерзли; вода иссякла к утру, как обычно здесь, и тонкий слой льда образовал над пустыми руслицами воздушные полые перекрытия.

Трупы животных. Испугавшись одного из них, лошади обезумели, разбежались во все стороны. Вьюки полетели на землю. Мы задержались почти на час, собирая ящики и мешки, ловя и завьючивая лошадей.

Песок -- и белые хлористые выцветы. Местами набухшая, мягкая почва, в которой ноги лошадей проваливаются. Под нами -- подпочвенный лед. В летнее время покрывающая его почва превращается в предательские трясины.

Пройдя восемнадцать километров, становимся лагерем у восточного берега озера. Ставим палатки, иду собирать кизяк, приношу полный мешок.

Бреду один на озеро, прогуливаюсь по берегам, по лабиринту мысков, перешейков, полуостровков. Вдоль берега -- никаких следов рыбы, но чайки, пища, носятся над зеркальной поверхностью. Одна долго играла со мной, пролетая, опускалась к моей голове.

Подальше -- берег с откосом. По откосу -- кладбище, сложенные из сланцевых плит могилы, многие зияют и пусты.

В одной -- человеческий череп. Здесь близко был рабат Ходжа Кельды, вероятно потому и кладбище. Закат солнца, и сразу лунный лик над горами -- полная луна на востоке.

Возвращаюсь в лагерь, обед еще не готов. Егор Петрович Маслов варит для всех суп с фрикадельками. Брожу по степи с геологами. Разговоры о том, что широкая котловина Каракуля, повидимому, тектонического происхождения. Сухая часть котловины местами вспучена и ближе к горам покрыта моренными отложениями. Высота озера над уровнем моря -- 3 954 метра, горы, окружающие котловину, превышают ее метров на триста-четыреста, а местами -- снежные гребни -- на километр и, пожалуй, даже на полтора километра. Горы сильно оглажены и, по всем признакам, завалены продуктами собственного распада эолового характера, не снесенными с них, ибо нет стоков. Из-под этих продуктов распада ныне вырезаются только, как зубы из десен, острые, резкие, угловатые бровки. В средней части котловины морены отсутствуют (или, что

вероятней, скрыты под аллювием).

Геологи высказывают предположение: плоскостной ледник -- ледяной щит, когда-то покрывавший котловину, стаивая, погреб себя под "остаточными продуктами стаивания", -- эти "продукты" и являются сейчас почвой котловины. Известный здесь подпочвенный лед -- не остаток ли ледника?

Н. А. Северцов -- первый исследователь, побывавший на озере Каракуль в 1878 году, -- утверждал, что озеро имеет два стока. Но он ошибся, -- озеро на самом деле бессточно. А первым, кто обратил внимание на "почвенный лед", был Г. Е. Грумм-Гржимайло, в 1884 году. С тех пор на Каракуле побывало немало исследователей, и все же на многие научные вопросы без организации систематических наблюдений и глубокого изучения озера нельзя ответить и до сих пор.

... Красноармейцы в палатках поют хором. Странно и приятно слышать русскую хоровую песню здесь, на озере Каракуль!

Вечером, после обеда, разбираем, чистим оружие.

А верблюжьего каравана все нет, весь вечер его высматривали в бинокль. И разговоры в лагере такие: если к ночи не придет, значит можно не беспокоиться: наш груз, наше продовольствие делятся басмачами в Кашгарии!

... Утро раннее... Из-под одеяла вылезать холодно. Я хочу сейчас поговорить о шахматах. Маленькие, дорожные шахматы -- неотъемлемое достояние Хабакова и Юдина. Оба они больны особой болезнью, похожей на одержимость, -- хронической и прогрессивной шахматоманией. Не бывает у них такой свободной минуты, какую они не отдали бы этой игре.

Весь день я бродил вдоль высочайшего в мире большого озера, тревожимый и волнуемый таким похожим на лунный

рельефом обступивших озеро гор. А Юдин и Хабаков лежали на животах и передвигали по квадратам фигуры. Они лежали на животах весь день и весь вечер. Им носили пищу и ставили ее на землю, рядом с шахматной доской. Днем была разрывавшая камни жара, к вечеру -- ураганный ветер и холод, а они все лежали, словно приросли животами к земле. Иногда одного из них сменял командир сопровождавшего нас полувзвода. Они заразили и его той же шахматоманией.

Солнце утонуло в вечных снегах, над вечными снегами всплыла луна. Совсем необыкновенная, будоражащая сердце луна, а они все играли, подложив под себя одеяла и укрывшись полушубками.

Я видел все сочетания пустынной воды, лунного света и снега. Я видел все оттенки млеющих в зеленом ветреном воздухе гор. Они не видели ничего, кроме пешек, ферзей и тур. Я думал о тысячелетнем покое и мертвенности этих мест. Они думали только об очередном мате.

Юдин, проигрывая, хмурился и мрачнел. Он молчал, и его глаза наливались кровью. Хабаков, проигрывая, не мог сохранить спокойствия -- язвил и нервно жестикулировал. Командир рассеянно и потерянно улыбался, надеясь, наконец, отыграться, но улыбка его была напряженной и неестественной. Весь лагерь спал, и, наконец, я тоже пошел в палатку. Когда они кончили игру, я не знаю.

... Пора вставать. Сейчас выходим. Наш путь сегодня -- в долину Муз-кол. Верблюжий караван пришел ночью. Опасения были напрасны.

Путь из Алая до Каракуля, описанный мною, я повторил дважды, в следующие, 1931 и 1932 годы. И мне хочется рассказать о тех удивительных переменах, какие совершались у озера Каракуль на моих глазах.

До 8 июля 1931 года на озере Каракуль было все то же вековечное безлюдье да безмолвие, нарушаемое только посвистом ураганных ветров. В этот день, едучи впереди всех дозором, поднимаясь верхами вчетвером на перевал Кизыл-Арт, геолог Е. Г. Андреев, геолог Одинцов, художник Данилов и я заметили на откосе береговой террасы множество архарьих следов: архары были кем-то вспугнуты и, кинувшись с верхней террасы вниз, разбежались в разные стороны.

Внимательно изучая следы, мы проехали это место, выехали наверх, с трудом пересекли глубоко размытое русло ручья, заполненное вязкой, усыпанной камнями глиной. Кони проваливались по брюхо, мы сооружали себе тропу руками, нас нагнал здесь вместе с бойцами начальник той заставы, которая

в этот день должна была впервые обосноваться на берегу озера Каракуль. Бойцы взялись за дело, и, по быстро разделанной ими тропе, мы все вместе двинулись дальше, к перевалу, дав несколько выстрелов по двум показавшимся вправо, на склоне кийкам.

И опять на перевале, под грудой камней, лежал труп человека, очевидно замерзшего здесь в снежной пурге, и кругом сверкал снег, было холодно, но погода в тот день была хороша. И на ходу я читал бойцам популярную лекцию по геологии, и так мы проехали пустыню Маркансу, и возле Уй-Булак-Беля мы сами вспугнули архаров, а потом убили двух крупных, жирных куропаток и, наконец, покинули седла у развалин рабата, возле трех притулившихся к ним киргизских юрт, на берегу озера Каракуль. И, быстро поставив палатки, дождались всех сотрудников экспедиции, следовавших за нами.

А на следующее утро в половине десятого я выскочил из палатки, услышав -- первый в истории высочайшего в мире большого озера -- автомобильный сигнал. Выскочил -- и увидел два быстро приближающихся, тяжело груженных полуторатонных автомобиля. Они протяжно сигналили, давая нам знать о своем прибытии, казавшемся всем нам чудесным.

Из юрт выскочили киргизы, женщины, дети, испуганные и изумленные. Стадо яков внезапно сорвалось с места и кинулось навстречу автомобилям, приняв их, очевидно, за странных зверей.

Я на ходу вскочил на подножку первого автомобиля -- за его рулем сидел начальник погранотряда тов. М. Начальник заставы, ночевавший вместе с бойцами в наших палатках, вытянулся перед ним с докладом о том, что на "вверенном ему участке все в порядке!".

Так началась постоянная служба пограничников на озере Каракуль.

Мы, сотрудники экспедиции, пригласили командира к большому брезенту, на котором были разложены вчерашние куропатки, вареное мясо и консервы, сливочное масло и шоколад.

Минувшую ночь автомобили провели в Маркансу, пройдя накануне путь туда из Бордобы через перевал Кизыл-Арт. Несколько часов спустя вдали показался весь пограничный отряд и огромнейший караван верблюдов. Две тысячи верблюдов, становясь исполинским, многоголосым и пестрым табором вдоль берега, развьючивались, и десятки караванщиков сооружали себе из вьюков и брезентов "дома"; большой город палаток выстроился рядами вдоль озера, -- по улицам "города" прогуливались люди, спокойно любуясь озером.

А из Мургаба, навстречу отряду, приехал вместе с представителями местной советской власти, киргизами Камчибеком и другими, начальник кавалерийского памирского отряда, мой и Юдина старый знакомый С, которому предстояло передать все памирские посты и охрану Памира пришедшим на смену пограничникам.

И впервые в многотысячелетней истории Каракуля на его берегу началось общее собрание огромной массы людей.

Один из автомобилей был превращен в трибуну. Командиры и киргизы -- представители местной власти заняли места за сооруженным из ящиков и покрытом красной материей столом. Первым длинную речь по-киргизски произнес Камчибек, -- его слушали дети, и женщины, и пастухи из трех каракульских юрт, и караванщики экспедиции и отряда. После него выступил С, сказав, что сменяющийся отряд поручает новому отряду охрану границ. А потом в громадной бараньей дохе, у "стола" встал маленький, экспрессивный М., прекрасный оратор. Его речь была о символах спокойствия границ -- о зеленой и синей

фуражках, о синих петлицах кавалеристов, выполнивших свой долг и впервые здесь, на Памире, сменяемых зелеными петлицами пограничников; о том, что задача его отряда -- повесить замок на дверь, которую, впрочем, еще нужно найти на границе; о том, что советская культура идет на Памир и Памир перестает быть дикой окраиной; о том, что пограничники помогут дехканству и будут с дехканами мирно и дружно работать; о строительстве местной власти и о многом другом.

Обоим командирам рукоплескали, обоих, сняв с кузова автомобиля, качали, и собрание кончилось.

Зарокотали моторы машин: началось катанье киргизов, их жен и детей вдоль озера Каракуль, -- и пассажиры машин отнеслись к катанью восторженно.

Позже, проходя по обставленной палатками улице, я пошел на разливы гармони, к толпе пограничников, стоявшей вокруг разудалых бойцов-плясунов. Трепак и русская отплясывались в сумасшедшем темпе, в полном пренебрежении к почти четырехкило. метровой высоте над уровнем моря, на которой находится озеро Каракуль. И я убедился, что русскому солдату не страшен и разреженный воздух высот, -- веселье шло впрок, никто не задыхался и не жаловался на сердце.

Вечером я разговаривал с шоферами машин Стасевичем и Гончаровым. Они рассказывали подробности о своем походе сюда -- о переправах через реки, промывины, щели, о победе над перевалами. Весь путь от Оша они прошли без аварий и без поломок, но с энергичной помощью бойцов-пограничников в трудных местах. Шоферы утверждали, что при современном состоянии дороги весь путь от Оша до Поста Памирского

можно покрывать за четыре дня, а после исправления дороги -- разделки перевалов и сооружения мостов -- за два дня.

В этот вечер пограничники мне сказали, что в районе южного берега озера появилась банда в двадцать пять человек, была там накануне. Начальник отряда С. полагает, что это басмаческая разведка, следящая за продвижением отряда. Конечно, именно она и спугнула накануне стадо архаров, следы которых мы при подъеме на Кизыл-Арт наблюдали.

Можно было не сомневаться: с приходом пограничников, басмачеству на Памире наступал конец.

А на следующий день, 10 июня 1931 года, когда наша экспедиция двинулась к южному берегу Каракуля, на восточном его берегу заработал движок новой электростанции. Электрический свет впервые осветил Каракуль!

Получив на все месяцы дальнейшей работы восемь бойцовпограничников для охраны, экспедиция разделилась: партия Е. Г. Андреева с двумя бойцами направилась к ущелью реки Кудара, партия Г. Л. Юдина и петрографа Н. С. Катковой с остальными шестью -- к Посту Памирскому.

Мы ушли вперед от отряда и опять на долгие месяцы погрузились в безмолвие и безлюдье восточнопамирских высей.

В следующем, 1932 году, когда я проходил Каракуль в третий раз с караваном Таджикской комплексной экспедиции, здесь было уже обжитое многими людьми место, заново отстроенный рабат служил гостиницей для проезжающих, метеорологи и гидрологи катались по озеру на своей лодке, о басмачах никто уже и не вспоминал, по вечерам люди смотрели кинокартины, здесь было оживленно, спокойно и многолюдно.

А еще через несколько лет на Каракуле вырос уже настоящий, большой поселок, мимо которого по великолепному Восточио-Памирскому тракту ежедневно мчались сотни машин, пробегавших расстояние Ош -- Мургаб ровно за сутки. В поселке жили работники научной станции, основанной на озере Каракуль, дорожники, колхозники киргизских животноводческих колхозов, торговые работники, учителя построенной здесь школы, медицинский персонал амбулатории и ветеринарного пункта, почтовые работники и много других людей, работавших в многочисленных учреждениях Восточного Памира.

Мое свидетельство здесь -- лишь о первых днях строительства новой, советской жизни.

Но вернемся к моему дневнику 1930 года.

Долина Муз-кол и перевал Ак-Байтал

10 июля 1930 года... Дорога входит в ущелье, и, охраняя свой караван, я, Е. Андреев и другие едем вместе. По горам -- архарьи тропы, здесь архаров много, всюду, как и прежде, валяются архарьи рога.

За небольшим перевальчиком -- спуск в долину Муз-кол. В долине, слоем в метр-полтора толщиной, лежат лед и снег. Они быстро тают, река разлилась широко, вся долина набухла и истекает тысячами ручейков. Мы переправляемся через реку. Ландшафт -- открытый, видно все далеко вокруг. Еду ускоренным шагом, рядом с Хабаковым и слушаю его геологические рассуждения. У меня с утра болит голова: первый признак тутэка -- горной болезни. Солнце сильно жжет и щиплет лицо. "Сахарной Гренландией" назвал эти места один из моих спутников, и в самом деле холод и жара уживаются здесь, кажется, не смешиваясь и не воздействуя друг на друга.

Долина Муз-кол -- троговая, ледниковая, всюду "заплечики" -- следы проползавших ледников.

У рабата Муз-кол мы нагоняем расположившийся здесь на короткий отдых красноармейский отряд, вместе движемся дальше. Путь все время вверх, вдоль русла реки, по правому ее берегу. Пересекаем участки льда, покрывающего долину. Превышение гор над нами небольшое, но они снежные, нетающий снег на них местами очень глубок.

В конце долины, перед поворотом дороги к зигзагам подъема на перевал Ак-Байтал, располагаемся лагерем на глинистой, усыпанной остроугольными камнями почве. Рядом с нами -- широкий "конус выноса" впадающей реки: бугристый, зеленый, набухший водою -- кочкообразное болото.

Из-за головной боли, едва расставив палатку и разобрав вещи, ложусь. Рис на этой высоте не разварился, поэтому пловом все недовольны. Пьем чай.

Сильный шумящий ветер, попытки неба дождить, а потом -- тихая ночь.

Утром 11 июля все пишут письма, чтоб отправить их в Ош, со встречным караваном ослов.

Предупреждение Юдина: тщательно следить в пути за лошадьми, чтобы на такой высоте они не пали; чуть что, спешиваться и вести их в поводу.

Высота дает себя знать, -- все движения **в** лагере, **как** в ускоренной киносъемке, замедленны; однако никто друг **за** другом этой замедленности не замечает. При быстрых резких движениях -- сердцебиение и одышка, при физическом напряжении -- легкое головокружение. Кажется, **никто не избавлен** от этих особенностей.

9 П. Лукницкий

Выехали в девять вместе с отрядом. Но одна из наших вьючных лошадей завязла в мокрой глине и упала посреди речки. Пока возились с ней, развьючивали и завьючивали снова, отряд ушел вперед.

Подъем на зигзаги Ак-Байтала. Лошади тяжело дышат, останавливаю свою на каждом зигзаге. Подъем очень пологий, постепенный, медленный. Ближайшие вершины без снега, дальние -- в очень глубоком снегу. Навстречу нам -- караваны ослов.

Перевал. Высота 5 200 метров. Крутой, по зигзагам, спуск в долину реки Ак-Байтал, ведем лошадей в поводу. Путь по каменистому и галечному руслу. Высокие берега. После крутого поворота на юго-восток дорога выходит на террасу и дальше идет по этой открытой террасе, в речной долине. Я выезжаю вперед и обгоняю караваны ослов, идущие в Хорог и на Ишкашим с грузом железа, ведер, тазов, всего, что басмачам грабить неинтересно. Мануфактуру сейчас не возят.

Перед самым рабатом Ак-Байтал догоняем отряд. Река у рабата широка и глубока небывало. В русле там и здесь -- толстый лед. Переправа через реку на левый берег, а против рабата -- на правый. Обе переправы опасны.

Рядом с рабатом -- юрта, возле нее, на берегу, трое русских в халатах поверх обычной одежды. Это промысловые охотники' из группы приехавшей в Мургаб год назад. Здороваемся, вместе с Юдиным иду с ними в юрту. Они угощают горячим молоком, свежими лепешками и свежими новостями. Все трое едут на этот раз охотиться за Боабеком, -- тем самым Боабеком, который едва не прикончил меня и Юдина полтора месяца назад. Мы рассказываем охотникам подробности о нападении басмачей на нас 22 мая, об убийстве Боне, о нашем плене и нашем спасении. Охотники сообщают нам сведения о Погребицком и других, которых мы видели в банде в их последние часы перед смертью. Единственный человек из этой группы, которому удалось спастись, -- таджик, шедший сзади, пешком, отдельно от других, не был захвачен в плен и находится сейчас в Мургабе (который, кстати, по старинке все еще часто называется Постом Памирским).

Охотники спросили нас, не знаем ли мы чего-либо о пропавшем без вести дорожном технике Астраханцеве? Он вышел из Мургаба в Ош дней через десять после группы Погребицкого. Был один, хорошо вооружен и на хорошей лошади.

Мы ответили охотникам, что могила техника Астраханцева встретилась нам в Бордобе, перед подъемом на Кизыл-Арт: бугорок земли, на котором лежал прижатый камнем его окровавленный плащ и шест с красной тряпочкой -- флажком. Эту могилу мы сфотографировали. Астраханцеву басмачи дали переночевать в юрте, а утром, когда он отъехал от юрты, зверски убили.

Охотники рассказали нам много легенд, в которых можно найти указания На месторождения полезных ископаемых, отметили на карте место, где мы найдем остатки древней плавильной печи, и дали много других полезных сведений. Один из охотников рассказал нам о своем посещении так называемой Ваханской пещеры, -- он лазал туда с двумя фунтами шпагата, но шпагата не хватило, чтобы дойти до конца. В глубине пещеры встретились замурованные стены. Две стены удалось проломить, за ними оказалась груда пепла и пыли, а дальше -- три колодца, но исследовать их не пришлось из-за недостатка воздуха. В этой пещере мой собеседник нашел древние самострелы и боевой щит. Местный ишан заявил, что найденный щит выдержит десятипудовый камень. "Мы сажали на этот щит троих человек -- выдержал". Ценнейшая находка увезена работником ОГПУ Степановым в Ленинград для передачи в музей (в какой именно, мой собеседник сказать не мог).

... Утром мы выехали к Мургабу. Едем, не переправляясь через реку, все время по широкой ее долине, вниз. Долина травяниста и пастбищна, однако киргизских юрт в ней не видно: киргизы живут по боковым ущельям. Только в одном месте мы видели пасущийся скот и трех пастухов киргизов.

Вдали -- красносиреневые пятна, лужайки с клевером. Могилы. Тропа влево -- к озеру Ранг-Куль. Караваны ослов. Широкие дали. Жарко. Дорога широка, ровна и вполне была бы пригодна для автомобиля (на всем пути я примеряюсь глазом и убежден, что почти всюду автомобиль по Восточному Памиру может пройти!). Надо только соорудить мосты через реки и отремонтировать полуразрушенные рабаты. Впрочем, перевалы! Перевалы надо разделывать заново, но и это вполне возможно!

Долина реки Пшарт -- широкая, и в ней -- широкое ложе реки, в которой почти нет воды, ток ее очень узок. В нетерпении увидеть Мургаб (Пост Памирский) отделяюсь от каравана, выезжаю вперед один. После Пшарта, направо, последний мыс, против него -- могилы, а за мысом виден Пост Памирский, но ехал я до него не меньше часа. Обогнал караван ослов, спустился к берегу многоводного сейчас и широкого Мургаба, -- его долина широка, зелена, кочковата. Тучей налетели на меня комары, мгновенно заели меня и моего коня, не помогли ни табак, ни отмахиванье, и я погнал коня рысью, и на рыси подскакал к террасе, на которой виднелась обнесенная стеной полуразрушенная крепость: Пост Памирский...

Мургаб (Пост Памирский)

Долина реки Мургаб в июле заболочена, поэтому нас одолевают злые, неотступные комары. Речная терраса, на террасе -- обнесенная стеной крепость с мачтой радиостанции -- единственной в этом 1930 году на весь Восточный Памир. Ниже крепости -- два больших, казарменного типа, здания: одно из них еще не достроено; в другом -- амбулатория и квартиры начальствующего состава Поста.

Ниже этих зданий, на ровной площадке -- кишлак, домиков двадцать, тесно сросшихся один с другим, покрытых, в сущности, одной общей крышей. Домики расположены буквой "П" и потому обводят образовавшуюся внутри площадь. Между некоторыми узкие проходы. Чайхана с подобием веранды, -- крыша веранды сквозистая, из ветвей терескена, а место, где все сидят, -- глинобитная площадка -- покрыто разноцветными паласами. Стена обтянута красной, с цветами ситцевой материей.

Два магазина, точнее, склада: Госторга и Узбекторга.

В домиках живут служащие: русские, человек десять, и остальные, два-три десятка, -- таджики, киргизы, афганцы и кашгарцы. За домиками, на южной стороне, -- вторая площадь, образуемая вторым рядом -- разрушенных и нежилых домиков. Здесь мы становимся лагерем.

Кишлак -- на обрывистом берегу Мургаба. На крышах, по углам, и на земле, перед кишлаком, -- архарьи и киичьи рогатые головы. Перед кишлаком они свалены в кучи. Тут же сушатся шкуры. Высушенные сложены штабелями.

Чуть подальше, к югу, -- примитивный мост через реку. Мургаб в этом году разлился необычайно. Широк, глубок, многоводен. Мост подобен острову: чтоб подъехать к мосту с правого берега, нужно сначала пройти по воде метров сто, а вода по брюхо лошади. Пройдя эти сто метров, окажешься на первом островке, но мост начинается со второго, до которого добраться почти невозможно, потому что между ним и первым островком -- стремнина, лошади перебираются через нее вплавь.

Левый берег -- широкая, заболоченная, кочковатая низменность, комариная страна, но зеленая, травянистая, пастбищная.

Долина Мургаба ограничена сухими сопками, возвышающимися метров на триста-пятьсот и изборожденными сверху донизу поработавшей здесь когда-то водой.

Вот и все это скучное место, считающееся "столицей" Восточного Памира, его крупнейшим административным центром и, кстати, единственным, кроме двух-трех старых маленьких военных постов, населенным пунктом.

Сейчас на Посту Памирском нет людей, которые знали бы

хоть что-либо из его истории, а между тем в истории его есть немало примечательного и любопытного.

Иногда бывает полезно и интересно увидеть что-либо хорошо, знакомое глазами постороннего наблюдателя. Считаю уместным привести здесь запись из дневника одного иностранного путешественника XIX века:

"На правом берегу Мургаба, на высоте 3 600 м * возвышается укрепление Памирский пост, как грозный протест против совершившегося в последние годы наступления афганцев и китайцев в области Памира, принадлежавшие прежде к ханству Кокандскому.

Первое время после того, как ханство это было завоевано в 1875--76 г. русскими, на Памир, эту крайне редко населенную и труднодоступную местность, почти не было обращено внимания. Даже столь умный вообще Скобелев не подумал о ней. Но вот к ней стали настойчиво тянуться другие соседи, и энергическое вмешательство русских стало необходимым. Знаменитая экспедиция полковника Ионова была первым шагом, который имел серьезные последствия и во всяком случае способствовал к возбуждению вопроса о Памире, столь горячо

обсуждавшегося в последние годы. Летом 1895 года, когда была созвана для определения границ англо-русская комиссия, вопрос этот и получил свое окончательное разрешение. Ко времени же посещения мною Памира ** дело подвинулось настолько, что на "Крыше мира" воздвиглось русское укрепление с постоянным гарнизоном.

Укрепление это, политическое значение и цель которого ясны, как день, было возведено летом и осенью (с 22 июня до 30 октября) 1893 года второй ротою четвертого туркестанского линейного батальона ***. Прямоугольные стены укрепления сложены из дерна и мешков, наполненных песком, и окружают просторный двор, где находится офицерский флигель, и землянки с бревенчатыми крышами, вмещающие казармы, кухню, лазарет, баню, мастерские и пр. В нескольких войлочных кибитках сохраняются продовольственные запасы и амуниция; на небольшой метеорологической станции три раза в день производятся наблюдения.

В углу обращенной к северу продольной стены находятся барбеты с митральезами системы Максима Норденфельдта.

* Точнее -- 3 640 метров. ** 1894 год.

*** Пост был основан в августе 1892 года, но первую зиму гарнизон прожил в юртах. Строителем поста был русский военный инженер штабскапитан Серебренников, автор первого подробного и весьма содержательного описания Юго-Западного Памира -- "Очерка Шугнана", опубликованного в "Военном сборнике" за 1895 год. -- *П. Л.*

Обращенная к югу продольная стена идет по краю высокой конгломератовой террасы, с вершины которой укрепление и господствует над долиной Мургаба. Терраса была в свое время образована течением реки, которая теперь отошла от нее на довольно значительное расстояние. Между террасой и рекой остались болота и трясина, из которой пробиваются многочисленные прозрачные ключи.

Памирский пост -- наглядное доказательство энергии офицеров, руководивших работою, и прекрасный памятник их трудов: возведение укрепления на такой значительной высоте и так далеко от всякой цивилизации не могло не быть сопряжено с величайшими трудностями. Весь древесный и прочий материал приходилось доставлять на вьючных лошадях из Оша. Осенью тут часто разражались свирепые бураны, обдававшие облаками снежной и песочной пыли, а офицеры и команда в это время должны были ютиться в киргизских кибитках, которые ветер нередко и опрокидывал.

С Кашгаром установились новые торговые сношения, и кашгарские купцы приезжают сюда со своими товарами, выменивают здесь киргизских овец, гонят их в Фергану, где они в большой цене, и с хорошими барышами возвращаются в Кашгар, через перевал Терек-Даван или Талдык.

На путешественника-чужестранца Памирский пост производит самое отрадное впечатление. После долгого, утомительного пути по необитаемым, диким горным областям попадаешь вдруг на этот маленький клочок великой России...

В общем Памирский пост живо напоминает военное судно. Стены -- это борта, необозримая открытая Мургабская долина -- море, крепостной двор -- палуба, по которой мы часто гуляли и с которой в сильные бинокли обозревали отдаленнейшие границы нашего кругозора, тихого безжизненного кругозора, на котором лишь по вторникам появлялся одинокий всадник. Это джигит-курьер, привозящий желанную почту из России...

Все люди отличались образцовой молодецкой выправкой; долгая, холодная памирская зима, которую гарнизон проводит в этой пустыне, почти в таких же условиях, как и полярные мореплаватели на замерзших во льдах судах, нисколько не отражалась на них, -- ни следа вялости, апатии, равнодушия. Теперь, когда снова начинало пригревать солнышко, растопляя снежные сугробы в горах и лед на реках и озерах, и в природе пробуждалась новая жизнь, в

укреплении господствовало особенное оживление и веселье, пробуждался особый интерес к жизни и природе.

Каждый день давал повод к новым наблюдениям. На **берегах** Мургаба останавливались пролетом стаи диких уток и гусей, возвращавшихся из своего зимнего местопребывания -- Индии -- на летнее пребывание -- в Сибирь. Для многих из них отдых здесь становился, однако, неожиданно долгим. Казаки закидывали также сети в реку, ходили на охоту за архарами и часто возвращались с богатой добычей.

Отношения между офицерами и командой наилучшие. Тридцать человек солдат за отбытием срока службы должны были вернуться в Ош, и трогательно было видеть, как при прощании офицеры, по русскому обычаю, трижды целовались с каждым из уходивших нижних чинов. С ружьями на плече, с ранцами за спиною солдаты бодро отправились пешком в 45-мильный путь * через плато Памира, в теплую желанную Фергану.

По воскресеньям устраивались разные игры и пляс. Музыка хромала; гармоника, два барабана, треугольник да пара тарелок -- вот и весь оркестр; играли, однако, с огнем, и под эту музыку лихие казаки отплясывали знаменитого трепака так, что только пыль столбом стояла.

Когда воскресное солнце садилось, а с ним отходил на покой и западный ветер, правильно дувший в течение всего дня, вокруг запевалы составлялся кружок из семидесяти песенников, и из их здоровых глоток вылетали, звонко отдаваясь в разреженном, нешелохнувшемся воздухе, русские мелодии -- заунывные народные и бойкие солдатские песни. Такой вечер состоялся в последнее воскресенье моего пребывания в укреплении. В воздухе стояла полная тишина, но было холодно, и солдаты укутались в башлыки. Звезды горели удивительно ярко; издали, во время пауз, доносился шум Мургаба. Солдаты пели с увлечением, точно под впечатлением нахлынувших на них воспоминаний о далекой родине. Мы с удовольствием прислушивались к их свежим голосам, раздавшимся под бесконечным сводом небесным!"

В наши дни Мургаб стал административным центром Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области и превратился в маленький культурный городок, расположенный в середине Восточно-Памирского автомобильного тракта. В Мургабе издается газета, работают средняя школа, больница, кинопередвижка, есть хорошие магазины. Мургабский район охватывает всю территорию Восточного Памира -- от государственной границы СССР, проходящей на востоке по реке Памир и по хребту Сарыкол, до хребта Академии наук, замыкающего бассейн ледника Федченко на западе; от границы

* Имеются в виду, очевидно, русские семиверстные мили, то-есть расстояние, равное 336 километрам. -- *П. Л.*

с Киргизской ССР, проходящей по Заалайскому хребту на севере, до верховьев рек Шах-Дара, Гунт, Бартанг (Сарезское озеро) на юге и юго-западе, где начинаются Шугнанский и Рушанский районы Горно-Бадахшанской автономной области.

Территория, занимаемая животноводческим, населенным киргизами Мургабским районом, огромна, но все обитаемые долины ее в наши дни связаны с Мургабом быстрым и удобным автомобильным сообщением. В каждом животноводческом колхозе Восточного Памира теперь есть школы и радиостанции, медицинские ветеринарные и зоотехнические пункты. В Мургабском районе уже пятнадцать лет (с 1939 года) работают биологическая станция Таджикской Академии наук и другие научные опорные пункты и учреждения; славится единственный в Советском Союзе яководческий совхоз, огромную роль в колхозном животноводстве Памира играет Мургабская машинноживотноводческая станция.

Я вынужден ограничиться этим кратким перечислением потому, что при последнем, недавнем моем путешествии по Памиру в 1952 году Мургаб оказался

единственным из всех районов Горно-Бадахшанской области, в котором мне вновь побывать не пришлось.

Утро в лагере

Мургаб остался далеко позади. Теперь, углубившись своей маленькой группой в восточнопамирские горы, мы совсем оторвались от внешнего мира, от населенных пунктов, от редких постов. Мы предоставлены только самим себе, -- питаемся лишь тем, что везем с собой в нашем маленьком караване. Изредка, когда нам удастся купить живого барана у встречных кочевых киргизов, мы отвергаем приевшиеся нам консервы. Бывает, заехав в какую-нибудь уединившуюся в глухом ущелье юрту, мы лакомимся кислым молоком или кумысом.

Каждый день мы в пути; снова настает утро, и снова нам собираться в путь!..

Рассвет. Воздух плоской каменистой долины жестко прозрачен. Этим разреженным воздухом по утрам еще тяжелей дышать, -- может быть, потому, что в палатках морозно? Земля вокруг палаток промерзла и обледенела. Снега на горах озаряются солнцем. Скинув одеяла, дрожа от холода, мы натягиваем на себя захолодевшие сапоги, надеваем шапки-ушанки и дубленые полушубки. Караванщики в ватных кашгарских халатах, сутулясь и ежась, потирая руки, собирают вокруг палаток навоз. Прикрывая огонь полою халата, разжигают костер, и от костра вдоль долины тянется едкий, синеватый дымок. Другие караванщики уходят ловить спутанных, но

все-таки разбредшихся лошадей. Лошади нелепой припрыжкою норовят продлить призрачную свободу.

Люди, позевывая, выходят из палаток, подкованными каблуками пробивают корочку льда, с вечера перекрывшую журчащий ручей. Вода в ручье за ночь почти иссякла, -- между нею и корочкой льда образовалось воздушное, полое пространство. Лед, ломаясь, тонко и музыкально звенит.

Люди ополаскивают посиневшие руки ледяною водой, осторожно, чтоб не содрать наболевшую кожу, вытирают их полотенцами. Лица умывать нельзя, -- лицо смазано вазелином. Иначе, ожог от солнца и ветра, и кожа повиснет лоскутьями, губы распухнут, покроются сухою коростою язв.

На костре -- чугунный котел, в котле серыми пузырьками бурлит варево: баранье мясо без всяких приправ.

Лошади, недовольно понурив головы, толкаясь, табуном приближаются к лагерю, караванщики неспешно идут позади, понукают их безразличным прицокиванием и покрикиванием. Люди выдергивают стойки и колышки, палатки, шурша, падают как подкошенные. Люди ерзают по полотнищам коленями и руками; заложив в полотнища разобранные стойки и колышки, скатывают палатки в тугие, круглые свертки, стоймя суют их в мешки, долго -- в четыре руки -- утряхивают. Ягтаны, вьючные сумы, ящики, мешки с мукою, ячменем, рисом, сахаром, солью расположены сдвоенными рядами, обвязаны попарно хитрой системой толстых вьючных арканов. Хаос мелких вещей, разбросанных по всему лагерю, исчезает, -- вещи заложены в сумы и ягтаны. Караванщики проверяют разлапые, перевернутые вверх потниками седла, скоблят ножом просоленный конским потом, слежавшийся войлок. Другие вьючные, огромные седла стоят длинным тоннелем, одно за другим; они похожи на пустые, выглоданные панцыри гигантских жуков.

Караванщики вбили в землю железный кол, привязали к нему длинный аркан, тянут его через весь лагерь, растягивают, обвязывают конец вокруг второго железного кола. Это коновязь. К коновязи ведут лошадей; привязывают одну за другой по обе стороны аркана, головой к голове. Караванбаши наклонился над раскрытым мешком, черпает ячмень ладонями. Ему подставляют торбы, он сыплет в каждую по две полные пригоршни пыльного, сухого зерна.

На костре, в узкогорлых чугунных кувшинах, в задымленных чайниках, -- чай, он варится, словно суп.

Люди проверяют и чистят оружие, чинят лопнувшие ремни, пересчитывают,

все ли тренчики налицо. Я торопливо зарисовываю на листе ватмана ощерившийся над лагерем острозубый мертвый хребет, на переднем плане изображаю оплетающий камни ручей, посапывающих, жующих ячмень лошадей. Караванщики стелют на земле брезент, на брезент -- ситцевый, с красными розанами отрез, заменяющий скатерть. Ставят по краю эмалированные кружки, алюминиевые миски, пиалы, насыпают на скатерть горстку крупнозернистой соли. Сюда же бросают из мешка груду застарелых, окаменевших пшеничных лепешек.

С гор низвергается ветер, он без запаха, чист и остер. Солнце сверкает на льду ручья, лед потрескивает, на нем, просыпаясь, переливаются радугой крупные, холодные капли.

Караванбаши, "глава каравана", подходит к костру, сзывает всех к разостланному брезенту. Юдин, в ушанке, в полушубке, торопит людей, садится на угол брезента, подогнув, как принято в Азии, ноги. Дробит камнем на согнутой ладони лепешку. Два караванщика, наложив на края котла полы халатов, ухватывают его с двух сторон, подносят к брезенту, ставят возле, на землю, подпирают камнями. Караванбаши, огладив ладонями бороду, произносит: "Алла акбар!", сует руки в котел, разрывает жилистыми руками горячее мясо, подрезает сухожилия кривым ножом, накладывает куски в подставляемые миски. Люди на брезенте расселись в кружок, некоторые полулежат, другие предпочитают есть, лежа на животе, расставив над миской локти. Обжигая пальцы, отгрызают от мяса сначала самые мягкие, самые нежные части. Откуда-то появляются мухи, -- даже здесь оводы и мухи: они, очевидно, путешествуют с караваном.

Лошади на коновязи доедают ячмень, опускают морды, на которых болтаются опустевшие торбы, обмахиваются длинными хвостами. Люди пьют чай, сладкий, переслащенный почти в сироп. Размачивают в нем осколки лепешек. От чая по телу расходится приятное тепло. Разговаривать некогда и неохота.

Люди и лошади сыты. Посуда отправляется в ящик. Караванщики увязывают в мешок остатки несожженного навоза, он, подсохнув за день пути, весьма пригодится вечером, на новой стоянке. Юдин первым несет седло к своей лошади, набрасывает на гладкую спину, притирает его к спине, водя им взад и вперед, подбирает под животом болтающиеся подпруги, подтягивает их сильным рывком. Лошадь хитро надула живот, но Юдина не проведешь. "Подбери живот, скотина!" -- вполголоса ругается Юдин и, как бочку ободом, затягивает лошадь подпругами. Лошадь покорно и недовольно кряхтит, оглядываясь на своего властелина в половину круглого глаза. Юдин шлепает ее по морде, и она, тряхнув гривой и головой, отворачивается.

Караванщики вьючат лошадей, и лошади вырываются из их рук, озоруя, распушив хвосты, летят по долине, громыхают

привьючками, но вьюков не сбросить; покуралесив, одна за другой останавливаются и, скаля зубы, щиплют под корень сухую, короткую солончаковую травку.

Солнце вздымается выше. Люди в полной готовности, обвешанные поверх полушубков оружием, сумками, биноклями, измерительными приборами, тяжело бултыхаются в седла и, навалившись локтями на луку, ждут. Лошади переминаются с ноги на ногу, обнюхивают одна другую.

Вместо лагеря -- топчущийся караван, загорелые, молчаливые всадники. След лагеря -- пустой, замусоренный клочок земли, возвращенный людьми долине, отданный в чистку и дезинфекцию протяжным ветрам и колючим лучам горного жестокого солнца.

Юдин и я шагом объезжаем границы ночной стоянки, -- во всех направлениях пересекаем площадку. Всматриваемся под копыта: нет ли забытого колышка, оброненной ложки или веревки? Глядим на часы, -- от момента пробуждения прошло уже два часа, надо выступать, скорее, нечего мешкать! Юдин кричит караванщикам, спрашивая, все ли готово. Они отвечают: "Хозэр (сейчас), товарыш началныk!.. "

Юдин легонько дает камчи своему коню. Все лошади горячи по утрам, пока сыты и не измучены дневным переходом. Всадники выезжают вперед, караван вытягивается вслед колеблющейся цепочкой. Словно никто никогда не задерживался в этой пустынной каменистой долине, -- экспедиция ровным, медленным, походным шагом движется на юго-восток. Карабаванщики, взгромоздившись поверх вьюков, однотонно заводят длинную-длинную, неинтересную, древнюю песню...

Забота о лошадях

Удивительно: в юности, где-нибудь на городской улице, в тополевой аллее, мне всегда хотелось проскочить добрый кусок пути галопом или проехать его крупной, размашистой рысью. Может быть, это объяснялось тщеславным желанием покрасоваться перед случайными прохожими, может быть, в этом сказывался кавалерийский задор, приобретенный во время гражданской войны в саратовских, тюльпанных степях, где мне попадались отличные крупные кони, из тех, что поразбежались с купеческих конных заводов, когда купцы спасались от подступившей к ним революции.

Но здесь, в бесплодных, безлюдных высокогорных долинах, в подъемах и спусках на горной тропе, в экспедиционном походе, я никогда не впадал в наездннческий раж, -- иной раз за неделю пути не пробовал ехать иначе, как шагом, или изредка мелкой, трусящей юргой. Такой медленности движения требовала походная дисциплина. Конь выбран был не на день, не на два, а на долгие месяцы ежедневного передвижения, и надо было о нем заботиться больше, чем о себе. В самом деле, что стал бы делать путник в этих горах, если б внезапно лишился коня? Сотни скучных, одинаковых километров проходили на такой высоте над уровнем моря, что непривычному человеку не под силу было бы итти здесь пешком. Разреженный воздух не милостив, -- полчаса пройти даже налегке, и то начнешь задыхаться, а уж что, коли ты во всей амуниции, в полушубке, с винтовкою на плече! Человек задыхается, и лошади трудно, тем более трудно, ведь несет она на себе и человека и седло с четырьмя кобурами, набитыми всем, что всаднику в пути может понадобиться: и двумя консервными банками, и коробкой с фотопластинками, плиткою шоколада, и пачкой галет, и альбомом для рисования, и геологическим молотком, мешочками с образцами горных пород (их бывает с полпуда, а то и с пуд), и пистолетными патронами, и кусками сахара, кружкой и ложкой, полевым дневником, и мало ли чем еще? А в передних кобурчатах уж непременно неприкосновенный запас ячменя, не меньше четырех килограммов. Да еще привьючки сзади и спереди: брезентовый плащ, запасная фуфайка, ватная куртка...

Чуть подъемчик, -- лошадь дышит чаще и тяжелее, а если надо преодолеть перевал, то лучше ни о чем другом и не думать, кроме как о лошадином трепещущем сердце, от напряженной работы которого ходит взад и вперед потная лошадиная грудь, так что если, нагнувшись над гривой, приложишь ладонь, ощущаешь будто быстрые удары тяжелого молота. Следи, чтоб они через меру не участились, иначе, пропадай твое дело: не скажет лошадь, не возмутится, не остановится сама, а доведет себя до последнего, до смертного вздоха, сразу, будто без всякой причины повалится на бок, словно кто-то вдруг размашисто ударил ее по всем четырем ногам... Повалится, и если ты ловок и успел соскочить, то увидишь на ее шершавых губах кровавую пену и не захочешь взглянуть ей в круглые, жухнущие глаза, которые стынут, как омут, затянувшийся мутною пленкой еще не затвердевшего льда... И поймешь тогда: ты убийца, убийца верного своего друга, которого не жалел, к которому был бесчеловечно жесток...

Не раз вот так гибли лошади на этих перевалах из одной каменистой долины в другую, и караванщики с безмолвным осуждением начинали развьючивать какую-либо из лошадей каравана, чтоб распределить вьюк на других лошадей, а эту предоставить несчастливому, недоброму всаднику, который

и захотел бы -- из самолюбия, -- да не может подниматься дальше

пешком...

Где уж тут в этих долинах гоняться галопом и рысью! И форсу в том мало и не перед кем форсить, разве что перед рыжим сурком, вставшим на задние лапы и удивленно, с верещанием провожающим давно не виданный караван; или перед крутыми рогами мертвых архаров, что разбросаны бескормицей здесь и там и торчат между сухими камнями, напоминая путникам о смертельных объятиях снежных буранов, бушующих здесь зимою всегда, а летом -- в дурную, облачную погоду?.. Какой уж там форс! И самому-то нелегко подскакивать в седле, ибо даже такое подскакивание учащает дыхание и биение сердца, заставляя всадника не забывать о разреженном воздухе диких горных высот...

Я еду мерным, спокойным шагом, еду каждый день с утра и до тьмы, чуть покачиваясь в седле по десять-двенадцать часов подряд. А бывает, и по четырнадцать, по шестнадцать... Я втянулся в такую жизнь. Нагнешься, переезжая вброд какую-нибудь речушку, зачерпнешь кружкой воды, достанешь из кармана добрый кусище сахару, -- незаменимый в высокогорье продукт питания! -- макаешь сахар в ледяную, чистую, как бесцветное пламя, воду, сосешь кусок, запиваешь маленькими глотками. И чувствуешь, как усталость проходит, словно обновляется весь организм... Дальше, дальше, без остановки, -- сегодня маршрут большой, такой же, как был вчера и как будет завтра...

А киргизская, мохнатая, лохматая, маленькая лошадка несет тебя неустанно, неотвратимо, как сама судьба твоя, через бесконечный Восточный Памир.

Хорошая это жизнь!..

Уход Турды-Ахуна

Пока караванбаши -- "главой каравана" -- был громадный, сдержанный и солидный узбек Турды-Ахун, Юдин мог быть совершенно спокоен за груз и за каждую из двадцати четырех вьючных лошадей. Восемнадцать из них были куплены Юдиным для экспедиции в расчете на то, что по окончании работ их удастся выгодно продать, окупив даже стоимость всего истраченного на них фуража. Шесть принадлежали самим караванщикам: Салиму -- одна, Насыру -- две, Кимсану -- две и самому Турды-Ахуну -- одна: мелкорослый, гривастый мерин буланой масти, с рыжими, всегда вздрагивающими ушами, на котором Турды-Ахун, важно восседая поверх вьюка, предводительствовал растянувшимся караваном.

Обличье Турды-Ахуна не соответствовало его сущности; толстый, осанистый, до самых ушей заросший седеющей бородою, Турды-Ахун держался величественно, разговаривал медленно и уверенно, не тратя слов даром и никогда не роняя собственного достоинства. Он походил скорее всего на какогонибудь зажиревшего самаркандского купца эмирских времен, чем на бедняка и бродягу, всю свою жизнь проплутавшего с караванами по всем пустынным горным тропам срединной Азии. Только маленькие шустрые глазки, юля, как мыши, под седыми насупленными бровями, выдавали посторонним это противоречие между внешностью его и характером. ТурдыАхун казался неповоротливым и ленивым, а в действительности был быстр в движениях, сноровист и весьма энергичен. Казался жирным, а если б снять с него халат, под халатом обнаружились бы не складки жировых отложений, а связки превосходно развитых мускулов, натренированных постоянной возней с тяжелыми вьюками, ежедневным передвижением и борьбою со стихиями ветра, горной воды и пустынь. Стихией самого Турды-Ахуна были, конечно, лошади, которых он знал во всех решительно проявлениях их многообразного лошадиного бытия. Знал так, как опытный механик знает свою машину, как искусный певец -- все оттенки и свойства своего голоса. Он любил лошадей внимательной и взыскующею любовью, независимо от их принадлежности и от своих официальных обязанностей. Если бы его кровный враг неправильно заседлал своего коня, Турды-Ахун, наверное, позабыв о личной вражде, подошел бы к врагу и прежде всего поправил бы его седло так, чтоб оно не могло намять коню холку или бака.

Караванщики, избрав его старшиной каравана, безусловно подчинялись ему,

и в его строгие распоряжения по каравану никогда не решался вмешиваться даже Юдин. В караване был превосходный порядок, лошади были здоровы, сыты, чисты, безупречно подкованы. Турды-Ахун, выбирая место для лагеря в самых голых каменистых долинах, каким-то верхним чутьем умел находить площадки травы, пусть чахлой и мелкорослой, но все же способной насытить лошадей за время ночной стоянки. Турды-Ахун был в наилучших отношениях с Юдиным и со всеми сотрудниками экспедиции, которые чувствовали к нему неподдельное уважение.

Кто мог бы подумать, что на двадцать девятый день пути Турды-Ахун плюнет на все и уйдет, бросив Юдина и остальных караванщикоз и лошадей, уйдет назад, со встречным порожним караваном ишаков, возвращающихся с Высоких Гор. Завалится на ишака, как байбак, как изленившийся тунеядец. И забудет даже захватить с собой свои личные пожитки, оставив их в разминувшемся с ишаками юдинском караване.

Никто, конечно, и менее всех сам Турды-Ахун, не мог бы предвидеть этого, но все-таки на двадцать девятый день пути именно так и получилось. И во всем виноват был даже не Юдин, даже не погибшая Турды-Ахунова лошадь, а один ее хвост, потому что все остальные беды можно было б забыть, но этой беды Турды-Ахун не мог преодолеть никаким мужеством, никаким напряжением воли.

Как часто бывает, все началось с пустяка. Просто Юдин впал в амбицию, когда вовсе мог бы не делать этого. Ну, кто же не знает норова горных речонок? От высоты, от разреженного воздуха, что ли, эти речушки обладают характером весьма неустойчивым, ведут себя ничуть не лучше самого заядлого неврастеника: то у них спокойствие и благорасположение ко всему на свете, то вдруг раздраженность и совершенно неуемное бешенство. Конечно, Юдин превосходно знал, что вечер наиболее неблагоприятное время для речных переправ, что по вечерам воды в реках иной раз вдвое больше, чем утром, когда солнце еще не коснулось верховий, не растопило слежавшиеся за ночь снега, не нависло над миром угрозой шипучих лавин, камнепадов и новых трещин в теле каждого прилепившегося к скалистым склонам ледника. Юдин знал это превосходно и, вероятно, сам распорядился бы раскинуть лагерь на берегу бурной мутносерой реки, к которой подошел караван после тридцатикилометрового перехода.

К несчастью, однако, Юдин весь день ехал позади каравана, полный геологических недоумений, злой от явной неспособности их разрешить. Что такое в самом деле? На карте значится палеозой, осадочные породы, а тут вместо морских отложений, изволите ли видеть, гранит! Уже второй день экспедиция идет по гранитной интрузии, едва-едва прикрытой тонкими наносами современных отложений. Горы справа и слева -- обнаженный гранит, валуны в реке -- гранитные, остатки морен по бортам долины тоже гранитные. Вот только возраста интрузии пока никак не определить, -- Юдин тщетно всматривается в гребни дальних хребтов, выискивая контактную зону. Вчера на нашем пути попалась одна бровка с осадочной свитой, но сколько ни искал в ней фауну Юдин, ничего не нашел, а так на глаз и по цвету похоже на юру. Определять на глаз, конечно, недопустимо, надо непременно найти фауну. И если окажется, что гранитом прорвана юра, значит это молодой альпийский гранит, и если это действительно так...

Но в самый разгар своих размышлений Юдин внезапно увидел впереди себя реку, караван, сбившийся у реки, и караванщиков во главе с Турды-Ахуном, развьючивающих первую лошадь. Юдин глянул на солнце, -- до заката оставалось еще никак не менее двух часов, а за два часа караван прошел

бы, по меньшей мере, восемь километров, и потом, кто все-таки начальник экспедиции? Турды-Ахун мог бы спросить у него разрешения, а не располагаться лагерем там, где ему захочется...

Конечно, если б Юдин не отстал от каравана, а ехал с ним вместе, он, вероятно, и сам приказал бы Турды-Ахуну остановиться на ночь перед рекой, но тут он рванулся рысью и, подскакав к караванщикам, враз задержал коня.

-- В чем дело, Турды-Ахун? -- сказал он скороговоркой, почти про себя.

Обращаясь к караванщикам, Юдин всегда добавлял к имени слово "ака", то-есть: "друг", "брат". Это был знак уважения и вежливости, приятной мягкости в обращении: "Турды-Ахунака", "Насыр-ака"... "эКимеан-ака"... Караванщики весьма ценили в Юдине знание тонкостей обращения. А потому, не услышав этого добавления, Турды-Ахун сразу понял, что Юдин недоволен и зол, и принялся с жаром, полуизвиняющимся, полуобиженным тоном объяснять Юдину все соображения, заставившие его остановить караван именно здесь.

Юдин слушал молча, с каменным, тяжелым лицом, -- у Юдина это как-то так особенно получалось: сомкнет плотно губы, и кажется, они налиты свинцом, а лицо каменеет, словно неживое, -- массивный, тяжелый, будто глиняный слепок, и только сузившиеся киргизские глаза смотрят злыми буравчиками. И тих, и спокоен, и вежлив, а люди поеживаются под таким взглядом, словно этот взгляд их задавит сейчас.

Юдин выслушал все объяснения молча, -- главным объяснением было: "вода высока, вьюки подмочишь", -- нахмурился и вместо ответа крепко стегнул камчой своего коня. Конь рванулся к воде, но, едва вступив в нее, уперся всеми четырьмя ногами. Перед его испуганными глазами мутносерая полоса воды проносилась с угрожающей быстротой. Река постукивала невидимыми на дне валунами. Конь попробовал пятиться. Караванщики и сотрудники экспедиции молча столпились на берегу, заранее зная, что, раз взявшись за дело, Юдин уже не отступит. Юдин крепко взял коня в шенкеля и со злобным упорством принялся хлестать его тяжелой камчою. Конь возмущенно вился, юлил крупом, попытался даже встать на дыбы, но тут Юдин, последним жестоким ударом протянув камчу ему под живот, бросил коня в гудящую воду. Конь сдался и пошел осторожно вперед, по грудь погружаясь в холодную пену.

-- Хорошо идет, не боится! -- тихонько подтолкнул локтем Турды-Ахуна Насыр. В нем говорил азарт, глаза его умаслились блеском.

Юдин отпустил стремена и выставил ноги вперед, -- его сапоги резали хлещущую, узловатую воду, как нос корабля. Конь всем боком наваливался на течение. Юдин отклонялся в обратную сторону, чтоб уравновесить центр тяжести. Конь, ставя ногу, выбирал камни на дне на ощупь и шел напряженно, как канатоходец. В середине реки воды оказалось немного выше стремян, а неслась она так, словно Юдин мчался вверх по реке со скоростью миноносца. Чувствуя головокружение, Юдин поморщился. Но конь, завидев уже противоположный берег, смелей заспешил к нему и, отфыркиваясь, напрягая задние ноги, энергично выкарабкался на прибрежные камни, а тут сразу смяк и поник головой, тяжело и учащенно дыша. Юдин спешился и молча уселся на камни, лицом к каравану. Это означало, что переправа возможна и должна быть осуществлена немедленно, а Юдин не собирается сдвинуться с места до того, как последняя лошадь окажется на этом берегу.

Брод был, во всяком случае, найден, и я, отделившись от других всадников, погрузился в воду и вполне благополучно переправился через реку. Здесь я расположился рядом с Юдиным и, заложив повод моего коня за острый камень, набил махоркою трубку. Юдин, однако, не намерен был разговаривать: склонившись над картой, которую разложил на своих коленях, он что-то такое заштриховал в ней красным карандашом. Но он вложил карту в полевую сумку, когда весь караван с вьюками, подтянутыми как можно выше на спины, тесной беспорядочной ватагой вступил в реку под свист, гиканье и удары плетей.

Караванщики и сотрудники экспедиции заезжали снизу по течению, подхлестывали мешкающих лошадей, и скоро весь караван, бурля и расплескивая бурунящую воду, миновал середину реки. Переправа казалась оконченной, но тут одна из лошадей остановилась посреди течения, сдуру вздумав напиться воды.

Турды-Ахун, сидевший поверх вьюка на своем буланом гривастом мерине, повернул назад, чтобы подогнать отставшую лошадь. Едва преодолевая течение, он подобрался почти вплотную к ней, но тут его мерин остановился. ТурдыАхун нагнулся вперед, стремясь дотянуться до недоуздка лошади, как ни в чем не бывало с протяжным сипением сосущей воду. Если бы мерин переступил еще хоть на один шаг, равновесие не было бы нарушено, но он, очевидно, споткнувшись, внезапно сунулся мордой в воду, резко прыгнул вперед, чтоб устоять на ногах, плюхнулся грудью о гребень волны, закачался и, разом сбитый течением с ног, нелепо забарахтавшись, понесся вниз по реке. Турды-Ахун, успевший в момент его падения уцепиться за недоуздок продолжавшей пить лошади, оказался в воде и, захлебываясь, силился не выпустить из рук недоуздка,

а лошадь, весьма недовольная тяжестью, рванувшей ее голову, шарахнулась в сторону, едва удержалась. Она упрямо встала задом к течению, мотая головой, которую невольно тянул захлебывающийся, но не выпускающий недоуздка из рук ТурдыАхун.

Теперь все зависело от недоуздка: если б он сорвался с головы лошади, Турды-Ахун понесся бы вниз, как муха в струе городского водопровода.

Но люди на берегу уже неистово голосили. Насыр, полоснув ножом по арканам своей вьючной лошади, мигом сбросил вьюк на землю и, вспрыгнув на вьючное седло, погнал лошадь в реку, Два других караванщика, еще раньше побросав лошадей, бежали по каменистому берегу вслед за мелькающим в бурунных волнах Турды-Ахуновым мерином. За ними вскачь неслись сотрудники экспедиции.

Юдин и я, услыхав крик Насыра, разом вскочили в седла и, опередив Насыра у самого берега, рассекая поспешно воду, приближались к Турды-Ахуну. Нам удалось схватиться за него одновременно, а тут подоспел и Насыр, и все втроем мы помогли Турды-Ахуну вскарабкаться на вьючное седло, за спину к Насыру. Навалившись сзади подбородком на плечо Насыра, Турды-Ахун закрыл глаза, обвис, как мешок, и только руками крепко обвил торс Насыра.

Подгоняя виновницу происшествия -- вьючную лошадь, вся группа направилась к берегу и благополучно выбралась из реки.

Ой-ой, алла-а-а! -- протяжно вздохнул Турды-Ахун, опустившись на камни и охватив ладонями виски. -- Саук (холодно!), -- добавил он, отплевываясь и отжимая с бороды воду.

Дайте ему коньяка! -- обратился Юдин ко мне. -- Вы знаете где...

Вместе с Насыром я направился к вьюкам.

Караванщики вернулись ни с чем. Мерин Турды-Ахуна исчез бесследно, вместе с вьюком, конечно, изорванный в клочья, измолотый о камни диким течением. Караванщики бежали до полного изнеможения не меньше двух километров и никаких признаков погибшей лошади не обнаружили. Это было естественно: горные реки выбрасывают трупы иногда за пятьдесят, за шестьдесят километров, а чаще поглощают их бесследно.

Солнце ложилось на зубцы далекой вершины, времени было потеряно много, но здесь, на этом берегу реки, не было ни травинки, надо было двигаться дальше, до ближайшего подножного корма. Турды-Ахун, наспех переодевшись, но все еще вздрагивая от холода, взгромоздился на чужую лошадь и тронулся

в путь. За ним, озаренные багровыми лучами заката, вытянулись все вьючные лошади. Люди ехали молча, каждый по-своему обдумывал происшествие. Никто не высказывал своих мыслей другому, но каждый про себя винил Юдина. Юдин ехал спокойный, как ни в чем не бывало, нельзя было догадаться, о чем он думает.

Оказавшись рядом с ним, я, как бы невзначай, спросил его:

-- Этот мерин был единственной собственной лошадью Турды-Ахуна?

Юдин молчал. Я искоса глядел на него и, решив было, что ответа не дождаться, с напускным безразличием отвернулся. Но тут Юдин уронил с хладнокровной усмешечкой:

-- Не беда... Найду ему какую-нибудь лошаденку. В убытке не будет!

Вечером в лагере все знали, что Турды-Ахун без лошади не останется, но все знали также, что Турды-Ахун гораздо больше подавлен не гибелью своей лошади, а тем, что не отрезал у нее хвост.

Плохо... Очень плохо будет! -- мрачно повторял он, сидя в палатке и угрюмо покачиваясь из стороны в сторону.

Лошадь сдохла -- воля аллаха! Беды нет! Лошадь помирает, человек помирает, собака помирает -- воля аллаха. Мертвую собаку в сторону бросил -- беды нет. Человека в землю положил, молитвы читал, мазар построил -- беды нет. Мертвой лошади хвост отрезал -- тоже беды нет. Хвост не отрезал -- плохое дело, лошадь ходить будет, несчастье хозяину делать будет, много несчастья, много беды: плохой хозяин, пускай его жизнь тоже плохая будет!..

Всю ночь Турды-Ахун не спал. Сквозь сон я слышал за палаткой вздохи и причитания Турды-Ахуна. Рано-рано утром, едва забрезжил рассвет, я услышал колокольчики, -- их тоненький перезвон нарастал. Я выглянул из палатки и увидел проходящий мимо караван ослов. Ничего любопытного в этом караване я не нашел и потому опустил полог палатки, чтобы без спешки одеться.

А когда одетый, сделавший в дневнике обычную утреннюю запись, я вышел из палатки, ослиного каравана уже и след простыл: он скрылся за вдвинутым в долину гранитным мысом.

Отсутствие Турды-Ахуна было замечено мною, так же как Юдиным и другими сотрудниками экспедиции, только когда мы расположились кружком по краям брезента, разостланного караванщиками, как обычно, для завтрака.

Мрачный, насупленный Насыр сказал, обращаясь ко всем нам и не глядя ни на кого:

-- Турды-Ахун-ака сел на ишака, пошел в Ош... Караван ишаков пошел в Ош... Хвост не отрезал, плохое дело... ТурдыАхун-ака ничего не надо. Вперед дорогу кончал. Назад пошел, в Ош... Ох-хо!

И этот протяжный вздох, после которого вздохнули и два других караванщика, дал мне понять, что дело непоправимо.

После долгого общего молчания Юдин решительно звякнул ложкой по пиале:

-- Наливай чай, Насыр! Значит, караванбаши у нас теперь ты?

И все мы подумали, что Юдину следовало бы к имени Насыр сделать добавление: ака.

Но у Юдина, видимо, были иные соображения. Молча принял он пиалу из руки Насыра и стал пить чай, особенно громко хлебая его и отдуваясь.

ГЛАВА VI. АЛИЧУР И МАРШРУТЫ ОТ АЛИЧУРА

Вид с перевала Баш-Гумбез

С высшей точки гребня Южно-Аличурского хребта, называемого иногда Памирским, над перевалом Баш-Гумбез (оставшимся ниже), от гранитной гряды, куда без всякой **тропы**, прямиком по склонам, вместе с красноармейцем Мешковым и караванщиком -- кашгарцем Мамат-Ахуном я поднимался верхом из урочища Бузула, я долго смотрел вниз, назад.

Там простиралась под нами Аличурская долина. И в тот час 26 июля 1931 года я внес такую запись в мой путевой дневник:

"... Водораздел, на котором я нахожусь, -- великолепен, я вижу вдали к востоку и западу порфировые лавы, -- они темнозелены и черны, они грандиозны, они поблескивают на солнце, и блеск их тем более мрачен и строг, чем веселее сверканье коегде прикрывающих их крутых полей фирна.

Аличурская долина далеко внизу. Видны все ущелья, все горы над ними и те снеговые хребты, что высятся позади них. Аличурская долина, я сказал, далеко внизу, а ведь высота ее -- 4 000 метров над уровнем моря. Аличурская эта долина, со спускающимися к ней боковыми долинами, ровна, и чиста, и гладка, словно тихое море, в котором плавают все эти горы. Иные -- словно игрушечные, заводные насупленные мыши, иные -- как опрокинутые, облупленные чаны, как чугунные котлы. Подножия этих гор -- осыпи. Выше этих гор -- другие, островерхие, колючие, крутобокие, а совсем далеко -- как белая зигзагообразная линия, вычерченная на синем небе сейсмографом, -- зубчатый, снежный, великолепный Мургабский хребет, иначе называемый хребтом Базар-Дара, а еще иначе -- Северо-Аличурским. Он же тянется и на западе. Видимость -- громадная, небо -- ясно, воздух -- прозрачен, а с запада такой ветер, что лошади переступают с ноги на ногу и расставляют их, чтоб не потерять равновесия. Мы -- на хребте, и спуск с него так глубок и крут, что надо ехать по склону налево, до слияния этого склона с соседним. Там вечные снега южной стороны".

Да, в южную сторону гигантского хребта, на котором я тогда находился, зрелище открывается еще более впечатляющее.

Этот Южно-Аличурский хребет, протянувшийся в широтном направлении, высится над южной границей СССР, которая проходит посередине озера Зор-Куль и по вытекающей из него реке Памир. Но и озеро и река Памир спрятаны так глубоко внизу, что за исполинскими ступенями террас и нагромождениями колоссальных морен их с гребня хребта не видно.

Взору наблюдателя там видится невообразимо глубокий и длинный провал в земном шаре, хотя и река Памир и одно из высочайших в мире озер -- Зор-Куль сами расположены на огромной высоте над уровнем моря -- на высоте в четыре километра.

Озера и реки не видно, а вверху и далеко за ними виден еще более грандиозный, чем тот, на котором находишься, потусторонний горный хребет, удаленный для человеческих масштабов, но одновременно -- для космических масштабов -- близкий, будто край вплотную придвинувшейся к земному шару луны.

Это Ваханский хребет, за ослепительно белыми плечами которого светится призрачной белизной Гиндукуш.

Каждый геолог, любой исследователь, наблюдавший с севера Ваханский хребет, даже в самых сухих своих отчетах не удерживался от восторженного описания его грандиозности, его величественной, какой-то особенной красоты:

"Наиболее поразительны и грандиозны формы древнего оледенения в бассейне Зор-Куля, или, точнее говоря, на северном склоне Ваханского хребта... "

"Поразительный вид открывается с пер. Янги-даван на юг, на Ваханский хребет. Грандиозный, массивный хребет, увенчанный вечными снегами, прорезан рядом широких троговых долин, выходящих к его подножию. Вдоль всего подножия... на расстоянии 60 км тянется громадная, почти плоская долина,

достигающая 6 -- 8 км ширины. Эта долина покрыта в средней части колоссальными свежими моренами. Среди этих морен и располагаются озера Зор-Куль (оз. Виктории), Кук-Джигит, Куркун-тей и Кара-дунг. Все эти озера, особенно Зор-Куль, типичные моренные озера... "

Так пишут в своем совместном отчете за 1932 год геологи Д. В. Наливкин, П. П. Чуенко, Г. Л. Юдин и В. И. Попов.

Так же восхищается им один из первых исследователей ЗорКуля, побывавший в этих местах в 1903 году, -- географ Н. Л. Корженевский.

Особенности Аличурской долины

В Аличурской долине и вокруг нее -- в ограничивающих ее горных хребтах мне пришлось по нескольку недель работать вместе с геологами Г. Л. Юдиным и А. В. Хабаковым в 1930 году и вместе с Юдиным и Н. С. Катковой в следующем, 1931 году.

Зрелищем, описанным выше, мне посчастливилось любоваться и с гребней над другими перевалами: Кумды, Харгуш, Кок-Белес, Карагорум, Кок-бай, куда приводили меня в те два года совместные с геологами, а иногда одиночные верховые маршруты.

И надо сказать, что, пожалуй, всякий путешественник так же, как я, чувствовал себя счастливым от созерцания величественной природы, в трудных странствиях на громадных высотах Восточного, или -- для этих мест называемого иначе -- Большого Памира.

Своеобразие широких, иногда словно проглаженных гигантским утюгом, восточнопамирских долин, заставляет меня описать одну из них -- Аличурскую.

Между хребтами Базар-Дара и Южно-Аличурским она протянута с востока на запад. По ней тоненькой ниточкой течет река Аличур, которая в верховьях составляется из рек Гурумды, Буз-Тере и Куберганды, в среднем течении принимает в себя множество речек, текущих по ущельям с двух горных хребтов, и которая на западе вливается в большое озеро Яшиль-Куль, дающее исток Гунту.

Аличурская долина лежит на пути к Западному Памиру, по ней с 1895 года проходит большая памирская дорога, ведущая из Оша и Мургаба (Поста Памирского) в Хорог (с 1932 года она превращена в Памирский автомобильный тракт), а потому эту долину проходили почти все исследователи Памира. Но сравнительно немногие посвящали свои исследования именно ей и потому во многих отношениях к тридцатому году она еще никак не могла считаться хорошо исследованной.

Первым европейцем-исследователем, достигшим ее (в 1878 году), был русский ученый Н. А. Северцов. Первым геологом, описавшим эту долину в своем (к сожалению, до сих пор не опубликованном) дневнике, был Д. Л. Иванов, посетивший ее в 1883 году. Он называет ее "ровной широкой озерной

котловиной, вытянутой с востока на запад между двумя горными поднятиями". Он описывает пересекающий ее "замок у западного конца Яшиль-Куля, который прорван тесниной истока Гунта".

Он говорит о сазах и песках, образовавшихся от разрушения гранитов, и о суглинках с рыхлым солонцом, и о значительных древних моренах, и о ключах, дающих начало реке Аличур, -- "начинающихся на востоке близ Кара-дунга и тянущихся к западу за Баш-Гумбез до Ак-Балыка или Тумаяка". Он первый записывает в своем дневнике, что на этом пространстве "Долина Аличура... вся представляет топь с рядом ключей, колдобин, озерок, едва проходимую на лошади. Против Ак-Балыка топь уже кончается. Аличур бежит зрелой рекой, богатой рыбой... До Кара-дунга почва сильно песчана, подвижна и долина закрыта редкими кустами. Но с Кара-дунга идет сплошной жирный саз, широкой лентой из края в край долины, сопровождая реку на запад. Там, где кончаются родники в долине и сильно выпячиваются в нее морены из южных ущелий, там он

отодвигается... но все-таки широкой полосой доходит до самого Яшиль-Куля, где Суме представляет огромную топкую зеленую площадь уже с значительным количеством таловых кустов".

Д. Л. Иванов описывает и хребты, окружающие долину, упоминает о кое-где на западе обнажающихся гранитах, очень метко говорит, что некоторые ущелья между острыми хребтами боковых отрогов, опускающихся с расположенных к северу гор, -- "чистенькие, словно выметены, точно так же, как и склоны образующих их отрогов".

В 1915 году по пути к Усойскому завалу Аличурскую долину посетил И. А. Преображенский, который первым указал на происхождение озера Яшиль-Куль от гигантского завала и даже отметил место, откуда рухнул этот образовавший исполинскую запруду обвал.

В том же году Аличур посетил геолог Д. В. Наливкин. Его интересовали прежде всего исполинские формы древнего оледенения Памира. Еще Д. Л. Иванов назвал Памир "страной древнего оледенения", еще гляциолог и географ Н. Л. Корженевский (начиная с 1903 года не раз побывавший на Аличуре) пытался воссоздать в своих представлениях древние гигантские ледники, от которых в наше время остался лишь величественный (но еще никем не пройденный в ту пору) бассейн ледника Федченко, -- он был исследован только значительно позже, в 1928 году.

Из всех этих первых исследований стало ясно, что Памир никогда не был покрыт сплошным ледяным щитом, но по горам Памира протягивались колоссальные ледяные потоки. Они разделялись хребтами и гребнями, которые не были затянуты

льдом. Сплошные ледяные щиты, по наблюдениям Д. В. Наливкина, были только у перевала Кой-Тезек и в бассейне современного озера Каракуль.

Двигаясь очень медленно, растекаясь, гигантские ледники постепенно расширяли свои долины и там, где гряды гор не слишком возвышались над ними, соединялись переметными ледниками.

В числе таких исполинских ледяных потоков был и АлиЧурский ледник; его пятикилометровой ширины тело протянулось на восемьдесят километров. Он пропахал, "проутюжил" себе то огромное ложе, которое стало впоследствии Аличурской долиной.

Постепенно истаяв, этот ледник загромоздил оставленным после себя хаосом камней -- конечной мореной -- больше тридцати квадратных километров площади. Сюда же, к западной части гигантского ложа, стекал сбоку и могучий Кой-Тезекский ледник, который покрывал огромную площадь современных горных массивов сплошным ледяным щитом.

В Аличурской долине -- плоской, широкой, до сих пор не углубленной водой реки Аличур, которая здесь, на четырехкилометровой высоте, протекает плавно и неторопливо, а зимой замерзает, -- древний ледниковый рельеф со всеми начальными и конечными моренами сохранился почти в полной неприкосновенности. Он оказался законсервированным массою льда, предохраненным от эрозии -- разрушения водою и ветром, которое обычно и создает острый, глубоко изрезанный, зубчатый рельеф. Так же сохранился древний рельеф и в области КойТезека, ныне сплошь заполненной огромными моренами, между которыми блестят во множестве маленькие округлые озерки. Морены достигают пятидесяти, даже сотни метров высоты, и в их лабиринте трудно разобраться путешественнику.

Ниже Аличурского ледника, может быть прямым продолжением его, тянулся на сто двадцать километров Гунтский ледник. Он также истаял, но его долина, подвергнувшаяся вместе со всей окружающей ее горной областью воздействию тектонических движений земной коры, была глубоко пропилена титанической работой круто устремлявшейся вниз реки. Моренных холмов в ней не осталось: они оказались на дне огромного озера, которое некогда заполняло эту долину, а потом, когда озеро, прорвавшись, вытекло, были размыты и разнесены водой.

В наше время над бурно текущим в глубокой и узкой долине Гунтом остались только высокие озерные и речные террассы.

Необходимо отметить, что никаких моренных нагромождений нет и в середине Аличурской долины, так же как нет их и в нижнем течении главной из составляющих Аличур рек -- Гурумды.

Такова картина древнего оледенения Аличура и Гунта, которую я представил себе, разбираясь в их современном рельефе во время своих путешествий и с помощью геоморфологических указаний географов, гляциологов и геологов, посвятивших изучению древнего оледенения Памира свои труды. После тридцатого -- тридцать первого годов по следам Д. Л. Иванова, Н. Л. Корженевского, Д. В. Наливкина, Г. Л. Юдина, А. В. Хабакова, Н. С. Катковой здесь работало еще много исследователей, из которых свои специальные исследования Аличуру посвятили В. А. Николаев, С. И. Клунников, В. И. Попов, М. А. Калинкова и другие.

Убереженные от разрушения древними ледниками, сохранившие свои ледниковые формы долины Восточного Памира разделены горными хребтами.

Горные хребты Восточного Памира потому и кажутся человеку совсем невысокими, что возвышаются всего на один-два километра над широкими и плоскими долинами, которые убережены древними ледниками от разрушения, от "пропиливания" и сами взнесены на высоту в четыре километра над уровнем моря.

Эти горные хребты, оглаженные краями ледников, мягки по своим очертаниям, волнисты и не слишком крутосклонны. Только самые бровки водораздельных гребней, "расчесанные" водою и ветром, стали острозубчатыми, похожими на кромку пилы. Таков гребень Южно-Аличурского хребта, выдвигающий свои скалы и пики из фирна и снега, таковы гребни только самых мощных других хребтов.

Вот почему, "то путешествует по плоским долинам и волнистым водоразделам Восточного Памира, тот почти всегда забывает об огромной абсолютной высоте, на которой находится, -- о ней напоминает путнику лишь учащенное сердцебиение, да одышка, да иногда головокружение и головная боль -- проявления той горной болезни, которая называется на Памире тутэком. Эта болезнь у людей со здоровым сердцем обычно цроходит после двух первых недель путешествия, когда организм приучается к разреженному воздуху высоты. Так было и со мной, так было и с большинством моих спутников -- молодых и здоровых.

Картина, нарисованная Н. Л. Корженевским

В современную эпоху Аличурская долина считается самым лучшим пастбищным районом Восточного Памира. Она покрыта альпийскими лугами и мятликовыми степями, а по склонам боковых ущелий -- пустынными пастбищами, в которых много

полыни и памирской пижмы и даже высокогорных злаков. За исключением самых снежных зим, какие случаются не так уж часто, Аличурская долина может круглый год пропитать скот, привычный к суровому климату высокогорья.

В этой долине из-за близости к Западному Памиру бывает гораздо больше осадков (сто пятьдесят -- двести пятьдесят миллиметров в год), чем в других восточнопамироких долинах, -- район Аличура ботаниками считается переходным. Больше осадков (двести-триста миллиметров в год) только на самом юго-востоке, в нижних "ярусах" Зор-Кульекой долины -- долины реки Памир.

Как ни странно, мне почти не встречалось общих описаний современной Аличурской долины, кроме тех, какие дают сухое изложение научных наблюдений.

Но есть прекрасное описание, принадлежащее одному из первых исследователей долины, -- Н. Л. Корженевскому, которое я не могу, не отказав себе и другим в удовольствии, не процитировать, тем более, что

опубликованное в 1922 году, в давно ставшем библиографической редкостью ташкентском журнале "Новый мир" (No 6--7), оно почти недоступно читателям. Вот оно:

"... после мертвых ущелий пройденного пути Аличурская долина приятно поражает зеленеющим простором, сравнительно обширным горизонтом, увенчанным снеговыми гребнями гор и ровной, как стол, поверхностью. Ближе к южному краю долины течет река Аличур, прихотливо извиваясь среди низких сазовых берегов, изрезанных протоками и родниками, блестевшими порою, как стеклышки, на ослепительном солнце. Благодаря прозрачности воздуха и необыкновенно сильному освещению все окрестности рисовались с такими подробностями, как будто находились от нас в непосредственной близости. Погода стояла прекрасная, и ехать по долине было большим удовольствием. Организм уже освоился с большой высотой, сердце билось спокойно и ровно; дышалось легко, во всяком случае, без той мучительной тяжести в груди, которой мы страдали в начале путешествия. Мягкая тропинка, простор, чистый воздух, небо изумительно синее и скалистые суровые горы, уходящие вдаль бесконечными линиями, создавали бодрое и хорошее настроение. Тихо, кое-где видишь юрты, дымок и стада кутасов *. Словно табуны медведей, бродили эти странные животные по долине, издавая хрюкающие звуки и мрачно посматривая на новых пришельцев. Вместе с архаром, тоже замечательным животным Памирских высот, обросший до копыт длинной шерстью як также является типичным представителем Памира с той лишь разницей, что архар (Ovis polii) дикое, а як домашнее, миролюбивое животное. В быту памирских киргизов, самых чистых номадов, коих только знает Туркестан, кутас является весьма важным элементом хозяйства. Это не только молочное и мясное животное, но также и вьючное, необычайно выносливое и приспособленное к памирским условиям. Ни громадная высота местности, ни глубокий снег не составляют для яка существенного затруднения, и только на нем можно совершить здесь труднейшие подъемы на хребты и ледниковые перевалы. Не хуже козла, як идет по утесам; с удивительной легкостью, непонятной для его грузной фигуры, он вместе со всадником перепрыгивает с камня на камень и взбирается на громадные кручи.

* Киргизское название яков.

Чем дальше мы подвигались на запад, тем шире становилась долина, но вместе с тем беднее, пустыннее. Редкая зелень сходит на нет, и каменисто-песчаные пространства овладевают долиной. На серожелтом безжизненном фоне теперь резче выступали разбросанные всюду белые кости архаров, которые в снежные зимы гибнут здесь от бескормицы и усеивают своими бесподобными рогами дороги. Еще безотраднее стала местность, когда тропинка повела по громадным холмам древних морен, кое-где прикрытых глинистой коркой, а местами не задернованных, сложенных обломками скал, изъеденными самым причудливым образом процессами выветривания. Глядя на эти накопления материала, похожие в миниатюре на горную страну с хребтами, долинками, котловинами, озерками и т. д., невольно представляешь величие тех ледников, которые вынесли из гор этот материал и построили из него на долине целый горный участок... Пройдя морены, мы спустились в обширную котловину, на которой синело резкой полосой небольшое озеро Сасык-Куль, с противной, как оказалось, горько-соленой водой, переполненное небольшими ракообразными. На поверхности озера плавало множество уток, главным образом атаек, несъедобных красных уток, привлекаемых на Сасык-Куль обилием корма.

Берега озера низменные, солонцоватые, с небольшими возвышениями на восточном берегу, которые образовались из водорослей, наносимых прибоем. За этими возвышениями тянулась голая равнина с редко сидящими солянковыми растениями и упиралась в скалистые предгорья, однообразного пепельножелтого цвета... "

Аличур в тридцатом году

В июле 1930 года, вопреки крайне неблагоприятной обстановке, Юдин, Хабаков и я, приехав верхами с четырьмя предоставленными нам для охраны

красноармейцами, поставили в Аличурской долине (в урочище Чатырташ) наш маленький

лагерь. Нам предстояло работать здесь, разделяясь по двое и по трое, совершать маршруты в окрестные горы, -- "изучать геологию района".

Мой дневник тех дней заполнен геологическими записями, описаниями быта киргизов, заметками о ночных дежурствах и об отражении попыток басмачей напасть на наш лагерь, об охоте на кийков и архаров, о ловле мелкой форели в реке Аличур и о том, как верхами вдвоем, втроем или в одиночку мы скитались по ущельям двух гигантских горных хребтов, то поднимаясь на водораздельные гребни, то опускаясь на дно глубоких потаенных щелок, то заезжая пить кумыс и кислое молоко в юрты к кочевым киргизам.

Часто шли дожди и выпадали снега, мы мокли и зябли, нам недоставало еды, мы жадно ловили каждую весточку из внешнего мира, редко доносившуюся до нас, потому что никто из советских работников в это тревожное время не стремился проезжать через Аличур, где крупный феодал и бай Ишан-Кул, ненавидевший советскую власть, еще фактически правил киргизским родом хадырша, издавна кочевавшим по глухим боковым долинам и ущельям Аличура.

Начался август. Мы сделали большую геологическую работу и выехали к озеру Сасык-Куль, у которого в это время работал наш приятель -- молодой геолог Александр Жерденко вдвоем со своим, малознакомым нам, приехавшим из Москвы начальником. С ними были и два караванщика; одного из них -- старого, опытного участника прежних экспедиций Дады Тюряева -- все мы хорошо знали и любили.

Нет смысла подробно рассказывать об обстановке, в которой работали мы. Но чтобы кратко охарактеризовать ее, приведу запись не из своего дневника, а из дневника А. Жерденко от 3 августа 1930 года:

"... Ночью залаяли собаки, затем сорвались с привязи лошади и карьером помчались прочь в сторону Сасык-Куля. Дада и Нурмат сейчас же вслед за ними. На счастье, две лошади запутались в веревках и остались невдалеке от лагеря. Дада и Нурмат, сев на этих коней, поехали по дороге на Сасык-Куль. Было это часа в два-три ночи. При подъезде к юрте караульщика на Сасык-Куле их остановило щелканье затворов винтовки и окрик по-русски: "Стой, кто идет?" Дада ответил: "Свой! Дада-ходжа!" Раздается голос Юдина: "Это наши!" Оказалось, что у юрты стоит лагерь Юдина, уходящего с Чатырташа. Юдин рассказал Даде следующее: о том, что их из Мургаба не пустили на Пшарт, из-за неспокойствия там; о шайке Шо-Киргиза, охотящейся за советскими работниками; о готовящихся контрреволюционных выступлениях в Аличуре (Ишан-Кул); о сорока пулеметах, обнаруженных в Иркештаме в тюках хлопка, который шел верблюжьим караваном из Кашгара; об обстреле геохимика Прокопенко; о гибели тридцати человек экспедиции Никитина; об обстреле в Чатырташе всадников ночью и т. д.

>.. В Чатырташе Юдин, видимо, получил дополнительные сведения, почему и решил свернуть работу и итти в Хорог. Дада передал, что сейчас Юдин собирается к отъезду в Тагаркакты. Быстро оседлали лошадей и выехали навстречу Юдину. Юдин и Лукницкий рассказали все то же, что и Дада, дополнительно сказали нам, что от киргизов они имеют сведения, что мы ночью спим без охраны, в то время когда в нашем лагере не было ни одного киргиза. На прощанье Юдин сказал: "Паники поднимать вам не следует, работайте и ждите смены Памиротряда; раз на вас до сих пор не напали, то едва ли в ближайшие дни нападут". Конечно, такая аргументация нам, а особенно мне, показалась слабой. Юдина я знаю хорошо, это такой человек, который зря не побежит. Взвесив все сегодняшние сведения, я пришел к выводу, что нам тоже надо сегодня же отсюда смотаться. Раз охотятся на советских работников, а после отъезда Юдина во всем районе остается нас, советских работников, двое, то нет никаких оснований полагать, что нас не тронут...

Позже мы опросили мнение Дады. Он ответил, что, конечно, дело

начальства решить то или иное, но он думает, что рисковать не стоит, так как риск может кончиться просто: "и люди пропадут, и коней не станет, и солончаки останутся". Лучше всего, мол, "от греха подальше". В. согласился и приказав Даде собирать вещи, сам поехал собирать образцы, а я пошел описывать последний разрез. Быстро закончили это дело и в четыре часа выступили в Тагаркакты... "

Маршрут к Зор-Кулю

В следующем, 1931 году вместе с Юдиным я вновь оказался в Аличурской долине. На этот раз с нами работали петрограф Н. С. Каткова, художник Д. С. Данилов, коллектор В. А. Зимин и несколько других сотрудников экспедиции. Как и прежде, чтоб охватить работой возможно больший район, мы мелкими группами часто разъезжались по разным маршрутам. Наш небольшой караван в таких случаях оставался на основной базе, охраняемой двумя-тремя из предоставленных нам шести бойцов-пограничников. Другие поочередно ездили с нами. Со мною чаще всего ездил красноармеец Поликарп Гурьяныч Мешков, с которым я так сдружился, что он стал моим самым надежным, верным и любимым спутником во всех моих странствиях в том году на Памире.

День за днем я писал дневник. Обстановка на Восточном Памире попрежнему была тревожной, напряженной, и потому записи о тектонике и стратиграфии пройденных мест чередовались с записями об отставленной боевой тревоге. Дни были похожи один на другой, и я выбираю наугад отрывок из этих записей, два обыденных дня, ничем особенным не ознаменованных, а просто характеризующих некоторые интересные места и само путешествие по Памиру в ту последнюю перед приходом погранотряда неделю, которую я провел в верховых маршрутах у самой восточнопамирской границы. Погранотряд, впервые придя туда, поставив новые заставы там, где их прежде не было, сменив на старых постах маленькие, несшие караульную службу кавалерийские гарнизоны, накрепко закрыл советскую государственную границу, отрезав пути на Памир всяческим басмаческим бандам, организованным иностранной империалистической разведкой.

Вот запись в моем дневнике от 22 июля 1931 года. Этот день застал меня в пути из Аличурской долины к перевалу Кумды:

... Выехали в 7 часов 18 минут утра, наспех выпив по кружке чаю. Сегодня мы -- ввосьмером: Юдин, я, художник Данилов, бойцы Тараненко и Мешков, караванщики Дада-ходжа, Али и Мамат-Ахун. С нами две вьючные лошади.

На Юдине оказался халат из купленных в Мургабе у китайских купцов... Халат -- это защитная одежда здесь, на Большом Памире. Так ездят, когда хотят, чтобы, приняв издали всадника за местного кочевого киргиза, на него не обращали бы особенно пристального внимания.

Холод. Боец Тараненко спешивается, идет пешком, чтобы согреться. Мешков едет, в валенках. Тараненко старается не отстать от лошади. Но попробуйте итти пешком на подъем, на такой -- около пяти тысяч метров -- высоте, в полушубке, в полном вооружении! Тараненко садится в седло. Бугристое замерзшее болотце хрустит под копытами. Здесь только что стаял снег: трава прошлогодняя, желтая, мертвая. Снег пластами и до сих пор лежит в долинке. Слева течет ручей, течет оттуда, где, кажется, перевал. Впрочем, ручьи текут отовсюду, а многие не текут -- замерзли, а солнечные лучи еще не дошли до долины.

Поднимаемся на моренный амфитеатр, опетляя его по льдистым буграм, по камням, по трясинной почве. И здесь обнаруживается, что налево нет перевала, а он, вероятно, с правой стороны цирка. Склоны снежны, снег плотный и сверкающий, как белая жесть. Лошади скользят, местами приходится спешиваться. Направо -- моренная терраса, мы выбрались на нее, ищем тропу: по корке снега, по склону видны чьи-то давнишние

следы. Подъем очень крут, невероятно каменист, -- осыпь, местами

покрытая снегом. Очень осторожно, чтоб лошади не переломали ноги, поднимаемся.

9 часов утра. Перевал. Ждем каравана, он мучается далеко внизу на подъеме. Кручи снега здесь так тверды, что я и мой спутник художник Данилов устраиваем катанье: взойдя на склон, катимся, сапоги заменяют лыжи, катимся с пьяною быстротой вниз. Я скатился два раза. Чудесно! Считаю пульс: 160! И все же чувствую себя превосходно, хочется петь и смеяться. Мы рассчитываем вместе: высота здесь не меньше пяти с половиной тысяч метров над уровнем моря.

Ждем каравана. Записываю геологию; строение местности можно себе представить следующим образом: граниты обнажаются в ряде мест, а осадочные породы как бы присыпают их сверху. Большое региональное распространение гранитов позволяет предположить наличие больших гранитных масс на глубине. У устья реки Тамда обнажаются полого-падающие на юг, почти строго широтного простирания осадочные породы, сильно измененные близостью гранитной интрузии. Выше, до перевала Кумды, оба водораздела реки сложены исключительно гранита ми. Гранит -- среднезернистый, биотитовый, иногда двуслюдистый, но по внешнему облику должен быть отнесен к более глубоким и центральным частям интрузии, нежели тот, что встретился нам у перевала Кара-Белес. В верховьях реки Тамда, под перевалом, видны скалистые обнажения. Хребет зазубрен -- множество пиков...

9 часов 35 минут. Начинаем спуск. Впереди вниз -- "корыто" троговой долины, а вдали -- Афганистан: слепительные снега Ваханокого хребта. Он, пожалуй, не менее грандиозен, чем Заалайский хребет.

Спуск крут только десять-пятнадцать минут, затем ровен, полог, легок, -- долина, как гигантский лоток для катанья яиц. Фотографирую спутников и свою лошадь на фоне хребта. Речка -- уже многоводная -- приток реки Памир, к которой спускаемся. Реки Памир, впрочем, не видно, -- в долине впереди два больших перегиба -- ступени террас. Безлюдье полное. Белые, вроде клевера, цветки. Трава хороша. Склоны по сторонам мягки, вообще весь рельеф мягок.

В 11 часов мы -- на бугристой террасе, она над долиной реки Памир, невидимой далеко внизу. Мы поворачиваем налево, почти на восток. Юдин далеко впереди, и я не вижу его. Еду по его следам. Остальные отстали. В террасу входят один за другим мысы правобережья, между мысами -- лощины, в лощинах нет ничего, никого. Но вот направо -- три лошади. Значит, близко кочевье? Три лошади, привязанные к колышкам, вбитым в землю. Никакого кочевья, однако, нигде кругом нет.

Только следы конских и ячьих копыт. Тараненко нагоняет меня. Едем молча, а Таранеяко редко молчит.

12 часов. Все то же, только впереди стадо яков. Мелькнули и скрылись два всадника. Где же кочевье?

В 12. 30 -- скрытая от всех взоров, в ямине лощины, кочевка, девять юрт. Вижу: лошадь Юдина. Встречает меня молодой киргиз, принимает лошадь. Сбатовав свою с лошадью Тараненко, вхожу в юрту. Юдин уже, как Будда, на почетном месте и уже поглощает всякую молочную снедь. Киргизы удивлены нашим появлением: "узункулак" ("длинное ухо") о нас им еще ничего не оказал.

Подъезжают остальные. Киргизы, видно, напуганы. Один, с подбритой бородой, нервничает: бегают глаза. Взаимные угощения: айран, молоко, шоколад, -- и за едой -- разговоры. Кочевка семьи Шо-Киргиза, главаря басмаческой банды, который сейчас в Афганистане -- в четырех километрах отсюда...

Через полчаса выезжаем дальше. Спуск по лощине, к последней террасе, над рекою Памир. Проехали километра три. Видна река, вдали -- озеро Зор-Куль.

"Это центральный пункт земли и неба. Там есть озеро, и в нем обитает дракон", -- писал об этом месте китайский путешественник Суэнь Цзянь.

Спускаемся в ложе реки Памир. Река многоводна, в глубоких откосах осыпающихся моренных берегов. А ложе реки узко, и только против боковых щелок шире и покрыто зеленью. Едем, поглядывая на Афганистан. Он шагах в пятидесяти от нас.

Юдин останавливается:

А что, если нам разделиться?

Как разделиться?

Так. Половина поедет к Кизыл-Рабату, половина вниз по реке, к Харгушу. Как вы думаете?

Что ж!.. Решайте, Георгий Лазаревич!

Я несколько озадачен такой быстрой сменой планов Юдина. Полчаса назад он было предложил всем ехать обратно, сейчас -- новый вариант. Размышляю. Юдин предлагает разъехаться в разные стороны тут же, спрашивает мнения Тараненко.

-- Бара-бир! ("Все равно!") Тильки, по-моему, переспать вмисте, а с утра и в разные стороны!

Юдин спрашивает Данилова. Данилов:

-- Что ж!.. Мне все равно. Только вот, как делиться? Палатка у нас одна!

Стоим в нерешительности. Размышляем. Наконец решаем: стать тут же лагерем. Едем чуть вниз, вдоль реки, до зеленой лужайки. Развьючиваемся. 2 часа дня.

Раздел, видно, не по душе всем, но никто не высказывается. В молчании ставим палатку. Юдин залезает в палатку, штудирует карту. Мы собираем кизяк. Данилов, наконец, делится со мною своими соображениями: что сделаем в отношении работы мы, не геологи, разделившись? Десятиверстка у нас -- в одном экземпляре, котел -- один, палатка -- одна. У нас четыре винтовки, у Юдина -- большой, в деревянной кобуре, маузер. Если разделить пополам винтовки -- будет по две. Не слишком ли это мало для здешних опасных мест, для открытой границы, для расстояния в сто пятьдесят километров между ближайшими постами Кизыл-Рабатом и Лянгаром, -- мы находимся как раз посередине. Вспомним о семье Шо-Киргиза, о курбаши Султанбеке, на-днях совершившем налет на нашу территорию; вспомним о том, что, кроме басмачей и их родственников, здесь населения нет и они знают: любой поступок сойдет для них безнаказанным, ибо перейди реку, и ты -- за границей, а река -- вот она: пятьдесят шагов!

Возвращаемся к палатке. Обычно, поставив палатку, сейчас Я же вносим в нее вещи, устраиваем постели. Сегодня -- вещи брошены, в палатке -- пусто, все разлеглись на земле, где при дется, и у всех наплевательское ко всему отношение. Устали, что ли? У меня чертовски болит голова -- от жары ли, оттого ли, "я что не ел с утра, или от перевала?

Все разлеглись и заснули. Я задремал тоже. Очнулся, слышу общий храп; вижу: все разбросано, винтовки и другое оружие валяются, где придется. Юдин храпит в палатке. Из караванщиков не спит только старик Дада-ходжа. У него готов суп -- шурпа. Будит всех. Едим. Ниже по реке, вдали, Дадаходжа замечает семь всадников. Смотрим в бинокль -- киргизы. Решаем задержать их, кто бы они ни были. Тараненко высматривает: нет ли у них оружия? Не разобрать: далеко. На всякий случай готовим винтовки. Юдин надевает на деревянный приклад свой маузер. Если басмачи -- мы хорошо встретим их. Юдин велит не выходить из палатки, чтобы едущие не знали, кто здесь, чтобы приняли нашу палатку за палатку кашгарских купцов. Если всадники остановятся и будут удирать, откроем стрельбу.

Всадники приближаются. Мы спокойны; перешучиваясь, доедаем шурпу и пьем чай. Всадники подъезжают близко, видно: одна женщина, остальные -- мужчины. Выходим из палатки, машем им, чтоб подъехали к нам. Подъезжают. Киргизка, два киргиза, четыре таджика. Подозрительного, видим, в них нет ничего, только киргизы -- мрачнейшего вида. Говорят: едут с Джаушангоза в киргизское кочевье -- в то, где мы были. Отпускаем их.

Уже предзакатный час. Юдин, наконец, заводит речь о разделении на две части. Опрашивает всех. Я говорю, что на первом месте -- работа, и надо делать так, как требуется для работы. Юдин делит нас так: он, Данилов, Тараненко и Дада-ходжа едут вверх по реке Памир и заезжают в Мургаб (на Пост Памирский), чтобы оттуда съездить на Ранг-Куль. Я с красноармейцем Мешковым и с караванщиком Мамат-Ахуном еду вниз, по реке Памир, затем поднимаюсь на перевал Харгуш и еду к озеру Сасык-Куль. Сегодня снимаю для себя копию карты. Юдин со своими едет налегке, без вьюков, чтоб иметь возможность передвигаться с предельной скоростью. Обоих вьючных лошадей забираю с собою я. Вернувшись в Аличурекую долину, в основной лагерь, если там работа закончена, снимаю всех и, не дожидаясь Юдина, веду экспедицию через Джаушангоз, в долину реки Шах-Дара, оттуда по ущельям рек БадомДара и Ляджуар-Дара поднимаю всех к месторождению ляпислазури. Юдин со своими приедет туда, если не успеет нагнать нас раньше. Кроме того, перед отправлением из Аличурской долины мне нужно будет сделать маршрут к Баш-Гумбезу, чтоб выяснить: известняки там или гранит...

Опять ниже по реке -- всадники. Трое. Едут сюда. Киргизы. Задерживаем их. Они подозрительны; путаются, врут во всем. Юдин по-киргизски долго и подробно опрашивает их, но ответы их все так же противоречивы и путаны. Оружия у них нет. Опрашиваем: видели ли кого-нибудь? -- Нет. А после говорят: видели группу (тех семерых, что проехали здесь) и даже обменяли у них лошадь. Юдин ссаживает их с лошадей и посылает Мешкова на одной из них в то кочевье, куда уехали семеро, -- проверить их слова об обмене лошади. Пока Мешков ездит, те сидят, разговаривают с Юдиным.

В глубокой тьме Мешков вернулся ни с чем, -- те семеро уехали в кочевку семьи Шо-Киргиза и он, естественно, не поехал туда. Мы думали, что делать с этими тремя? Отпустили их, они уехали.

23 июля 1931 года. Встали в шесть. Разделили все. Со мной оба вьюка: палатка, пожитки мои, Юдина, Данилова и других, котел, кувшин и прочее. Юдин со своими берут только минимум: то, что привьючивается к их седлам.

В 7. 20 выезжаем в разные стороны и через несколько минут теряем друг друга из виду. Еще через несколько минут сзади, наверху террасы и я и Мешков замечаем нескольких всадников, едущих за нами поверху, где нет никакой тропы. Это подозрительно, а потому в дальнейшем пути я несколько раз выезжаю на террасу, но уже больше никого не вижу.

Едем поймой реки Памир, под ее высокими, осыпными берегами -- это прорезанные водой морены. Юдин вчера расспрашивал киргизов, и все утверждали, что ниже по реке нет никаких кочевок, ни киргизских, ни таджикских. Река многоводна, местами разделяется на рукава, образуя архипелаги зеленых у берега островков. Чаще, однако, идет сплошным течением, иногда порожистым, смывающим упавшие в русло камни. Морены Афганистана бесконечны...

В 8. 20 проезжаю развалины бывшего Мазар-Кале. Справа, все время выходят к берегу боковые ущельица. Они начинаются в нижнем, высящемся прямо над поймой, ряду морен. За ним, ступенью, -- второй ряд.

По реке плывут утки-нырки, их много, но мы не обращаем на них внимания. Рыбы в реке Памир нет. Часа через два пути, на афганской стороне -- большая киргизская кочевка, юрт тридцать, растянувшихся на несколько километров и кончающихся, группой любопытных конусообразных мазаных построек, -- афганский кишлак ли, пост ли, -- не знаю. Народу множество, всадники разъезжают по берегу взад и вперед. Скот пасется на обоих берегах, и на нашей стороне бродят несколько пастухов. На нас смотрят, собираются

группами. Все эти киргизы -- баи, те, что, ненавидя советскую власть, бегут от нее.

За афганским поселением -- излучина реки. На левом берегу -- высокие нагромождения морен, на правом -- морены так же высоки. Река сужается, входит в ущелье. Справа берег перед ущельем загроможден валунами и гранитными глыбам". В ущелье стены над берегом скалисты и прикрыты обвалившимися породами. Река в нескольких местах подмывает стену ущелья, едем по воде. Тут две, сложенные из камней искусственные стенки -- подобие хибарок. Чуть дальше, на зеленом берегу --лунки воды, одна из них черная. Подъезжаю, -- нефть? Едем быстрым шагом. Мамат-Ахун со своими легкими вьюками не отстает.

Выбравшись из ущелья, встречаем двух таджиков верхом на ослах. Гонят корову. Говорят, что до развалин рабата Харгуш (то-есть до Мазар-Тепе) километра полтора. Тогда берем наискосок, сокращая путь: от берега забираем вправо вверх по тропинке. Внизу, чуть дальше, в устье Харгуша вижу рабат -- целенький, не разрушенный. Уже 10 часов 20 минут; мы ехали четыре часа, сделали километров тридцать пять. Таджики сказали, что следующий рабат -- Мац, а там еще один переход -- Лянгар, то-есть место слияния реки Памир с ВаханДарьей, -- начало Пянджа.

Едем к руслу Харгуша, все поднимаясь. На афганской стороне морены кончились, перед нами открытая долина, широкая, покатая, постепенно и очень далеко от берега переходящая в склон Ваханского хребта. А немного выше устья Харгуша, с афганской стороны, -- большой приток; наискось, с востока, он режет морены, уходит в их глубь, и морены

с ним похожи на отдельную, врезанную в эти безмерные пространства страну.

Устье Харгуша. Громадные осыпи. Узко. Тропа хороша и наезжена. Глыбы гранитов. Поднимаемся. Высоко над нами -- два дыма, стада. Здесь, в каменной лачуге без крыши -- семья киргиза. Киргизка доит овец. Задерживаемся. Киргиз беден, у него нет юрты, он пытается накрыть лачугу чием. Говорит, что вчера перекочевал сюда из Лянгара. Выпиваем по кружке молока, угощаю детей конфетами и сахаром.

Выше в километре -- еще стада. Спрашиваю киргиза (Мешков хорошо говорит по-киргизски): кто там? Говорит, что не был там, не знает, но как будто таджики. Едем дальше. Налево, высоко на склоне -- аул, сложенный из камней. Перед аулом -- две юрты. А в русле реки -- двух- и трехметровые растрескавшиеся пласты твердого, как лед, снега. Тропа заворачивает вправо, а впереди, в расступившихся горах, -- опять нагроможденья морен и маленькое озерко. Мы уже очень высоко, долина расширяется, выравнивается, и вот озеро, большое озеро Харгуш, километра три в длину и с полкилометра в ширину. Медленно огибаем его. Местность чудесна, потому что над озером гигантские обрывистые склоны и южный хребет исполосован снегами. Справа -- граниты измяты, черны, странны, словно вар, смятый сильной рукою, выпятившийся между пальцами и искромсанный, застывший в падении на лету.

Оглядывая скалы, собирая образцы, замечаю спускающихся со склона по лощине трех всадников, там, где нет никакой тропы. Поворачиваю коня, скачу им навстречу галопом. Мешков скачет за мной. Машет им, чтоб ехали к нам. Подъезжают киргизы. Узнаю: один из них тот, -- борода, точно подбритая, -- тот, с бегающими глазами, который был в юрте, в кочевке, где мы пили айран. Он узнает нас, расплывается в медовой улыбке, выражает удивление, что видит нас здесь и спрашивает, где остальные трое. Конечно, вместо ответов я сам, через Мешкова, выспрашиваю его, куда едет.

В Тагаркакты.

Зачем?

К знакомому, в сельсовет.

В этих местах я не встречал ни одного киргиза, который при опросе не упомянул бы сельсовет.

Как называется тот перевал, которым вы ехали?

Кок-Белес.

Но Кок-Белес, судя по карте, дальше. Я высказываю сомнение, и он отвечает мне:

-- Можно проехать и тут, и там, и еще там, -- все это "гамузом" -- Кок-Белес. То же о "гамузе" он говорит по поводу пути к Тагаркакты, указывая на щели в громадах, высящихся

над озером и на морены, что мы проехали полчаса назад. Ладно! Отпускаю его и едем рысью, догоняя вьюки. Киргизы, отъехав от нас, почему-то спустились к озеру, не туда, куда указывали свой путь, и скрылись в буграх.

Перевал почти незаметен, но уже спуск и из-за поворота тропы выезжают один за другим всадники с винтовками: пять, шесть, семь... Переглянувшись с Мешковым, останавливаемся; снимаем с плеча винтовки. Кто это? Всадников все больше, и передние тоже снимают винтовки с плеча. Кто бы они ни были -- едем навстречу, беря в галоп. И вдруг узнаю: пограничники. Приятное разочарование! Это идет отряд, -- впервые по этому пути идет отряд пограничников, ставить заставы, закрывать границу. Мы расстались с этим отрядом в пути на Памир, у озера Каракуль, он задерживался в Мургабе, делился на части... Мы за это время объездили половину Восточного Памира, делая геологическую съемку...

2 часа 30 минут дня. Здороваюсь с дозором. Дальше -- головное охранение, основная колонна, ее ведет мой хороший знакомый -- помощник начальника отряда.

Он со всей колонною останавливается, спрашивает меня о дороге, скоро ли перевал (мы на перевале как раз), скоро ли и где озеро? Говорит, колонна делала дневку у озера СасыкКуль и что сегодня станут лагерем у Мазар-Тепе. Объясняю ему все о дороге, о рабате Харгуш. Он говорит, что красноармейцы, оставшиеся в основном лагере нашей экспедиции в Аличурской долине, просили его сбросить для экспедиции продовольствие, но он не мог выделить его из запасов тех застав, что движутся с ним. Чтоб получить продовольствие, нужно или съездить на Пост Памирский, где пока осталась продбаза, или дождаться второй колонны, которую ведет начальник отряда, -- эта колонна пойдет на Хорог и может скинуть нам продовольствие из своих вьюков. Сказал, что вторая колонна выйдет из Мургаба 26 июля, рассказал, где будут ставить лагери в своем пути к Пянджу...

Колонна трогается с места. Разговариваю со встречными знакомыми -- командирами и бойцами. Удивляются, что я всего лишь с одним красноармейцем и что мы так много уже успели объездить; спрашивают: долог ли еще им путь сегодня?

За колонной идут верблюды -- громадный караван, шестьсот верблюдов! Везут кровати, продовольствие, керосин, боеприпасы -- ящики, мешки, тюки, связки... Караван бесконечен, занял узкую тропу, и нам приходится карабкаться по камням. В колонне многие в цветных очках, на лицах -- защитные повязки от жгучей солнечной радиации, от холода, от ветра. Даже караванщики все пообмотали себе головы всяким тряпьем.

А мы не знаем этого, -- от солнца, от ветра, от холода не прячемся, мы -- старые памирцы, привычные!..

Спуск с перевала. Верблюды, верблюды... Отдельные красноармейцы с ними. Дорога -- в узком ущелье. Начинаются морены, озерки среди них, и все верблюды, верблюды...

Мне понятно теперь, почему вчера и сегодня в обычно безлюдных местах у

границы такое движение киргизов. Эти дни -- последние, когда происходит своеобразное размежевание: баи, родня басмачей, сами тайные басмачи бегут за границу, беднота -- та, что не боится своих родовых старейшин, -- остается. Граница закрывается! Басмаческому своеволью -- конец!

Мы с Мешковым едем весело, переговариваясь со встречными, но злимся на загроможденный верблюдами путь. У озер верблюжий караван кончился. На спуске из-за морены показывается красноармеец. Увидел нас, снял винтовку с плеча, и -- опрометью, галопом назад. Кричим ему, скачем карьером за ним, -- он от нас, не распознав в нас своих. Вылетаем за морену. Красноармеец этот -- дозор тылового охранения -- докладывает начальству, и в охранении -- возбуждение. А когда мы приблизились -- недоумение, затем улыбки и приветствия. Спрашивают: далеко ли ушли верблюды, колонна, насколько растянулись, когда лагерь? Сзади, говорят, никого нет, только два красноармейца остались у ближайшего озерка.

Середина дня. Отряд шел навстречу нам полтора часа. Мы прощаемся и продолжаем путь.

В юрте у озера Сасык-Куль

В 1931 году в моих маршрутах по Восточному Памиру мне постоянно приходилось заезжать в юрты одиноких киргизов. Многие из них -- родственники крупных памирских баев -- были тесно связаны с басмачами и, ставя свои юрты под перевалами, возле скрещения горных тропинок, на берегах мелких озер, несли у басмачей службу разведки и наблюдения. Такой наблюдатель по приказу главаря своей банды должен был маскироваться, изображая собой мирного пастуха, бедняка, которому и жить-то больше негде, кроме как на этом вот неудобном для выпаса скота месте.

Мы, участники экспедиции, частенько вынуждены бывали кочевать именно в таких юртах, и это было все же безопасней, чем устраивать ночлег, жечь костры в стороне от них, -- безопасней потому, что мы, ложась, например, спать у дверей, создавали такую обстановку, при которой хозяин юрты, даже

при всем желании, не мог бы до утра навлечь на нас басмачей, а днем, в седлах и при оружии, врасплох мы не могли быть застигнуты.

Мне кажется не лишним рассказать об одной из таких ночевок, приведя запись из моего дневника, сделанную в июле 1931 года. В тот раз я заехал в такую юрту вместе с Мешковым и караванщиком Мамат-Ахуном. Маленький кашгарец Мамат-Ахун обладал длинными черными усиками, устремленными, как стрелки, в обе стороны от его узкого, туго обтянутого коричневой кожей лица. Он был человеком азартным, легко возбудимым, фанатичным в своей религиозной приверженности к реакционным муллам и ишанам, человеком, который всегда мог нас предать басмачам и которого нам приходилось остерегаться" Обычно он был самым шумным из всех караванщиков, и эмоциональность его до такой степени не имела предела, что однажды, например, разозлившись на свою лошадь, он откусил у нее кончик уха; другой раз, играя в "бараньи позвонки" -- азартную игру, подобную нашим "костяшкам", он в споре откусил фалангу пальца у другого, игравшего с ним караванщика. Надо сказать, что при этом дело обошлось без особой обиды пострадавшего на Мамат-Ахуна, и через несколько минут после сделанной мною перевязки они продолжали игру как ни в чем не бывало, а я опять слышал из своей палатки гортанные, азартные возгласы...

Но перехожу к записи из моего дневника:

... Чукур-Куль. Тихое озеро. Чуть заболоченные берега, окаймленные зеленой травой. В воде у берега -- миллионы красных палочек -- представителей местной, высокогорной фауны.

Развьючиваемся у развалин сложенной из камней лачуги, на самом берегу. Собираем кизяк. Мешков и Мамат-Ахун быстро раскладывают костер. Лошади пасутся, я делаю заметки в полевой книжке -- перечисляю граниты, образцы которых взял на перевале Харгуш: обильный слюдою двуслюдяной гранит, розовый гранит с биотитом, мусковитовый гранит и тонкозернистый мусковитовый гранит

с гранатом; заканчиваю записью о пегматитах, кварцевых жилах... Над озером -- гряда гор, за нею, выше, вторая, снежная...

Полтора часа отдыхаем таким образом у озера после многочасового маршрута, но сегодня надо ехать до темноты.

В 5 часов 30 минут мы выезжаем дальше.

Морены. Синие цветики. У озера -- лунки с жидкостью, похожей на нефть, очевидно продукт разложения водорослей. Морены кончаются, и путь продолжается по совершенно гладкой, похожей на большое корыто долине, без валунов, без камней, только песок да кустики терескена. Справа и слева --

две моренные гряды, как обрушенные крепостные стены, что легли по длине долины, за ними склоны "бортовых" гор. Заболоченное, высохшее озерцо, по которому бродит кулик, еще один тоненький "нефтяной источник"...

Часа через два пути долина кончилась, мы снова в моренах, а затем в нагромождении крупных скал. Видно озеро Газ-Куль (Гусиное озеро) и гору, ту, что над Сасык-Кулем, и большую дорогу к перевалу Тагаркакты.

Мамат-Ахун с вьючной лошадью, которую ведет в поводу, отстал в хаосе громадных черных скалистых глыб. Внизу далеко, у Газ-Куля, замечаю восемь всадников и одинокую юрту. Четверо из всадников подъезжают к юрте, остальные исчезли. Спешившись, поджидая Мамат-Ахуна, наблюдаю вдвоем с Мешковым за ними.

Наконец видим рыжее пятно: Мамат-Ахун в своем рыжем, крашенном луком, кашгарском халате, на рыжей лошаденке догоняет нас, за ним тащится вьючная, и мы едем дальше, и дикие скалы кончаются, и мы движемся уже параллельно боковой дороге. Поблескивают озеро Туз-Куль и другие озера. У одного из них -- семь всадников...

Солнце за нами уже почти припало к горам. В его косых лучах хорошо видно озеро Сасык-Куль, к нему именно мы и направляемся. Я привык видеть на нем гусей, но на этот раз (гляжу в бинокль) их почему-то нет, они, вероятно, кем-нибудь вспугнуты.

Мамат-Ахун сегодня веселый, и мы тоже веселы, всю дорогу в пути перешучивались. Другой караванщик ругался бы, делая такой многочасовой переход, а этот -- ничего, едет, болтая ногами. А ведь три из четырех лошадей принадлежат ему. Он не горюет, что они устали.

Галопом подъезжаем к рабату, высящемуся у озера СасыкКуль. Рабат совершенно разрушен. А рядом с его руинами и со второй, разрушенной каменной постройкой стоит одинокая юрта. Вокруг -- неимоверная грязь после проходившего здесь скота.

В юрте -- два молодых киргиза и одна столь же молодая киргизка. Встречают нас неприветливо, но на вопрос, есть ли у них молоко, отвечают: "бар" (есть). Киргизы -- два брата, одного из них зовут Турсун, женщина -- его жена, ее зовут Угульча.

Приехали мы в 9 часов 10 минут вечера, солнце уже скрылось за горами, было холодно. После тринадцатичасового перехода мы устали -- и люди и лошади; мы сделали больше восьмидесяти километров, а теперь еще немало возни: ставим палатку, вносим в нее вещи, батуем лошадей. В юрте кипятится молоко.

Сегодня мне и Мешкову дежурить вдвоем, значит спать каждому по четыре часа.

Подъезжает верблюд с тереskеном, -- это брат Турсуна привез нам топливо. Вместе с Турсуном он загоняет овец в разрушенную хибару, закладывает на метр в высоту вход большими камнями.

Я гляжу на семерку яков, пасущихся на болотных кочках, возле участка воды, оставшегося от высохшего ручья. Огромные, лохматые, тяжелые, они пощипывают чахлую травку. Турсун говорит, что один из кутасов принадлежит

ему, а другие, мол, "сельсоветские", приведены сюда, чтобы Угульча доила их.

К подобным объяснениям, к ссылкам на сельсовет я уже привык, и в конце концов не все ли равно, кому принадлежат яки?

Идем втроем в юрту пить молоко. Прежде чем войти в юрту, окидываю взглядом окрестности. Впереди -- моренные бугры, сзади -- пустыня, мелкие камни, слева -- озеро, справа -- морены. Уныло, но очень спокойно. Рассчитываю: если кто подойдет или подъедет, залает собака Турсуна. А людей, кроме нас и Турсуна с женой и братом (все в юрте), кругом нет.

Разговоры с Турсуном -- по-русски, он вполне прилично знает русский язык. Я с Мешковым варим шурпу (суп), коротая время, чтобы меньше дежурить. И сидим мы в юрте до полуночи.

Лает собака. Выходим. Луна, и из, лунного света -- человек, пешеход, с длинной палкой, бородат, оборван. Вводим его в юрту, он -- таджик, он прошел сегодня шестьдесят километров, никто, кроме таджиков, здесь так ходить не может. Он идет с Хох-Дары (Шах-Дары) в Мургаб, с собой у него, кроме запасной пары джурапов (шерстяных чулок), нет ничего -- ни еды, ни теплой одежды. Он как дервиш. Объясняюсь с ним по-шугнански, разговариваю об общих знакомых -- шахдаринцах Карашире, Зикраке, Хувак-беке и других, с которыми встречался в прошлом году.

Поим его чаем и вместе едим шурпу.

Киргизы обращаются с таджиком свысока. Ведь он безропотен, беззащитен и нищ! Ведь, зайдя сюда для ночевки, он рассчитывал только на их гостеприимство, на их подачки!

Турсун рассказывает о себе. Объясняет, что он "караульщик" рабата (превращенного в груду камней!), что считает своей обязанностью давать приют проходящим, кипятить чай и что за это ему платят "кто сколько даст". Желающим он доставляет за плату и топливо. Раньше здесь жил старик Суфи, он умер в прошлом году. Турсун здесь несколько месяцев, родом он из Аличурской долины, нигде за всю свою жизнь,

кроме окрестных гор и Поста Памирского, не бывал. А разговор у нас идет "светский". Но как объяснить Турсуну самые простые вещи: что такое автомобиль, электрическая лампочка, море, пароход, семиэтажный дом -- дом с двумя тысячами жителей? И отец Турсуна, по его словам, нигде дальше Поста Памирского не бывал, и никто из аличурских киргизов не бывал... Спрашиваю:

Неужели никто не бывал, ну, в Ташкенте или в Оше?

Не знаю... Может быть, Шо-Киргиз был (и после паузы)... может быть, Камчибек...

Сколько скрытого яда! Шо-Киргиз -- главарь басмаческой банды, недавно пойманный. А после этой порции яда, надо поправиться, нейтрализовать действие его, а потому -- "Камчибек"; это председатель местного волостного Совета, участвовавший в поимке Шо-Киргиза...

И тогда в тон Турсуну я отвечаю:

-- А Ишан-Кул не был?

Ишан-Кул -- старейшина киргизского рода хадырша, кочующего в Аличурской долине, крупный бай, поддерживающий прямые связи с британской разведкой: в прошлом году, например, к нему "в гости" приезжал из Кашгарии английский офицер, переодетый муллой и... с трубкой в зубах. С этим "муллой" в прошлом году мы, работая в Аличуре, в одном из ущелий едва не встретились.

Турсун отвечает мне:

-- Пока, кажется, не был!

Заходит речь о колхозах. Турсун проявляет своеобразный живой интерес: правда ли, что здесь будут колхозы? Правда ли, что все жены будут общие? Правда ли, что можно будет есть только то, что разрешено "на бумажке", а всего остального нельзя будет есть? Правда ли, что сошьют одно очень большое одеяло и в него всех вместе станут укладывать спать? Правда ли, что у кого

больше скота, чем у других, у того будут отбирать скот?

Словом, те самые вопросы, какие я слышал, когда в прошлом году сидел в плену, в басмаческой банде Закирбая под Алайским хребтом.

И все это тоном безразличным, с примечаниями: "так говорят", с выражением лица, долженствующим мне показать, что, мол, сам-то он этому не верит, и самооправданием: мы, мол, дикие, ничего не знаем, и с лицемерными выражениями восхищения всем, что под видом вопросов им высказано.

Кто передо мной? Хитрый враг или простак, обманутый врагами? Простак столь "дипломатически" не мог бы высказываться. Передо мною враг. Но я все-таки отвечаю ему объяснениями, которые давать считаю своим долгом всюду, чтоб

опровергать ту гнусную ложь, какую распространяют враги по Памиру. Может быть, что-либо из моих слов и будет передано другим Угульчею, женой Турсуна, или Мамат-Ахуном?.. Слушают меня внимательно, поддакивают, соглашаются...

Однако уже 12 часов ночи. Дежурить будем по три часа -- до шести утра. Предоставляю Мешкову выбор часов его дежурства. Он хочет утром, потому что сейчас валится с ног от усталости. Оно и лучше, я спать не хочу. Мамат-Ахун просится ночевать в юрту. Ладно!

Мешков спит в палатке. Я с винтовкой брожу вокруг. Луна л отчаянный ветер с юга. Рвет и мечет палатку. Слышу: в юрте -- разговоры. Говорят киргизы с Мамат-Ахуном. По обилию русских слов, названий, имен и по многим мне известным киргизским словам я понимаю направление речи, хотя киргизского языка и не знаю. Речь -- о колхозах. Мамат-Ахун ругает колхозы. Рассказывает о них самые невероятные истории, и киргизы сочувственно ахают. Иногда речь затихает, -- собеседники шепчутся. Шопот прерывается громкими восклицаниями, иногда -- вздохами, иногда -- смехом. Потом речь переходит на отряд пограничников, пришедший на Памир, чтобы закрыть границу. Это сейчас основная тема всех разговоров в восточнопамирских горах. Мамат-Ахун услужливо сообщает все, что ему известно. Потом говорит о нашей экспедиции: сколько у нас красноармейцев, на какие группы мы делимся, кто куда пошел, у кого какое оружие, -- ну, решительно все! Меня берет злоба. Надо бы выкинуть Мамат-Ахуна из юрты, но поздно. Да и не навесишь же на его рот замок, не здесь разболтает, так в другом месте, в другое время...

Второй час ночи. Юрта затихает. Луна над горами -- на юге. Глядеть на юг -- в подлунной темени ничего не видно. Очень холодно. Ночь морозна. Я в фуфайке, свитере, полушубке, плаще, шапке-ушанке -- и все же мерзну. Моментами хочется спать. Налево спят, мерно дышат яки. Спит верблюд в "отдельной комнате" -- в разрушенной лачуге. Спит собака у юрты на ветру, сопит и не слышит, когда я к ней подхожу. Завидую всем спящим. Время с двух до трех тянется особенно медленно. У меня полная уверенность в спокойствии ночи, в том, что никто и ничто не потревожит нас. Можно бы спать, не дежуря, но нельзя нарушать порядка, который раз навсегда установлен, поскольку в горах есть басмачи.

Луна ушла за горы, и ветер стих. Теперь он обыкновенный, в нем нет ярости. Курю в ладони. Сижу на седле, перед палаткой. Изредка прокричат и снова молчат гуси на озере. На востоке от горизонта -- острозубчатой линии гребня гор -- поднялось мерцающее созвездие. Оно все правее и выше. Редкие, за горами, вспыхивают зарницы. Стоят, не двигаясь, длинные

темные облака. Из юрты доносятся сопенье и храп. Як просыпается, встает, снова ложится и сопит. Хочется писать стихи, складываются слова, но мозг отказывается работать. Я все же изрядно устал.

Наконец 3 часа ночи. Бужу Мешкова и ложусь спать. Я горд собою: тринадцать часов верхом и полночи дежурства на высоте в четыре тысячи метров

над уровнем моря, на перевалах и много выше, а я бодр и здоров!..

И вот -- утро, встаем все в шесть утра. Мешков долго будил Мамат-Ахуна, тот жестоко ругался и говорил, что встанет не раньше 10 часов. Полчаса надевал сапоги. Однако встал, привел лошадей. Со сборами мы все-таки провозились. Турсуну я хорошо заплатил за дрова и услуги. Он сказал, что палатки основного лагеря нашей экспедиции переставлены с одной стороны Аличурской долины на другую. Откуда он получил эти сведения, я не знаю.

В 8 часов 20 минут утра мы выехали от Сасык-Куля к основному лагерю, покинутому мною несколько дней назад. Ехали по моренам, и перед тем как спуститься с морен, видели множество грифов, терзавших какую-то падаль...

... В тот день мы вернулись в основной лагерь, покинутый нами несколько дней назад, но в нем обнаружили только две палатки да двух охранявших их бойцов-пограничников из выделенных нам для охраны. Все сотрудники экспедиции группами разъехались по разным маршрутам. Один из бойцов, Таран, сказался больным, и я занялся его леченьем.

Поликарп Мешков выступает в роли судьи

В урочище Бузула, на краю Аличурской долины, в лагере жили: в отдельной палатке -- я, в другой палатке -- три бойцапограничника: Таран, Пастухов и Мешков, в третьей -- караванщики Мамат-Ахун и Али. Вдали виднелись юрты киргизского становища, дальше -- пустынные, голые горы.

Мы несколько дней дожидались возвращения остальных сотрудников экспедиции, ушедших на перевал Марджанай.

К нам заезжали киргизы. Мешков, мой веселый приятель Поликарп Мешков, отлично говорил по-киргизски, а я и два Других бойца непрестанно завидовали ему в этом умении.

Для того чтобы дальнейшее было понятно, поясню, что в начале тридцатых годов на Восточном Памире киргизы не только были кочевниками, но и жили еще родами и общинами. Страшно отсталые формы хозяйства в ту пору не давали возможности разбить эту вредную для развития области родовую основу. А вредна она, кроме всяких других причин, была

еще и потому, что киргизские роды враждовали между собой. Родовая вражда задерживала классовое расслоение, и потому была выгодна баям (кулакам), биям (родовой знати) и муллам (реакционному духовенству). Вражда эта существовала очень давно и усиленно разжигалась политикою царизма. Сильные родовые объединения подчиняли себе мелкие роды, эксплуатировали их, занимали лучшие выпасы, собирали в руках своего байства огромные стада мелкого и крупного скота.

Самыми крупными родами на Памире были роды теитов и хадырша. Самыми малочисленными -- роды кипчаков и оттузогулов. Род хадырша, делившийся на двенадцать общин и насчитывавший до четырехсот хозяйств, считал своим владением Аличурскую долину, район Мургаба и озера Каракуль. Теиты, которых было примерно столько же, группировались главным образом в районе Кизыл-Рабата и озера Ранг-Куль. Девяносто хозяйств найманов и шестьдесят восемь хозяйств кипчаков были раскиданы по всему Восточному Памиру, а род оттуз-огулов состоял всего из восьми хозяйств, -- половина их жила в Мургабе, половина на Каракуле. Из всех этих хозяйств в 1930 году байских было сто четыре, а бедняцких -- шестьсот сорок семь. Но больше половины всего скота на Памире в 1930 году было еще в руках баев...

Я болел и потому не выходил из палатки. В 3 часа дня, не вылезая из спального мешка, я взялся писать дневник. Я записал:

"Утром -- дождь со снегом, неприятный холод, все кругом в облаках, с запада -- ледяной ветер. Речка -- приток Аличура -- замерзла, и воды в ней нет. Трава покрыта ледяной коркой. Мрачный день. Сегодня и нельзя было б никуда ехать. Жар, ломота во всем теле, трудно пошевельнуть рукой. Мешков принес мне чай, пью его, засыпаю и сплю, многократно просыпаясь. Сейчас я опять проснулся -- три часа дня, -- принял аспирин. Мешков приносит суп, он

приготовлен отвратно, есть не хочу. Голова мутна. Сейчас дождя нет, но ветер все так же свиреп... "

Тут я оборвал мое занятие, услышав за палаткой многолошадный топот. Всегда был подозрителен на Памире многолошадный топот, но болезнь сделала меня ленивым и безразличным, а в бдительности красноармейцев я нимало не сомневался.

Всхлипывания, плач и взволнованные киргизские голоса... За палаткой... Что за чорт? Кто в нашем лагере может плакать? Вместе со спальным мешком подползаю к выходу из палатки, приподнимаю полог: я вижу весь лагерь.

Перед палаткою красноармейцев -- сборище всадников. Пастухов и Таран стоят в полушубках, с винтовками наперевес у входа в палатку. Мешкова мне не видно, он замешался в гуще всадников, и оттуда слышится плач. И вот, раздвигая крупы теснящихся лошадей, Мешков проталкивается из толпы и бежит ко мне.

В чем дело, Мешков? Что это за люди?

Я вот вам доложить бегу... -- запыхавшись, говорит мне Мешков. -- Киргизы из окрестных мест. Какой-то скандал у них получился, драка, что ли, какая... Приехали разбираться...

Ну вот что, Мешков. Я, сам видишь, не могу разговаривать с ними, займись-ка ты этим делом, по своему усмотрению и решай. Если что очень важное, ну, тогда уж и я как-нибудь выберусь... А так -- тебе поручаю. Только смотри, прими меры предосторожности, чорт их знает, что за люди: нас четверо, а их вон сколько.

Я и то думаю... -- скороговоркой произносит Мешков и, озабоченно добавив: -- Будет сделано! -- бежит обратно.

Дальнейшее я наблюдаю из своей палатки. Мешков распоряжается. Велит киргизам спешиться и отойти от палатки. Не переставая шуметь, они толпою отходят к вьючным седлам, составленным в ряд и обычно заменяющим в лагере скамейки и стулья. Мешков садится на одно из седел и собирает ораву в кружок. Кружок этот горланит во все двадцать глоток, размахивая камчами и отчаянно жестикулируя. Перед Мешковым сидит на земле киргиз. Сняв шапку, тычет рукою в свою голову и, ревя благим матом, что-то возбужденно рассказывает. Мешков встает во весь рост на седле и, напористо взмахивая рукою, как митинговый оратор, кричит по-киргизски:

-- Довольно шуметь! Вот тамашу устроили!.. Не буду разговаривать, пока тишины не будет. Давай молчать, и потом по порядку!..

Но молчать приехавшим не просто. Шум продолжается. Мешков выжидает и молчит сам. Шум постепенно затихает. Мешков садится бочком на седло и спокойно говорит:

-- Правильно. Давно бы так. Вот теперь будем разговаривать. Ну, по порядку, кто тебя побил?

Всхлипывая, покачиваясь и хватаясь за голову, сидящий торопится рассказать все как было. Первое, что можно понять: плачущий киргиз -- зовут его Кашон -- избит баями, обвинившими его в уводе их лошадей. Избит камчами. Били семь человек. У него на голове красные шрамы и кровоподтеки. Сам он не видит их, но каждый может на них посмотреть и удостовериться.

-- Из баев здесь есть кто-нибудь? -- перебивает его Мешков.

Отвечают:

Нет. Здесь только одна сторона. Все свидетели.

Из какой кочевки избитый?

Из той, налево.

А баи из какой кочевки?

Из той, что направо.
Как зовут баев?
Кашон перечислил все имена, я расслышал два: Олджачибай и Джутанга-бай.

Где били?
В ущелье Чулак-Теке.
Я знаю это ущелье. Оно километрах в семи отсюда.
-- За что?
Но тут кочевники гомонят все разом, и Мешков, а тем более я в шумней неразберихе ничего не можем понять. В глубине долины я замечаю новую группу всадников, карьером приближающихся к нашему лагерю. Увидев их, приехавшие почему-то смолкают и шарахаются к лошадям.
-- Куда вы? -- вопит Мешков. -- Вы же свидетели? Чего вы сорвались? Оставайтесь, раз вы свидетели!..
Но киргизы один за другим отказываются: я, мол, сам не видал, я уеду. Вскакивают на лошадей и, не слушая Мешкова, юргой отъезжают в сторону. В лагере остаются Кашон и два свидетеля. Мешков озадаченно следит за быстро приближающейся к нам группой. Когда передовые всадники у палаток осаживают коней, Мешков направляется к ним:

Эй!.. Кто едет? Баи?
Нет, зачем баи? Мы совсем бедняки.
История повторяется заново. Мешков ссаживает их с коней, утихомиривает и начинает опрос. Показания приблизительно сходятся.
-- Кто бил?
-- Джутанга, Олджачи...
-- А кто избитый? Бедняк?

Нет. Какой бедняк? Зачем бедняк? Бай. Мешков усмехается. Медлит, думает.
Что вы хотите, чтоб мы сделали?
И опять шум. И в шуме можно понять: киргизы хотят, чтоб Мешков написал "бумажку", и избитый поедет на Пост Памирский. Он поедет, чтоб показать бумажку доктору. Отсюда до Поста Памирского считается три дня пути верхом.

Сельсовет у вас есть? -- сквозь шум доносится голос Мешкова.
Конечно, есть.
Хорошо. -- говорит Мешков, -- тогда ты (он указывает на киргиза, стоящего ближе к нему) поезжай в кочевку и

привези сюда Джутанга-бая, Олджачи-бая и председателя сельсовета. Хоп?

Хо-оп... -- медленно отвечает киргиз. -- Только ты, уртак, пиши баям бумажку, говори в бумажке, пускай приедут сюда. Бумажку не будешь писать, не приедут баи.
Ладно, -- решает Мешков, встает с вьючного седла, направляется ко мне. Киргизы толпой, таща в поводу своих лошадей, тянутся за ним. Он велит им остаться и ждать его. Я встречаю Мешкова улыбкой:
Что, брат, устал?
Ох, и трудно же разговаривать! Главное, порядка у них никакого нет, первое дело у них всем зараз шуметь. За бумагой я к вам.
На клочке бумаги, присев на корточки, Мешков написал по-киргизски: "Олджачи-бай, Джутанга-бай, приезжайте к палаткам аскеров". Я приложил печать, и Мешков вернулся к киргизам. И тут двое из них заявили, что в их кочевке "есть коммунист".

Хорошо, пусть он тоже приедет.

Давай когаз (бумажку).

Тут, однако, Мешков уперся: председельсовета и коммунист приедут и без бумажки. Их прямая обязанность участвовать в разбирательстве.

Посланный уезжает, и я жду с нетерпением, любопытствуя, что это за странное разделение: одно -- это сельсовет, другое -- коммунист. Мешков продолжает расспросы, и здесь выясняется, что все киргизы этой группы совсем не из здешних мест. Они попросту едут мимо, едут из ущелья Баш-Гумбез в урочище Тагаркакты.

Что ж вы сюда приехали? -- хмурится Мешков.

Свидетели.

Все?

Конечно, все.

Ты видел? -- спрашивает Мешков ближайшего.

Нет. Зачем видел? Сам не видал.

А ты?

Нет.

Почти все отвечают так же и, видимо недовольные прямым опросом, садятся на коней, уезжают. Мешков не пытается их удерживать. Кашон сидит на земле, тихонько похныкивая. Остается человек десять. Мешков обращается к ним:

Из какого рода баи?

Хадырша.

А Кашон?

Кипчак.

Кашон с баями не ссорился раньше?

Нет, совсем хорошо жили, уважали друг друга, а сегодня просто шайтан сделал ссору.

А хадырша и кипчаки у вас дружно живут?

Быстро оглянувшись на других и, видимо, убедившись, что никто ему перечить не станет, киргиз отвечает:

-- Конечно, совсем хорошо. Говорим -- шайтан! Мешков опять расспрашивает о причинах избиения. Опять

куча неясностей. Приблизительно так: лошадь Кашона с тремя лошадьми Олджачи-бая и Джутанга-бая ушла далеко, за несколько километров. Кашон поехал за ней, чтоб пригнать ее. Пригнал ли он ее одну или всех четырех -- неясно, потому что киргизы противоречат один другому, но когда Кашон появился "в кочевке направо", баи, то ли за то, что он пригнал и их лошадей, то ли, наоборот, за то, что он их не пригнал, принялись его бить. Свидетели считают, "били семь человек. Такой-то -- ударил два раза, такой-то -- пять раз, такой-то -- четыре раза".

А вы что же? Смотрели?

Да, конечно, смотрели...

Едут еще несколько всадников. Кто?

Коммунист, сельсовет...

А баи?

Баи нет. Баи далеко живут.

Как далеко?

Совсем далеко. Очень далеко. Надо завтра ехать... Всадники подъезжают. "Коммунист" важен необычайно. Он

в синих галифе, в афганском военном френче из шугнанского сукна, в киргизской шапке и халате. Он разговаривает с другими, как бог, почти с

презрением. Он, спешившись, засовывает руки в карманы и топырит живот. Он чуть-чуть говорит порусски. Он недоволен, что его потревожили. Он надменен. Другой -- старик, и сразу по одежде, по рваному халату видно -- бедняк. Он член сельсовета (председатель сельсовета, говорят киргизы, уехал вчера в Чатырташ). Этот держится просто и хорошо. Видно, что он подлинный представитель советской власти, и понятно теперь, почему такое разделение на "сельсовет" и на "коммуниста".

Все садятся на вьючные седла. Подбегает мой караванщик Али и гонит "коммуниста" с седла: продавишь, мол! Тот передвигается с грозным взглядом, достоинство его задето. Несчастный Мешков потеет от усилий выловить в этом море крика и шума ясный смысл и суть дела. Избитый Кашон всем тычет свою голову. Избит он, видимо, не очень сильно. Мешков долго разъясняет ему, что такое компресс и как его сделать, на Пост Памирский ему ехать для леченья совсем не нужно.

Пускай вся кочевка в одну кучу деньги складывает, покупает Кашону барана, а зачем бумажку давать? -- медленно и внушительно говорит "коммунист".

Нет, так нехорошо будет, -- спокойно возражает член сельсовета. -- Кочевка не виновата. Кто виноват, тот пускай покупает барана.

Кашон сам виноват, -- сердито обрывает его "коммунист". -- Зачем с лошадью не так делал?

Киргизы ожесточаются в общем споре об определении виновника. Наскакивают один на другого, хватаются за камчи. Мешков спрыгивает с вьючного седла, расталкивает двух вцепившихся друг другу в халаты:

-- Стой, погоди!.. Отойди в разные стороны!.. Опять драку устраивать?

Киргизы неохотно расступаются. Мешкову, видимо, надоели препирательства. Он лезет опять на седло, встает, выпрямляется:

-- Так. Теперь я буду говорить. Дело у вас темное. Тот бай, этот бай, баи, одним словом, между собой не поладили. Не могу я решить, пускай обе стороны соберутся. Понятно? Далеко живут -- ничего, приедут. Пусть завтра приедут, и послезавтра поздно не будет...

-- Конечно. Правильно так, -- поддакивает член сельсовета. "Коммунист", не дожидаясь окончания дела, недовольно

встает, проходит между расступившимися киргизами, садится на лошадь. Два каких-то киргиза подсаживают его. Стегнув камчой лошадь по ушам, "коммунист" уезжает торопливой юргой.

Кто это? -- спрашивает Мешков члена сельсовета. Старик хитро щурит глаз:

Племянник Олджачи-бая.

Киргизы согласны приехать послезавтра. Мешков предупреждает, чтоб приехали не всей оравой, а только близкие делу: Олджачи-бай, Джутанга-бай, член сельсовета, представители обоих родов, сам потерпевший. Киргизы согласны, но опять просят, чтоб Мешков дал бумажку сейчас. Мешков отказывается недоумевая. Тогда какой-то старик в желтой шапке что-то быстро лопочет, показывая на свой глаз. Мешков сразу не может понять.

-- Он говорит: ты своими глазами видел -- этот побит? -- разъясняет член сельсовета.

Мешков заулыбался:

Ага!.. Вот оно что!.. Ну, понятно, своими, чужих-то глаз у меня не припасено! Я буду помнить, надо будет, удостоверю, что избит.

Хоп. Тогда хорошо...

Киргизы удовлетворены. Садятся на лошадей, уезжают. Мешков утирает лоб рукавом полушубка, направляясь ко мне. Пастухов и Таран ставят винтовки и тоже идут ко мне. Садятся перед моей палаткой на корточки. Мешков усмехается:

Видишь ты, какая оказия!.. Хошь и баи, а тоже начинают понимать советскую власть. Знают, к кому ехать... И бумажку к доктору просят... Когда это было?

А ты тоже, -- иронизирует Таран, -- нарсудья с языком большим. Треплешься. Распустил язык на полдня, хлебом тебя не корми, обрадовался. Гнать их надо в три шеи, -- баи сволочи, а ты нянчишься!

Мешков обиженно глядит на Тарана:

Много ты понял!.. Не у себя в колхозе с кулаками разговариваешь. Своих-то кулаков я и гнал в три шеи... А тут нельзя. Во-первых, весь народ у них еще темный, деревня на деревню, как у наших дедов, идет, во-вторых, -- нацменьшинство. Здешнюю политику понимать надо!.. К советской власти доверие -- раз, значит, сюда приехали, а ты -- в шею... В шеюто еще будет им, когда ихние пастухи на них же попрут. А пока от нашей уфимской Памир-то еще поотстал... Сам должен видеть: край света...

Ладно, уж и заворочался, как в шенкелях!.. Да я так просто. Сказал, ну и ладно.

То-то, сказал... Сбрехнул, так неча и нос держать! -- уже миролюбиво заключил Мешков. -- Давай табаку. С ними и покурить времени не сыщешь... Как, Павел Николаевич, правильно я рассудил?

Я не могу сдержать улыбки:

-- Правильно, Мешков. По местным условиям, правильно!.. Мне, однако, плохо. И ветер -- леденящий. Мешков уходит

готовить чай. Я опускаю полог палатки и, тесней завернувшись в мешок, закрываю глаза.

В моем дневнике есть запись, занесенная через два дня после этого случая:

"Киргизы не приезжали. Али ходил в кочевку за молоком и, вернувшись, рассказал, что они помирились. Кочевка хадырша сложилась и подарила Кашону барана с условием, чтобы он больше судиться не ездил".

Палатка в урочище Бузула

... **В** кружке -- чай с клюквенным экстрактом, оставленный на ночь на ягтане в палатке. Утром тянусь выпить глоток -- вместо чая мороженое. Пробую на язык: густое и сладкое. Отлично. Но есть его холодно. Хороший способ делать мороженое.

... Суп (шурпа). Если не шурпа, значит -- плов. Других блюд не придумаешь. Впрочем, была раз рисовая каша. Что на обед сделать сегодня? Долгие обсуждения. Очень долгие. Шурпа или плов? Никакие блюда не подвергались такому детальному обсуждению своих качеств, как эти -- плов и шурпа. Впрочем, мы очень подробно рассуждали, как зажарить уток... если завтра убьем уток. И замечательные подробности в воспоминаниях о том, как на родине жарят уток, яичницу, картошку... От цен на них до источников их появления в быту народов. А ведь было в караване все: и шоколад, и какао, и персики в прекрасных консервных банках, и копченая колбаса, и окорока, и чего только не было! Мы слишком долго шатаемся по Памиру, запасы давно истощились. Что есть у нас в лагере? Муки нет, хлеба нет, картошки нет, овощей и фруктов, ни сухих, ни свежих, нет, крупы нет, масла нет. Есть баранье сало, есть рис, есть соль, сахар, чай и клюквенный экстракт. Есть окаменелые, пробитые плесенью, испеченные еще в Оше и в Гульче лепешки. У нас, может быть, ячье молоко. Что можно сделать с молоком, кроме молока и рисовой каши? Ну, а молока все-таки нет. Все остальное -- шурпа или плов.

Тарану плова нельзя, у него болит живот. Пастухову плов надоел еще в Бордобе... А шурпа? Гм, шурпа. Ее отвратительно варит Али. Она без приправ, кроме соли. Вода и мясо. Впрочем... А ну, давайте варить шурпу, а плов -- завтра.

... Вечером, когда палатку рвет ветер, иной раз вырывая колышки, можно вообразить, что палатка плывет в облаках, даже за ними -- в холодном пространстве. Но воображение вовсе не действует. Просто поглядываю на мятущиеся полотнища -- стенки палатки, слушаю их хлоп и не думаю о нем, ведя дневник при тусклом свете "летучей мыши". Поглядываю только, чтоб рассудить: сорвет или не сорвет? Холодно. Пишу в тулупе, сидя на одеяле, прислонившись к ягтану.

... Сплю обычно одетый -- в фуфайке, в свитере. На голове -- горный альпинистский шлем. Пол палатки -- брезент, на брезенте -- постель: кошма, два одеяла, сложенных конвертом. На одеялах -- тулуп.

Шлем хороший. Против уха можно открыть клапан, чтоб лучше слышать. Так открываешь его на ночь. Справа от постели под рукой сапоги (сейчас -- валенки) и штаны, положенные так, чтоб их можно было сразу натянуть на себя. На ягтане -- карманный электрический фонарик. Справа под одеялом -- заряженная винтовка, рядом с ней патроны. Наган надет на

ремень через плечо. Рядом с патронами полевая сумка с самым необходимым. Спички и папиросы в кармане тулупа. Сколько времени нужно, чтоб быть готовым? Минута? Две?

Иногда нужно рассчитывать на меньший срок. Тогда спишь в штанах, иногда даже в сапогах, иногда патронташ надет через плечо.

Спать тепло. Холодно вставать, и еще холодней, когда вокруг ветер и лед. А ведь есть страны, где в июле бывает тепло!

... Когда едешь ущельем и засвистит сурок, -- приятно. Если свистит сурок, значит там никого, кроме сурка, нет. Иначе он сидел бы в своей норке. Сурок -- вестник благополучия. Поэтому я на Памире никогда не стреляю в сурков.

... Собака Майстра утром бродит по замерзшей речке. Тычет мордою в лед. Разве можно мордой и лапами превратить лед в воду?

... За палаткой ночью шаги. Это бродит дежурный. Иногда лает Майстра. Тогда шаги убыстряются или затихают совсем.

... У караванной лошади гнойные раны. Лошадь сбита. Выжимаю из тюбика длинный червячок вазелина, разогрев тюбик у костра. Мамат-Ахун старательно, всеми пальцами, втирает вазелин в гнойную рану. Начиная готовить обед, он не моет рук, потому что никогда их не моет.

... У Пастухова -- розовые пятна на лице. Это свежая, обожженная солнцем и ветром кожа. Велю ему не мыть лица и на ночь мазать его вазелином. Кожа все-таки лупится и слезает. Лица остальных -- в порядке. Сам я не мою лица уже давно. Лупится нос, сохнут губы. Впрочем, нужно специально вспомнить о дневнике, чтоб обратить на это внимание.

... Иной раз зайдет красноармеец в палатку и сядет на корточки. Словно за делом пришел, а молчит. Понимаю, ему скучно. Угощаю папиросой, завожу разговор. Поговорит, посидит, покурит. Удовлетворенный, уйдет.

Мне не скучно. Иной раз бывает тоскливо, но скуки не бывает никогда.

... Мамат-Ахун. Красноармейцы говорят: "матагон". "Калаи-началнык"... Так зовут меня караванщики, превратив по созвучию мое отчество "Николаевич" в слово, обозначающее в переводе "крепость". У каждого из нас, сотрудников экспедиции, свое прозвище.

Есть "катта-начальник" (большой), есть "кичик-начальник" (маленький начальник), есть "ярым-начальник" (полначальника). Юдина за его массивность зовут "Юдын-бай", Хабакова, который белобрыс и язвителен, в прошлом году

звали "Сарычаян" (желтый скорпион), Дорофеева (топографа) --"Пиланчи" (человек планов, планщик). Профессора Дмитрия Ивановича Щербакова -- по созвучию: "Мир-и-Ванч", что в буквальном переводе значит: военачальник Ванча (географической области). Красноармейцев зовут "фамильярно"--по фамилиям, конечно, коверкая их: "Мешков -- "Мишгоу" (а гоу -- значит корова), Пастухов -- "Пас-об" (нижняя вода), Таран -- Дара (долина).

... А когда (это бывает редко) ветра нет -- тишина. Ночью шаги, и шуршит плащ на дежурном красноармейце. Я из палатки:

Пастухов!.. Луна еще высоко?

Высоко... -- Пауза, и усмехнувшись: -- На долонь от горы...

... Пастухов просит "почитать ему книжку", -- протягивает мне учебник политграмоты. Читаю ему главу о Февральской и Октябрьской революциях. Объясняю все трудные места и привожу примеры. Тарана в палатке нет, и Пастухов, как выражаются наши бойцы, "камчит" его:

-- Всегда, как начнем заниматься делом, он неизвестно где. А что будет знать?

Пастухов живо интересуется политикой. После чтения -- долгий разговор с ним. В палатку входят Мешков и Таран. Беседа становится общей. Я веду беседу, объясняю им политическое положение на Памире, политику Англии. Замечания:

Не зря говорят: догоним и перегоним капиталистические страны. Хотя говорят иные: навязло в зубах, мол, лозунг, а ничего не скажешь, так оно и есть: догоняем и перегоняем.

Вот уже киргизы, отсталые, а и те понимать начинают. Как и у нас в деревне: которые не понимали сначала, а теперь сами в колхозы валят.

Так, в разговорах о колхозах, о пятилетке, о торговой политике, о превращении Бадахшана в образцовую советскую область, о культурных мероприятиях на Памире, о недостатках аппарата, бюрократизме, засиживаемся до 11 часов ночи. Переставляю часы на сорок минут назад, потому что, конечно (такие они у меня), они удрали вперед, и иду в свою палатку.

... Над павшей лошадью, на склоне горы, в полукилометре от лагеря, чревоугодничают беркуты и грачи.

-- Надо стрелить одного, -- соблазняет меня Мешков, и мы выходим с винтовками.

-- Подобраться бы до груды камней... Подпустят? Взлетели, ушли.

Мешков, залегая за камни:

-- Мы -- хитрые, а они. видишь, хитрее нас!..

Лежим за камнями. Прицел на четыре. Ждем. Полчаса, час. Ветер слаб, сегодня тепло. По склону горы к трупу лошади медленно, как шакал, пригибая морду к земле, крадется собака. Чорт бы ее побрал! Собака... У Мешкова стрелковый зуд, но я останавливаю его:

-- Погоди... Нельзя. Это же наша Майстра!

Собака жрет падаль. Яростно. Уцепится зубами и всем телом, упираясь всеми четырьмя лапами, виляя задом от натуги, вырывает кусок и снова накидывается. Жадно, по-волчьи. Беркуты кружатся вдали. Теперь они не придут. Мы должны ждать, пока собака нажрется. Но мы терпеливее беркутов. Те подлетают ближе, выслав сначала разведку. Кружатся, садятся на почтительном расстоянии и мелкими перелетами, перескоками, приближаются к лошади. Собака жрет. Беркуты ждут терпеливо. Мы не можем стрелять, чтоб не убить случайно собаку. Сколько времени нужно собаке, чтоб нажраться доотвала? Час? Полтора? Мешков нервничает: чорт с ней!.. Я остепеняю его: нельзя, собака нужна. Наконец медленно, останавливаясь каждый десяток шагов, чтоб оглянуться на падаль, собака уходит. Идет тяжело, перевалкой, прямо на нас. Нас не видит. А когда увидела, сконфузилась, словно мы были свидетелями ее позора, словно сознает, что падаль есть стыдно, шарахнулась в сторону, побежала.

Мешков и я одновременно нажимаем спусковые крючки...

Перец вечером в лагере три всадника. Подхожу
-- Селям алейкум! Отвечаю:
-- Ну, что хорошего? Киргиз по-русски:
-- Ничего хорошего... В гости приехали.

Один из киргизов -- старик в желтом колпаке. Он приезжал сегодня днем, сообщил, что хочет рассказать мне о чем-то интересном и что приедет вечером с киргизом, говорящим по-русски. Веду гостей к палаткам, велю Али стелить палас, приготовить чай.

Сначала, как полагается, общие разговоры. Об автомобиле, самолетах и прочем. Киргиз, говорящий по-русски, Усумбай Суфиев, интересуется: "почему идет?" Объясняю. Хотел бы я представить себе тот автомобиль, что создается сейчас воображением Усумбая. На что он похож? На дракона? После каждого объяснения удивленное: "ой-ой... "

Усумбай -- сын старика Суфи, жившего в юрте у СасыкКуля. Суфи умер зимой. Почему? "Распухал". Лошади не было, снег по пояс, Усумбай ходил пешком в Мургаб к доктору. Доктор дал лекарство. Усумбай принес его Суфи.

-- Одна баношка... Клал руки, хорошо... Когда ничего не оставалось, снег много, ходить нельзя, отец помирал. Конешно, много баношка -- отец хорошо был (бы).

Чай. После чая:

-- Во-от... Слушай... Теперь я буду говорить... Очень давно время... -- объясняет, что сосед мой, старик киргиз в желтом колпаке, Садык Маматов, видел камень: не знаю -- золото, не знаю -- свинец, -- указывает расстояние, сообщает название местности. Кусок длиною два-три локтя. Спрашиваю о цвете -- показывает на медную проволоку, которой обмотана рукоятка камчи.

Раньше старик скрывал, теперь решил рассказать и согласен поехать, указать место. Твердо он не помнит, но думает, что найдет, поискав, "бэш чакрым" (пять верст) туда, "бэш чакрым" сюда. Если найдет -- "очень хорошо", не найдет -- "тогда ничего".

Долгий разговор. Уезжают.

Дождусь Юдина, отправимся обязательно. Думаю -- медь.

ГЛАВА VII. ПО КРАЯМ ГРАНИТНОЙ ИНТРУЗИИ

Через все преграды

Из стороны в сторону, по непроезжим тропинкам и без тропинок, через высочайшие перевалы и просто через водораздельные гребни хребтов, где на картах не обозначено никаких перевалов; юг, север, восток и запад кружатся каруселью, вместе с картушкой моего компаса... Мы в стороне от обычных путей.

Теперь все считают поведение Юдина нелепым и странным" и с каждым днем все более им возмущаются. Да и нельзя же, в самом деле, летать таким невероятным аллюром две недели без передышки. Если за день сделано хоть на вершок меньше восьмидесяти километров, Юдин мрачнеет и злится. У лошадей сбиты спины, и Юдин, тот самый Юдин, который славится своим уменьем держать лошадей в добром теле, даже не подходит к ним на стоянках, чтоб их осмотреть. Лошади отощали, подо мной лошадь повредила ногу и начинает чуть заметно прихрамывать. Караванщики негодуют. Первый раз за всю их многоопытную жизнь их заставляют заниматься такой оголтелой гонкой. И потом, что это за езда без каравана? Нет котла, чтоб сварить суп или плов на ночной стоянке; нет риса, нет фонаря, чтобы ночью подойти к лошадям; нет даже палатки, и приходится ночевать на голой земле, на камнях, на ледяном ветру, на морозе, хотя бы по горам кружился буран и снег тяжелыми хлопьями заваливал спящий лагерь.

Спина, ноги, плечи -- все это не беда, они уже так окрепли за путешествие, что утомленье не может обратить на себя никакого внимания: ну, устал, как бы ни устал, все равно раньше ночи отдохнуть не придется. Уже давно я отношусь к своему организму, как к надежной, нетребовательной машине. Этой машине нужно, оказывается, очень немного, чтоб регулярно и безотказно работать. Утром, как в топку топлива, нужно подкинуть толику неприхотливой и скудной пищи: пару галет, две кружки горячего чая, несколько кусков сахару, полбанки мясных консервов. Машина заряжена на весь день. Вечером, перед сном, те же галеты, сахар и чай, иногда вместо мясных консервов кусок свежего вареного мяса, присыпанный крупной красной бадахшанской солью. Ночью -- сон. Самое главное этой машине -- сон. Он заменяет смазку, и чистку, и текущий ремонт, и подбивку сальников, и подтягивание распустившихся за день работы гаек. Пусть этот сон короток и прерывист: среди ночи нужно встать на свою двухчасовую смену дежурства, нужно проверить и напоить подолгу отстаивающихся лошадей, нужно иной раз проснуться, вскочить оттого, что подтаявший снег, пробравшись за воротник полушубка, холодной струйкой побежал по спине; это значит, сосед, неуклюже повернувшись, стянул с тебя край брезента, исполняющего обязанности постели, крыши дома, палатки. Десятки причин перебивают лагерный сон. Но каков бы сон ни был, -- на рассвете нужно встать, не потягиваясь, не нежась, встать стремительно, потому что, кажется, иначе от холода, от разбитости, от тяжести в голове вовсе не встанешь!

Стуча зубами, нужно сделать сверток из одеяла, в котором спал, не снимая сапог и полушубка, и отнести этот сверток к седлу, приторочить его сыромятными ремешками к задней луке, поверх переметных сумок. Нужно положить седло крыльями вверх на брезент и проверить его, счистить иней с промерзшего потника и карманным ножом резкими движениями взад и вперед, навалившись на седло грудью, чтоб оно не трепыхалось из стороны в сторону, поскоблить свалявшуюся от трения и конского пота шерсть; разгладить ее, расчесать до потребной мягкости, чтобы позже, за день тяжелого конского хода не сбить холку, не намять нежную конскую спину. Тщательно проверить, нет ли в потнике случайной соринки, камешка хотя бы с булавочную головку, -- даже травинка под седлом обязательно расцарапает лошади кожу.

Проверив седло, нужно (все еще никак не согревшись), записать утренние показания научных приборов, вычистить и смазать оружие; потом, сжав неуклюжими от холода, несгибающимися пальцами карандаш, занести очередные заметки в дневник, ибо записи в путевом дневнике, как и записи в вахтенном журнале на корабле, никогда не должны быть откладываемы на завтрашний день.

Нужно... Ах, нужно выполнить бесчисленное множество мелких обязанностей, не забыть ни одной, и на все вместе -- от момента пробуждения до посадки в седло -- израсходовать никак не более чем один час!

Так изо дня в день, каждое предвосходное утро...

... -- Ну, засадил!.. Теперь, кажется, и податься некуда! -- недовольно пробурчал Юдин, задержав ерзающего коня.

Податься действительно было некуда. Мы попали в неожиданную ловушку. И это после того, как целый день поднимались каменистым ущельем на перевал. Утром в ущелье еще встречался кустарник, еще зеленели мягкие, яркие альпийские луговинки, река рвалась среди них на несколько рукавов, оплетала их, образуя недоступные острова. Но выше река становилась уже, ущелье безжизненнее, -- ни травы, ни кустарника, одни громадные камни, словно после гигантского каменного дождя. Лошади спотыкались и падали, мы спешивались, перетаскивали покорных лошадей с камня на камень, -- это была морена древнего ледника, это были остатки тех окружающих гор, которые были слизаны шершавым языком ледника, которые потонули в его ледяной толще, как в колоссальном, холодном желудке, были искрошены, перемолоты, спущены вниз по прорытой самим ледником долине и которые пережили их поглотивший ледник и остались лежать непомерными грудами там, где застало их превращенье льда в воду и воздух.

Из-под морены текли ручьи. С окружающих снежных, сдвинутых над мореною горных хребтов тоже текли ручьи. Они сливались в один поток.

Так начиналась река.

Всякий акт рождения располагает к задумчивости человека, наблюдающего его. Рождение сил природы -- торжественно и величаво. По морене мы поднимались молча. Особенное чувство первозданности мира всегда пробуждалось в каждом из нас, когда мы приближались к водоразделу. Сегодня он открылся перед нами громадной седловиной, полукруглым вырезом в скалистой стене испещренного вечным снегом хребта.

В особенно разреженном воздухе от каждого усилия болезненно колотилось сердце. Мы беспокойно дышали и останавливались, когда напряженный вздох сам собою затягивался в протяжный, глубокий зевок.

Каменное поле седловины было затянуто взволнованным! жестким снегом. Это был фирн, из которого, как кости из кожи, выпирали острые ребра камней. Здесь мы попробовали снова сесть на коней, но кони проваливались в снегу, это было

опасно, и мы провели их в поводу, и они, умные, ступали еще осторожней людей, и люди не мешали им останавливаться, чтоб, склонив морду к снегу, обнюхать то место, на которое нужно было ступить при следующем шаге.

Провалы, подснежные гроты и невидимые расщелины оказались пройденными благополучно. Черная каменная грядка обозначила перевал. Здесь надо было бы отдохнуть, отдышаться, закусить, вынув галеты из седельных кобур. Но путь был далек, Юдин спешил, как всегда.

За перевалом, впереди, вниз, уходило широкое, гладкое ложе долины, в голове ее сверкало небольшое круглое озеро, синее, чистое, как глаза младенца, ослепительное от снежных гор, отразившихся в нем. Из озера, вниз по долине, струилась тоненькая река. К бортам долины от горных склонов спускались серебристые поля снега. Долина снижалась почти незаметно и простиралась вдаль без конца. Сразу за ней и, вероятно, ниже ее виднелось пустое небо. Весь прочий мир должен был оказаться где-то далеко внизу, под небом, которое ниже этой долины.

Долина простиралась на четырехкилометровой высоте над уровнем моря. Перевал был на полтора километра выше. Мы стояли на перевале, как микроскопические черные букашки в начале громадного деревянного желоба, взнесенного высоко над землей. Кроме внутренних стен желоба и неба над головой, мы не видели ничего. Надо было немедленно двигаться дальше. Спуск показался отлогим и очень ровным. С этой стороны водораздела не было никакого нагроможденья морен, снежинки перемежались с полужелтым пушком мертвой подснежной травы, такой короткой, что даже ловкие лошадиные губы не могли бы ее защипнуть.

Мы двигались на конях, радуясь, что кончилось страшное напряжение подъема, что не надо перекидываться с камня на камень и что сейчас лошади тянут нас, а не мы их. Вторая половина дня обещала быть спокойной и неутомительной, и это было хорошо, потому что запас сил, предназначенных на сегодняшние сутки, казалось, был уже весь израсходован на преодоление подъема. Сидеть спокойно в седле, когда трудится лошадь, а не человек, -- это значило отдыхать, и мы весьма удивились бы, если б кто-нибудь нам сказал, что можно утомиться просто от езды верхом. В седле можно думать, и разговаривать, и даже читать книгу, и даже дремать, -- какое же может быть утомление, если едешь пусть двенадцать, тринадцать, пусть пятнадцать часов подряд? Тело так свыклось с верховою ездой, что не замечает ее, как азартный игрок не замечает течения времени, играя в карты всю ночь напролет. Ведь мы едем верхом уже больше трех месяцев и

за три месяца делали остановки, не продолжавшиеся ни разу более одного дня, делали эти остановки только тогда, когда отдых требовался лошадям.

-- Павел Николаевич!.. Осторожнее, земля качается!

Я ехал впереди, о чем-то задумавшись. Услышав сзади предостережение Юдина, я одновременно увидел, что почва под копытами моей лошади ходит взад и вперед, как желе. Я быстро переложил повод. Лошадь дернулась, рванулась неуклюжим прыжком, и я разом почувствовал, что стою на земле, широко раскорячив ноги, а лошадь подо мной по седло погрузилась в трясину. Корка трясина прорвалась, как пенка в кастрюле какао, и коричневая холодная жижа заплескивала седло.

Не растерявшись, мелко, быстро и осторожно переступая, следя, чтоб ни при одном шаге не завязнуть выше колена, я выскочил вперед на твердое место и, не выпуская из руки повода, остановился. Лошадь, вытягивая голову из ледяной жижи, смертельно испуганными, круглыми и доверчивыми глазами следила за мной. Я подернул повод на себя. Лошадь собралась, разом рванулась, но гуща, как клей, связала ее движения и она судорожно, в паническом страхе забилась, как бьется тяжелая рыбина на крепком крючке. Над поверхностью трясины замелькали, захлопали ее передние ноги. Трясина разболталась на целую сажень вокруг, и хотя лошади удалось выскочить до половины туловища, вдруг обессилев, она замерла без движения, медленно валясь на бок и погружаясь опять.

-- Оэ, кала-и-началнык, тохта, стой, подожди немного!

Оба караванщика, спешившись и оставив поодаль сбатованных лошадей, задрав к поясу полы халатов, осторожно, словно вприпляску, пробирались по качающейся земле ко мне. На ходу оба распутывали узлы снятых со своих привьючек арканов.

Моя лошадь, набравшись сил, забилась опять, приблизилась ко мне и, безнадежно закрыв глаза, замерла, вновь погружаясь. Я заметил дрожание ее больших, вялых губ.

Караванщики приближались как раз во-время, потому что я стоял уже почти по пояс в жиже, не желая отпускать повод. Мне казалось, что если я отпущу повод, то все будет кончено, -- лошадь окончательно уйдет в глубину; казалось, что на поводе висит жизнь моей лошади.

Караванщики, сбросив с себя халаты, разостлали один из них как можно более широко, легли на него, проползли до его края и бросили перед собой второй халат. Это был хороший мост, -- они, быстро перекладывая халаты, подползали к гибнущей лошади. Я вдруг понял, что я тоже тону, и, быстро сбросив с себя полушубок, попытался лечь на него, как на

плот. Левой рукой я сжимал винтовку, она мешала мне, я не хотел ее портить и держал навесу -- ее некуда было деть. Полушубок под тяжестью моей уходил в глубину, как в топленое масло.

Юдин издали наблюдал все это, сидя в седле и предоставив своей лошади пощипывать сухую щетинку травы с большой, похожей на громадную бородавку кочки. Юдин смотрел невозмутимо и молча, видимо не находя нужным никому ничего советовать *и* решив, что все происшествие как началось, так и кончится без него.

Я выбрался, наконец, на свой полушубок и ухватил конец аркана, брошенный мне караванщиками.

А караванщики, лежа на одном, булькающем грязью халате, пристраивали другой к боку полузадохшейся лошади. Выловив из жижи лошадиный хвост, обвязали его арканом, другим арканом искусно окрутили голову лошади и, внезапно защелкав, зацокав, закричав, колотя нагайками, навалились на оба аркана. Лошадь прянула, заболталась в грязи, на мгновенье вздыбилась... Тут караванщики дернули ее в сторону, и она повалилась набок, на подостланный широкий халат.

Не давая ей замереть снова, дикими криками и ударами, караванщики заставили ее мгновенно привскочить на ноги, сами рванулись вперед, прыгая, оставив халаты.

Я подзуживал лошадь с другой стороны, плюхаясь на четвереньках, проваливаясь и снова выпрыгивая, бежал вместе со всеми и, наконец, когда лошадь, со всех четырех ног споткнувшись, упала, обессилев, на твердую землю, повалился с ней рядом, совершенно задохшись и понимая, что я совсем недалек от разрыва сердца. В горле было ощущение жжения, воздуха не хватало, и я закрыл глаза в полном бессилии: дышать, дышать, только дышать -- ничего на свете не нужно больше мне, лошади, караванщикам...

Юдин, продолжая сидеть в седле, беззаботно разглядывал в бинокль профиль правого борта долины, затем, вынув горный компас из полевой сумки, поставил его перед своими глазами, впритык воображаемой линии, продолжавшей линию падения основного хребта. Отсчитав угол наклона и взяв очередной азимут, он записал обе цифры в тонкую записную книжку, аккуратно вложил ее в сумку и, повернувшись в мою сторону, крикнул:

-- Ну что, отдышались?.. Собирайте-ка халаты, привьючки, проверьте, нет ли под седлом грязи, дальше поедем!

Я молча прослушал эти слова и сосчитал свой пульс. Пульс был сто шестьдесят.

-- Эй, ака-ляр (друзья)! -- обратился я к караванщикам. -- Давай дальше поедем, солнце уже вон как низко!

И, собрав халаты, наспех выжав их, счистив грязь с лица, рук и одежды, кое-как счистив грязь, -- все равно промокшие до костей, грязные необычайно, злые и молчаливые, мы двинулись дальше, зорко всматриваясь в землю перед собой, соблюдая великую осторожность.

Осторожность тут была ни при чем, -- через десяток метров под Юдиным провалился конь. Юдин, однако, во-время успел соскочить с него, дернул его с такой силой и так ткнул его в бок кулаком, что конь, словно пружина, отфыркиваясь, вылетел из трясины, не успев провалиться в "ее.

Иного пути дальше не было. Под тонкой наносною почвой долины лежали пласты тяжелого старинного льда. Они таяли неравномерно и не везде. Но там, где таянье совершалось быстрее, вода, которой некуда было уйти, вода, которая могла бы образовать подземные озерки, напитывала землю, лежащую сверху, напитывала так, что земля превращалась в студенистый кисель, в грязную протоплазму, в чорт знает что. Иного пути дальше не было, нужно было пересечь эту полосу ледниковых трясин. Мы спешились и повели лошадей за собой в поводу.

Мы проваливались один за другим, поочередно вытаскивали лошадей и друг друга. Вытаскивали молча и злобно, не- 1 когда и невозможно было тратить слова даже на ругань. Земля ходила взад и вперед, и это трясенье земли выматывало последние силы. Остановиться было нельзя, -- остановившийся начал

бы погружаться в тяжелую грязь. Единственным выходом было непрерывное поступательное движение и легкость каждого шага. И то и другое представлялось нам сейчас самым утомительным в мире. Люди и лошади двигались через силу.

Вторая половина дня оказалась гораздо неприятнее первой. К твердой почве, к неподвижным камням, что пересекали щебневым валом долину, мы выбрались в темноте, и было безразлично, как спать, где спать, хоть на острие бритвы, хоть в ледяной ванне, только бы спать. Ни есть, ни двигаться никто и не мог бы. Лошади стояли пошатываясь. Топлива не имелось, о костре можно было не вспоминать, и единственным утешением на этой безрадостной стоянке была баклажка спирта, из которой каждый отхлебнул по глотку. Грязь на одежде и на теле не то засохла, не то подмерзла.

Прижавшись друг к другу, накрывшись брезентом и мокрыми одеялами, люди спали. Ночью надо было через силу проснуться, встать и на диком морозе кормить лошадей ячменем.

-- Сейчас не будем задерживаться. Все равно костра не разложишь. Спустимся до хорошего пастбища, дневку устроим. Все замотались!

Это оказал Юдин еще до рассвета, когда небо только побледнело, убирая тьму с того места, которое предназначено для зари.

И, дыша на окоченевшие руки, я ответил Юдину:

-- Конечно, не стоит задерживаться. Выбраться отсюда скорей, чай внизу сварим.

Оба мы лежали под брезентом, и оба спать уже не могли.

Без еды и чая, еще затемно, мы двинулись дальше. Полуголодные и усталые лошади шли тяжело и лениво. От страшного вчерашнего утомления у меня ныла спина, болели все мышцы и голова. Юдин чувствовал себя ничуть не лучше, и я это видел отлично. Впрочем, никто о своем самочувствии не вымолвил ни единого слова. К усталости, к недомоганию люди относились, как к чему-то незаконному, недопустимому, в чем признаваться друг другу неловко.

Ехали до полудня. Холода уже не было. Солнце жгло спину сквозь, халаты, сквозь полушубки. Долина снижалась исключительно медленно. Кое-где попадались теперь редкие кустики терескена. Караванщики спешивались, собирали их, и за седлами, на крупах лошадей, у них вырастали рощи терескеновых полушарий.

Навьючившись тереском доотказа, Мамаджан поехал рядом со мной. Он ехал, грузно оседая в седло, молчал, хмурил брови, похожие на большие перевернутые запятые, нарисованные черной китайской тушью. Это значило, -- я очень хорошо знал, -- это значило, что Мамаджан обдумывает какой-то особенно сложный и ответственный вопрос.

Я знал также, что нельзя мешать, надо дать дозреть его мысли, иначе уже никогда не выведаешь, о чем хотел спросить Мамаджан.

Сказай, пожалиста, -- коверкая русский язык, наконец, грудным голосом заговорил он, -- товарыш кала-и-началнык, нимножка знават хочу.

Что хочешь знать, Мамаджан, говори, я слушаю!

Вот так, нимножка, -- Мамаджан мялся, расчесывал на ходу широкими пальцами гриву своей лошади, залепленную вчерашнею грязью. -- Нимножка, нимножка смотрит мая... И скажи, товарыш кала-и-началнык, пачему такой, когда наша караван Аличур оставался, твая, мая, Юдин-бай, Дады вместе пашел? Сегодня тринадцать дней вместе ходим, пачему работа савсим мало, ехал савсим много, разве шайтан сзади побежал, твая-мая хвост кусал? Пачему так скоро ходим, кушай мало, чай пьем мало, работа савсим нет, только ходим, ходим, он, как дурак ходим, э?

Высказав свои сомнения, в которых подразумевалось и невыраженное недовольство обстановкою путешествия, и обида

на Юдина (иначе вопрос был бы задан ему, а не мне), и осуждение (иначе не были бы упомянуты шайтан и слово "дурак"), Мамаджан смиренно сложил свои руки на луке седла и выжидательно опустил голову.

Я долго молчал, обдумывая, как объяснить ему ту геологическую идею, которою одержим Юдин, которая гонит его, как шайтан. Потом, возможно популярнее, я постарался высказать ее Мамаджану, он слушал внимательно, напряженно и... ничего не понял.

А Юдин схитрил: время было уже далеко за полдень, мы сделали уже, в сущности, полный дневной переход -- не позавтракав, не напившись чаю; Юдин ехал теперь далеко впереди, стараясь, чтоб мы его не нагнали: он хотел сделать и сегодня свои восемьдесят километров, и все это понимали.

Перемена маршрута

... И опять мы шли с караваном. Мы сделали большой кольцевой маршрут и пришли с запада к тому месту, от которого ушли на восток. А караван наш вместе с другими сотрудниками экспедиции за это время передвинулся всего на сто километров, и ждал нас там, куда мы пришли.

А теперь мы двигались вместе.

Но так продолжалось недолго. Мы опять, на ходу, изменили маршрут. И вот как это произошло...

Для обдумывания плана дальнейшей работы Юдин, несомненно, выбрал малоподходящий момент. Вдвинув ноги по самые каблуки сапог в стремена, согнувшись в три погибели, привалившись рукою -- от кисти до локтя -- к передней луке седла, Юдин всей своей пятипудовой тяжестью налег на холку вспотевшей лошади. Почти уткнувшись лицом в свалявшуюся мокрую гриву, Юдин дышал паром лошадиного пота и глядел вниз, под ноги лошади. Жесткая, сухая, каменистая почва вставала дыбом. Лошадь тяжело карабкалась на перевал.

Я всегда знал, когда именно Юдин погружен в геологические раздумья: мне достаточно было искоса взглянуть на его лицо. Когда он углублялся в размышления, он упрямо, побычьи наклонял голову, его верхняя губа, прижатая к нижней, чуть-чуть выдвигалась, а тяжелый взгляд его бывал устремлен вниз, будто к центру земного шара.

Не знаю, видел ли сейчас Юдин, как, напряженно сгибая суставы в бабках, лошадь ставила копыта под острым углом, вцепляясь в почву передними шипами подковы, и мелкие камешки, выскальзывая из-под копыта, щелкали, скрипели и подскакивали, ударяясь об его венчик.

В бороздке правого переднего копыта, между ветвями роговой стрелки, застрял маленький камешек. Лошади, вероятно, больно было ступать. Я подумал, что Юдину надо бы спешиться и выбить этот камешек, но ему, очевидно, было лень спешиваться и, может быть, не хотелось отрываться от размышлений. Задние ноги лошади работали энергично, как шатуны, и оттого, что лошадь растопыривала колени, углы скакательных суставов почти задевали отошедшие назад стремена. С каждым шагом лошадь, задыхаясь, поднималась все выше.

Я на своей лошади карабкался к перевалу рядом с Юдиным.

Внезапно мы услышали треск падающих камней. Юдин быстро выпрямился в седле, поднял голову, внимательно оглядел все перегибы горного склона. Треск повторился. На соседних скалах, как зубы из десен, выступавших из вздыбленной плоскости склона, мы успели заметить силуэты опрометью кинувшихся от нас кииков. Они мчались по крутизне, откинув назад тонкие серповидные рога и осыпая под откос камни.

Юдин инстинктивно схватился за кобуру маузера, но тут же сообразил, что пуля уже не дойдет. А я поленился снять винтовку с плеча. Проводив глазами кииков -- их было семь, -- пока они не скрылись за поворотом скалы, Юдин опять пригнулся к шее лошади и продолжал прерванные размышления. Мы ехали первыми, опередив караван почти на четыре километра, и потому весь день

сегодня первыми тревожили покой кииков. Мы давно уже к ним привыкли, и нам были чужды охотничьи инстинкты. Кроме того, Юдин рассуждал так: пусть другие возят винтовки, а себя лишней тяжестью обременять он не станет, и потому еще в самом начале путешествия свою винтовку он передал одному из караванщиков. Он рассчитывал, что в случае надобности всегда успеет взять ее ив рук караванщика.

Лошади дышали часто и тяжело. Однако, запустив руку под шею своего жеребца и прижав ладонь к его потной груди, Юдин решил, что сердце лошади еще не слишком перенапряжено и можно двигаться не останавливаясь.

Дальше своего носа не видят! -- вдруг вслух произнес Юдин.

Кто? -- удивился я.

-- Да, там... Геолкомовцы!.. Но я им все-таки утру нос! Сие излюбленное Юдиным выражение относилось к тем

работникам Геолкома, до которых от нас было больше пяти тысяч километров железнодорожного пути и сверх того полтора месяца пути напрямик верхом.

И мне стало понятно, что, поднимаясь на перевал, Юдин был углублен в те самые свои размышления, какими утром в палатке делился со мною (а это случалось с ним не часто, потому что по природе своей он был человеком скрытным).

Утром он говорил примерно так: конечно, его не погладили бы по головке, если б он вернулся, не выполнив задания! Но... Все же, мол, какие простаки сидят в Геолкоме! Чтоб покрыть геологической съемкой три тысячи шестьсот квадратных километров при таком масштабе ему дали четыре месяца на полевую работу. Считали, что исключительно трудная горная местность, разреженный воздух, огромные переходы, отдаленность от железной дороги... Больше, мол, не сделать за лето!

А он? Еще и двух месяцев не прошло, задание он уже выполнил и теперь выполняет работу сверх задания.

Конечно, кто как работает! Иной и шестьсот квадратных километров за это время не сделал бы, -- ведь сколько времени ушло на "пустые" караванные переходы! А вот он сделал, потому что "надо уметь хорошо работать... ".

Бесспорно, он наперед знал, что так это и будет, но когда в Геолкоме он составлял смету и план, он сам больше всех кричал, что три тысячи шестьсот -- задание огромное, почти невыполнимое. Он убеждал всех, что ведь это же не по ровному полю ехать, какого чорта, это же не равнина где-нибудь в приволжском районе! Памир! Одно название страны чего стоит! Геолкомовские, мол, простофили, -- спроси их в упор, где находится такая страна, -- толком и ответить-то не сумеют! Надо только уметь убеждать!

Задание выполнил, теперь свободен, делай что хочешь, можешь заниматься "самостоятельною научной работой", которую, кроме тебя, "никто не способен сделать", а не этой "общедоступной съемкой, не требующей ни особого ума, ни таланта, а лишь исполнительности да прилежания"!

Под "самостоятельной научной работой" Юдин подразумевал создание своей собственной теории о происхождении •некоторых горных пород Памира -- теории, о которой я окажу позже. По уверениям Юдина, эта теория должна привести к неожиданным для всех изучавших Памир геологов результатам: "если мои предположения подтвердятся дальнейшими исследованиями, моя работа принесет миллионы и вся эта никчемная область окажется нужнейшей для развития горной промышленности!"

Юдин был убежден, что он может сделать то, на что другие геологи не способны, а потому шел напролом. Молодость и скрывающаяся под холодной внешностью некая глубинная, я бы сказал, "вулканическая", горячность играли в этом убеждении не последнюю роль.

Но для осуществления работы нужны были деньги, а деньги давались только на съемку. На все остальное ему обычно отказывали: "Уж вы лучше, товарищ Юдин, как молодой геолог, занимайтесь тем, что вам предписывают. А то, о чем вы говорите, пока ничем не подтверждено и должно считаться относящимся только к области ваших предположений!"

И все-таки Юдин, по его выражению, "выкручивался". В пути на Памир, проезжая через Ташкент, он брал на себя параллельные задания, на которые заинтересованные организации ему охотно давали деньги, тем более, что смету для каждой организации Юдин составлял самую скромную. Впрочем, ведь... количество, например, лошадей, купленных или нанятых Юдиным, ничуть не увеличивалось при умножении взятых на себя заданий. А караванные расходы значились в в каждой омете!..

И это давало справедливый повод к неприятностям этического порядка.

-- Эй, но-о!.. Пошел!.. -- по-извозчичьи, озлившись, вдруг крикнул Юдин на остановившуюся лошадь, она тяжело дышала, ее бока раздувались, как кузнечные мехи. -- Пошел! -- повторил он, хлестко протянув тяжелой камчой по ее крупу и работая шенкелями.

Лошадь замигала мокрыми, обиженными глазами и покорно, напрягая все силы, рывками полезла на кручу. Кряхтя от натуги, последними скачками, наконец, выбралась на перевал и разом остановилась, понурив голову и как-то вся сразу смякнув, словно не сомневалась, что теперь ей дадут отдышаться.

Юдин, оглядев ее сверху, медленно отнес правую ногу назад и, постояв левой в стремени, грузно, как бы нехотя, спрыгнул на землю, отпустил лошади подпруги на одно деление, затем, оставив повод в руке, разлегся тут же на земле, навзничь, лицом к небу, предоставив лошади общипывать вокруг него иссохшую солончаковую травку, редкие пучки которой неведомо как выбивались из серого, каменистого грунта перевала.

Я расположился рядом с Юдиным, предоставив такой же отдых моей лошади.

Следя взором за перистым облачком, Юдин стал продолжать свои мысли вслух:

-- Вот были же здесь и раньше геологи, -- Юдин назвал их, -- а разве кто-нибудь из них замечал эти молодые граниты? Сколько километров мы проехали за последнюю неделю, все едем гранитами, а разве обозначены они хоть на одной геологической карте? На запад -- граниты, на восток -- свиты палеозоя, на которые мне наплевать. Мы едем по их контакту, сам чорт сломал бы ногу, если б сунулся проделывать такие

маршруты, какие за последние две недели пришлось проделать, чтоб не отклониться от причудливой линии этого контакта... А вот здесь линия контакта...

Юдин повернулся на бок, окинув взором ложе ледниковой долины, уходившей в лиловатую дымку далеко от перевала, оглядел оба водораздела, ограничивающие горизонт справа и слева от долины. И вдруг вскочил так, что лошадь шарахнулась, рванув поводом руку Юдина.

Достав из передней седельной кобуры полевой бинокль, Юдин приставил его к глазам и тщательно вгляделся в гребни водораздела. Через минуту я знал: по каким-то ему одному понятным признакам Юдин решил, что эти гребни сложены не молодыми альпийскими гранитами, а другими породами. Может быть, они опять относились к осточертевшему Юдину палеозою? Но не все-ли равно, что это было, раз граниты исчезли!

Юдин скользнул биноклем по левому сектору горизонта -- и тут тоже самое. Тогда Юдин повернулся направо, к западу, туда, где от перевала начиналось узкое ущелье, к бортам которого спускались, как шлейфы, длинные веерообразные осыпи. Здесь склоны гор были круты, а линия реки в галечном ложе удалялась змеиными извивами, подступая то к правому, то к левому борту ледниковых уступов, ограничивающих долину отвесными, двухсотметровыми

стенами.
Сомнений не было: здесь на перевале линия контакта ломалась, и вместо того чтоб уходить дальше прямо на юг, куда вела по широкой долине большая наезженная тропа, граниты резко поворачивали на запад, и чтобы проследить их дальше, нужно было неминуемо погрузиться в то узкое ущелье, где не было видно никакой тропы.
Внимательно осмотрев все, замерив простирание пород горным компасом, Юдин вынул из нагрудного кармана записную книжку и карту-десятиверстку. Сделав все необходимые ему заметки, он разложил карту у себя на коленях и, внимательно изучая ее, задумался.
Минут тридцать он сидел неподвижно, а я, размышляя о его "биноклевой геологии", занимался выверкой азимутов и крокированием рельефа в моей пикетажной книжке -- весь день сегодня я вел маршрутно-глазомерную топографическую съемку.
Мы оторвались от наших занятий только тогда, когда под перевалом послышались скрипенье подков о камни и голос коллектора, понукающего лошадь.
Еще мгновенье -- снизу из-за камней выдвинулась голова коллектора в кашгарском войлочном колпаке, превосходно защищающем затылок от ветра и солнца. Сопя, вздрагивая

ноздрями, лошадь коллектора вынесла своего седока на перевал. Худощавое, обветренное, обожженное солнцем лицо коллектора показалось Юдину встревоженным, а потому с напускным безразличием в тоне Юдин спросил:
-- Ну, что караван?.. Далеко от вас?
Ловко спрыгнув на землю, похлопав по шее своего конька, распустив его подпруги и сняв винтовку с плеча, коллектор, не подсаживаясь к Юдину, недовольно буркнул:

Теперь все в порядке... Идет...

А что? Разве было не все в порядке? У какой-нибудь кобылы сурки хвост отъели?
Шутки Юдина всегда были тяжелыми, грубыми. Коллектор промолчал и отвернулся. Юдин исподлобья поглядел на него и уже другим тоном заметил:
-- Что это у вас настроение испортилось? Коллектор резко повернулся к Юдину:

Вы все вперед уезжаете, а мы там возись! Караванщики ругаются, каждый без вас норовит все по-своему сделать, а мне за вас отдуваться приходится... Весь караван сейчас чуть к чорту не полетел. Теперь часа полтора его дожидаться придется...
Но? А что случилось такое?
-- Ничего, глупость, а два ящика с сахаром переломали. Километров за восемь отсюда... Едем тихо, устали же все, и люди и лошади! Сегодня затемно выступили, а сейчас седьмой час вечера, вон уже солнце к закату!..

Ну-ну, ближе к делу!
А я и веду к делу. Едут, дремлют все. Лошади морды чуть не по земле тащат, а люди глаза позакрывали, разве что снов не видят. Ни ветра сегодня нет, ни плеска воды -- сушь, тишь, как в раю, того и гляди ангелы запоют... Вдруг, что за чорт, -- лошадь Дадабая с мешками муки несется, словно гвоздь ей под бок загнали. А за ней -- другая, а за той -- третья!.. Гляжу, пошла заваруха!..
А в чем дело было?
А ни в чем! Растение тут есть такое, как шар сухой, наступишь на него -- оно лопается с громким звуком и пыль от него. Лошадь Дадабая наступила на него, отскочила от громкого звука и понеслась, как оголтелая, с перепугу. Ее

испуг передался другим... Все двадцать караванных лошадей как взбесились. Хорошо еще -- место ровное, долина, сверзиться некуда. Вьюки, конечно, на сторону один за другим и волочатся по камням. Половину вьюков разбросали по всей долине, тогда только успокоились, а два ящика с сахаром как ткнулись в камни, так весь сахар в полы халатов собирать пришлось. Насыпали его в мешки, как станем лагерем, обязательно нужно будет перераспределить тару, иначе весь сахар пропадет... Ну вот, и пришлось весь караван вьючить заново. Все злы, ругаются, чуть не дерутся. Без вас караванщики, знаете, как разговаривают? Потому что каждый хочет ими распоряжаться, начальника нет...
-- А вы на что?

Да я на километр в сторону был, вы же сами велели мне искать фауну! По борту долины карабкался, сверху все это видел, а когда спустился...

Ну, хорошо!.. Хватит. Я тоже не солнце глотал, а работал. Скажите-ка лучше, фауну вы нашли?

Чорт тут найдет фауну!

А вы здесь на самом перевале посмотрите! Вон, например, вдоль той бровки!

Коллектор, ни слова не говоря, пошел в указанном Юдиным направлении, ведя своего лохматого конька в поводу. Юдин посмотрел ему вслед и повернулся ко мне:

Завтра мы расстаемся с караваном.

Как расстаемся? Опять перемена? -- сразу взволновался я.

Расстаемся. Караван пойдет в одну сторону, а мы в другую.

Кто это "мы"?

Это значит, я и вы. Конечно, если вы, дорогой мой, захотите сопровождать меня в отдельном, хоть и трудном, но исключительно интересном маршруте.

Юдин произнес эти слова мягким, вкрадчивым тоном, придав ему особенную задушевность.

Что за маршрут и чем он, собственно, интересен, разрешите узнать?

Пожалуйста... Вот карта. Все в ней переврано, даже концы горизонталей не сходятся, ну, да другой нет пока, от вас, между прочим, жду! -- не без яда добавил Юдин. -- Садитесь поближе, я все объясню вам, пока караван подойдет!

Я расстегнул воротник полушубка и, держа за повод своего мерина, подсел вплотную к Юдину.

Начну с геологии...

А я пойму? -- взмолился я.

А чтоб вас! Я вам попроще, поймете!.. Вы знаете, что я оконтуриваю молодые граниты? Как и почему я это делаю, вы, конечно, не интересуетесь, хотя, уверяю вас, вам следовало бы заинтересоваться. Когда-нибудь я вам все расскажу, и вы поймете, как это исключительно интересно, сами приставать ко мне будете... Ну, а сейчас, чорт с вами, коли вас интересует не геология, а розовые зори да киргизские мазары, украшенные тряпьем и вонючими рогами архаров.

Так вот, кратко. Я гоняюсь за молодыми гранитами. Граниты уходят на

запад, -- туда, видите то ущелье? Дальше они, несомненно, потянутся к юго-западу. Иначе быть не может. К большой тропе, по которой мы собирались итти всю неделю, они скоро вернуться не могут. Не могут потому, что вот эти мощные свиты палеозоя, вон водоразделы по обе стороны этой широкой долины, здесь образуют дугу, которая, хотим мы того или не хотим, уходит прямо на юг. Вот сколько мы видим отсюда в бинокль, это, несомненно, все та же свита. А что она же продолжается и еще дальше, мне известно по материалам геологов, работавших здесь до нас. Теперь, повторяю: направо -- вон то ущелье, на запад -- уходят граниты. Я должен пойти за ними. Никто из геологов там еще не был. Это ущелье ведет вот сюда, -- Юдин ткнул карандашом в карту. -- Местность, вообще говоря, неисследованная. Тут, по слухам, есть озерко, хоть на карте оно и не обозначено. По тем же слухам, за озерком, в верховьях речушки, которую мы там найдем, местные жители что-то такое наковыривали, -- киргизы говорят, там есть следы каких-то древних выработок. Мне сейчас пришло в голову, по целому ряду теоретических соображений, что металлогенический цикл, связанный с молодыми альпийскими гранитными интрузиями, может быть распространен и в том районе. Вы понимаете, как важно, если это действительно так? Мы попытаемся пробраться к этому озерку, обойти его, спуститься к верховьям реки. О, вы можете быть уверены, красот природы, всяких диких особенностей, которые вам так нравятся, нам встретится предостаточно... Ну, а если мы попадем туда, то нам никакого смысла не будет возвращаться обратно. Мы спустимся вниз, до устья речушки, которая может течь только в этом -- глядите сюда -- направлении, оттуда выйдем вот сюда... Вы смотрите не на карту, на ней тут сплошное белое пятно, а вот на эту схему, которую я черчу...

Юдин быстро начертил в своей пикетажной книжке схему и стал объяснять мне все детали своего, только что рожденного плана. И, наконец, добавил:

-- А оттуда мы выйдем сюда, на тропу, по которой уже хаживали геологи; но не пойдем по ней, а следуя линии контактов, которая там обязательно должна быть, пересечем водораздел, -- найдем какой-нибудь перевал, и вы, кстати, нанесете его на карту, и так, сделав большой круг, встретимся с караваном, -- он во главе с нашим коллектором пойдет туда прямою дорогой, вот этой большой тропой... Понятно вам?

И хотя понятно мне- было все только то, что не относилось к геологии, я, не скрою, был уже увлечен самой перспективой такого маршрута. Юдин добавил:

-- Я думаю, вам будет интересно это тем более, что сделанная вами в том районе съемка представит собою огромный научный интерес в силу полной неисследованности области, в которую мы направимся. Съемка будет расцениваться, как ваше самостоятельное географическое открытие, как расшифровка вами белых пятен на карте.

Юдин хорошо знал мою слабую струнку. Он, безусловно, видел мое волнение.

Согласен! -- коротко произнес я.

Подождите еще соглашаться! До сих пор ездили мы с караваном или, во всяком случае, с одной-двумя вьючными лошадьми. Теперь на целый месяц вы можете позабыть о вьюках. Мы пойдем пешком с двумя рюкзаками за спиной. Возьмем с собой минимум вещей и продуктов. Если там живут люди, значит и мы сумеем там пропитаться. А может быть, придется и подтянуть животы, но с голоду как-нибудь не пропадем. Мерзнуть мы будем только первое время, пока не дойдем до верховьев речушки, там начнем спускаться, абсолютные высоты там будут значительно ниже, чем здесь, там есть уже оседлое население, садоводство и земледелие. Палатку и полушубков мы не возьмем. Никаких лишних тяжестей! Свитер, ватник, шерстяной шлем, одеяло. Продукты? Шоколад, чай, рис, сахар, лепешки -- то, что унесем на себе. Здесь, сами видите, искать

носильщиков негде. Оружие? Чорт с ним, тяжело. Хватит с нас пистолетов, на всякий случай, ну, скажем, снежный барс попадется. Винтовку вашу оставите в караване... Имейте в виду: по скалам придется лазить не хуже кииков, спать, может быть, на снегу, купаться в. ледяных реках и еще... чорт его знает, что может там быть еще... Вот теперь и говорите: согласны?

Я же вам сразу сказал: согласен! -- уже с нетерпением повторил я.

Юдин вскочил на ноги, заглянул вниз, под склон перевала. Там он увидел приближающийся караван. Он уже начал подниматься по склону и отсюда, сверху, казался цепочкой черных, медленно всползающих муравьев. Несколько сотрудников экспедиции ехали кучкой, метрах в двухстах впереди каравана. Три караванщика шли пешком, засучив за пояса полы рыжих халатов и взмахами рук подгоняя сбивающихся с общего темпа, норовящих разбрестись по склону вьючных лошадей.

А вдоль прокаленных солнцем, загорелых, отливающих черным блеском скал, составлявших бровку водораздела, к нам приближался, ведя коня в поводу, коллектор, конечно, и здесь не нашедший фауны.

В верховьях неисследованной реки

Ледники, окруженные набухшими, сдобными, словно глазированными снегами, -- четыре гигантских снежных пика, напитывались закатом. Из белых они превратились в розовые, и розовый свет быстро сгущался в малиновый. И небо над ними -- во всех нежнейших оттенках: бледное, розовое, палевое, синеющее, вишневое и, наконец, -- стального, цвета морской воды.

Все это казалось происходящим на ярко освещенной сцене, на которую смотрят из темного зала. Залом в данном случае было ущелье с отвесными, скалистыми стенами, спустившими темные осыпи к хаотическим берегам узкой, извивающейся в нагроможденьях камней реки. Ущелье давно уже наполнилось тьмой и холодом. Река, клокоча, убегала вниз, туда, где за раструбом расширившегося ущелья, словно в другом мире, происходило слепительное действо заката. Самого солнца не было видно, оно пряталось где-то за грядами острых хребтов. Стальное небо совсем, словно в нем готовился шторм, потемнело в тот самый момент, когда налево, из острой грани хребта, составлявшего левый борт ущелья, вытекла коротенькая полоска расплавленного серебра. Полоска росла, становилась выпуклой, как толстое стекло карманного электрического фонарика, но громадного и ослепительного. Луна, выползая вбок из скалы, округлилась, на секунду повисла на скате хребта, -- он уходил вниз ребром вогнутого лотка, -- казалось, луна соскользнет сейчас и по ребру стремительно покатится вниз; но она оторвалась, поплыла в воздухе и оказалась обыкновенной луной, а ледники и снежные пики превратились в фарфоровые, замерцав нежнейшей ночной белизной.

-- Чай проспите! -- прозвучал сзади спокойный, чуть насмешливый голос. -- Устали очень?

Я лежал спиной на голых камнях. Повернув голову и разглядывая свои ноги, обутые в гигантские, подбитые триконями альпинистские ботинки, я попробовал скинуть их с большого валуна, на котором они покоились, взнесенные выше всего моего распростертого пластом туловища. Ступни качнули тяжесть ботинок из стороны в сторону, но не съехали с валуна: мне показалось, что вместо ног у меня две увесистые чугунные болванки, -- кровь еще не отлила от ступней, так велика была усталость после полного дня утомительнейшего подъема по каменистому склону. Тогда уже решительно, напряженным усилием я сбросил ноги вниз и, ощущая томленье во всем теле, встал, опершись о колени ладонями,

выпрямился и, заломив локти за спину, потягиваясь, протяжно и громко сказал:

-- Любуюсь... Поглядите на ледники!

Громадная, внушительная фигура Юдина не шелохнулась.

-- Ледники, ледники! -- спокойно усмехнулся он. -- Пока вы на них глазеть будете, мы ваши консервы съедим. Садитесь-ка лучше!

Я молча подсел к костру, разложенному между камнями. За спинами сидевших вокруг костра тьма встала стеной, ничего вокруг в этой тьме не было видно, лунный свет растворился в ней. В середине костра, на плоских, черных камнях, стояли в ряд две банки откупоренных мясных консервов. Пламя слизывало с золотистой окраски консервных банок изображенья бычьих голов -- это единственное доказательство в глазах носильщиков, что мясо в банках не "чушка", не запретная свинина, которую они не стали бы есть, даже умирая с голоду в этих пустынных горах. Растопленное сало пузырилось и, тяжело пенясь, подымалось над кромкою банок, грозя вылиться через край и зашипеть, пропадая в огне.

Старый, белобородый, как выходец из библейских времен, носильщик, втянув пальцы в рукав своего суконного белого халата (этот рукав был в два раза длиннее его руки), смело сунулся внутрь костра и, захватывая горячие банки за покореженную, отогнутую в сторону крышку, повытаскал банки и поставил их у края костра в песок.

Я ел молча, накладывая мясо на куски окаменевшей лепешки, только что раздробленной энергичными ударами молотка. Я злился больше всего потому, что сознавал себя неправым перед товарищами. Ну, хорошо, я устал, путь был чертовски трудным. Но ведь не меньше меня устали и остальные, а, однако, никто, выбрав место ночевки, не развалился, как я, барином, на камнях. Преодолевая усталость, все разбрелись по ущелью, выискивая сухие корневища корявого кустарника для костра, а потом долго расчищали, ворочая и отшвыривая в сторону камни, площадку, достаточную для того, чтоб на ночь разостлать одеяла. Я любовался закатом, а они тем временем аккуратно разложили рюкзаки по краям площадки так, чтоб образовать защиту от ледяного ночного ветра, и вынули из рюкзаков продукты и все вместе долго разжигали никак не хотевший заняться огнем костер. Мне никто ничего не сказал, вероятно решив, что ежели сегодня я веду себя не так, как обычно, го надо махнуть на меня рукой -- выдохся парень!.. Но болезненному моему самолюбию в безразличии сидевших вокруг костра виделось сейчас

молчаливое осуждение. Конечно, так только казалось мне, никто обо мне и не думал, да и у каждого в экспедиции бывают дни, когда все понимают, что пока этот человек не выспится, лучше его не трогать. Чтобы вывести себя из этого неприятного состояния, я непринужденным тоном обратился к Юдину:

-- А вы заметили, пока было светло, прямо над нами, в этой скалистой бахроме водораздела, ну, в верхних горизонтах пород, какие-то желтые пятна? Обратите завтра утром внимание, может быть, что-нибудь для вас интересное: гнейсы, гнейсы и вдруг какие-то желтые пятна?

Мне, в сущности, были безразличны и гнейсы и желтые пятна. В экспедиции моей обязанностью была топография, ею я увлекался, а в геологии смыслил мало. Но мне хотелось показать Юдину, что я очень внимателен ко всему, могущему принести пользу геологическим изысканиям. Юдин глянул на меня через костер. Лицо Юдина, заливаемое красным светом костра, опять показалось мне насмешливым.

Видел. Охристые мрамора. А что? Я почему-то смутился:

Да, ничего. Просто я думал, вы могли не заметить. Юдин уже открыто усмехнулся:

Если вы заметили, так почему ж мне было прозевать? И, должно быть, не желая вконец обижать меня, Юдин

с неожиданной заботливостью добавил:

-- А вас интересуют эти охристые мрамора? Их выходы здесь довольно часты. Вы, может быть, думали, что это какиенибудь железистые соединения?

Думали, может, железо найдем?

А все-таки, что за самоуверенность? "Охристые мрамора"! Что, Юдин образец в осыпи подобрал, что ли? Желтые пятна отсюда были еле видны -- на километр над головой! Как он может с первого взгляда, издали определить породу? Или так заранее уверен, что, кроме охристых мраморов, ничего желтого здесь быть не может?

-- О, Авазбек, налей чай, пожалуйста! -- сунул я свою кружку белобородому носильщику.

После чая Юдин выдал каждому по конфете. Полбанки мясных консервов, две кружки чаю, одна сухая лепешка и одна конфета -- весь ужин после полного дня пути. Но запас продуктов в рюкзаках был мал, продукты приходилось беречь. Ведь мы двигались по местности, еще никем не исследованной. Ни один научный работник, ни один русский человек еще не был здесь до сих пор. Карта безнадежно врала. Карта была составлена по расспросным сведениям. Реки, обозначенные на карте, оказывались вдвое длиннее, или вдвое

короче, или их вовсе не было. Там, где на карте значились хребты, оказывались узкие долины, покрытые альпийской травой, а вместо указанных картой долин, мы натыкались на гигантские снежные пики, от которых вниз простирались фирны и ледники. Впрочем, рано или поздно, мы должны были выбраться к широкой реке, где карты уже не врут, где найдутся и продукты, где будут кишлаки с сельсоветами и все будет понятно и просто.

-- Ну, сегодня не заболеешь! -- сказал Юдин. -- Давайте спать, что ли. Завтра надо выходить до рассвета.

"Заболеть" -- на языке Юдина значило наесться досыта. В здешних местах быть сытыми нам, конечно, не удавалось.

Три дня Юдин и я шли вдвоем, не встречая ни человека, ни зверя, изнемогая от тяжести груза. Только дойдя до первого кишлака, в верховьях реки, мы сумели нанять двух носильщиков. Позади остались ледники, но путь был не менее труден и утомителен: шли, переправляясь вброд, через ледяные клокочущие реки, проползая по узким, естественным карнизам над отбесами в несколько сот метров, на четвереньках карабкаясь по моренным нагромождениям. И все для того, чтоб к условленному месту встречи с караваном прийти не с обычной стороны, не хорошо разделанною тропой, помеченной на всех картах, известной всем, а иначе: через цепь горных хребтов, о которых Юдин хотел знать, из гранитов они состоят или из гнейсов, мезозойского они возраста или палеозойского и какова их основная структура.

Не скрою, я увлекался неисследованными путями. Меня пленяло самое сочетание слов: "впервые вступил", "впервые проник", "впервые исследовал". Я с гордостью смотрел на каждый новый открытый нами ледник, на каждый пик, который еще никем не был назван. Занимаясь маршрутно-глазомерною съемкой, я заносил в свой путевой дневник все, что попадало в поле моего зрения, отмечал всякое изменение на пути. И дневник мой был заполнен такими записями:

"10 часов 30 минут. Переправа на левый берег. 3 320.

ч. 50 м. Лужайка. 3 360.

ч. 05 м. Приток левого берега. 3 410. 11 ч. 20 м. Река -- излуками. 3 500.

11. 45. Кустарник поредел и измельчал. 3 510.

12. 45. Кусты кончились. Лук. Осыпи мраморов. Отвес правобережья. Направление 180. Высота кромки хребта над правым берегом -- 1 километр. 3 800.

13. 15. Висячие ледники. Путь по осыпям и обвальным нагроможденьям камней. Морены. Снег. Никакой растительности. 4 145.

14. 00. Фирн. Тяжелый подъем.
14. 22. Перебрались через серию трещин.
16. 10. Перевал. 4 610... "

Это означало подъем на один из очередных гребней, а цифры оправа -- записи высоты в метрах по анероиду, который обычно висел на ремешке справа, у пояса, и который был предметом особенных предосторожностей: не встряхнуть, не ударить!

А уж если навстречу попадались животные, птица, если на скале рос незнакомый цветок, то в дневнике появлялось тщательное, многословное описание. Хотелось все увидеть, все записать, все запомнить. У меня не было специального образования в тех областях науки, которыми приходилось в экспедиции заниматься. Но и собственнических инстинктов в отношении добытого материала у меня не было. Я охотно предоставлял его любому специалисту, который мог бы обработать его. Сам я удовлетворялся сознанием, что сделанное открытие полезно науке. Своей собственной, неотъемлемой работой я считал лишь составляемую мною топографическую съемку. Приятно было думать, что она не только станет основой для геологической карты, но и понадобится всякому исследователю, который вступит в эти места после меня.

С особенной остротой воспринимал я все особенности природы этих удивительных мест. В разреженном воздухе высот зори были желтыми, а не красными; на еще больших высотах, на высотах в пять и шесть километров над уровнем моря, небо в ясный солнечный день казалось не голубым, даже не синим, а фиолетовым, угрожающе темным. Казалось, что еще немного подняться, и небо представится черным, совсем черным дневным солнечным куполом. Чувство приближения к космосу волновало меня всякий раз, когда я переваливал высочайшие водоразделы, когда блуждал среди ледников. А ниже, в ущельях, в долинах, меня пленяли пенные, похожие на всклокоченную белую бороду речные потоки, и не пахнущие, особенные цветы альпийской флоры, и устрашающие крутизной срезы скалистых стен...

Все, решительно все в этой странной стране, каждый поворот пути, каждая новая прожитая минута дарили мне бесконечно разнообразные вариации одного и того же чувства... Это чувство можно было бы назвать опьянением от проникновения в тайны первозданного мира. Жесткая, эпическая красота этого мира иногда пугала меня и всегда, до трепета, как фантастическое сновидение, волновала.

Я присматривался к Юдину, и мне казалось, что Юдину чуждо все это. Юдин всегда был спокоен, хладнокровен

и трезв. Юдин никогда, ни на секунду не остановился в пути для того, чтобы просто так, без всяких практических мыслей, задержать взгляд на каком-нибудь великолепном сочетании оттенков облака, наползающего на скалы, для того, чтоб просто-напросто полюбоваться ослепительной новизной внезапно открывшихся за поворотом, никогда не виданных раньше пространств.

Реки, отвесы, льды, пропасти вызывали в Юдине одноединственное чувство -- чувство досады на новое непредвиденное препятствие в пути, на новую задержку, выбивающую нас из сроков точно рассчитанного маршрута. Солнце, вода, ветер, дождь или снегопад, цветы, кустарники, травы -- все это Юдин, казалось, вовсе не замечал. Если ему было холодно, он одевался теплее. Если он промок на ледяной переправе, он сушил белье, развесив его на скалах или на рогах мертвого, высохшего архара, так же бесстрастно, как городская прачка развешивает белье на веревке, протянутой в чадной кухне. Если он глядел на траву, то только рассчитывая: хороша ли она как подножный корм для лошадей его каравана?

Все очень просто: идет работа, ему нужно как можно скорей пересечь эти горы, ему нужно запомнить только одно: тектоника их такова, стратиграфия -- вот этакая, возраст их -- мел, юра, триас... а может быть, палеозой? Все прочее, как нечто ненужное, случайно запавшее в память, он сознательно

выключал из процесса мышления. Ну, быть может, сочтет нужным еще запомнить направление пути, степень проходимости горных тропинок, годность луговых площадок для пастьбы определенного количества лошадей, пункты, обеспеченные естественными запасами топлива, подходы к реке, наиболее благоприятствующие для переправы вброд, -- все это для возможных повторных путешествий в эту страну, для академического отчета.

-- Георгий Лазаревич, красиво это местечко?

Сожмет губы, сощурит узкие щелочки глаз: -- Ничего... Давайте-ка лучше возьмем азимут вот на это обнажение!

Вынет тонко очиненный карандаш и аккуратно запишет какое-нибудь: "Пад. ЮЗ-240, угол падения 50, мраморизованные известняки", в тонкую кожаную записную книжку и отвернется с вожделением поглядеть на закипающий, задымленный чайник, сдавленный камнями в середке костра.

За все четырехмесячное путешествие у Юдина исписано самое большее двадцать страничек. Слова попадаются редко, они втиснуты в многоречивость цифр и условных знаков: "аз", "уг", "св", "прост", "обр", "пад", "конт", "нес",

"меш No" -- какая-то каббалистика, в которой лишь геолог станет с жадностью разбираться.

Азимут, угол, свита, простирание, образец, падение, контакт, несогласие, мешочек номер такой-то... Кажется, только этими словами Юдин и может выразить все, что способно его взволновать.

Одеяло сложено длинным пакетом. Я лежу, высунув из него кончик носа. Под головой тугая резиновая подушка -- она неудобна, при всяком движении голова скатывается с нее.

Мне не спится. Зеленая лунная ночь струится ветерком по ущелью. Прохладно, но вовсе не холодно. Холодно будет завтра -- завтра подъем по морене на снеговой водораздел. По уверенъям носильщиков, там должен быть перевал. Впрочем, носильщики сознаются, что туда никогда не ходили. Сейчас они спят, тесно прижавшись один к другому. Из груды тряпок лунный свет выделяет темные, чуть поблескивающие ноги. Если б и ноги были прикрыты халатами, спящие тела можно было бы принять за груду камней.

Я озираюсь: камни, рассыпанные вокруг, представляются мне иной раз какими-то причудливыми живыми существами, которые сейчас спят. Конечно, я романтик и фантазер, а Юдин практик, твердо стоящий на земле. Но разве практик не может быть и романтиком?

Стены ущелья уходят высоко в небо и где-то наверху, побледнев, сливаются с ним. Однозвучно шумит недалекий поток, но шум его столь привычен, что кажется одним из элементов ночной тишины. Спит Юдин, с головой закутавшись в одеяло. Спят оба носильщика, прижавшись к камням. В мире есть только четыре человека. Все остальное -- мертвые горы.

Даже странно, что каждый из этих четырех человек мыслит по-разному. Что снится сейчас носильщикам? Если прорезать мысленным взором вот эти горы, пронизать их насквозь, -- десятки сплетенных хребтов, долин и ущелий, -- где-то там, неведомо где, в таких же горах, сейчас спит еще десяток людей. Это вторая группа сотрудников экспедиции. Они, конечно, уже давно пришли к условленному месту и уже, несомненно, работают там и ждут, вероятно без особой тревожности, Юдина и меня.

А если еще дальше мысленным взором блуждать по горам, можно обнаружить в этом же лунном свете белое здание пограничной заставы -- ближайшее место, где живут русские люди, которые не должны каждое утро торопиться в путь, чтоб целый день, пересиливая утомление, с тяжелыми рюкзаками за спиной карабкаться по остроугольным, камням.

Дальше заставы воображение уйти бессильно. Города с десятками тысяч людей, газеты, бесчисленные скопленья домов, гудящие поезда, бесконечное разнообразие предметов -- все это утонуло в глубинах памяти, и, кажется, этого не было никогда. И об этом лучше не думать.

Дом... Ночь... За стенкою шумит примус... Это квартирная соседка всегда встает спозаранку, еще до рассвета, и варит ячменный кофе своему мужу -- контролеру трамвайных вагонов...

Ах, нет, это не примус... Это шумит река!

Тень горы черным клином входит в поток лунного света.

О контурах гранитов и человека

Необыкновенная, неповторимая нигде в СССР природа Памира не только на всю жизнь запоминается любому человеку, хоть раз побывавшему на огромных высотах этой географической области, но и оказывает на него особенное воздействие. А тот научный работник, который, покачиваясь в седле или путешествуя пешком по Памиру, задумывался об особенностях этой природы, никогда впоследствии не устанет размышлять о загадках мироздания, о строении миров, о космосе, о всем том величественном, что измеряется огромными расстояниями и огромными глубинами времени, -- о великих тайнах природы, постепенно и медленно раскрываемых человеком.

Академик Отто Юльевич Шмидт, побывав на Памире в 1928 году в качестве альпиниста, впервые вместе со своими товарищами исследовавший таинственную дотоле территорию большого белого пятна в бассейне ледника Федченко, больше никогда не бывал на Памире. Но не это ли его путешествие послужило толчком к той огромной мыслительной работе, которая привела его к созданию новой гипотезы о происхождении Земли из метеоритов и космической пыли?

Геолог Александр Васильевич Хабаков, побывав на Памире в 1930--1932 годах, никогда больше не путешествовал вновь по этим местам. Но не с тех ли пор стал он задумываться, о таких научных вопросах, изучение которых помогло ему в будущем создать весьма интересную и, кажется, единственную в своей области книгу: "Об истории развития поверхности Луны", иллюстрированную, кстати, такими фотографиями поверхности земного спутника, какие очень похожи на фотографии, изображающие рельеф Памира?..

Когда я гляжу на иллюстрации к этой книге, мне порой

кажется: не по лунным ли кратерам путешествовал я верхом и пешком в тридцатом, тридцать первом, тридцать втором годах?

Создатель новой науки -- астроботаники, профессор Г. А. Тихов по состоянию своего здоровья не мог подняться на высоты Памира. Но именно на Памир он отправил из Казахстана своих сотрудников, для того чтобы, вернувшись из экспедиции, они помогли ему решить многие вопросы в его попытках узнать: есть ли органическая жизнь на Марсе и на Венере? И, слушая в 1953 году в ленинградском Доме ученых, на конференции по астроботанике доклады о спектрограммах, сделанных на Памире, о необычайной темнокоричнево-фиолетовой, синеватой и голубоватой окраске растений на Восточном Памире, об инфракрасных лучах, какие растения на Земле отражают, а на Марсе для своего согревания должны поглощать, я размышлял все о той удивительной природе чудесного высокогорья, которое мне довелось пронизать мотай маршрутами во всех направлениях.

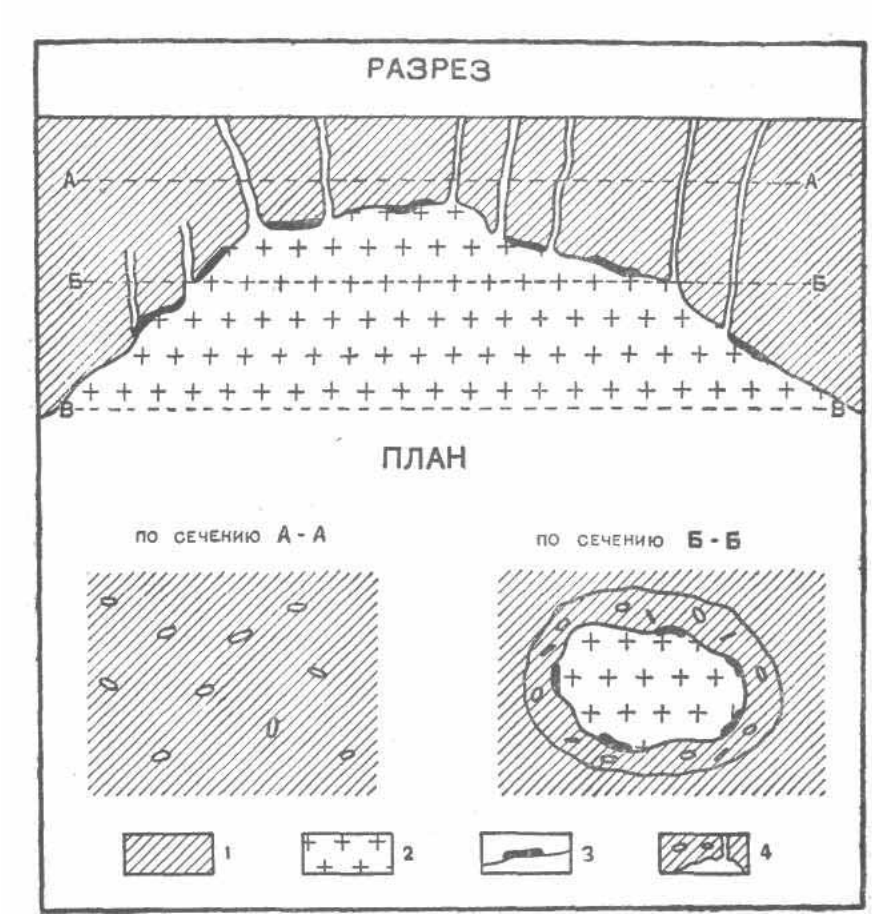
И разве это памирское высокогорье, расположенное ближе всех наших географических областей к субстратосфере и стратосфере, не удобнейшая позиция для изучения в наши дни, например, космических лучей; для выяснения многих законов биологии -- развития клетки, обмена веществ; для теснейшего знакомства с явлениями солнечной радиации; для проникновения в уже близкую нам проблему межпланетных сообщений, и так далее, и так далее?

Это только немногочисленные примеры. В любой области науки, в любой отрасли знания, Памир с его удивительными особенностями может толкнуть мысль ученого к решению таких загадок и тайн природы, какие столетиями, даже

тысячелетиями волнуют человеческие любознательные умы.

Особенно интересен Памир геологам. Высочайшее поднятие Памира, существующее рядом с понижениями земной коры, так называемыми депрессиями -- Кашгарской и КараКумской, представляет собою грандиозное уникальное сборище стольких загадок, касающихся строения всего земного шара, что к Памиру и к сопредельным с ним странам с особенным рвением стремятся геологи, геохимики, геоморфологи, геофизики -- специалисты всех отраслей науки, относящихся к познанию недр земли.

Среди этих специалистов можно назвать крупнейших ученых, таких, например, как в старину профессор И. В. Мушкетов, как молодой еще тогда В. А. Обручев, а в наши недавние годы -- академики А. Е. Ферсман, Д. В. Наливкин, Д. И. Щербаков. Среди исследователей Памира есть множество имен и молодых ученых, чьи труды известны пока только специалистам в той области науки, в которой они работали и работают.



* Схема расположения контактовых и жильных месторождений вокруг гранитного массива (составлена А. Ф. Соседко).

Условные обозначения: 1. Вмещающие породы. 2. Гранитная интрузия 3 Контактовые месторождения. 4. Пегматитовые и гидротермальные жилы.

Разрез: По сечению А--А: граниты не выходят на поверхность По сечению Б-Б: обнажается верхняя часть гранитной интрузии

По сечению В -- В: верхняя часть гранитной интрузии смыта; все контактовые и жильные месторождения также смыты. 1

План: По сечению А--А: выходят на поверхность только пегматитовые кварцевые жилы

Характерно для очень молодых гор

По сечению Б-Б: верхняя часть гранитных интрузий сопровождается разнообразием контактовых и жильных проявлении. Контактовые -- по границе

гранита и вмещающих пород; жильные -- обычно вокруг гранита, в пределах узкого ореола в один-три километра шириной. Характерно для Алтая, Средней Азии, Урала, Забайкалья.

Существовало и существует много гипотез о строении и о движениях земной коры, о причинах тех или иных процессов горообразования, происхождения горных хребтов, но все они исходили из господствовавшей основной гипотезы о "горячем" происхождении земного шара и о том, что он постепенно, на протяжении сотен миллионов лет, охлаждается.

Но сейчас я хочу говорить не о происхождении Земли, а о том, что происходит в ее недрах, независимо от тех или иных космогонических объяснений. Я хочу говорить об огненно-жидких массах, существующих в глубине Земли, -- о магмах, поднимающихся, прорывающихся сквозь толщи пород, образованных осадками древних морей.

Вырываются ли магмы по трещинам земной коры наружу (при вулканических извержениях) или, гораздо чаще, не достигая поверхности, охлаждаются в толщах окружающих их пород, застывают, затвердевают, заполнив трещины, по которым шли, -- во всех случаях они претерпевают те или иные изменения, соответствующие их объему, температуре и газоносности. Претерпевают изменения и вмещающие породы. Область этих изменений простирается от явлений только термического воздействия магмы на вмещающие породы (обжига) до образования сложных пород, совершенно не похожих на исходные.

Это происходит оттого, что жидкая магма содержит большое количество газов и паров воды. В газообразном состоянии в магме находятся многие ценнейшие химические элементы. Газы, естественно, стремятся подняться вверх, и по мере застывания магмы в верхней части ее собирается много газообразных веществ. Они вступают во взаимодействие с окружающими магму породами, и на их контакте -- в месте их соприкосновения -- могут образоваться скопления полезных ископаемых, которые называются контактовыми.

Газообразные продукты магмы проникают по трещинам в толщу окружающих пород, удаляясь от материнской магмы на некоторое расстояние. Застывая в трещинах, они также образуют месторождения редких и весьма ценных полезных ископаемых.

Таким образом, после окончательного застывания магмы в верхних ее частях, в кровле, образуется ореол -- венчик вокруг гранита, чрезвычайно заманчивый для геолога-поисковика, гоняющегося за месторождениями.

Магма, застывшая на глубине в виде различных пород,

называется интрузией. Считается, что чем больше интрузия, тем больше месторождений может встретиться вокруг нее.

Интрузии могут обнажиться, "увидеть дневной свет" и, следовательно, стать доступными человеку, если самые хребты, внутри которых застыла магма, окажутся сильно разрушенными (процессами размывания и выветривания) и верхняя часть их, покрывающая скрытые интрузии, будет снесена.

На практике многие металлические месторождения чаще всего связаны с интрузиями гранитов.

В вопросах геологии, кроме состава самих пород, придается исключительно большое значение их возрасту, определяемому различными способами.

Если процессы размывания и выветривания пород, закрывающих гранитную интрузию, начались в очень давние геологические времена, скажем, в эру палеозоя (то-есть от двухсот до пятисот миллионов лет назад), то эта интрузия, хорошо вскрытая в верхней своей части к настоящему времени, дает нам богатые месторождения. К такому типу месторождений (связанных с весьма древними породами) принадлежат, например, те, которые обнаружены в горах Урала и в горах Алтая. Чаще, однако, бывает, что к настоящему времени верхние части такой интрузии совершенно разрушены, размыты, разнесены, выветрены. В этих случаях вокруг интрузии уже не будет скоплений металлов.

Поэтому вполне логично искать металлические месторождения в краях

гранитных интрузий, верхние части которых только вскрыты, но не разрушены. Именно к таким интрузиям относятся интрузии Забайкалья, Колымы, Кавказа, Урала. Но, в частности, на Кавказе эти интрузии еще недостаточно вскрыты и потому месторождений полезных ископаемых здесь сравнительно (конечно, только сравнительно) мало и они менее разнообразны.

Еще одно представление было у некоторых геологов: чем моложе граниты, тем больше они содержат газообразных продуктов и, следовательно, тем богаче будут контакты вокруг гранитных интрузий. На Памире граниты считались альпийскими, потому что образовались в период самого молодого на планете горообразовательного цикла, носящего название альпийского. Альпийский возраст -- это конец третичного периода (кайнозойской эры). Впервые установленный в Альпах, этот возраст является единым для всей системы складчатых гор так называемой средиземноморской: геосинклинали (то-есть для всех гор, протянувшихся от Пиринеев, через юг Европы, Кавказ, Копет-Даг до Памира и далее, на восток).

Вот почему, когда Юдин встретил на еще очень мало тогда исследованном в геологическом отношении Памире гранитные интрузии, он прежде всего старался определить их возраст, узнать, относятся ли они к древнему вулканическому циклу или к молодому -- альпийскому. Определение возраста гранитов -- задача очень сложная и ответственная. Если граниты "интрудируют" палеозой, то-есть проплавляют, внедряются в толщу осадочных пород геологически древнего (палеозойского) возраста, то они, вероятно, и сами древни. Если же они ворвались в молодые, сравнительно недавние осадочные породы (например, мезозойского возраста, то-есть образовавшиеся от ста двадцати пяти до ста восьмидесяти миллионов лет назад), то они, очевидно, сделали это тогда, когда эти молодые породы уже существовали, то-есть, в геологическом смысле, недавно. Значит, и сами они молоды, значит, они принадлежат к молодому -- альпийскому -- вулканическому циклу, значит, они альпийские граниты.

Казалось бы, дело совсем нетрудное: определи, какие породы проплавила, в какие породы внедрилась интрузия, сейчас же узнаешь и возраст самой интрузии. Но тут начинается новая трудность. Во-первых, не всегда удается определить возраст этих осадочных пород, не удается, например, найти в них характеризующую их окаменелость -- ракушку, флору. Во-вторых, интрузия переплавила соприкасающиеся с ней породы, видоизменила до неузнаваемости (метаморфизовала) соседствующие с нею породы. Метаморфизованные их края -- если интрузия велика -- могут быть не узенькими, могут простираться на десятки километров, и тогда остатки фауны и флоры исчезнут. Вот, скажем, взять ложку расплавленного свинца, вылить ее на толстый слоеный пирог, такой толстый, чтоб свинец застыл в нем где-нибудь посередине. Он все вокруг себя пережжет, все слои переплавит в какую-то неопределенную массу. Счисти все сверху до свинца и разбирайся: из каких составных частей, из каких слоев состоит пирог по соседству с ним!

Дело, очевидно, не легкое и рискованное!

Истина всегда рождается в спорах. И если говорить о Памире, в ту пору еще малоисследованном, то надо сказать, что, ища истину, геологи -- и в самих экспедициях и после них -- вступали в жестокие споры между собой. Я не могу уделить в этой книге внимания всем известным мне спорам, происходившим между учеными. Но я хочу упомянуть об одном из итогов этих споров.

После ряда геологических экспедиций старым па мирским исследователем геологом Д. В. Наливкиным (ныне академиком) и его учениками, молодыми в ту пору геологами

П. П. Чуенко, В. И. Поповым и Г. Л. Юдиным, был совместно написан и выпущен в 1932 году научный труд, в котором объединялись все основные результаты исследований, касающихся геологического строения Памира.

И вот что сказано в предисловии к этому труду:

"... До работ экспедиции Памир рассматривался как палеозойская горная область, по строению тождественная с Тянь-Шанем и Уралом. Эта точка зрения нашла отражение в обзорной геологической карте Средней Азии, Туркестана, изданной б. Геологическим комитетом в 1925 году. Эта точка зрения впервые была отвергнута в докладе Д. В. Наливкина в г. Хороге, летом 1927 года, на котором было проведено сравнение Памира с Уралом и было подчеркнуто различие между древней горной страной -- Уралом и молодой горной страной -- Памиром, Образовавшейся в самое последнее время. На основании этого сравнения был сделан вывод о том, что рудные месторождения уральского типа на Памире не могут быть встречены. Этот вывод остается в силе и в настоящее время. К сожалению, во время доклада не была учтена возможность развития и на Памире рудных месторождений кавказского и забайкальского типа... "

Дальше в предисловии говорится о том, что уже во время полевых работ на самом Памире выяснились три главнейших результата работ экспедиции: установление громадного распространения молодых мезозойских отложений; первое нахождение молодых изверженных пород, в том числе альпийских гранитов; и первое нахождение месторождений альпийского металлогенического цикла среди осадочных мезозойских пород в некоторых из районов Памира.

"Эти выводы, -- говорится далее в предисловии, -- были вполне подтверждены работами других экспедиций в последовавшие годы. Особенно много дали работы Ю. Л. Юдина *, доказавшего громадное распространение альпийских гранитов и широкое развитие связанного с ними молодого металлогенического цикла... "

Из этого свидетельства, под которым подписался прежде всего авторитетнейший ученый -- Д. В. Наливкин, видно, что Юдин трудился на Памире не зря. I

Многое в наше время в области объяснения тех или иных геологических особенностей Памира изменилось, -- за четверть века наука прошла огромный путь! Современные представления геологов о Памире весьма отличаются от представлений, созданных в первые годы его систематического изучения.

* Г. Л. Юдин иногда именуется Ю. Л. Юдиным (Юрием Лазаревичем).

Но все, что когда-либо было сделано для поступательного хода науки, все, что в любые времена двигало науку вперед, -- все ценно и не должно быть предано забвению последующими исследователями-учеными.

Юдин, в ту пору молодой исследователь, упорный, упрямый, дерзкий, может быть, слишком самоуверенный, может быть, многими проявлениями своей личности вызывавший к себе отрицательное отношение некоторых других участников экспедиций, был, во всяком случае, энтузиастом развитой им для Памира теории "альпийского вулканического цикла и связанной с ним металлогении". Эта теория была, несомненно, полезна, прежде всего потому, что обосновывала практические поисковые работы.

Юдин увлеченно искал ее подтверждений, из года в год рвался на Памир, проделывал огромные маршруты по высокогорью, разыскивал гранитные интрузии, определял их возраст, составлял новую карту, на которой они были обозначены. А встретив на своем пути граниты, он искал место их соприкосновения с осадочными породами, он искал край, самую кромку интрузии и затем спешил проследить ее по всему ее протяжению; он стремился объехать эту интрузию верхом, обойти пешком и обозначить на карте ее контуры, то-есть, выражаясь геологическим языком, "оконтурить гранитное поле". Он был опьянен этой своей теорией, он по краям альпийских гранитов искал месторождения полезных ископаемых.

Но ведь Памир грандиозен, труднопроходим, геологически совсем мало исследован. Но ведь передвигаться можно только по опасным тропинкам на

западе, по каменистым высокогорным ложам долин на востоке. В лоб хребты не возьмешь, всего не объедешь!.. Осенью надо покинуть Памир -- он вовсе непроходим зимой, да зимой под снегом так или иначе ничего не увидишь. Значит, надо гнать, гнать и гнать верховых лошадей! Значит, надо в день делать как можно больше километров! Теория требует доказательства, а их еще мало, их надо искать... Надо искать самому, надо ехать, ехать, а где невозможно проехать -- надо итти пешком, карабкаться на перевалы, ломать все преграды, кто бы ни ставил их: природа или человек. Надо "оконтурить" как можно больше гранитных полей!

Но "гранитное поле" -- это вовсе не поле, это высочайшие земные хребты, это узлы почти недоступных гор. Юдина увлекает теория, он не знает усталости, он молод, здоров, у него огромный запас физических сил... Но некоторые из его коллекторов не знают этой его теории, не хотят думать о ней: ведь Юдину, им известно, была задана только съемка! А караванщики, знающие толк только в лошадях, отказываются двигаться дальше, морить своих лошадей.

Юдин рассуждал так: можно ли из-за какой-то "ерунды", срывать работу, замедлять ее темп? Такая огромная, сверкающая цель! Спокойный, всегда невозмутимый Юдин обуреваем своей теорией как некоей фанатической страстью. Он считает, что если караванщика не уговоришь, то надо соблазнить его каким-нибудь обещанием. Ну, хотя бы деньгами!.. Юдин не думает, что денег может ему не хватить. Что вся его смета невелика, что ему поручено сделать маленькую карту в маленьком отдельном районе. А он не хочет удовлетвориться этим районом, он должен объехать в десятки раз больший район, на который денег ему не дано, который в Геолкоме не считается интересным... Разве само по себе это плохо?..

Караванщик согласен. Юдин скачет на лошадях дальше. Басмачи? Местные жители предупреждают его, что там, куда он стремится, шатается банда, что банда может всех перебить... Пустяки! Что значит банда, когда у него открывается такое прекрасное будущее! "Проскочим", -- сурово говорит Юдин и, думая прежде всего о том, что проскочит он сам, гонит лошадей дальше. Раз мы побывали уже в руках басмачей, потеряли убитым товарища, сами едва уцелели. Второй раз живыми от басмачей не уйдешь!.. Но... "проскочим"! Праздновать ли труса или презреть трусость? И мы проскакиваем на авось. Караванщики злятся. Они не хотят рисковать жизнью для какой-то им непонятной теории.

Но дело еще и не в этом. Приходит время расплачиваться с караванщиками. Юдин не в силах выполнить данные сгоряча обещания. Он начинает увиливать и выкручиваться. Караванщики привыкли верить на слово, караванщики не заключали договоров, они люди честные. И вдруг их начальник не выплачивает всего им обещанного. Начинается возмущение. В конце концов Юдину приходится платить деньги. Может быть, из собственного кармана. Но приятно ли слушать то, что караванщики говорят? Страдает экспедиционное имя исследователя!

Но и это еще не все. Юдин возвращается в Ленинград. Он привез столько-то доказательств своей теории. Вот шлихи, вот крупинки металла, такого-то и такого, найденного там-то и там-то. Находятся, однако, люди, справедливо сомневающиеся: позвольте, но такая крупинка с булавочную головку еще не доказательство полезности месторождения!..

Юдин и сам знает, что это, в сущности, не доказательства. Он искренне верит, что доказательства будут найдены. Но

вместо того чтоб дождаться, пока он их -- бесспорные, всеубеждающие -- найдет, он начинает обвинять в "семи смертных грехах" всякого сомневающегося, спорящего с ним, его критикующего геолога. Он идет на все, чтоб "вырвать" кредиты для следующей поездки. В глубине души он твердо убежден, что эти деньги будут оправданы теми открытиями, которые он, несомненно же, сделает!

Но ему говорят, что в науке никто никому не имеет права поверить на слово.

Наконец Юдин привозит нужные доказательства. Но вместо радости

всеобщего признания он испытывает горечь, потому что никто не прощает ему всего того недопустимого, что было в образе его действий. В итоге дело передается в руки других работников, а Юдину приходится вместо Памира выбирать для своей экспедиционной деятельности другой район.

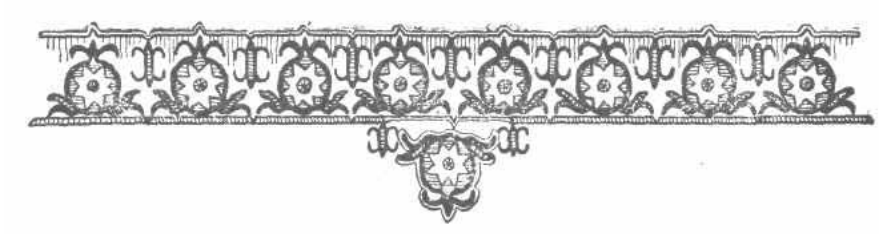
Многие геологи упрекали Юдина в верхоглядстве. Но, кстати сказать, такие же упреки мне приходилось слышать и по адресу одного очень известного исследователя. Из-за своей тучности ленясь подняться пешком на гору, он посылал за образцами пород кучера, а иногда даже делал определения попросту издали, на глазок. И потому, мол, в его работах впоследствии обнаруживалось немало неточностей и ошибок.

Я знаю теперь, через четверть века после моих первых путешествий с Юдиным, что многие из его предположений не оправдались. Но мне трудно разобраться в правильности тех или иных заключений по этому поводу: я не геолог, а спрашивая геологов, натыкался па самые различные, порой противоречивые мнения. Но так или иначе, в ту пору я был уверен, что Юдин прав, что он в самом деле умеет отлично работать и его работа полезна, а разные личные недостатки... Как хочется всем нам, чтоб в людях не было недостатков, они всегда мешают успеху дела, да ведь, кто же, однако, от них избавлен? Я не придумал фигуры человека, коего постоянным спутником был несколько лет на Памире; и я не стремлюсь в моей книге сделать из этого человека "литературный тип". И очень надеюсь, что читатель сам хорошо разберется в положительных и отрицательных качествах того, по возможности беспристрастно описываемого мною человека, который в тридцатых годах в области геологии был одним из первых молодых исследователей Памира.

И, разобравшись, читатель, конечно, согласится со мною, что путь советского ученого должен быть прям и чист!

Все больше и больше научных работников с каждым голом вовлекалось в дело изучения геологии Памира. Уже в 1932 году в состав огромной Таджикской комплексной

экспедиции вошли десятки геологических, геохимических, гравиметрических и других отрядов. Виднейшие геологи -- специалисты по изучению Средней Азии -- взялись за анализ всего созданного на Памире до них в этих областях знания. На основании бесчисленных новых исследований, критикуя, утверждая правильное, отбрасывая неправильное, привлекая новые факты и доказательства, развивая всякое зерно истины, десятки советских научных работников и ученых, коммунисты и беспартийные, люди беспристрастные, объективные, устремленные к единственной цели -- принести пользу Родине, за последнюю четверть века сделали на Памире так много, что ныне его исследованности, его изученности может позавидовать немало других областей нашей великой страны.



ГЛАВА VIII. ЗА СИНИМ ПАМИРСКИМ КАМНЕМ

"... Мы видим из сказанного, что азиатские месторождения лазурита имеют мировое значение... "

А. Е. ФЕРСМАН

Истина и легенды о ляджуаре

Ляпис-лазурь, ляпис-лазули, лазурит, лазурик, лазурь, лазуревый камень, лазули -- великолепный синий, непрозрачный минерал, встречающийся в природе в виде плотных, твердых и крайне мелкозернистых масс. Его глубокий синий тон гораздо красивее окраски всех других непрозрачных камней.

Все приведенные выше названия этого минерала происходят от афганистанского и персидского названий: ляджевард, лазвурд, лазувард и ляджвурд. Современные шугнанцы на Памире называют его ляджуар.

"Я, до безумия и до мученичества влюбленный в камни и в дикой Сибири совсем испортивший свой вкус, не в состоянии судить о прекрасном. Поэтому осмеливаюсь переслать целую партию синих камней моих для представления их высшему приговору". Так пишет известный исследователь Сибири Э. Лаксман о ляджуаре, открытом им в 1784 году.

Марко Поло в XIII веке, описывая Бадахшан и рубиновые копи, говорил: "В этой стране, знайте, есть еще и другие горы, где есть камни, из которых добывается лазурь; лазурь прекрасная, самая лучшая в свете, а камни, из которых она добывается, водятся в копях так же, как и другие камни".

Академик А. Е. Ферсман в 1920 году говорит о ляджуаре афганского Бадахшана, что до начала XIX века он "обычно приходил из Бухары, Туркестана, Афганистана, Персии, Тибета, и под этими разнообразными и неясными обозначениями скрывался какой-то неведомый источник среднеазиатского камня. Только экспедиции начала XIX века пролили свет на

эти месторождения". И далее, перечисляя имена участников экспедиций, академик А. Е. Ферсман пишет, что они "дали их описание и указали на точное их положение около Фиргаму на юг от Джирма в Бадахшане. Повидимому, это единственное месторождение, из которого Восток черпал свои лазоревые богатства, и все указания на Персию, Бухару, Памир и Индию, вероятно, должны быть отнесены к нему".

В Европе -- ни одного*. В Азии -- два: афганское и прибайкальское. В Америке (в Чилийских Андах) -- третье. Три месторождения в мире. Но в Андах и в Прибайкалье ляджуар светлый и зеленоватый. Это плохой ляджуар. Он прекрасен и ценен, когда он синий, темносиний -- цвета индиго. Такого ляджуара месторождение в мире -- одно, находится оно в Афганистане, считается монополией эмира и недоступно исследователям.

... Значит, на Памире нет синего камня?

Но русский человек, один из первых исследователей Шугнанского ханства, побывавший в нем в 1894 году, инженер А. Серебренников, в своем "Очерке Шугнана" пишет:

"На реке Бадом-Дара добывали камень голубого цвета, по всей вероятности, ляпис-лазурь, носящий название по-таджикски "ляджиВоор". Об этом сохранились только лишь одни рассказы, и даже старики не знают о месте добывания этого минерала, давшего название одному из ущелий -- ЛяджиВоорДара... "

Что такое ЛяджиВоор-Дара? Где она? -- спросил я у местных жителей.

Неправильно он написал! -- ответили мне. -- Надо говорить Ляджуар-Дара. Есть такая речка на Памире. Маленькая река в очень высоком ущелье. Никто не ходит туда!

Я долго искал эту речку на картах и не нашел ее. Впрочем, на картах Памира в том 1930 году было еще множество белых пятен, не посещенных исследователями районов.

Перенесемся воспоминанием в 1930 год. Мы -- на Памире, мы четвертый месяц уже блуждаем по неизученным уголкам Памира. Мы забыли, движется ли где-нибудь время, нам представляется, что время остановилось. Вечерняя темнота выбирает нам место для лагеря; мы развьючивает, расседлываем лошадей и валимся в сон, замерзая от снежных буранов. Спим по очереди, один из нас бродит с винтовкой, преодолевая усталость, вглядываясь в свистящую тьму.

* Ибо указания на ляджуар, находимый в лаве Monte Somma близ Везувия, недостаточно проверены.

Впрочем, все мы привыкли к этому.

Еще один русский человек дал нам зыбкие сведения о ляджуаре. Житель Памира, который, вероятно, и сам позабыл свою фамилию, так накрепко пристало к нему прозвище "Дустдор-и-руси", сказал нам, что на Памире, он слышал, есть ляджуар.

Дустдор-и-руси (что в переводе значит "русский охотниклюбитель") -- коммунист, член тройки ББ (а ББ -- это "Борьба с басмачами") -- был смелым охотником, которого на Памире знали все. Худощавый молодой человек, лет двадцати пяти, со светлыми, застенчиво глядящими на людей глазами, в которых иногда отражалась густая синь памирского неба, -- он встретился с нами в киргизской юрте на берегу бешеной в летнее время реки Ак-Байтал. Он был в киргизском чапане (халате) и в малахае. Он разговаривал тихо, но, может быть, веселей, чем всегда, потому что с двумя товарищами он ехал туда, где скрывалась банда басмачей, ехал, чтобы взять в плен ее главарей. Дустдор (как мы его называли для краткости, отбросив вторую часть его прозвища) смущенно улыбался, он не знал, что троим нападать на целую банду -- очень смелое, почти безумное дело.

Дустдор сказал, что на Памире, где-то в районе Хорога, у реки Шах-Дара есть ляджуар. Дустдор обещал через месяц вернуться в Хорог и, если мы будем в Хороге, показать нам образчик, принесенный ему стариком шугнанцем, и сделать все, чтобы мы разыскали месторождение.

Мы поверили смелому человеку в том, что он вернется живым, и в том, что на Памире есть ляджуар. Мы сказали себе: "Поедем в Хорог!"

После восточнопамирских каменных мертвых пустынь, после четырехкилометровых высот перед нами -- Афганистан. Белые домики, статные тополи, арыки, шорох фруктовых садов. В глубоком ущелье, в устье Гунта, свивающего с Пянджем перекрученные, узловатые воды, уже не в мечтах, а в обыденной простоте -- шугнанский город Хорог, столица Памира. Как на ладони, на маленькой площади держит он большой постамент, на котором лицом к Афганистану -- бронзовый Ленин.

Женщина выходит из зыбкого сада, и мне, оборванному всаднику, протягивает спелое яблоко...

А на воротах крепости: "Добро пожаловать" -- красный плакат, потому что известно здесь: в Хорог въезжают только победители долгих и трудных пространств.

Начальник Памиротряда тов. Стариков, тот человек, власти которого вверено спокойствие этой высокой страны, пожимает мне руку и, вынув из кармана большой двубородый ключ, молча передает его мне.

От крепости? -- улыбаюсь я.

От моей квартиры, -- серьезно отвечает Стариков. -- Я живу один. Располагайтесь. Я вернусь домой после службы...

В Хороге нам рассказали:

"Есть ляджуар. Но горы, в которых находится он, заповедны. С дальних времен неприступная скала охраняет его. Во времена владычества кизыл-башей -- "красных голов" -- приходили из Индии кафиры, "сиахпуши", что в буквальном переводе на русский язык означает -- черная одежда. Приходили,

чтобы добывать ляджуар. Но скала с ляджуаром отвесна. Веревок и лестниц не было, да и разве хватило бы их? Тогда сиахпуши потребовали, чтобы шугнанцы привели с ШахДары "духтар-и-инорасид" -- невинную девочку, и "бача-иноборид" -- необрезанного мальчика, а еще -- от замин Бегимэ -- с земли женщины Бегимэ -- принесли бы пшеничной муки. Есть кишлак Рэджис по Шах-Даре, вот там -- земля Бегимэ. Шугнанцы -- мирный народ -- исполнили требование. Сиахпуши заставили их принести еще "эздум-и-голь-хор" -- дров из шиповника -- и разложили под скалою жертвенный костер, и молились своему богу, и кричали, и пели, и сожгли детей на костре. А потом резали скот и прикладывали мясо к скале. На такой высоте это место, что холод там вечно: кровь скота замерзала, и мясо примораживалось к скале. Но не хватило скота, и тогда сиахпуши -- проклятье им! -- стали резать наших людей -- шугнанцев. И хватило людей, мясо примерзло, и по этой лестнице сиахпуши достигли, наконец, ляджуара. Но потом -- ну, надоели они! -- собрались наши дехкане и перерезали всех сиахпушей, и больше никто не пытался добывать ляджуар. Это священное место, никто не знает его, а кто узнает -- погибнет. Не надо его искать, не надо туда ходить. Только безумец может искать свою гибель".

... Дустдор вернулся в Хорог. И мы перебрались от Старикова в его маленький дом. Дустдор ничего не рассказывал нам о своей победе.

Дустдор показал нам образец ляджуара. Камень был синь и чудесен, словно вобрал в себя все небо Памира. Я положил его на ладонь, как холодное синее пламя, и задумчиво смотрел на него.

В Индии, в древнем Иране жгли этот камень и растирали в тонкий порошок. Смешивали порошок со смолою, воском и маслом, промывали, и тогда оседала краска тончайшей синей пылью. Лучшие художники покупали этот драгоценный ультрамарин. Ибн-Хаукал, Шехабеддин, Абулфеда, Тейфаши, Эдризи, Ибн-Батута -- все старые писатели Востока говорят нам об этом. Но камень побеждает человека и живет второй жизнью, -- и "Мадонна Литта" с грустью жалуется профессорам Эрмитажа, что синие цвета ее темнеют и блекнут, потому что в них выкристаллизовывается ляджуар...

Скифы носили бусы из ляджуара. О хорошем ляджуаре Скифии говорят Теофраст и Плиний. Древний мир резал из ляджуара рельефы и выпуклые фигуры. Ляджуар был излюбленным и дорогим камнем Китая. Китай украшал им чаши, шкатулку, делал из него перстни, амулеты и статуэтки. В исторические времена из ляджуара изготовлялись шарики на головные уборы мандаринов как эмблема их власти. Синий цвет его ценился так высоко, что китайское искусство окрашивало в этот же цвет любимый китайцами камень агальматолит, чтобы он был похожим на ляджуар. Монгольские караваны, проходившие великую пустыню Гоби и Ургу, доставляли ляджуар в Кяхту. И, обменивая фунт ляджуара на фунт серебра, монголы рассказывали, что волны прибивают к берегу озера Далай-Нора куски этого камня. Почти вовсе не знала употребления ляджуара Европа до начала XIX века и очень высоко ценила его. Предметы из ляджуара насчитывались единицами. Что можно припомнить? Чашу Франциска I; стол, "блистающий драгоценными ляписами", который гости видели на свадьбе Марии Медичи и Генриха IV в 1600 году; четырнадцать предметов Людовика XIV: два кубка, три гондолы, четыре чашки и вазы различной формы; и самый крупный кусок ляджуара -- поднос в девять с половиной дюймов -- в коллекции Буало, в 1777 году. В XVIII веке ляджуар вытеснил золото, и обладание им считалось почетным. А в XIX веке, с открытием прибайкальского месторождения, ляджуаром занялись "императорские" гранильные фабрики Екатеринбурга и Петергофа. Тонкими пластинками ляджуара, составленными из отдельных маленьких кусочков, облицовывали они ящички и шкатулки, столовые часы и колонки для шкафов. Петергофская гранильная фабрика облицовала ляджуаром колонны Исаакиевского собора, в семь аршин вышины и четырнадцать вершков в диаметре, и эта работа была произведена дважды: Монферан забраковал колонны, сделанные из прибайкальского ляджуара, и поставил их у себя в доме на Мойке, а для Исаакия был выписан ляджуар из "страны бухарской", тот афганский ляджуар, на перепродаже которого наживались эмирские богатеи купцы. 78 ^{1}/2 пудов камня

ушло на эти колонны. Известны также подаренная в 1873 году Александром II германскому императору модель "Медного всадника", в которой скала сделана из превосходного куска ляпис-лазури. Облицовка Мраморного

зала в Мраморном дворце, облицовка Лионского зала Царскосельского дворца, вазы, столы и чаши в Эрмитаже -- вот ляджуар, которым может теперь любоваться каждый посетитель наших музеев.

Центральная Индия, Тибет, Южный Китай, Афганистан, Иран -- вот круг, который замыкает все указания на источники вывоза ляджуара. Расплывчатый в древности, с течением времени все суживавшийся, круг этот теперь превратился в точку, и эта точка -- копи бадахшанского месторождения в Афганистане...

Да!.. Но мы ведь на Памире, а не в Афганистане!

... Я положил камень в папиросную коробку Дустдора. Свернул махорочную цыгарку и закурил.

Советский минералог, приглашенный в 1928 году в Афганистан, но не получивший разрешения падишаха посетить копи ляджуара, расположенные в трех километрах южнее небольшого кишлака Горан, на крутом обрыве западного склона реки Кокча (иначе называемой рекой Джирм), мог только побеседовать с местными жителями, побывавшими на этих копях. Они рассказали ему, что копи находятся на высоте в пятьсот метров Йад дном ущелья: "Тропа от реки к копям идет круто вверх среди крупных глыб и скал, очень трудна и доступна только для человека. Главная копь, в виде наклонной галереи, по которой может итти, не сгибаясь, человек, проходит вглубь горы на восемь км. Кроме главной копи, имеются еще несколько меньших выработок, но последние давно брошены, так как лучший камень добывается только из главной копи, в темном известняке. Копи не работаются уже 11 лет, в настоящее время вход в главную копь заделан камнями с цементом, и на него наложены печати падишаха; подходить к копям запрещено под страхом смертной казни".

И, сравнивая список минералов афганского Бадахшана -- графит, шпинель, лимонит, малахит, олигоплаз, гранит, лазурит, ортит, черный турмалин и другие -- со списком минералов Западного Памира, этот ученый говорит, что "за исключением лазурита и ортита в Бадахшане встречены те же минералы". |

... Значит, все-таки ляджуара -- лазурита -- на Памире нет?

-- Ваш начальник всерьез решил отправиться на поиски ляджуара?

В серых глазах моего собеседника почти неуловима ирония. Его щеки втянуты, словно прилипли к челюстям. Он желт. Тропическая малярия, видимо, измотала его, Я отвечаю ему:

-- Совершенно всерьез.

-- Я не думал, что он такой легкомысленный человек! -- уже открыто улыбается собеседник.

А все-таки не брехня ли наш ляджуар? Стоит ли всерьез приниматься за его поиски? Но мы решили, и мы найдем ляджуар. Мы не можем его не найти!

8 лунную ночь, под шум многоводного Гунта, хорошо погружаться в раздумье. В ту пору, в тридцатом году, мне часто приходилось углубляться в геологические раздумья. Я знал, что ляджуар бывает связан с мраморами, и стал думать о гигантской гнейсово-мраморной свите, которою, по описаниям индийски" геологов, сложен хребет Гиндукуш. Южная граница этой свиты находится в пределах Индии и Афганистана. Северная граница -- на нашем, советском Памире. Это одна и та же свита, мощная, жесткая, плохо поддавшаяся сминанию в период горообразовательных процессов. Если она плохо поддавалась сминанию, значит больше разламывалась и растрескивалась. А по разломам и трещинам впоследствии поднимались изверженные породы. Как уже объяснено выше, они метаморфизовывали породы, с которыми соприкасались. Так в зоне контактов образовались различные минералы. Так появились на Юго-Западном

Памире бесчисленные образования гранатов, так возникло в Куги-Ляле, неподалеку от Хорога, известное с глубокой древности месторождение лалов -- рубина, точнее, благородной шпинели. Так, не сомневаюсь, образовался и ляджуар в Афганистане. От афганского месторождения до реки Бадом-Дара, впадающей в Шах-Дару, по прямой линии не больше ста километров. Для геологических масштабов это ничтожная величина.

Если мы найдем ляджуар, то точка, до которой сузился круг, замыкающий указания на источники вывоза ляджуара, окажется чуть больше. Мы докажем тогда, что в древности ляджуар вывозился и отсюда, где находимся мы, -- с Памира!

9 августа 1930 года. Белый, простой, как казарма, дом исполкома. Большой стол в маленькой комнате. Тесно. В конце стола -- председатель, шугнанец. В комнате люди Шугнана: пастухи, охотники, совработники. Старики и комсомольская молодежь. Халаты, майки, пиджаки. Чалмы, тюбетейки и кепки. Пехи, сандалии, ичиги и русские сапоги. Шугнанцы ломают русскую речь, русские ломают шугнанскую; Дустдор переводит, и голоса плывут в табачном дыму, как гул Гунта, катящего валуны за стеною дома облисполкома. На столе -- великолепный образчик афганского ляджуара -- зависть наша и зависть Шугнана. Заседание партбюро * открывается. Я пишу протокол.

* В те годы в Хороге не было обкома партии, а было партбюро.

"Слушали:

Сообщение Дустдора, что ляджуар есть в районе реки Шах-Дара. Точное местонахождение ляджуара известно только нескольким горцам -- старым шах-даринским ишанам, но они держат его в секрете.

Сообщение кишлачного председателя Сафара, что хотя он и не видал здешнего ляджуара, он знает: ляджуар есть не только светлый, но и очень хороший, темносиний.

Сообщение председателя пижне-шах-даринского сельсовета Зикрака о том, что есть гора ляджуара, очень высокая и отвесная, влезть на нее нельзя, но если подорвать ее динамитом по диагонали, трудности восхождения можно преодолеть. Зикрак утверждает, что видел эту гору в молодости, когда был пастухом".

Сообщения шугнанцами обсуждаются с энтузиазмом. В их взволнованных речах -- Шугнан темный и ждущий культуры, бедный, бездорожный, скалистый, отрезанный от всего света сотнями непроходимых, таинственных снежных хребтов; Шугнан, по тропам и оврагам которого, на невероятной высоте, люди ходят, как мухи по стенам, срываются вниз и гибнут; Шугнан, в котором земля мерится тюбетейками, -- так ничтожны в нагромождениях скал площадки, годные, для посева...

Но не вечен этот Шугнан. Перед ним выросло большое слово -- советский. И заседание партбюро бурлит, и я слышу обрывки речей:

"... Наши горы богаты. Мы не знаем о них... Теперь надо знать, и у нас своя пятилетка, надо чинить мосты, строить мосты, чтобы дехканин не проваливался на каждом шагу, надо проводить дороги, чтобы можно было легко проехать верхом, каждый день у нас гибнут лошади... "

Врывается гордый старческий голос:

"... Надо строить дома, у нас есть уже школы, надо еще школы делать, много надо, товары надо везти, землю взрывать, пшеницу сеять, скот умножать, тут разводить, шелк продавать, все надо!.. "

Другой, полудетский голос перебивает его:

"... К концу пятилетки ни один дехканин не будет есть патука, от патука кривятся ноги, -- только пшеницу есть будем... "

И опять старческий, дребезжащий:

"... А сначала дороги, мосты и дороги... "

Третьему, охрипшему, помогают взмахи руки, слышу, как хлопает широкий рукав халата:

"... Откуда деньги взять? Советская власть помогает нам. Хорошо? Нет, плохо. Мы у московских дехкан берем зерно и деньги. Мы берем у них от их богатств. Спасибо им, ну, а мы сами что? Мы должны сами добывать деньги, у нас есть деньги, сегодня они валяются в горах, надо собрать их, у нас есть большие богатства, позорно о них забывать".

Я слышу обрывки речей. Они переплетаются, горят, из них вырастает формула ясная и простая:

-- Спасибо русским товарищам из Ленинграда. Поможем им найти ляджуар, у них хорошие головы, скажут, какой он -- богатый или плохой, если богатый -- сделаем копи, за ляджуар Шугнану большие деньги дадут.

Все говорили разом, образчик афганского ляджуара ходил по рукам, бился в руках, как синяя птица.

И все же на вопросы, поставленные в упор, мы не добивались прямого ответа: "Нет, сам не видал... Слышал, знаю, что есть у нас ляджуар, а сам места, где он лежит, не видал". Это говорили горцы, вдоль и поперек излазившие родную страну. Один Зикрак, видимо, знал больше других.

И в графе "постановили" я записал:

"Оказать всемерное содействие экспедиции тов. Юдина. Просить председьсовета Нижней Шах-Дары тов. Зикрака проводить экспедицию до месторождения и найти среди населения Шах-Дары проводника, который бы точно знал о местонахождении ляджуара. Просить председьсовета Верхней Шах-Дары тов. Хувак-бека присоединиться к экспедиции в кишлаке Тавдым и также сопровождать ее до конца. Дать экспедиции подрывника для динамитных работ".

Нам подарили образчик афганского ляджуара. Мы обещали отдарить их ляджуаром шугнанским. Нам жали руки, и нас проводили до дома.

По Шах-Даре и Бадом-Даре

Из дневника:

... Выезжаем за ляджуаром: Юдин, Хабаков, Маслов, я и Зикрак. По всем имеющимся у нас данным, Шах-Дара -- район абсолютно спокойный. От подрывника мы отказались: пусть продолжает он взрывами строить дорогу из столицы Шугнана, мы как-нибудь обойдемся и без динамита. Я с Е. П. Масловым и единственной нашей вьючной лошадью выезжаю вперед. Выбравшись из Хорога и процокав дорогой и тропами, врезанными в синюю тень абрикосовых садов, переправившись на левый берег Гунта по высокому, неверному, приплясывающему мосту, наши кони вынесли нас к ШахДаре, немного выше устья. Здесь -- застывший шабаш покалеченных, сорвавшихся сверху гранитных скал. Переправа по мосту на правый берег Шах-Дары, дорога истончилась в тропу, вихляющую спусками и подъемами. Река, придавленная

скалами, усыпанная камнями, корчится в быстрых судорогах и хрипит глухо и шумно, так, что я не слышу своего крика. Тропа местами совсем сужается, норовя не пропустить вьючную лошадь. На горах -- зеленые лоскутки посевов. Их мало, потому что склоны изломаны и круты. Подъезжаем к большому кишлаку Рэджис. Перед ним волнистые посевы высокой ржи, пастбищная луговая площадка, неохватные деревья -- грецкий орех, тополи. Привставая на стременах, срываем абрикосы, урюк, яблоки, персики. Персики еще не созрели.

Кишлак Рэджис... Тот самый, где "вамин Бегимэ".

Дальше... Бросаю дневник... Дальше -- граниты, огромные валуны гранита и на несколько сот метров над зеленой отарой долин нагромождения грандиозных морен. Они спускаются вниз, подпруживают Шах-Дару, и река, клокоча пеной, грохоча, рвет себе русло, пропиливает гранит и на поворотах отдыхает спокойствием широких излучин. Здесь белый песок нежит ее берега. Здесь сквозистые ивы стоят по колена в спокойной воде. Здесь долина выгибается

тенистыми амфитеатрами. В их ярусах лениво полулежат кишлаки. Паригет, Тавдым, Тир, Тусиян, Куны, Мендышор, Чакар, Парзудж, Заринц -- вот странные их названия. В кишлаках, в каменных лузах оград колосятся пшеница, рожь и ячмень, качаются пугала на гибких шестах. Дети и женщины с камнями в руках бродят между ними и кричат, звенят голосами, с утра до ночи кричат и швыряют каменья в птиц, а птицы привыкли, не боятся, не хотят улетать. И так утомляет шугнанок это швыряние камнями, что они без сил возвращаются в свой плоскокрышший дом и распластываются на глинобитной веранде -- далице. А над маленькими, сложенными из остроугольных камней домами, которые здесь называются чодами, стоят тополи, и белесая луна всходит, скользя по снежным кромкам высоких хребтов, распространяя по нагретым ущельям прохладный зеленый свет. И я пил эту ночную прохладу, и я долго глаз не смыкал, когда в тихих кустах облепихи между кишлаками Заринц и Бедист мы завалились спать, расседлав после жгучего дня лошадей, выпив чаю со сладким тутом и маленькими лепешками.]

В 1930 году еще не было на Шах-Даре колхозов. Тогда эта; часть Памира еще ее называлась Рошт-Калиноким районом, а сам нынешний районный центр -- Рошт-Кала был глухим, маленьким кишлаком, над которым на отвесной скале нависали руины старинной крепости. Никто не поверил бы тогда, что в Рошт-Кале появится средняя школа и школьники по вечерам будут играть в футбол. Никто в шах-даринском кишлачке Сендив не знал тогда, что выехавший верхом в Дюшамбе, чтоб учиться там, шестнадцатилетний юноша Мирсаид станет известным всей Советской стране поэтом, лауреатом Сталинской премии Мирсаидом Миршакаром. Никому и в голову не приходило, что над устьем реки Шах-Дара, на высокой террасе, где жил ишан и которая поэтому называлась ишандаштом, вырастет знаменитый высокогорный Памирский ботанический сад -- слава всех колхозов Памира, получающих от него саженцы новых, неведомых на Памире плодовых культур. Никто не поверил, бы тогда, что на шах-даринских каменистых землях, где возникнут колхозы имени Ленина, Сталина, Калинина, Молотова, Орджоникидзе, Буденного и другие, зашумит листва новых плодовых садов, вырастут рощи деревьев -- питомцев будущего лесхоза. Никто не ведал, что вдоль ШахДары, где вились головоломные тропинки, запросто будут бегать автомобили, завозя книги в библиотеки, товары в магазины и увозя с Шах-Дары зерно, коконы, урожаи фруктов.

Все это есть сейчас. Всего этого не было в том тридцатом году; но и тогда Шах-Дара, конечно, только по сравнению с другими, очень бедными в то время местностями, считалась самой богатой долиной Шугнана.

... -- В Нижней Шах-Даре сто девяносто восемь чодов, тысяча семьсот... да, семьсот тридцать восемь людей. Это маленькие, и большие, и совсем старые... А лошадей сто пятьдесят три... Зерна у нас сеют два амбана на два рука.

На одну душу? -- переспросил я.

Да так. Посеяли в этом году пятьсот девяносто амбанов.

Я знаю: амбан -- это пять пудов. Я знаю, что цифры, которые мне сообщают -- весьма приблизительны, хотя и сообщают мне их с точностью до единицы.

-- В Верхней Шах-Даре кишлаков одиннадцать, чодов двести шестьдесят три, людей... Да людей? Наверное, две тысячи триста будет...

Все это, разлегшись под тутовым деревом, мне говорят Зикрак -- степенный, променявший свой глим -- суконный халат -- на затрепанный афганского покроя френч, и его друг, присоединившийся к нам на второй день пути, Хувак-бек -- всегда возбужденный, сверкающий белками черных глаз, похожий на грека.

Они долго спорили, и долго подсчитывали, прежде чем сказать эти цифры мне, и много смеялись, и дразнили друг друга, когда их подсчеты спотыкались о неуверенность и когда выяснилось, что есть в горах такие затерянные кишлаки, которых никогда не посещал ни один из них. И больше всех дразнил

Хувак-бека наш всезнающий и положительнейший рабочий Маслов, Егор Петрович, жилистый, выносливый, сильный сорокалетний мужчина, одиннадцать лет подряд пробродивший с экспедициями по Тянь-Шаню, Кашгарии, Китаю, Монголии и Памиру, человек на все руки, наш педантичный учитель в премудростях вьючки и обращения с лошадьми, любитель дальних странствий и закоснелый ругатель. Впрочем, Хувакбек умел яростно защищаться и выбивался из сил, чтобы продемонстрировать перед Егором Петровичем все свои лучшие качества. Теперь уже он вел нас по территории своего сельсовета. В кишлаках нас угощали джирготом (кислым молоком) и тутом. Мы уже третий день поднимались по Шах-Даре. Скалы сужались над нами. Становилось все холодней, -- природа стала суровее. Мы поднимались по узкой тропе, выше старинной, прилепившейся к отвесной скале крепости Рошт-Кала, наши лошади спотыкались и падали, и мы уже забывали ругаться, замирая, когда лошадь срывалась, и облегченно вздыхая, когда она умудрялась задержаться за куст или камень. Мы молчали, вытягивая, поднимая ее, и осматривали ее окровавленную морду и ноги.

Здесь, по этой тропе, наступая на Рошт-Калу, в которой засели афганцы, когда-то, в 1894 году, бился с захватчиками шугнанской земли маленький русский отряд капитана Скерского. Солдатам справедливо казалось тогда, что они забрались на край света, -- до них русских людей в этих неведомых скалистых теснинах не было. Старинная крепость Рошт-Кала, в которой укрепились афганцы, была удобною ключевой позицией. Но малочисленному русскому отряду помогали шугнанцы -- местные, мирные жители, успевшие возненавидеть афганцев за немногие годы их жестокого хозяйничания на шугнанской земле.

Участник похода, военный инженер А. Серебренников, так говорил о шугнанцах: "таджики Шугнана честны, правдивы... ", "главным основным качеством таджиков Шугнана, не подлежащим сомнению, является, бесспорно, трудолюбие... ", "случаи воровства бывают очень редки и, например,. среди всего населения Шах-Дары бывают не более двух-трех раз в год... ", "пьянство у них совершенно отсутствует... "

И дальше в своем "Очерке Шугнана" он рассказывает: "Ханы и афганцы руководились лишь желанием добыть по возможности больше, хотя бы при этом выжимались последние соки из порабощенного и угнетенного народа... ", "Будучи деспотическим повелителем и владетелем земли и народа, хан, благодаря миниатюрности своих владений, становился непосредственным доходчиком с народного труда и оставлял народу лишь столько, сколько необходимо для того, чтобы не умереть с голоду... " И однако: "Как ни тяжела была жизнь таджиков Шугнана при ханах, как ни велики и обременительны были платимые ими подати, все-таки при появлении афганцев их участь еще более ухудшилась. Если собственные правители и теснили народ в материальном отношении, то они не помыкали ими, не считали их еретиками, тогда как сунниты-афганцы, не уменьшив, а даже увеличив налоги, вдобавок еще третировали шиитов-таджиков, которые, по их понятиям, едва ли не хуже собаки... "

С помощью шугнанцев, которые отнеслись к русским, как к своим освободителям от афганского ига, крепость РоштКала была взята. Через год по Пянджу была установлена государственная граница России с Афганистаном, рассекшая Бадахшан пополам. На Шах-Дару и на правый берег Пянджа, как и на весь Памир, через двадцать два года принесла свободу и национальное самоопределение советская власть. По ту сторону Пянджа, в афганском Бадахшане, все осталось, как прежде: дикость, бесправие, порабощение, чудовищная нищета.

... А тропа по Шах-Даре была действительно трудной. Пишущий о ней офицер, участник похода отряда Скерского, предлагает представить себе, -- я цитирую в точности, -- "узкое ущелье с несущейся по нему горной рекой,

берегами которой служат отвесные каменные громады. Кипящие воды реки с шумом ударяются о мрачный гранит, разбиваются в мелкие брызги и, пенясь, со станом отскакивают назад и снова с той же силой стремятся вперед, сворачивая на пути своем огромные камни. Вот по одному из таких берегов тянется, как бы высеченная рукой человека, узкая, еле проходимая тропа, сплошь заваленная осколками камней, сорвавшихся с окружающих высот. Тропа эта то опускается к самой реке, то вдруг круто поднимается вверх и совершенно пропадает". И дальше, с наставительным замечанием по поводу "борьбы человека с природой" пишет офицер о балконах, настроенных "вот в таких-то местах", о том, что, взломав часть скалы, к ней прикладывают деревянные балки из местного малорослого тальника, кладут хворост, снова наваливают балки, и все это засыпают землей. В некоторых местах встречались карнизы, устроенные самой природой.

"Саженей на пятнадцать над рекой выдвинулся пласт и висит над пропастью, служа продолжением пробитой тропы; по такому куску гранита, как по балкону, проходят лошади и люди. Ни перил, ни даже возвышения нет по краю его, голый камень -- и только... В одном месте балкон, когда по нему проходила лошадь, навьюченная патронными ящиками, со страшным треском подломился, и несчастное животное, увлекая при падении свой тяжелый вьюк, разбиваясь о камни, упало в реку. Мелькнули раза два голова и ноги его над поверхностью пенящейся реки, и все скрылось в ее быстрых, холодных волнах... "

Но у нас нет патронных ящиков, а Егор Петрович и не в таких местах сумеет провести лошадь. Мы привыкли к таким переходам, мы знаем места потруднее. Мы приближаемся к Вяз-Даре и проходим ее. Все мы здоровы и веселы. Мы смеемся, увидев первый в наших памирских странствиях лес и кучи изломанных деревьев на берегу реки, за шатким мостом у кишлака Трай. Еще раз пересекая плодородный оазис кишлака Медынвед, мы ежимся от холодного, хорошего ветра и подъезжаем к последнему кишлаку в нашем подъеме по ШахДаре -- к яркой луговине Барвоза. Высота его -- 2 990 метров по анероиду Хабакова. Здесь на лугу отара овец и группа женщин. Увидев нас, женщины бросаются врассыпную, но останавливаются, когда Зикрак окликает их. К Зикраку подбегают два мальчика, и, нагнувшись с седла, он целует их: "мои племянники".

Мы переехали вброд рукав Шах-Дары и развьючились на опушке рощи, у запруженного ручья. Сухие ветви, костер, баран, зарезанный нам на плов, молоко, разговоры с любопытствующими жителями Барвоза о носильщиках, ибо завтра мы двинемся в сторону, в такие горы, по которым вряд ли пройдут наши лошади. Приходит тот охотник, который вызвался быть нашим проводником к ляджуару. Зовут его Карашир, что значит: "Черное молоко", в зубах его черная трубка из афганского нефрита с надписью арабскими буквами: "Такой-то продал трубку такому-то". Вечером -- холод, ветер и дождь, у нас давно уже нет палатки, мы ложимся рядком под деревьями, накрывшись одним брезентом. Дождь стучит по брезенту; очень холодно, мерзнем, но спим.

А утром, разделив вьюк на двух лошадей (мы все же решили ехать верхом), мы выступили из Барвоза, вверх по крутому склону, мы переехали этот склон по чуть заметной тропе, и Шах-Дара раскинулась перед нами такой, какой ее видят в полете птицы: ее излучины, рукава, ее лес и луга с пасущимися коровами все уменьшались, наконец исчезли за поворотом тропы. Уже ни деревьев, ни кустов, только редкие альпийские травы да белые на высоких стеблях цветы жаш, длиннолистные кустики ров и сиреневые, похожие на незабудки цветки.

Несколько столбиков из камней, сложенных пастухами, развалины каменной хибарки, осыпи, груды замшелых камней и отвесы над рекою Бадом-Дара, отвесы такие, что БадомДара кажется вычерченной внизу тонким серебряным карандашом. Моя лошадь часто раздумывает: куда поставить копыто, под которым вдруг пустота в полкилометра. Юдин назвал путь наш "сердцещипательным", а хабаковский анероид показывает 3 420 метров. Выше над нами -- снег; слева напротив, над Бадом-Дарою, -- вертикальный отвес в километр вышины над

рекой; впереди внизу -- единственный за весь день кишлак, к которому мы уже спускаемся, спешиваясь и ведя осторожных лошадей в поводу. В кишлаке Бадом всего три семьи, пять-шесть мужчин. Впервые за все времена в их кишлаквъезжают русские люди -- всадники, одетые по-походному, обвешанные какими-то блестящими инструментами и приборами. В первую минуту жители перепуганы, но когда им объясняют, кто мы, они окружают нас с любопытством и сопровождают до окраины кишлака. Пересекаем кишлак, пересекаем посевы гороха, долго спускаемся к боковому притоку и, взяв его вброд, долго ищем по берегу Бадом-Дары места для ночевки, потому что опять ветер, рваные черные тучи и дождь.

Каменная лачуга на пяди ровной земли. Брошенная летовка -- последнее человеческое жилище. Теперь никто в мире не знает, где мы. Десятиверстная карта пустует. На ней нет ничего: ни этой летовки, ни кишлака, который мы миновали сегодня, ни даже Бадом-Дары. Здесь не был ни один исследователь, и на карте значится: "Пути нанесены по расспросным сведениям". Найдем ли мы ляджуар? Не миф ли все это? Одна из легенд, подобных легендам о дэвах, о пир-палавонах, о золотых всадниках, спустившихся по солнечному лучу, о яшиль-кульских драконах, о светящейся ночью и днем рангкульской пещере... Половина жителей этой страны еще верит в них... Я вспоминаю образчик Дустдора. А что, если он из Афганистана? Он мог пройти через сотню рук, мало ли что могли о нем наплести!

Сидя на камне в летовке, Юдин спрашивает"

-- А здесь ханы нет?

Хана -- так называется здесь клещ, укус которого смертелен. Зикрак, показывая на соломенную труху, заваливающую земляной пол, говорит утешающим тоном:

-- Есть... Много...

Мы по щиколотку в трухе, в которой роются, переползая с места на место, сотни наших смертей. Тот из нас, кого хоть одна коснется, никогда не уйдет отсюда. В его глазах Памир закружится медленным, последним туманом. А остальные вынесут его из лачуги и навалят на него груду острых камней... Впрочем, нам уже все равно.

Мы утомлены. Мы хотим есть...

Ужин готов. Маслов посылает за водой Хувак-бека. Тот не двигается и, смеясь, говорит:

Я больной.

Ты больной, тебе об лоб можно годовалого поросенка убить!

За ужином Маслов не дает Хувак-беку есть: ты, мол, больной. Потом дал. Хувак-бек ест доотвала. Маслов накладывает еще. Тот больше не может. Маслов деловито ругается:

Ешь, а то не пустят тебя туда.

Куда?

В рай не пустят.

Его и так не пустят! -- вмешивается Хабаков.

Почему?

Туда с партбилетом не пускают! Вот тебя, Егор Петрович, пустят.

Ни в какую меня не пустят.

Почему?

Туда старослужащих тоже не пущают...

Дождь прошел, и снова собирается дождь. Лошади понуро стоят у летовки. Маслов толкает под бок Зикрака, кивнув в сторону Хувак-бека:

Спроси его: дождик будет сегодня? Зикрак переводит ответ Хувак-бека:

На других не будет, на тебя будет.

Хувак-бек что-то возбужденно говорит, отчаянно жестикулируя. Маслов слушает, слушает, клонит голову набок, потом безнадежно махнув рукой:

Не понимаю я в ихнем языке.

А ты выучи, -- язвит Хабаков.

-- А мне не надо, потому больше я сюда не поеду... если живым выберусь.

Уже четвертый год твердит это Маслов, и четвертый год подряд ездит с экспедициями на Памир.

Босиком, в белом глиме -- халате, подпоясанном красною тряпкой, в халате, надетом на голое тело, голубоглазый шугнанец приводит овцу из Бадом-кишлака. Ее заказал Зикрак. Высыпаю серебро на ладонь шугнанца. Он доволен, смеется.

В единственную дыру, заменяющую в летовке дверь, вижу возню шугнанцев, нож, вспарывающий горло овцы, струйку крови, а за ней -- ползающие по долине и по горам облака. Они рвутся, открывая иззубренный скалистый гребень хребта, с висячими ледниками и снегами, -- тот гребень, где месторождение ляджуара и куда мы завтра пойдем.

Налево от летовки -- разрушенная башенка из массивных осколков камней. Зикрак говорит, что шугнанцы построили эту

караульную башню, когда была война с сиахпушами. Он выпрямляется и, как полководец, как Искандер-зюль-Карнайн, гордо обводит скалы рукой:

-- Вот тут наши стояли, а вот там, внизу -- видишь, скала похожа на морду яка? -- они. Мы кричали им: "Уходите в вашу страну". А они отвечали нам: "Мы пришли сюда взять ляджуар. Нас так много, что если все мы плюнем зараз, ваша страна потонет". Тогда наши шугнанцы сворачивали большие камни и, знаешь, рафик, делали так: под большой камень подложат маленький и к маленькому аркан привяжут. Если дернуть аркан, маленький выскочит, большой вниз летит. Один летит, -- значит, сто сразу летят. Хорошо убивали мы сиахпушей! А они правду сказали: много их было. Очень много. Плохо нам приходилось... Скажи, ты знаешь, почему ляджуар синий, если столько крови от него было? Вот лал... Ты лал-и-бадахшон видел? Тоже много крови было из-за него. Он обливался кровью, и, говорят старики, потому он красный. А ляджуар синим остался. Почему?

Я не знаю, почему рубин красный, а ляджуар синий. Зикрак говорлив сегодня. Он дразнит меня своими легендами. И чтоб хоть чем-нибудь ему отплатить, легенды начинаю рассказывать я.

-- Зикрак, -- говорю я, -- вот у вас собирают колосья и складывают их на площадку. А потом волы ходят по кругу и вытаптывают зерно. Нигде теперь не молотят так, только у вас, в Шугнане. А была такая страна, там тоже зерно молотили волами. Четыре тысячи лет назад. Пять тысяч. Ты подумай: это очень давно -- пять тысяч лет! Ходили погонщики за волами и пели однотонную песню: "Молотите себе, молотите себе, волы, молотите себе, молотите себе солому на корм, ячмень для господ ваших, вы не должны отдыхать, ведь сегодня прохладно... " Так пели погонщики. Они были рабами. Вы тоже были рабами недавно. Это была большая страна. Ее жители верили в солнце и солнце считали богом. Вы тоже верили в солнце еще недавно. И в огонь верили... В эту страну везли ляджуар. Может быть, отсюда везли, от вас. И он считался там лучшею драгоценностью в мире, дороже золота и дороже алмаза. Там ляджуаром владели только цари. Одного царя звали Тутмес III, статуя его -- изображенье его -- была покрыта золотом и ляджуаром. Другой -- Тутанхамон -- украсил ляджуаром свое царское кресло. А верховные судьи носили на груди маленькие подобия богини, которую звали Маат. Это была богиня Истины, и подобия ее изготовлялись из ляджуара. А бедняки не могли достать ляджуара и глиняных своих божков -- ушебти -- загробных ответчиков -- покрывали стеклом, синим стеклом, чтоб они были похожи на сделанные из ляджуара. Из той страны цари

посылали за ляджуаром купцов. Корабль одного из таких купцов потерпел крушение, купец был выброшен морем на остров. Там были винные ягоды и виноград. Там были рыба и пернатая дичь, там было все, и не было ничего, что не существовало бы там. И купца встретил змей, громадный змей в тридцать локтей длиной. Он был хозяином этого острова. У змея были человеческое лицо и длинная борода. Он сверкал позолотой и, когда передвигался, производил шум, грозный, подобный грому, деревья гнулись и дрожала земля. Но знаешь, какие у него были брови? Его брови были из ляджуара, и само небо завидовало этим бровям, потому что у неба звезды были бледнее, чем те (я вспомнил золотистые вкрапления колчедана, которые всегда считались качеством, еще более увеличивающим ценность ляджуара) золотистые точки, которыми поблескивал этот ляджуар. Брови у змея были подобны звездному небу и лучше звездного неба... Что тебе еще рассказать, Зикрак? Змей подарил купцу-мореходу много слоновых клыков, благовоний и кусков ляджуара и отпустил морехода домой... Я много знаю об этом змее. Рассказать тебе все?

Зикрак слушал меня сосредоточенно и с высоким вниманием. Тут он оглядел потемневшее и давно уже звездное небо и спокойно сказал:

-- Ты хорошо рассказал, рафик. Расскажи еще. О змее -- не надо. О море скажи. Я не знаю, что такое море. Один русский говорил мне о нем. Так много воды, что оно занимает места больше, чем все горы Памира, Кашгарии, Канджута и страны Афгани. Правда ли это? И что такое корабли? Как их строят?

Я понял, что напрасно вспомнил египетский "Рассказ о потерпевшем кораблекрушение". Я понял, что председателю нижне-шах-даринского сельсовета Зикраку интересней было б услышать от меня рассказ о Совторгфлоте и, скажем, о Балтийском судостроительном заводе. Вот такие легенды он бы слушал всю ночь. Но...

... Поздно, темно, холодно. Босоногий шугнанец уходит, перекинув через плечо шкуру овцы и задрав на спину глим, в котором овечьи ноги и голова.

-- Завтра, -- говорю я Зикраку, -- завтра я расскажу тебе все, что знаю о море.

Месторождение найдено!

15 августа 1930 года. Просыпаюсь. В летовке темно. Как гигантский примус, шумит река. В дверном проломе две горные громады: черная и белая, снежная. Над ними яснеющее небо.

Перед проломом -- туша овцы, подвешенная к потолку. Белая гора в вершине конуса тронута где-то за горами родившимся солнцем. Снег, оживая, меняет оттенки, бледнопалевый, лимонно-желтый; наливается светом, сверкает. Всюду ниже -- темно.

Приехал Карашир, пришли два шугнанца-носильщика. На Карашире -- ветхий черный халат. Карашир -- старый охотник, коренастый, короткобородый. Всю жизнь он ползал по скалам со своим фитильным мултуком, бил архаров, кииков, барсов. Шестнадцать лет назад он был в тех местах, куда сейчас собирается нас вести. Зикрак сдался: дальше он не был. А Карашир нам рассказывает: ляджуар был найден его отцом, охотником Назар-Маматом, жителем кишлака Барвоз. Отец его умер давно, а перед смертью рассказал о ляджуаре ему, Караширу. И в год войны, очень давно, в четырнадцатом по вашему счету году, собрались пойти за ляджуаром три человека: Азизхан, аксакал Шугнана, Назар-бек из кишлака Бадом и Ходжа-Назар из Барвоза. С ними пошел Карашир -- Черное молоко. Трудно было итти. Все заболели тутэком, а тутэк -- болезнь высоты: головокружение, бешенство сердца, удушье, а в сильной степени -- кровь из горла и смерть. Все заболели тутэком, но ляджуар а достигли, дошли до подножия отвесной скалы, где много обломков его. На скалу не взбирались--туда смертный не может взобраться. С тех пор к ляджуару не пытался ходить никто. Дойдем ли мы? Карашир с сомненьем поглядывает на нас и

качает умною своей головой. Он относится к нам с уважением, потому что труден путь, по которому мы решились итти.

Через час мы выходим: Юдин, Хабаков, я, Карашир, два шугнанца-носильщика: старик Давлят-Мамат и молодой рыжеволосый барвозец Пазор. Зикрак и Хувак-бек идут с нами. Маслов остается в летовке с нашими вещами и лошадьми. Он будет нас ждать сегодня и завтра. Мы обещаем вернуться сегодня, но на всякий случай носильщики берут наши тулупы, одеяла, немного сахару, чаю, лепешек и мяса. Пустые рюкзаки для ляджуара, молотки, фотоаппараты, маузеры, анероид, хронометр, тетрадь дневника, а сверх комплекта -- дорожные шахматы для Хабакова и Юдина и две восьмушки махорки для меня.

Карашир упросил нас взять с собою винтовку: как можно ее оставить, а вдруг попадется киик? "Ладно, неси ее сам, вот тебе два патрона, дам еще, если убьешь киика... " Караширу можно доверить винтовку.

Это был день неплохой гимнастики. Сегодняшний путь был тяжелей, чем головоломный подъем альпиниста, сроднившегося с отвесами. Мы скользили, спотыкались, даже падали, но шли

упорно. Мы покинули Бадом-Дару и поднимались по ущелью ее притока. Карашир сказал, что приток называется ЛяджуарДара, но не сам ли он подарил ему это название? Никакой тропы не было. Была чертовщина остроугольных гранитных глыб. Мы шли по грандиозным, вздымающимся до самых небес осыпям. Каждый камень осыпи равнялся хорошему кирпичному дому, грани самых мелких камней превышали квадратный метр, камни были бесформенны, колючи, зыбки. Словно кто-то бросил город на город, и оба рассыпались вдребезги, и не осталось от них ничего, кроме непомерной груды обломков. А мы пробирались от края до края по этой катастрофе камней, размышляя о том, что мы единственные живые в этом распавшемся, страшном, безжизненном мире. Если б мы стали стальными, мы не казались бы друг другу крепче и защищенней. Легкий поворот одного из камней, легчайшее прикосновенье -- и от нас ничего, пустота, и никто в горах не заметит нашего небытия, как усилий наших, задыханий, перебродивших в напряжении мышц никто не замечает сейчас.

Над осыпями -- столбами, округлостями, уступами -- нависали отвесные скалы. На них висел льдистый снег, он не таял, -- солнцу незачем заглядывать в это ущелье, а без нужды, на какой-нибудь час заглянув, оно охолаживает лучи. Шли... Впрочем, не для Шугнана изобретено это слово. Здесь для беспорядочного сцепления несхожих движений, для разнокалиберных скачков и прыжков вверх, вниз, в стороны, для балансирований, цепляний руками, для непрерывной головоломки упорного поступательного движения, нужно выдумать новое слово. За весь переход мы отдыхали четыре раза по пяти, по десяти минут, отдыхали тогда, когда руки и ноги, одеревенев, отказывались сгибаться. Тогда, припадая губами к ручью, мы пили чистейшую ледяную воду. Иногда нас хватал колючий шиповник, и мы продирались сквозь него. Мы спешили. Под ногами рассыпались блески светлой и черной слюды, и путь наш был искристым. Я смотрел себе под ноги и на ноги идущего впереди. Оглядеться можно было б, только остановившись, иначе -- осечка в тончайшем расчете движений, потеря равновесия и падение. Раз Юдин нагнулся и с торжествующим молчанием передал мне крошечный камешек. Ляджуар? Да, голубой ляджуар. Значит, сомнений нет. Мы еще быстрее, словно усталости в мире не существует, пошли вперед. Шумела непрозрачная серая Ляджуар-Дара, и почти весь день мы молчали.

Остановились мы у большого камня. Он налег на другие, образовав подобие низкой пещеры. Около камня струился бриллиантовой жилкой источник, охраняемый маленьким отрядом шиповника в цвету. Этот оазис среди мертвых громадных

камней соблазнил нас, мы решили здесь ночевать. Стрелка анероида остановилась на цифре 3 870. Это было в четыре раза выше ленинградского моста Равенства, поставленного на дыбы. Носильщики наши давно отстали. Мы ждем их полчаса, час -- их нет. Беспокоимся. Карашир уходит навстречу им. Возвращается:

-- Они легли спать. Устали. Разбудил. Сейчас придут. Ждем еще час. Хувак-бек не выдерживает: у носильщиков

чай и продукты, а мы голодны до зевоты. Хувак-бек уходит за ними. Возвращается.

-- Они опять легли спать!

Когда они, наконец, пришли, мы напились задымленного чая и разостлали в пещере одеяла. Юдин и Хабаков в шахматном запое лежали ничком, я писал дневник, а шугнанцы, воткнув под острым углом в песок полую палочку, сделав над врытым концом ее ямку в песке, насыпав в ямку самосадный зеленый табак, по очереди становились на колени, пригибались и тянули с другого конца палочки дым. Один Карашир не угомонился: полез на скалы с винтовкой -- охотиться на кииков, "чтоб было хорошее мясо". Впрочем, уже при луне он вернулся ни с чем. Хабаков поймал на себе хану и убил ее молотком.

А потом наступила ночь, однотонно звенела вода, трещали камни, срывающиеся с высоты. Мы промерзли в тулупах и одеялах, а шугнанцы спали на плоском, присыпанном травою камне, тесно прижавшись друг к другу, в тонких халатах на голое тело. Они объяснили нам, что холода не боятся. Над нами висели льды. Завтра -- решительный день.

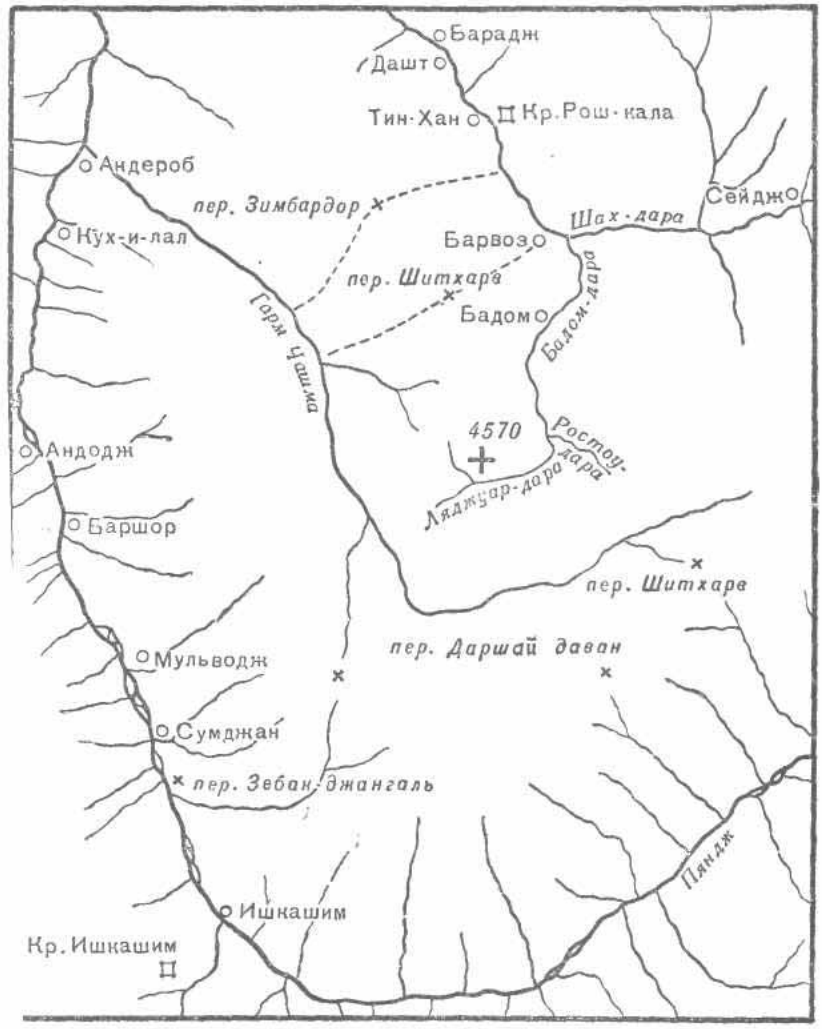
Еще при луне Карашир разбудил меня, попросил винтовку и, обещав встретиться с нами в пути, ушел вперед, чтоб подстеречь кииков, спускающихся перед рассветом к воде. Я лежал, не закрывая глаз. Я старался не двинуться, не шевельнуться, чтоб ничем не нарушить сновидения, не являвшегося мне еще никогда. В нем были искромсанные пространства вертикальных сечений, это был иной мир, другая планета -- без атмосферы, ее обнаженные резкие грани избороздили холодный, межпланетный эфир. Извивающиеся тела гигантских драконов сползлись со всех сторон. Шишки и острия их неподвижных хребтов закрывали все небо; их толстая, жесткая, темнопятнистая чешуя мерцала светлозелеными отблесками; драконы дремали, свесив шершавые, неповоротливые, тяжело выгнутые языки. Я слышал мерный шум, -- это был выдох дракона, медленно дышат драконы, между вдохом и выдохом проходят наши, человеческие, столетия. Я подумал, что я на иной планете, быть может, я на Сатурне. Мне не было страшно, я знал, что вся моя жизнь для этих масштабов -- мгновенье, она кончится на тысячелетия раньше, чем проснутся драконы. Какой холодный, зеленый, великолепный, мертвый и жуткий мир!

Мне не хотелось просыпаться. Но когда в вышине этот мир резнула розовая полоска вечных снегов, когда дрогнула лунная прозелень, я понял, что не сплю. Мы встали и вышли, оставив под камнем наши тулупы и одеяла. Мы вышли тихо и торопливо, не потревожив покоя драконов. И я понял еще, что проник в тайну возникновения легенд в этой странной стране -- Памир.

Хабаков и я чуть-чуть запоздали, мы хотели догнать остальных, но это было невозможно: мы задыхались. Ляджуар-Дара, извиваясь, прошивала узкое ущелье, ущелье грозило обвалами, мы прыгали с камня на камень по мокрым камням ЛяджуарДары, расчетливо работали руками и ногами. Слева -- висячий ледник раскрыл свои трещины, мы вышли на поле громадных камней. Юдин с шугнанцами шел впереди нас метров на тридцать; каждые пять минут он останавливался, чтобы передохнуть, и если бы преодолеть усталость и перешагнуть хотя бы через один кратковременный отдых, мы бы его догнали. Но дыханье перехватывало, сердце кружилось волчком, и когда, бросившись снова вперед, мы добирались до места, где только что стоял Юдин, он уже был впереди нас на той же дистанции. Мы останавливались, чтобы наглотать в наши легкие воздух, и видели -- то же делают Юдин с шугнанцами метрах в тридцати впереди.

Впереди мы увидели верховье Ляджуар-Дары -- она вытекала из ледника. Мы

свернули с морены направо и полезли вверх, в упор по крутому скату, навстречу водопадам и каскадам маленького ручья. У нас азарт: догнать остальных. Хабаков -- истый ходок и спортсмен. Мы на Памире привыкли к его самолюбивой гордости, с которой он рассказывал нам о прошлых своих спортивных победах, подаренных ему выносливостью и тренировкой. Тут, однако, Хабаков начинает сдавать; он останавливается через каждые десять шагов и садится на камень, он дышит, как рыба на суше; я начинаю за него опасаться, хотя задыхаюсь и сам. Остальные лезут тем же темпом и с такими же частыми передышками, но на прежней дистанции впереди. Крутой склон переламывается еще более крутой осыпью из громадных глыб камня. Здесь Хабаков окончательно отстает, а я иду легче -- сердце наладилось. Отвесная скала -- вверху надо мной -- метров на полтораста, и столько же метров отвеса вниз. На половине ее высоты узкий, как подоконник, длинный, заваленный щебнем карниз. Здесь я догоняю Юдина и шугнанцев. Хабакова уже не видно внизу. Дальше поворот, осыпь. Местами на животе, извиваясь, всползаем все выше; наш путь бесконечен, камни сыплются из-под рук, изпод ног, камни рождают лавины внизу, грохот и треск удесятеряет эхо, но все звуки тонут в первозданной тишине этих мест. Висячие ледники по окружным скалам уже давно ниже нас. Я разгорячен, от меня идет пар, и все-таки мне холодно, на одном из уступов я натягиваю свитер. Хорошо, что сегодня ясный, чудесный безветренный день; если б ветер -- на нас бы сверху сыпались камни, мы не сохранили бы равновесия, мы бы окоченели, и высота сразила бы нас. И когда, спиралями опетлив скалу, мы одолеваем ее и выбираемся на ее вершину, мы видим перед собой: горизонтальное пространство, нагромождение глыб и камней и в хаосе -- полосы неба... Небо? Какое же небо, если сразу за хаосом, над нами -- мраморная стена? Отвесная, гладкая, темная -- она кладет на нас холодную тень. И все-таки небо. Или это камни горят? Синим странным огнем, это не призрачные огни, они неподвижны, они яркие и густые, они каменные...



Путь экспедиции 1930 года к месторождению лазурита.

Реки Вадом-Дара и Ляджуар-Дара нанесены по глазомерной съемке А. В. Хабакова. Вся остальная местность показана так, как она изображалась на картах до исследований автора книги в тридцатых годах.

Ляджуар!

Мы нашли ляджуар!

Я бегу, я прыгаю с камня на камень, я не разбираю провалов и темных колодцев между холодными глыбами. Ляджуар! Вот он: вот она подо мной, синяя жила, я опускаюсь на камень, касаюсь жилы руками, -- я еще не верю в нее, -- я оглаживаю ее ладонями, я вволю дышу. Дышит Юдин, дышат шугнанцы. Хорошо!.. Здесь надо уметь дышать.

Синяя жила толще моей руки. Глыба, которую прорезает она, больше серого носа линкора. Кругом такие же -- серые, черные, белые. Безразличная, какая-то чопорная тень тяжелит эти глыбы.

Усталости нет, усталость сразу прошла. И такой здесь холод, что невозможно не двигаться. Я поднимаю осколок ляджуара -- величиной с человечью голову. Я бросаю его: вон другой -- больше и лучше. Мы лазаем по глыбам, мы расползлись, сейчас мы просто любуемся и торжествуем. Все эти глыбы сорвались оттуда -- сверху, с мраморной этой стены. Стена недоступна. Легенда права.

А где Хабаков? Нет Хабакова. Мы забыли о нем. Сразу встревожившись, ждем. Зовем его, кличем... Никакого ответа. Юдин посылает за ним вниз Пазора. Пазор уходит, и мы слыжим его затихающий голос:

-- Кабахо!.. Кабахо!.. Ка-а-ба-хо!

Бледный, потный, до крайности утомленный, наконец, появляется Хабаков.

Что с вами?

Понимаете... вот тут... уже совсем близко, вдруг сердце отказывается работать...

Понимаем, очень хорошо понимаем. Называется это -- тутэк. Роговые очки запотели, волосы взмокли, слиплись, гребнем загибаются под затылком у воротника свитера. Штаны -- в клочьях. Хабаков похож на солдата, вышедшего из самой гущи смертельного боя. Он ожесточен. Ему нужно прежде всего отдышаться, тогда он посмотрит на себя, оправит ремень, оботрет лицо от разводов грязи и пота... Впрочем, мы и сами с виду не лучше.

С мраморной стены, сверху, падают камни. Здесь небезопасно стоять.

И неожиданно -- грохот, многопушечный грохот. Замираем: где? что это? -- и разом оглядываемся. Это не здесь... Не вверху... Это далеко... Грохот ширится и растет: на противоположной горе -- грандиозный снежный обвал, видим его от возникновения до конца. Оседает белая громада горы, оседает, скользит и летит вниз со стремительной пьяною быстротой, а внизу, рассыпавшись, взрывается белым, огромнейшим белым облаком, -- и удар сотрясает почву, тяжкий гром дрожит, перекатываясь десятками эхо, облако снега клубится и медленно распадается, оседая, как дымовая завеса. Зрелище великолепно. Обвал расколыхал спокойствие гор, раздражил равновесие скал, и через минуту, словно заразившись грохотом, по соседству, через висячий ледник, -- второй обвал, значительно меньший. А во мне вдруг ощущение одиночества и затерянности. Как далеко мы от всего на свете живого!

Анероид показывал 4 570 метров. На Восточном Памире мы бывали на больших высотах, но ощущение высоты там скрадывали пологие перевалы.

Вокруг нас, как пули, ложились осколки камней, падающих с холодной отвесной стены. Мы стояли на больших, остро расколотых глыбах, сорвавшихся оттуда, быть может, вчера.

Ниили -- самый дорогой и красивый, цвета индиго; асмани -- светлоголубой и суфси -- низший сорт, зеленоватого цвета. Так разделяют афганцы ляджуар в тех, считающихся собственностью падишаха копях. А здесь? Все три сорта. Вот он -- ниили, в белоснежных извивах мрамора, в крупнокристаллическом сахаре отвесной скалы, поднимающийся над нами на сто двадцать метров. Синие гнезда, прожилки, жеоды -- словно синяя кровь забрызгала эту беломраморную гигантскую стену. А вот -- бутылочно-зеленая шпинель в кварцево-слюдистых жилах, словно выплески зеленых глубин Каспийского моря. Вот в осыпях, под скалою, обломки ляджуара в три пуда, в четыре, в пять. Здесь, там, всюду, куда ни посмотришь! Сколько всего? Не знаю. Много. Это здесь, в осыпях, сорвавшегося со скалы. А сколько его там, в скале? А сколько его в тех же породах по всей округе? Не знаю, не знаю, это сейчас невозможно узнать!

Мы смотрим вокруг, вниз, туда, откуда пришли. Мы стараемся разобраться в геологии. Мраморы -- массивны. Под ними -- темносерые, биотитовые гнейсы, очень похожие на те, которые встречались нам на Бадом-Даре, когда мы поднимались сюда. Среди мраморов -- пятна рыжевато-бурых, охристых, содержащих железистые соединения прослоек. Вся ЛяджуарДара, вся Бадом-Дара рассекают почти отвесные скалы и обрывы, состоящие из той, о которой я размышлял в Хороге, -- гнейсово-сланцево-мраморной свиты.

Высота отвесных берегов над Ляджуар-Дарой и Бадом-Дарой грандиозна: шестьсот-семьсот метров, местами почти до километра! А острые зубчатые гребни хребтов с прилепившимися к ним висячими ледниками много выше. Что за горы на юг? Там, на ослепительных фирновых склонах, на ледниках, никто никогда не бывал. Шугнанцы, наши спутники, говорят: "Там нет пути человеку!"

А у меня внезапно желание проникнуть туда. Разгадать эти исполинские горы, нанести их на карту, узнать, что находится за этими вот зубчатыми водораздельными гребнями? Какие ледники? Какие реки?

-- Отсюда никто никогда не ходил туда! -- упрямо повторяет Карашир. -- На Пяндж ходили кругом!

Я и сам отлично знаю, что там дальше, за этими горами, -- Пяндж, к которому легко и просто пройти, вернувшись в Хорог. Путь обратно в Хорог -- одна сторона треугольника. Путь из Хорога вверх по Пянджу -- вторая сторона треугольника. А третья сторона -- вот эта линия отсюда, сквозь все эти горы, -- прямо на юг. Что встретится географу, геологу, картографу на этой неведомой линии?

А что, если отделиться от всей нашей группы и заняться самостоятельными исследованиями?

В другом очерке я расскажу, куда привела меня эта мысль.

А сейчас...

Зикрак очень внимательно смотрит на фирновый склон по ту сторону Ляджуар-Дары. Внезапно оборачивается к нам, указывает на снега рукой и очень торжественно рассказывает: когда он был юношей, старик Наджав из Барвоза, доживший до ста двадцати лет, ослепший, а теперь уже давно умерший, сообщил ему, что ляджуар есть вот там, по хребту правого берега Ляджуар-Дары.

-- Да, -- вдруг подтверждает он. -- Мой отец, НазарМамат...

И мы слушаем рассказ о том, как Назар-Мамат однажды в жизни ходил туда, и нашел там ляджуар, и принес синий

камень в Барвоз. Потом, когда он ходил сюда с Караширом, он искал и то место, но весь склон оказался под рухнувшими сверху снегами. С тех пор как Назар-Мамат умер, никто вверх по Ляджуар-Даре не ходил.

Что нужно сделать, чтоб определить ценность открытого нами месторождения? Нужно провести здесь месяц-два; нужно поднять сюда инструменты и продовольствие, нужно исследовать все. Нужна специальная экспедиция. Мы свое дело сделали. Мы стучим молотками. Сколько можем мы унести на своих плечах? Карманы, сумки, рюкзаки -- все набиваем мы ляджуаром. Мы берем образцы. В Ленинграде будут жечь их белым пламенем; ляджуар улучшается в белом пламени, он темнеет, он приближается к цвету ниили; а ниили не нужно и пробовать, он синее всего на свете. Мы берем образцы для музеев, для испытания огнем, для славы Шугнана, для зависти всего мира к СССР. Для промышленности же, для гранильных фабрик ляджуар возьмут отсюда те, кто придет вслед за нами.

В этот день мы шли, карабкались и ползли ровно двенадцать часов подряд. К вечеру Ляджуар-Дара и Бадом-Дара разрастались, и мы обходили поверху высокие мысы. Как обезьяны на ветках, мы перебрасывались от куста к кусту в цирках осыпей, над каменными воронками в пустоту. А перед тем, спускаясь другим путем от месторождения ляджуара, гребли, по примеру шугнанцев, крутую осыпь длинными палками, держа их посредине, как держат двухлопастное весло байдарки. Мы плыли вниз вместе с потоком камней. Хабаков только силою воли преодолевал свое полное изнеможение, огрызаясь в ответ на вопросы о его самочувствии. Но он все-таки двигался, и я уважал в нем самолюбивое это упорство. И все свои передышки он превосходно использовал: когда мы пришли в летовку, в его пикетажной тетради был рельеф топографической съемки. Впрочем, нам он его не показал. А у меня в дневнике еще несколько страниц были исписаны беглым, неровным почерком.

За три дня моя новая, ни разу не надеванная обувь превратилась в лоскутья.

Внизу, в Барвозе, заболели Маслов и Юдин -- странное недомогание, жар, слабость, ломота и головокружение. Оба не спали по ночам, а днем засыпали в седле. Все мы, и здоровые и больные, глотали хину в непомерных количествах, потому что заболевание было похоже на малярию, хотя мы знали, что малярии на Шах-Даре не бывает. Тропическая малярия и "персидский тиф" -- папатач в том тридцатом году свирепствовали много ниже Хорога, по Пянджу -- в Рушане. Теперь с этими болезнями и там справилась советская медицина.

В Рошт-Кале, против кооператива, мы расстались с Хувакбеком. Он сказал, что остается здесь "проводить собрание, говорить разные слова на собрании". Юдин хотел заплатить ему за сопровождение нас к ляджуару, но Хувак-бек, едва не обидевшись, наотрез отказался от вознаграждения. "У меня есть партбилет, и не ради денег я с вами ходил!" -- так перевел Зикрак горячее его возражение.

С Зикраком мы расстались в Тавдыме, и на следующий день крупной рысью, оставив позади Маслова с вьючной лошадью, въехали в ворота хорогской крепости, распахнутые перед нами штыком часового. Он издали радостно заулыбался, увидев нас. Красный плакат "Добро пожаловать" снова мелькнул перед нами.

Вавилон и Передняя Азия вывозили ляджуар, считавшийся священным камнем, в Египет. В эпоху Нового Царства, середины второго тысячелетия до нашей эры, князьки Передней Азии посылали ляджуар, как лучшую дань, фараону. Мы отправили ляджуар в Академию наук и в Геолком Ленинграда.

Александр Евгеньевич Ферсман был несказанно обрадован нашей находкой. Как только не пробовал он, не испытывал образцы! По его приглашению в Минералогическом обществе я сделал о найденной нами ляпис-лазури доклад. Написанная Юдиным, Хабаковым и мною научная статья была опубликована в "Трудах Памирской экспедиции 1930 года".

В следующие годы

1931 год. Снова медленно, шаг за шагом движутся лохматые киргизские лошади. Снова покачиваются в седлах участники геологической экспедиции: массивный, дородный, грубоватый Юдин; петрограф Н. С. Каткова; коллекторы В. Н. Жуков и В. А. Зимин -- простые русские парни; молодой художник Д. С. Данилов.

Пустыня Маркансу, Пшарт, Аличур, Сарезское озеро, Кумды, Тамды, Кизыл-Рабат, озеро Зор-Куль и много других восточнопамирских названий.

В ежедневном пути проходят май, июнь, июль...

Через Турумтай-Куль и Кок-бай экспедиция спустилась в долину реки Шах-Дара и 7 августа вышла из кишлака Барвоз вновь к месторождению ляджуара. Поднимаются все шестеро постоянных участников экспедиции и шесть шугнанцевносильщиков. С нами -- мохнатый, тяжело завьюченный як,

которого мы рассчитываем провести к самому месторождению. Все мы придем и уйдем. Жуков останется там: он принял на себя обязанности производителя работ по добыче и вывозу ляджуара. На Памире он никогда не бывал. Но человек он физически крепкий, упорный. Работа на высоте 4 570 метров -- нелегкое дело, но Жуков -- коммунист, он выдержит и обязанности, взятые на себя, выполнит!

К месторождению мы поднимались два дня. Яка удалось довести до подножия отвесной мраморной скалы, -- там, прямо в русле высохшего ручья, была поставлена палатка.

Я с Даниловым, Зиминым и Жуковым решили подняться на вершину скалы. Карабкаясь по узкой расселине, обошли скалу с тыла и забрались на ее вершину. Мы надеялись найти здесь новые точки выходов ляджуара. Но их здесь не оказалось. Мы спустились к Ляджуар-Даре и снова поднялись вдоль ручья, туда, где Юдин и прочие поставили палатку. Это было 8 августа.

На следующий день я, как было условлено, отправился один к истокам реки Ляджуар-Дара: возникшая в прошлом году мысль -- исследовать неведомые ледники и водораздел главного Шах-Даринского хребта не давала мне покоя. С этого дня я надолго оторвался от экспедиции. Мои странствия привели меня к открытию пика высотой в 6 096 метров, который я назвал пиком Маяковского. Опишу я эти странствия в другом месте.

10 августа все, кроме Жукова и одного носильщика, ушли вниз. А Жуков остался на месторождении в ожидании рабочих и группы саперов-пограничников, которых предоставляло экспедиции командование памирского отряда для

прокладки к месторождению вьючной тропы и для помощи в организации вывоза ляджуара.

Никому неведомое прежде, безлюдное, глухое ущелье Ляджуар-Дары наполнилось грохотом взрывов, звонким стуком мотыг и ломов, ржаньем пробирающихся по дикой тропе лошадей, голосами людей, упорно работавших на отвесных скалах. Десять бойцов-пограничников и сорок рабочих-шугнанцев принимали участие в этой трудной работе.

Во второй половине августа пять с половиной тонн синего памирского камня, выбранного из осыпей под отвесною мраморною стеной, были вывезены с месторождения, с величайшими трудностями доставлены в Хорог.

Жуков выполнил порученную ему работу. Погода испортилась. Дальнейший вывоз камня пришлось прекратить.

В сентябре, соединившись в Хороге, все участники экспедиции двинулись караваном вниз по Пянджу -- к Рушану, Ванчу, Кала-и-Хумбу, Сталинабаду.

1932 год.

Пограничники год назад пришли на памирскуьо государственную границу и накрепко закрыли ее. Кончилось басмачество. Пути на Памир стали безопасными, мирными и спокойными. От Оша до Хорога прошли первые автомобили... Началось строительство восточнопамирской автодороги. На Пяндже, на Гунте, на Шах-Даре дехкане готовились к вступлению в первые колхозы, открывалось все больше школ.

Памир переставал быть таинственной, заповедной страной. Легенды уступали место строгим расчетам и точным цифрам. Началась всеобъемлющая, будничная, плановая работа по превращению Памира в область во всех отношениях и в подлинном смысле слова советскую. Героический период маленьких, уходивших как на иную планету экспедиций закончился. Романтика медленных, дальних странствий сменялась повсеместным торопливым движением, календарными неумолимыми сроками. На Памир вступили десятки научных отрядов огромной Таджикской комплексной экспедиции.

Романтическими становились сами дела, их широкие масштабы, их огромное научное и социально-экономическое значение, их необъятная перспективность.

Восторженный тон моих рассказов о Памире, записей в путевых дневниках сменялся строгими сжатыми докладами, сообщениями, короткими распоряжениями и сухими, деловыми заметками.

Обязанности, которые я выполнял теперь в экспедиции, научили меня, как никогда прежде, ценить время. И в лунные ночи, в палатке, поставленной у бурлящего ручья, под льдистыми гребнями гор, я размышлял уже не о космосе и не о драконах, а о том, как согласовать работу ботаников с работой гидроэнергетиков; работу геохимиков -- с работой гляциологов; и о том, где взять сегодня фураж для множества лошадей караванов, и о том, как переправить вьючную радиостанцию за этот вот перевал, и еще о том, как наладить работу шлиховой лаборатории под обрывом, где ей угрожают обвалы?

Лазурит стал только одной из нескольких сотен "точек", которые семидесяти двум отрядам экспедиции надо было посетить, осмотреть, обследовать, изучить. Синий памирский камень никто теперь уже не называл памирским неведомым словом "ляджуар". Ему были прочно присвоены строго научные, принятые во всех учебниках минералогии и петрографии названия: ляпис-лазурь, или лазурит. Второе было короче и проще, а потому и утвердилось во всех последующих научных трудах.

Среди открытых экспедицией различных крупных месторождений лазурит теперь был подобен маленькой синей звездочке в небе, сверкающем звездами первой величины. Но и эта крошечная звездочка не была забыта. Для полного изучения ее в составе экспедиции был сформирован маленький лазуритовый отряд. Но в том 1932 году лазуриту не повезло. Сотни прекрасных, добросовестных научных специалистов ехали на Памир. Но бывают же несчастливые исключения: начальником лазуритового отряда был человек,

оказавшийся позже проходимцем и жуликом. Я не стесняюсь назвать так этого недостойного человека и не скрываю его фамилии. Его фамилия -- Левит. Любезнейший и скользкий в отношениях, этот юркий человек разговаривал о науке так, словно она его осеняла свыше, и при этом, вероятно, думал, что взять синий памирский камень так же легко, как бриллиант из витрины музея, стоит только протянуть руку. Позже выяснилось, что, получая образцы внизу, в долинном экспедиционном лагере, он вообще не побывал на месторождении, испугавшись ли трудностей или занявшись другими корыстными делами. По окончании экспедиции, спасаясь от ответственности, он попросту куда-то сбежал. Это еще раз говорит о том, как важно выбирать в состав экспедиции только людей выверенных, всесторонне испытанных, опытных и главное -- бескорыстных, чуждых авантюризму.

К месторождению лазурита отправились несколько других серьезных и опытных участников экспедиции, -- по пути, который теперь уже можно было считать торным.

Побывал на месторождении и известный, авторитетный геолог В. А. Николаев. В своей отчетной статье "Петрология Памира" он сделал печальное заключение:

"Посещенное мною месторождение ляпис-лазури на р. Ляджуар-Дара в той части его, которая является относительно доступной, именно в осыпи, -- промышленного значения не имеет. Коренные выходы остались неисследованными, так как залегают в почти отвесном обрыве мраморов... "

Но о том, что из осыпи вывезено пять с половиной тонн лучших камней, он, очевидно, не знал. По вине все того же Левита, который, имея все данные о месторождении у себя, ни с кем ими не поделился, авторитетный ученый В. А. Николаев был введен в заблуждение бедностью осмотренной им осыпи, -- как гласит памирская поговорка, он "судил о вкусе плова по облизанному котлу", -- и, конечно, иного заключения в тех обстоятельствах, он и не мог бы вывести.

О работах 1931 года, о проложенной к лазуриту тропе, о вывозе от месторождения камня не знал, очевидно, и другой добросовестнейший, облазавший все горы Юго-Западного Памира геолог С. И. Клунников, который посетил месторождение в 1934 году. Не знал, судя по тому, что в своей (написанной совместно с А. И. Поповым) очень содержательной книге "Метаморфические толщи Юго-Западного Памира", говорит:

".. по той дороге, которая описана как весьма трудная пешая, нам в 1934 году удалось провести лошадей к самому подножию месторождения".

И в другом месте своей работы, описывая скалу, в которой было в 1930 году обнаружено месторождение, он говорит, что юго-западный фас ее "совершенно недоступен, хотя к его подножию довольно легко можно провести лошадей".

Но провести лошадей ему удалось именно потому, что в 1931 году к месторождению была проложена тропа.

Не знал, -- еще и потому что пишет далее:

"Никаких признаков ведения горных работ на месторождении нет; однако в осыпи, с новой точки, под одним крупным обломком обнаружены сложенные в одно место обломки лазурита По всей вероятности, эти обломки были собраны какимлибо пастухом или охотником... "

Нет! Они были собраны в 1931 году Жуковым и его рабочими; испортившаяся на этой огромной высоте погода, вьюги и лавины не позволили Жукову вывезти все, что было им заготовлено!

Но С. И. Клунников, человек с сильной волей, мужественный, бескорыстный, влюбленный в свое дело геолога, не побоявшись оставаться на почти пятикилометровой высоте столько времени, сколько нужно было для приобретения полной ясности, -- подробнейше исследовал месторождение.

Клунников и его спутник А. И. Попов облазали все склоны вокруг.

Составили детальную геологическую карту района месторождения. "Максимальные высоты, -- пишут они, -- здесь достигают свыше 6 000 м. Эта расчлененность рельефа обуславливает существование труднодоступных скальных участков. Одним из таких участков является мраморный массив, в котором находится месторождение".

Клунников и Попов применили в дело взрывчатку. И их усилия оправдались.

"Нам, -- пишут они, -- в совместной работе в 1934 году удалось найти новую точку лазурита в том же массиве мраморов и добраться до коренного выхода".

И еще:

"В дальнейшем выходы лазурита были прослежены по осыпям и к северу от ранее известной точки. Таким образом, лазурит прослеживается по простиранию на расстоянии около 1 000 м и на 10--15 м по падению. Наличие ряда мелких разрезов гнезд лазурита заставляет предполагать возможность нахождения новых гнезд".

Клунников и Попов описывают все сорта лазурита -- от зеленоватого до темносинего. Делая вывод о ценности открытого в 1930 году месторождения, признавая, что "точного

опробования с целью выяснения количества каждого сорта лазурита произвести не представлялось возможным", они тем не менее подсчитывают, что "запасы темноокрашенного лазурита достигают, повидимому, свыше 30 тонн, а общее количество лазурита синих оттенков достигает 150 тонн... ".

Так, С. И. Клунниковым и А. И. Поповым была вновь подтверждена пошатнувшаяся было слава легендарного синего памирского камня.

После С. И. Клунникова, насколько мне известно, несколько лет месторождения не посещал никто. К работам на месторождении готовилась крупная экспедиция. Но началась Великая Отечественная война. Мой друг Сергей Иванович Клунников добровольно пошел на фронт. Он погиб смертью героя при форсировании Днепра. Все, кто знал этого отличного знатока Юго-Западного Памира, все, кто любил его -- энергичного, всегда загорелого здоровяка, хорошего товарища, талантливого, неустрашимого и неутомимого человека, до сих пор без горечи и грусти не могут говорить об его утрате. Но он отдал свою жизнь за Родину -- честь и вечная память ему!

Кончилась война. На Памире совершены новые великие социалистические дела. Но те геологи, кто двадцать лет назад поднимался к месторождению, по своему возрасту уже не могут подниматься на памирские пятитысячные высоты, -- они работают в других местах. В 1952 году вновь побывал в Шугнане и я. Директор Памирского ботанического сада А. В. Гурский, сидя за рулем своей дряхлой полуторки, возил меня по Шах-Даре, показывая колхозные сады, возникшие при помощи возглавляемого им коллектива. Я видел издали те же, вставшие словно из забытого сновидения, ледяные хребты. Но если нормальный пульс молодого, здорового человека на тех высотах равняется ста двадцати -- ста тридцати ударам в минуту, то мне теперь подняться на главные водораздельные гребни сердце уже не позволило. Дело теперь за молодыми исследователями и прежде всего за самими памирцами, за бадахшанцами.

Около тысячи памирцев за последние пять лет отправились из школ Памира учиться в высшие учебные заведения Москвы, Ленинграда, Ташкента, Сталинабада. Многие из них скоро станут горными инженерами, геологами, геофизиками, геохимиками. Вооруженные не легендами своих отцов и дедов, а точными знаниями и великолепными приборами, выйдут шахдаринцы, горанцы и ишкашимцы из родных кишлаков на гигантские горные хребты, высящиеся над их цветущими ныне долинами.

И переберут пожелтевшие листки научных отчетов и дневников их предшественников. И прочтут в них полузабытые путеводные указания.

Перечитают отчет русского путешественника, побывавшего в 1928 году в Бадахшане, и найдут там такие строки:

"По сведениям от жителей Западного Памира, лазурит, хотя и очень редко, встречался ими в выносах речки ДарайЗарев, северо-восточнее поста Ишкашим. Мои поиски лазурита в долине этой речки оказались безрезультатными, но если провести линию от копей лазурита в Бадахшане (афганском. -- *П. Л.*) параллельно хр. Гиндукуш к СВ, то нахождение лазурита в районе Ишкашима вполне вероятно и соответствует общей схеме распределения пород и минералов в Бадахшане и Западном Памире... "

А в трудах Клунникова найдут и другие строки:

"Помимо Ляджвар-Даринской (Шах-Даринской) группы выходов лазурита, новых месторождений его обнаружить не удалось, но, по словам местных жителей, в сае, впадающем в р. Пяндж, у кишлака Рын, имеется лазурит. У одного таджика был куплен кусок лазурита якобы оттуда. Ввиду того, что лазурит этот резко отличается как от афганского, так и от шах-даринского, является правдоподобным, что здесь мы действительно имеем дело с новым месторождением. Проверить это, однако, не удалось из-за раннего снегопада".

Не сомневаюсь: много есть на Памире еще не открытых месторождений синего камня, кроме того, что открыто нами.

"А что еще скрыто в недоступных нам горных хребтах Памира?" -- вопрошал лучший знаток камней академик А. Е. Ферсман в своей книге "Воспоминания о камне".

И если те молодые люди, памирцы, о которых я говорю, окажутся такими же неутомимыми, любознательными и любящими самоцветные камни, как учитель всех советских минералогов академик А. Е. Ферсман, то они захотят вновь исследовать засыпанные древние "рубиновые копи" КугиЛяля, ущелья Ямчина и Ямга в поисках благородной шпинели, захотят изучить те гранаты, от которых даже отмели по Шах-Даре становятся красноватыми, и малахиты у кишлака Сендив, и халцедон неподалеку от Шаргина, и множество других минеральных образований, что встречаются в гнейсах и в мраморах, в обрывах и на отвесных скатах грандиозных западнопамирских круч. И уже не возникнут теперь опасения, что стоимость вывоза окажется слишком высокой, -- вдоль всех главных рек Памира теперь ходят автомобили и лишь восемьдесят минут летит пассажирский самолет в Сталинабад из Хорога. |

Нет сомнения: не одни только фрукты, пшеница и коконы шелковичных червей принесут богатство Шугнану и Ишкашиму. Синий памирский камень и много других ценнейших камней ждут энергичных советских людей, чтоб обогатить их искусство и поднять славу его выше памирских гор!

А таджикские писатели и поэты, из которых в Шугнане, Ишкашиме, на Восточном Памире, кроме родившегося на Шах-Даре Миршакара, до сих пор не побывал ни один (да простится мне этот упрек!), создадут реалистические романы и поэмы о легендарном синем памирском камне и о молодых таджиках -- петрографах и минералогах!

"Вот лазурит -- то яркосиний, горящий тем синим огнем, который... жжет глаза, то бледноголубоватый камень, с нежностью тона, почти доходящей до бирюзы, то сплошной однородной синей окраски, то с красивым узором сизых или белых пятен, переплетающихся и мягко сплетающихся в пестрый и разнообразный узор.

Мы знаем камни из Афганистана, из почти недоступных заоблачных высот Памира то с многочисленными точками золотистого колчедана, которые рассеяны, подобно звездам на темном фоне южного неба, то с белым узором пятен и жилок; мы знаем в камнях с отрогов Саян, близ берегов Байкала все окраски от темнозеленого до густомалинового, и еще со времени арабов нам известно, что путем нагревания на огне эти цвета можно перевести в темносиний. "Настоящий драгоценный лазурит только тот, который десять дней может пробыть в огне, не теряя своего цвета", -- говорят нам армянские рукописи XVII века".

В таких поэтических выражениях -- перед витриной музея -- способен был говорить о камне геолог, географ, геохимик Александр Евгеньевич Ферсман. У него следует нам учиться находить истинное наслаждение в красоте камней.

Всему советскому народу доступно ныне это прекрасное наслаждение!

... Над мирной, спокойной Невой -- величественное здание Эрмитажа. Среди залов, наполненных мировыми сокровищами, нас привлекает тот, вся стена которого занята огромной картой СССР, сделанной из самоцветных камней.

Эта мозаичная, драгоценная карта побывала на выставке в Париже, потом совершила путь через океан, была выставлена в Нью-Йорке, а когда вернулась в Советский Союз, то ей было отведено почетное место в Эрмитаже.

После победной Отечественной войны, когда линия границ нашей страны изменилась, эту карту необходимо было переделать. Карта была разобрана. Нужно было установить новые границы СССР; нужно было переставить все рубиновые красные звезды, обозначавшие прежде промышленные объекты и стройки, а отныне призванные обозначать города (так как раньше это была "карта индустриализации СССР", а теперь она становилась административной).

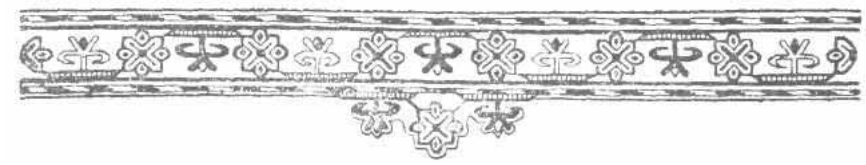
Камнерезчики -- ученики 24-го ремесленного училища, расположенного неподалеку от Эрмитажа, эту трудную и искусную работу превосходно проделали. Карта была выставлена в Эрмитаже на постоянное обозрение.

Снова вернувшись из путешествия на Памир, я смотрю на эту карту с волнением. Все моря, озера и реки -- синие и голубые, сделаны из того синего памирского камня, из лазурита, из ляджуара, который был вывезен с открытого нами месторождения.

Скоро, очень скоро карту придется опять переделывать, понадобятся новые куски драгоценного ляджуара: Волго-Дон уже выстроен, в близком будущем будут закончены другие великие стройки; синие полосы гигантских каналов нужно будет протянуть и на этой карте.

И я мечтаю о том, чтоб одна из новых московских или ленинградских станций метро была облицована памирской ляпис-лазурью, так же как некогда по замыслу знаменитого архитектора Камерона был облицован сибирским и афганским лазуритом Лионский зал Царскосельского дворца. Это великолепное произведение искусства, варварски уничтоженное разгромившими город Пушкин фашистскими захватчиками, может быть превзойдено только в нашей социалистической стране, в которой советский народ щедрой и талантливою рукой создает для себя невиданные художественные ценности.

Синий памирский камень достоин того, чтоб украшать им все великие творения нашего искусства; Горы сурового Памира склонят свои седые главы перед великим советским нарадом, даря ему свои необычайные богатства!



ГЛАВА IX. ПИК МАЯКОВСКОГО

Что такое пик Маяковского?

В наши дни даже на школьных картах Советского Союза в южном углу Памира

обозначен пик Маяковского. Его высота над уровнем моря -- 6 096 метров; он на полкилометра превышает Эльбрус -- высочайшую вершину Европы. Пик Маяковского выделяется и над всеми окружающими вершинами, но его можно увидеть в натуре только с больших высот, только с гребней водораздельного хребта, протянувшегося между реками Шах-Дара и Пяндж, или с других вершин, находящихся в верховьях притока Пянджа -- реки ГармЧашма.

Впервые смутно увидев этот пик издали 18 августа **1931** года, я нанес его на карту в следующем путешествии, **19** августа 1932 года, и тогда же назвал его именем величайшего поэта нашей эпохи -- Владимира Маяковского.

В следующие годы после открытия пика Маяковского и произведенных мною других географических исследований в районе пика вся область водораздела между реками Шах-Дара и Пяндж была хорошо изучена геологом С. И. Клунниковым.

В 1947 году, через шестнадцать лет после открытия пика Маяковского, восхождение на его вершину совершили участники московской альпинистской экспедиции, руководимой Д. М. Затуловским. Северная разведывательная группа этой экспедиции -- В. А. Тихонравов, В. Б. Иванов и М. Н. Звездкин -- повторила один из моих маршрутов 1931 года, пытаясь найти путь на пик со стороны истоков реки Ляджуар. Как сообщает Затуловский, "по оценке Тихонравова, подъем на пик

Маяковского с севера возможен по короткому гребню, отходящему на север от западной вершины пика. Но путь здесь должен быть очень сложным". Попытки группы найти со стороны Ляджуар-Дары перевал на юг оказались безуспешными: "на юг гребень хребта обрывался крутой двухсотметровой стеной... " *, и группе пришлось искать перевал в другом месте.

Экспедицией Д. М. Затуловокого на практике было подтверждено предположение первооткрывателя ** о том, что с южной стороны пика должен быть большой ледник. Участниками экспедиции ледник был пройден, нанесен на карту и сфотографирован. Именно с этой стороны и было совершено восхождение на вершину пика.

Мне хочется рассказать читателю, при каких обстоятельствах и как удалось мне открыть пик Маяковского. В предыдущей главе я упомянул о том, как в 1930 году, когда вместе с моими товарищами я находился на только что открытом нами месторождении синего памирского камня, возникла у меня мысль об изучении района, считавшегося белым пятном на географической карте.

Напомню, что, наблюдая от верховьев реки Ляджуар-Дара расположенные к югу ледяные горы, мне захотелось найти проход оттуда в долину реки Гарм-Чашма, впадающей в Пяндж. Гигантские снежные горы, скалистые, часто отвесные, покрытые ледниками, свидетельствовали о том, что найти такой проход будет нелегко.

Читатель помнит, что на следующий, 1931 год я в составе экспедиции Юдина повторил восхождение к месторождению ляпис-лазури, откуда в том году был организован вывоз этого камня в Хорог.

Первая попытка найти перевал

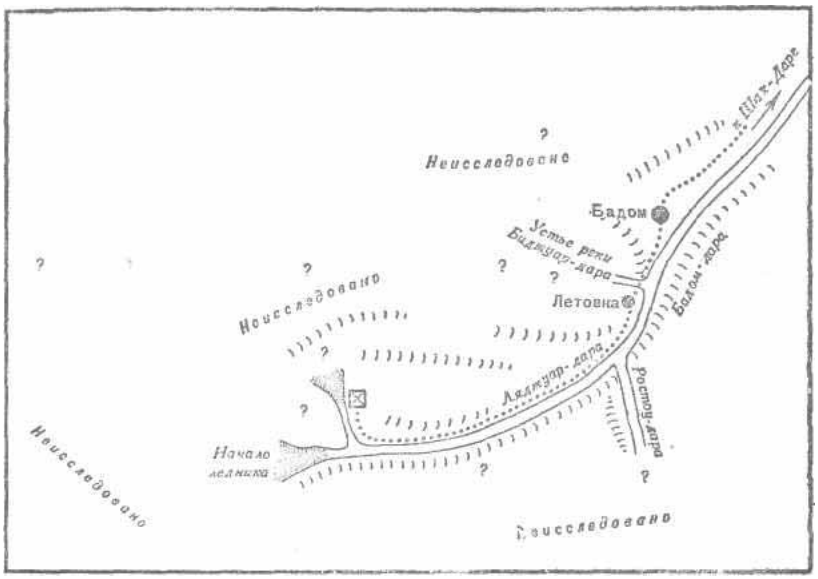
9 августа, отделившись от всех моих товарищей, находившихся на высоте 4 570 метров в палатке, поставленной под отвесною мраморной скалой, в которой была найдена нами ляпис-лазурь, я приступил к своим исследованиям.

Десятиверстная карта, заведомо никуда не годная, пустовала. На ней был условно обозначен хребет и помечены через него три перевала: Зимбардор, Шитхарв и еще один без названия. Все эти обозначения, как выяснилось позже, были абсолютно неверны. Перевалы Зимбардор и Шитхарв в действительности существовали, но совершенно в других местах и через другие хребты, не показанные на десятиверстке.

* Д. М. Затуловский, В Шахдаринском хребте. Ежегодник советского

альпинизма "Побежденные вершины", 1948 г., стр. 168--169. Подробное описание восхождения экспедиции на пик Маяковского опубликовано Д. М. Затуловским в его книге "На ледниках и вершинах Средней Азии".

** См. журнал "Наши достижения", 1936 г., No 4.



Результат маршрута 1930 года.

Какие из высящихся вокруг гребней были основным хребтом, разделяющим бассейны Гарм-Чашмы и Шах-Дары, можно было только гадать. Все, что было известно об этой области, укладывалось в изображенную выше схему.

Рано утром я вышел от месторождения и направился вверх по руслу безыменного ручья и по леднику, из которого этот ручей вытекал. Поднявшись к юго-западному склону хребта, я оказался в замкнутом ледниковом цирке. Меня окружали скалистые отвесы и чрезвычайно крутые склоны фирна, разорванного поперечными трещинами. Ни о каком перевале здесь нечего было и думать. После восьмичасовых блужданий я вернулся к месторождению ляпис-лазури, решив на следующий день спуститься в ущелье реки Ляджуар-Дара и исследовать ее верховья. В палатке меня встретили все участники экспедиции. Вокруг громоздились дикие скалы и льды. Никакого топлива не было уже утром; шугнанцы, изломав свои палки, с которыми шли накануне, вскипятили чай. Каждому из нас досталось всего по полкружке. Наступила ночь, и мы легли спать.

Палатка стояла посредине замерзшего ручья. Мы не могли найти для нее другого достаточно ровного места. Если бы не мороз, ручей ворвался бы ночью в середину палатки.

Ночью скрипели камни, и справа от палатки долго рушился длинный обвал. Где-то позади прошумела лавина, и, наталкиваясь на скалы, с глухим шумом прыгали камни. Слева разрывался змеистыми трещинами лед, и камни долго шипели, сползая в открывшиеся провалы.

Вторая попытка. Над истоками Ляджуар-Дары

10 августа Юдин со всеми участниками экспедиции ушел вниз, к Шах-Даре, чтобы больше не возвращаться сюда. На месторождении, в палатке остались только Жуков, которому предстояло руководить вывозом ляпис-лазури, боец-пограничник Мешков -- мой спутник в дальнейшем путешествии, да два шупнанца-носильщика.

Попрощавшись со всеми, я один в тот же рассветный час вышел в верховья реки Ляджуар-Дара. На мне был свитер. Чтобы не отягощать себя, я не взял с собой другой теплой одежды. Все мое продовольствие заключалось в плитке

побелевшего (от высоты, что ли?) шоколада.

Я спустился по крутой осыпи к ручью, бегущему вниз **к** Ляджуар-Даре. Переправился через ручей. Поднялся по противоположному склону. Стремление "не терять высоты" и для этого, не спускаясь дальше, пересекать склон горы поперек, привело к тому, что я забрался в такое место, откуда был путь только вверх по необычайно крутой осыпи. Лез я туда с риском сорваться и с горьким сознанием, что иного способа выбраться из этого скверного места нет. Все-таки вылез наверх. Тут оказались массивные глыбы камней. По вершинам, скалистым и диким, прошел вперед, пока передо мною не лег отвес в боковое ущелье. Пришлось спускаться, -- спуск был труден, -- по осыпям, по снежным склонам, на голову скалы, высящейся над ледником, из которого ниже брала свое начало река Ляджуар-Дара. Отсюда, со скалы, видно было большое пространство ледника, заполнявшего все ущелье. Противоположные стены ущелья были отвесны или очень круты, обрывисты, облеплены мелкими висячими ледниками и изборождены следами лавин и обвалов. Левый борт ущелья -- тот, на котором находился я, казался значительно положе, был во многих местах прорезан боковыми притоками, заполнен моренным материалом.

Со скалы я осторожно спустился на фирн, примыкающий к леднику, и побрел вверх по ущелью.

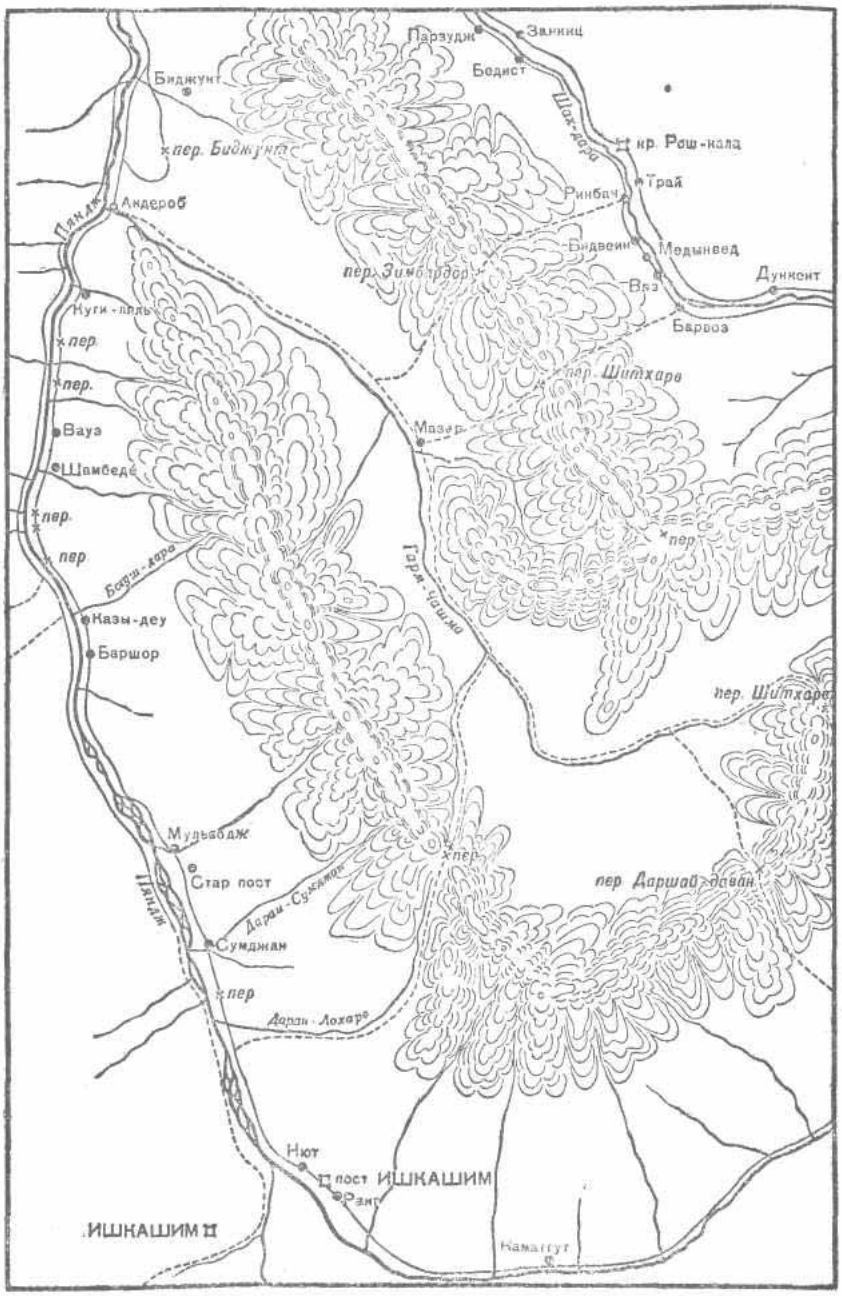
Я спешил добраться до водораздела, чтобы сегодня же успеть вернуться в палатку. Справа и слева сыпались камни. Они долго прыгали по снегу, дырявя его, потом катились, оставляя следы, похожие на след лыжи.

Солнце на снегу ослепляло меня, глазу не на чем было отдохнуть. Я шел в желтых очках, очень неудобных: они давили мне на глаза. Снег, подобный застывшим гребням волн, следы обвалов. Ни птицы, ни звука, кроме посвиста ветра и грохота обвалов. Как холодно, должно быть, здесь ночью!

Я замечал по компасу направления, брал азимуты... Там, где россыпь камней, снег был рыхлым -- я проваливался. На крутых склонах остерегался поскользнуться, -- поскользнувшись, полетишь вниз, где озера в снегу, обрывы ледников, длинные -- в километр -- трещины. Все это -- цирк снега. Стены цирка -- гигантские скалы. Гребень хребта, возносившегося над палаткой на километр вверх, сейчас приходился почти на уровне моих глаз, а ведь палатка стояла на высоте 4 570 метров над уровнем моря! За ним, за этим хребтом, открывались новые громады скал, камня и льда: вероятно, те, что высятся над Ростоу-Дарой (одна из двух рек, составляющих Бадом-Дару). Снежное поле поднималось к верхним ярусам цирка. Я заметил на снегу полосу, похожую на след человека. Подошел. Нет, это разлом всего поля, трещина узенькая, но очень злая. Направо, на север, в гребне водораздела -- седловина, метров в сто длиной. Она чуть пониже всего гребня, острозубого и неприступного. Я решил взобраться туда. Последний клочок пути по чертовски крутому фирнику. Врубался палкой, носками туфель (я шел в простых парусиновых туфлях, а вместо ледоруба у меня была обыкновенная палка), останавливался каждые три-четыре шага, чтобы отдышаться, и все же долез.

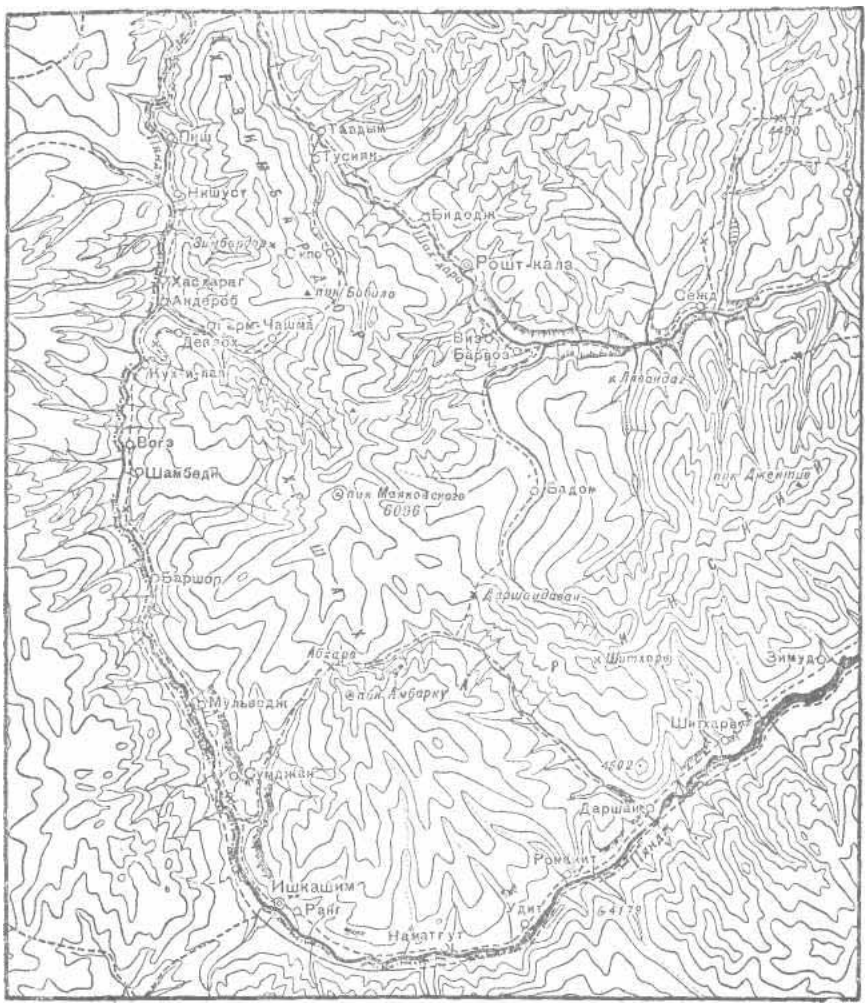
Да, это водораздел! На север простиралась великолепная панорама.

Высота, на которой я находился, -- 5 690 метров -- превышала высоту Эльбруса. Я поднимался сюда семь часов. Исключительное зрелище: метров на четыреста ниже меня -- цирк, снежный, кажущийся почти плоским. Еще ниже, направо -- начало долины, верховья какой-то реки. Какой -- я не знаю. Вероятно, она течет в Шах-Дару. Цирк замыкался гребнем водораздела, скалистым и острым. Это был водораздел на запад. Я видел, что западная сторона этого гребня отвесна, но можно ли там спуститься, отсюда угадать я не мог. Налево и направо по горизонту тянулись цепи снежных хребтов, покуда хватал глаз, покуда пространство ясное и прозрачное не становилось миражным, дымчатым и расплывчатым от огромного



Карта междуречья Шах-Дара -- Пяндж до исследований автора книги.

Река Гарм-Чашма покачана втрое длиннее действительно существующей. Направление **хребтов, перевалы и** многие названия помечены на белом пятне по расспросным сведеV ниям произвольно и абсолютно неверно.



Карта междуречья Шах-Дара -- Пяндж, изданная Таджикско-Памирской экспедицией и включающая результаты исследований автора.

расстояния. Напротив были видны водоразделы Шах-Дары и Гунта, а налево -- Пянджа и афганской реки Кокча.

Внизу, за гребнем, замыкающим снежный цирк, я видел короткий отрезок долины. Это была долина какой-то реки, текущей на северо-запад. Должно быть, это была река Гарм-Чашма, но попробуй узнай наверное!

Прямо впереди, на севере было сплетение снежных хребтов, пиков, ледников, скал -- все зубчатое, резкое, обрывистое.

Я стоял на остром гребне водораздела. С северной стороны к нему прилегал снег, как волнистая прилепившаяся подушка -- по ней нужно было пройти шагов двадцать до крутого скольжения вниз. Но когда я сделал эти двадцать шагов, я провалился по пояс. Меня спасла палка, быстро повернутая поперек груди, но все же я едва выбрался назад. Я попробовал еще раз, в другом направлении -- и провалился снова, а весь массив снега угрожающе заскрипел. Опасаясь обвала, я вернулся на зубья водораздела. Свистел ветер -- неистовый ветер севера. Солнце светило ослепительно, но вовсе не грело. Я знал, что больше здесь оставаться нельзя, а жаль было уходить отсюда. Хотелось устремиться по этому снегу и скользить и лететь вниз по белой крутизне с неизведанной быстротой. Если при этом останешься живым, то там, внизу, конечно, можно найти перевал. Но... попытка спуска туда возможна была бы только группе отлично экипированных альпинистов с "кошками", ледорубами, с длинными веревками.

Я сделал наброски местности и показал на моих "роках безыменный пик, высящийся в западном направлении от меня, над гребнем водораздела, на

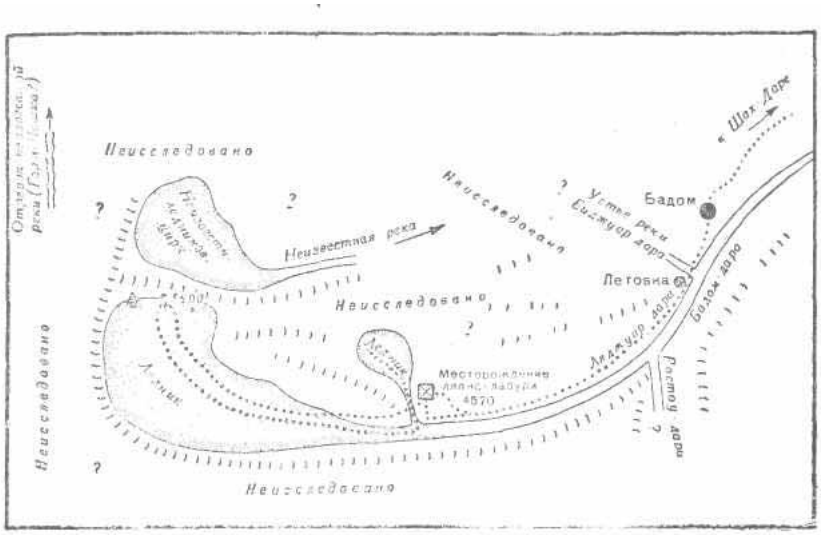
котором я находился. Высоту этого пика я определил примерно в 5 800 метров.

Пробыв здесь двадцать минут, я с сожалением двинулся назад.

Обратный путь был быстр и весел, потому что я не шел, а катился, как на лыжах, на подошвах моих туфель, управляя палкой. Ниже -- я бежал, потому что это было гораздо легче, чем итти медленно. Через два часа я вышел из снежных пределов. Я устал и сел у ручья на осыпи отдохнуть. Лег на камни. Ел снег. Пил воду, съел плитку шоколада. Лежал, слушал и думал. Слушал -- обвалы. То здесь, то там срывались снега и белым пожаром неслись вниз. Через полчаса я двинулся дальше.

В шесть вечера я был в палатке. Шугнанцы еще таскали к палатке куски ляпис-лазури. Боец Мешков "до обеда", тоже по своему почину, работал. Ляпис-лазурь лежала перед палаткой двумя выросшими "штабелями небес", величиною каждый в квадратный метр. Ближе к палатке -- синяя, дальше -- зеленая и голубая. Было ее уже около двух тонн. Отдохнув, я пил со всеми чай, вскипяченный на остатках палок. Чай заменил нам обед. Из оставшихся тринадцати лепешек мы съели восемь. Сегодня продовольствия нам снизу не принесут. Принесут ли завтра?

Схема моя несколько расширилась (рис. на стр. 265), но в ней было больше загадок, чем чего-либо определенного. Я убедился, что в верховьях Ляджуар-Дары перевала на юг нет, перевал надо было искать в другом месте. Решил: завтра с Мешковым и с шугнанцами иду вниз. Шугнанцев отправлю за продовольствием для Жукова, который здесь остается один, а сам пойду на разведку в верховья реки Биджуар-Дара -- притока Бадом-Дары. А если перевала не найду и там, то двинусь на Шах-Дару, спущусь по ней до реки Вяз-Дара и отправлюсь в ее верховья. Не могу поверить, что и там взять гребень водораздела невозможно!



Результат первых маршрутов автора в 1931 году.

Ночью мне довелось услышать тихий шопот шугнанцев. Один из них -- Мирзо Абод Бале -- долго ворочался с боку на бок в своем шерстяном халате, ворочался от холода и тревоживших его мыслей. Я достаточно понимал по-шугнански, чтобы уловить следующие слова:

Он, наверное, стороной обошел озеро, которое наверху ледников... Это его счастье, иначе голубые драконы бросились бы на него... Он все-таки хитрый -- всегда носит с собой счастье! И зачем он ходил туда? Хорошо, что мы завтра спустимся. Разве ледяная вода делает сытым желудок, а сердце горячим? А мы пьем ледяную воду, потому что уже нет чая... И нет дров, чтобы его вскипятить... И разве можно есть эти лепешки, которые превратились в

камень? Он считал: осталось пять... Слушай... А если тучи придут сюда -- как тогда возвратиться обратно?

Ты не думай о тучах! -- послышался другой шопот. -- Будешь думать -- придут.

Я улыбнулся и повернулся на другой бок. Неужели до сих пор еще живы легенды о тайнах гор? Конечно, утром я расскажу шугнанцам, зачем я ходил "туда" и объясню, почему на меня не набросились голубые драконы!

Возвращение в кишлак Бадом

11 августа с Мешковым и двумя шугаанцами я спустился по Ляджуар-Даре вниз до Бадом-Дары и по ней дошел до первого (и единственного на всем ее течении) крошечного, изолированного в горах кишлачка Бадом. В прошлом году Юдин, геолог Хабаков и я были первыми исследователями и вообще первыми русскими людьми, посетившими этот кишлак. В нем живут всего три семейства шугнанцев. Жуков остался наверху с пятью лепешками и... большим количеством ледяной воды.

Мы шли долго по крутому склону и по самому берегу реки.

Местами выламывали ветви, норовившие сбросить нас в воду, местами переползали по ветвям и всюду карабкались по камням, по осыпям и по скалам. Иногда камни, маленькие и громадные, когда мы ступали по ним, теряли равновесие и срывались в бурлящий поток. Все время, пока шли до БиджуарДары * (кишлак Бадом находится за ней, надо ее пересечь), мы занимались упражнениями рук, ног и всех мышц тела. Впрочем, путь мне понравился: я убедился, что можно пройти и по самому берегу. Раньше, на этом пути, мы карабкались высоко над берегом -- по террасам, пересекая крутые осыпи.

Перед Биджуар-Дарою -- знакомая мне пустая летовка, -- никого, ничего. Только следы пребывания группы Юдина: бумажки от шоколада. Зашел в летовку. Ящик. Откуда? Ящик зашит в мешок. Мешок -- из каравана экспедиции Юдина. Вскрыли. В ящике -- огурцы и урюк.

Естественно, набросились (ведь мы, в сущности, уже четыре дня голодали). Непонятно: раньше ли завезен сюда ящик или его бросили здесь носильщики, посланные Юдиным к Жукову с продовольствием? Но носильщиков мы неминуемо встретили бы на пути. За весь день нам никто не попадался навстречу. Никакой записки в ящике не оказалось. Он, несомненно, привезен из Хорога -- больше неоткуда быть огурцам. Впрочем, не путаясь в неразрешимых загадках, мы с наслаждением ели, а поев, взяли себе десять огурцов в запас. Я написал Жукову записку, вложил ее в ящик, и мы зашили его. Об огурцах мы мечтали с выезда из Оша -- с начала июня!

Пенится, убегая от нас вниз, широкая Бадом-Дара. Она зажата между левобережной террасой и отвесной гигантской стеной правого борта ущелья. А сбоку, из узкой отвесностенной щели, врывается в нее белесая Биджуар-Дара, образуя в Бадом-Даре водовороты и перепады. Нам надо перейти эту Биджуар-Дару вброд. Я разделся и с палкой, не снимая туфель, все же перешел без посторонней помощи. Мешков -- маленький, коренастый уфимец, изумительно спокойный, всегда на все согласный, -- пожалел мочить сапоги, сунулся было босиком, да не решился. Босиком устоять на скользких и колючих камнях гораздо труднее, чем в обуви. Вернулся назад, пошел искать брода в другом месте. Я с шугнанцами просидел на левом берегу час, пока Мешков совался то туда, то сюда и не мог перейти. Наконец он вернулся к нашему броду -- к самому устью, разлившемуся широко, страшному пенными гребнями, но зато мелкому и менее опасному. С помощью шугнанцев он все же одолел свирепую реку.

* Иначе называемой: Горун-Дара.

В этот день поздно вечером мы пришли в Бадом и встретили здесь нашего караванщика Мамат-Ахуна. У него -- чай, сахар, лепешки, мясо!.. Ящик с огурцами и урюком, оказывается, привез из Хорога он. Носильщики с

продовольствием для Жукова еще и не думали выходить в путь. После моих настояний они обещали утром обязательно выйти к месторождению. Закончив хлопоты, я занялся жирготом (кислым молоком) и мясом, сваренным для пришедших Мамат-Ахуном. Решил итти на Биджуар-Дару один, потому что шугнанцы уверяют, что туда вообще нет никакой тропы, что ущелье непроходимо и направление верховьев никому не известно... Я чувствую, что просто им не хочется туда итти.

Разведочный маршрут к истокам Биджуар-Дары

12 августа утром я все же уговорил одного из жителей Бадома, рослого и красивого парня Чушчака, пойти со мной. Решил до переправы через Биджуар-Дару, до летовки, ехать верхом, а там оставить лошадь на попечении Мамат-Ахуна, который должен проследить за отправлением продовольствия Жукову. Мамат-Ахун, веселый кашгарец, с черными китайскими усиками, всегда полон "купеческих" инстинктов и сегодня, видимо затеяв какие-то таинственные "товарообменные операции", заявил мне, что хочет оставаться здесь, "чтоб постирать свой халат". Я доказал ему, что стиркой он с равным успехом может заняться и в летовке, и дал ему кусок мыла. Мы выехали, и Чушчак, накануне уверявший меня, что ущелье и пешком-то непроходимо, неожиданно оказался, как и мы, на лошади. Подъезжая к летовке, он заявил, что по Биджуар-Даре

тропа есть и что туда можно проехать верхом. Конечно, я решил ехать верхом, посмеиваясь над вчерашними россказнями шугнанцев.

Сразу за летовкой -- узкое ущелье, а за ним -- лес. Тропа хороша и ведет по лесу. Мы едем вдвоем: Чушчак и я. Он хороший жизнерадостный парень, мы дружно болтаем по-шугнански. Местами приходится спешиваться -- стволы и ветви образуют низкие арки. Еду, часто останавливаясь, веду глазомерную топографическую съемку. Определяю горные породы: все больше гнейсы, на высоких гребнях хребтов видны охристые мраморы. День жаркий. Никаких летовок, шалашей, жилищ нет. По мере подъема лес редеет, заменяется кустарником, здесь река резко, под прямым углом, поворачивает на юг. За поворотом участки длинностебельного дикого лука -- последнее, что в этих местах бывает перед снегом и льдом. Мы едем по левому берегу *. Правый берег реки -- великолепная, фантастическая отвесная стена высотой километра в полтора. Закинув голову, вижу вверху висячие ледники. Эта стена так и уходит вперед, мы едем вдоль нее, впереди она выгибается, закрывая весь горизонт, превращаясь в острозубый, сверкающий фирнами хребет и сбрасывая с себя длинный, изогнутый ледник, из которого и вытекает наша Биджуар-Дара. А справа на нас один за другим надвигаются, как ребра чудовищного скелета, длинные скалистые мысы. Между ними -- хаотические нагромождения морен.

Мы въезжаем на морены и едем, пока могут двигаться лошади. Я собираю геологические образцы, вычерчиваю карту, работаю с увлечением: ведь, кроме пастухов из Бадома и меня, никто этих мест не видал. Проехав по моренам далеко за язык ледника, спешиваемся, и Чушчак остается здесь с лошадьми. Дальше иду один пешком и, наконец, останавливаюсь под большим скалистым пиком. Время уже позднее, собрались тучи, повалил снег с градом, задул ветер, а я не взял с собой даже свитера. Вся река исследована, впереди только льды и снега, я торопливо произвожу все необходимые наблюдения, делаю записи, замечаю с десяток пиков (названий им не даю, только нумерую их) и, окончательно промерзнув, спешу назад.

Поздно вечером мы -- в кишлаке Бадом. Разобравшись во всех наблюдениях, я понимаю, что река Биджуар-Дара и ледниковый цирк ее верховьев и есть те самые, которые я видел несколько дней назад сверху, когда с водораздела смотрел вниз, под четырехсотметровый склон.

* Здесь, как и во всей книге, правая и левая стороны понимаются орографически, то-есть глядя сверху вниз по течению реки.

Ночью идет дождь. Лежу на глинобитной террасе шугнанского дома, не сплю и размышляю: что может быть там, за ледником Биджуар-Дары? Действительно ли та река, которую я видел с водораздела, -- Гарм-Чашма? Как проникнуть туда? Куда я попаду, если, спустившись на реку Шах-Дара, снова двинусь вверх, по притоку ее Вяз-Даре?. Не находятся ли ее верховья за хребтами, к северу от ледника Биджуар-Дары? Горы, горы, горы -- так трудно разгадать их сплетенье!

Надо бы сделать попытку перевалить хребет, тот, что высится над ледником Биджуар-Дары, но у меня уже нет продуктов, и местные жители итти никуда не хотят.

Отступление к Шах-Даре

13 августа я решил двинуться с Мешковым вниз, к реке Шах-Дара, спуститься по ней до устья впадающей в нее реки Вяз-Дара, никем не исследованной и не нанесенной на карту, и, поднявшись к ее верховьям, искать перевал.

Утром жители кишлака Бадом толпятся вокруг меня. Они любопытствуют по всем поводам: по поводу консервных банок, оружия, карандашей. Маленький их кишлак заброшен в дикие горы, они пока еще не тронуты культурой. Женщины здесь, как тени, -- скользнут и исчезнут. Дома -- низкие складни из разноуголыных камней. Я угощаю всех последним сахаром, чаем, я размышляю о том, что скоро и здесь начнется иная жизнь, что эти дети обязательно будут учиться в ближайшей школе, строящейся в Барвозе, на Шах-Даре. В кишлаке Бадом живут пять мужчин, шесть женщин, семь мальчиков и шесть девочек. Никто из них не бывал даже в Хороге, и только двое из них бывали на Шах-Даре.

Через два с половиной часа езды верхом, взяв небольшой перевал, мы спустились в шах-даринский кишлак Барвоз, где есть и сельсовет, где осведомлены о том, что делает экспедиция; где тепло и привольно, -- вокруг кишлака чудесный лес и пастбища с многочисленными стадами. В Барвозе -- база экспедиции Юдина, запасы продуктов, все наши вещи. В палатке живут двое из наших красноармейцев Панков и Таран. Они уже сдружились с местным населением, обмениваются визитами, угощениями, волнуют воображение шугнанцев рассказами о советской культуре, о городах, о тысяче здесь непонятных вещей. Я прожил в кишлаке три дня, один из которых посвятил вычерчиванию топографической карты, а два -- поискам людей, знающих Вяз-Дару, и носильщиков, которые пошли бы туда со мной и Мешковым. В Барвозе все свободные от сельскохозяйственных работ жители заняты на постройке начальной

школы, и никто не соглашается итти со мной в горы. Я разъезжал по всей округе, разговаривал с сельсоветчиками, с дехканами, а нужных мне людей все-таки не нашел.

15 августа я двинулся с Мешковым пешком в кишлак Вяз (в устье реки Вяз-Дара), надеясь найти проводника и носильщиков. Я не мог обойтись без носильщиков, -- итти на поиски перевала во льды и снега, рассчитывая спуститься в ГармЧашму, и потом продвигаться до Хорога, быть может, неделю, нельзя без теплой одежды, без запаса продуктов, без инструментов. Все это, конечно, одному не унести на себе.

Вяз -- маленький кишлачок: несколько шугнанских домов, окруженных посевами, в узком развилке ущелья, раскидистые тутовые деревья. Меня встретили старики с обычным гостеприимством. Но когда я объяснил им мое дело, начались бесконечные разговоры: все поголовно уверяли, что хребет непроходим, что только Иорик может найти туда дорогу. Йорик -- старик, живущий в нескольких часах ходьбы отсюда вниз по ШахДаре, в кишлаке Рошт-Кала. Без Йорика никто не брался итти. Впрочем, один молодой парнишка изъявил желание быть носильщиком, но он был мал и слабосилен. Мне сказали, что если я согласен здесь ждать до вечера, то мне сегодня же представят Йорика. Тоскуя о каждой потерянной минуте, я ждал целый день.

Вечером верхом на ослике явился дряхлый шугнанец Иорик, с широкою

бородой, вежливый и спокойный. Он не знал -- посланцы не сказали ему, зачем его вызвали в Вяз. Когда я объяснил ему, что надо подниматься на перевал, он явно смутился. Он заговорил о том, что перевал там действительно есть, но что только один раз, в молодости, он рискнул пройти через него. С тех пор к этому перевалу никто даже не приближался. Тогда, в тот год было мало снега, но Иорик испытал величайшие трудности. Там узкие карнизы, покатые и покрытые льдом. Снег там глубок и неверен. Тогда он, Иорик, мог рискнуть, потому что был молод, силен, ловок, бесстрашен, а сейчас у него болят ноги и он не пройдет. Он рассказал мне, что там глубокие пропасти, надо огибать их по нависшему льду.

Иорик говорил с несомненной искренностью, и все же я не знал, верить ему или нет. Я думал, что трудности преувеличены, что просто по старости лет ему неохота итти. Я Не сдавался. Иорик сказал мне, что часть пути до начала ледника можно проехать верхом, я предложил ему ехать на моей лошади, обещав, что сам двинусь пешком.

-- Ты говоришь, в этом году много снегу? Хорошо. Мы же не птицы, летать не будем, если невозможно будет пройти -- вернемся. Наконец, только укажи мне дорогу, дальше я двинусь без тебя, ты вернешься домой.

Иорик советовал мне спуститься по Шах-Даре до кишлака Тусиян и объяснил, что в верховьях реки Тусиян тоже есть перевал, а в кишлаке живет молодой, здоровый, храбрый охотник, который согласится со мной пойти. Я продолжал уговаривать старика. И он сдался. Он оказал, что завтра на рассвете пойдет, потому что это нужно для "высокой науки", а сейчас поедет домой ночевать, пусть я поверю ему, -- на рассвете он будет здесь. Едва я сказал "хорошо", Иорик вышел за дверь и исчез в темноте. Я был уверен, что он не придет, но у меня не хватило духа удерживать его здесь, тащить старика силком.

16 августа Иорик не явился. Я был полон горьких мыслей: когда же я одолею этот хребет? Гарм-Чашма становится какой-то заповедной рекой и дразнит мое воображение. Ведь чего бы, кажется, проще: спуститься в Хорог по Шах-Даре, обогнуть этот хребет, подняться по Пянджу и войти в долину реки Гарм-Чашма снизу, от устья. Но нет, сдаваться нельзя. Неудачи только подстегивают меня. Я найду перевал и возьму его. Не могу больше терять ни одного дня! Ждать здесь бессмысленно. Этак можно и месяц потерять. Решаю двинуться на Тусиян. Во время чаепития подходит какой-то шугнанец, рассказывает, что он идет на ляпис-лазурь помогать Жукову. Вчера туда же двинулось несколько человек. Зовут шугнанца Мамат-Раим.

В девять утра выхожу с Мешковым вниз по Шах-Даре в Рошт-Калу, чтобы там достать лошадей и выехать дальше в Тусиян. Около одиннадцати, пройдя с десяток километров, мы в Рошт-Кале. С трудом достаем лошадей. Когда выезжаем, шугнанцы показывают на фигуру, движущуюся верхом на осле по дальней тропе:

-- Иорик поехал в Вяз...

Значит, не обманул! Но теперь уже поздно, -- не возвращаться же в Вяз, все равно там носильщиков нет. Посылаю мальчика вернуть Йорика.

Вечером -- зыбкий мост через Шах-Дару. Ущелье, над ущельем скала, на скале маленький кишлачок, за ним дальше -- в долине, подковою врезанной в горы, -- большой просторный кишлак Тусиян. Белое здание -- строится школа, работают тридцать-сорок шугнанцев. Меня приглашают в дом председателя сельсовета, и сюда собираются жители, дружелюбно приветствуют, несут молоко, яйца, чай, стелют паласы и кошмы. Председатель -- раис -- образец радушия и благорасположения. Да, слышали о том, что перевал есть. Но знают только одного человека, который там побывал: это охотник Шоик.

Шоик приходит к нам -- рослый, здоровый красавец, в чистом, аккуратном халате. Открытое лицо -- в нем твердость и мужественность. Шоик согласен итти, если мы дадим ему стрелять из нашей винтовки в кииков (козлов) и даже

не говорит о деньгах: "Сколько считаешь нужным -- столько дашь". Шоик обещает достать двух носильщиков. Превосходно. Путь? "Да, труден, очень труден -- много снегу и льда. Но пойдем. Я сам хочу знать все мои горы!" -- с гордостью произносит Шоик.

До ночи разговоры с шугнанцами, расспрашивающими меня обо всем. Теплая ночь. Молодая луна. Тишина.

Третья попытка найти перевал. Вверх по Тусиян-Даре

Утром семнадцатого все-таки бесконечное ожидание. Наконец приходит Шоик, словно рыцарь в боевых доспехах: на нем шугнанский охотничий пояс, обвешанный пороховницами из рога кииков, огнивом, мешочками для самодельных пуль. За плечами -- цан, допотопное фитильное ружье с массивным стволом, оканчивающимся широким раструбом, с двумя кривыми ножками -- подставками для прицеливания, с полочкой для насыпки пороха. Появляются носильщики -- Назар-Мамат и Мамад-Кадам с двумя лошадьми. Значит, можно было бы ехать верхом? Да, сегодня полдороги можно, завтра -- нельзя. Носильщики предлагают нам сесть на тюки. Что ж, не отказываемся: ехать приятнее, чем итти на подъем пешком. Выступаем в путь, солнце уже очень высоко. Река Тусиян в среднем и верхнем течении тоже не исследована никем, поэтому занимаюсь по пути глазомерной топографической съемкой. Идем весь день по узкой чудесной долине. Несколько летовок, на зеленых луговинах пасется скот кишлака Тусиян: много быков, коров, ослов, коз, овец. За скотом бегают тусиянские ребятишки. Долина все уже, переходит в скалистое ущелье, вокруг нет ничего живого, кончилась и трава, льды нависли над нами, холодно, дико. Мы спешиваемся, ведем лошадей в поводу.

Я иду, часто останавливаясь, беру по компасу азимуты, заношу в пикетажную книжку кроки маршрута, время, показания анероида, записываю все особенности пути.

Иду дальше, проверяя показания шагомера счетом своих шагов. Шаги я считаю тройками, чтоб не сбиться, и стараюсь ступать как можно ровнее и равномернее.

Мешков устал. У него нет такой тренировки, как у меня: я брожу по горам уже четыре месяца и привык. Чтобы ободрить Мешкова, объясняю ему:

-- Наша задача -- провести глазомерную съемку маршрута. Карту сделать.

При слове "карта" Мешков оживляется.

Это правильно, -- говорит он, -- карта в горах -- первое дело. У нас на заставе в картах даже очень большой недостаток. В степи едешь -- гладко, все окруженье видать, а вот здесь без этого шагу ступить невозможно... Упрешься в гору лбом, ни обойти, ни объехать, а там, может, басмач, нарушитель или контрабандист. Дадут тебе карту, а в ней набрехано столько, что и не разберешь, то ли горы с места на место ходят, то ли нарочно вредил, кто ее делал...

Не ходят и не вредил, -- улыбаюсь я, -- а просто эта местность еще мало исследована. Тот, кто составлял карту, не мог сразу разобраться во всем. Сами видите -- путаница какая в этих горах!

Мешков охотно соглашается, что "путаница", и предлагает помочь мне в моей работе.

Я прошу помочь в счете шагов. Он покорно начинает отсчитывать шаги тройками.

Двести пятьдесят, -- говорю я останавливаясь.

А у меня двести тридцать семь, -- сконфуженно отвечает Мешков. -- Неужели сшибся? Кажись, считал правильно.

Не ошибся, просто шаги у вас подлиннее моих. Буду записывать свой счет и ваш.

К вечеру ущелье сузилось в тесный проход. Я останавливаюсь.

Товарищ Мешков, теперь прямо туда полезем. Как окажете?

Куда? Туда, что ли?

Над нами темнеет крутая каменистая осыпь. Она уходит высоко вверх, под нависшие черные скалы. Кажется, и козлу туда ввек не добраться.

-- Крутенько! -- с сомнением произносит Мешков. -- А только раз надо... -- и умолкает, примеряясь к осыпи глазом.

Оставляю лошадей мальчику, который шел с нами от последней летовки. Нагрузившись вещами, лезем по осыпи вверх. Целый час, пересиливая себя, карабкаемся к скалам. Разреженный воздух дает себя чувствовать.

Осыпь кончилась. Начались нагромождения морен. Целый мир открылся внизу: долина, ущелья с серебристыми лентами речек, а вокруг -- ряд за рядом -- цепи остроконечных гор, со снежными пиками и крутыми сверкающими скатами фирна. Только в одном направлении -- куда надо итти -- виднеется длинный ледник, из которого по бокам торчат огромные острые черные скалы, соединенные между собой заснеженными перепадами седловин.

Холодно, очень холодно, потому что солнце уже скрылось, и нас бьет ветер, рвущийся от ледников. Впереди над нами

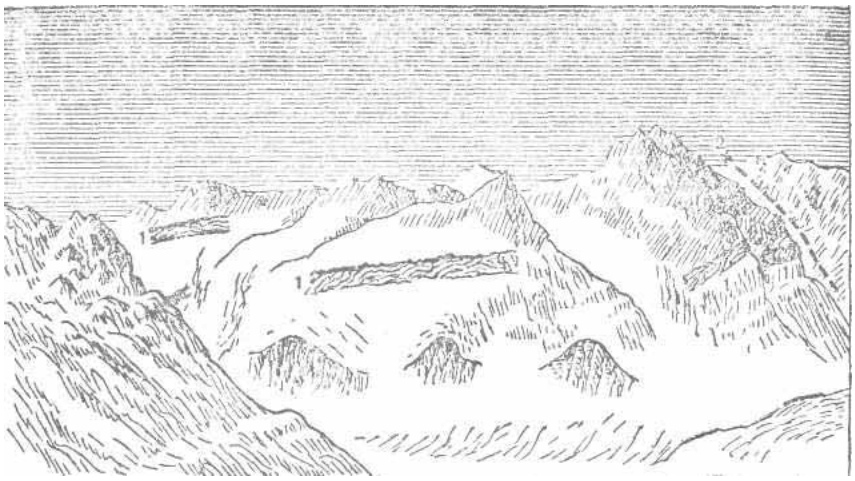


Рисунок сделан автором 17 августа 1931 года у "охотничьего" камня в истоках реки Тусиян-Дара, на высоте 4 280 метров. Вид к востоко-северо-востоку (60°) на водораздельный хребет Вяз-Дара -- Тусиян-Дара.

1. Обнажения мощных мраморных свит. 2. Предполагаемый перевал к реке Вяз-Дара.

вырастает острым концом пик -- Шоик сказал, что его называют "Бобило". Из-за пика плывут рыжие, мрачные тучи.

Шоик указывает мне камень -- "охотничий" камень с расщелиной, к которой самим Шоиком прилажена стенка из мелких камней, чтоб было где спать на киичьей охоте. Конура -- щель под камнем -- для одного. Впрочем, очень потеснившись, можно забраться в нее вдвоем.

-- Вы здесь гости, -- торжественно говорит Шоик мне и Мешкову, -- вы будете спать здесь

Забираюсь под камень с Мешковым. Отлично! Похоже на каменный гроб, в котором даже не растянуться, но отлично! Уместимся!

До полной темноты делаю зарисовки и занимаюсь съемкой. Высота камня над уровнем моря -- 4 280 метров по моему анероиду. Горит костер из кизяков, набранных носильщиками по пути сюда. Едим мясные консервы. Изумительный ландшафт: пики, зубцы, хребты, отвесы, скалы, и всюду -- снег и лед, при луне таинственная синь, кажущийся неземным холод. Тяжелые тучи в лунном

сиянии стоят над пиком Бобило. Этот пик, как и многие другие, я нанес на карту.

Забравшись с Мешковым в нору, тратим не менее получаса, чтоб, не поднимая головы, не садясь (ибо это невозможно),

разостлать одеяла, раздеться и улечься на ночь. Здесь тепло. Шугнанцы спят снаружи, соорудив себе загородку из камней, свернувшись в клубок, укрывшись шерстяными халатами и

всем теплым.

Перевал найден!

Восемнадцатого утром -- холод. Пока кипятился чай, я занимался зарисовками окружающего рельефа. Шоик сегодня, не в пример вчерашнему, торопит всех. Быстро собравшись, выходим к перевалу.

Крутой подъем, пересекаем речку, в которой валуны оледенели. Громадные камни. Шугнанцы останавливаются, часто отдыхают.

Пользуюсь этим, чтоб рисовать и делать съемку. Иду с палкой. Мешков палки не признает и шагает себе в высоких сапогах.

Перед нами -- язык ледника. Грязный, засыпанный моренной трухой лед вздыбился над нами огромными, веющими холодом буграми. Только в одном месте зияет ослепительно чистыми гранями высокий ледяной грот, из которого, бурля, выбиваются струи прозрачнейшей, чистейшей воды. Извиваясь и журча, они соединяются в веселый ручей, сразу убегающий под камни морены.

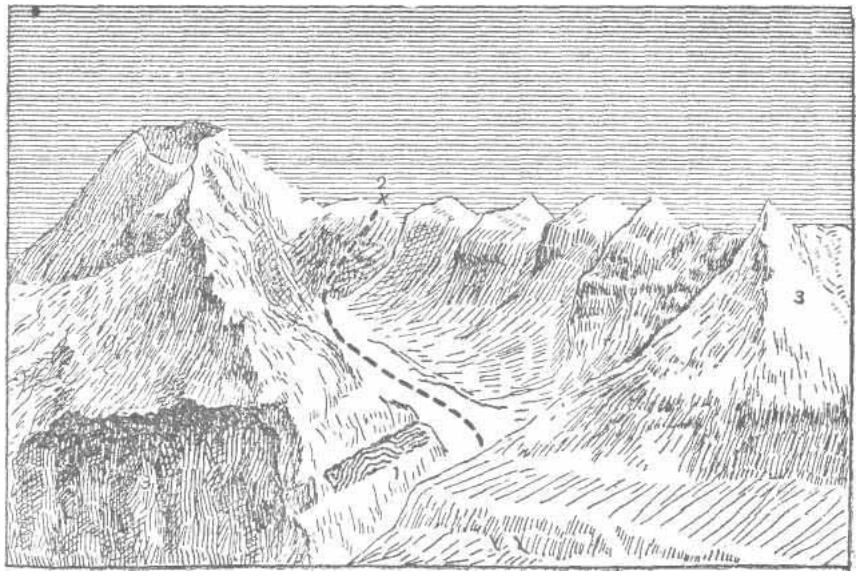


Рисунок сделан автором 18 августа 1931 года под пиком Бобило, у фирнового цирка, на высоте 4 510 метров. Вид на восток (90°).

1. Обнажение мраморной свиты. 2. Предполагаемый перевал к реке Вяз-Дара. 3. Отвесные стены.

Это исток той речки, по которой мы шли с утра, -- объясняю Мешкову, тыча палкой в ледяную поверхность грота. -- Только мы сократили путь, взяв по осыпи, напрямик. Вот так, товарищ Мешков, рождаются реки.

А ведь сколько воды в ней внизу! -- вдумчиво замечает Мешков.

Ну, пошли дальше, что ли?

Пошли, теперь ничего, будто легче стало! Самое скверное дело, это когда под тобой птицы, а ты прямо вверх лезешь!

Однако путь по леднику оказался не легче. Его рассекают поперечные трещины, извилистые, кажется -- бездонные: дневной свет, если заглянуть в

них, сгущается в зеленый, страшноватый мрак. Через узкие трещины надо перепрыгивать, а широкие приходится обходить, подолгу шагая вдоль ледяных кромок, путаясь в ледяных лабиринтах, иногда спускаясь в расщелины, по дну которых бежит вода, иногда карабкаясь на острые зубья.

Шугнанцы по леднику идут неуверенно. Они совершенно бесстрашны на любых скалах, но лед их пугает.

Вступаем на фирн, поднимаемся к снежному цирку. Ледник покрыт фирном. Озерки и ручьи в снегу и во льду. Последняя упрямая снежная крутизна -- гребень водораздела. Врубаемся в снег, поминутно отдыхаем, но лезем уверенно. Наконец высота 4 880 метров -- перевал.

Огромная видимость! Я не скрываю восторга от окружающих. Видны сотни хребтов вокруг: хребты Индии, Афганистана, Памира. Это водораздел. Внизу видна Гарм-Чашма--именно она, теперь уж нет сомнения. Ее верховья теряются где-то среди гигантских пиков, их -- самых больших, приближающихся к 6 000 метров -- не менее полудюжины. Они не открыты исследователями, не названы до сих пор. Среди них смутно виднеется еще более высокий, весь белый пик. Облака мешают мне точно разглядеть его очертания. Он дразнит мое воображение, но оставаться дольше на перевале в надежде, что дальние те облака рассеются, конечно, нельзя.

Час двадцать минут пробыли мы на перевале. Я торопливо брал азимуты, делал съемку, рисовал, записывал геологию: гнейсы, гнейсо-сланцы, пропластки мраморов, голубовато-зеленые пегматитовые жилы, с роговой обманкой, биотитом и другими цветными слюдами.

Спуск перед нами -- необычайно крутой гребень, скалы выветрены и обесснежены. Начали спускаться прямо по отвесу,

вися на руках над пропастью, -- отвратительное место. Ниже -- крутая осыпь мокрого мелкого щебня, плывущая вниз под ногами. Осторожно катимся вместе с камнями. Один из сзади идущих нечаянно обрушил большой камень, увлекший за собой грохочущую лавину камней. Она ураганом промчалась мимо меня и Шоика, -- едва-едва успели мы отскочить. В несколько минут стремительно мы окатились по осыпи на снег, на маленький ледничок и по снегу побежали дальше, управляя палками. Ущелье закрыло от нас окружающий мир. Так мчались, пока не добежали до первой травянистой лужайки. Бросились на нее отдыхать вповалку. Я взглянул на мой анероид: за час такого сумасшедшего бега мы спустились на семьсот метров по вертикали.

Шоик где-то высоко на скалах заметил кииков. Указывает мне пальцем -- с трудом различаю две черные точки на дальнем снегу. Просит дать винтовку. Стрелять бессмысленно: киики не ближе чем в километре, но я даю Шоику винтовку, пусть побалуется. Шоик стреляет дважды, конечно, безрезультатно, но все же доволен. Ниже -- ущелье, похожее на все узкие ущелья здешних мест. Никакой тропы. Признаки тропы появились через несколько километров. Видим: маленькая летовка, перед ней две женщины, боязливые и любопытствующие. Они что-то крикнули, из летовки выбежали люди, окружили нас с восклицаниями удивления, -- отсюда никогда не приходили люди!

Это горанская летовка Хэвдж, а река, по которой мы спустились сюда, называется Хэвдж-Дара. Никогда не посещалась русскими и, конечно, ни на каких картах не показана.

Излуками, вдоль самого русла, мимо лесочка, через маленький из ветвей мостик, перекинутый на левый берег, мы спускаемся все ниже и ниже -- и неожиданно: лес, тень, узкая долина и проносящаяся мимо тяжелыми волнами река ГармЧашма. Но в каком ее месте, недалеко ли от устья, у самых ли верховьев находимся мы -- не знаем.

Носильщики мои -- Назар-Мамат и Мамад-Кадам устали, но всех больше жалуется на усталость Шоик. Мешков хладнокровен и невозмутим, как всегда, а мне обнаруживать усталость уж просто по положению не приходится: надо всех ободрять. И хотя тропа вниз по Гарм-Чашме хороша, и хоть в ближайшем же

оросительном канале мы с Мешковым выкупались, и хоть деревья закрывают нас благодатной тенью, путь кажется длинным и утомительным. По пути -- посевы: ячмень, пшеница, горох, просо, рожь, бобы, а среди них -- маленькие, безлюдные сейчас летовки. Кишлачок Хосгунэ, за ним тропа -- обрывиста и крута и, наконец, кишлак Гарм-Чашма. Всего этого нет на десятиверстке, и я продолжаю съемку.

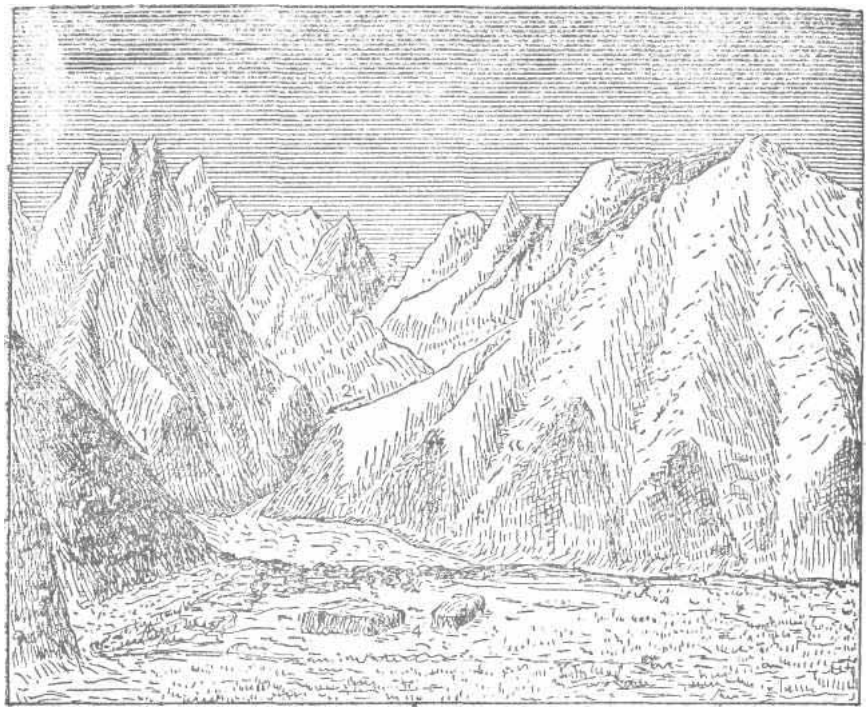


Рисунок сделан автором 18 августа 1931 года у летовки Хэвдж, на высоте 3 645 метров. Вид на ущелье реки Ростоу-Дара:

1. Река Хэвдж-Дара, 2. Река Ростоу-Дара. 3. Предполагаемый перевал к реке Вяз-Дара.

4. Летовка Хэвдж.

У источника Гарм-Чашма

В кишлаке Гарм-Чашма (в нем всего восемь домов) мы остановились на ночь, и я услышал от жителей странные вещи: что серный источник, показанный на десятиверстке километрах в тридцати от устья, находится в действительности здесь, у кишлака; что до кишлака Андероб на Пяндже отсюда всего восемь километров; что перевал Зимбардор не выше нас, как можно судить по карте, а ниже; что ведет этот перевал не в Шугнан, а в гора некую же, параллельную Гарм-Чашме реку Биджунт; и, наконец, самое главное, что отсюда до верховьев реки Гарм-Чашма пути не два-три дня, а всего один день, то-есть что река эта вдвое или втрое короче показанной на десятиверстке. Все это невероятно, но я верю старику, который мне это рассказывает, а потому меняю все мои планы: завтра -- дневка и осмотр серных источников, работа над картой; послезавтра -- путь вверх, **к** истокам Гарм-Чашмы, двадцать первого -- путь обратно, двадцать второго -- путь через перевал Девлох (оказывается, есть и такой) в кишлак Куги-Ляль, на Пяндже, к старинному месторождению рубинов, вернее -- благородной шпинели. А затем -- по Пянджу наверх, в Ишкашим, где до сих пор мне еще не пришлось побывать. Говорю об этом Мешкову. Он согласен на все, хотя сапоги его окончательно изорвались.

Укладываемся на одном из далицев (веранда). Но ночью, несмотря на усталость, спать невозможно. Нас загрызают какие-то насекомые.

Жжем костер всю ночь. Засыпаем под утро, совершенно измученные.

Утром идем **к** источнику. **В 1928** году он исследован минералогом А. Н.

Лабунцовым и его помощником Н. И. Березкиным, которые поднимались сюда снизу -- от кишлака Андероб на Пяндже, а потом тщетно пытались взять перевал Зимбардор, чтобы выйти на Шах-Дару. Они вынуждены были вернуться к Пянджу у кишлака Хас-Хараг.

Источник -- отдельная известковая горка посередине долины, на правом берегу реки, метрах в двухстах ниже кишлака. Горка, совершенно белая, вся состоит из серии "ванн", одна над другой, -- маленьких водоемов, над которыми фонтанчиками бьет горячая сернистая вода. Вся горка -- продукт отложения извести. Там, где фонтанчики бьют особенно сильно, -- желтые набухания серы. Вода в "ваннах" разной температуры -- от двадцати до шестидесяти градусов. Тут же, на горке, в пещерах, образованных старым, давно иссякшим источником, -- ибодатгох (молельня, "святое место") с шестом и белой тряпкой на шесте.

Замечательное купанье: вымылись исключительно, как не вымоешься ни в какой бане. Выстирали все, что есть, до кепки и пиджака включительно. После этого купались в ледяной воде Гарм-Чашмы. Возвратились в кишлак обновленными, бодрыми и веселыми...

К истокам реки Гарм-Чашма

На следующий день, рано утром, мы вышли в верховья реки Гарм-Чашма, дошли только к вечеру. По пути, выше ХэвджДары, попались нам две летовки, в верхней (Истыдойджайляк) около пятнадцати женщин и четверо мужчин пасли большое стадо скота, принадлежащего нижним кишлакам.

Здесь ко мне принесли страшного ребенка -- все лицо черное, как уголь. Я думал, он обгорел, нет, оказывается, упал в реку, изранен камнями и для излечения вымазан сажей с жиром. Я попробовал отмыть сажу, чтоб смазать лицо вазелином, но это оказалось большой работой. Решил заняться ребенком на обратном пути, тем более, что ребенок уже дней пять ходит в таком виде.

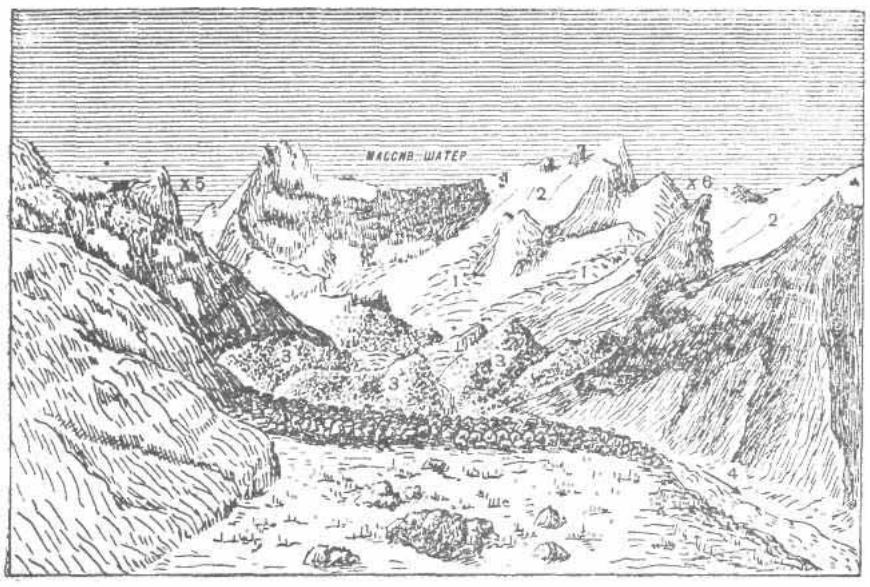


Рисунок сделан автором 21 августа 1931 года в верховьях реки Гарм-Чашма, у "охотничьего" камня, на высоте 3 930 метров. Вид к юго-востоку (150 о), на истоки реки Гарм-Чашма и массив Шатер:

1. Ледники. 2. Вечные снега, фирны. 3. Моренные нагромождения. 4. Русло реки Гарм-Чашма. 5. Предполагаемый перевал. 6. Перевал к Богуш-Даре.

Мы дошли до истоков и заночевали, вдвоем с Мешковым, под "охотничьим"

камнем.

Гарм-Чашма вытекает из больших ледников, спадающих, с грандиозной стены массива, увенчанного двумя характерными пиками, абсолютная высота которых не менее 6 000 метров, по самым осторожным глазомерным расчетам. Этот массив назван мною массивом Шатер.

Мне удалось узнать вверху, на востоке, над Гарм-Чашмой, тот самый водораздел, с которого две недели тому назад, я впервые увидел неизвестную реку, принятую мною тогда за Гарм-Чашму. Значит, все мои предположения оправдались, и составленная мною карта, к великой моей радости, превосходно замкнулась. Неясным оставался только центр этой области -- территория между Биджуар-Дарой и пройденным мною перевалом. Она оставалась белым пятном, разгадать которое мне удалось только на следующий год.

Продукты у нас все без исключения кончились. Поэтому на следующий день мы двинулись вниз. Я был доволен, мне все было ясно. Что же касается реки Гарм-Чашма, то она оказалась длиной всего в тридцать километров, я нанес на карту около тридцати мелких и крупных ее притоков... Только значительно позднее я узнал, что до меня на реке Гарм-Чашма побывал ботаник Б. А. Федченко, в 1904 году. К верховьям Гарм-Чашмы он проник с другой стороны, чем я, а именно: с юго-запада, от Пянджа, от кишлака Казы-Деу, через перевал Богуш-Дара. Борису Алексеевичу Федченко и принадлежит честь первого исследования течения реки Гарм-Чашма, вниз до Андероба. Но данные Б. А. Федченко (он сам сообщил мне их в 1932 году), к сожалению, не были отражены на десятиверстной карте, хотя она печаталась в 1925 году.

Мне были приятны результаты, которые дали мне маршруты этого месяца: сплетение горных хребтов к северу и востоку от Гарм-Чашмы было расшифровано, открыто четыре больших и несколько маленьких ледников, несколько крупных рек исследовано от устья до истоков, несколько кишлаков нанесено на карту и открыт ряд высочайших пиков, из которых не меньше шести приближались к 6 000 метров или достигали их. Мешков, разделявший со мной все трудности странствий и вместе со мной сделавший все открытия, по справедливости заслужил, чтоб его именем назван был взятый нами перевал. Этот перевал я обозначил на карте перевалом Мешкова.

На обратном пути я занялся лечением ребенка в Истыдойдж-айляке.

22 августа я пересек верхом нетрудный перевал Девлох, спустился в кишлак Куги-Ляль и, обследовав древние копи шпинели, выехал на одну из пограничных застав. Здесь я засел на целую неделю за вычерчивание составленной мною карты.

Через ледник перевала Шитхарв

На следующий, 1932 год после долгих странствий по Восточному Памиру я с небольшой группой участников Таджикской комплексной экспедиции оказался в верховьях Пянджана реке Памир. Отсюда мы спустились в Вахан, прошли по Пянджу через Зунг в кишлак Шигхарз.

На десятиверстной карте, в верховьях реки, впадающей здесь в Пяндж, был обозначен перевал Шитхарв (который, о чем я уже упоминал, существовал в действительности, но, как

оказалось позже, находился совсем в другом месте, чем было указано на карте).

Путь через перевал Шитхарв один только раз был пройден исследователем: ботаником Б. А. Федченко в 1904 году.

Я с тремя научными работниками и несколькими носильщиками отделился от группы, направлявшейся далее вниз по Пянджу. Мы решили: перевалив через Шитхарв, пройти в ущелье Бадом-Дара. Мои спутники хотели подняться оттуда к месторождению ляпис-лазури, а я -- довершить мои исследования того белого пятна, которое в основном уже было расшифровано в 1930 и 1931 годах.

Перевал Шитхарв дался нам нелегко. Путь оказался много длиннее, чем мы ожидали. До перевала мы шли два дня, поднимаясь сначала вдоль реки, затем по

хаотическим моренам, потом по фирну и леднику.

Пересекая на крутизне фирновый склон, один из наших носильщиков чуть не погиб, сорвавшись и прокатившись вниз по откосу добрых сто метров. К счастью, неведомо как, он задержался перед самой грудой скал и испуганный, но невредимый, кружным путем снова поднялся к нам.

Перед гребнем перевала огромная стена фирна встала перед нами отвесом. Замерзшие и очень усталые, мы все же взобрались на нее. Был уже поздний вечер, дул леденящий ветер, он едва не сдул нас в пропасть, когда мы брали перевал, переползая через острый, как лезвие пилы, гребень. Носильщики начали замерзать. Мы поторопились спуститься на длинный ледник и отправили носильщиков вниз к речным долинам, чтоб они переночевали в тепле и там дождались нас утром. Сами мы заночевали на леднике, на высоте 5 200 метров над уровнем моря, положив свои спальные мешки прямо на лед, из которого, врезаясь нам в бока, выпирали острые, мелкие камни.

Всю ночь мы почти не спали от холода, мороз был за двадцать градусов. Луна, казалось, не двигалась по небу, издеваясь над нами. Льды, снега, острые зубцы вершин были великолепны и фантастичны в зеленом призрачном свете. Разреженный воздух действовал на нас, как веселящий наркотик, мне казалось, что я переселился на другую планету и витаю над ней. Эта явная галлюцинация лишний раз доказывала, что трезвое мышление было нарушено действующей на весь организм высотой. В эту ночь, без палатки, на льду, мы едва не замерзли.

Утром 16 августа мы двинулись вниз -- в Шугнан. Чуть дальше со мной и с одним из моих спутников случилось неприятное происшествие.

Спускаясь с ледника к нижним моренам, я зашел далеко вперед. Ледник был выгнут кверху дугой, и мне казалось, что

по этой дуге я прямиком спущусь на морену. Только что взошедшее солнце еще не растопило верхних покровов льда, -- я не скользил в своих горных, подбитых триконями ботинках ("кошек" мы в тот раз не брали с собой) и спускался бегом. Но ледник оказался подобным половине гигантского яблока, -- чем дальше, тем все круче он падал вниз. Внезапно заметив, что дальше он становится вовсе отвесным и что я мчусь по кривой, переходящей в отвес, я попытался остановиться. Но инерция была уже так сильна, что остановиться мне не удалось. Я бежал все быстрее, понимая, что мой бег сейчас превратится в падение -- и тогда... Я полетел бы вниз с высоты в полторастадвести метров на камни морены, то-есть, как прикидываю сейчас, больше, чем с высоты Исаакиевского собора. Но я увидел перед собой крупный камень, как зуб торчавший из ледника. Мне удалось чуть-чуть изменить направление, и со всего размаха, сильно ударившись в этот камень, я уперся и разом остановился. Оглянувшись, я увидел, что таким же манером ко мне катится мой молодой спутник. Через минуту он также с размаху уперся в мой камень, причем я протянул руки, чтобы смягчить его удар. Остальные, следя за нами сверху, издалека, сообразили, что здесь спускаться не следует и пошли в сторону искать кружной, но более безопасный путь.

Мы вдвоем принялись обсуждать, что делать нам дальше? Подняться обратно казалось немыслимым: так крут был предательский ледяной склон. Мы попробовали рубить ступеньки вниз, спустили вниз несколько камней. Но камни, прокатившись с десяток метров по крутизне, отделились от поверхности льда и полетели отвесно вниз. Что делалось там, нам не было видно, но, прислушавшись, мы услышали далекий звук падения камней. Веревки у нас не было. Страховать друг друга на спуске -- без веревок и "кошек" -- мы не могли. Мы провозились не меньше получаса, примеряясь и так и этак, но спуститься было явно немыслимо.

Далеко внизу на морене мы увидели наших товарищей, которые знаками показывали нам, что метров на двести в сторону есть возможность спуститься. Но как пройти эти двести метров, пересекая почти отвесную стену льда? Мы

могли бы провести здесь в размышлениях целый день. Солнце, однако, заставило нас поспешить: верхний слой льда стал таять, сверху побежали струйки воды, и вслед за струйками, мимо нас, как ядра, со свистом начали пролетать камни, приморожденные ночью ко льду, а сейчас оторвавшиеся и потерявшие равновесие.

Следовало немедленно выбираться из этого проклятого места. Оставалось одно: лезть вверх по склону, навстречу падающим камням, рубя ступеньки и рискуя если не быть убитыми камнями, то просто сорваться к разбиться насмерть.

Оба мы старались казаться друг другу спокойными, придавая своим голосам уверенность и беспечность, но перекидываясь что-то очень уж обрывистыми, лаконичными фразами. Мы взялись рубить ступеньки. Однако едва я вырубил ступеньку (ту мою ногу, что была внизу, в это время рукою поддерживал мой спутник), как ненавистная льющаяся сверху вода вымыла ступеньку почти до основания. Камни продолжали свистеть мимо нас. Я рубил пятнадцать-двадцать ступенек (не слишком легкое дело на такой высоте и имея в виду, что всякое неловкое движение грозило потерей равновесия), потом пропускал вперед моего товарища по беде, и он заменял меня, а я страховал его, поддерживая его "нижнюю" ногу.

Вот когда мы ругали себя за то, что легкомысленно не взяли на перевал веревки и "кошек"!

Несколько камней, к счастью мелких, ударило нас с основательной силой.

Нам пришлось вырубить около ста пятидесяти ступеней, прежде чем мы выбрались на пологое место. От усталости мы изнемогали, но на радостях, что выбрались невредимыми, без всякого отдыха, другим путем двинулись вниз.

Мы догнали своих на морене. Они и не догадывались, в какую переделку пришлось нам попасть.

В этот день, уже в темноте, мы дошли до шугнанской реки -- Бадом-Дара. "Ваханский период" нашего путешествия кончился.

К истокам реки Вяз-Дара

17 августа, в давно уже знакомом мне кишлачке Бадом, я распрощался со своими спутниками, условившись встретиться с ними через полтора месяца на леднике Федченко, и остался один.

Придя в этот день в Барвоз, на реке Шах-Дара, я занялся подготовкой к маршруту туда, куда мне не удалось проникнуть год назад -- в верховья реки Вяз-Дара. Я хорошо помнил рассказ престарелого Иорика о "величайших трудностях", о "покатых и покрытых льдом узких карнизах", о "глубоких снегах" и о "пропастях", над которыми надо проходить по нависшему льду. Но я полагал, что все эти страхи преувеличены и что мне удастся найти перевал к Гарм-Чашме.

Подготовка моя к маршруту заключалась в одном: необходимо было найти носильщиков. В поисках же самого перевала мне предстояло положиться только на удачу да на собственную сообразительность, так как, кроме восьмидесятилетнего Йорика, никто пути туда не знал, а Иорик итти со мной, конечко, не мог.

Мой старый знакомый Карашир, провожавший нашу экспедицию в 1930 году к месторождению ляпис-лазури, пригласил меня ночевать к себе и взялся помочь мне найти досильщиков.

На рассвете 18 августа, после короткого сна на крыше маленького каменного дома Карашира, я вместе с Караширом, погрузившим мои вещи на ишака, явился в кишлак Медеинвед, к председателю местного сельсовета. К этому времени трудные поиски носильщиков уже завершились успехом: со мной согласились итти два жителя кишлака Вяз: Бондай-Шо и Хасоф-бек. Но им нужно было заняться пошивками и испечь лепешки.

Поднявшись в кишлак Вяз, я встретился с ними, уже готовыми к

путешествию. Бондай-Шо, высокий ростом, мужественный, красивый, с энергичным лицом. Черная, но не очень, бритая голова, складки у рта, безбородый, но давно не бритый. Серые с зеленцой глаза, широкий разлет темносерых бровей, прямой нос, на лбу ряд мелких морщин. Налаживая свою амуницию, возясь с шилом, он поджимает губы. Одет Бондай-Шо в добротные рыжие суконные штаны, в красную рубаху с черной оторочкой воротника. На нем великолепные узорчатые шерстяные чулки -- джурапы, новые, хорошие сыромятные пехи. Поверх красной рубахи на плечи накинут белый суконный чекмень. Про запас Бондай-Шо берет с собой такой же, как штаны, рыжий суконный френч афганского покроя. На голове -- белая тюбетейка с черным ободком, поверх нее твердый белый с красным днищем кашгарский колпак. Охотничий пояс со всеми принадлежностями довершает строго выдержанный облик горца-охотника, что-то орлиное есть во всей его мужественной фигуре. Его лицо, смелое и открытое, глаза с блеском иронии и веселья, решительная, правдивая речь сразу же расположили меня к нему, и я с удовольствием подумал, что с этим человеком в пути не пропадешь. Таких охотников, как БондайШо, шугнанцы зовут палавонами -- богатырями.

Совсем не таков был Хасоф-бек, маленький, чернявый, юркий в своих движениях и, как видно, слабый духом в минуту опасности, но зато слишком самоуверенный и горделивый, когда в спокойный час вокруг него собираются собеседники. Он только тщился изобразить из себя палавона: ружье и доспехи были ему совсем не к лицу... Я забыл сказать, что мои спутники брали с собой цан -- уже описанные мною огромные фитильные самопалы с деревянными ножками, на которые ружье устанавливается для того, чтобы охотник мог точнее прицелиться.

Вещей у меня было совсем немного -- спальный мешок да рюкзак, поэтому оба мои спутника охотно нанялись в носильщики в надежде поохотиться на диких козлов -- кииков.

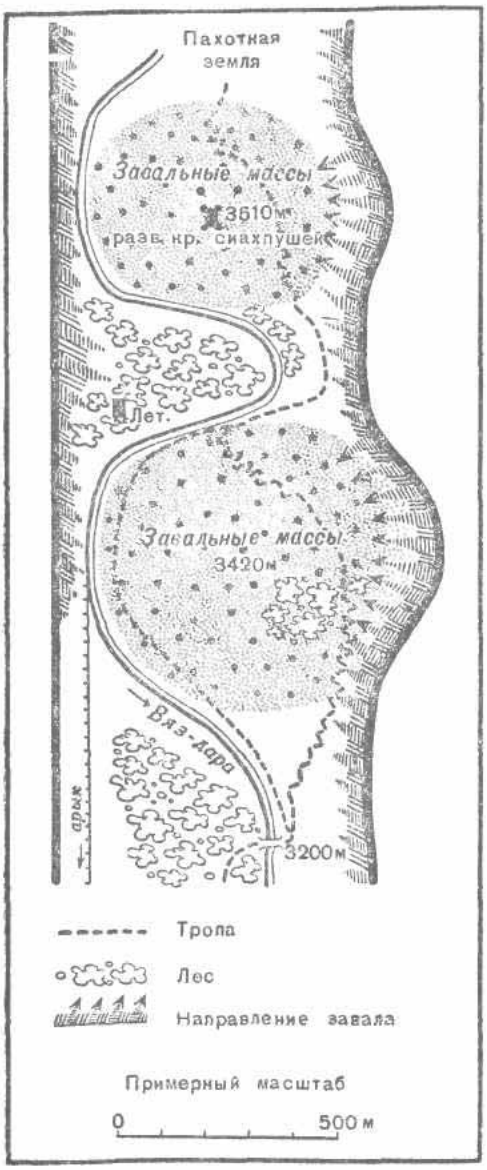


Рисунок сделан автором 18 августа 1932 года в низовьях реки Вяз-Дара. Схема ВязДаринского завала.

В 2 часа 50 минут дня мы втроем выступили в маршрут. В моем дневнике появилась запись:

"Анероид. Термометр -- пращ. Съемка: горный компас No 6572; азимуты беру на 0; румбы отмечаю по показанию N стрелки; расстояние -- по часам и на глаз. Первый азимут 240°; беру его из кишлака Вяз, вверх по ущелью Вяз-Дара, до поворота -- расстояние 1 километр".

В начале узкой долипы -- густая растительность: тополь, тал, облепиха, шиповник. Мы поднимаемся по тропе вдоль правого берега. Через полчаса лес кончается: тропа упирается в полуторастаметровый скалистый отвес; она продолжается по другой стороне реки, -- перед нами зыбкий мостик, но он разрушен. С трудом переправляемся вброд. Впереди вся долина перегорожена интереснейшим двойным завалом коренных пород, во всем подобным тому, который образовал известное Сарезское озеро, но только многим меньше по объему. Этот завал необходимо исследовать. Миновав деревья и кустарник перед завалом, носильщики мои направляются по низу тропинкой, в обход завала, а я, делая отметки высот, набрасывая рисунки и схему завала, поднимаюсь сначала по очень крутой мелкой осыпи, потом по другой -- крупнокаменистой, на его вершину, на которой на высоте 3 420 метров растет арча.

Подробно исследовав завал, я определил, что здесь было когда-то озеро,

образованное им, но оно, сравнительно недавно прорвав плотину, вытекло; в наши дни дно его покрыто густым и девственным лесом. Общую массу обвалившихся пород я исчислил примерно в шестьдесят миллионов кубических метров.

В 4 часа дня я начал спускаться с завала и, снизившись на сто метров по вертикали, двинулся дальше, вверх по долине. Через полчаса на вершине второго завала я увидел руины старинной топхана -- сторожевой башни, вероятно сиахпушей. Долина с посевами и летовкой, расположенными выше завала, замкнулась узким ущельем, у входа в которое тропинка по прутяному мостику перебросилась обратно на правый берег, а выше ущелья снова по такому же мостику вернулась на левобережье. Береговые склоны приобрели здесь характер речных террас, правобережный водораздельный хребет отступил далеко, река стала виться в галечном ложе, поросшем ивой и талом. Через час пути от завала, перед необитаемой летовкой, мы набрели на холодный ключ и, конечно, с наслаждением приникли к нему все сразу. На северо-западе открылась цепь снежных вершин Вяз-Тусиянского водораздела, а на юго-западе -- снежный пик, высящийся над истоками реки Вяз-Дара. Растительность кончилась, долина была все больше заполнена хаотическим нагромождением мощного моренного материала, и только на высоте 4 060 метров оказалась маленькая луговина с сочной альпийской травой.

В 8 часов вечера под крупнокаманистой гнейсовой осыпью я остановился на ночлег у "охотничьего" камня. Мой анероид показывал 4 200 метров. Только теперь, пока, разлегшись на камнях, мои спутники готовили чай, я стал внимательно разглядывать исполинскую, встающую надо мной скалистую стену. Она давно уже нависала над нами слева, составляя собою весь правый "борт" долины, -- грандиозная, обрывистая, почти всюду отвесная. И этот отвес поднимался над нами на 1 000 -- 1 500 метров! Вверху эта поражающая меня своей гран, диозностью стена была обвешана небольшими висячими ледниками, а в нижней части простирала длинные шлейфы осыпей. Над осыпями обнажались могучие волнистые складки, по которым я мог представить себе неизмеримую, поистине титаническую силу давления, испытанного земной корой, когда она выпучиваясь, сминалась.

Рельеф левого "борта" долины был сравнительно мягок, оглажен и богат боковыми моренами -- следами исчезнувших ледников, сползавших некогда с северного, удаленного от нас километров на пять водораздельного хребта.

И здесь, вспоминая особенности всех исследованных мною ранее, текущих к востоку рек -- Ляджуар-Дары, Бадо-м-Дары, Биджуар-Дары, я обратил внимание на то, что правобережные их долины всегда обрывисты, всегда высятся гигантской, почти отвесной стеной вплотную над ложем реки, а левобережные -- оглажены, сравнительно пологи, прорезаны боковыми притоками, загромождающими долину обильным моренным материалом. Живые, сохранившиеся доныне долинные ледники этих рек, следуя той же особенности, в своем течении делают заметный излук от севера к востоку.

Вечерело. Наступил холод -- уже привычный мне холод высот; костер -- одинокий в этих безмерно молчаливых пространствах -- потрескивал все тише и тише. Мои носильщики давно уже спали, а я, низко склонясь над тетрадкой дневника, ловил последние отсветы затухающего костра, чтобы сделать беглые записи и зарисовки.

Я не чувствовал себя одиноким в этих диких горах: слишком увлекательной была моя работа.

Но вот и снежный пик над верховьем Вяз-Дары, обозначенный в кроках набросанного мною рельефа как "вершина No 9", отдал всевластной ночи последние свои мерцания. Весь мир погрузился во тьму. Я забрался в мой спальный мешок и мгновенно заснул.

Пик Маяковского

19 августа, в 6 часов 30 минут утра, я проверил показания анероида и

праща и записал в тетради: "4 195 м = 45, 1 = 6°, пращ -- 4°". Проверил также и азимут от места ночевки на "вершину No 1", видневшуюся далеко позади меня в просвете ущелья и возвышавшуюся за оставленной мною накануне рекой Шах-Дара. Эта вершина служила мне контрольной опорной точкой для всех азимутов, которые я брал по компасу. И, взяв новый азимут на "вершину No 13", в 7 часов 18 минут утра я вышел в дальнейший путь. Мои носильщики Бондай-Шо и Хасоф-бек были сегодня особенно молчаливы и с сомнением поглядывали на снега вверху, которые нам предстояло **пре**одолеть.

Мы сразу же стали подниматься на морены; в 7 часов 43 минуты, на высоте 4 380 метров достигли истоков реки Вяз-Дара; здесь была большая моренная яма, река вытекала из-под морены, закрывающей язык крупного долинного ледника. Поднявшись еще на девяносто метров, мы поравнялись с линией снега, а на высоте 4 630 метров достигли осыпи, состоявшей из многотонных обломков гнейсов и мраморов, в которых сверкали бесчисленные вкрапления гранатов и турмалина. По этим огромным обвальным камням мы приблизились к фирновому цирку. Некоторые из вершин, накануне сверкавших в поднебесье, теперь оказались ниже меня.

Дальше мы карабкались по пухлым моренным холмам ледника, мелкая щебенка этих холмов промерзла, между крупными камнями был лед, мы переходили по ледяным подтаивающим мостикам, перекинувшимся между огромными глыбами, -- путь был очень труден, тяжел, опасен, но совсем не так страшен, как описывал его Иорик. Среди морен виднелись два маленьких озерка, а выше их -- на высоте 4 800 метров -- большое, примерно полкилометра в диаметре.

... И вот передо мной к юго-западу высится несколько снеговых пиков и среди них "пик No 9" с характерной, торчащей на его вершине скалой, похожей на гигантский, указующий в небо палец. Держу направление севернее этого пика, -- высота уже 5 040 метров, -- начинается сплошной, мглистый, покрытый щебеночной пылью, словно затянутый паутиной фирновый склон. Пересекаю его в направлении на юго-запад. Отсюда открывается вид на водораздельный хребет между реками Биджуар-Дара и Ляджуар-Дара.

Гребень водораздела, к которому я стремлюсь, льдистый, острозубчатый, все еще высоко надо мной; шаг за шагом поднимаюсь по фирну -- мокрому, в острых, как иглы, ропаках. Трудно дышать, -- теперь все внимание сосредоточено на дыхании. Бондай-Шо и Хасоф-бек идут за мной, часто останавливаясь для передышки и, конечно, совсем не думая об охоте на диких козлов.

Пересекаю продольные трещины оседаний, прыгая через них или выискивая снежные мостики. И, наконец, в 12 часов 15 минут достигаю гребня.

Перевал! Высота -- 5 440 метров. Сначала дышу, дышу, выравнивая дыхание, успокаивая разбушевавшееся сердце. Затем осматриваюсь. Огромная видимость. Впереди, на одном со мной уровне тянутся гребни гор Афганистана и Индии: Куги-Ляля, Гиндукуша, за ними -- массивов Султан-Хазрет, Дераим...

Оглядываюсь на пройденный путь: верхняя кромка гигантской стены, накануне так поразившей меня своими отвесными обрывами, сейчас приходится вровень со мною, а вдали -- на сто, на сто пятьдесят километров и больше -- видны встающие ряд за рядом горные цепи Памира.

Все ярко освещено солнцем, и горизонт истаивает за пределами моей дальнозоркости.

19 П. Лукницкий

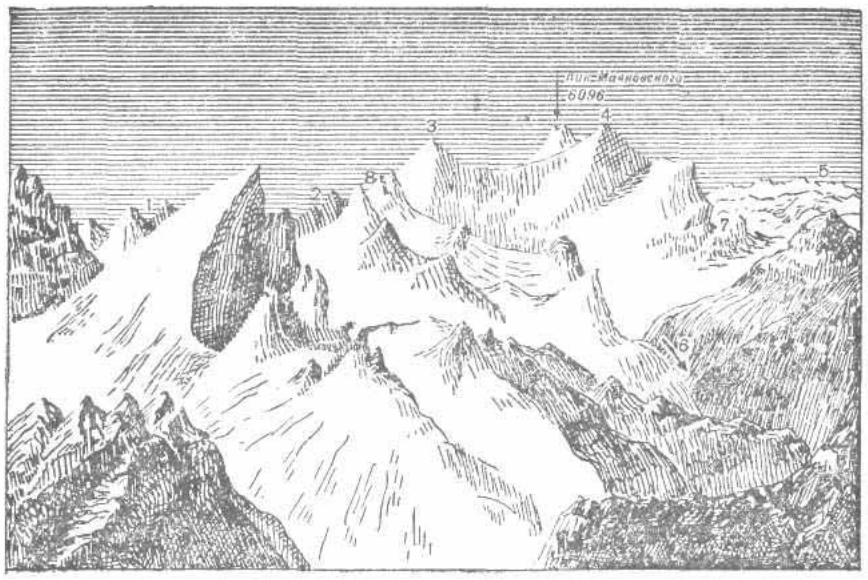


Рисунок сделан автором 19 августа 1932 года на перевальной точке между реками Вяз-Дара и Гарм-Чашма, на высоте 5 440 метров.

Вид к юго-западу на пик Маяковского и массив Шатер:

1. Бадом-Даринский хребет. 2. Направление истоков реки Биджуар -- Дара (Горун-Дара.) 3 и 4. Восточная и западная вершины массива Шатер. 5. Гиндукуш и другие примыкающие к нему хребты. 6. Верховья реки Гарм-Чашма. 7. Перевал к Богуш-Даре. 8. Предполагаемый перевал к Ляджуар-Даре. Незаштрихованные места обозначают вершины и склоны, покрытые ледниками и фирном.

Носильщики, едва дыша, выбираются на гребень, снимают с себя длинные древние самопалы, устало сбрасывают ноши и приваливаются к ним, обтирая потные лица.

Присаживаюсь на камень и я, чтоб вдоволь насмотреться на великолепный, открывшийся мне за водоразделом мир. Прежде всего: можно ли считать этот гребень перевалом? Можно ли спуститься вниз? Под ногами вниз, уклоном градусов в тридцать пять -- сорок, уходит крутая осыпь. Под нею виден ледник. Полагаю, спуститься можно!

И я начинаю изучать удивительную панораму, открывшуюся передо мной. Мое поле зрения ограничено пиками, встающими левей и правей меня. Влево граница поля зрения тянется вдоль румба сто семьдесят градусов, вправо -- вдоль румба двести шестьдесят пять градусов. Это значит, я вижу весь секатор от юга до запада. Вправо, подо мной -- верховья реки Гарм-Чашма, за ними -- хребет с тремя огромными снежными пиками. В просветы между пиками различима долина -- долина реки Пяндж, за ней тянется гребень Гиндукуша. горы КугиЛяль.

Прямо предо мной врезаются в небеса два характерных, знакомых мне, соединенных перемычкою, пика массива Шатер, названного мною так год назад. Левый из них приходится на линии 180 градусов, -- значит, строго на юг. А между ним и правым пиком массива Шатер, позади них, я вижу белую конусообразную вершину, пик-исполин -- тот гигантский пик, который я смутно различал в дымке еще с перевала Мешкова в 1931 году... Но с той точки я не решился определить его высоту, а теперь я сам значительно ближе и выше, и мне ясно, что он превышает все видимые мною вершины, что он узловой пик, главенствующий во всем исследуемом мною районе.

Делаю засечки, рассчитываю, сверяюсь с инструментами, черчу треугольники, схемы, рисую... И, наконец, определив его высоту в 6 500 метров *, я размышляю, как же его назвать.

Первая мысль о поэте, которого я люблю, о великом поэте современности -- Маяковском, маленький томик стихов которого у меня с собой, в полевой

сумке. Я знаю: имена поэтов еще не давались горным вершинам. Пусть же это произойдет впервые.

И, тщательно сделав рисунок находящихся в поле моего зрения одиннадцати крупных снежных пиков, я нумерую их, а над высочайшими из них, слева по счету пятым, пишу: "Пик Маяковского".

Спуск к Истыдойдж-айляку

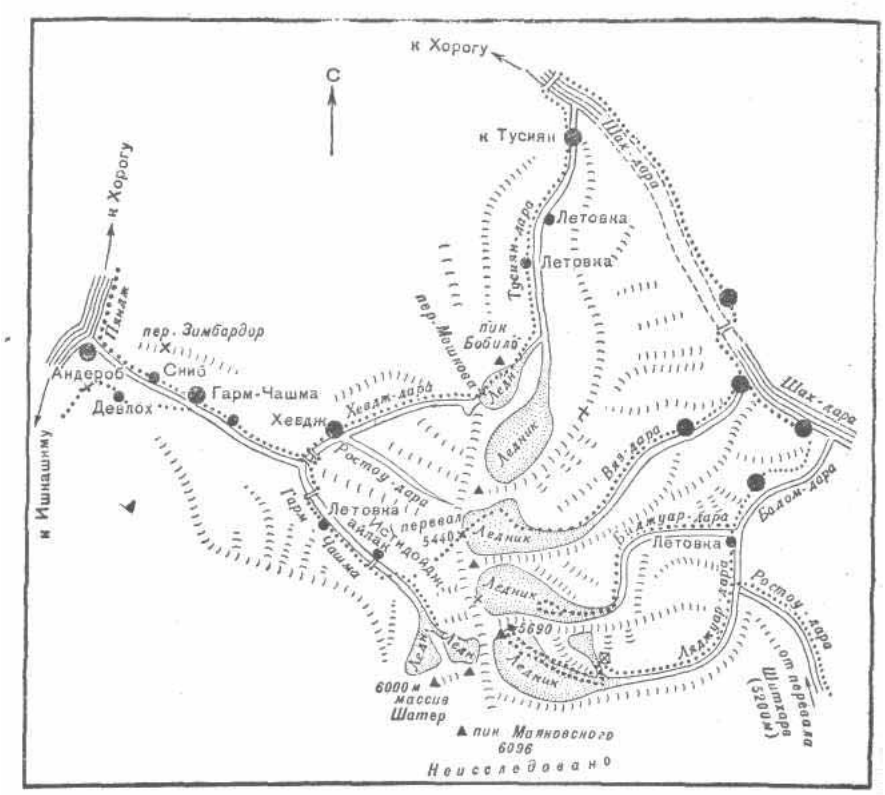
Два часа пятнадцать минут пробыл я на перевале. Пока носильщики спали, я выложил из камней два опознавательных тура, сделав масляной краской надпись: дату моего пребывания здесь, и, подумав, что никогда б не насытиться мне волнующим созерцанием этого сверкающего мира, разбудил Хасоф-бека и Бондай-Шо.

-- Пора итти!

В 2 часа 30 минут дня мы двинулись вниз с перевала и, плывя по крутейшей осыпи, управляя палками (а я ледорубом) в сыпучей щебенке, как в течении быстрой шумливой реки, через десять минут оказались почти на четыреста метров ниже, на небольшом леднике.

Дальше спуск продолжался по леднику, затем по моренам и фирну и по сухой затвердевшей осыпи, до отметки 4 570 метров.

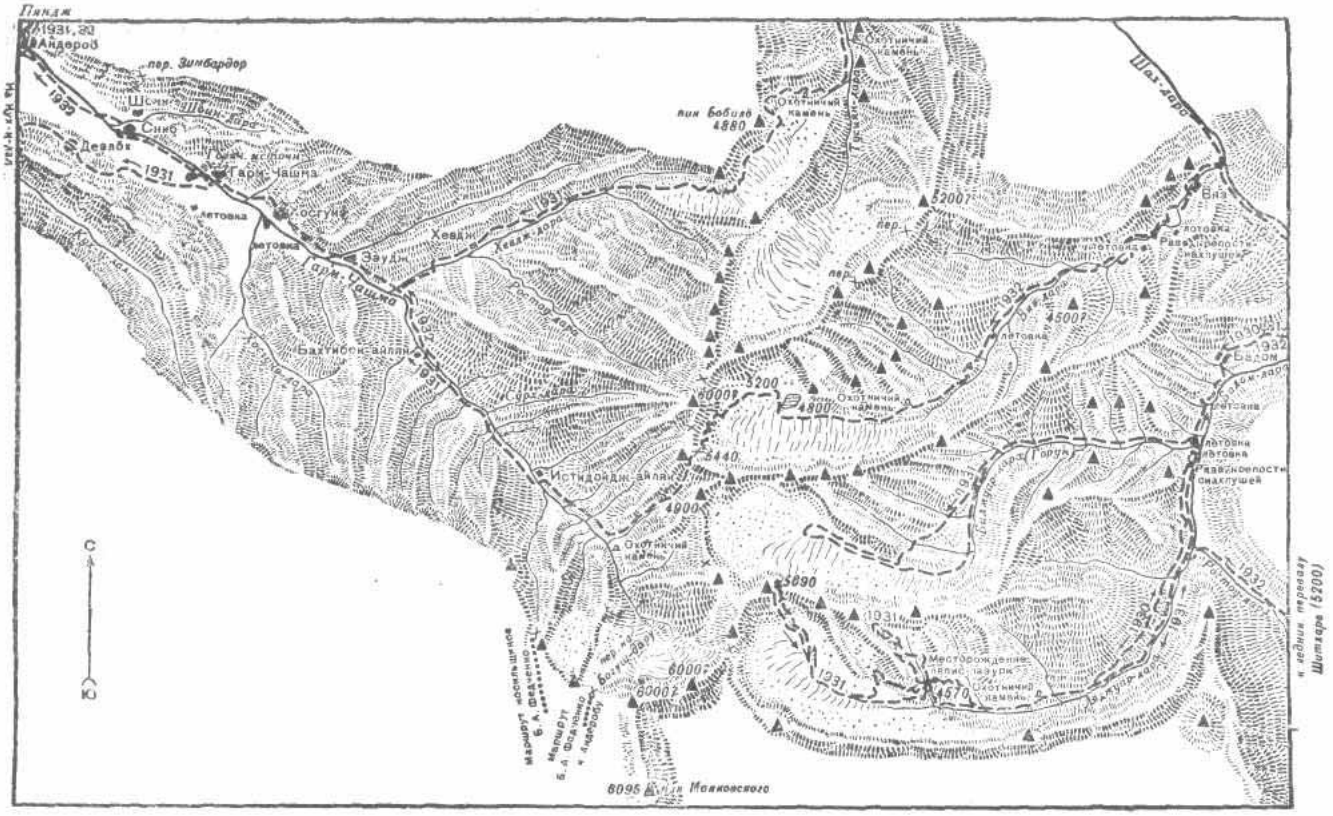
* Впоследствии, при производстве топографами-геодезистами инструментальной съемки, высота пика была уточнена: 6 096 метров. -- *П. Л.*


к Хорогу
С
к Тусиян
Шах-дара
Летовка
Летовка
Тусиян-дара
пер. Машнова
пик Бобилэ
пер. Зимбардор
Андероб
Сниб
Гарм-Чашма
Девлох
Хевдж
Хевдж-дара
Ледник
Рост-дара
Вид-дара
Болом-дара
Ледник
Летовка
перевал 5440 м
Ледник
Ледник
Ледник
Летовка
Ледник
5690
6000 м массив Шатер
пик Маяковского 6096
Неисследовано
Ледник
Ледник
Ледник

азарте принялись их искать.

Мы всматривались во все окружающие нас ледники, но ни одного козла не приметили.

Спускаясь дальше ущельем речки, в 5 часов 30 минут дня на высоте 3 780 метров мы достигли знакомой мне долины реки



Карта области Шугнано-Горанского водораздела, составленная автором после его исследований произведенных в 1930, 1931 и 1932 годах.

Гарм-Чашма и, дойдя через час до летовки Истыдойдж-айляк, были гостеприимно приняты старым пастухом Юсуф-беком. Он угостил нас жирготом (кислым молоком) и пока готовил махордж (гороховую похлебку), я, в блаженном настроении разлегшись в траве на спальном мешке, сделал в дневнике запись:

"Рискованное мое предприятие кончилось благополучно. Я шел искать неизвестный перевал. Я знал, что придется рыскать по снегам и ледникам на высоте больше 5 000 метров. Я шел без проводника, ибо таких не оказалось. Шел без веревок и теплой одежды, ибо свитер, ватник да трусики и "штурмовые" штаны явно недостаточны на случай непогоды. Шел почти без продовольствия -- ни консервов, ни мяса, ни иных продуктов, кроме двух банок сгущенного молока, полбанки какао и пяти черствых лепешек, у меня не было. Натерты и болят ноги, изодраны руки, но все-таки удалось сделать то, что хотел. Мне повезло: хорошая погода -- это первая удача; вторая удача -- когда на фирновом поле и на моренах, перед стеной ледников, носильщики спросили меня, в каком месте итти на водораздельный хребет, я наугад выбрал место и показал рукою: "Туда!" Мы пошли, перелезли через висячий ледник, через его чуть покрытую снегом трещину и вышли в то единственное место, где можно было перевалить через хребет. Если бы мы вышли не туда, спускаться и искать

перевал снова у меня не хватило бы сил и, кроме того, предстояло бы ночевать почти на пятикилометровой высоте, на льду.

Впрочем... У меня есть немного сухого спирта и кухня для него. При плохой погоде, если бы не замерз, продержался бы на ледниках дня два.

Я рад, что моя прошлогодняя карта и все мои предположения о не нанесенных на карту местах оказались правильными. Я вышел туда, куда и предполагал выйти... ".

Мы шутим, смеемся, радуемся... И утром, на следующий день, в дневнике моем записано:

"Вечером -- два цана (охотничьи ружья на ножках) перед моей головой. К ним подошел теленок, нюхая их. Я крикнул спавшему рядом Бондай-Шо: "Киик пришел!" Оба носильщика проснулись и долго хохотали... "

И много других записей о таких же простодушных шутках и смехе.

Белого пятна больше нет

Утром 20 августа мы вышли вниз по долине реки Гарм-Чашма. через час сорок минут миновали устье Хэвдж-Дары, а еще через два часа достигли кишлака Гарм-Чашма и горячих термальных источников, в которых с наслаждением выкупались.

21 августа я уже был в Андеробе на Пяндже, куда приехал верхом, так как, вопреки прошлогодним уверениям местных жителей, сюда вела совсем не плохая тропа.

Вместе с Бондай-Шо и Хасоф-беком отсюда я направился дальше -- в Хорог. Мои носильщики, с которыми я успел понастоящему подружиться, решили вернуться к себе домой через Хорог, по легкой, торной, всем давно известной тропе.

Мои исследования в этом районе были завершены. Все мои прежние предположения счастливо подтвердились, бассейн Вяз-Дары с ледником занял все пространство оставшегося в 1931 году белого пятна, и карта района была закончена полностью.

Я рад, что на картах Таджикистана есть маленький уголок, который скупыми штрихами напоминает мне о днях, полных азарта и уверенности в своих силах. Мне хотелось бы, чтоб молодые альпинисты почаще заглядывали в этот уголок, в котором есть еще много вершин и ледников, до сих пор не получивших названия. Грозные, величественные горы в этих местах так красивы, что любой человек, пришедший в эти столь редко посещаемые места, будет щедро вознагражден самими картинами природы за те трудности, какие ему придется испытать при восхождении на гребни водораздельных хребтов и ледяных вершин.

ГЛАВА X. В СТОЛИЦЕ ГОРНОГО БАДАХШАНА

По воздушной трассе

Сталинабад. Август 1952 года.

В 5 часов 45 минут утра слышу настойчивый автомобильный сигнал. Мгновенно одевшись, беру приготовленные с вечера вещи: рюкзак, чемоданчик и полевую сумку. Выезжаю. Через полчаса -- в аэропорту. Здесь, в зале и в маленьком саду аэровокзала, множество пассажиров, улетающих во всех направлениях. Подхожу к диспетчеру и неожиданно для себя узнаю: гражданский самолет на Хорог, уже было погруженный для рейса, отменен, выгружается.

Это значит: где-то на трассе облачность, а трасса такова, **что** при малейшей облачности лететь опасно.

Я должен лететь не пассажирским самолетом, а на том, который обслуживает пограничников, -- меня пригласил с собой пограничный офицер, отправляющийся по партийным делам в Хорог. Но ведь облачность для всех одинакова! Если отменен пассажирский самолет, то может ли вылететь и наш, того же типа? Бывает, люди, рвущиеся в Хорог по самым неотложным делам, ждут и две и три недели, -- что делать, если "нет погоды"? Рисковать летчикам запрещено, да и кто стал бы настаивать? Кому интересно врезаться в скалы?

Неужели полет не состоится? Никак не прорваться мне в этом году на Памир!

Горы!.. Сколько случайностей, сколько неожиданностей бывает в Высоких Горах!..

Приехал мой спутник. Перекинутый через руку макинтош да маленький саквояж -- вот и весь багаж, с каким в наши дни

можно отправляться на далекий, теперь уже не труднодоступный Памир.

Мы едем на аэродром к нашему только что заправленному бензином, а теперь шумно "опробывающему" свои моторы серебристому самолету. Пилот Коломийцев -- опытнейший летчик памирской трассы -- говорит, что не знает, полетит или не полетит, но, мол, машина через несколько минут будет готова к вылету.

Пассажирские самолеты идут на Куляб, на Ленинабад, на Ташкент... А наша трасса -- как заколдованная, сидим под палящим с раннего утра солнцем в "Победе", ждем, слушая "воздушные" рассказы подсевшего к нам бортрадиста. Вздымая пыль, мимо нас мчится, взлетает серебристый "ЛИ-2" -- он уходит в Баку. За ним поднимается "АНТ-2" -- этому путь на Гарм.

Бортрадист вглядывается в даль: от аэровокзала идут четверо, приближаются к нам.

Не видно, с портфелем или без портфеля! -- вздыхает он. Мы недоумеваем: зачем ему нужен портфель?

Если с портфелем в левой руке, значит летим! Но и это объяснение непонятно.

-- Да! -- продолжает он. -- Так и определяем: если с портфелем, значит все документы даны, рейс разрешен.

Четверо приближаются. У одного в левой руке портфель. Мы выскакиваем из накаленной "Победы", подходим к самолету, поднимаемся по трапу...

Через две минуты мы в воздухе, делаем круг над городом и ложимся на курс, сразу набирая большую высоту.

Оглядываю груз, распределенный вдоль оси всего фюзеляжа: книги -- множество пачек, среднего размера новенький бильярд, кинопленка в кубических жестяных ящиках, что-то еще. Мой спутник объясняет: у пограничников на Памире теперь есть солдатский дом отдыха, -- это для него. В библиотеке дома отдыха уже есть несколько десятков тысяч книг.

Кто мог бы мечтать, даже в тридцатых годах, когда в последний раз я посетил Хорог, о домах отдыха на Памире? А библиотека в Хороге тогда была только одна -- областная, и в ней насчитывалось несколько десятков книг.

Наш самолет, как и все, работающие на этой трассе, оборудован кислородным прибором. С потолка кабины свисает шланг, кончающийся

никелированным раструбом. На левой стенке изящное устройство с кнопкой: нажмешь -- кислород поступает в шланг. Дыши!

Очень быстро и резко обогнав "АНТ-2", мы миновали Гиссарскую долину, пошли над долиной реки Иляк, слева видели светлую ленточку Кафирнигана. А затем внизу увидели Вахш.

Мощный и бурный Вахш казался тоненьким. Он извивался в резко пропиленных, крутых, узких берегах, в неподступных теснинах, и даже отсюда было видно, как он бурунил. Правее, к Нуреку и дальше, теснины еще более сжимаются. Горы дики, острозубчаты; ясно и резко различимы пласты, красноцветные породы подостланы серыми, разорваны, вздыблены. Круто наклоненные плоскости поросли деревьями и кустарником. Это Сарсариак, страна хаотических гор, где некогда, в годы гражданской войны, скрывались запертые со всех сторон басмаческие банды Ибрагим-бека.

Вот уже четыре тысячи метров, стрелка прибора ползет все вверх... И полукружие горизонта ощеривается снеговыми, сплошь в белых зубчатых вершинах, цепями, ряд за рядом тянущимися вдали. Небо солнечно-голубое, снеговые цепи призрачно белы, с розово подсвеченными полосками облаков, пересекающими их склоны, припавшими к их вершинам. Видимость колоссальная -- на сто, полтораста километров в каждую сторону.

Видим разделяющий два мира извилистый, в глубоких теснинах Пяндж -- серую ленту -- и едва успеваем заметить зеленое пятно с садами, домиками и ясно различимым над ним пастбищным даштом. Это районный центр Кала-и-Хумб. Мы идем ровной линией курса, сближаясь с Пянджем.

И теперь на нашей высоте -- 5 000 метров -- красота видимого мира охватывает меня чувством восторга: вся левая половина горизонта -- сверкающий океан снежных, льдистых зубчатых пиков, с цирками снежными и крутыми, с впадинами ледниковых каров, очень страшных вблизи, как грани внезапно подступившей вплотную иной планеты, а вдали похожие на застывшее в момент шторма черно-белое море. Массив за массивом, цепь за цепью, бесчисленное множество острых пиков... И уже нет никакой возможности разобраться в них, задержать внимание на отдельном, любом из них...

Мы приближаемся к Ванчу. В его долине видим много садов и селений, разделенных осыпями и скалистыми мысами; пойма реки заросла кустарником.

Вдали, налево возникает еще более гигантская страна снежных пиков, впадин, провалов между ними и совсем далеко, но ясно различимый, выше всех поднятый массив.

Я доказываю, что это пик Сталина. Мне не надо карт: я знаю этот рельеф наизусть. Я двадцать пять лет изучаю Памир, его рельеф весь в моей памяти, в мельчайших подробностях.

Бортрадист и механик спорят со мной: до пика Сталина, мол, отсюда триста километров, его мы не можем видеть, его

мы видели однажды, когда летели прямиком на Мургаб; тогда и край ледника Федченко был под нами!..

Они правы, что видели его тогда, но не правы сейчас, не узнавая его издали, потому что до него не триста, а самое большее сто десять -- сто двадцать километров, то-есть вполне в пределах видимости.

Позже, прилетев в Хорог, я, взяв карту, доказал летчикам свою правоту, они согласились со мной, и, не скрою, самолюбию старого памирского географа это было приятно.

Среди снеговых вершин я узнаю и более удаленные пики, расположенные за ледником Федченко. Они призрачны над облачной дымкой. Ее тонкая полоса, пересекая горные массивы, отнимает у них основания, и потому кажется, что вершины, белеющие вдали, парят в воздухе.

Переваливаем через следующий хребет и видим реку Язгулем, ниспадающую

от ледников. Подворачивая вправо, к югу, входим в ущелье Пянджа. Дальше летим вдоль над его течением, тщательно прижимаясь к правобережью -- к гигантским, то снежным, то бесснежным, обрывистым, угрожающим, острым вершинам, -- прижимаемся левым крылом, следуя всем изгибам ущелья, чтоб не оказаться даже краешком правого крыла над серединой реки -- границей Афганистана. Опасный путь! Просвет между склонами гор был бы просторен, если б лететь прямиком, над долиной Пянджа, достаточно широкой в нашем полете. Но ради соблюдения пограничных правил мы ежесекундно рискуем коснуться крылом скалы: острые гребни, пики бесснежные и отвесные встают выше нас, и в нескольких местах крыло самолета проходит, по утверждению бортмеханика, в двадцати-тридцати метрах от скалистой стены, то-есть не только по зрительному впечатлению "впритирочку".

Вот один грозный красавец пик, нелюдимый, мертвеннобездушный, рыжий, с цирками ниже нас, открытыми только солнцу и никогда не посещенными ни человеком, ни зверем, проходит совсем вплотную, -- это самое опасное, говорят летчики, место. Его называют "рушанским окном".

Мы проходим "рушанское окно" и видим извилистый Бартанг; он хорошо запечатлевается в памяти с его кишлаками -- зелеными пятнами среди отвесных теснин и необычайно высоких осыпей. Склоны падают прямо в реку, высоко над ней по скалам вьется тропа. Только у самого устья долина Бартанга вдруг раскрывается широким веером.

Затем мы начинаем оставлять высоту и, так же следуя изгибам реки, видим внизу постепенно расширяющуюся долину: кудрявые сады кишлака Сохчарв, пашни, убранные в скирды хлеба, дорогу, становящуюся прямой, идущую вдоль берега через зеленые и желтые поля, через кишлаки. На афганской

стороне -- тоже зеленые крутые кишлаки и поля; большое селение, повидимому Шидвуд, в устье реки, ниспадающей с высей Афганистана по круто снижающейся долине. В листве деревьев белеет здание фортеции, исчезает. Я вижу древнюю феодальную столицу Шугнана -- Кала-и-бар-Пяндж, ничем, кроме руин ханской крепости, не отличающуюся от других кишлаков. На Пяндже появляются серые мели; цепи снежных вершин левее нас скрываются; мы теперь идем ниже, и ближайшие слева зубцы, гребни, скалы прячут от нас даль. Мы все круче, -- от быстрой смены давления болят барабанные перепонки, -- снижаемся к аэродрому Хорога.

Афганский хребет Куги-Шива, сверкавший гранями своих снежных зубцов, уже кажет нам только ближайший, серый (а ниже -- в зелени богарных посевов) склон; мы совсем уже низко, мы прямиком, без всякого разворота, несемся к аэродрому. Мелькают тополи, под нами близко -- будто сейчас сядем в реку -- серая вода Пянджа; мы, однако, бреющим полетом над водой проскакиваем еще чуть дальше и садимся на прибрежную траву, бежим, поднимая пыль и торжествуя победу над стихией величайших гор.

Группы мужчин в пограничной форме и в гражданской одежде -- зеленые фуражки, белые кепки, шугнанские тюбетейки... Женщины в ярких национальных платьях... Груды ящиков, мешков, всякого груза; автомашина с черепицей, другая -- с шифером; качающий ветвями сад вокруг белого двухэтажного дома аэропорта...

Мы выходим в прозрачный, горный зной сверкающего солнцем Шугнана. И как будто не было двадцати лет разлуки: все знакомо, все родное, все мило... Я на Памире опять!..

Вглядываясь в лицо...

Как представить себе Хорог тому, кто в нем никогда не бывал, кто ни разу в жизни не проехал через Памир -- по высочайшим, нагорным его восточным долинам или по опасному Западному автомобильному тракту, нависающему над отвесными, в полкилометра, обрывами? Как представить себе областной центр, в котором нет ни троллейбусов, ни трамваев, ни всем знакомых серых, с шашечной разрисовкой по бортам, такси? Как выглядит, как живет город, удаленный от

ближайшей железной дороги на пятьсот пятьдесят километров, а в зимнее время, когда закрываются перевалы, вовсе отрезанный от нее снегами? Город, в котором жители (и сейчас еще очень немногочисленные) должны, строя новый дом, прежде выискать для него среди скал и расчистить от каменных глыб

площадку, а потом выровнять ее, чтобы она стала горизонтальной?!

Было время, я приезжал в Хорог верхом, после многомесячных странствий; тогда жизнь в седле становилась естественной и привычной, геологический молоток не разлучался с винтовкой, а электрический свет загорался только в дальних воспоминаниях о "настоящих", покинутых мной городах. И теперь, когда я видел Хорог вновь, -- иным, таким же живым и кипучим, как любой стремительно развивающийся город нашей страны, -- представление мое о Хороге расслоилось на две разделенные почти четвертью века картины. В них общее только то, что незыблемо и неизменно существует (во всяком случае, в пределах одной человеческой жизни) в природе, в которой, конечно, тоже не найти ничего неизменного при другой, более протяженной во времени мерке или при наблюдении, более углубленном.

Вот я и начну с того, что, на мой взгляд, в Хороге не изменилось.

Пусть любой житель российской равнины, украинских или казахских степей взглянет на белое кучевое облако, плывущее в небесах над его головой. И от окраинного дома своего села мысленно воздвигнет до этого облака наклонную сухую каменистую стену. И обведет ею все село, оставив только с двух сторон узкие проходы в этой стене. И вообразит, что в один из проходов врывается бурная, большая река, а в другой, пройдя сквозь селение, глубоко врезавшись в берега, уходит.

Такова местность, в сущности, вокруг каждого кишлака Горно-Бадахшанской автономной области. Иногда стены круче, а ущелье уже, иногда, как в Хороге, небу над головой, а домам на речных берегах больше простора.

Не знающий гор человек может, представив себе дно этой каменной пробирки, промолвить: "Скучно!"

Но я отвечу ему, что стены ущелий, на дне которых располагаются бадахшанские кишлаки, никогда не бывают однообразными и ничуть не похожи одна на другую. Гребни горных хребтов над ущельем изрезаны ветрами, ледниками, водой. Каменные обвалы оторвали от склонов гигантские куски, и там, откуда эти куски оторвались, видны отвесные пропасти. А ниже, куда столетие за столетием сыплются камни, образовались исполинские шлейфы -- конусообразные осыпи.

В отвесных обрывах, обнажающих недра гор, видны бесчисленные пласты осадочных пород -- извитых, перемятых тектоническими движениями земной коры. Местами эти пласты пронизаны кристаллическими изверженными породами. И неисчислимы оттенки природной окраски гор. Сказать про толщи мощных пород, нависающих над Хорогом, что они серые,

значит ничего не сказать, потому что этот серый цвет имеет сотни оттенков, -- человек видит перед собой великое многоцветье!

Та же самая точка горного склона, скалистого отвеса, прикрытого висячим ледником гребня, меняется в восприятии человека каждый час и в зависимости от освещения. Утренние и вечерние длинные тени делают самую плоскую поверхность скалы объемной и выпуклой. Солнечные лучи, скользя по горам, придают лицу гор такую же переменчивость, какую придает лицу человека его настроение.

В молодых горах Памира нет места, своей причудливой внешностью повторяющего любое другое.

Многие поэты и путешественники за все века утверждали, что грозные, дикие скалистые горы создают в каждом из нас настроение торжественности, настраивают мысли на философический лад.

Это утверждение справедливо. Какая-то доля величественности окружающего мира переливается в душу человека, и он преисполняется чувством собственного достоинства, в нем пробуждается гордость оттого, что он сознает себя все-таки не рабом, а властелином природы, оттого, что медленно, но неуклонно, неотвратимо, шаг за шагом побеждает ее, не имеющую разума, которым обладает он.

Именно таково самосознание советского человека, самосознание местных памирских жителей в наши дни.

Совсем другими были памирцы, когда я впервые знакомился с ними. В ту пору они еще страшились природы, обожествляли ее, были покорны ее капризам; она угнетала их, и этот гнет тем более был тяжел, что невежественный, неграмотный, вечно полуголодный памирский горец-бедняк в ту пору только начинал освобождаться от чувства своей приниженности перед богатыми людьми его кишлака, едва верил, что порабощавшие его ханы, ишаны, баи, представители верхних каст уже никогда не станут повелевать им, не вернутся, не отомстят за взятую им с помощью русских людей свободу!

Теперь памирцы стали иными -- сытыми, здоровыми телом и духом, гордыми. Широкой, свободной мыслью они вознеслись над своими высочайшими горами и ясными глазами увидели большой горизонт.

Вот это первое, главное, что на Памире решительно изменилось за четверть века!

Горы остались такими, какими были и прежде. Каждое ребро скалы, врезавшееся в память, вставало передо мной вновь наяву, я узнавал его с каким-то странным, полуосознанным удивлением: они, старые знакомцы, не изменились ни в чем, а я... моего времени прошло так много!

Первый вечер

Хорог расположен на высоких узких террасах в долине Гунта -- там, где мощь этой бурной реки удвоена водами ШахДары.

К 1895 году, когда была окончательно установлена государственная граница между Россией и Афганистаном, в маленьком кишлаке Хорог было построено русское пограничное укрепление: два-три маленьких белых с плоскими крышами дома да обмазанная глиной казарма; сюда из города Ош проложена колесная дорога. Правда, поддерживать ее в исправности оказалось не по силам ферганскому генерал-губернатору, которому был до революции подчинен Восточный Памир. К началу революции по этой дороге ездить можно было только верхом, грузы перевозить верблюжьими караванами, а в иных случаях и носить на спинах людей.

Я видел в Хороге рояль (он сохранился до наших дней), принесенный на руках из Оша за семьсот сорок километров. Этот рояль был доставлен сюда по приказу белогвардейского подполковника Тимофеева в 1919 году для его дочки, изъявившей желание музицировать. Тимофеев в следующем году бежал за границу, куда девалась его дочка, мне неизвестно, а рояль поныне честно несет свою службу в клубе.

До революции Хорог оставался все тем же маленьким кишлаком, в нем насчитывалось не более девяноста хозяйств. Открытые русскими властями туземная школа да фельдшерский пункт -- вот, пожалуй, и все, чем отличался он от других селений Шугнана.

Он начал разрастаться только с 1924--1925 годов, когда стал административным центром советской Горно-Бадахшанской автономной области и когда сюда пришел первый караван Узбекторга с советскими товарами, медикаментами, сельскохозяйственными орудиями и посевным зерном, предназначенным для раздачи памирским беднякам.

С караваном приехали первые гражданские врачи, строители, учителя, ирригаторы.

В 1926 году на расчищенной от камней площадке был заложен памятник Ленину и воздвигнуты первые строения городского типа: здания областного

исполкома, больницы, школы, кооператива, Дома народного творчества. Еще в 1930 году в этих одноэтажных каменных, побеленных известкой домах стены изнутри и потолки были обтянуты ситцем, чтоб на головы людей не сыпалась сухая смесь соломы и глины. В ту пору кровельное железо было еще недоступной роскошью для хорогцев!

... Вечер. Я размышляю обо всем этом у окна, в комнате, в которой металлическая кровать застлана чистыми простынями и солдатским одеялом, а на письменном столе стоит графин с холодной, чуть-чуть белесоватой гунтской водой.

Первый вечер в новом Хороге!

Я один. Тишина, углубленная шумом Гунта и легким шелестом тополей. Словно не желая склоняться под ветерком, дующим из Афганистана, они только чуть пошевеливают ветвями. Над ними, за рекой высится зубчатая вершина Лягарсэд, которую пограничники назвали пиком Дзержинского. Этой вершиной обрывается скалистый хребет Зимбардор, уходящий отсюда к югу. В предзакатный час каменистые осыпи крутого склона серовато-розовы под слабеющими лучами.

Я погружен в воспоминания о том, как здесь, на этом берегу, остановил после трехмесячных странствий мой караван. Не было тогда ни дома, в котором я нахожусь, ни множества тех левобережных домов, на какие гляжу сейчас из окна; не было ни этих тополей -- таких высоких, что они никак не кажутся мне моложе меня; ни пассажирского авиасообщения с Хорогом -- чудесного способа преодолевать забитое горами пространство; ни бесконечно многого другого, с чем успел я познакомиться за один день сегодня.

Я восстанавливаю в памяти тот, отделенный от нынешнего будто столетиями, первый вечер в Хороге... Вечер 1930 года, когда, наконец, арендовав для лошадей каравана травянистую площадку в тутовом саду, устроив ночлег караванщикам, приведя в порядок у афганца-брадобрея свою выросшую за время путешествия бороду, я расположился на войлочной подстилке, в углу каменной веранды над Гунтом, за пиалой чая у моих хорогских друзей. И начались взаимные расспросы, будничные рассказы о басмачах, нападавших на нашу научную экспедицию; о родовых распрях восточнопамирских кочевников; о коварстве крупных киргизских баев, что тайно принимали в своих юртах английских разведчиков, пробиравшихся на Памир там, где еще не было наших пограничных застав; об опасных речных переправах, на которых тонули лошади, а иногда и люди; об афганских и кашгарских купцах, торговавших опиумом, розовой каменной солью и всякой колониальной дребеденью, сбываемой в городах Центральной Азии иностранными капиталистами...

И, однако, те тревожные, трудные, переломные годы на Памире были интересны значительнейшими событиями.

В 1929 году в Хороге опустился, впервые в истории Памира, самолет. Через два года в Хорог въехал автомобиль -- один из двух, впервые в истории поднявшихся на памирские выси. На Пяндже и на реке Памир пограничники впервые сменили кавалерийские посты, построили заставы и закрыли границу; в Хороге заработал первый движок, и самой высокой в мире, крошечной типографией был выпущен первый номер газеты. В ноябре 1933 года по новому автомобильному тракту в Хорог двинулись десятки автомашин. В следующем году на Гунте было начато строительство первой на Памире мощной Хорогской гидроэлектростанции. В 1935 году на Памире было уже двадцать колхозов.

... Сегодня в Хороге меня расспрашивали совсем о другом, чем в тридцатом, тревожном, басмаческом, трудном году. Я рассказывал, как слушают ленинградцы патефонные пластинки с памирскими песнями, какое впечатление произвели в Москве выращенные в Хороге кусты цветущей черемухи; радовал моих слушателей сообщением о том, что очередная сессия Таджикской Академии наук состоится через месяц не в Сталинабаде, а именно здесь, в Хороге; и никак не мог объяснить черноглазой, сурово-серьезной Сурьме Ниссо Акимшоевой, заведующей Хорогской областной библиотекой, почему Сталинабадский книготорг,

получив от нее двадцать тысяч рублей, не прислал ей за весь год ничего из художественной литературы, -- ни одной книги! И Сурьма Ниссо рассказывала мне, как три года работала она в Москве, на Трехгорке, и как "попробовали бы там торгующие организации хоть неделю не дать книжных новинок!".

-- А ведь у меня в библиотеке сейчас только постоянных -- восемьсот читателей!..

... Вот и солнце скрылось за гребнем горы. Наступило короткое сумеречье; воздух прохладен и несравненно чист.

Сколько событий, личных и общественных, уложилось в два с лишним десятилетия, которым посвящены мои думы в. этот спокойный вечер! И только горы надо мной все те же, неизменные в своем вековечном холодном безмолвии. Спускается ли теперь в предрассветный час по узкой тропке, осыпая камешки с крутого склона, чуткий козел -- киик, чтобы напиться в Гунте воды? Я помню этот легкий перещелк камней, что слышался над Хорогом в любую из тех ночей. Нет, наверное, теперь киики ушли от Хорога: что делать им в разросшемся, людном, ярко освещенном электрическим светом городе?..

На экзамене

В самом центре *Хорога* от берега к берегу Гунта переброшен качающийся под пешеходами, подпертый на концах бетонными быками висячий мост. Проходящие по нему путники держатся за два троса, заменяющие перила. В ветреную погоду

мост похож на размашистые качели. Скоро будет построен новый мост, и тогда автомашинам и всадникам не нужно будет делать многокилометровый объезд, чтоб преодолеть расстояние в несколько десятков метров.

Разглядывая мятущуюся под ногами воду, неторопливо перехожу на левый берег.

Еще недавно Хорог был расположен только на правом берегу Гунта, а безводный, высокий левый берег тянулся каменистой пустыней. Я помню время, когда там не было ни одного дома, только у самого поворота к Пянджу зеленел крошечным пятнышком кишлачок из двух-трех хозяйств, припадающий к роднику.

Несколько лет назад, в шести километрах выше границы города, воды реки Шах-Дара хлынули в новый, большой оросительный канал. Даже сейчас, прослеживая снизу его направление или пробираясь ползком вдоль его русла с риском сорваться в пропасть, поражаешься, как мог быть этот канал проложен -- на огромной высоте над рекой, в отвесной монолитной скале.

Вырванный аммоналом полутоннель, приближаясь на высоте к Хорогу, следует за всеми причудливыми изгибами гнейсового массива. Дно полутоннеля -- ложе, врезанное в скалу, -- со стороны пропасти кое-где подкреплено каменной кладкой. Чистейшая вода бежит по этому ложу. И там, где канал, наконец, вырывается из теснины, вода, разбираемая искусными отводами, круто падает к посевам и молодым садам левобережья Гунта.

Всюду, где теперь почва напитана влагой, зеленеет трава, растут тонкие деревья, окружая десятки новых домов. Эти дома и сады образуют собой маленькие оазисы; над первым из них, вдоль подножия хребта Зимбардор, протянулись посадки нового плодопитомника, который скоро станет такой же гордостью хорогцев, как знаменитый Памирский ботанический сад, о котором речь впереди.

В центре левобережья узенькие каменные улочки ограждены не только стенами, сложенными из рваного камня, но и шеренгами рыма -- памирского тополя. Вверх по склону тянутся круто выгнутые колхозные поля и приусадебные участки хорогских жителей. Камни, убранные с полей, как обычно на Памире, сложены в башенки, но этих башенок становится все меньше, по мере того как строители домов разбирают их, чтобы использовать камень для фундаментов и стен своих жилищ.

Левый берег Гунта превратился теперь в новую часть города, и многие городские учреждения перебрались сюда:

здесь просторно, здесь оазисы садов постепенно сомкнутся, срастутся в сплошной зеленый массив.

Я зашел в один из таких садов и увидел перед собой большое белое здание.

Хорогский учительский институт. Первое высшее учебное заведение на Памире!

В группе вышедших на крыльцо молодых людей я узнал знакомого мне по Сталинабаду шугнанского студента Гуломэтдина Гулямикова. Он оказался теперь директором заочного отделения педагогического училища, которое помещается в том же здании института. Приветливо поздоровавшись, он сказал, что сегодня в училище выпускной экзамен, -- не пожелаю ли я присутствовать?

Так, приглашенный в один из классов, я оказался за экзаменационным столом, рядом с четырьмя педагогами. Сижу наблюдаю. На столе букеты желто-красных цветов. За партами хорогская молодежь -- десятка два юношей и две девушки. Все юноши одеты по-городски: кто в пиджаке, кто в белой рубашке, один в белом кителе; тюбетейки, фуражки и кепки лежат на партах.

И опять я не могу не припомнить времени, когда ни один шугнанец не носил пиджака, все одевались тогда в плотные халаты из овечьей шерсти, были обуты в сыромятные пехи, натянутые поверх узорных джурапов -- шерстяных чулок.

Три больших окна класса такие же, как окна школьных зданий Москвы: стены и потолок чисто выбелены, дощатый пол вымыт. Высоко под потолком портрет Ленина в красной раме и большие фотографии -- портреты руководителей партии и правительства.

Разговор идет по-таджикски. Учителя шугнанцы спокойны и деловиты. Просматривая разложенные перед ними бумаги, они вызывают студентов, и пока один отвечает, другой, вернувшись с билетом к парте, обдумывает ответ.

-- Мизринамо! -- вызывает учитель девушку.

Мизринамо Худорамова встает, медленно подходит, волнуясь, приложив палец ко рту.

Я весь внимание: как будет держаться на экзамене, как будет отвечать памирская девушка перед лицом наблюдающих ее мужчин? Тяготеют ли на ней века истории ханств, века угнетения женщины? Ведь я нахожусь не в Москве, *не* в Сталинабаде, а на самой афганской границе, за которой женщина и ныне не смеет даже мечтать об азбучной грамотности! Ведь Мизринамо росла здесь, в теснейших горах, и еще не видала ни железных дорог, ни хлопковых полей, ни заводских станков, ни даже трехэтажных зданий!..

Я ловлю каждый малейший жест этой девушки, стремясь угадать по нему психологическое ее состояние.

Ей дают билет, спрашивают, какой номер.

-- Шестнадцатый! -- отвечает она, берет лист бумаги со штампом училища, неторопливо поворачивается, садится за первую парту, раздумывает, оглядывается. На ее губах проскальзывает улыбка. Ее глаза и длинные ресницы черны, в смуглом лице, в сверкающих ровных белых зубах -- свежесть молодости. Волосы ее расчесаны на прямой пробор и заплетены в две черные тяжелые косы, уходящие под белый платок, охватывающий зеленую шелковую паккол (тюбетейку). Платок позади головы стоит, как воротник, и небрежными складками спадает на плечи и руки -- маленькие, тонкие, выразительные. На безымянном пальце -- серебряное кольцо, на запястье -- два браслета из черных, белых и красных бусинок. Шею девушки свободно охватывает ожерелье из коралловых звеньев, перемежающихся с черными и белыми стеклярусными цилиндриками.

В длинном розовом ситцевом платье, в красных шальварах Мизринамо изящна и грациозна, и только рыжие парусиновые туфли портят общий "восточный" стиль этой хорогской девушки.

Она вертит в руках карандаш, графит сломан, -- и беспокойно оглянувшись: кто бы его починил? -- замечает в руке одного из учителей перочинный нож. Торопливо встает и. с наивной непосредственностью молча протягивает учителю свой карандаш. Учитель начинает чинить его, а Мизринамо стоит, смотрит по сторонам, прикусив кончик платка, прижатый рукой ко рту. Получив карандаш, так же молча отходит, садится за парту и о чем-то напряженно думает, полураскрыв свой маленький рот. В ее глазах волнение, лицо озарено беспокойной мыслью. Тонкими пальцами девушка проводит по лбу, потом губы ее что-то шепчут, она затеняет ладонью свой билет. Никто, кроме меня, не обращает на нее внимания, все слушают ответы юноши, стоящего перед экзаменационным столом; а я вижу, как в пальцах Мизринамо дрожит карандаш и как, скрывая от всех свое волнение, девушка насильственно самой себе улыбается...

Вот ее вызвали. Она подошла к столу, сбросила платок на плечи и, внятно прочитав свой билет, стала отвечать быстрыми словами, чуть-чуть запинаясь, негромко. Все глаза устремлены на нее, и, кинув уверенный взгляд на сидящих за партами, она отвечает уже громко и бойко. Но я замечаю, как она покручивает свое серебряное кольцо и как пальцы ее опять скользят по лицу, по губам, будто сгоняя видимую ей одной тень.

Чем дальше, тем все уверенней держится девушка, ее ответы правильны и точны, она уже знает, что не запнется, не ошибется -- в ее лице теперь гордость, -- да, отметка будет хорошей, да, мечта Мизринамо исполняется: она станет учительницей! Ее, свободную, образованную, будут ценить и уважать в родном селении -- в кишлаке Дарморахт, на берегу Пянджа, прямо против афганской тропы, на которой каждый день она видит иностранную пограничную стражу, видит афганских баев, феодалов, -- о, они забили *бы* камнями любую девушку, которая осмелилась бы на их берегу разговаривать с мужчинами вот так, полным, звучным голосом, гордо стоя перед ними с открытым лицом, не опуская глаз, не знающих унижения!

Мизринамо -- "похожая на египтянку". Так назвали ее родители, колхозники, но она похожа сейчас на любую смелую русскую девушку, от которой отличает ее только национальное шугнанское платье.

На все вопросы она ответила хорошо. И, не улыбнувшись, спокойная, самоуверенная, она отходит, минуя первую парту, приостанавливается, но, вероятно, подумав: "Да, ведь я уже больше не ученица!" -- решительно выходит из класса.

Экзаминатор вызывает следующего студента...

Учительский институт существует в Хороге с 1949 года. Педагогическое училище -- с 1930 года. Но тогда это училище помещалось в сложенном из неотесанных камней чоде, учеников в нем можно было пересчитать по пальцам, и эти ученики едва овладевали азбучной грамотностью.

Теперь в училище больше четырехсот студентов, из них пятьдесят заочников. В этом году в числе окончивших училище было сорок четыре девушки.

Когда я возвратился на правый берег, уже стемнело. Под звездным небом шел киносеанс. Хорогцы смотрели "Секретаря райкома" -- фильм, виданный ими уже не раз. На скалах, вокруг площадки со скамьями, на деревьях, по склону горы сидели бесплатные зрители -- весело и беззаботно перекликавшиеся мальчишки.

По главной улице

Улица Ленина в Хороге, обсаженная тополями, превратившаяся в тенистую, прямую аллею, стала соединительным звеном между двумя огромными памирскими автомобильными трактами -- Восточным и Западным. Она оказалась почти в середине 1300-километрового пути из Сталинабада в Ош и обеспечивает жизнь

сердцу Памира, как хорошо наполненная артерия. Грузовое и пассажирское движение через Хорог и в Хорог не прерывается ни днем ни ночью.

Словно длинные сверкающие сабли скрещиваются по ночам лучи фар в темных глухих ущельях -- заносятся высоко, к неприступным скалам, врезаются в бурлящую внизу черную воду, вдруг выбелив на ней резкую полосу; световые столбы упираются порой в темные облака и бегут по ним, -- дороги почти не знают горизонтальных участков, подъемы чередуются со спусками, спуски -- с подъемами, повороты круты и внезапны...

Но Восточно-Памирский тракт отличается от ЗападноПамирского своей сравнительной безопасностью и благоустроенностью.

И если ночью смотреть с перевала, видишь пунктир мерцающих ярких огоньков, рассекающих бесконечную памирскую даль, -- лучи фар играют вверху и внизу, пляска их кажется фантастической.

Даже сено приходится вести на Памир: не хватает лошадям на Памире своего сена! Иной рейс -- тысяча километров. Огромный прямоугольник тюков прессованного сена плывет через Памир на огромном, ноющем у перевалов грузовике. Под сеном, внизу, тяжелый груз: мешки с мукой, ящики с консервами, сахар, подковы, гвозди, тюки с мануфактурой. Попробуй развернуться на узком повороте с таким грузом: зацепишь за скалу боком -- машина сорвется под обрыв; зацепишь верхушкой груза за нависшую над дорогой скалу, -- пожалуй, сорвешься тоже...

После долгого пути натруженная машина, будто корабль в порт, входит в Хорог. Как у тихой пристани, останавливается в аллее высоких тополей. Усталый ошский водитель в ватной куртке, в овчинном полушубке жмет -- всю в автоле -- руку водителю сталинградскому, которому в пути было жарко, -- он парился в замасленной своей ковбойке либо в старой гимнастерке, оставшейся от военных времен или от пограничной службы. Здесь, в Хороге, оба дружка умоются, оденутся в чистое и, что греха таить, частенько и выпьют лишнего. Путь был далек и труден, а завтра снова в путь!

Дома и сады нависают над Гунтом, прижатые к кромке правобережной террасы: дома и сады взбегают по дуге подножия горного склона; пересекающие узкую долину улочки так коротки, что хороший футболист мог бы, вероятно, одним сильным ударом ноги прогнать мяч по всей длине такой улочки. Но каждая из них имеет свое название: Садовая, Новая, каждая обсажена декоративными и плодовыми деревьями, по каждой движутся автомашины, велосипедисты, мотоциклисты, всадники, пешеходы. По одной из таких улочек горожане проходят к берегу Гунта. Река образует здесь узкую пойму, и эта пойма, перекрытая мощной дамбой, занята теперь Комсомольским озером, созданным хорогцами несколько лет назад.

Главная аллея -- улица Ленина -- основа, ось города; все важнейшие его учреждения, все лучшие жилые дома на ней. Здесь расположены и обком партии, и облисполком, и гостиница, школы, музей, библиотеки, больницы, амбулатории, редакции двух областных газет, Дом народного творчества, вмещающий в себя и драматический театр и кинотеатр. На этой же улице находится правление крупнейшего на Памире колхоза имени Сталина, чьи поля и сады разбросаны и ниже и выше Хорога и даже вклиниваются в самый город. И все это на протяжении каких-нибудь двух километров!

Хороша и живописна эта аллея-улица!

По ней пробегает синий автобус аэропорта. Еще с вечера внимательно оглядывают хорогцы небо, скользя взором над гребнями афганского хребта Куги-Шива: оттуда чаще всего тянет ветер, переволакивая через скалистые зубцы облака, образовавшиеся в Афганистане или в Пакистане. И когда нигде над зубцами гор нет ни облачка, хорогцы говорят: "Если за ночь не нанесет, надо полагать, утром будет!.. " И спозаранку ждут самолета прислушиваясь. А едва услышав легкий стрекочущий звук, выглядывают из окон своих домов или выбегают во двор, в сад, на улицу, провожают взглядом серебристую ли, зеленую ли птицу:

-- Идет!

Миновав город, ища места для разворота, чтобы сесть против ветра, пилот ведет машину к гигантской отвесной стене, что высится над слиянием Гунта и Шах-Дары. На фоне этой стены самолет становится невидимым, и только люди с очень острым зрением, наконец, находят его: микроскопически маленький, он плывет где-то у подножия скалистого массива. Потом, развернувшись, возвращаясь к аэродрому, вновь гремит над Хорогом...

Это значит, через полчаса в киосках будут свежие газеты: и "Правда", и "Известия", и "Коммунист Таджикистана", и "Тоджикистони Сурх"... Это значит, кто-либо в Хороге будет радоваться: прилетел сын-студент из Сталинабада, вернулись девушки-школьницы, улетавшие на смотр республиканской художественной самодеятельности; в кинотеатре сегодня пойдет новый фильм; в Ботаническом саду и в сельхозотделе обкома партии ботаники и агрономы бережно извлекут из посылочных ящиков долгожданные семена, выписанные

с Кавказа, из Сибири, из Ленинграда... "А те, кто всю ночь не спал, поминутно взглядывая на лунное небо, бегом мчатся к автобусу: "Ну, сейчас улетим!"

Через полтора часа учительница, получившая путевку в Ходжа-Обигармский санаторий, будет в Сталикабаде; председатель гунтского колхоза -- почтенный, бородатый старик -- пересядет в самолет, отправляющийся через Ашхабад и Баку в Минеральные Воды, а там до Кисловодска -- рукой подать! А инструктор Бартангского райкома партии, проделавший на-днях большой путь по опасной тропинке верхом, а потом трясшийся в грузовике до Хорога, сразу успокаивается: "Теперь на совещание в ЦК, кажется, не опоздаю!" -- и сует в портфель заготовленный неделю назад отчет. Офицер-пограничник жмет руку сержанту, чьи новенькие ремни блестят, а гимнастерка проутюжена так, что, кажется, никогда не сомнется, и сержант улыбается: "Подумать только, три года не выезжал за пределы участка заставы, а завтра увижу родных, у нас там пшеница волнами, как разливанное море, ходит, а горизонт, горизонт, эх ты, родимая российская ширь!.. "

Каждый приход самолета в Хорог -- событие, даже если погода неделю подряд хороша, даже если приходят и уходят по нескольку самолетов в день!

Но зато, если дурная погода...

Я видел, как отправлялась в Сталинаб'ад на партийную конференцию группа офицеров и солдат, съехавшихся в Хорог со всех дальних застав Памира. Конференция начиналась через два дня. Решили вылететь заблаговременно, до открытия конференции побывать в столичных театрах, посетить музеи. В рассветный час ждали самолета, всю ночь поглядывали на небеса. А метеостанция вдруг сообщила, что трасса закрылась облаком. И с восходом солнца, оставив мечты о театрах, делегаты торопливо усаживались в кузов огромного "ЗИС-150"; набились в него доотказа, старший офицер захлопнул за собой дверцу кабины, и машина, тяжело ревя, двинулась в далекий, предельно утомительный путь. Вместо часа полета они будут ехать шестьсот километров непрерывно два дня и ночь. Не разогнуть занемевшие ноги, не отдохнуть! По острым камням, швыряемые с борта на борт, нависая краями кузова над пропастями, напрягая зрение и нервы: не выскочит ли из-за поворота над отвесным обрывом встречная машина? Приглядываясь к гранитным кручам, уходящим вертикально вверх: не грохнет ли камнепад?

И все провожавшие их жалели, ругая облачко: не могло уж оно наплыть часом позже!

Вся группа возвратилась через десяток дней тем же путем: не повезло опять... Впрочем, в театрах, в музеях и всюду, где хотелось им, побывали после закрытия конференции: "Начальство учло!"

Вернулись веселые, довольные, -- будет теперь что рассказать товарищам на заставе! "В общем зарядились на целый год!"

И эти выражения и эта радость лишний раз подтвердили мне, как сурова жизнь на отдаленных, на высокогорных пограничных заставах Памира!

И все-таки два дня езды не месяц пути верхом, как пробирались мы некогда из Хорога в Сталинабад, протаскивая на веревках через обрушенные висячие овринги головоломной тропы лошадей каравана. И не полтора месяца, трижды потраченных на путешествие верхом из Оша через Восточный Памир в Хорог!

Теперь эти сроки забыты!

Впечатления прохожего

Прогуливаясь по улице Ленина, я остановился посмотреть, как ловкий и быстрый в движениях черноглазый связист, взобравшись на телеграфный столб, прикручивал к изоляторам провода, на которых уже удобно расположились воробьи, склонив головы и прислушиваясь к однозвучному металлическому гудению. Связист спустился на землю, скинул с ног железные "кошки" и, увидев прохожего, глядящего на воробьев, улыбнулся:

-- Наверное, щебечут, что этот столб с доставкой сюда стоит пятьсот рублей!

Да. На Памире почти нет лесов. В Хороге всегда не хватает строительных материалов.

Связист был в черном пиджаке, из карманов торчали ручки инструмента; на коротко остриженной голове парня круглела красная шугнанская тюбетейка с орнаментированным ковровым ободком. Такие тюбетейки, кроме ободка, шьют теперь на швейных машинках, прочно вошедших в обиход каждой хорогской семьи. Многие семьи покупают швейные машины обязательно с электрическим приводом.

Связист начал было рассказывать о том, что и в его отдаленный колхоз из Хорога дотянулся телефон, но старуха мать никак им не хочет пользоваться, не согласная с тем, что можно "отделить голос от человека".

Однако рассказ моего собеседника оборвался на полуслове: он заметил двух прошедших мимо нас девушек-подружек. Они улыбались: о чем, мол, ты болтаешь приезжему, нет теперь таких старух, что испугались бы телефона!.. Подружки эти были, очевидно, хорошо знакомы связисту; он догнал их, развел их руки и пошел между девушками, смеясь и вертя головой так стремительно, как если бы опасался, что одна из подруг упрекнет его в недостатке внимания именно к ней.

Я подумал о том, что двадцатилетие назад ни одна хорогская девушка не посмела бы так непринужденно болтать на улице ни с одним парнем, даже если бы этот парень был ее родным братом, -- ходили тогда девушки по улицам без жестов и слов, как истуканы, не поворачивая головы ни к кому, прикрывая лицо до глаз белым платком, едва ктолибо попадался навстречу. И только самые смелые решались посещать школу..

Но еще несколько слов о "лесоматериалах". Свернув к парку культуры и отдыха, я с удивлением увидел несколько сборных деревянных домов-коттеджей. Деревянные дома на безлесном Памире! Каждый из них привезен с далекого севера в Ош по железной дороге, а оттуда доставлен через Восточный Памир на мощных грузовиках. Поистине, нет затрат, на какие ни шло бы Советское государство, чтобы народу жилось удобней, лучше!

А когда я вернулся на улицу Ленина, мимо меня промчалась огромная автомашина с грузом водопроводных труб, -- она была на последнем километре своего дальнего рейса. Машина остановилась, и десяток мужчин стали быстро стягивать с кузова трубу за трубой, толстые, тяжелые, с жерлами, как у пушек, ложились они одна на другую в огромном штабеле.

Позже я осматривал источник чистейшей воды, что выбивается из склона горы на высоте в двести семьдесят метров над городом и образует там прозрачнейший, словно наполненный стоградусным спиртом, а не водой, бассейн. Там, в ущелье, промытом ниспадающей из бассейна водой, построено каменное водосборное здание. Привезенные трубы устремятся от него вниз. Жители Хорога скоро будут избавлены от хождения к Гунту с ведрами и от пользования открытыми арыками.

Впрочем, и в этих арыках вода кристально-чиста. Врезанные в крутизну склонов, а местами врубленные в скалу, они, один выше другого, пересекают город, проходят через тенистые сады и поля, журчат вдоль каменистых улочек. В нижней части Хорога, там, где он клином вдвигается между скалистым мысом и прижимающимся к нему Гунтом, арыки струятся, огибая огромные гнейсовые глыбы, некогда сорвавшиеся с большой высоты. Вокруг глыб, на ярко-зеленых лужайках, под ветвистыми шатрами тутовника, пасутся коровы в овцы, а маленькие, сложенные из камней жилища дехкан то примыкают к глыбам, то громоздятся на них, как на высоких фундаментах. Только это место и осталось похожим на старинный шугнанский живописный, но неудобный для жилья кишлак. Впрочем, и в эти каменные жилища проведен электрический свет, стены их изнутри оштукатурены и побелены, в стены вставлены оконные рамы, а стекла прикрыты кисейными занавесками.

... Шум Гунта, монотонный, шелестящий, плавный, настолько вошедший в восприятие хорогцев, что никто и не слышит его, заглушает звучание арыков. Но если внимательно вслушиваться, непременно услышишь разные голоса воды, и все вместе они дают ощущение величественной тишины и покоя. Забывшись, уходишь мыслью в глубокие времена •патриархального памирского быта, и только звонкий, чистый голос таджикской певицы, вырвавшийся из радиоприемника, вдруг включенного в одном из каменных, неказистых с виду жилищ, возвращает задумавшегося путника в наши дни, столь не похожие на все, чем и ныне характерен тот Восток, что начинается в каком-нибудь километре отсюда, сразу за рекой Пяндж, в селениях Афганистана, где все осталось таким же, каким было тысячу лет назад...

В правлении колхоза **имени Сталина**

О чем только не передумаешь здесь, в этой обстановке, обыденной для всех местных жителей и столь необычной для приехавшего сюда издалека человека! А особенно если он здесь не в первый раз и у него есть личные впечатления для сравнения прошлого с настоящим!

Вот тут, где сейчас на маленьком поле видна колхозная электромолотилка, помнится, я проводил сентябрьскую ночь в 1932 году, -- на том плоском камне было постлано одеяло, а привязанный к тому дереву конь мерно похрустывал ячменем. И вдруг затмилась луна, и весь Хорог погрузился в смятение. От дома к дому бегали комсомольцы, тщетно пытаясь разъяснить старикам, что ничего ужасного в небе не происходит, -- еще накануне комсомольский актив был предупрежден о предстоящем затмении. Но непосредственное воздействие от внезапного исчезновения луны оказалось сильнее увещеваний комсомольцев, которые и сами-то в душе не были слишком спокойны! Тревожный гром бубнов разливался по всему залитому тьмой Хорогу. "Борьба с духами" сопровождалась криками, ударами в железные листы, ведра, лохани.

Через несколько минут луна снова сияла в полную силу, но взволнованные люди не успокаивались до рассвета, жгли костры, не спали, бормотали о чем-то своем.

А теперь... Вместе с одним из работников обкома партии я только что осматривал колхоз имени Сталина. Это колхозмиллионер, укрупненный в 1950 году. В конторе правления я сразу же потерпел неудачу: председателя колхоза Бахтали Чусталиева здесь не оказалось, а бухгалтер Шабдалов и парторг колхоза Мабат-Шо-Абдул Гафаров, услышав, как мой спутник отрекомендовал меня "товарищем из Москвы", решили, что к ним в моем лице явился какой-либо обследователь или уполномоченный. Они оба с готовностью выложили на стол необходимые пайки и, дождавшись, когда я, •в свою очередь, раскрыл записную книжку и взялся за карандаш, начали засыпать меня цифрами.

Делать было нечего: я стал их записывать, надеясь позже добраться и до живых людей.

"... Дворов -- 236. Бригад в колхозе: полеводческих -- б, садоводческих -- 2, строительная --1, в животноводстве работает доярок-скотниц --16, пастухов--12, овчарей-чабанов26, птичниц -- 2, пчеловод -- 1... "

Я записывал цифры покорно, с теми подробностями, какие мне излагал,

читая одну за другой ведомости, бухгалтер, а парторг ревниво следил, нет ли неточностей в сообщении бухгалтера, проверял каждую из называемых цифр:

"Сельскохозяйственный инвентарь: электромотор для молотилки --1, автомашин -- 3, плугов конных -- 31, культиваторов -- 3, окучников -- 2, сеялка овощная ручная -- 1, кос -- 122, молотилок простых -- 2, веялок -- 2, триеров зерновых -- 4, опрыскивателей разных -- 7, соломорезок -- 3, сепараторов -- 9, бричек -- 6... "

Было скучно переписывать цифры из ведомостей. В окно виднелись великолепные зубцы хребта Зимбардор, правее его я увидел близкие, в упор придвинутые к Хорогу горы Афганистана с зелеными пятнами кишлаков, с клочками полей, никогда не знавших триера, опрыскивателя, сеялки...

И мне сразу не стало скучно!

Я понял, что эти цифры -- голос гордости двух сидящих передо мной за столом памирских колхозников, что один из них должен был преодолеть, учась, тысячелетнюю тьму этих погруженных в феодализм гор, чтобы стать бухгалтером: ведь это же наука, которая стала доступной памирцу только в советские времена! А второй из них, прежде чем стать парторгом колхоза, должен был смело, неутомимо, решительно

бороться с предрассудками, пережитками, суевериями сотен окружавших его людей, а для этого обязан был избавляться от собственных предрассудков и суеверий. Это тем более важно, что ведь граница -- рядом! Из-за кордона на памирских колхозников смотрят враждебные глаза агентов империалистических государств. Тайные силы готовы использовать любую лазейку для своих провокаций. Это хорошо помнит каждый памирский колхозник. Он рос на границе. Он вырос борцом. Он знает, что от успеха его мирного труда во многом зависят мир и благополучие его родного советского Горного Бадахшана.

Словно снаряды, направленные в бою на врага, перечисляет сидящий передо мною смуглый, в шупнанской тюбетейке, пожилой человек цифры, которыми он гордится:

"... Урожайность с одного гектара: пшеница озимая поливная -- 24, 22 центнера; яровая -- поливная и богарная -- 9, 76; ячмень -- 4, 50; просо -- 17, 33; бобовые -- 17, 88; лен -- 6, 34; капуста -- 281; картофель --176; огурцы --180; помидоры -- 131; морковь и свекла -- 186; лук -- 438; дыни и арбузы -- 107; люцерна с укоса -- 20... В 1952 году впервые посеяна ветвистая пшеница, опытная, -- на Верхнем Даште и в Верхнем Хороге, -- 2, 10 гектара. Дали ее нам 5 центнеров, часть мы отдали другим колхозам: "Социализм", имени Карла Маркса, имени Калинина, а сами посеяли 450 килограммов. Впервые в области!.. "

А ведь двадцатилетие назад на Памире люди не ведали капусты, картофеля, моркови и свеклы! Никто из памирцев не знал, что это такое. Никто из русских людей, работавших здесь, не верил, что эти овощи могут расти и созревать в высокогорье. Не один год прошел, прежде чем удалось добиться хорошего качества и добрых урожаев картофеля на Памире. Но уже в 1940 году колхозник Мирзонабатов получил с гектара до восьмисот центнеров картофеля. Звеньевая Лейли-бегим Гаюрова собрала восемьсот семьдесят пять центнеров лука с гектара!

Из этого следует, что не всеми цифрами, сравнительно с некоторыми прошлыми годами, колхоз имени Сталина в Хороге может гордиться! И если бы я действительно был "обследователем", "уполномоченным", то, вероятно, внедрившись сначала в ведомости, а затем облазав поля и службы колхоза, поговорив с колхозниками, нашел бы много всяческих недостатков.

Но никто при любых недостатках не может опровергнуть неопровержимого факта, что на Памире имеется колхоз-миллионер, что он сеет культуры, каких никогда на Памире не высевалось прежде, что все дети колхозников учатся в школах -- начальных, семилетних и средних, что колхоз, помимо прочего, успешно занимается и шелководством, раньше также неведомым на Памире.

Не занимались хорогцы ни пчеловодством, ни виноградарством, ни многим другим из того, чем занимаются они в колхозе имени Сталина вместе с трудящимися других колхозов Шугнана и всей Горно-Бадахшанской области.

Ибо не было прежде памирцев грамотных, образованных, владеющих научными знаниями. А теперь...

Уже не лазая ни в какие ведомости, уже окруженный горячо вступившими в беседу бригадирами и звеньевыми, уже волнуясь и бегая из угла в угол по маленькой комнате правления, парторг Мабат-Шо-Абдул Гафаров отрывисто говорит:

Конечно, сначала было мало! В тридцать пятом, тридцать шестом было мало... Тогда только первые наши люди поехали. Понимаете, товарищ: первый раз из колхоза в вуз учиться! А потом по двадцати человек, по тридцати человек в Сталинабад, в Ленинабад уезжают, каждый год уезжают. Если погода плохая, если перевалы закрыты, не ждут машин, верхом едут, пешком идут! Больше ста человек наших выходцев из колхоза получили и получают сейчас высшее образование. Это мало? Это много, это очень много, товарищ! Пускай любой московский колхоз скажет: для него это мало или много? Для нас это хорошо. Очень хорошо! Раньше все больше в педагогический институт уезжали, возвращались учителями. А теперь учатся и в медицинском, и в сельскохозяйственном, и в университете. В конце пятьдесят третьего года в Сталинабаде будет первый выпуск студентов университета и первый выпуск аспирантов при Академии наук нашей Таджикской ССР. Что это значит, товарищ? Это значит, теперь появятся у нас свои врачи, агрономы, инженеры, ученые. Они родились в памирских кишлаках, они вернутся в свои кишлаки. Понимаете, что произойдет?.. Сейчас у нас... Пойдите в Верхний Хорог, склад Сельхозснаба посмотрите! Хорошие машины стоят, самоходные, сильные. Никто ими не пользуется. Стоят, ржавеют. Стыдно! Почему стоят? Специалистов, говорят, нет, земля у нас каменистая... Э! Слыхали мы разговоры такие прежде! "Деревья по берегам рек сажать нельзя, камни". Теперь сажаем, специалист помог нам, доктор наук, товарищ Гурский, директор Ботанического сада...

Растут деревья?

Растут! Пойдем, пожалуйста, в кишлак Тым, пойдем в Сучан, покажу! В прошлом году посадили полтора гектара. Лес будет!. Наши памирцы сами учеными людьми становятся, чего только не сделаем мы в наших горах!.. А про нас --

э! -- говорили такое... Если слушать -- у нас жить нельзя! А мы живем, так живем! Э, товарищ, ты, наверное, никогда не ел траву вместо хлеба, ты, наверное, никогда не видел, как твою мать бьет плетью хан, ты, наверное, никогда не слыхал, как кричит ребенок, накурившийся опиума, а, правда?

Парторг колхоза не знал, что мне пришлось пройти очень многие ущелья Памира в те далекие уже от нас трудные годы...

"... Мельниц -- 10, кузница -- 1, коровников -- 40, птичников -- 10... "

Я шел из правления колхоза взволнованный, против воли и желания повторяя про себя записанные мною цифры.

... Есть растение, похожее на горох, с зернами темнозеленого цвета. В Вахане его называют "крош", в Шугнане "хыдзив", в Хороге -- "патук". Оно в два раза урожайнее, чем другие злаки, и вызревает на самых каменистых почвах. Поэтому памирские бедняки сеяли его и к полученной из него муке подмешивали муку пшеничную, ячменную или гороховую. Из этой смеси приготовляли болтушку, ею и питались, потому что больше нечего было есть.

Но тот, кто питался болтушкой, приготовленной из муки патука, спустя некоторое время испытывал странное недомогание в ногах. Помню, однажды, застигнутый мраком ночи на горной тропе у кишлака Яхшиволь, в Йшкашимской волости, на Пяндже, я остановил коня у костра, что выбивался из-под нависшей

скалы, огороженной каменной стенкой. Там, вдали от мира, жил старый бедняк Мирзо-Шо-Делавор-Шоззда. Кривоногий, низкорослый, как карлик, он вышел ко мне, хромая, тяжело опираясь на палку.

Лежа на теплых камнях, подложив под голову седло, я провел ночь у этого старика. Он рассказал мне, что таким, каким я вижу его, он стал с тех пор, как ему пришлось питаться патуком; что сперва жилы его под коленями как бы стянулись, и он начал хромать, а спустя несколько месяцев, ноги скривились, обезобразились, и без палки он уже не мог ходить; его пытались лечить, но безуспешно. Болезнь эта называется "патук-лянг".

Я не знаю, как называют патук ботаники и врачи, не знаю, изучали ли они это растение. Но я знаю, что памирские бедняки питались не только патуком, но и разными дикими травами, особенно в зимнее время. Травами и ныне питаются многие жители Пакистана и Афганистана.

Колхозники страны высочайших в Советском Союзе гор забыли о голодовках, о патуке, о диких травах. С усмешкой говорят они о тех временах, когда урожай пшеницы или ячменя в два-три центнера с гектара считался высоким и когда

люди ходили босиком, в рваных халатах, надетых на голое тело.

В Шугнанском районе я познакомился с Саидбеком Бодиевым, бригадиром колхоза имени Калинина. Каждый год его бригада получает урожай пшеницы и ржи в тридцать-сорок центнеров с гектара, а бригада Нуроншо Меликшоева в колхозе имени Ленина не менее сорока-пятидесяти. Поговорите с бригадиром! Он расскажет, что на всем Памире было только две тысячи гектаров посевных площадей, а что ныне в одном лишь его Шугнанском районе больше трех тысяч гектаров.

В Рушанском районе скота теперь в тридцать раз больше, чем в 1940 году. В Ванчоком районе мастер шелководства Бекабек Шоев из колхоза имени Микояна, получивший сто двадцать четыре килограмма коконов с одной коробки грены, с юмором рассказывал о своих родителях, споривших с ним и утверждавших, что тутовник полезен человеку только своими ягодами, которыми кормится население, но что от листьев, шелковичного дерева никакой пользы не может быть!

В маленьком зале

Маленький-маленький зал. Потолок слишком низкий, ряды скамей и стульев тесны, сцена мала. Другого театрального зала в Хороге пока еще нет, -- новый театр будет построен только через полтора-два года.

Но и в этом маленьком помещении произошло немало больших для Памира событий. Здесь выросла, воспиталась, стала известной далеко за горами Памира рушанская девочка Савсан. Ее отец, памирский бедняк Банди-Шо, молотил хлеба, гоняя быков по кругу, чтобы они вытаптывали из снопов зерно. Девочке Савсан было девять лет от роду, когда она видела хана в древней крепости Кала-и-Вамар, поднимающей свои квадратные башни над устьем реки Бартанг. Хан АбдулГияз был курильщиком опиума, был суров и грозен и в ту пору еще не совсем утратил власть над жителями окрестных селений. Прошло немного лет, бедняк Банди-Шо стал колхозником в колхозе "Социализм"; возле крепости Кала-и-Вамар открылись школа, магазин, больница. Девочка Савсан хорошо пела в колхозном кружке самодеятельности, на нее обратили внимание. Ее отправили в Хорог, она впервые вступила вот в этот маленький сад. А когда Савсан Бандишаевой исполнилось двадцать лет, она ездила в Москву и, участвуя в декаде таджикского искусства, выступала в Большом театре, перед взыскательной столичной публикой. Прошло еще

немного лет, и народная артистка Таджикской ССР Савсан Бандишаева, первая из памирских женщин, сыграла на сцене хорогского театра роль Луизы в трагедии Шиллера "Коварство и любовь". С тех пор она играла много ведущих

ролей в классических и современных пьесах.

Здесь же получил первую известность заслуженный артист Таджикской ССР Мехрубон Назаров, который ныне заканчивает высшее образование в Москве; отсюда начали свой путь в искусстве многие памирские девушки, ставшие артистками Таджикской Государственной филармонии.

Сегодня в этом тесном зале смотр колхозной художественной самодеятельности.

Верхом на осликах и верхом на конях несколько дней ехали и шли пешком по скалистым тропинкам дети жителей ущелья Бартанг, чтобы подойти к расположенному в низовьях реки селению Имц, где ожидала их присланная из Хорога автомашина; колхозницы Шах-Дары и Гунта вышивали новые узорные тюбетейки, кроили атласные платья, отправляя дочерей в столицу своей горной страны. Из ваханских, глядящих на ледники Гиндукуша кишлаков, из Ишкашима, где вдоль долины ветры несут пакистанский песок, от абрикосовых садов Андероба, Пиша и Дарморахта -- со всех сторон, из всех ущелий Горного Бадахшана съезжалась в Хорог детвора на этот ежегодный смотр.

Разодетые в шелк, в новеньких туфельках, с лиловыми, белыми, красными, синими платочками, обводящими тюбетейки, школьницы целыми днями гуляли по хорогским аллеям, слушали мальчиков, наигрывающих песни на свирелях -- сурнаях, сами наполняли Хорог песнями и дробной музыкой чангов -- маленьких бубнов; робели, читая на афишах свои имена; волновались, вступая в Дом народного творчества.

И вот они здесь, в зале, среди таких же, как они, зрителей, и за кулисами, и, наконец, на ярко освещенной электричеством сцене...

Я сижу в первом ряду, в середине зала. Танцует Давлятходжи Курбон-Мамадова, приехавшая с Бартанга, грациозная, вся отдающаяся танцу. Я смотрю на нее и еще смотрю на девочку лет четырнадцати, стоящую у рампы и самозабвенно следящую за всем, что делается на сцене. Эта девочка -- тоненькая, с умным, выразительным лицом -- горожанка и не участвует в смотре. Но по ее восторженным глазам, по чуть заметным движениям ее тонких пальцев, я понимаю, что она про себя, если можно так выразиться, внутренне повторяет сейчас танец Курбон-Мамадовой.

Положив локти на край сцены, она не аплодирует убегающей за кулисы Давлят-ходжи, она ждет следующую исполнительницу все с той же жадностью. И так же самозабвенно следит теперь за красавицей Сайлон Зоольшоевой, девочкой шугнанкой, чьи розовые шальвары мелькают в гоняющихся за ней переменных, цветных лучах "юпитера".

А Курбон-Мамадова, уже забывшая о том, как только что сама исполняла плавный, все убыстряющийся старинный бартангский танец, теперь стоит рядом с той девочкой у рампы ***и*** так же увлеченно смотрит на сцену.

На сцене -- танцы, и песни, и декламация, и игра на памирских музыкальных инструментах. Объявляющий программу взрослый паренек в черном, прилично сшитом городском костюме сам азартничает; его тон торжествен, его загорелое, в капельках пота лицо отражает волнение за каждого рекомендуемого им исполнителя, за каждую исполнительницу.

После концерта председатель областного исполкома -- гунтский таджик Паноев, грузный, добрый, улыбчивый, стоя на сцене, вызывает лучших исполнителей по именам, вручает грамоты, жмет маленькие детские руки заботливо, осторожно. И кажется, что зал может рухнуть от рукоплесканий.

Выйдя в фойе, я рассматриваю развешанные здесь по стенам фотографии и эскизы: "Сказка Гафиза", "Бесприданница", "Южнее 38-й параллели", "Коварство и любовь", "Золотой кишлак", "Тошбек и Гулкурбон" -- произведения всемирно известные и произведения, известные только в Хороге.

Ночь. Иду домой по залитой луною аллее тополей, потом вдоль Гунта, сверкающего, как расплавленное серебро. Горы впереди, над которыми плывет луна, погруженные в тень горы, в контражуре: гигантские, уходящие к поднебесью стены. Гребни этих гор выше Хорога на три километра!

Все получившие грамоты завтра наполнят большой самолет и полетят через

эти гигантские горы в Сталинабад, на республиканский смотр самодеятельности.

Многое доступно теперь маленьким памирским детям. Свое счастье они принимают как должное, они не могут себе представить, каким было детство их матерей и отцов, не ведавших ни о чем, что существует за пределами этих гор, -- безрадостное, нищее детство.

Памирский ботанический сад

Выше Хорога, там, где река Шах-Дара сливается с Гунтом в один поток, ступени древних речных террас придают горным склонам своеобразный, "лестничный", очень красивый

рельеф. Геоморфологи на разных высотах находят обрывки семи встающих одна над другой террас; такое количество их -- явление в природе редкое. Но только две-три из них сохранили до наших времен свои плоские, покрытые в летнее время травой пространства. Эти плоскости называются "даштами".

Дашт, высящийся над самым слиянием Гунта и Шах-Дары, назывался до тридцатых годов "ишан-даштом": здесь жил ишан, один из духовных руководителей всех тех шугнанцев, что верили в "живого бога" исмаилитской религии. Похожий на квадратную сторожевую башню, дом ишана нависал над двухсотметровой пропастью. Этот дом был крепостью -- толщина его каменных стен превышала метр. Всю долину Хорога видел у себя под ногами всесильный ишан. Наблюдал, как внизу гнут спину, срезая жатву серпами, дехкане -- его "пасомые"; подсчитывал, сколько можно взять себе из урожая, созревшего на каждом крохотном клочке дехканской земли. А у себя на даште ишан развел маленький фруктовый сад, -- конечно, для этого понадобилась вода, и, конечно, добыть воду из-под земли помогло "чудо". Ишан объявил дехканам, что он спал и увидел сон: если верующие выроют на даште глубокую яму и проложат к его дому канал, то бог совершит чудо: даст воду. Как рабы, трудились дехкане, и "чудо" совершилось: вода оросила мертвую землю возле ишанского дома. И никому невдомек было, что выше, в полутора километрах от дашта, из склона горы бьет ключ и что вода, добытая с помощью "чуда", та самая, которая на склоне горы уходит под почву.

Из Афганистана приезжали к ишану важные гости; он выезжал с ними на прогулки, белобородый, величественный, собирал дань с подневольных бедняков: они склонялись перед ним, скрестив руки на груди, и покорно отдавали последнее.

Над обрывом террасы дом ишана стоит и сейчас. Он превращен в склад. В нем хранятся научные приборы и инструменты советских ученых, работающих на даште.

Я поднимался к этому дашту на скрипучей полуторатонке. За рулем ее сидел доктор биологических наук Анатолий Валерианович Гурский, пожилой человек, с лысинкой, говорливый и энергичный. Он директор Памирского ботанического сада, выше которого во всем мире есть только один Ботанический сад -- в Дарджилинге (в Индии).

Ряд высоких тополей, вставших вдоль кромки террасы, над пропастью, тех тополей, что в далекой выси видны из Хорога, оказался теперь естественной оградой сада. Полуторка лезла на крутизну, огибая гору, по дороге, проложенной сотрудниками сада. Сделав крутой поворот над обрывом, мы нырнули под акведук большого канала, проложенного советскими людьми, -- вся территория дашта теперь обильно орошена. За акведуком машина выровнялась, вбежала в зеленую чащу листвы. Отбросив в сторону учебник, двое детей -- мальчик и девочка -- кинулись к машине, по-таджикски весело приветствуя нас. Машина приостановилась, дети полезли в кузов, -- ведь это же их машина!

Мы миновали большой двухэтажный дом с верандам" -- дом сотрудников Ботанического сада. Обиталище ишана по сравнению с этим домом кажется маленькой, ветхой руиной. И я увидел затененный бассейн, великолепие цветов, аллеи плодовых деревьев: огромные, сочные абрикосы, яблоки, груши -- десятки сортов, чащу малинника, гроздья винограда, великое разнообразие древесных

пород.

Через несколько минут я беседовал с Людмилой Филипповной Остапович, научным работником, красивой, спокойной украинкой; с ботаником Михаилом Леонидовичем Запрягаевым, помощником Гурского; со стариками садоводами, с веселыми девушками таджичками, со всем персоналом Ботанического сада, которым так гордятся в Горно-Бадахшанской области. Меня водили по аллеям, по всем закоулкам сада, показывали питомники, рассказывали об особенностях растений, прижившихся здесь.

Сад казался яркоцветным дном глубокого воздушного озера, замкнутого с двух сторон сухими каменистыми склонами гор.

В маленьком, с комфортом обставленном домике я рассматривал научные книги и новинки художественной литературы. А потом, в кругу яркого света под абажуром настольной электрической лампы, был разговор на всю ночь, пересыпанный биологическими терминами.

Я не увлекся бы так этим садом, если бы его работники оказались только кабинетными учеными, сделавшими из своего оазиса парадиз; если бы позже, разъезжая по самым глухим ущельям Памира, не увидел воочию в высокогорных колхозах практические результаты деятельности его научного коллектива. Куда ни приезжал бы, в каком бы колхозе ни останавливался, везде я видел молодые "дочерние" сады с плодами, огороды с овощами, прежде в тех местах неизвестными. Я спрашивал, откуда они. И колхозники отвечали: "Мы брали саженцы в Ботаническом саду. Спасибо ученым людям. Когда нам привезли саженцы, мы их сначала брать не хотели, думали: разве это может расти на нашей земле? Камни да снег, зимой такой снег, что все кругом умирало... " -- "А теперь растет?" -- "Видишь сам, рай у нас!.. "

Это дело на Памире начали два известных ботаника: Павел Александрович Баранов и Иллария Алексеевна Райкова, изучавшие Памир в те далекие уже от нас времена когда первые советские экспедиции вступали в не исследованные дотоле области, когда Памир был нищ, темен и трудно доступен, как те районы Тибета, куда китайские ученые в наши дни впервые несут светильники современного знания, бескорыстно помогая тибетцам.

В 1934 году в верховьях Шах-Дары, в Джаушангозе, на высоте 3 500 метров, была создана биологическая станция. Шесть стационаров расположились в разных районах Памира. После длительных опытов и исследований оказалось, что на Восточном Памире многие культуры, закаленные при активном воздействии ультрафиолетовых лучей, способны не только переносить ночные морозы в пятнадцать-шестнадцать градусов, но и сохранять свои листья. Биологам стало известно, что при низкой температуре памирские растения необыкновенно интенсивно питаются углекислотой, что микроорганизмы, не выживающие в условиях Памира в сухих почвах, при искусственном орошении могут не только жить в почве, но и превосходно усваивать азот.

На разных высотах в Горном Бадахшане появились гречиха, кормовая свекла, турнепс, редис, кремнистая кукуруза, монгольская капуста. В Хороге завезенный на самолете картофель стал давать отличные урожаи, хорошо выросли брюква, репа, огурцы. На Восточном Памире ученым на опытных участках удалось в несколько раз повысить урожайность пастбищных трав, и этот опыт был передан животноводческим колхозам.

В те же годы талантливый агроном И. Г. Сухобрус (позже, в дни войны, погибший на фронте) улучшал местные сорта пшеницы и ячменя, добивался повышения высотной границы земледелия. Памирские колхозники энергично помогали Сухобрусу, и урожайность злаков стала быстро расти.

В 1939 году биологическая станция была перенесена на Восточный Памир, в район Мургаба; ее работа стала круглогодичной. Руководители дружного научного коллектива П. А. Баранов и И. А. Райкова в следующем, 1940 году создали и Памирский ботанический сад над Хорогом. С самого возникновения сада здесь начал работать А. В. Гурский. На трех автомашинах сюда были

привезены семена и саженцы, и с закладки в почву десяти сортов земляники дело началось.

Еще не было ни средств, ни штатов. Ишан-дашт еще был сух, гол, и только сорняки выбивались из каменистой почвы.

Обком партии постановил выделить средства, провести на ишан-даште оросительный канал, автомобильную дорогу, подать из Хорога электроэнергию. Через год началась Великая Отечественная война. Средства понадобились на другие, более срочные нужды. Рабочих не хватало. Несколько научных работников молодого сада оказались в трудных условиях, однако это их не смутило: решили все делать своими руками.

Размножая здесь культурные растения, но еще не обладая знанием всех местных условий, ботаники, по собственному признанию, совершали грубые ошибки.

Семена кавказской яблони сад получил из Теберды. Но яблоня здесь вымерзла. Потребовались зимостойкие подвои -- выписали семена сибирской яблони. Они стали расти хорошо, а все же оказались недостаточно засухоустойчивыми. И только через несколько лет, когда в долине Ванча, на высоте 1 600 -- 2 000 метров, удалось ознакомиться с горными дикорастущими яблонями, родилось правильное направление в работе; ботаники сада стали изучать и выделять все то ценное из плодовых растений, что встречается в естественном состоянии на склонах бадахшанских гор и выращивается в старых, маленьких таджикских садах. В этих садах удалось найти экземпляры растений, которые были "сгустком" длительного интродукционного опыта, результатом многовековой деятельности народа.

Таджики еще в глубокой древности были прекрасными селекционерами. Предки нынешних абрикосов Бадахшана пришли из Ферганы, из Кашгара, из Читрала, Гильгита, Афганистана. Сложнейшие потоки селекционной работы скрещивались здесь, в долинах верховьев Пянджа!

Тутовник, важнейшее в Бадахшане плодовое и техническое растение, ведет свою родословную из Китая. Оно нашло в верховьях Пянджа и его притоков свою вторую родину. Однако в Китае тутовник с древнейших времен служил основой шелководства, его листья Шли на корм шелкопряда. Здесь же, на Памире, тутовник многие столетия нужен был только как пищевое растение: население питалось его плодами. Многовековой отбор привел к эволюции растения. Человеку для питания нужны углеводы. В тропических странах их дает сахарный тростник, в умеренных зонах -- свекла, в южных частях умеренной зоны -- виноград, изюм... А здесь сахар человек получает от абрикосов и тутовника, на Памире особенно тутовника! Именно поэтому в Бадахшане растут выработавшиеся под воздействием человека самые лучшие, самые сахаристые в мире сорта тута! В соке сорта "бедона" до тридцати четырех процентов сахара. Ягоды сорта "музафари", растущего в Шугнане, в Рушане, еще слаще, но этот сорт малоурожаен, поэтому ягоды "музафари" подавались как угощение только самым почетным гостям.

Работники Памирского ботанического сада поставили себе задачей -- изучить свойства всех местных сортов растений, как диких, так и культурных, улучшить их, приспособить к нуждам современного научного садоводства и огородничества, размножить по колхозам отборные, улучшенные сорта.

И теперь воспитанные садом растения проверены на зимостойкость, засухоустойчивость, на продуктивность. Особенности многих из них изучены, на них оказывается непрерывное положительное воздействие.

Памирский ботанический сад превратился в ценнейший плодопитомник. За десять лет колхозам и отдельным колхозникам Памира передано больше 130 тысяч саженцев. Ежегодно передаются "клиентам" сада сотни пакетов семян, тысячи штук овощей и садовой рассады.

На разбитой полуторатонке (ах, как нужна новая автомашина, которую все еще обещают!) Гурский и Запрягаев ездят по каменистым памирским дорогам,

углубляются в глухие ущелья, взбираются по головокружительным тропинкам -- верхом на коне, на осле, пешком -- в самые удаленные, громоздящиеся над обрывами отвесных скал кишлаки, раздают населению саженцы и семена, читают колхозникам лекции о преобразовании природы, показывают, как надо сажать растения, как делать прививки, как ухаживать за молоднячком. Уезжают и приезжают вновь, чтоб проверить состояние молодых садов. И теперь со всех сторон Памира -- с Бартанга, из Вахана, с Ванча и Язгулема -- колхозники приезжают сами в Ботанический сад -- просят новые культуры, берут их все больше... И молодые сады растут ныне там, где о них и не думали еще в недавние годы, где прежде население страдало от авитаминоза и цынги.

Ботанический сад занимается теперь вместе с лесхозом и проблемами лесонасаждения, столь важными для Памира; многие сотни километров узких береговых полосок вдоль рек, оказывается, могут быть засажены породами лесных деревьев... Я видел такие молодые деревья, уже посаженные вдоль берегов реки Шах-Дара колхозниками, верящими теперь каждому слову ученых. Среди колхозных садоводов Бадахшана появились такие энтузиасты, которые глубоко изучают мичуринскую науку. Их сады -- в Ишкашиме, на Ванче -- становятся опорными пунктами Ботанического сада в этих районах. Садоводческие бригады многих памирских колхозов организуют у себя выращивание элиты. У всех садоводов Бадахшана есть теперь авторитетный научный центр -- Памирский ботанический сад!

Старый знакомый...

На окраине Хорога, среди хаоса гигантских, упавших с гребня хребта скал, жил в каменной лачуге неграмотный, бедный плотник Марод-Али. Я помню его оборванных ребятишек, его жену, приготовлявшую им в котле атталя -- гороховую похлебку. Марод-Али часто ходил на заработки в соседние кишлаки.

И вот кишлак Воозм на высокой речной террасе. Над кишлаком -- уходящий ввысь каменистый склон, словно мечом палавона -- легендарного богатыря -- рассеченный пополам сверху донизу. По дну ущелья бурлит стремительный приток Пянджа. Бедняки кишлака ютились в черных от дыма каменных складнях и всегда голодали, потому что им всегда не хватало воды даже для ничтожных посевов гороха и проса. Только местный ишан руками рабов отвел от речки канал, чтобы орошать свой сад и свои поля.

У Марод-Али здесь среди бедняков были друзья. Часто посещая кишлак и приглядевшись к обрывистым склонам ущелья, Марод-Али решил дать воду дехканам -- построить второй канал. Родня ишана (уже бежавшего в Афганистан) издевалась над неграмотным бедняком-плотником. МародаАли называли "дэвона" -- одержимым. Как проведет он канал в неприступных скалах?

В те годы динамита и аммонала на Памире еще не знали. Не было даже простейших буровых инструментов. Марод-Али работал кувалдой да ломом, разжигал костры на выступах скал, чтобы раскалить их, и затем поливал холодной водой, чтобы они растрескивались. Вися на веревке над бездной, ежедневно рискуя жизнью, Марод-Али строил канал на свой страх и риск, строил не за деньги, а в дар народу. Несколько самоотверженных бедняков ему помогали. Он создавал ход воде по отвесным скалам, соединяя скалы на головокружительной высоте долблеными желобами.

Марод-Али работал год и провел канал, которому все удивлялись. Слава о строителе шла по Памиру. Помню, я изменил маршрут, чтобы приехать в Воозм познакомиться с Мародом-Али, осмотреть его канал, понять, как он его построил. И я до сих пор помню радость жителей кишлака, получивших воду! Они закладывали первые сады, расчищали от камней площадки для новых посевов.

То было два десятилетия назад.

Недавно мне вновь довелось побывать в Воозме. Я не узнал кишлака: расширив свои поля и сады, он сомкнулся ими с соседними кишлаками Бовед, Кушк, Барчив. Из ущелья, некогда неприступного, теперь выбегало двенадцать каналов,

искусно пробитых аммоналом, укрепленных бетоном. Расширен, увеличен был и старый канал, построенный -- в далеком прошлом -- плотником Мародом-Али. А вся эта цветущая местность, где не оставалось ни клочка неиспользованной земли, была теперь колхозом имени Карла Маркса, богатым хорошим колхозом. Целый день водили меня местные комсомольцы по садам и участкам посевов, показывали семилетнюю школу, сложенную из камней, оставшихся от давно рассыпавшихся руин древней ханской крепости. Я осмотрел вое, что комсомольцы, гордые своим колхозом, считали важным показать приезжему: и гараж с колхозной автомашиной, и радиоузел, и стационарное кино, и магазин, и достраивающийся клуб.

Я спросил комсомольцев: знают ли они Марода-Али? Да, они его знают и относятся к нему с уважением, он жив и здоров, он попрежнему столярничает в Хороге... Да, конечно, в те времена, когда они еще только на свет появлялись, каналы было строить труднее...

Эти молодые парни, которым чуть не все в мире теперь доступно, не особенно задумывались о том, какие усилия потребовались Мароду-Али, чтоб протянуть над пропастью тот первый советский канал.

Вернувшись в Хорог, я разыскал мастерскую, в которой работает Мород-Али. Мы сразу узнали друг друга. Старый мастер, воспитатель многочисленных ныне кадров хорогских плотников, изменился мало: то же живое, энергичное, только теперь изборожденное морщинами лицо, тот же веселый юмор в глазах, те же сильные рабочие руки, о которых, помню, двадцать лет назад он любил говорить:

-- Если ударю ребром ладони -- как нож. Если ударю ладонью -- как молот!

Мы расцеловались. С гордостью рассказав, как он живет, как зарабатывает столярным и плотничным трудом от двух до трех тысяч в месяц, Мород-Али пригласил меня в гости, указав рукой куда-то вверх, где над высокой горой, над Хорогом, в этот вечерний час загорались звезды:

-- Там мой дом. Вот, чуть ниже тех звезд, -- видишь, там мои звезды!

Под гребнем горы, на той верхней террасе, что несколько лет назад была каменистым необитаемым пустырем и где теперь вырос поселок хорогских рабочих и служащих, я увидел сверкающие, как созвездия, электрические огни; между ними темнели силуэты деревьев... Этот поселок носит название Хуфак.

Мы долго поднимались туда, поднялись почти на триста метров по вертикали, миновав много садов, тихо звенящих

водой каналов и узеньких, укрытых ветвями шелковицы переулочков. Дом Марода-Али оказался многокомнатным, зажиточным, добротно и красиво построенным. С веранды его открывалась великолепная перспектива: город внизу, бурлящий в лунном сиянии Гунт, сады и поля колхоза имени Сталина. В этом гостеприимном доме, в кругу семьи, состоящей из восемнадцати человек, я провел незабываемый вечер.

Старший сын Марода-Али -- Мород-Мамад повел меня к себе в комнату, познакомил со своей двадцатипятилетней женой Когаз-бегим. Она сейчас же взялась готовить угощение, входила и выходила в двери, и каждый раз ее шелковое платье волновалось на легком горном ветру. А Мород-Мамад, усадив меня за стол, заваленный книгами и свежими журналами, рассказывал о себе. Я узнал, что в прошлом он был комсомольцем, а с 1949 года стал членом партии; что окончил он ту самую школу-десятилетку, в которой сейчас работает учителем истории, и что продолжая учиться, заканчивает Хорогский учительский институт. Потом я отвечал на жадные расспросы Марода-Мамада о литературе, -- мой собеседник оказался серьезным и умным читателем, его суждения о прочитанном были продуманны и интересны.

Разговор о литературе прервался, когда старик МародАли повел меня на

веранду, усадил за обильный дастархан, заботливо подложив гостю под локоть обтянутые плюшем подушки.

Многочисленные, окружившие меня дети самого МародаАли и его сына, мальчики и девочки, -- румяные, загорелые, красивые, -- все оказались учащимися хорогских школ. Среднюю школу окончила и сестра старого мастера -- двадцатилетняя Азизик; теперь она работает статистиком в одном из областных учреждений.

В этой памирской интеллигентной семье меня, заезжего гостя из центра, редкого в здешних местах, забросали вопросами. Пришлось рассказывать о театре и спорте, о программах столичных вузов, о новостях науки, бог знает о чем еще! Глядя на исполинские горы, на пик Дзержинского, цепляющийся за диск восходящей к зениту луны, на чистый горный ручей, протекающий перед домом, я ощущал, как слово "Памир" наливается для меня содержанием своеобразным и новым.

После ужина Сой-бегим, постаревшая, но сохранившая стройность фигуры и природное изящество движений жена Марода-Али, взбила подушки на диване, занимавшем весь маленький балкон, что по прихоти хозяина дома повис над самым склоном ущелья. Полулежа на этом диване, наслаждаясь покоем и созерцанием вольно дышащей легким ветерком ночи, я остался наедине с Мародом-Али, чтобы помолчать или тихонечко разговаривать -- как захочется... И мы долго молчали, а потом завели очень неторопливую дружескую беседу.

-- Кто все это мне дал? Как ты думаешь? -- опросил меня старый мастер. -- Ведь так, как живу я теперь, это называется -- счастье! Может быть, ты думаешь, мне это дал бог?

-- Сколько лет прошло, -- вспомнив о прежней религиозности моего старого знакомца, уклончиво сказал я. -- Ты и теперь в бога веришь?

С таинственным выражением лица, приблизившись ко мне вплотную, Марод-Али прошептал:

-- Ты помнишь, я всегда говорил тебе, что я дурак? А теперь я не совсем дурак. Много видел, узнал еще больше, теперь умным стал, как мои ученики... Ты знаешь, из тех учеников, которых ты видел тогда, некоторые стали техниками, а один -- инженером... И некоторые воевали с фашистами, -- ты знаешь, наш памирский народ никогда ничего не боялся, кроме бога. Когда была война, многие мои ученики ехали на пушках в Берлин, -- ты был на войне, видел сам такие пушки, которые на железных ногах ходят... Я их не видел, потому говорю "на ногах", но ты не смейся, не думай, что я не знаю, как выглядят танки, -- кто теперь не ходит в кино!.. Бог, бог!.. О боге мы говорим... Вот я стал умным... В электричество верю, -- видишь этот провод: сам я с моим сыном тянул его сюда из Хорога... В радио верю, -- дети спят, а то сейчас повернул бы ручку приемника!.. В ячмень, что под ледниками теперь растет, верю... Ты уже был в Ботаническом саду, вон на той террасе? Знаю, был, не отвечай мне: каждый, кто в Хорог приедет, сразу идет туда. А там дом двухэтажный есть. Ты думаешь, кто его строил? Я, Марод-Али, строил... И вот эти цветы и деревья мои оттуда взял. В науку верю!.. А в бога... в бога не верю я. Всегда что-то выше человека перед ним должно быть. Раньше бог над человеком был, теперь над человеком... Как ты думаешь, что над человеком теперь?

Мне не хотелось итти на эту уловку. Мне хотелось, чтоб Марод-Али высказался сам до конца. Поэтому я молчал, и Марод-Али не выдержал паузы:

-- Над человеком, скажу тебе, теперь сияет то, что он сам творит. Ты понимаешь меня?

Я ответил старику очень коротко:

Это правда.

Конечно, правда. Я всегда правду тебе говорил. Только она тоже от ума человека зависит. Теперь наша правда -- самая настоящая, кто может нас обмануть? Вот такая теперь заповедь у меня!

И Марод-Али отодвинулся от меня, взглянул вдаль, на зубцы гор, тех, что

поблескивали в лунном свете за Пянджем, в Афганистане; помолчал, улыбнулся:

-- Весь бог: и руки, и ноги, и голова его, и все пиры его -- там, целиком он остался там, а у нас теперь -- другие богатства. Вот!

И с внезапной энергией, широким жестом руки МародАли обвел весь цветущий город Хорог, распростертый в долине под нами.

ГЛАВА XI. ПО ПУТИ МАРКО ПОЛО

Свидетельства венецианца

Я вижу, как медленно течет время по высочайшим горам, как заблудилось оно в сплетенье глубоких, скалистых теснин. По узкой тропе, над отвесами исполинских обрывов тянется караван. Снова и снова надо развьючивать лошадей, взваливать вьюки на спину и, обвязываясь шерстяными арканами, карабкаться на скалы, нависшие над разъяренной рекой, а потом на тех же арканах протаскивать через опасное место напуганных высотой, дрожащих, исцарапанных острыми камнями лошадей. Снова завьючивать их и опять вести растянувшийся караван, пересекая ниспадающие в бездну, неверные, зыбучие осыпи.

Порой мне кажется, что три всадника, едущие впереди меня, -- это Маффео, Николо и Марко Поло, что я сам, русский человек, примкнул где-то здесь в горах к каравану венецианцев и теперь делю с ними все прелести и все трудности медленного пути. Мне кажется так потому, что семь веков в этой стране высочайших гор не имеют никакого значения, время здесь мерится иными мерками и трудно отличить год от века на шкале Вечности, по которой исчисляют свою жизнь эти миллионнолетние горы.

В самом деле, в тридцатых годах нашего века, когда трижды участвуя в экспедициях на Памир, я проехал верхом десять тысяч километров, совершая запутанные маршруты, по малоисследованным, а иногда и просто не нанесенным на карту местам, чем отличались мои путевые впечатления от впечатлений возмужавшего за три года странствий, двадцатилетнего венецианца, если наши маршруты порой в точности совпадали? То, что видел Марко Поло семь веков назад, то видел и я: горы не перестроились и не изменились; чудовищные осыпи, морены и ледники Гиндукуша, Шах-Даринского, Ваханского хребтов так же таинственно мерцали в лунную ночь, ослепительно сверкали гранями льда и опаленных камней на солнце; так же преграждали они путь лошадям каравана и людям, чьи лица были обветрены, продублены высокогорным, колючим солнцем; древние крепости огнепоклонников, сиахпушей, запиравшие входы и выходы в узких ущельях, над непроходимою, ярящейся пеной рекой, через которую нигде, ни семь веков назад, ни при мне, не было ни одного моста. Граниты, мраморы, гнейсы, полосатые, перекриеталлизованные, изорванные, измятые, искромсанные титаническими силами природы, приняв причудливые, фантастические формы, возносились до фиолетового неба, ни с чем несравнимые по своей грандиозности

и красоте. Такими видели их знаменитые венецианцы, такими видит их путник и в наши дни.

Немного перемен можно было наблюсти, пожалуй, и в жизни населявших эти узкие долины и ущелья людей. Их скудное, суровое, отрешенное от всего внешнего мира, во многих проявлениях почти первобытное существование ни в чем, кроме смены бесчисленных поколений, не изменялось тысячелетиями. В тридцатых годах в Горном Бадахшане, на Памире, -- в пределах территории СССР -- мероприятия, осуществленные советской властью, как острые лучи света, впервые врезались в тьму феодализма. Его уродливые, неизжитые формы еще господствовали и в быту и в сознании местных жителей. Паутина вековечной беспощадной эксплуатации, прорванная революцией, еще висела по углам глухих недоступных ущелий Памира, мешая свободной жизни видевших только первые проблески света горцев.

Но то, что не менялось тысячи лет, решительно изменилось за последнюю четверть века, словно под прикосновением волшебной палочки. Этим волшебством оказались воля и труд самого народа, взявшего в свои руки власть. В этом я убеждался, совершая недавно новое путешествие по Памиру, -- мою автомобильную поездку уже никак нельзя было сравнить с путешествием Марко Поло. Время неслось теперь стремительно, ценимое, драгоценное, переплавляющее древний мир, но... только на одной стороне Пянджа. На другой стороне все осталось попрежнему.

"... А через три дня приезжаешь в область Балансиан; о ней и расскажу вам теперь... " (Марко Поло).

Как известно, Бадахшан ныне делится рекой Пяндж на

две части: афганский Бадахшан на левом берегу и советская Горно-Бадахшанекая автономная область -- на правом. Три горных ханства -- Горан, Ишкашим, Вахан -- в верховьях Пянджа, по обеим сторонам реки, издавна входили в состав Бадахшана. Именно эти три ханства и пересекли Марко Поло, его отец и дядя в своем пути от Скесема (Кишма) на "Памирскую высь" -- к Зор-Кулю и далее, с Большого Памира в Кашгар. "Памирская высь" -- все нагорье современного советского Восточного Памира -- составляет ныне Мургабский район, а три названных ханства превратились в современный Ишкашимский район Горно-Бадахшанской автономной области.

Хотя до сих пор историки спорят между собою, неуверенно нанося маршрут венецианцев на карту, этот маршрут мне ясен. Свою главу о Кашмире Марко Поло заканчивает словами:

"Оставим эту область и эти страны, но вперед не пойдем; если итти вперед, так войдем в Индию, а этого теперь не хочу; на возвратном пути по порядку расскажу все об Индии, а теперь вернемся к Балдасиану, а то некуда итти".

Следующую главу, названную им: "Здесь описывается огромная река Бадасиана" (современный Пяндж), он начинает так:

"Из Бадасиана двенадцать дней на восток и северо-восток едешь по реке; принадлежит она брату бадасианского владетеля; много там крепостей и поселков. Народ храбрый, почитает Мухамеда. Через двенадцать дней -- другая область, не очень большая, во всякую сторону три дня пути; называется она Вахан... "

Иначе говоря, после возвращения из Шесмюра (Кашмира) в Бадахшан -- город, не сохранившийся даже в развалинах, Марко Поло направился к Пянджу. Раз он утверждает, что по Пянджу он вышел за двенадцать дней до своего вступления в Вахан, то, очевидно, его путь пролегал мимо озера Шива, к Кала-и-бар-Пянджу. Другой караванный путь -- через Зебак на Ишкашим привел бы венецианцев к Пянджу уже у самой границы Вахана и вел бы не по Пянджу ("огромной реке Бадасиана").

В обоих случаях Марко Поло мог двигаться к Вахану, только идя на юг, а не на северо-восток. К северо-восточному направлению путешественник вернулся

уже лишь в пределах Вахана. И, очевидно, правильно обозначив общее направление своего пути, Марко Поло не принял во внимание тот крутой излук реки, который на короткое расстояние меняет направление Пянджа.

В Горане и Ишкашиме

Установив маршрут венецианцев по территории нынешнего советского Горного Бадахшана, посмотрим, что встретил бы на этом пути Марко Поло, если бы, вернувшись из небытия, повторил свое путешествие в наши дни.

Почти против афганского селения и старинной крепости Кала-и-бар-Пяндж расположен Хорог, в наши дни административный центр советской Горно-Бадахшанской автономной области. О нем в предыдущей главе мы подробно рассказали читателю. Проходя через Хорог -- крошечный, ничем не примечательный в его времена кишлачок (если он уже существовал в ту пору), Марко Поло, конечно, не обратил на него никакого внимания, не зная, не ведая, что на этом месте через несколько столетий вырастет изрядный город.

И мы, последовав за Марко Поло дальше, вверх по Пянджу, расскажем здесь о тех глубочайших, сжатых скалистыми теснинами долинах и ущельях, которые даже в наши дни остаются, пожалуй, самыми редко посещаемыми, самыми дальними уголками советской Средней Азии.

"В той области водятся драгоценные камни балаши, красивые и дорогие камни; родятся они в горных скалах. Народ, скажу вам, вырывает большие пещеры и глубоко вниз спускается так точно, как это делают, когда копают серебряную руду; роют пещеры в горе Сигхинан * и добывают там балаши по королевскому приказу, для самого короля; под страхом смерти никто не смеет ходить к той горе и добывать камни для себя, а кто вывезет камни из страны, тот тоже поплатится за это головою и добром... " (Марко Поло).

Мне пришлось побывать в том знаменитом со времен Марко Поло кишлаке Куги-Ляль, где в старину добывались рубины, а точнее -- благородная шпинель. Этот кишлак расположен на высоте в двести метров над берегом Пянджа, а старинные копи -- еще выше, по склонам ущелья. В прошлом веке афганцы, пользуясь рабским трудом, извлекали из этих примитивных копей шпинель, но к началу нашего века истощенные копи были заброшены, и ныне, заваленные осыпавшимися камнями, они не эксплуатируются. Жители кишлака Куги-Ляль сеют хлеб, занимаются садоводством, живя спокойной колхозной жизнью.

Да простит мне читатель повторение маленькой цитаты из Марко Поло, приведенной в другой главе, по другому поводу:

"... В этой стране, знайте, есть еще и другие горы, где есть камни, из которых добывается лазурь; лазурь прекрасная, самая лучшая в свете, а камни, из которых она добывается, водятся в копях так же, как и другие камни... "

* Шугнан.

В афганском Бадахшане известно месторождение ляпислазури, посещенное в 1838 году англичанином Вудом, -- в наши дни оно является монополией эмира Афганистана. О нем ли говорит Марко Поло? Или о том, которое находится в советских пределах, в Шах-Даринском хребте и которому в этой книге посвящена глава?

У Бенедетто в варианте текста "Путешествия" Марко Поло читаем фразу:

"... Там есть также три горы, богатые серой, и серные источники постоянно вытекают из них... "

Один из этих источников находится в Горане, неподалеку от пика Маяковского, на притоке Пянджа -- реке Гарм-Чашма. Серия великолепных естественных горячих ванн разной температуры образует ослепительно белый холм, возвышающийся посередине узкой долины. Рядом с холмом расположен маленький кишлак.

Может быть, в этом источнике купался и Марко Поло? Глухое, изолированное от мира место еще в тридцатых годах, когда я побывал здесь, было овеяно легендами о "чудесных исцелениях". С величайшими трудностями

пробирались сюда по узкой тропинке, вьющейся над пропастями, бадахшанцы, чтобы испытать на себе целительную силу источника, вызванного к жизни "ударом посоха сына пророка, убившего здесь дракона". Жители кишлака Гарм-Чашма были темными, невежественными людьми, вечно голодавшими, не ведавшими ни о чем, что существует за пределами Высоких Гор.

В 1952 году, по ущелью реки Гарм-Чашма, заросшему облепихой, жимолостью Королькова, огромными ферулами, пузырвиком, полынью и лианами ломоноса, я вновь проехал верхом к удивительным горячим источникам -- мне посчастливилось снова искупаться в них.

От местных жителей я узнал, что в план действующей пятилетки развития Горного Бадахшана включено строительство курорта на этих источниках. Курорт будет построен в ближайшие годы.

А кишлак Гарм-Чашма, который я помнил невзрачным, нищим, полуголодным, был теперь окружен шеренгами снежно-белого тополя, полон садами и огородами, и сквозь листву над бурливой рекой виднелись ярко выбеленные домики. Кишлак оказался состоящим из тридцати хозяйств, которые с 1937 года входят в колхоз имени Андреева. В этот колхоз входят также четыре окрестных кишлака: Девлох, Сист, ХасХараг и Андероб на Пяндже. В колхозе -- пять школ, одна из них -- семилетка -- построена в самом кишлаке Гарм-Чашма,

в ней работает восемь учителей. Житель кишлака Сист Музафар Гульмамедов, рядовой колхозник, сейчас учится в сельскохозяйственном институте, в Сталинабаде. Житель кишлака Гарм-Чашма Керванов учится в Сталинабадском Государственном университете. В колхозе построен новый канал, оросивший двадцать гектаров земли на таких горных склонах, где недавно человек мог пройти, только рискуя сорваться в пропасть. На этой буквально вырванной у скал земле посажены новые сады -- тысячи тутовых и других плодовых деревьев. Часть долины рядом с источником превращена в картофельное поле, -- четверть века назад картофель здесь, как мы знаем, и на всей территории Бадахшана был неведом местному населению.

Сверху донизу рассечены колоссальные массивы мраморогнейсовой свиты, слагающей горы Горана. Пяндж мечется, как взбесившийся зверь, в каньонообразной дикой теснине. Еще недавно над Пянджем вилась такая тропинка, по которой лишь человек с очень крепкими нервами рисковал пробираться верхом. Караван Марко Поло мог пробраться по этой тропинке и нигде больше, потому что другого пути из Бадахшана к Вахану вдоль Пянджа нет. Только в устьях боковых, пропиливающих скалы притоков могут уместиться на каменных выносах крошечные горанские кишлачки. Самой природой поставлены пределы их развитию: некуда поставить дом, щель в скале не может принять в себя больше, чем горстку почвы для корней дерева, великим трудом можно расчистить среди упавших камней площадку размером в два-три одеяла для посева злаков.

Автомобиль проносит меня сквозь Горан, над ревущим Пянджем.

Горы чуть-чуть раздвигаются, но все столь же суровы. Въезжаю в районный центр Ишкашим. Крошечный кишлачок в прошлом, -- это теперь, в сущности, уже маленький городок. Долина Пянджа внезапно раскидывается здесь километра на два в ширину. И вся эта долина в посевах. А под каменистым склоном правобережного хребта -- хорошие белые дома, новые сады. Больница, столовая, школы, клуб, в котором ишкашимцы смотрят новые кинофильмы, редакция районной газеты, почта и телеграф, магазины; в домах -- радиоприемники, городская мебель, полки с книжными новинками. Здоровая, сытая, веселая ишкашимская молодежь учится, устраивает вечера художественной самодеятельности, ездит показывать свое искусство в Хорог и Сталинабад, занимается спортом, катается на велосипедах и мотоциклах и учится, учится упорно, настойчиво, неутомимо. Десятки автомобилей, работающих в местных организациях и колхозах,

проходящих транзитом с Памира к Хорогу, завозящих товары, продовольствие, строительные материалы, сборные деревянные дома-коттеджи... Песни, музыка льются в вечернем воздухе над тенистыми улочками Ишкашима, девушки танцуют в клубе и на площадках перед домами, среди цветов...

В двух километрах за Ишкашимом -- маленький кишлак Рын. Жители кишлака говорят на древнем наречии, не сохранившемся нигде более. Изучая это наречие, здесь часто работают лингвисты, приезжающие из Ленинграда. В Рыне всего 84 хозяйства, входящих в колхоз имени Жданова. Житель Рына Юсуфбеков, окончив ишкашимскую школу, затем среднюю школу в Хороге, педагогический институт в Сталинабаде, учится ныне в Академии общественных наук в Москве. Другой житель Рына, колхозный монтер Ишматов, -- представитель национальности, населяющей в Советском Союзе только одно селение, -- избран депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР. Колхозник Киябеков в своем великолепном саду первым из ишкашимцев, еще в 1948 году, вырастил -- неслыханное для Ишкашима дело! -- помидоры и персики и угощает ими гостей. В ведении колхоза находится расположенная на обрывке речной террасы селекционная станция. Построив новый канал, колхоз оросил 120 гектаров пустовавшей, бесплодной прежде земли. Эта земля, хорошо обрабатываемая, настолько подняла благосостояние колхозников, что они сделали много полезных приобретений, в том числе два года назад купили грузовую автомашину. Если стать лицом к Пянджу и взглянуть на высокие древние террасы противоположного берега, на афганский кишлак, на долину, уходящую вглубь соседней страны, к Зебаку, если поднять взор чуть выше, к ослепительным снегам Гиндукуша, сверкающим в поднебесье над Ишкашимом, то непременно задумаешься о том, что и Марко Поло семь веков назад видел перед собой все то же: ничто на противоположном берегу за семь столетий не изменилось. И вот эта встающая в полусотне километров на юго-востоке, за спиной ближайшего снегового гребня ледяная, высочайшая в Гиндукуше вершина -- таинственный, загадочный Тирадьж-Мир. Своими снегами и льдами он питает притоки Инда. Его высота 7 750 метров! Им любовался, не мог не залюбоваться им, почетный гражданин Венеции, пробравшийся в сердце Центральной Азии. Нет человека, который не задумался бы о тысячелетиях, пронизанных этим величественным, поражающим воображение пиком! Только в 1950 году на этот пик впервые поднялись люди -- два участника норвежской альпинистской экспедиции. Ничто в нем со времен Марко Поло не изменилось. Гигантские лавины падали с него тысячу лет назад, как падают

и сейчас. Свистят ветры, стремглав низвергающиеся от него и в долину Пянджа.

Выше Ишкашима долина расширяется, из поперечной она стала продольной, по ней ползли когда-то массивы исполинского ледника, они пропахали ее, они измельчили монолитные докембрийские громады в гнейсово-мраморные скалы, в камни, в песок, забросали долину моренными отложениями; они таяли, оставляя после себя еще на многие тысячелетия длинные, глубокие озера: следы этих прорвавшихся позже озер опоясывают и сейчас на большой высоте склон Гиндукуша. И это уже Вахан, и все шире и выше долина Пянджа, суровее климат, жестче продольные ветры, беднее растительность, летучей песок внезапно появившихся береговых дюн.

Крепости сиахпушей-огнепоклонников

И вот уже середина Вахана. Не проникнет луч солнца в неприступные щели Даршая и Дара-и-Шитхарва, впадающих в Пяндж. Их ширина -- один-два метра, а высота, кажется, до небес. Словно из блестящих, сплавленных черепов сложены отвесные скалы, -- это очковые гнейсы, вода вымыла в них мириады пустых глазниц. Но сам Пяндж разливается здесь широко, обводя своими рукавами длинные травянистые острова. Склоны гор над долиной еще более расступились, но все так же круты. Гигантские осыпи выдвигаются в долину развернутыми, как

выгнутый веер, холмами. Еще упорнее и пронзительней ветер, -- он всегда дует здесь с середины дня, окутывая пыльною мглой весь видимый мир. Он дул в спину венецианцев, проезжавших здесь со своим караваном...

Маленькие кишлаки Птуп, Тухгос, Ямчин -- колхоз имени Ленина. Слева, на высокой скале Марко Поло увидел большую крепость со множеством квадратных и круглых башен, с полутораметровыми каменными стенами, в несколько рядов опоясавшими склон горы. Конечно, он ее видел, археологи утверждают, что она была построена значительно раньше. Владетели крепости останавливали все проходившие караваны, чтоб взять с них подорожную дань. Эта дань обеспечивала им существование. Значит, если крепость еще была населена, ими был задержан и караван Марко Поло. Прямоугольные узенькие бойницы глядели на проходящий внизу караван. Может быть, за этими бойницами мелькали лица дружины кафиров-огнепоклонников, тогда они, вероятно, еще жили здесь. Венецианцы увидели направленные на них страты, увидели других дружинников, приготовившихся спустить на проходящих громадные, усеивающие крутой склон, камни. Маффео и Николо Поло остановили свой караван. Марко Поло спешился, разговаривал с сиахпушами, прикрывавшимися огромными кожаными щитами. Дружинники ревниво следили, как купец развязывает перед ними пыльные вьюки, достает пряности, узорчатые тонкие ткани, слитки сверкающего металла.

И, получив дань, владетели крепости дали знак своей страже: пропустить караван. Вооруженные громадными луками (я видел однажды обломок такого лука и ваханский боевой щит), сиахпуши отступили в сторону от тропы. Марко Поло садился в седло, и караван снова медленно тянулся по заросшей колючкой долине. Рассеянно поглядывая на сухие кусты облепихи, на шиповник и жимолость, с грустью думал молодой купец о том, сколько было уже в его пути таких крепостей и сколько их еще будет. И с горечью рассуждал, что обойти эту крепость было никак нельзя: тропа из Бадахшана в Китай, единственная тропа, проходит по этой долине. Склон гигантского горного хребта высится справа, склон такого же хребта -- слева.

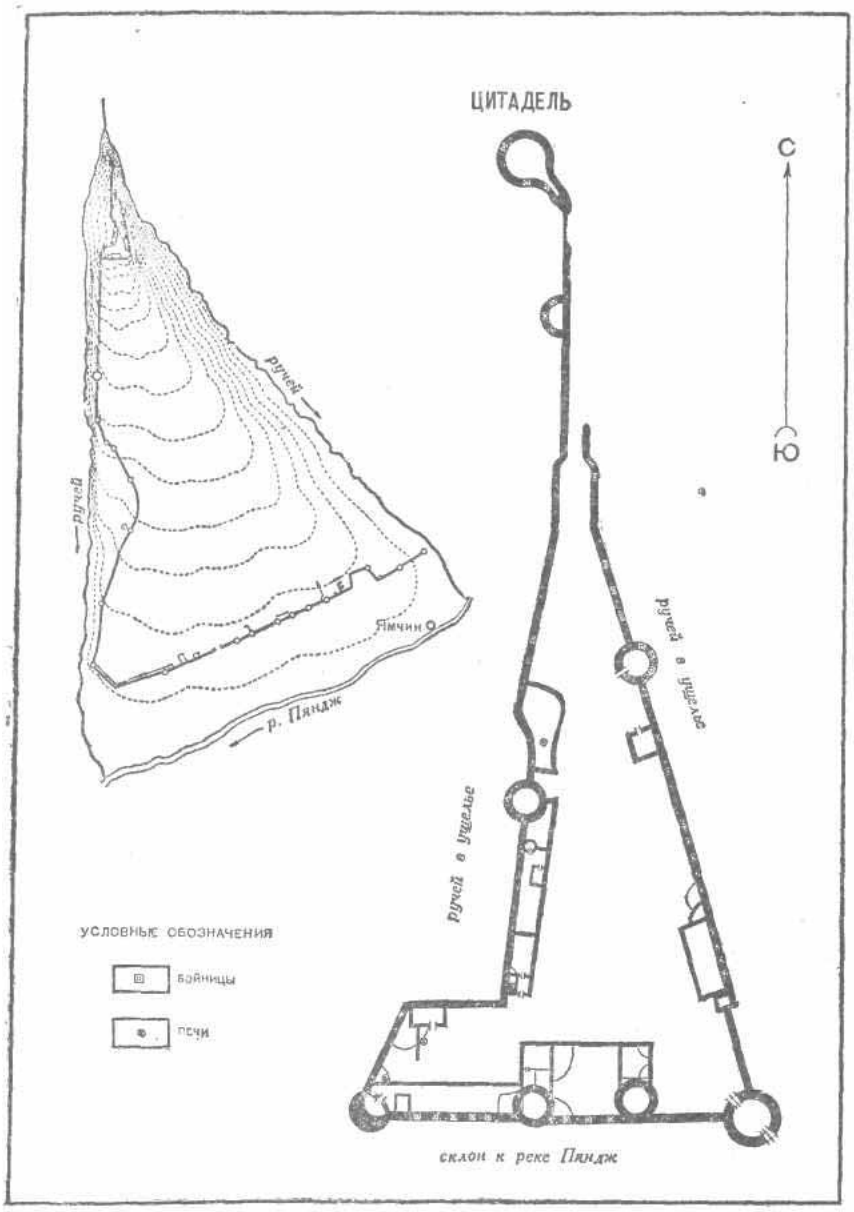
Один из этих хребтов в наши дни называется Гиндукушем, второй -- Шах-Даринским хребтом. В наши дни Кафыр-кала -- крепость кафиров Замр-и-аташ-Параст -- в руинах, но была ли она в руинах семь веков назад?

Эту крепость мне удалось впервые посетить в 1932 году. За год перед тем я побывал и в другой подобной крепости, расположенной неподалеку от Ишкашима, у кишлака Намангут на Пяндже. Она называется Каахка -- по имени легендарного богатыря, царя сиахпушей. До той поры никто из археологов еще не пытался детально обследовать ни эти, ни другие древние крепости в верховьях Пянджа. Везде в Вахане и Ишкашиме с ними связано много весьма оригинальных легенд.

Крепость Каахка венчает своими глиняными стенами отдельный продолговатый холм, что высится посередине широкой в этом месте долины Пянджа, там, где в него ниспадает с Гиндукуша многоводный, бурный приток. Глиняные стены, утвержденные на каменной кладке, прорезанные бойницами, хорошо сохранились, и можно себе представить, какой неприступной и грозной казалась она в древности, закрывая собою пути и вниз по Пянджу и вверх через Гиндукуш, -- тропу к перевалу от устья притока, где ныне раскидывается красивый афганский кишлак Иштарг.

Но крепость Замр-и-аташ-Параст над Ямчином кажется еще величественней и неприступней, -- она крупнее, искусней построена, во всех отношениях интересней.

В тридцать втором году мне не хватило дня. чтобы, делая **план этой** крепости, вымерить ее всю шагами (см. план).



План Замр-и-аташ-Параст (Кафыр-кала) -- крепости сиахпушей-огнепоклонников у кишлака Ямчин. Составлен автором в 1932 году.

Справа: план руин древней цитадели на вершине горы. Слева: общий план остатков древних укреплений по склону горы, к югу от цитадели.

Через двадцать лет я вновь посетил эту крепость, поднявшись к ней вместе с несколькими пограничниками верхом по тропинке из кишлака Тухгос и миновав два из семи хозяйств -- зеленых оазисов, составляющих разбросанный по склону высоко над долиной Пянджа кишлачок Вичкуд. Тот день отмечен в моем путевом дневнике такой записью:

"Тропа ведет прямиком по склону горы. Внизу -- долина Пянджа, широкая здесь, гладкая и розная, занятая -- ближе к склону -- посевами Ямчина и Тухгоса, ближе к реке -- зеленеющая заболоченной поймой, а за Пянджем перекрытая огромным серым конусом выноса, в вершине которого виднеется маленький кишлачок.

Речка, текущая с гор выше крепости, разделяется на два потока; один из них, основной, прорезав глубокое ущелье, бежит к Пянджу восточнее мыса, на вершине которого стоит цитадель; другой, с западной стороны, пропилив в скалах щель глубиной метров в двести, устремляется водопадом и проходит ниже

отдельного хозяйства, относящегося к кишлачку Вичкуд, а затем вырывается из щели в долину Пянджа.

Древняя крепость Замр-и-аташ-Параст занимает своей огромной территорией всю гору между этими двумя потоками, изолирующими ее от всех окрестностей, а потому является прекрасной точкой обороны, искусно выбранной древними людьми. Даже с тыла, с северной стороны, она отделена от мира прорезью, сделанной в скалах той же речкой, спадавшей здесь прежде в восточное ущелье, а затем повернутой в обход крепости к западу. Сама ли природа сделала этот обход или строители помогли природе, стремясь обеспечить крепость водой, сказать трудно, но, судя по тому, что с тыла речка протекает явно, как оросительный канал, можно думать, что путь для нее проложили люди.

Главная часть крепости -- цитадель, крепостное городище -- возвышается над долиной Пянджа не меньше чем на пятьсот метров по вертикали.

Мы поднялись на конях выше крепости, оставили здесь, на скалах, лошадей коноводу, а сами, спустившись к чистейшей воде древнего канала, пересекли его и взобрались в крепость, к самой северной ее хорошо сохранившейся башне, с амбразурами на три стороны: на запад, на север, на восток. Внутри этой круглой башни ясно видны следы второго этажа -- дыры от бревен, на которых покоилось междуэтажное перекрытие. Амбразуры были в обоих этажах, но второй провалился, и первый наполовину завален плотно слежавшейся землей. От этой башни расходятся под острым углом стены, обрамляющие территорию городища и высящиеся вдоль западного

и восточного обрывов. Территория цитадели занимает плоскую вершину горы, составляя треугольник, -- третья стена проходит параллельно Пянджу и представляет собою фасад крепости. Ниже, по склону горы к Пянджу, идет параллельно реке несколько стен, а по западной бровке склона, нависая над боковым ущельем, тянется, уходя вниз, двойная стена, -- она достигает округлой скалы, занятой форпостным укреплением -- маленькой самостоятельной крепостцы на краю обрыва. Эта двойная стена и коридор между ними (узкий ход сообщения) также с бойницами, дающими возможность обстрела на запад и на восток; последнее предусмотрено на тот случай, если штурмующие войска ворвутся на склон, обведенный предкрепостными стенами.

Все стены связаны чередою башен -- круглых, с амбразурами, со стенами толщиною в метр и более; все башни, как и стены, сложены из больших камней на глиняном, сохранившемся доныне растворе. Центральная часть городища внутри стен представляет собою сложное сплетение каменных комнат-залов, соединенных между собой проходами, а иногда -- изолированных. Стены между залами раза в полтора-два выше человеческого роста, а в древности были еще выше; это ясно из того, что бойницы в наружных стенах этих залов приходятся изнутри почти на уровне земли -- уровень ее повысился вследствие завалов, ведь бойницы, конечно, создавались так, чтоб стрелять сквозь них можно было стоя, а не лежа. Только средняя часть городища -- ровная площадь, ничем не занятая, кроме случайных больших глыб -- скал. Вероятно, эта территория и была внутрикрепостной площадью, а может быть, ее занимало центральное здание, ныне не существующее.

Амбразуры во фронтальной стене изнутри обложены плоскими плитами и наклонены под небольшим углом вниз, так, чтоб давать стрелкам, защитникам крепости, возможность обстрела долины Пянджа и боковых ущелий. Толщина этих стен не меньше полутора метров.

Складывая стены, строители кое-где для прочности прослаивали камни тонкими бревнами, суковатыми кусками древесных стволов, и надо удивляться искусству древних людей, несомненно имевших в виду угрозу землетрясений и сумевших сделать эти стены и башни антисейсмическими.

С севера, на высотах над крепостью, где есть тропа к перевалу через Шах-Даринский хребет (выходящая на реку Шах-Дара у кишлака Сейдж, как сказал мне житель Вичкуда Шаболь), простирается ровная полоса -- дашт, занятый

зерновыми посевами. Этот дашт похож па древнюю террасу речки Ямчин. Еще выше к северу виднеется другая, наклоненная в сторону наблюдателя терраса, также покрытая посевами; все же остальное к северной половине горизонта -- нагромождение высочайших гор, область главного водораздельного гребня.

Камни, из коих сооружена крепость (а камней таких сотни тысяч), -- тяжелые, большие глыбы, доставленные рабами -- строителями крепости из разных, даже очень отдаленных мест, судя по тому, что здесь есть и гнейсовые, и гранитные, и сланцевые породы, есть куски биотита и других слюд, есть много мраморов с вкраплениями граната, словно забрызганных кровью, а я такие вкрапления помню на шах-даринских склонах основного хребта. Значит, камни были принесены издалека и даже с самых высоких горизонтов Гиндукуша и Шах-Даринского хребтов. Труд строителей крепости был поистине исполинским, -- человек мог нести на себе не больше одного-двух камней; с таким грузом нужно было переправляться через речные потоки, пересекать ледники, виснуть на отвесных обрывах скалистых круч и, наконец, взбираться на макушку горы, на которой расположена центральная часть крепости. Значит, над сооружением этой твердыни трудились десятки тысяч людей, значит, тысячи -- погибали! Вот почему среди населения Вахана и Ишкашима бытуют легенды о древних богатырях, о жестоком силаче Каахка, швырявшем скалы с одного берега Пянджа на другой.

Размеры и мощь крепости поражают ее посетителя. Эта крепость должна была быть исключительно важной по своему значению, знаменитой на сотни километров окрест. Защищая подступы со всех сторон, стратегически она исключительно точно и умно поставлена. Меня удивляет только одно обстоятельство: долина Пянджа, с поймой реки, против крепости широка (от двух с половиной до трех километров) и совершенно гладкая, причем Пяндж течет, прижимаясь не к северному, а к южному -- гиндукушскому склону. Как могли древние люди обстреливать эту долину, владеть ею, если стреляли только из луков? Конечно, дальность полета стрелы не могла быть такой большой. А крепость, несомненно, владела поймой реки. Может быть, Пяндж в древности имел другое русло? Тек ближе к правобережному склону, даже подпирал его? Может быть, перегороженный обвалом, мореной или ледником, спускавшимся с Гиндукуша, он образовывал здесь озеро, как образовывал озера во многих других местах?"

Археологи впервые осматривали пянджские крепости в 1947 году, -- тут побывала экспедиция Академии наук, руководимая А. Н. Бернштамом. Ученый утверждает, что эти крепости -- и первая из них крепость Ратм (у слияния реки Памир с Вахан-Дарьей) -- призваны были защищать выход

с высокогорий Большого Памира, откуда двигались потоки кочевников в древние Тохаристан и Бактрию и далее в Индию и Иран.

"За Ратмом по Пянджу, -- пишет в своем отчете руководитель археологической экспедиции, -- отмечу крепости Исор, Зунк, Даршай и ряд других. Однако наиболее значительными здесь были поселения крепости Ямчун * (Замр-и-аташ-Параст или Кафыр-кала) и Каахка в южном Ишкашиме... "

И далее:

"Письменные источники позволили нам отождествить крепость Ямчун с упоминаемым в китайских источниках столичным городом страны Бохо (Вахан) "Сакским городом Гашэнь". Характерно то, что в названии города отмечено -- "сакский". Этим подчеркиваются роль и значение саков в исторических судьбах Вахана. Вторым, более поздним центром Вахана и столицей Памира был город Кухань (Каахка), или -- в VI -- **VIII** вв. -- Ябгукат, с которым мы связываем руины Каахка на берегу Пянджа... "

Еще никто не производил раскопок ни в этой, ни в других крепостях Вахана и Ишкашима. Их с нетерпением ждут все, кто заинтересован в том, чтобы тайны глубин истории этой части Центральной Азии были, наконец, раскрыты для народа советской наукой.

Под ледниками Гиндукуша

Однако вернемся к оставленному нами где-то в пути по Вахану каравану венецианцев. Вот он поднимается к перевалу через огромную морену, которая перегораживает долину и обрывается мысом, надвинувшимся на ложе реки. Сколько веков понадобилось Пянджу, чтоб прорвать эту морену, чтоб внезапно обрушить свои воды из образованного мореною озера, а потом устремиться плавно, выгнув крутой и красивый излук? С вершины мыса Марко Поло глядит на противобережный склон Гиндукуша. Огромный, могучий ледник, извившись выпуклым своим телом по тесному, дикому ущелью, сползает с великолепного белого массива, увенчанного группой грозных ледяных, заснеженных пиков, ослепительно сияющих и представляющихся из долины Пянджа необыкновенно величественными. На три тысячи метров над уровнем моря взнесена здесь долина Пянджа, но еще не меньше чем

* Общепринята транскрипция: "Зунг", "Ямчин", "Вичкуд", а не "Зунк", "Ямчун", "Викхут", как у А. Н. Бернштама. См. "Мат. и исслед. по арх. СССР" No 26, 1952, стр. 281--233.

на три километра превышают пики долину. Серый, заваленный моренными отложениями ледник, дойдя почти до самой долины Пянджа, нависает отвесной стеной над раструбом ущелья, из которого выдвигается огромный "конус выноса". В середине ледяной стены чернеет глубокий грот. Из него вырывается бушующая река, ее путь короток: всего два-три километра; она мчится по конусу выноса, разбегаясь множеством рукавов. Мутными потоками, цвета сгущенного молока, они вливаются в Пяндж, оставляют у берега Пянджа, в его серой воде белые бороды, пока воды, наконец, не смешиваются и не приобретают единый цвет. На самом берегу, на краю конуса, усеянного россыпью битых скал видна еще одна крепость, и путешественники с удовольствием думают о том, что от этой крепости их отделяет река.

Все, что описано здесь, со времен Марко Поло, конечно, не изменилось. Только крепости стали руинами, рядом с руиной Кала-и-Пянджа в наши дни стоит современное афганское укрепление, проходит автомобильная дорога, построенная американцами, на которой за год наши колхозники только два раза видели автомобиль. В автомобилях были американские офицеры: эта дорога построена явно не для мирных надобностей местного населения!

Марко Поло перед подъемом на мыс мог и не заметить на правом берегу маленький кишлак Вранг: он ничем не отличался от других таких же маленьких кишлаков Вахана!

Но я останавливаюсь в этом кишлаке, увидев на склоне горы большое белое здание; мне говорят, что это здание -- школа-десятилетка колхоза имени Сталина.

В самой глуби Вахана, в колхозе, ограниченном неприступными горами, не начальная, не семилетняя, а полная средняя школа!

Снизу и сверху новое красивое здание обведено садом, орошаемым схваченной каналом быстротечной горной водой. Вхожу в сад и встречаюсь с учителем этой школы -- школы имени Горького, стройным ваханцем Гульбеком Асадбековым, знакомлюсь с ним и... останавливаюсь в кишлаке Вранг на весь день.

Вот что узнаю я, осмотрев школу, поговорив с ее директором, с веселыми, чисто одетыми учениками и ученицами.

Начальная школа во Вранге создана в 1933 году. В ней было четыре учителя и полсотни учеников. В 1940 году школа преобразована в семилетнюю, -- в ней было девять учителей, сто учеников. В 1948 году в школе стало девять классов, училось в ней триста детей. В следующем году был образован десятый класс, -- к этому времени из Хорога приехали учителя: первые закончившие там высшее образование памирцы.

В 1952 году, когда я осматривал эту школу, в ней было триста шестьдесят учеников, из них сто сорок шесть девушек. В 1950 году произошел первый выпуск десятиклассников: сорок пять юношей и двадцать пять девушек, сыновья и дочери ваханцев -- колхозников из кишлака Вранг и трех ближайших к нему кишлаков: Внукут, Ямг, Ширгин. Из этих двадцати пяти девушек четыре ныне учатся в Ленинабаде в Женском учительском институте, одна из девушек, Зульзула Зарикова, уже окончила институт, а три другие -- Холисамо Кильтабоева, Азизбеги Камбарова, Далимо Шабозбекова через два года оканчивают институт. Остальные девушки работают в Сталинабаде, в Хороге, в колхозах Вахана, став библиотекаршами, учительницами начальных школ, служащими разных учреждений, колхозницами в родных кишлаках. Юноши продолжают учиться в высших учебных заведениях Сталинабада, Самарканда, Хорога.

В школе -- семнадцать учителей, из них двое русских -- преподавателей русского языка, остальные ваханцы, шугнанцы, ишкашимцы -- все бадахшанцы.

В школьной библиотеке, кроме учебников, две тысячи книг и много наглядных пособий. Имеется в школе лаборатория; штатный лаборант по кабинету физики и химии -- житель Вранга.

В 1942 году школьники вместе с учителями заложили сад. Дети впервые сажали на отведенной для сада площади и возле своих домов иву, пирамидальный тополь, яблони, персики. С 1950 года на пришкольном участке впервые созрели арбузы, дыни, разные овощи, каких жители Вранга прежде не знали. Изучая науку Мичурина и Лысенко, школьники теперь помогают в садоводстве колхозникам, объясняют им новейшие правила агротехники.

Я осматривал эту школу вместе с ее директором Кучакшо Гуломшаевым, имеющим высшее педагогическое образование; он рассказывал мне о своей школе с большим знанием дела, показывал все классы и кабинеты с любовью, и в эти часы я просто позабыл, в какой удивительной местности я нахожусь.

Ледяные зубцы Гиндукуша были облиты сиянием луны, когда я вновь спустился к дороге, чтобы сесть в автомобиль и двигаться по пути Марко Поло дальше. Но у машины меня встретил председатель колхоза имени Сталина и, не приняв никаких моих возражений, повел к себе в дом ночевать. И весь мой следующий день был посвящен осмотру колхоза. Я начал осмотр с колхозного магазина, в котором было полно товаров и продовольствия. Я спросил директора магазина Ады-ШоибШо Алимшоева, что больше всего требуют покупатели. И он

сказал мне, что из продуктов больше всего требуют рис, а из товаров -- коверкотовые костюмы, бостон, часы, радиоприемники. Алимшоев очень обиженно заявил мне, что снабжающие магазин торговые организации отпускают слишком мало этих товаров, а что, мол, дешевые костюмы, дешевый материал -- вот, глядите, -- лежат на полках, уже никто дешевенького не хочет брать.

Я подумал о том, что на противоположной афганской стороне Пянджа жители ваханских кишлаков ходят в тех же лохмотьях, голодают так же, как во времена Марко Поло, и грамотных людей среди них попрежнему нет. "Ученых и обучающихся науке у них пет", -- коротко и определенно пишет о ваханцах в своей книге "Каттаган и Бадахшан" афганский географ Бурхан-уд-Дин-хан-и-Кушкеки и рассказывает о "мужчинах и женщинах, подверженных употреблению опиума и гашиша". На советской стороне Пяпджа ни посевов мака, ни контрабандной торговли этим зельем уже больше двадцати лет нет, и в последнем моем путешествии по Бадахшану я не только не встречал ни одного курильщика опиума или гашиша, но даже не слышал, чтобы такой где-нибудь был. "Ночью мужчины и женщины спят все вместе голыми, по нескольку на одном паласе, укрываются теми же армяками и шкурами, которые носят днем", -- на следующей странице своей книги сообщает тот же географ о ваханцах Афганистана. "Керосиновых ламп у них нет и для освещения служит... светильник "сиях-чераг" (масляная коптилка. -- *П. Л.)*. И еще говорит о

посевах "келюля", называемого в Вахане "патек". "... Патекзерновой злак, из которого приготовляют похлебку. Большая часть тех, кто съест его и затем поспит в теплом месте, делаются хромыми, так что можно видеть несколько человек, которые охромели и лишились трудоспособности от употребления в пищу патека".

На советской стороне Пянджа патек (патук) давно забыт ваханцами, как забыты опиум и гашиш, а первобытный обычай спать так, как это описано афганским географом, советские ваханцы считают неудобным даже и вспоминать.

Продолжая осмотр колхоза, я зашел в интернат, организованный для восьмидесяти сирот -- детей тех ваханцев, что погибли на фронте в дни Отечественной войны. Затем на крутом притоке Пянджа мне показывали площадку, расчищаемую для строительства колхозной гидроэлектростанции, -- таких уже построенных станций в Бадахшане я видел несколько. Шофер-ваханец уговаривал меня прокатиться на колхозной автомашине, другой колхозник, киномеханик, обязательно хотел задержать меня в клубе на вечерний киносеанс, но я предпочел осмотреть радиоузел, медпункт и колхозную библиотеку. После обильного ужина меня уложили спать на чистой постели в мехмонхоне -- комнате для гостей при колхозной чайхане.

На следующий день я ехал дальше, и ветер Гиндукуша дул мне в спину, как во времена путешествия Марко Поло, но я не сердился на этот пронзительный ветер, наблюдая, как вертит он большие пропеллеры маленьких ветроэлектростанций в озелененных, укрытых молодыми садами кишлаках Вахана. И, наконец, впереди меня, в долину Пянджа, раздвоив ее, вдвинулся огромным, прорезающим облака мысом Ваханский хребет. Справа, навстречу мне, вдоль подножия Гиндукуша бежала Вахан-Дарья. В прорези ущелья над ней, уже в пределах Читрала, над облаками, высился треугольный, белый, словно лакированный, пик. Где-то под ним находились перевал Ионова и перевал. Барогиль, ведущие к столице Кашмира. Слева с высей Большого Памира, от озера Зор-Куль, низвергалась, прорезав ступени высоких террас, река Памир, по которой на северо-восток уходила государственная граница СССР. Обе реки сливались передо мной в одну: здесь начинался Пяндж! Здесь три венецианца могли выбирать дорогу в Китай: либо через Малый, либо через Большой Памир. И, повидимому, они повернули свой караван налево и, пройдя последнее, самое высокое селение ваханцев -- кишлак Ратм, двинулись отсюда к Зор-Кулю.

"Отсюда три дня едешь на северо-восток, все по горам, и поднимаешься на самое высокое, говорят, место на свете... " (Марко Поло).

Дальше, до самой границы с Китаем, не было населенных пунктов, кроме кочевий восточнопамирских киргизов, и мне остается рассказать о колхозе имени Кагановича, в который вместе с последними пянджскими кишлаками -- Зигвандом, Зунгом, Дырчем, Исором и Лянгаром -- входит расположенный над рекою Памир маленький кишлак Ратм.

Я осмотрел в этом колхозе кишлак Зигванд. До коллективизации он состоял всего лишь из трех хозяйств. Огромный труд был положен колхозниками и помогавшими им пограничниками, чтобы расчистить от камней площади для посевов. Сейчас в кишлаке Зигванд двадцать три хозяйства, владеющих тридцатью шестью гектарами садов и посевов. Раньше сеяли только ячмень и просо. Пшеница в здешнем климате не вызревала. Ячмень давал урожай не больше десяти центнеров, а просо -- двенадцати центнеров с гектара. Колхозники собирают с каждого гектара тридцать пять центнеров ячменя, сорок центнеров проса и до шестнадцати центнеров выведенного в условиях высокогорья селекционного сорта пшеницы.

В 1939 году колхозники впервые взялись за посадки неведомого прежде в Вахане картофеля; в прошлом году с каждого из двенадцати занятых картофелем гектаров собрали с помощью пограничников по 110 центнеров урожая. Огурцов, капусты, моркови, укропа, редиса, дынь здесь тоже не было никогда, а в колхозе имени Кагановича они успешно выращиваются.

Возле дома лянгарского ишана некогда был маленький, чахлый сад. Теперь в Зунге пять гектаров земли занято плодоносящими садами, в Лянгаре под садами -- два гектара земли; отборные, улучшенные сорта абрикосов и яблок дают хорошие урожаи; в Зунге имеется питомник, раздающий саженцы тополя и тутовника всем окрестным кишлакам; дороги обсажены тополями; на два десятка километров тянутся новые оросительные каналы, давшие жизнь растительности на полусотне гектаров прежде пустынной земли. Яблоки, тутовник, абрикосы вызревают ныне во всех кишлаках колхоза, а ведь еще совсем недавно эти деревья не давали плодов, как не дают их и сейчас на противоположном афганском берегу Пянджа! Каждый год производится все больше посадок, за ними наблюдает агроном, их производят опытные садоводы, обучившиеся тайнам селекции в Хороге.

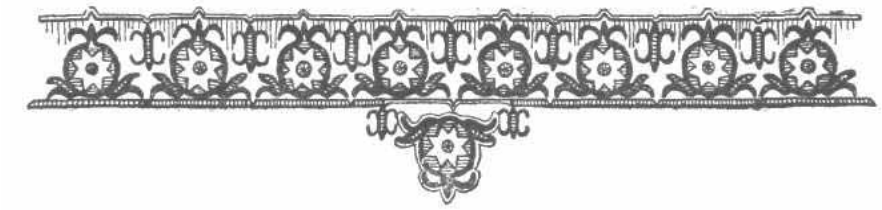
Все эти чудеса происходят на высоте в три тысячи метров над уровнем моря.

Колхозники -- хлебопашцы и садоводы -- вырабатывают по четыреста и больше трудодней в год, на каждый трудодень в 1951 году они получили по два с половиной килограмма зерна, получили масло, овощи, фрукты, мясо. Стада колхозников -- бараны и овцы, коровы, яки -- пасутся на отгонных пастбищах на Восточном Памире и в Алайской долине. К услугам пастухов -- радиостанции, автотранспорт, зоотехнические, медицинские и ветеринарные пункты, передвижные киноустановки, библиотеки, свежие газеты, а во время отпуска -- путевки в дома отдыха и санатории на любые курорты СССР.

Колхозники высокогорного, сурового, холодного Вахана сыты, обуты, одеты, здоровы, но, конечно, условия их существования не дают им тех материальных возможностей, какие есть у колхозников Шугнана или Рушана, живущих в теплых, благодатных, плодородных долинах. Поэтому государство не только освободило ваханцев от всяких налогов зерном и мясом, по и оказывает им постоянно материальную помощь, бесплатно раздавая мануфактуру и обувь. В 1952 году, в дни моего посещения колхоза имени Кагановича, каждому нуждающемуся колхознику было выдано по пятнадцать метров мануфактуры, по паре ботинок, паре калош и много других предметов одежды и домашнего обихода.

И этому, пожалуй, больше всего удивился бы здесь любой купец от времен Марко Поло до наших дней. Купцу не понять, как может быть что-либо дано трудящемуся человеку безвозмездно, с единственной целью улучшить его благосостояние!

... Вслед за караваном трех венецианцев я поднимался к Зор-Кулю. Так же как и они, я любовался, оглянувшись на юг, поразительным по красоте, прорезанным широкими ледниковыми долинами Ваханским хребтом. Так же как и они, задыхался от недостатка воздуха и ел недоваривавшуюся на четырехкилометровой высоте пищу. Три венецианца, оставив Памир, спускались отсюда на восток к виноградникам и хлопковым полям Кашгара. Я повернул на запад, чтобы спуститься к виноградникам и хлопковым полям Таджикистана.



ГЛАВА XII. БАРТАНГ

Что такое Бартанг?

Передо мной на столе объемистая книга: "Библиография Таджикистана". На титульном листе значится: "Часть I. География и гидрология. Издание Академии наук СССР и СНК Таджикистана. 1933 год". В этой книге перечислена огромная литература -- многие сотни названий научных книг и статей, литературно-художественных произведений, записок путешественников, посещавших во все времена истории страну высочайших гор.

Страницу за страницей, неторопливо, внимательно, я просматриваю этот добросовестный и кропотливый труд. Но только раз, один-единственный раз, я нахожу в этой книге интересующее меня слово: "Бартанг". В переводе оно означает: "Высокая теснина".

Что же это за географическое понятие, удостоившееся лишь единичного упоминания в такой книге?

В новой Большой советской энциклопедии этому слову уделено восемь строк. Вот они:

"Бартанг -- река в Горно-Бадахшанской авт. области Таджикской ССР, крупнейший памирский приток Пянджа (верховье Аму-Дарьи). Выше Сарезского озера среднее течение Б. называется Мургабом (см.), верхнее -- Ак-Су. Длина Бартанга -- Мургаба -- Ак-Су -- 405 км, общая площадь бассейна 32 700 км^2. На Б. расположен районный центр -- кишлак Бартанг".

Следующему слову в энциклопедии уделено пять строк:

"Бартангцы -- группа горных таджиков Припамирья, живущая в нижней части долины р. Бартанг Горно-Бадахшанской автономной области. Численность 2 тыс. чел. Б. говорят на бартангском диалекте шугнано-рушанского языка".

И это все, что советскому читателю стоит знать о них? И надо ли критиковать БСЭ за мелкие неточности в столь немногочисленных строках? Говорить, что оправданный с географической точки зрения, но не прививишийся, не принятый народом термин "Припамирье" сохранился ныне только в трудах единичных дореволюционных исследователей Памира? Или, например, что бартангцами при советской власти называется все население ущелья реки Бартанг, а не только "живущие в нижней части долины", ибо то население, что обитает в верхней части также со времени Октябрьской революции уже не называется "орошорцами", как называлось прежде, и даже кишлак Орошор местными жителями и во всех официальных обозначениях именуется ныне Рошорвом (кстати, сами рошорвцы так называли его и прежде).

И я не стал бы, пожалуй, критиковать столь авторитетное издание, как БСЭ, если б наличие этих и други неточностей не доказывало, сколь мало еще известна гражданам на шей страны сама местность, существующая на нашей планете под названием Бартанг, -- местность, о которой я пишу этот очерк.

Да и трудно его писать. В наши дни, когда величественный труд и могучая техника советских людей сделали возможным строительство величайших в мире каналов, орошающих десятки миллионов гектаров земли, -- в эти самые дни, в 1954 году, на Бартанге люди напряженно, упорно борются за прокладку каналов, способных оросить один, пять, десять гектаров.

Стоит ли об этом писать? Стоит ли обращать внимание сотен тысяч читателей на труд этих людей и на них самих? Ведь, по утверждению БСЭ, их всего лишь две тысячи человек! В Москве они поместились бы в одном доме. У

себя в горах Памира они расселены по берегам реки, протянувшейся на две сотни километров.

Но никто не уверит меня в том, что труд бартангцев менее героичен, чем труд строителей Волго-Дона. Никто и ничто не убедит меня в том, что бартангцы не заслуживают внимания только потому, что их мало, что живут они в таких труднейших природных условиях, какие человек, не побывавший на Бартанге, даже не может себе представить.

Я не стану приукрашать действительность, не стану говорить о том многом, к чему все мы везде привыкли, но чего на Бартанге из-за исключительности географических условий до сих пор нет. Бартангский район, как и все районы СССР, живет советской жизнью, а об этой жизни достаточно сказать только правду.

Кто изучал Бартанг?

Шумливая, стремительным потоком низвергающаяся с высот река Бартанг прорезала себе глубокое, извилистое ущелье в мощных толщах рэтически-юрских сланцев. Их слои падают круто, а иногда отвесно. Два могучих сверкающих снегами и висячими ледниками горных хребта -- Рушанский и Язгулемский -- возносятся теперь на три километра вверх по вертикали над ложем реки. Водораздельные гребни резко обрываются над долиной. Со страшной силой обрушивается Бартанг то на один, то на другой берег, если можно назвать берегами подмываемые водой скалистые, отвесные, в несколько сот метров высотою, обрывы. Стремясь с востока на запад, прорезая местами мезозойские краснофиолетовые конгломераты, а местами мраморизованные известняки и граниты, Бартанг, вдруг вырвавшись из скалистых теснин, широко разлившись в устье на рукава, вливается в Пяндж у древней крепости Кала-и-Вамар, возле которой ныне расположен административный центр Рушанского района.

За двести километров пути от Сарезского озера до Кала-иВамара бешеные, холодные, белесоватые воды Бартанга спускаются на тысячу метров по вертикали.

Приняв в себя свой самый мощный приток, словно отдыхая в Рушане, Пяндж разливается по широкой рушанской долине, дает своим водам успокоительную свободу, -- они плавно обтекают плоские травянистые острова. Отдых, впрочем, недолог: полусотней километров ниже их вновь стискивают громады скал, -- пропиленный Пянджем Язгулемский хребет сдавливает их, как тисками, и эти тиски, высотою в тысячи метров, вновь разожмутся только много дальше -- перед устьем впадающего в Пяндж Ванча.

На всем протяжении Бартанга обрамляющие его Рушанский и Язгулемский хребты изрезаны летящими стремглав каскадными речками. Они рождены вечными снегами и висячими ледниками, каждый в два-три километра длины. Эти речки, притоки Бартанга, и сами коротки, путь каждой из них всего лишь десяток-полтора километров, но это ужасный путь: они рушатся порой, как сплошные водопады, они образуют в скалистых массивах пропилы столь узкие и глубокие, что во многих местах их никогда не касались ни солнечный луч, ни нога человека.

Грандиозные тектонические движения, вздымая, сплющивая, изламывая земную кору, превратили весь район Бартанга, так же как и соседние с ним районы, в хаотическое нагромождение гор, в котором геологи, преодолевая неимоверные трудности путешествий, начали разбираться только

после Октябрьской революции -- в самые последние десятилетия.

До середины XIX века в скудной исторической литературе о Памире Бартанг почти не упоминается, все упоминания касаются верхнего и среднего течения реки, то-есть Ак-су и Мургаба, иначе говоря, долин Восточного Памира.

Ни один из древних путешественников, описывающих Центральную Азию, Балх, Каттаган и Бадахшан (в частности, Шугнан и Рушан), не упоминает

Бартанга.

В отчетах путешественников слово "Бартан", "Бортанг" или "Бартанг" впервые начинает упоминаться с семидесятых годов прошлого века, но неизменно лишь по расспросным сведениям: никто из известных нам путешественников до самого конца XIX века по Бартангу не проходил. Некоторые из них, проходя по Пянджу, только переправлялись через реку Бартанг в самом устье -- у Кала-и-Вамара, другие, странствуя по Восточному Памиру, доходили лишь до среднего течения Мургаба -- до Сарез-Памира, где тогда еще не было Сарезского озера. Именами русских ученых А. Е. Регеля, Д. Л. Иванова, Г. Е. Грумм-Гржимайло, Б. Л. Громбчевского и С. И. Коржинского исчерпывается перечень таких известных истории путешественников. И хотя по расспросным, имевшимся у этих путешественников сведениям в древности именно через Бартанг проходил путь из Китая в Балх, а где-то на реке Кударе (то-есть выше Бартанга) китайцы в древности добывали свинец, никто из путешественников туда из-за трудностей и опасностей не решался пробраться.

Первым исследователем, которому удалось проникнуть в эту неведомую заповедную область, был русский офицер, капитан Ванновский. Осенью 1893 года с маленьким казачьим отрядом он прошел вниз по Бартангу. Рекогносцировочный поход Ванновского был связан с просьбами бадахшанцев к русскому правительству об освобождении их от афганской оккупации.

О том, как совершалась эта спровоцированная английскими империалистами оккупация, свидетельствует Б. Л. Громбчевский. В июле 1889 года он пишет из Кала-и-Хумба о том, что "владетель Шугнана заперся в Рошане, в крепости Калаи-Вомар и приготовился к геройской защите", а в сентябре того же года сообщает письмом с верховьев реки Ак-су:

"... Дорога по Мургабу трудная -- броды вплавь. От селения Сареза до сегодняшнего дня в течение двадцати двух дней я не встретил ни одного аула, но беглецов из Шугнана попались навстречу целые вереницы. Картины ужаснее я не видывал. Вся дорога по Мургабу (три дня) буквально устлана трупами павших животных и испещрена свежими могилами... "

В кишлаке Имц, на Бартанге, маленький казачий отряд Ванновского дал бой отступавшим и запершимся здесь в старинной крепости афганцам. В своем отчете капитан Ванновский писал:

"Местные жители встречали русских радушно, давали проводников, назначали носильщиков, оказывали необходимые услуги, в то же время повсеместно обращались с просьбой

о принятии их в русское подданство. Рекогносцеры не могли не обратить внимания на тяжелое положение страны, продолжающееся более десяти лет со времени занятия ее афганцами. Население разорено, частью вырезано, частью эмигрировало, дороги запущены, производительность упала, число жителей

1 799 душ, между тем до 1883 года, несмотря на дурное управление ханов, оно было вдвое более... На вопрос мой население отвечало: "Нет, своих ханов не хотим, хотим быть подданными русских".

В 1895 году вдоль реки от Кудары до Кала-и-Вамара спустился И. Иванов. Летом 1900 года в теснинах Бартанга производил магнитную съемку профессор Варшавского университета Б. В. Станкевич. Миновав кишлак Сарез на Мургабе, он с двумя казаками двинулся дальше и направился по Бартангу к Пянджу. В труднейших условиях он сделал на этом пути девять магнитных пунктов.

Так же как и Ванновский, Станкевич прошел по Бартангу с лошадьми. Последующим путешественникам это представляется удивительным: все они утверждают, что по головоломным тропинкам Бартанга лошадей протащить нельзя. Остается предположить: если в далеком прошлом тропа по Бартангу и была чуть ли не единственным путем, по которому сообщались между собой жители Восточного Памира и китайцы с жителями Дарваза, Каратегина, Балха, то, вероятно, в ту пору необходимость пользоваться этим путем заставляла людей поддерживать тропу в состоянии, годном для передвижения, даже для движения

лошадей, который с величайшим трудом, пользуясь веревками и различными приспособлениями, удавалось протаскивать над пропастями.

Б. В. Станкевич сделал следующую запись об этом пути:

"... предстояло итти по ущелью Мургаба -- Бартанга пешком, за невозможностью провести лошадей по карнизам, едва доступным для пешеходов.

23 июня мы выступили из Гооп-Шабара (впоследствии это урочище стало дном Сарезского озера. -- *П. Л.)* в 10 часов утра, пользуясь наемными таджикскими лошадьми. Мои казаки -- Воронежев и Куромшин -- ехали на собственных лошадях. Вскоре мне пришлось сильно раскаяться в сделанной

мною ошибке: мне следовало бы оставить этих лошадей на Посту Памирском или же, по крайней мере, отослать их туда с киргизами, отпущенными нами из Гооп-Шабара. Эти казачьи лошади причинили нам громадные затруднения при дальнейшем следовании вниз по Мургабу -- Бартангу... "

М. Грулев в 1909 году в "Военно-топографическом очерке Памирского района" (в книге "Соперничество России и Англии в Средней Азии"), упоминая о "Бортанге", пишет: "Вдоль по всему течению... долины рек Ак-су -- Мургаб -- Бортанг проложена вьючная дорога, которая прерывается лишь на нижнем течении Мургаба, а частью также на небольших участках по течению Бортанга".

Но с 1911 года, когда вызванный землетрясением грандиозный Усойский завал образовал Сарезское озеро, всякое сообщение Бартанга с долиной Мургаба, расположенной выше Сарезского озера, прервалось, Бартанг стал еще более изолированным от внешнего мира, чем прежде.

В 1904 году в низовьях Бартанга побывал ботаник Б. А. Федченко. В 1908 году топограф Н. И. Косиненко после тщетной попытки найти путь через Танымасский ледник к реке Язгулем спустился по Танымасу до Бартанга. Но, дойдя до кишлака Рошорв (Орошор), то-есть едва вступив в верховья реки, Н. И. Косиненко двинулся в сторону -- на перевал Хурджин и далее, к Язгулему.

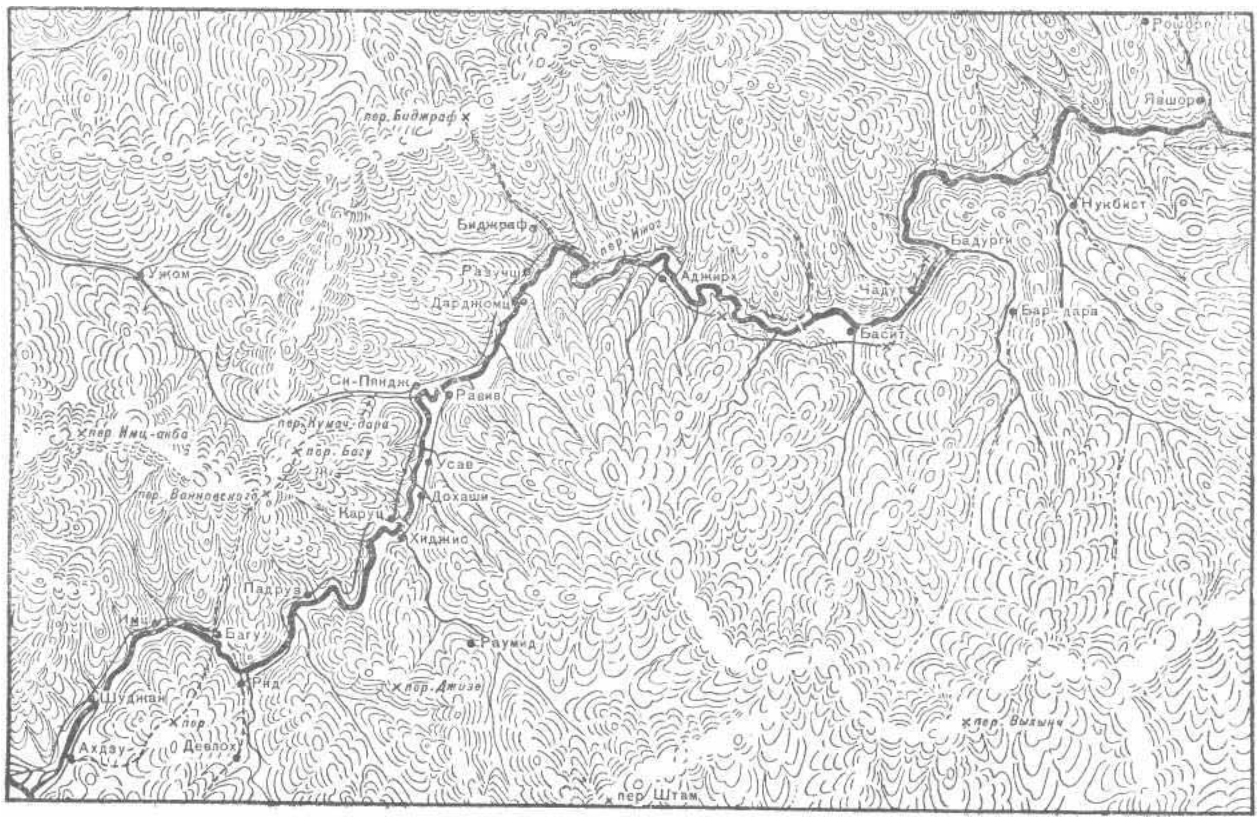
Ученым, посвятившим свои исследования самой долине Бартанга, был этнограф И. И. Зарубин. Он выехал на Восточный Памир вместе с профессором Р. Готио. в 1914 году. Отправляясь в свое путешествие, он пытался хоть что-нибудь предварительно узнать о Бартанге. Но...

"... о долине Бартанга, насколько мне известно, не существует ни одной статьи или даже маленькой заметки этнографического или лингвистического характера... "

Так сообщает он в своем отчете.

Никаких точных сведений о Бартанге не было также и в других областях науки. И. И. Зарубин со своим спутником надеялся пройти в верховья Бартанга из долины Мургаба. Но после землетрясения 1911 года "... обвалившаяся гора запрудила Мургаб, образовалось новое озеро, названное Сарезским по имени затопленного им поселка, и путь по Мургабу был таким образом закрыт... ".

Путешественники отправились кружным путем -- к озеру Яшиль-Куль на Восточном Памире и оттуда через Аличурский хребет к кишлаку Ирхт, состоявшему из восьми домов, образованному в трех-четырех километрах от нового озера несколькими уцелевшими при гибели прежнего кишлака Ирхт и кишлака Сарез жителями.



Схематическая карта Бартанга.

"Дорога, -- пишет И. И. Зарубин, -- от Яшиль-Куля до Ирхта на 10-верстной карте не обозначена вовсе; вообще, по справедливому замечанию начальника Памирского отряда подполковника Шпилько, местность эта на карте искажена до неузнаваемости".

С величайшими трудностями, миновав Ирхт, пешком по зыбким, громадным и невероятно крутым осыпям, с которых в озеро срывались камни, по нагромождению исполинских каменных глыб, путешественники добрались до Бартанга и здесь, в кишлаке Барчидив, после нескольких дней пути увидели траву, и кусты, и абрикосовые деревья и могли отдохнуть среди гостеприимных бартангцев. В этом кишлаке, состоявшем из одиннадцати домов, оказалось около сотни жителей.

Почти месяц провели исследователи в кишлаках Бартанга, прошли весь его, до устья, собрали интереснейший материал.

"... По всему Бартангу бедность горцев поразительна: нужно долго присматриваться, иногда просто разыскивать по всей сакле, чтобы найти какую-нибудь домашнюю утварь. Верхний Бартанг в особенности беден материальной культурой... "

"... Бартанг (равно как и Язгулем) выделяется даже среди памирских рек суровостью и мрачностью своей природы. Эта река глубже, чем другие, врезается в материк и почти повсюду течет среди отвесных и недоступных скал, замыкающих ее русло. Лишь изредка встречаются небольшие отмели, годные для земледелия, и ширина их нигде не превышает ста сажен; здесь и ютятся поселки таджиков... "

"... В узкой полосе, у подножия горных склонов, среди разбросанных утесов и громадных, скатившихся с гор камней, расположены жилища и пашни таджиков. Но и такая ничтожная полоса доступной для земледельческой культуры земли не идет непрерывно по всему течению реки. Очень часто русле реки представляет узкий и глубокий коридор, образованный отвесными и нависшими скалами; всего на несколько часов в день попадают сюда солнечные лучи. Ни о какой культуре в таких местах не может быть речи".

Этот впервые точно и правдиво освещавший жизнь неведомой долины отчет исследователя Бартанга был опубликован только в дни Октябрьской революции -- в октябре 1917 года. Лишь отдельные заметки публиковались И. И. Зарубиным раньше, в дни мировой войны.

Так до самой Октябрьской революции жизнь бартангцев для всего мира оставалась неведомой.

Но еще немало лет прошло, прежде чем сведения о Бартанге пополнились. С 1918 по 1924 год Бартанг назывался "Бартангскою волостью Памирского района Туркестанской АССР". С января по декабрь 1925 года Памир назывался

"Особой Памирской областью". Неизвестно, побывал ли ктолибо из областных памирских советских работников в эти годы на Бартанге. Только с 1926 года, когда была создана ГорноБадахшанская автономная область Таджикской АССР и в состав этой области вошла "Бартангская волость", партийные и советские работники начали проникать на Бартанг, закладывать первые основы советского строительства в этой заповедной долине.

Пробираясь по отвесным скалам, они преодолевали исключительные трудности; в эти годы сложилась на Памире поговорка: "Кто в Барганге не бывал, тот Памира не видал!"

В эти годы на Бартанге побывали статистики, один или два врача, работники обкома и облисполкома, несколько комсомольцев. Они думали только о своей повседневной работе -- советской, партийной, комсомольской, они вели ее упорно и скромно, и теперь вряд ли возможно даже узнать их имена. А из специалистов, научных исследователей, насколько мне известно, до 1928 года на Бартанге не был никто.

В 1928 году, когда Памир изучала первая крупная научная экспедиция Академии наук СССР, основная часть экспедиции устремилась в загадочную область большого белого пятна -- в необитаемую ледниковую область бассейна ледника Федченко. Из Танымасского лагеря экспедиции к верховьям Бартанга спустились пятеро участников экспедиции. В их числе были Н. П. Горбунов, Д. И. Щербаков и студент горного института, молодой геолог Г. Л. Юдин. Впервые вступали геологи на Бартанг!

Группа прошла Бартанг сверху до середины его течения, достигла волостного центра -- кишлака Си-Пондж и, поднявшись отсюда на водораздельный хребет, через перевал КумочДара, спустилась в Язгулем. Впервые давалась Бартангу геологическая характеристика. Она была крайне нужна для общего представления о строении Памира, который планомерно стал изучаться геологами только за год перед тем. Тогда, в 1927 году, Д. В. Наливкин (ныне академик), вторично посетив Памир после одиночного маршрута 1915 года, на этот раз с группой других геологов принялся приводить в систему все разрозненные наблюдения отдельных геологов, совершивших по Памиру маршруты, начатые в этой высокогорной стране в 1883 году Д. Л. Ивановым.

Термины: мезозой, рэтически-юрские сланцы, мраморы, гранитные интрузии, метаморфизованные красноцветные песчаники и конгломераты -- навсегда запечатлевались на впервые составляемой геологической карте Бартанга.

"Боковые притоки, часто многоводные и бурные, -- писал после этого путешествия Г. Л. Юдин, -- имеют еще более дикие и малодоступные ущелья; все это создавало для топографов, снимавших эту местность, иногда непреодолимые препятствия, а потому притоки нанесены на карту по расспросным сведениям. Таким же образом определяются истоки притоков и помечаются перевалы в верховьях, если они имеются. При этом ошибки нанесения перевалов иногда достигают величины в несколько десятков километров. Пространство же между указанными реками, занятое высокими водораздельными гребнями, достигающими до 6 000 м абсолютной высоты, покрыто фантастическими горными хребтами, выраженными в горизонталях, не соединенных между собой и имеющих целью дать только общее представление о рельефе. БартангГунтский водораздел съемками нигде не пройден; БартангЯзгулемский имеет два пересечения в нижнем течении

через пер. Одуди и Кумоч-Дара... Все же, расположенное выше, на В. -- представляет собою "неисследованную" область, и хотя на карте нет белых мест, но, что еще хуже, изображено не существующим в действительности рельефом... "

Ничего лично о себе не пишет Юдин, но в корреспонденции о работе всей экспедиции, посланной ее руководством в газету "Известия", есть такие слова, касающиеся бартангской группы:

"Во время перехода группы через перевал Кумоч-Дара от каменной лавины едва не погиб студент горного института Юдин... "

На обратном пути Д. И. Щербаков и Г. Л. Юдин прошли через перевал Хурджин в Рошорв (Орошор).

И снова долго никто из исследователей не посетил бы Бартанга, если б увлеченный первыми своими открытиями, окончивший горный институт Г. Л. Юдин вновь не явился сюда в следующем, 1929 году.

А в 1930 году Юдин в третий раз шел на Бартанг, в этот раз вдвоем с автором этих строк, молодым писателем, взявшим на себя в той геологической экспедиции обязанности коллектора.

Ночь с **Иор-Мастоном**

Светит луна. Так пронзительно светит, так насыщает сиянием ущелье, что мне не спится на плоском камне. Пораженный красотою ночи, я сбрасываю с себя белый, из козьей шерсти халат, под которым мне душно лежать, приподымаюсь, гляжу на моих спутников, спящих рядом на камне, сижу осматриваясь. Ослепительная луна стоит в зените, но почти до нее, немного не дотянувшись, высится острый пик, венчающий правобережную стену ущелья, -- она встает отвесно над шумящей

глубоко внизу рекой. Пик сверкает всеми гранями скал, ярко освещенный, словно составленный из осколков хорошо отшлифованных, воткнувшихся в лунное небо зеркал.

Все другие скалистые громады, серебряная вода бурлящей внизу реки, шелковичные деревья, обступившие камень, на котором я и мои спутники расположились на ночь, словно повиснув над рекою в лунном пространстве, освещены столь же ярко, и ночь мне кажется фантастической, и все еще слышится мне дробный рокот невидимых бубнов: та-та, та-та-та, которым бартангские женщины весь вечер отгоняли от своих микроскопических посевов упрямых и жадных птиц.

Изогнутый отрезок реки виден только от мыса до мыса. Вертикальные, изборожденные трещинами плоскости скал запирают выходы из этого мира. Левобережье -- сыпучий конус, громада глыб и камней, вынесенных к реке боковым притоком, вырывающимся из узкой, глубокой, извилистой щели. Вошедший в щель по каменистой тропинке не увидит оттуда ни луны, ни солнца, -- туда не доходят лучи.

А сыпучий конус, громада камней, оснащен трудом человека. Лесенкой одно над другим -- человеческие жилища. Лесенкой одна над другой -- крошечные площадки посевов. Сколько камней можно навалить на одном квадратном метре пространства? А если все пространство, от века, нагроможденье камней, -- сколько усилий нужно, чтоб очистить от них каждый квадратный метр площади? Занявшись очисткой, надо тут же, рядом, по краям площадок, сложить башенки из камней (куда же иначе девать камни?). В бесконечном лабиринте оград нет площадок длиною больше двух десятков шагов. Устроить на площадке посев -- значит натаскать сюда на носилках земли, оплести эту землю паутиной канавок, оторвать от ручья бегущую воду и пустить ее по канавкам так, чтоб она не растерялась по пути. А путь ее -- иногда по воздуху, над обрывами, и потому над пропастью висят деревянные, долбленые желобы, прикрепленные к скалам сухими берестяными веревками да вбитыми в трещины кольями.

Над посевами -- скрипучее собранье деревьев: яблони, грецкий орех, абрикосы и тутовник. Они, чахлые и низкорослые, потому что их корни

упираются в камень. Полгода в году жизнь селения зависит от этих деревьев, -- ведь только их плодами можно питаться, когда кончается все другое.

Две скалы, как два волчьих клыка, торчат в середине селения, над обрывом к реке. На одной из них -- дом, такой же, как все: каменная берлога. Он обведен обваливающейся стеной. Он украшен по углам вздыбленными рогами архаров, ячьими хвостами на длинных жердях. Кажется, прямо в пропасть выводит резная деревянная дверь, и только если очень внимательно присмотреться, можно различить в вертикальной плоскости скалы узенькие ступени.

На другой скале -- плоский камень, тот камень, на котором ночую я. Если чуть выдвинуться над краем этого камня, то река, большая река Бартанг, окажется прямо подо мною, -- высок и грозен обрыв в пенную, бурливую глубину. Никто никогда не перейдет эту реку вброд. Никто не знает ее глубины. Никто никогда не бывал против селения на другой стороне ее, -- там нет ни отмелей, ни песка: скала уходит в воду отвесно. Вечно шумит Бартанг, стучит и грохочет, забивая шумом уши людей, заглушая все голоса.

Если долго смотреть на его течение, он обязательно представится спутанной бородой взбешенного духа гор. Иначе зачем бы колотиться о камни с такой злобной силой? Катить с грохотом валуны? Ломать берега, рушить на себя подмытые осыпи, долбить скалистые мысы, отполированные до черного блеска? Разве может быть доброй эта таинственная сила воды? Сколько людей и скота она погубила?

Конечно, это дух гор борется с вечностью и она треплет его белую бороду, а люди в назидание должны на это смотреть. Смотреть и быть, устрашась, покорными.

Так думает Иор-Мастон, белобородый старик, проснувшийся, не спящий, как и я, на плоском камне. Я знаю, что он думает так: весь вечер он делился со мною своими думами.

Он очень стар, Иор-Мастон, он прожил в здешних горах семь десятков лет. За все эти десятки лет он побывал только в трех-четырех ближайших селениях, таких же, как это. Незачем ему было ходить дальше. Только однажды в жизни он ходил дальше -- ходил за солью в область Восточных Долин, привесив для храбрости к своему белому халату когти убитого его отцом барса, когти, всегда висящие на деревянном гвозде, вбитом между камнями в его неказистом жилище. Иор-Мастон завязал в широкую тряпку пять лепешек из гороховой муки, пять шариков крута -- пресного овечьего сыра и, опоясавшись этой тряпкой, отправился в зимний путь. Это было давно. Тогда он мог ходить по горам один. Тогда мускулы его были достаточно молоды для того, чтоб половину месяца изо дня в день, от восхода до заката солнца он нес на своей спине полтора пуда соли, добытой в Восточных Долинах. Эта соль была нужна всему селению, ею Иор-Мастон хотел хоть чуточку уменьшить горсть золотого песка, которую потребовал с его отца и старших братьев пришедший снизу, за податью, халифа, -- эту подать каждый год он передавал сборщикам зякета, уходившим трудной тропою в Афганистан и дальше -- к самому Ага-хану.

Когти барса помогли в тот раз Иор-Мастону. Он не испугался ни ледяных переправ, ни морозных ночей в пустынных Восточных Долинах, ни диких зверей, ни жестокого ветра, ни разреженного воздуха страшных высот. Он дошел до Восточных Долин, не ошибся дорогой, нашел Тростниковое озеро и рядом Соленое озеро; не испугавшись драконов, обитавших в нем, выломал из пласта большие куски крупнозернистой самосадочной соли и, навьючив их на себя, потихоньку побрел назад, ночуя под камнями, в охотничьих норах.

Он шел две недели тем же путем, но, придя в родные места, испугался. Впервые он так испугался. Будь на его месте кто угодно другой -- любой человек не меньше бы испугался: в своем ущелье, обрамленном отвесными скалами и выше снежными пиками, Иор-Мастон не нашел ни реки, которая текла здесь тысячи лет, ни родного селения, испокон века прижимавшегося к реке, ни

маленьких пастбищ, лепившихся по склонам, высоко над селением. Все вокруг было незнакомо, непонятно и страшно. Длинное озеро сверкало там, где была река. Оно упиралось в огромное нагромождение каменных глыб, перекрывших ущелье во всю его ширину. А половины горы, нависавшей над селением прежде, не было. Вместо нее стояла чуть не до неба каменная стена, обрывистая, невиданная им никогда.

Сначала Иор-Мастон подумал, что заблудился, что это не то ущелье, в котором жили его деды, в котором родился и вырос он сам.

Иор-Мастон взобрался на вершину хаотического нагромождения скал, чтобы сверху определить, куда же попал он из-за своей непонятной ошибки? Он привалил к расщелине камня мешок соли, решив, что вернется за ним, когда отыщет правильный путь. Прыгая с камня на камень, переползая с одной скалистой громадины на другую, протискиваясь в щели между остроугольными рваными камнями, он углублялся все дальше в этот зловещий мир и не мог разобраться ни в чем.

Он смотрел вверх, на снежные кромки высоких хребтов, на острые гребни водораздела. Наконец он узнал, хорошо узнал, все то, что было видно вверху, -- очертания этих горных массивов были знакомы ему с детства. Но все внизу было незнакомо ему. Там должно было находиться его селение, а селения не было.

Внезапно он понял все. Ему стало так страшно, что, сразу вспотев, он бессильно опустился на камень. Медленно, словно притирая взор к высящейся над ним скалистой стене, он оглядел ее всю -- снизу доверху. И теперь он уже не сомневался ни в чем. Истина была проста, отчетлива, беспощадна. Селение находилось где-то глубоко, под хаотическим нагромождением скал, поглощенное небывалым обвалом.

Иор-Мастону показалось вдруг, что теперь он один во всем мире, один, единственное существо, оставшееся в живых.

С пересохшим горлом, с таким выражением глаз, словно два дня подряд беспрерывно дышал только дымом опиума, которым всегда смердил в его селении халифа, с потерянным сердцем и мокрыми от испуга руками, Иор-Мастон побежал вперед, не разбирая пути, не глядя себе под ноги, не думая. Всякий, кто взглянул бы на него со стороны, сказал бы, что этот человек спасается бегством от несущихся за ним, только одному ему привидевшихся драконов. И сказал бы себе, что этот бегущий по кручам одержим дэвами, вероятно, за большие грехи и ему все равно где бежать, потому что ненадежная его жизнь хуже смерти.

Но на Иор-Мастона никто не смотрел со стороны, ибо не не было вокруг ничего живого -- одни голые, бесформенные, корявые, огромные камни завала, двенадцать квадратных километров хаоса, а под ним -- исчезнувшие навеки, погребенные навсегда тутовые деревья, крошечные участки посевов, маленькое селение, больше ста мужчин и женщин и детей, -- селение Усой, уничтоженное титанической силой природы.

... Через многие дни, через горы, ледники и снега, медленно, гораздо медленней ветра тянулась к первому телеграфу весть о грандиозном Усойском завале. Короткая телеграмма скользнула по столбцам городских газет. Она взволновала только немногих специалистов -- гидрогеологов и сейсмологов, заставила их записать несколько знаменательных цифр, заставила подумать, что следовало бы направить в район катастрофы научную экспедицию, да откуда взять средства, да и как добраться туда?

В скором времени вода реки Мургаб, которой некуда было деваться, поднимаясь все выше, затопила кишлак Сарез, расположенный выше завала, -- озеро, названное Сарезским, быстро увеличивалось и становилось все глубже. В 1930 году, ночуя в одном из маленьких кишлаков в ущелье над рекою Бартанг, я из уст старика Иор-Мастона услышал рассказ об этой катастрофе, который передан мною выше.

Дальше я сообщу читателю все научные данные, какие известны мне о Сарезском озере на Памире, а сейчас вернусь к старику Иор-Мастону,

проводящему вместе со мною фантастически красивую лунную ночь на плоском камне, над обрывом к реке Бартанг.

Иор-Мастон тогда пустился вниз по ущелью Бартанг, прошел мимо многих селений и, наконец, остановился в том,

в котором я и застал его спустя девятнадцать лет, после того как он, одинокий, потерявший всех своих родных и близких, поселился в нем и уже никуда больше, кроме как в соседние селения, не ходил.

В эту ночь я долго смотрел на изборожденное глубокими морщинами лицо старика, устремившего в бессонном раздумье свой взор на кипящую под нами реку Бартанг, хорошо представляя себе все думы этого человека, казавшегося мне выходцем из первобытного мира, в который привели меня мои экспедиционные странствия.

За горами создавались колхозы, в разгаре своей победной работы кипела первая пятилетка, перестраивала, расширяла свои улицы наша столица Москва, боролись со всякими пережитками и суевериями десятки тысяч комсомольцев моей великой Советской Родины, а здесь, в ущелье реки Бартанг, куда пробраться можно было только пешком, цепляясь за выступы диких скал, здесь еще существовал древний мир, едва только освобождавшийся от тысячелетнего мрака феодализма.

И в эту лунную ночь над рекой, осеннюю ночь 1930 года, я раздумывал о том, каковы представления о мире у старых бартангцев. До сих пор большинство из них смотрело на заезжих, неведомых им людей, как на могущественных, богатых, сытых пришельцев из иного мира, за плечами которых -- власть, а в руках -- оружие; их слова -- повелительны и беспрекословны. Даже если эти люди ничем не угрожают, входя в селение, не повышают тона, то можно ли их ослушаться? Кто эти люди? Откуда они?

Старик Иор-Мастон накануне высказывал мне свои соображения об этих столь редко появлявшихся в его селении людях. Эти люди -- "от власти". Люди -- от "накалая". "Накалая" -- переиначенное: "Николая"; что значит "накалай", что значит люди "накалай"? "Кала" -- означает "крепость". "Калай" -- по-русски "крепостницы", люди из крепости. А что значит "на"? Вероятно, что-либо вроде титула "ша", который у бартангцев прилагается к именам владетелей, местных шахов. А может быть, "на", "нау" -- означает "новый"? "Новые люди из крепости"? Старые люди из крепости были афганцы, они оккупировали весь Бадахшан, они завладели и Бартангом. А после них пришли, их изгнали новые люди -- русские.

Так было до революции. Русский географ Б. Л. Громбчевский, известный исследователь Центральной Азии, описывает, как в Канджуте, где население так же относилось к путешественникам, как и на Бартанге, местные жители, видя у него различные геодезические инструменты и приборы, обратились

к нему с просьбой помочь им его "машинами" изменить погоду, прекратить дожди, насланные на них недружественными соседями, дожди, губящие их посевы; убрать холода, дать дорогу солнцу. Они верили, что этот человек, пришедший из неведомой им России, своими приборами может испортить посевы, увеличить льды ледников, вызвать землетрясение. Они просили его не делать этого, а, напротив, сделать им благо.

Вот не "накалай" ли вызвали землетрясение на Сарезе?

Иор-Мастон очень тактично, исподволь высказал мне это свое сомнение. Иор-Мастон признался, что прежде жители его гор стремились держаться подальше от всяких пришельцев, особенно от тех, кого он называл "судьями камней" -- людьми, ищущими в горах всякие дорогие камни или металлы. Он, конечно, имел в виду геологов, изредка появлявшихся в соседних с Бартангом ущельях; он считал, что если им показать, где есть металлы и ценные камни, то они заставят бартангцев работать там, устраивать обвалы, носить на себе

тяжести; значит, люди Бартанга, слабые, всегда голодные люди, будут умирать от усталости, будут погибать под обвалами; ничего хорошего не жди!

Он слыхал, что на рубиновых копях в Куги-Ляле, -- это далеко от Бартанга, это в Горане, на реке Пяндж, -- много людей погибло, когда афганские кефтаны заставляли горанцев добывать лалы.

Но и Иор-Мастон в дни, когда я познакомился с ним, уже переменил свое отношение к приходящим издалека русским людям, которые называли себя большевиками: эти люди были совсем не похожи на всех других, от них была польза, большая польза, они никого не обижают, они не берут у бартангцев последние сухие ягоды тута, они сами приносят в селение еду, они раздают ее безвозмездно всем беднякам, -- уже много муки роздали, много зерна для посева, много одежды. Они не заставляют работать на себя, лечат больных, помогают во всем, -- это хорошие люди, удивительна и непонятна новая власть, но она -- хорошая, и вот "ты, рафик, тоже человек от новой, советской власти, и с тобой я могу говорить обо всем, знаю, от тебя огорчений не будет, вот ты... " -- и ИорМастон начинал перечислять все то хорошее, что, по его суждению, я мог бы не делать для него и его соседей, но что я сделал по доброй воле, как человек от новой, советской власти.

И именно потому он, Иор-Мастон, взялся сопровождать меня всюду, куда б ни надумал я итти по Бартангу, -- это второй раз в жизни, когда Иор-Мастон решился уйти от своего селения далеко. Он еще крепкий, ему только семьдесят лет, он еще хорошо ходит по скалам, по таким скалам, по

каким русский человек без помощи Иор-Мастона не сумеет пройти.

Вот таков был старик Иор-Мастон, проводивший ту лунную ночь на плоском камне без сна, и таковы были мои думы в ту странную ночь на Бартанге.

Бартангские овринги

Старик Иор-Мастон шел последним. В его обязанности не входило нести на своей спине груз. Два носильщика, нанявшихся к нам в устье Бартанга, были молоды и сильны. Одного из них звали Ходжа-Мамат, второго -- Палавон-Назар. Слово "палавон" значит -- богатырь, но богатырями были оба наших носильщика, а это значит еще, что оба были смелы и готовы ко всяким опасностям. У обоих за спиной висели рюкзаки весом пуда по полтора: в рюкзаках -- палатка, запас продуктов, спальные мешки, образцы геологических пород, набранных нами в пути. Палавон-Назар шел первым, выбирая и указывая нам путь. Ходжа-Мамат шел позади меня и ступавшего мне вслед Юдина. На мне было много ремней с подвешенными к ним полевой, набитой доотказа сумкой, фотоаппаратом, анероидом, пистолетом в кожаной кобуре, геологическим молотком и всем прочим, необходимым для работы в пути. Юдин не слишком любил носить тяжести, но и у него имелись пистолет, геологический молоток, полевая сумка. Рослый, тяжелый, дородный с молодости, он с трудом протискивался там, где мне удавалось пролезть, не зацепившись за выступ скалы. Рюкзаки за спиной у носильщиков были огромными, но бартангцы привыкли ходить по своему ущелью с объемистым грузом, бартангский народ славится своей "легкой ногой", -- жилистые, худые, ловкие, не знающие, что такое боязнь высоты, не испытывающие головокружения, поистине способные "войти в рай по волоску из бороды пророка", они без труда и без страха уверенно проносили свой груз там, где даже горный козел призадумался бы перед опасным прыжком.

Мы шли день за днем, от восхода солнца и до заката, по десять, по двенадцать, были дни и по четырнадцать часов кряду, захватывая порой темноту в пути, потому что негде бывало расположиться на ночлег: не находилось такой площадки, да и ночевать хотелось там, где сверху струился или летел тоненьким водопадом ручей. Мы прошли уже много оврингов.

Рассказать о каждом из оврингов невозможно, они были самыми разнообразными. Да и свыкнувшись с трудностями

пути, занятые геологической работой, ради которой приходилось останавливаться порой в самых неудобных местах, мы на некоторые из этих овринго не обращали внимания: прошли кое-как, не сорвались, и ладно. Отерев пот со лба, вписав на ходу в полевую тетрадь название очередного овринга, чувствуя, что до следующего, который вот виднеется впереди, чуть-чуть полегчало, я забывал о том, что осталось, слава богу, уже позади. Правда, нам предстоял еще и обратный путь, но о нем мы старались не думать.

Голова Палавон-Назара была обмотана огромной, рыжей чалмой, сделанной из домотканной, крашенной луком маты. Благородное, честное, смелое лицо Палавон-Назара оборачивалось ко мне всякий раз, когда он сомневался: найду ли я место, куда надо поставить ногу? Вольным жестом, словно предлагая мне в подарок всю гигантскую гору, по обрыву которой мы пробирались на высоте, Палавон-Назар указывал какую-нибудь едва заметную выбоинку в скале, достаточную, чтоб опереться на нее носком парусиновой туфли и продержаться навесу мгновенье, необходимое для того, чтоб перенести вторую ногу к следующей зацепинке.

В работе, необходимой для передвижения, принимали участие все мышцы моего тела -- от шеи до пальцев ног. Работа была напряженной и непрерывной, и я хорошо понимал, что только человек может пробраться в таких местах, где даже горный козел остановится перед непреодолимым для него препятствием, потому что у козла нет рук, на которых он мог бы на секунду повиснуть, не имея под собой точки опоры. Но человеку в здешних местах нельзя иметь излишней обостренности чувств, потому что если раз испугаться, то двигаться дальше окажется невозможным.

Этнограф И. И. Зарубин так говорит об овринга:

"... Так называемые овринги даже нельзя назвать дорогой; овринги -- это соединение в одном месте всех трудностей и опасностей пути, встречаемых обыкновенно порознь. Они отличаются друг от друга только различными сочетаниями и степенью этих трудностей. Приближающемуся к оврингу кажется, что дальше итти нет никакой возможности. Но после внимательного осмотра он находит впереди какой-нибудь выступ, на который можно перешагнуть, хотя с большим трудом; дальше виден какой-нибудь колышек, заменяющий ступеньку, колеблющаяся висячая лестница из прутьев, балкон, громадный утес, на который можно взобраться, прижимаясь к нему всем телом и едва-едва схватившись руками за верхний выступ... Вернуться назад нельзя: сзади идут другие, а разойтись немыслимо. Идущие впереди, более опытные, указывают, на какой выступ какую ногу нужно поставить и за какой камень держаться: если поставить ногу немного ближе, чем нужно, то при следующем шаге нельзя будет достать ногой до другого выступа. При этом все овринги расположены на очень большой высоте над рекой... "

И еще:

"... Местами путь преграждается совершенно, и в таких местах нужно прибегать в турсукам. И редкие путешественники и туземцы единодушно утверждают, что труднее и непроходимее долин, чем долина Бартанга, не существует; туземцы, впрочем, благоразумно прибавляют, что путь по Язгулему такой же... "

В Памирской экспедиции 1928 года участвовал один бывший летчик; он выполнял обязанности охотника, ему нужно было наловить диких зверей для Московского зоологического сада. Когда экспедиция закончилась, и он отправлял из Андижана в Москву зверей, посаженных в клетки и погруженных в товарный вагон, дверца одной из клеток открылась, и огромный барс выскочил из нее. Двери теплушки были, к счастью, закрыты, но отправлять поезд с барсом, свободно разгуливавшим по вагону, было, конечно, нельзя. Никто не решался отодвинуть дверь теплушки. Барса хотели застрелить, просунув винтовку в верхнее окошечко. Но человек, о котором я говорю, слишком много трудов положил на то, чтобы захватить в горах живьем этого барса и доставить его в Андижан. Экземпляр хищника был великолепен. И бывший летчик, приоткрыв

дверь теплушки, вспрыгнул, безоружный, в вагон. Затаив дыхание, люди слушали доносившиеся изнутри увещевания, которые в другую минуту могли бы вызвать хохот: "Барсик... Барсик... Иди в клетку! Ну, иди же, барсик!.. " Самое удивительное в этой истории: барс действительно вошел в клетку, смелый человек захлопнул за ним дверцу и выскочил из вагона с таким видом, как будто ничего особенного не произошло. Так вот, этот человек, несомненно бесстрашный и уж, конечно, навидавшийся за свою жизнь всяких высот, не мог итти по ущелью Бартанга. У него кружилась голова, он был бледен, и, застряв на одном из опасных мест, над пропастью, он отказался двигаться дальше, заявив, что если сделает еще хоть шаг, то погибнет. Его пришлось нести на спине одному из бартангцев, который, кстати, принял его страх серьезнее, чем участники экспедиции, пытавшиеся понукать и увещевать своего товарища. "Он все равно сорвется! -- сказал горец. -- Пусть я, как больного, его понесу!" И пока не кончились самые трудные овринги, этот человек, привязанный к спине своего спасителя, был ни жив ни мертв. Вот что такое боязнь высоты, вызываемая овringами Бартанга!

И когда я сам испытал, что такое бартангские овринги, я решил, что второй раз в моей жизни никогда не пойду на Бартанг, прежде чем тропа туда не будет улучшена.

Но в первом моем путешествии -- в тридцатом году -- мне все-таки удалось справиться со своим страхом: я прошел весь намеченный по карте маршрут и удивлялся Юдину, двинувшемуся по этому пути уже в третий раз. Увлечение геологической теорией, которую в ту пору разрабатывал его ищущий мозг, оказывалось для него побудителем, заставлявшим итти на любой риск, пренебрегать любой, смертельной опасностью... И за это одно я уважаю Юдина, многие черты характера которого мне так же не нравились, как и другим сотрудникам памирских экспедиций тех лет.

Но о Юдине у меня уже был случай поговорить, а сейчас я хочу описать подробно хотя бы один или два запомнившихся мне овринга.

Так вот, вниз, по отвесу, -- около трехсот метров (вспомните: это в два раза больше, чем высота нового здания Московского университета). А внизу -- никогда не умеряющий своей ярости, негодующий на сжимающие его скалистые стены Бартанг. Даже с этой высоты видно, как воды его бурунят, выгибаясь над разбросанными по дну реки каменными глыбами. Мы идем по тропе, скала тянется отвесом и вверх, и что там лад нами, с тропы не видно. Тропа, по которой мы шли, прямо перед нами обрывается. Ее нет: голая скала уходит вниз. И в том месте, где она обрывается, торчком стоит длинная иссохшая жердь, чуть потолще, чем моя рука у плеча. Верхний конец этой жерди прислонен метрах в трех над нами к расщелине скалы, от которой там, наверху, тропа идет дальше, сначала по каменному карнизу, выступу известнякового пласта, а потом по прилепленным к скале бревнышкам. Они покоятся на вбитых в трещины деревянных клиньях, серых от ветхости, растрескавшихся. К клиньям бревнышки прикручены сухою, свитой в подобье веревки берестой. Чтобы продолжать путь, нам нужно поочередно влезть по вертикально стоящей жерди, как по мачте, туда наверх. Внизу, у наших ног жердь прикреплена к выступу скалы такой же берестяной веревкой, а вверху к расщелинке не прикреплена ничем: предполагается, что прислоненная к расщелинке она зажата ею достаточно надежно. Но это только предположение. И кажется сомнительным, что эта иссохшая жердь могла выдержать тяжесть карабкающегося по ней человека, который к тому же должен забыть о том, что под ним трехсотметровый отвесный обрыв.

Нам, четверым, конечно, лучше, чем Палавон-Назару: он должен лезть первым, и пока он будет лезть, наверху некому придержать конец прислоненной к расщелинке жерди; я могу

придерживать руками только нижний ее конец. А что, если жердь

отклонится? Но если Палавон-Назар влезет на верхний выступ, то, примостившись на нем (хотя выступ так мал, что и примоститься там, кажется, негде), он прижмет руками верхний конец жерди к скале, и мой путь наверх окажется более надежным. Внизу жердь будет под наблюдением Юдина, вверху -- Палавон-Назара, и весь вопрос в том, сумею ли я преодолеть мой страх, карабкаясь над пропастью вверх по жерди. Физических сил-то у меня хватит, в этих странствиях все мы натренировались, руки мои сильны. Но одна мысль о том, что от меня до реки по отвесу триста метров высоты, заставляет меня содрогаться, и я гляжу на приступающего к штурму этого препятствия Палавон-Назара едва ли не с ужасом: мне кажется, его жизненный путь окончен, еще секунда, я увижу промелькнувшее мимо меня тело, закрою глаза и стану ждать только далекого всплеска внизу. Впрочем, если бы Палавон-Назар сорвался, всплеска, пожалуй, мы и не услышали бы!..

Но Палавон-Назар охватывает жердь руками, ногами, спокойно и, я бы сказал, деловито. Подтягивается на руках, обжимая ногами жердь. Уверенными движениями он лезет все выше, и мой взор прикован к верхнему концу жерди, поерзывающему в расщелине скалы. Жердь прогибается и чуть-чуть, едва слышно, потрескивает. Переломится?

Позади меня раздается вздох, -- это Юдин, у которого, видимо, тоже замерло сердце, перевел дух. О Ходжа-Мамате и Иор-Мастоне, стоящих над пропастью позади него, я не думаю: они к этим делам привыкли!

Я забыл сказать, что свой огромный рюкзак, перед тем как лезть по жерди, Палавои-Назар положил у моих ног, -- я сам помогал ему с величайшей осторожностью освободиться от этого груза, -- неверное движение, и оба мы вместе с рюкзаком сорвались бы с узкой тропы. А теперь я грудью лежу на рюкзаке, руки мои сжимают нижний конец жерди, прикрученный к скале берестяною веревкой, голова моя неестественно повернута: я смотрю наверх. Жердь дрожит под тяжестью взбирающегося по ней Палавон-Назара, и эта дрожь передается моим рукам, а от рук -- передается сердцу, и дыханье мое разрешается отрывистым, глубоким вздохом, таким же, как вздох Юдина, который только что послышался позади меня.

Последний рывок Палавон-Назара, жердь дернулась, мне показалось на миг: "все пропало", и потом голос:

-- Ий-о, рафик!.. Теперь ты иди!

Я вижу над собой загорелые, жилистые, крепкие руки Палавон-Назара, ухватившие конец жерди, я чувствую за собой молчаливое ожидание моих спутников, которым чертовски

неудобно стоять в напряженных позах над пропастью, на узкой тропе, ощущаю холодок в сердце, но податься мне некуда, выбора у меня нет, -- я ведь сам, по доброй воле, отправился в эту многотрудную экспедицию! -- я поднимаюсь на ноги, переступаю через огромный рюкзак, к которому сейчас привалится Юдин, накладываю ладони на жердь чуть повыше моей головы, невольно кидаю взгляд вниз, где на дне бездны клокочет, вся в пене, река, и вдруг, сразу набравшись решимости, стиснув зубы, подтягиваюсь на руках, и жердь, охваченная мною, вибрирует под моей тяжестью...

Через минуту Палавон-Назар протягивает мне свою сильную, волосатую руку, она безмерно надежна, моя жизнь сразу же гарантирована этой рукой. Еще рывок вверх, и я -- на той крошечной площадке, с которой Палавон-Назар отступил по верхней тропе, чтобы освободить мне место. Вздох облегчения таков, что, наверное, его слышат внизу, и почти с чувством злорадства я думаю: "Ну-ка, Георгий Лазаревич, посмотрим, как влезешь ты!.. "

Теперь я крепко прижимаю верхний конец жерди к расщелине, сразу проснулось чувство товарищества, -- крепче, крепче держать! -- и я с опаской гляжу на подтягивающегося ко мне снизу Юдина: ведь он тяжел, гораздо тяжелее меня, выдержит ли эта проклятая жердь?

Потом Юдин вытаскивал на веревке рюкзаки, тот, что лежал на тропе, и

тот, который снял со своих плеч ХоджаМамат, потом поднялись к нам оба оставшихся внизу бартангца, и я с удивлением глядел на семидесятилетнего Иор-Мастона, -- каким могучим человеком надо быть, чтобы в таком возрасте подтягиваться на руках над пропастью!

С тех пор навсегда я полюбил бартангцев за их удивительные ловкость, выносливость и бесстрашие!

... И еще один овринг запомнился мне хорошо. Этот овринг назывался "Овчак", повидимому, правильней было бы называть его "Об-чак" -- "Капающая вода". О нем сами бартангцы говорили за несколько дней до того, как мы к нему приблизились, говорили, цокая языком, с недоверием поглядывая на нас. Я понял, что это особенно страшный овринг.

Когда мы к нему приблизились, я был удивлен: при первом взгляде в нем не было ничего страшного. Тропа в этом месте проходила совсем невысоко над рекой, всего в нескольких метрах. Разъяренный Бартанг, казалось, яростно рвал скалу, входившую в воду под сравнительно острым углом, а совсем не отвесно. Уклон скалы был, вероятно, градусов в сорок.

Мы подступили к оврингу по таким же, как уже описанные мною, бревнышкам, наложенным на деревянные клинья, вбитые в трещины скалы. Правда, вода кипела под самыми этими бревнышками, нависшими над ней наподобие балкона, но эта вода была так близка под нами, 'что никакая боязнь высоты проснуться здесь во мне не могла, а вода, как бы она ни бесилась, меня вообще никогда не пугала, может быть, потому что я с детства был хорошим пловцом.

-- Овчак! -- многозначительно сказал, оглянувшись на меня Палавон-Назар, неизменно шедший впереди, и я подумал: "Что же может грозить нам на этом овринге?"

Но когда Палавон-Назар остановился (за ним остановились мы все) и я разглядел наклонную скалу, которую предстояло нам пересечь по горизонтали, я просто решил, что пройти здесь немыслимо. Скала была гладкой, словно отполированной. Всю ее покрывал микроскопический, зеленый мох, сквозь который сочилась, скатываясь к реке, вода -- тоненькая водяная пленка. Вся эта наклонная скала, уходившая высоко вверх и врезавшаяся совсем близко под нами в бурлящую реку, была шириною в каких-нибудь три метра. За нею тропа продолжалась, надежная, идущая по естественному карнизу тропа.

Но как преодолеть эти три метра? Ведь если поставить на наклонную скалу ногу, нога не удержится, скользнет вниз, руками держаться тоже решительно не за что.

Палавон-Назар, присев на тропе, развязал шерстяные тесемки, стягивающие у щиколоток его пехи -- местные, сыромятные сапоги. Снял их, стянул с ног шерстяные, узорчатые джюрапы, повел пальцами босых ног, словно проверяя пружинистость своих пальцев. Потом показал нам впереди, на замшелой скале, крошечную выбоинку, в которой, как в чайной ложке, держалась вода, и объяснил, что ежели поставить туда большой палец правой ноги, а ладонями на мгновенье опереться о плоскость скалы, то на этой точке опоры можно продержаться, пока будешь переносить левую ногу к следующей, такой же крошечной выбоинке. А там -- будет еще одна!

И предупредил, что все нужно проделать мгновенно, как бы одним скачком, иначе ничего не получится. Слова "не получится" означают, что человек скользнет вниз по скале, через мгновенье окажется в бурной воде Бартанга, и уже никто никогда его не увидит, потому что бурун втянет его под воду, а там грохочут непрерывно перекатываемые по дну камни.

-- Ты смотри, хорошо смотри! -- сказал Палавон-Назар мне. -- Я пойду, смотри, как я пойду, потом ты пойдешь!

Я смотрел с предельным вниманием, но увидел только легкий, как балетное па, скачок Палавон-Назара. Я едва заметил,

как босые ноги его мгновенно прикоснулись в трех точках к скале, и он

оказался за ней, на хорошей площадке, откуда продолжалась тропа. Палавон-Назар как бы перелетел по воздуху.

Он стоял на той стороне, спокойный, ободрительно улыбающийся: вот же, мол, видал? Ничего трудного!

Но я понял, что мне такого прыжка не сделать. Я рассчитывал: даже если палец правой ноги не соскользнет вниз, то как я, обращенный к скале лицом, перенесу левую ногу к следующей выемке? Ведь мне придется ступить на нее мизинцем и на нем одном удержать вес тела?

Конечно же, не получится!

И я стоял, не решаясь прыгнуть, в позорном страхе, не зная, что делать дальше.

И Палавон-Назар понял, что убеждения были бы бесполезны: этот русский человек здесь не пройдет. Такой путь годится только для них, бартангцев!

И он нашел выход из положения. Быстро размотав свою чалму, он накрутил один ее конец себе на руку, в другой конец заложил увесистый камень и кинул его мне. Я поймал его.

Все дальнейшее было просто: привязав конец к поясному ремню, я кинулся в прыжок очертя голову и, конечно, сорвался, но, повиснув на чалме, описал, как маятник, дугу и оказался у площадки, на которой стоял Палавон-Назар. Мне осталось только крепко ухватиться за выступ скалы и выбраться на нее.

Так же перебирался и Юдин, а Ходжа-Мамат и Иор-Мастон перепорхнули через скалу без посторонней помощи.

Это ничего сейчас! -- сказал нам Палавон-Назар. -- Сейчас тепло, вода ничего... Зимой, правда, плохо. Очень плохо зимой: здесь лед! Много наших людей здесь в воду падало!..

И что же? -- не совсем умно спросил я.

Ничего. Пропали люди. Ий-о, дух гор! Нам здесь надо колючку, дрова носить. Мы овец носим здесь, все, что надо, носим! Плохой овринг!

На нашем пути по Бартангу было несколько десятков оврингов. Очень разнообразных.

Теперь этих оврингов нет. Аммонал и динамит поработали здесь. По всей Бартангской тропе, когда нет камнепадов и лавин, можно проехать верхом, хотя во многих местах и приходится спешиваться, проводить коней в поводу.

Со времени первого моего путешествия по Бартангу прошло двадцать три года. Но я до сих пор хорошо помню все ощущения, испытанные мною на Бартанге тогда. Очень хорошо помню!

На плавательном снаряде

Овринг Овчак находился выше устья правого притока Бартанга -- речки Биджраф. Это был второй по счету овринг, на пути от Си-Понджа, вверх по Бартангу. За один только день пути от Си-Понджа, через кишлак Разудж, речку Кумоч-Дара и Биджраф до кишлака Аджирх надо было преодолеть пять труднейших оврингов.

Кроме того, перед кишлаком Аджирх необходимо было переправиться с правого берега Бартанга на левый. Эта переправа, совершалась на плоту из надутых воздухом бараньих шкур. Такой плот бартангцы называют сааль, **а** каждую надутую воздухом шкуру, отдельно, -- з и н о т ц, или с а н а ч.

Ниже Си-Понджа такую же переправу, с одного берега на другой, мы совершали дважды, а вообще в моих путешествиях по Памиру мне пришлось пользоваться саалями, или, **как** мы называли их, турсуками, довольно часто.

Вот что записано у меня в путевом дневнике **1930** года:

"... Утром из кишлаков Багу и Рида бартангцы принесли восемь турсуков и несколько лепешек. Лепешки были сразу же съедены нашими носильщиками. Все занялись вязкой плота из свежих ветвей: девять веток в одном направлении, три -- в другом. Ветви обвязываются зеленой корой, сорванной с лозняка, растущего тут же на берегу. Такой каркас, или "палуба", плота укладывается

на семь надутых ртом турсуков. Готовый плот был отнесен к осыпи, выше по течению места намеченной переправы. Юдин разделся, спрятал всю одежду и вещи в мой рюкзак. Я не захотел раздеваться, снял только парусиновые туфли и уселся на плоту с полевой сумкой и всем тем снаряжением, что висит на ремнях. Юдин расположился рядом со мною. Перевозчик -- житель Рида, закатав свой халат себе на плечи и оставшись голым, оседлал восьмой турсук, взялся за плот руками и оттолкнулся от берега. Громко фыркая в такт сильным "лягушачьим" движениям нот, перевозчик направлял стремительно несшийся плот к середине реки. Выйдя на середину, он перестал работать ногами и фыркать, пока плот несся прямо по течению, раскачиваясь на волнах.

Перевозчик снова взялся за свое занятие, когда мы оказались уже в сфере влияния течения левого берега; оно вынесло нас на отмель, где меня ожидало несколько жителей кишлака Рид... Переправа показалась мне приятной, я проделывал ее с удовольствием... "

Вот другая запись -- в конце августа того же года:

"... Перед Аджирхом опять переправа, потому что впереди мыс, который врезается в воду. Мы долго ждем, размышляя, не придется ли тут заночевать. Наконец турсуки появляются:

вверху по течению, за поворотом, от левого берега отделяется плот. Я отсчитываю секунды. Через сорок пять секунд плот причаливает к нам, отнесенный вниз приблизительно на полкилометра. Его привел Палавон-Назар. Он -- в задранной на грудь рубашке, голый, вокруг бедер -- повязка. Плот -- из пяти турсуков. Они привязаны тонкими шерстяными веревками к двум, положенным крестообразно жердям. На шестом турсуке-- сам Палавон-Назар, капитан этого необыкновенного корабля. Плот мал -- переправляться надо поодиночке. Солнца уже нет, вовсе не жарко после очень жаркого, раскаленного камнями душного дня. Сперва отправляем вещи: два мешка, на них рюкзак Юдина с фотографическим аппаратом и прочими ценностями. Как бы не подмокли, ведь ниже по течению -- буруны!

Бартангцы надувают сильней турсуки, затыкают отверстия палочками, накрепко их обвязывают.

Палавон-Назар отправляется, следим за ним. Вот его несет вниз, вот запрыгал на бурунах. Перевернулся? Нет!.. Но пронесло его гораздо ниже, чем он хотел, ниже места, где его дожидаются Иор-Мастон и два бартангца, пришедшие из Аджирха. Еще немного, и его понесло бы в такие буруны, под скалами, где ему не избежать гибели. Но, сильно работая ногами, он выправил плот и выплыл к берегу.

Разгрузились. Идут с турсуками вверх по берегу для второго рейса.

Юдин раздевается, снял с себя все, кроме нижнего белья, положил одежду в мой рюкзак, рюкзак оставил мне. ПалавонНазар подплыл, но опять ниже места, где мы ждем его.

Вновь поднадув турсуки, Юдин ложится на плот, как жирный барашек. Его двигают, передвигают ему ноги, зад, чтоб установить равновесие; он лежит неподвижно. Плот "под управлением" Палавон-Назара отправляется. На бурунах Юдина забрызгало, но плот выплыл к берегу хорошо. Вижу: Юдин стаскивает с себя мокрую рубашку.

Раздеваюсь и я, остаюсь в трусиках и рубашке, оставляю на себе полевую сумку, пистолет, анероид... Плот подкатывает в третий раз. Рюкзак привязывают. Я ложусь на плоть -- и пускаемся в путь. Палавон-Назар устал и в буруны попал не так, как нужно, а потому меня трижды накрывает волной. Вода ледяная! Смеюсь в ответ на смех Юдина и бартангцев, сидящих на берегу. Хорошо! Холодно, но хорошо!

Меня занесло далеко, как в первый рейс. Ждем на берегу. После этой шестой по счету переправы Палавон-Назар дрожит от холода. Плот разбирают, и другой бартанжец с пятью турсуками, голый плывет на правый берег, где остался ХоджаМамат. Они переправляются к нам с меньшим "комфортом":

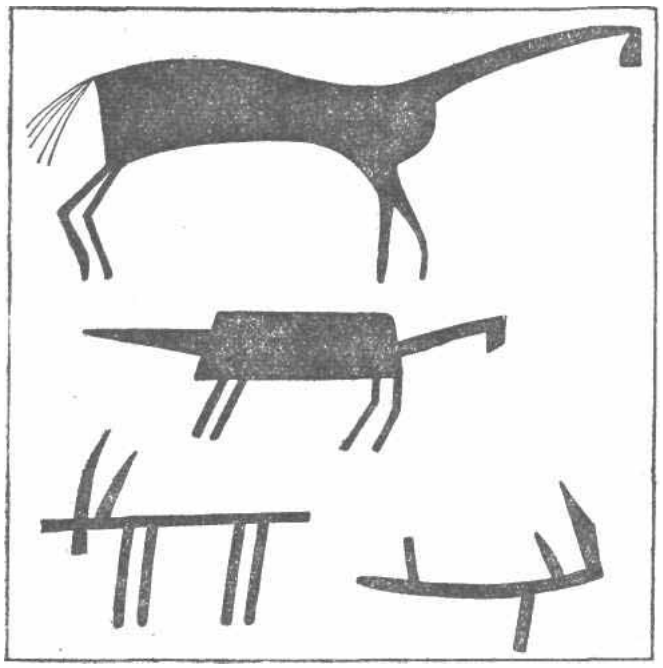


Рисунок сделан автором 28 августа 1930 года. Изображения животных, высеченные на мраморной скале перед кишлаком Зарджив, на Бартанге.

плывут по отдельности, оба сразу, в бурунах волны их вертят и окатывают с головой; все их пожитки, прикрученные к голове, промокли.

Идем в Аджирх по тропе. Против Аджирха, по правому берегу -- отвесная скала, метров триста, над рекой.

-- А вот смотрите, что ожидало бы вас, если б мы не переправлялись на турсуках, а выбрали бы другую дорогу, -- сказал мне Юдин, когда мы пришли в Аджирх.

Вглядываюсь в стену отвесного обрыва, замечаю намеки на тропу, -- как по ней итти и не представляю себе. В 1928 году по этой скале поднялись Н. П. Горбунов, Д. И. Щербаков, Юдин и два их спутника".

В пути вверх по Бартангу мы столько раз подвергались опасностям на овринrах и так измучились, преодолевая каждый из них, что ни я, ни Юдин не удивились предложению Ходжа-Мамата: совершить обратный путь там, где это возможно, на турсуках. Я сразу же и охотно согласился. Мы отлично понимали, что если говорить об опасности... конечно

же, путь на плоту из бараньих шкур по стремнинам Бартачга не менее опасен, чем путь пешком по овринrам, но зато никаких физических усилий, никакого перенапряжения сердца! И главное -- быстро!

Мы долго советовались по этому поводу с жителями кишлаков Верхнего Аджирха и Зарджива, но выяснили, что вниз до Си-Понджа и далее до Багу спуститься по течению на плоту немыслимо. Не в человеческих силах вынести плот из стремительного течения перед перепадами, какие надо было бы обходить по берегу. Но от Багу до низовьев Бартанга перепадов нет, и на том участке воспользоваться советом ХоджаМамата можно.

Поэтому весь обратный путь -- до кишлака Багу -- мы совершали пешком. Все овринги повторились, с той лишь разницей, что овринг Овчак на этот раз я прошел без чьей бы то ни было помощи, а перед Падрузом мы обошлись без тех двух переправ, какие избавляли нас от необходимости пересекать отвратительную, исполинскую осыпь, где всякий прохожий, нарушая равновесие камней, невольно создавал такой камнепад, от которого отбежать было очень

трудно. На обратном пути мы одолели и эту осыпь, запасшись, по совету бартангцев, длинными палками, которые помогали нам "грести" в щебнистом, осыпающемся склоне. В этом месте все шли поверху, а я, идя впереди, выбрал себе другой путь: под осыпью, по воде, и едва не был унесен Бартангом, потому что зыбкая ссыпь продолжалась и под водою. Держась за береговой склон, я обрушил на себя щебень и мелкие камни, но все же сумел уклониться от последовавшей за ними каменной лавины. Сильhg перепугав моих спутников, наблюдавших сверху и выкрикивавших мне какие-то бесполезные советы, я выбрался из этого малоприятного места самостоятельно.

Кстати, через двадцать два года, в 1952 году, проезжая это же место верхом по проделанной здесь, но постоянно засыпаемой камнями тропе, я вместе с лошадью едва не был увлечен камнями в реку и только случайности обязан своим спасением. Это место на многие годы вперед, при любой дорожностроительной технике, останется одним из самых опасных на всем Бартанге.

В Багу мы ночевали под деревом, на глинобитном ложе у ручья. 1 сентября 1930 года я записал в полевую тетрадь:

"Всю ночь -- сильный ветер, низкие облака, закрывающие горы, порывами -- дождь. Спали под одеялами, было холодно. С гор падали камни. Проснулись рано, ночь для меня была почти бессонной из-за скверного самочувствия и головной боли.

Поедем ли на турсуках? Но бартангцы не возражают против плавания в такую погоду и готовят плот. Значит, плывем. Не завидую им. Плот из жердочек: десять в одном направлении, три -- в другом.

Наши три носильщика со всеми вещами ушли в Шуджэн по оврингам. Управлять плотом взялись три жителя Багу. Еще с вечера они разошлись собирать турсуки, -- к утру принесли: часть из Рида, часть из Имца, да несколько нашлось здесь, в Багу. Набралось десять турсуков на плот и два -- для пловцов.

Тучи бродят, пасутся по горам, как животные. Дождь, сыро, мокро, скользко, холодно, серо. Плот готов. Идем к реке и переходим вброд несколько ручьев. На плот настилают два снопа сена, кладут сверху нашу войлочную кошму, и мы садимся. Два бартангца, закрутивших за шею свои глимы (суконные халаты), в которые закручена и обувь, оседлывают два турсука и, оказавшись по живот в студеной воде, толкают наш плавательный снаряд. Мы отплываем. Я -- в свитере, Юдин -- в зеленой рубашке... Третий бартанжец сидит на плоту между нами.

Затычки в турсуках на этот раз более "совершенные": катушки из-под ниток, затыкаемые палочками.

Плывем. Турсуки шипят, выпуская воздух. Бартангцы фыркают, загребая ногами. Все трое -- и те два, что ведут наш "корабль", и тот, что сидит с нами на "палубе", прикладываются ртом к катушечным вентилям и поддувают турсуки на ходу.

Скалистые берега стремительно мчатся мимо. На бурунах нас подбрасывает и обрызгивает. Мы идем со скоростью быстроходной моторной лодки, лавируя между порогами и камнями. Очень холодно и мокро, даже нам, сидящим на плоту, а каково нашим "кормщикам"?

Скоро (через полчаса?) -- кишлак Имц. Причаливаем к берегу, дождь шпарит, мы промокли окончательно. Жидкая грязь. Босиком идем по ней, потом надеваем мокрые туфли и, пройдя весь кишлак, входим в чод сельсовета.

Сельсовет -- темная комнатушка, одинокие плакаты на стенах, ломаная скамейка. Разговор с председателем сельсовета, угощающим нас абрикосовыми косточками и чаем.

Наши пловцы в халатах греются у очага и дрожат. Им готовят атталя (гороховую похлебку).

В Имце -- 175 жителей. Земли -- "сто пудов в кишлаке и двадцать --

высоко на горе". Там, на горе, нужно бы шашку динамита -- подорвать скалу и снег: освободится площадь для посева -- еще "сто пудов земли". Но этого пока не сделано.

Дождь усиливается. Под дождем идем к реке -- опять переходим ручьи вброд. Жители Имца просят нас посадить на плот

больную женщину, довезти ее до Шуджана. Соглашаемся. Сажаем ее между нами вместо того, третьего бартангца, который плыл сюда от Багу и которого мы оставляем в Имце.

Высокие скалы плывут назад, как на экране кинематографа, мысы срезают ущелья, ущелья меняют горы на горы; вершины -- в облаках, осаждающих снег, -- крутятся и вырастают одна за другой. Берега плывут стремительно, -- скалы, скалы, чортовы скалы! Перед Шуджаном -- буруны, нас несет и наносит на них, плот пляшет и прыгает, больную женщину заливает холодной водой, мы оба стоим на четвереньках, на нашей "подводной" кошме, плот уже почти погрузился в воду, наши руки рассекают ее; избавленья от воды и холода нет, но, наконец, на полном ходу мы подходим к галечному берегу Шуджана.

Передаем больную женщину местным жителям, отсюда на носилках ее отнесут в Кала-и-Вамар, где в восьми километрах отсюда есть недавно открытая больница. Сами, расплатившись с пловцами, также спешим в Кала-и-Вамар -- пешком, полубегом, чтобы согреться. От русла реки поднимаемся на гору, форсированным шагом берем перевал, кажется, разорвется сердце, а все еще не согрелись. Дождь продолжается, но вдали уже виден просторный, весь в зелени Кала-и-Вамар. Там ждет нас, с нашими вьючными лошадьми больной тропической малярией наш старший рабочий Егор Маслов... "

Читатель вправе спросить меня: переправляются ли бартангцы через свою реку на саалях в наши дни?

Да. Этот древнейший способ сообщения и переправ, даже перевозки грузов существует и ныне. Но в наши дни для пользования саалями становится все меньше поводов. От Кала-и-Вамара до Шуджана и до Имца ходят автомашины. Выше Имца -- ни один из описанных мною овринго в не сохранился: вместо них вдоль Бартанга проходит расширенная, улучшенная аммоналом тропа, по которой ездят верхом, а груз перевозят во вьюках. Овринги описанного мною типа существуют только по боковым ущельям притоков Бартанга и по той стороне реки, по которой не проходит большая тропа. Бартангцы пользуются ими, так сказать, для "местного сообщения" между соседними кишлаками да между долиной реки и верхними пастбищами. Но и там все упорнее работает аммонал, потому что и пастбища и кишлаки Бартанга давно стали колхозными.

В Имце ныне находится центр колхоза "Комсомол", охватывающего также хозяйства кишлаков Рид, Багу, летовки и пастбища -- от гребня до гребня исполинских водораздельных хребтов.

Колхозу принадлежит и прежний сад ишана в Падрузе, а единственный приютившийся на скале над пропастью дом стал теперь колхозного чайханой -- приютом для путников, застигаемых ночью на Бартангской тропе. В колхозном кишлаке Имц в наши дни расположена база райпотребсоюза, сюда доходят по новой дороге автомобили; есть теперь в Имце открытая в 1940 году школа-семилетка, есть библиотека и магазин, есть тридцать радиоприемников, работающих на батареях, и телефон. На берегу реки зеленеет большой новый плодовый сад.

Выше по Бартангу расположен колхоз "Интернационал", в Си-Пондже -- колхоз "Большевик", еще выше, в Разудже, -- колхоз имени Энгельса, в Басите и Аджирхе -- имени Карла Маркса, за ним -- колхоз имени Ленина, а всего по Бартангу -- десять укрупненных (в 1950 году) колхозов, и верхний из них -- на реке Кударе и на притоке ее -- реке Танымас, под самым ледником Грумм-Тржимайло, -- колхоз имени Димитрова.

И каждый колхозник Бартанга знает теперь, кем был Димитров, и каждый школьник Бартанга может рассказать путнику о Марксе и Энгельсе, а школы есть в каждом колхозе, и нет на Бартанге мальчика или девочки, которые не знали бы пути в школу.

Си-Пондж

Я хочу рассказать о районном центре Бартанг. Так называется он теперь в административной переписке и на некоторых географических картах. Но везде в Бадахшане и прежде всего сами бартангцы называют его попрежнему: кишлаком Си-Пондж, оставляя общее название "Бартанг" реке, долине, району. На старой "десятиверстке" -- карте, составленной до революции, кишлак этот назван "Си-Пяндж", но я предпочитаю произношение местных жителей.

Первый раз в Си-Пондже мне пришлось побывать в **1930** году. Что представлял собой этот кишлак тогда?

Мы шли от низовьев реки. Мы одолели последний перед Си-Понджем подъем, -- лиловые породы, миновали высокую террасу. В то время она была пустынной и неприветливой, не такой, как в наши дни, когда к ней со страшных высот проведен оросительный канал и она зеленеет пашнями и молодыми садами нового кишлачка Дашт, выросшего здесь после Отечественной войны. Терраса обрывается массивным мысом, вдвигающимся в ущелье. Отсюда хорошо виден поражающий своей грандиозностью шлейф каменной осыпи, под которой, на противоположном левом берегу Бартанга приютился кишлак

Усавн. Эта осыпь низвергается от самого водораздельного гребня, возвышающегося над рекой не меньше чем на полтора километра по вертикали.

По тропе, круто падающей со скалы на скалу, мы спустились в долину, которая лежит между чуть-чуть расширившимися отвесными громадами. Тропа повела нас вдоль правого берега, сплошь усыпанного камнями, и впереди мы увидели крутой излук реки, образуемый следующим мысом, протянувшимся поперек долины. Под ним правобережье реки выгибается неожиданной, почти плоской площадкой; в здешних теснинах она представляется взору путника просторной, на ней отдыхает глаз.

Кишлак, располагавшийся на этой площадке в тридцатом году, считался большим: он состоял из тридцати трех приземистых жилищ, сложенных из неотесанных камней. Чтобы построить эти жилища, камни не нужно было искать или нести издалека, достаточно было собрать их на том самом месте, где решено было сложить стены чода (так местные жители называют свои примитивные, продымленные дома).

Си-Пондж считался тогда волостным центром: один из тридцати трех домов был занят волостным исполкомом, другой -- сельсоветом; в третьем помещалось "милицейское управление". В этом доме жил, представляя своей особой все "управление", единственный в волости милиционер -- местный бартангский житель.

По случаю появления в Си-Понджг двух пришельцев с низовьев реки, а значит, и еще более издалека, наверное из Хорога, сей милиционер произвел приветственный выстрел. На дверях дома, в котором жил милиционер и помещалось его "управление", я увидел вырезанное ножом изображение ладони -- символ исмаилитской религии. И милиционер, коренной сипонджец, объяснил нам:

-- Тут жил учитель, он свою руку изобразил!

В четвертом доме помещался магазин Узбекторга, но единственным товаром, какой мы обнаружили в нем, оказались спички.

Никаких других "учреждений" в Си-Пондже не было. Купы чахлых деревьев возле нескольких прочих домов кишлака давали жителям тень и мелкие плоды: яблоки, абрикосы, тутовник. Этих плодов владельцам деревьев хватало на месяц, на два. Несколько кур, несколько ослов, исхудалых рабочих быков, три-четыре тощие маленькие коровенки -- вот и все, чем обладали жители кишлака.

В волостном исполкоме я записал тогда сведения о Бартангской волости,

простиравшейся на двести километров по долине реки от кишлака Имц в низовьях Бартанга до реки

Кудара, впадающей в нее в верховьях. Эти сведения интересны: во всей волости насчитывался четыреста сорок один дом, и вот каково было хозяйство всех двадцати трех кишлаков этой волости в том тридцатом году:

пшеницы на поливной земле было посеяно 952 пуда, а на неполивной, богарной (такая пшеница называлась ляльм) -- 95 пудов 10 фунтов; ржи (л а ш а к) --255 пудов 10 фунтов; ячменя (д ж а у) -- 1217 пудов 5 фунтов; гороха (мах) -- 413 пудов 30 фунтов; проса -- 529 пудов 25 фунтов; капусты (карам) посажено 1 фунт; картофеля (картошка) -- 2 пуда 3 фунта; клевера -- 3 пуда 20 фунтов...

Больше ничего бартангцы в ту пору не сеяли. Каждое дерево было у них на счету. Тутовых (т у т) деревьев во всей долине насчитывалось 2 246, яблонь (м а у н) -- 726, абрикосов (нож) и ореха (г у з) было 2 035 деревьев, груш (м ар уд) -- 159 деревьев. Подсчитано было и каждое не плодовое дерево, -- их было 7 670 штук.

284 быка (ходж), 174 осла (маркаб), 59 лошадей (в о р д ж), 21 верблюд (у х т о р) -- вот весь скот, который был записан в ведомостях волостного исполкома. Поголовье коров и овец в ведомостях обозначено не было.

Мерой веса в ту пору считался а м б а н (5 пудов). Урожай пшеницы в лучших местах достигал четырех амбанов с пуда, а на плохой земле пуд посеянного зерна давал не больше одного пуда урожая...

Так беден, так нищ был Бартанг!

Не надолго хватало бартангцам размолотого на примитивных водяных мельницах зерна. Хлебные или гороховые лепешки считались лакомством. Мясо люди пробовали только в редких случаях, когда овцы, корова или верблюд разбивались, сорвавшись в пропасть, или бывали задавлены камнепадом. Вкуса сахара бартангцы не знали, соль была роскошью, доступной не всем. Большую часть года бартангцы питались сушеными тутовыми ягодами, из которых изготовляли подобие халвы (тут-пист), а в зимние месяцы варили траву, выкопанную из-под снежных сугробов.

Голод и болезни были постоянными, неразлучными спутниками бартангцев. Лихорадка, трахома, оспа обессиливали людей. Последняя из частых до этого эпидемий желудочных заболеваний была в 1928 году. Но с тех пор Бартанг все чаще посещали врачи, в 1930 году в Си-Пондже уже существовала амбулатория, в декабре 1929 года в Си-Пондж пришел пешком присланный из Хорога врач Канцевич. Он прожил здесь до июня 1930 года, но, изголодавшись и заболев сам, не выдержал трудностей существования и ушел в Хорог (в июле, худой, изможденный, усталый, он встретился мне на Восточном Памире; на чахлой лошаденке он уезжал навсегда с Памира). В августе, когда я посетил Си-Пондж, амбулатория была заперта на замок, в Си-Пондже и по всей долине Бартанга не жил ни один русский человек. В 1930 году однажды приходил в. Си-Пондж только хорогский дорожный мастер Ступницкий, а за год перед тем, кроме геолога Юдина с его коллектором Лавровым, приходили сюда из областного центра лишь техник Беляев да один из членов хорогской партийной организации, Майский.

Так редки, так единичны были здесь в ту пору советские работники!

От последней ночевки, в кишлаке Рид, Юдин и я шли сюда двенадцать часов, пришли уже в темноте и под дробный грохот бубнов, отгонявший птиц от посевов, едва нашли в себе сил разостлать у ручья кошму.

Утром, наблюдая солнечные лучи, что радиусами расходились от зубцов высившегося над нами скалистого гребня, дрожа от холода в ожидании, когда солнце само выглянет изза горы, мы завели беседу с бартангцами, обступившими нас. Они курили чилим, передавая его один другому. В отрепьях глимов, надетых на голое тело, босые, покрытые язвами и болячками -- явным следствием авитаминоза, исхудалые, истощенные, впалогрудые, они ожидали, что мы, пришельцы, угостим их хоть какой-нибудь едой. Мы, по совести говоря,

ожидали того же от них, пока шли в Си-Пондж, -- все же "волостной центр"! Ведь запасы продуктов в наших рюкзаках были почти израсходованы, путь же вверх по Бартангу, а потом вниз до обильного продуктами Рушана предстоял еще большой!

Мы "помирились" на том, что стали вместе пить чай, благо вода здесь кристальной чистоты и прозрачности. После чая Юдин, вглядываясь в водораздельный гребень левобережья, занялся изучением полосы светлых пород, повидимому мраморов, я же добивался точности транскрипции и перевода местных бартангских слов, записывая их в мой путевой дневник.

И снова гремели бубны на крошечных посевах Си-Понджа. Был конец августа. Неподалеку от нас быки, расхаживая по кругу, вытаптывали из разминаемых ими снопов пшеницы зерно, и шустрая девочка, понукая скучных, покорных животных, била их хворостиной.

Все бартангцы в один голос бранили дорогу сюда, говорили: "Дороги нет, ходить мы не можем. У нас нет ни одного человека, который не голодал бы. Советская власть должна сделать дорогу. Если не будет дороги -- не надо тогда и вика и сельсовета, ничего не надо, будем страдать, как в старые времена!"

А когда чай был выпит, бартангцы начали балаганить, как дети, под общий смех поливая друг друга из чайника холодной водой.

... И вот я в Си-Пондже через двадцать два года. Я приехал сюда верхом. Строящаяся широкая дорога в этот последний, еще не "автомобилизированный" районный центр на Памире доходит до кишлака Имц, дальше, вверх по Бартангу проложена пока верховая тропа. Она стоила больших денег и многих усилий.

В 1936 году в Си-Пондже был создан колхоз "Большевик"--первый колхоз на Бартанге. Си-Пондж стал районным центром. Уже издали, сверху, спускаясь с крутого мыса, я увидел внизу, на дне долины густые сады и посевы кишлака, разросшегося, заполнившего все полукружие правого берега реки. Белые аккуратные домики сквозили в листве деревьев. Въехав в райцентр по его улочкам, мимо конторы связи, вдоль аллеи молодых деревьев и чистеньких домов, окруженных посевами и садами, я и мой спутник -- солдат-пограничник Шаламанов, предоставленный мне в качестве конюшего на ближайшей к устью Бартанга пограничной заставе, привлекли общее внимание жителей кишлака: заезжие люди и ныне редки в Си-Пондже, путь труден и теперь, хоть и несравнимы нынешние дорожные трудности с прежними. Русская девушка указала мне путь к райкому партии. По аллее тонкоствольных тополей я въехал во двор, засаженный цветами, и остановил коня перед группой бартангцев, которые вышли из дома, очевидно узнав, что к Си-Понджу приближаются, спускаясь по тропе, два всадника.

Один из бартангцев -- молодой, с энергичным, загорелым лицом человек, в костюме, сшитом из синего бостона, при воротничке и галстуке, в проутюженных, с аккуратной складочкой брюках, -- оказался секретарем райкома партии, уроженцем Си-Понджа, Абдул-Назаром Курбан-Ассейновым. Его спутники, столь же чисто, по-городскому одетые, назвали себя, кто работником райкома и исполкома, кто учителем. Я представился всем. Курбан-Ассейнов дал распоряжение отвести коней на конюшню и повел меня в белый дом райкома по длинному коридору (я обратил внимание на потолок, сделанный из тесно сомкнутых тополевых жердочек). Миновав хорошо обставленный мебелью зал заседаний, я вошел в маленький кабинет секретаря, увидел письменный стол буквой "Т", затянутый синим сукном и заваленный книгами, телефонный аппарат, радиоприемник, на стене -- полку с художественной литературой и пачками последних газет.

Вслед за мной в кабинет вошел высокорослый мужчина с портфелем и сумкой через плечо, пожал руку секретарю, сел

рядом со мной, -- это был уже знакомый мне по совместной ночевке в пути почтальон Шарипов. Он пришел в Си-Пондж пешком, сделав почти одновременно со мной тот же путь, который я одолел верхом. Вынимая из портфеля пакеты с печатями, а из сумки -- пачки газет и писем, он передавал их через стол Курбан-Аосейнову, и тот торопливо распечатывал их.

Через час, на берегу Бартанга, там, где еще не очень давно виднелись руины старинной крепости и где теперь пестрели цветы в палисаднике возле хорошего двухквартирного дома, я вошел в мехмонхоне -- комнату для гостей, устроенную рядом с квартирой секретаря. Перед верандою дома, на хорошо разделанном огороде, розовели созревающие помидоры, -- никогда прежде на Бартанге не бывало помидоров! Над этим домом, так же как и над многими другими, мимо которых я проходил, виднелись мачты телефона и радиоантенны.

В свежевыбеленной, предоставленной мне комнате, с большим окном на шумливый Бартанг, я увидел две чисто застеленные кровати, стол, накрытый клеенкой, лампу...

Но провести ночь я захотел все же на вольном воздухе, на открытой террасе дома, называемой здесь дуккон.

Мой спутник -- солдат Шаламанов провел весь вечер на гулянке, устроенной в его честь жителями Си-Понджа. Появление пограничника в Си-Пондже -- редкость. Вся молодежь, включая сипонджских девушек, хотела оказать молодому солдату внимание; было устроено чаепитие, слышались хоровые песни и музыка; звуки гармони смешивались со звуками бартангских струнных инструментов и бубнов, и, во всяком случае, там, под тутовыми деревьями в центре Си-Понджа, где происходила вечеринка, было очень весело.

... Утро. Лежу на дуккон, обдуваемый свежим горным ветром, который порывами налетал на меня всю ночь. Надо мною шуршит сухая листва-навеса из жердочек, из тонких тополевинок; подо мной на обмазанном глиною каменном ложе вчетверо сложены одеяла, а одним из таких ватных одеял я накрыт. За спиной только что говорил радиорупор, я слушал Москву, далекую отсюда Москву, из которой в Си-Пондже за все времена побывали, может быть, не больше полутора-двух десятков людей. Громкоговоритель висит над дверью в дом, дверь открыта, и мимо меня -- тихо-тихо, чтоб не разбудить гостя, -- ходит немолодая, но удивительно грациозная и красивая жена Курбан-Ассейнова, хлопочущая по хозяйству. Ее зовут Нордона. Вот из дома в белом платье вышла их дочь, маленькая и тоже безупречно-красивая тринадцатилетняя Ватан-Султан. В переводе это имя значит: "Властительница родины". Она направилась к реке мыться.

Передо мной -- огород. Белеют цветки картофеля, розовеют

наливающиеся солнцем, еще зеленые помидоры, растет капуста, которую громко жует рыжая, с крутыми серыми рожками коза. "Кец-кец!" -- зовет ее хозяйка, ставя на землю деревянную чашку. По краям огорода -- цветник, в метр высотой стебли цветов, красных, крупных, как розы, похожих на наши пионы, и другие -- синие, напоминающие "иван-да-марью".

Коза подошла к грациозной Ватан-Султан, и та, в своем белом платье, в цветистой красной тюбетейке, с коралловыми бусами на шее, загорелая, внимательная, присев на корточки, доит козу.

Цветник обведен оградой, сложенной из камней, составлявших некогда стены крепости, что высилась на этом месте и исчезла навеки. В крепости был глубокий колодец, вода просачивалась в него под почвой из реки Бартанг, и потому защитники крепости на случай осады не нуждались в вылазках к реке. Курбан-Ассейнов, работая на огороде, за год до моего приезда нашел наконечник стрелы и несколько монет.

Дальше за оградой -- сжатые поля, за ними, полукружьем, поселок Си-Пондж, деревья его плодовых садов, в просветах между деревьями серые и белые дома, с открытыми дуккон, с застекленными окнами, с квадратными башенками-кладовками во дворах. Крыши домов -- плоские, все дома либо

выбелены мелом, либо чисто обмазаны глиной. Как особенность Си-Понджа, редко встречаемая в других кишлаках, вдоль оросительных каналов устроены под деревьями открытые "спальные сооружения": глиняные возвышения с бортиками, куда кладутся одеяла и подушки и к которым в наши дни там и здесь примыкают поставленные над каналом городские железные кровати, включенные в "спальный ансамбль". Эти сооружения придают всему поселку очень живописный и какой-то особенно "домашний" уют, особенно потому, что никаких замков, никаких запертых дверей в Си-Понджe не существует: здесь чужих людей нет!

За садами, над всем селением (надо запрокинуть голову, чтоб увидеть вершины гребня) многоярусной стеной встает горный склон, изрезанний, с осыпями под резкими, скалистыми обрывами. Вершины только что тронуты солнцем. На моих глазах начинает розоветь весь гребень, затем в просвете рассекающего склон ущелья солнце зажигает другой, еще более высокий, более отдаленный гребень. Из розового он постепенно становится серо-солнечным, светлым, обнажая белые пятна снегов.

На двести метров от дна долины, на которой расположен Си-Пондж, вверх по вертикали, горный склон составляется отвесной стеною конгломератов, -- это разрез бывшего дна реки, которая некогда текла на эти двести метров выше. "Заплечики" древней речной террасы -- узкие, плоские полоски древнего берега -- кое-где сохранились доныне, но в других местах все формы древнего рельефа погребены под исполинскими каменными осыпями, которые круто падают в долину из-под самого водораздельного гребня, венчающего весь склон, а внизу расходятся шлейфами.

В центре полукружия долины, передо мной, обрывок той речной террасы уцелел, потому что подперт монолитной скалой, которую воде не удалось смыть. Подобные бастионам старинной крепости, видны разъединенные вертикальными проМывинами естественные выступы конгломератовой стены. В этих выступах-башнях зияет с десяток огромных, похожих на бойницы дыр: шесть в один ряд, одна ниже, еще три в ряд... Это пещеры древних людей. Одна из них называется "Мобегим бавун" ("Женщина зашла в яму").

Оглядываюсь: такие же и на левобережной стороне Бартанга. В пещерах сохранились следы костров, об этом мне накануне рассказали сипонджцы.

Ниже и правее стены, впереди меня, поперек осыпи выложена из белых камней огромная надпись: "Зиндабод хокумати совета!" ("Да здравствует советская власть!"), а еще ниже, сквозь сады кишлака, белеет здание средней школы-десятилетки.

Я вижу: Ватан-Султан выходит с другими девочками из соседнего дома (там помещается районная больница). Все чисто, опрятно одеты, принаряжены, у каждой в руках учебники, и одна из девочек, проходя мимо меня, глядит в раскрытую на ладонях тетрадь и что-то шепчет -- повторяет на ходу урок. Две косички ее раскачиваются, и Ватан-Султан, шаловливо ухватив одну из них, вплетает в нее синий цветок.

Высоко-высоко, метров на семьсот над кишлаком, выше всех осыпей, обрывистые склоны тоненьким пояском пересекает ниточка оросительного канала. Он берет воду в ущелье, глубоко врезанном, похожем на трубку воронки. Ручей в глубине его низвергается с огромной высоты непрерывным каскадом и исчезает в скалистой воронке.

Ущелье это называется Вож-Дара (от Вордж-Дара -- "Лошадиный лог"). Поразителен канал, проложенный на такой страшной высоте над многими пропастями! Он протянулся на пять километров, он построен колхозниками в 1950 году, на него потрачено шестьсот килограммов аммонала, он орошает двадцать пять гектаров сухого в прошлом горного склона, а мог бы оросить и сто двадцать гектаров, если бы в питающем его каскаде хватало воды. На орошенной земле посеяны пшеница и люцерна и закладываются молодые сады.

Другой сипонджский канал -- Ходарджиф (получивший название от ходордж -- маленькой, притулившейся к нему водяной мельницы) берет начало от речки Рошар-вэджхуф, круто мчащейся по узкому, почти недоступному для людей ущелью. Канал, опоясывающий скалистые кручи на полукилометровой высоте над

долиной реки, тянется к дашту -- высокому обрывку древней речной террасы, под которой в конгломератовой стене зияют пещеры древних людей. Этот канал сипонджцы начали строить еще в 1932 году, но не могли ничего сделать без технической помощи. Труднейшая работа возобновилась, когда здесь организовался колхоз, и колхозники, пользуясь аммоналом и советами хорогских техников, уже в 1938 году проложили первые четыре километра канала, оросив двадцать два гектара земли. Так была построена "первая очередь" канала. Теперь работа продолжается; тридцать-пятьдесят строителей все лето проводят на скалах, обрушивая их вниз, давая путь воде дальше...

Можно часами, оставаясь на одном месте, вглядываться в великолепные, рассеченные тесными щелями, недоступные вершины, обступившие маленький, полукруглый клочок прибрежной земли, на которой расположен Си-Пондж. К юго-западу от райцентра высится снежный пик, называемый здесь Цокжир ("Высокий камень"); чуть северней, рядом с ним врезается в глубину небес скалистая вершина Нау-джирас-банд: "там только начинает зеленеть трава, когда внизу пашут", -- говорят про ее склоны бартангцы. Над левым берегом устремляет вверх свой острый гребень Иокгаль, а к востоку от него белеет вечными снегами вершина над ущельем Равив-Дара. С севера все полукружие долины отсечено низким, протянувшимся поперек нее мысом Парингаль, заставляющим реку делать крутой излук. Здесь, в середине излука, через Бартанг переброшен узкий и зыбкий мост без перил; проходить по нему, применяясь к его пружинистому качанью, люди могут только поодиночке. Этот мост существует здесь много десятилетий, сокрушаемый водой и людьми, но неизменно восстанавливаемый сипонджцами.

Я знаю: никто до меня не интересовался всеми перечисленными выше названиями, никто не описывал в деталях местность, окружающую Си-Пондж. Пожалуй, из всех районных центров Советской страны этот -- один из наименее посещаемых.

Вопреки бездорожью

Двести тринадцать километров пути от Кала-и-Вамара на Пяндже до верхней границы Бартангского района -- реки Кудара (или, как теперь бартангцы называют ее, Гудара), где кончается самый верхний на Бартанге колхоз имени Димитрова, -- эти двести тринадцать километров и в наши дни не везде и не всегда можно проехать верхом. Немало таких мест, где надо пробираться пешком, рискуя сорваться в пропасть, или быть раздавленным камнепадами. И это даже в летнее время! А уж зимой, когда в ущелье с высот в тысячу и две тысячи метров там и здесь соскальзывают лавины, от кишлака к кишлаку на Бартанге во многих местах не проберется даже горный козел. Всякое сообщение между населением кишлаков прекращается.

И потому мне особенно удивительно, что, несмотря на такую труднодоступность, районный центр Си-Пондж на Бартанге, благодаря работе партийных и советских организаций, выглядит совсем не столь глухим и отрешенным от мира, как можно бы при подобных обстоятельствах ожидать. То, на что в других местах не обратил бы внимания, как на предельно привычное и естественное, здесь поражает и удивляет.

В районном отделении Госбанка я увидел обыкновенный стальной сейф, -- в каком городке, в каком районном центре нашей страны нет теперь таких сейфов и кого может он удивить?

Но, посмотрев на него в Си-Пондже, я задумался и опросил: сколько этот сейф весит? И мне ответили: сто сорок килограммов. Я еще раз посмотрел на сейф, прикинул глазом его объемы, на мгновенье представил себе тропинку, по которой сам явился в Си-Пондж...

А как же он доставлен сюда? Работник райфо улыбнулся:

Его принес один человек!

Как принес? На своих плечах?

-- Правильно, на плечах. Вьюком разве можно везти такую тяжесть? На спину лошади не положишь, два вместе по бокам привьючить -- получится почти

триста килограммов, разве лошадь может нести на себе восемнадцать пудов, да еще по такой "дороге"? Тропа узкая, слева -- скала, справа -- пропасть... Говорим: один человек принес! Вернее, два человека несли, сами вызвались, есть у нас в Имце два таких богатыря -- палавона!.. По очереди несли: километр несет один, устанет, километр несет другой, а потом -- опять первый. Так тридцать пять километров несли. У нас в Си-Пондже есть два сейфа, один весит сто сорок, другой -- сто шестьдесят килограммов. Третий сейф -- тоже сто шестьдесят килограммов -- лежит в Имце, не можем доставить сюда, потому что эти палавоны спросили за доставку тысячу рублей. Какой финансовый орган может разрешить такой расход? По закону полагается девять рублей за тоннокилометр. Так ведь закон думал об автомобилях и гужевом транспорте. Разве в законах обозначен кишлак Си-Пондж? Кто

i

знает, что у нас такая дорога? Мы, правда, считаем: тысяча рублей за такую работу совсем недорого, простой человек -- вы, и я, и любой колхозник у нас -- за десять тысяч не понесет десять пудов на своей спине. Кого просить можем? Это сама наша природа двух таких людей выдумала, бартангские матери родили двух таких палавонов, -- если б они в Москву поехали, они стали бы чемпионами мира... А у нас они скромные люди!

Но не одни эти сейфы удивили меня в Си-Пондже. Меня удивили железные кровати, на которых в своих домах опят колхозники. Меня удивила стационарная киноустановка, прекрасный аппарат для демонстрации звукового фильма, ежевечерне работающий в маленьком кинотеатре Си-Понджа. В летнее время кинофильмы демонстрируются рядом с залом клуба, в саду, под открытым, полным звезд небом, а яркая электрическая лампочка, ослепительно сверкающая в антрактах между сеансами над кинобудкой, видна и из любого места Си-Понджа и со всех окружающих гор, -- она пока единственный представитель электрификации в кишлаке Си-Пондж! И не потому ли в черной ночи, сгущенной громадами обступающих Си-Пондж гор, эта лампочка кажется особенно неправдоподобно яркой?!. Я смотрел "Великий перелом" и "Незабываемый 1919-й" вместе с колхозниками, учителями, школьниками, садовниками и милиционерами Бартанга -- все они были хорошо одеты, все они ничуть не отличались от публики любого кинозала таджикской страны, разве только что шерстяные глимы и тюбетейки колхозников были именно бартангского, а не какого-либо иного типа... А в клубе я, к своему удивлению, нашел свежие номера журнала "Театр". Значит, кто-то читает их?

Меня удивляли в Си-Погадже хорошие, застекленные оконные рамы в домах колхозников, и пишущие машинки в учреждениях, и доски, из которых сделаны прилавки в районном кооперативе: как привезти сюда длинную доску -- ведь в самом Си-Пондже такую доску не сделаешь, ведь каждое плодовое дерево здесь -- драгоценность! За весь 1952 год удалось привезти на ишаках из Имца только два кубометра длинных досок! Все грузы -- продовольствие и товары -- путешествуют по Памиру на автомашинах, но все предназначенное для Бартангского района сгружается с автомашин в Имце -- первом снизу кишлаке района! Из Имца путь только вьючный, но не всякий груз можно уложить во вьюк и не всякий вьюк можно протащить по узкой, головокружительной тропе. И есть у сипонджских организаций трудности, о которых никто не знает! Не в чем, например, доставлять в Си-Пондж керосин: бочку не привезешь, а бидонов в Си-Пондже нет, -- и несут бартангские жители керосин на себе -- в ведрах, в бутылках, в глиняных

сосудах, несут по осыпям и по узким, нависшим над рекою карнизам, поднимают на перевалы, спускают, рискуя споткнуться, по крутейшим склонам... Дать бы Си-Понджу хоть сотню обыкновенных автомобильных двадцатилитровых канистр, тех, какими пользуются десятки тысяч шоферов в Советском Союзе. Но

никто об этом, кроме самих бартангцев, не думает, а бартангцам таких канистр не добыть. И я должен об этом сказать, чтоб эти мои слова были прочитаны всеми, и я знаю, среди моих читателей найдется много отзывчивых и энергичных людей, которые хоть почтовыми посылками, а отправят сипонджцам в подарок такие канистры, прежде чем автомобильная дорога, для прокладки которой нужно взорвать аммоналом миллионы тонн монолитных скал, будет доведена до Си-Понджа и дальше -- до самых верховьев Бартанга, откуда ее нужно будет продолжить по Восточному Памиру до стыка с Восточно-Памирским трактом, тогда канет в прошлое географическая изолированность Бартанга--последнего и единственного населенного района Памира, куда сегодня еще не может пробраться автомобиль.

Люди Бартанга в своем самосознании, в своем культурном развитии уже давно переросли высочайшие свои горы, им тесно в сдавливающих их быт и потребности узких ущельях, они не хотят покоряться слепой природе, они не верят больше в духов гор, некогда представлявшихся им всесильными, они хотят знания и ищут знания, они советские люди, им горько, что такая глупость, такая случайность: невозможность проехать к ним на автомашине, невозможность улететь из Си-Понджа по воздуху, потому что в их ущельях не может сесть самолет, мешает им жить так же, как живут все в Советской стране, как живут теперь их соседи -- рушанцы, шугнанцы, ваханцы, ишкашимцы, гоанцы -- все горные бадахшанцы, разъединенные прежде на мелкие народности, на разноязычные (враждовавшие между собой) племена, а теперь равноправные, такие же, как все таджики, члены единой огромной семьи строителей коммунизма. Я не встречал бартангца, который с горечью не говорил бы мне об отсутствии в их районе автомобильной дороги, который с радостью и надеждой не предлагал бы свои собственные проекты этой дороги добавляя: "Вот только привезли бы сотнюдругую тонн аммонала!"

Я знаю, что могут бартангцы, я наблюдал их тягу к знанию, их поистине всесильную волю к труду!

Вот -- простите, читатель, -- еще несколько цифр, характеризующих рост урожайности зерновых во всех десяти колхозах района:

В 1941 году урожай зерновых был 5 228 центнеров.

В 1942 году, когда многие бартангцы ушли на фронт, -- 4 617 центнеров.

В 1943 году -- 4 636 центнеров.

В 1944 году -- 5047 центнеров.

В 1945 году, когда зима была необычайно суровой и снег в долинах лежал до апреля, -- 4 117 центнеров.

В 1946 году -- 5 004 центнера.

В 1947 году -- 6 100 центнеров.

В 1948 году -- 7 305 центнеров.

В 1949 году --8 242 центнера.

В 1950 году -- 8 000 центнеров.

В 1951 году, когда снег лежал почти до мая, а лето было дождливым, обильным обвалами и камнепадами, -- 7 000 центнеров.

В 1952 году -- 10 500 центнеров.

Во всем районе в том же году распахано 810 гектаров земли, сенокосов на поливной земле -- 180 гектаров, а на богарной (неполивной) -- 1 000 гектаров, садов в районе -- 28 гектаров, кустарников на колхозной земле -- 10, а на земле лесхоза -- 30 гектаров, бахчей и огородов -- 10 гектаров.

Во всем районе к дню, когда я приехал в Си-Пондж, к сентябрю 1952 года было 1 775 избирателей!

Мало на Бартанге людей и мало у них земли, потому что горы тесны, высоки, скалисты и дики. Каждый квадратный метр земли нужно очистить от снежных завалов, от навалившихся со страшных высот камней, вспахать без всяких машин, потому что машины не могут двигаться на крошечных клочках посевов, круто наклоненных, нависших над пропастями. Каждый метр новой,

впервые осваиваемой земли нужно вырвать у скал, оросить водой, проведенной по крутым и отвесным скалам.

Но у меня есть цифры, которые я предлагаю сравнить с только что приведенными. В 1926 году, при составлении "хозплана" Горно-Бадахшанской области, впервые были собраны точные данные о Бартанге. Вот они (я позволил себе только произвести перерасчет с десятин на гектары). Число хозяйств: 398. Занимаемая ими площадь -- 335, 07 гектара. В том числе в процентах: пашня -- 70, 35; усадьбы -- 6, 56; травы -- 11, 59; сады2, 7; пустует 8, 8.

А хозяйств в 1952 году во всех десяти колхозах было 469, то-есть на 71 больше.

Увеличить посевную площадь на один гектар -- значит совершить подвиг, подвиг бесстрашного, упорного, вдохновенного труда!

С величавой гордостью, как о выигранных тяжелых сражениях, рассказывали мне колхозники на Бартанге:

-- В нашем колхозе имени Карла Маркса мы построили новый канал Шамор-Сафэд-Дара. Мы построили его за год --

в тысяча девятьсот сорок восьмом и сорок девятом годах. Канал тянется на одиннадцать километров! Без техники и без руководства, -- мы сами его построили. Вот слушай, товарищ! Он идет на птичьей высоте над долитой. Мирзо-Мамадов, Назар, -- наш раис; председатель колхоза строил, потому что техник из Хорога пришел, посмотрел, отказался: "Невозможно здесь строить канал!" А мы собрались вместе с раисом, сказали: "У нас земель нет: или умирать, или строить!" Ты слушай, ты всем расскажи, товарищ: у нас было пять гектаров земли в колхозе, разве это колхоз? Мы год канал строили и через год кончили, и у нас теперь триста гектаров земли, но воды хватает только на пятьдесят. Мы эту землю освоили, она у нас в котловине, труда много расходуется, надо тонко воду пускать, наши люди на каждом клочке земли сидят, управляют водой, как нитку в иголку вдевают. Сады у нас не растут -- слишком высоко мы, под самым ледником, в октябре уже снега. Мы сеем пшеницу, ячмень, горох, мы собираем разные урожаи, когда хорошая погода, когда много солнца, -- лед тает и воды много. Когда плохая погода -- воды нет, мы только слушаем ветер и слышим, как трещат на морозе льды.

Ты понимаешь, товарищ, что такое наш колхозный кишлак Басит? Раньше мы думали: духи гор, когда вниз под землю по узкой щели опускались, поставили наш кишлак на половине спуска в ад, чтоб было им где во тьме ночевать по дороге в ад, а нас в этом кишлаке поселили, чтоб мы, как в гостинице, их, нечестивых, кормили! Мы только вниз, как в дыру, в темный ад, и смотрели, сами были голодными! А теперь мы смотрим наверх, мы смотрим на солнце, от самого солнца мы воду к себе провели. Поживи у нас год, товарищ, послушай, как под солнцем тают над нами льды!

И еще в Савнибе мы другой канал провели в два километра длиной, оросили четыре гектара, земля каменистая, мы сеем на ней люцерну, трижды в год косим, а в этом году косили четыре раза, потому что почва уже укрепилась и влажности стало больше. В сорок девятом году мы строили этот канал.

В нашем колхозе всего шестьдесят пять хозяйств, мы все ив Басита за сорок пять километров ходили, в такое ущелье, где только барсы бегали раньше, -- мы построили там наш большой канал Шамор-Сафэд-Дара, одиннадцать километров течет по нему вода!

Ты понимаешь, товарищ? Одиннадцать километров мы оторвали у горных духов из той их дороги в ад, и теперь духи не могут перепрыгнуть через эти одиннадцать километров, и мы сказали духам: пускай сидят в аду, как в тюрьме, а наша советская жизнь -- человеческая, мы смотрим на солнце! А когда автомобильная дорога дойдет до нас, когда нам привезут сто

тонн аммонала... ий-о, товарищ, сколько у нас будет земли тогда!..

И секретарь райкома Курбан-Ассейнов к этому рассказу добавил:

-- Они правильно говорят. Кишлак Басит может получить в верхней части ущелья еще двести гектаров земли, если речка Девтох-Дара, которая сейчас уходит в Бартанг, будет перехвачена каналом, который отведет от нее воду к верхнему дашту кишлака Басит. Нужен аммонал, тонны четыре. Если все это не будет делаться, то останется один выход: переселить верхние колхозы в другие районы республики, а райцентр Си-Пондж соединить с Рушанским районом, это будет лучше, чем здесь на спинах таскать сейфы по сто шестьдесят килограммов. Экономически невозможно работать здесь, если не будет автомобильной дороги...

Вот кишлак Вринджав, в колхозе "Социализм", -- некоторые называют этот кишлак Шуроабадом, потому что он построен при советской власти. Проложили колхозники канал в один километр длиной; прямо из реки Бартанг он забирает воду, орошает пять гектаров, и сеют на них ячмень и пшеницу. Эта земля ниже кишлака Рошорв, центрального кишлака колхоза "Социализм". Поэтому на ней после того, как ее оросили, растут абрикос, и тополь, и ива, а пшеница вызревает на двадцать дней раньше, чем в Рошорве. И потому люди могут соблюдать очередность во времени и обеспечивают колхоз зерном раньше, чем получают его в Рошорве.

Вы скажете, канал маленький, только один километр? Но потребовал он много трудов. Еще в 1932 году орошорцы пытались строить его, но не вышло. Взялись снова в пятидесятом году и кончили, потому что нам удалось забросить туда сто килограммов аммонала и прислать техника из райводхоза. Половину канала провели по склонам, половину -- по песку, закрепили его колючкой (по-бартангски она называется ш а х г, по-шугнански -- ш у у д, по-таджикски -- хор), вот этой колючкой. Одно плохо: канал -- на левом берегу Бартанга, а Рошорв -- на правом и в двенадцати километрах от берега, в боковом ущелье. Поэтому требуется мост через Бартанг, нужен трос, а пока колхозники, чтобы поливать новую землю, переплывают Бартанг на с а н а ч а х, или, по-здешнему, на з и н о т ц, --на надутых козьих или бараньих шкурах.

... Мы беседовали у ручья, под тутовым деревом, сидя на разостланном шерстяном паласе. Колхозники щелкали камнями абрикосовые косточки, ели ядрышки, угощали меня. Самый старый колхозник, белобородый, одетый в рыжий глим, с умным и добрым лицом, разливал по пиалам чай и, прикладывая морщинистую, коричневую руку к сердцу, другой передавал пиалы

гостям. Я записывал историю постройки каждого из каналов Бартанга, -- я знал кишлаки Бартанга и хорошо представлял себе, где и как трудились колхозники, прокладывая эти каналы. Я записал больше десятка таких историй, в каждой из которых были свои герои. Я узнал, что все колхозы Бартанга имеют теперь своих техников-ирригаторов и подрывников, что взрывчатка для колхозников теперь самый драгоценный дар, помогающий им творигть чудеса. Я узнал, что на каждый гектар они кладут теперь по двадцать пять -- тридцать тонн навоза и поэтому урожайность их маленьких полей поднялась; что новая агротехника применяется в каждом колхозе; что организация труда с каждым годом становится лучше; я узнал многое о воле к труду и о любви к труду бартангских колхозников, живущих в таких тяжелых условиях, какие колхозники наших полей даже представить себе не могут. Жизнерадостные, доброжелательные, веселые, они знают, что надо делать, чтоб лучше жить, они не требуют помощи, но эта помощь им очень нужна.

Разговор наш был мирным, спокойным, но вот к нам подошел пожилой мужчина в ветхом бартангском глиме. В руке подошедшего была тяжелая горбатая палка, сам он был прям и суров, его здоровое, продубленное солнцем и горными ветрами лицо казалось лицом русского колхозника откуда-нибудь из-под Астрахани или Калуги, -- в этом лице не было ничего "восточного", даже глаза бартангца были голубовато-серыми, губы -- мясисты, нос -- прям и широк, и

только по одежде -- по глиму, по выцветшей, неопределенного цвета тюбетейке да по сыромятной обуви -- пехам в нем можно было определить горца.

Полный достоинства, он поздоровался с Курбан-Ассейновым, и со мной, и со всеми, кто вместе с нами полулежал или сидел на паласе, под добрым тутовым деревом, постоял, послушал наш разговор, а потом грузно сел, положил палку поперек колен, сложил поверх нее свои сильные, заскорузлые руки и, выждав паузу в нашей беседе, оказал:

-- Хорошо!.. Все хорошо у нас на Бартанге! А по-моему, не все хорошо! Я вижу, ты, секретарь, не все приезжему товарищу говоришь. А ты говори ему все, нам от этого польза будет! Если товарищ из Москвы, он так просто глотать слушанное не будет. Он кому надо скажет, ему радиотелефон не нужен, ему бумажку с печатью писать не нужно. Он сам приедет в Сталинабад и приедет в Москву, своим языком расскажет. Пусть там рассудят! Вот! Я пастух, ты знаешь меня хорошо. У нас на Бартанге план сто сорок тонн сена, а мы можем накопить столько? Неправда! Не можем. Шестьдесят тонн -- это хорошо. Семьдесят тонн, это всего больше. Колхозный максимум! Вот!

Он так и сказал: "максимум", и я удивился, откуда на Бартанге стало известно такое слово. Он продолжал:

-- Поголовье скота у нас планируется на сто сорок тонн сена, а косим мы в два раза меньше. Потому -- падеж! Сенокосы вспахали под пашню. Это хорошо? Нет, плохо, если падеж скота. Мы должны расширять люцерну в орошать новые земли, иначе каждый год десять процентов, пятнадцать процентов окота мы будем терять, понимаешь, нехватка кормов! Что получается? Личный скот колхозники продают колхозу, потому что сами не могут прокормить. Это законно? Нет такого закона, неправильно это!

Посмотри на эту гору туда! За горой -- Язгулем, такое же место, как наш Бартанг, в самой верхней части хорошие пастбища есть, долина Рохдзау. Кругом лед, снег, сверху льется вода, внизу, как в чашке, -- кругло, тепло: долина!.. Язгулем, ты знаешь, принадлежит не нам -- Ванчекому району, Ванчский район пастбища Рохдзау отдал Рушану, потому что из Ванча через горы туда невозможно ходить. А ты думаешь, из Рушана возможно? От самого Пянджа, по всему Язгулему вверх надо пройти, а дорога там хуже нашей тропы. Из Рушана скот не ходит туда...

Нам через перевал Биджраф туда день пути. А мы скот гоняем... ты, товарищ, знаешь, что мы скот гоняем к Кара-Булаку, за двести километров, за Сарезское озеро? Мы можем там половину нашего окота держать, пастбище хорошее, но двести километров по такой дороге гонять, как ты думаешь, что от окота останется?

Так что же ты предлагаешь? -- перебил пастуха КурбанАссейнов. -- В Рохдзау тоже нельзя гонять, ведь перевал Биджраф месяца три проходим, остальное время закрыт снегами!

Это правильно! Рохдзау -- тоже нехорошо! -- невозмутимо согласился колхозный пастух. -- Я предлагаю... Я предлагаю скот на машинах к Кара-Булаку возить, и продукты возить на машинах, и самим на машинах ездить! Рохдзау я предлагаю, как временную меру, а потом -- все на машинах, ты слушай меня, секретарь, мы не в старое время живем, чтобы груз на себе таскать. Вьючного скота у нас, сам знаешь, сколько: тридцать лошадей, шестнадцать верблюдов, двести ишаков, а нам надо на Бартанг одной муки сто пятьдесят тонн привезти, нам надо привезти на два миллиона рублей остальных грузов. Мы половину груза таскаем на плечах. Если ты секретарь, ты должен ночи не спать, хлеба не есть, с женой не разговаривать, пока не добьешься, чтобы нам здесь построить дорогу. Большую дорогу. Для сильных машин дорогу! Как везде на Памире, такую! Вот что я предлагаю. А не с этой палкой ходить. Я эту палку внуку

хочу оставить, чтоб он по могиле твоей стучал, если ты не добьешься для нас дороги!

Все рассмеялись, Курбан-Ассейнов тоже. И сказал пастуху сквозь смех:

Когда ты подошел сюда, мы о дороге и говорили!

Не говорить надо, делать дорогу надо! -- сухо и коротко произнес пастух, встал, поклонился всем и, не оглядываясь, пошел дальше.

И смеха как не бывало. Мы все задумались. И мне стало ясно, что когда речь заходит о том, какая же именно помощь нужна Бартангу, то надо говорить прежде всего о дороге. Бартангу необходим пусть хоть очень извилистый, пусть хоть очень опасный и трудный, но автомобильный тракт!

Я не сомневаюсь: эта дорога будет построена.

И тот, кому через немного лет доведется сесть в Мургабе в пассажирский автобус и за один день проехать все двести километров бартангской долины, пусть вспомнит все, что рассказано мною на этих страницах, как сам я теперь, разъезжая на автомобиле по другим районам Памира, вспоминаю длинные и трудные верховые и пешие маршруты, совершенные мною по этим районам четверть века назад, когда ни один автомобиль еще не пробирался на казавшиеся недоступными для колесного транспорта памирские выси.

К этому остается добавить: в 1951 году, в бартангский кишлак Имц, на "Победе", которую вел курган-тюбинский таджик, шофер Одинаев, приехал из Хорога партийный работник В. Е. Медведев. С тех пор автомашины, грузовые и легковые, стали обычным способом сообщения Имца с остальным миром.

Кишлак Имц -- начало пути по Бартангу. От Имца до СиПонджа остается всего тридцать пять километров! От Имца до Кудары -- сто шестьдесят пять!

Молодость

Сначала мы ходили по саду, по тому колхозному саду, что расположен под конгломератовою стеною древней речной террасы, -- садовник Ясаки-Муборак Кадамов, житель Си-Понджа, член колхоза "Большевик", худощавый, бородатый, степенный, и две молодые учительницы средней школы имени Сталина. Одна из девушек -- рушанка Зулейхо Тахойшоева, комсомолка, окончившая педагогическое училище в Хороге, была учительницей второго класса. Вторая -- Назар-Малик Шабозова, член партии **с** трехлетним стажем, родилась в СиПонджe, училась в Си-Понджe, а сейчас, уча школьников четвертого класса по всем предметам, сама продолжает учиться: она заочница Хорогского педагогического училища.

Обе девушки, загорелые, здоровые, носили, по бартангскому обычаю, красные шерстяные косы, которые были вплетены в их собственные косы, скинутые с плеч на грудь... Такие привязные косы -- кюльбитс -- сбрасываются вперед только девушками. Замужние молодые женщины закидывают их за спину; пожилые замужние женщины вместо красных кос вплетают черные и тоже носят их за спиной, а вдовы перекидывают свои черные привязные косы вперед. Это древний обычай, соблюдаемый и поныне не только на Бартанге, но и в некоторых других районах Горного Бадахшана.

Обе молодые учительницы были одеты и украшены по всем бартангским правилам: от белого платка, называемого на Бартанге и в Рушане -- циль, а в Шугнане тит, наброшенного поверх п а к к о л (узорчатой тюбетейки), до красных ситцевых шальвар (по-бартангски т а м б у н, по-таджикски лозме и изор), от черных с красными вкраплениями бус (цемак), плотно охватывающих горло, до больших ожерелий, спускающихся к животу (с о х г и) и отличающихся от обыкновенных ожерелий (марджони) именно своей длиной, до латунных браслетов, что называются у таджиков дастбанда, ау бартангцев парзист, и колец (ч и л л я -- по-бартангски и по-шугнански, или по-таджикски).

Обе девушки были хороши и естественны в своих национальных платьях, свободно облегающих фигуру и не мешающих вольным и плавным движениям.

Они ходили со мной по саду, слушая объяснения садовника Ясаки, а когда он заметил, что они устали, он сорвал огромную спелую дыню и, предложив нам сесть на траву, взрезал ее кривым ножом.

И как раз подоспел председатель колхоза "Большевик", тридцативосьмилетний, но, к сожалению, малограмотный, окончивший только ликбез, Ак-Назар Сафаров, член партии с тридцатого года, комсомолец с 1925 года. Для Бартанга это огромный, удивительный стаж, потому что в те годы партийцев и комсомольцев на Бартанге, за единичными исключениями, не было. Ак-Назар Сафаров, преданнейший советскому строю и Коммунистической партии человек, сделал очень много для населения Бартанга. И будь он более грамотным, сделал бы еще больше!

Председателем колхоза он избран в 1938 году, и никто не скажет, что он плохо руководит колхозом: уважение, которым он пользуется, искреннее и всеобщее, потому что он был и остается новатором.

26 П. Лукницкий

Это его идея была -- создать в Си-Пондже колхозный сад. Это он самолично учил на практике премудростям садоводства Курбона Бахтаалиева, который сейчас пришел с ним и сел возле меня и с аппетитом ест протянутый ему садовником Ясаки ломоть дыни. И молодой ученик председателя, Курбон Бахтаалиев, -- ему и сейчас-то всего двадцать пять лет, -- был выбран бригадиром садоводческой бригады уже в 1948 году; перед тем, после окончания семилетки, он был бригадиром по зерну.

Мы ели дыню. И ели персики, принесенные нам в тюбетейке садовником Ясаки, и вставали, и осматривали деревья и их плоды, и присаживались снова, и постепенно я все узнавал о саде.

Прежде в Си-Пондже было, например, только два сорта абрикосов: "сафэдак" и "цоузнуляк". Других не было. В 1948 году из Хорогского ботанического сада были привезены саженцы лучших сортов: "мамури", "руми", "чапарак", в 1950 году -- "раматуллоэ" и "гуро-и-балх". Все эти сорта стали вызревать в саду, кроме единственного невызревшего сорта, называемого "хинакнош". В этом году посадили пятьсот абрикосовых деревьев, а всего в саду больше трех тысяч.

Персиков в саду -- сорок деревьев, трех сортов, вызревающих один после другого, яблонь триста, а среди них питомцы Ботанического сада "гуломади" и "самарканды" -- сорта, которых прежде здесь не было. Тутовых деревьев -- пять тысяч, а старых в этом саду было всего семьдесят штук. Старые были трех сортов -- "аслитут", "бедона" и "чаудуд". Все семь новых сортов, дающих теперь здесь отличные урожаи, доставлены из Ботанического сада. Это "шатут", "чаудуд", "тыыр-дуд", "нирдуд" и другие. Все пять тысяч деревьев, кроме посаженных в последние три года, дают плоды, -- ведь тутовник дает плоды на четвертый год. В этом году из Хорога привезено шестьсот саженцев и из питомника, что есть теперь в семи километрах выше Си-Понджа, в Дарджомче, -- четыреста саженцев, и все пошли хорошо.

Тутовник в Си-Пондже теперь нужен и для шелководства, которое стало развиваться на Бартанге с 1938 года, но тогда общественного шелководства здесь еще не было, появлялось только личное, в отдельных хозяйствах. Колхозное шелководство на Бартанге началось с 1951 года, началось оно с тридцати коробок грены, из которых выращено и сдано было девятьсот пятьдесят килограммов коконов. В 1952 году было тридцать восемь коробок грены, и к тому сентябрьскому дню, когда я осматривал этот сад, сдана была ровно тонна коконов, а надлежало сдать по плану еще четыреста килограммов. Выкормка червей пока производится колхозниками на дому, общественной червоводни здесь еще нет, но дело развивается все успешнее, и председатель колхоза заверил меня, что на следующий год

на Бартанге будет построено три червоводни: в Си-Пондже, в Висау, в Дарджомче.

Груш в саду -- двадцать, они росли здесь и раньше; грецкого ореха в

Си-Пондже было шестьдесят деревьев, из них два росли прежде тут же, в саду, а осталось всего тридцать -- остальные деревья погибли. Дыни и арбузы созревали в СиПондже издавна, но с 1950 года, когда из Хорога, из Поршнева, из Рушана колхозники стали доставлять сюда семена улучшенных местных сортов дынь -- "андалак", "тукча", "дурух-дуст", дынь стало не только больше, но они стали вкуснее, сочнее. Завезен сюда и кормовой сорт арбуза (длинный), которого здесь прежде не было.

В 1948 году завезена сюда была первая слива (тэрмива), которая прежде росла только в ишанском саду в Падрузе. Теперь сливовые деревья размножены, их уже полсотни, но плодоносит пока только одна -- черная слива. В колхозных огородах Си-Понджа есть теперь помидоры, капуста, морковь (зардак) и никому неведомая здесь прежде свекла (ляблябун), лук и два гектара картофеля. Все эти огороды впервые появились перед Отечественной войной.

-- С апреля мы хотим все пахать, -- объяснил мне председатель колхоза, -- пахать под деревьями, а межи убрать; хотим убавить декоративных деревьев, на их место посадить плодовые; хотим создать новый сад на той стороне реки, пересадить туда деревья из загущенных мест; раздадим много деревьев другим колхозам из наших питомников. Все это мы делаем под руководством нашего местного агронома Аюба, который родился в Рушане, а теперь живет здесь. К нам теперь часто приходит и агроном из области, а постоянно нами руководит здесь начальник райсельхозотдела, -- он живет здесь, рядом с садом, в Си-Пондже... Вот так мы работаем здесь, всего этого не было раньше, -- ни. сада, ни огородов, ни агрономов, ни колхоза, ни воды, ни семян, ни саженцев, ни орошенной этой земли. Мы создали этот сад по инициативе райкома и исполкома, мы решили это дело на правлении и на общем собрании колхозников, мы всем колхозом занимались садом в первый, 1948 год. А теперь каждый год мы выбираем садовую бригаду, -- вот теперь работает бригада Курбона Бахтаалиева, но у сада есть свой постоянный садовник, -- вот он, Ясаки, а у бригады, кроме этого сада, есть и другие сады, в других кишлаках колхоза. Беда наша только в том, что мы не можем реализовать урожай, потому что вывоз фруктов отсюда невозможен, -- некуда вывезти их для продажи... Вот колхозы Ванча вывозят на машинах свои фрукты в Хорог, а что делать нам без дороги? Если б хоть до низовьев Бартанга возить, до Шуджана, там у парома можно было бы открыть чайхану...

Опять -- в который раз! -- разговор о дороге!

Из сада я иду к зданию средней школы. Хорошее здание, и мне удивительно, что школа в Си-Пондже не начальная, не семилетка, аполная средняя, то-есть десятилетка! Здание школы построено в 1935 году -- сначала в нем был интернат. Сейчас с интернатами дело обстоит плохо, считается, что раз население живет теперь зажиточно, то интернаты не обязательны, поэтому, несмотря на просьбы бартангцев, на это дело министерство не отпускает средств. И все-таки интернаты в других районах Горно-Бадахшанской области существуют. Они есть в Мургабе, на Ванче, в Ишкашиме, в Шугнане; на Гунте, например, в кишлаке Дебаста. Там всюду, кстати, есть теперь и автомобильное сообщение. А вот на Бартанге интерната нет. И это неправильно: кишлак от кишлака отстоит далеко, зимою сообщение между кишлаками вообще прерывается, где же жить и где питаться школьникам старших классов, которые учатся в средней школе Си-Понджа, собираясь сюда со всего Бартанга? Хорошо, колхозники Си-Понджа распределили их по своим семьям, приютили их, школьники сыты, обуты, одеты, но не потому, что о них позаботилось министерство народного просвещения, а потому только, что колхозники Си-Понджа -- советские люди, которые не могут не помочь им учиться. Но такая практика не способствует ни успешности обучения школьников старших классов, ни привлечению детей этого возраста в школу, потому что не все родители охотно отпускают своих детей, особенно девочек, в чужой дом, в Си-Пондж, где нет интерната!

После посещения школы я разговаривал в райкоме партии с одним из его работников. Он сказал мне:

-- Интернаты нужны нам и для младших классов, для начальных школ. По плану народного хозяйства в начальных школах можно открывать класс, если для него есть не меньше шестнадцати детей. Это у нас называется "классокомплект". Что? Вы удивляетесь этому слову. Не по-русски? Ну, я таджик, я знаю, что это не по-таджикски, а по-русски ли это -- вам видней... Да, так я продолжаю: а у нас -- бездорожье. Особенно зимой трудно нам. Обвалы, полная изоляция, даже взрослые не могут никуда выходить из своих кишлаков. А уж, конечно, можно ли выпустить из кишлака детей! И потому на каждый класс во многих школах у нас имеется всего шестьсемь детей. По закону мы не можем открыть класс, но тогда дети останутся без учебы... Мы пока пооткрывали классы, но боимся ревизора...

Мой собеседник помолчал. Потом, хитро прищурив глаз, посмотрел на меня:

-- Впрочем, пока ревизор доберется к нам, наши дети,

пожалуй, успеют окончить школу!.. К нам не очень-то ездят сюда работники, даже из обкома. А уж из министерства вообще никто никогда не бывал!..

... В восьмом, девятом и десятом классах си-понджекой школы в год моего посещения было семьдесят два ученика, из них двадцать девочек. Старшие эти классы в школе существуют с 1950 года, до того школа была семилетней. В числе тринадцати учителей школы три учительницы -- таджички, одна -- русская; большинство учителей имеет неполное высшее образование, которое получали в Хороге, в Самарканде, в Сталинабаде. Директор школы Соиб-Назар-Давлят Мамадов, из кишлака Раумид на Бартанге, два года учился в Сталинабадском педагогическом институте и теперь продолжает учиться в нем заочно.

Кроме этой десятилетки, в кишлаках Бартанга есть еще шесть семилетних и двенадцать начальных школ, -- это значит, что на всем протяжении до сих пор труднодоступной долины не найти колхоза, в котором не было бы примерно двух школ или в среднем по одной школе на каждый кишлак, хотя бы находящийся в почти неприступных ущельях.

Окружившие меня учителя и ученики школы охотно назвали мне всех бартангцев, уже имеющих высшее образование. Среди них Нодыр Карамхудоев из Раумида, учитель, окончивший литературный факультет педагогического института в Сталинабаде; Карам Шодыев из Си-Понджа -- учащийся в высшей партийной школе в Москве; Абдул-Ассейн Кульмамадов из Раумида, оканчивающий Центральную комсомольскую школу в Москве; двенадцать человек учатся в Сталинабадском педагогическом институте, один -- в республиканском университете, девять -- в сельскохозяйственном институте, трое -- в медицинском институте, трое в юридической школе, в разных техникумах -- больше сорока человек!

И это люди того самого Бартанга, о неприступности, дикости, отдаленности которого даже на самом Памире еще недавно ходили легенды!

Я побывал на занятиях в школе, послушал толковые ответы смышленых, быстроглазых учениц и младших и старших классов, послушал отрывок из книги Ильина "Наша Родина", прочитанный перед доской шестиклассницей Алиоровой, -- она держала книгу двумя руками, стоя, немножечко запинаясь от смущения, чистенько, по-городски одетая. А потом пересказывала прочитанное; и на вопрос, чем богата наша Родина, отвечала: "алюми", желая сказать "алюминием"; "светные металлы", желая сказать "цветные", но это были ошибки произношения, а по существу ее ответы были обстоятельны, правильны и толковы.

И когда орава детей, веселых, щебечущих, здоровых, чисто и опрятно

одетых, провожала меня до середины кишлака СиПондж, и аллеи, по которым мы шли, были наполнены радостным детским щебетом, и когда дети по-хозяйски рассаживались под деревьями, требуя, чтоб я их сфотографировал, и лезли ко мне на колени, чтоб я и сам с ними сфотографировался, я думал о том Бартанге, который впервые посетил в 1930 году, -- заповедном горном крае, в ту пору еще не избавившемся от голодовок, нищеты, болезней, невежества, предрассудков и суеверий...

Теперь здесь все было иначе. И только дороги, широкой, спокойной автомобильной дороги сюда, среди диких скал, все еще не было... Но она будет!..

Об одном постановлении

Уже когда этот очерк был мною написан, я узнал, что постановлением Верховного Совета Таджикской ССР Бартангский район в Горно-Бадахшанской автономной области ликвидирован -- он слит с Рушанским районом. Таким образом, СиПондж перестал быть районным центром. Отныне там будет только сельский Совет.

Вероятно, для такого решения у правительства Таджикистана есть веские основания. Об одном хочется мне предупредить работников Горно-Бадахшанской области. Пусть в своих сводках они не пишут теперь, что на Памире нет ни одного района, куда не были бы проложены автомобильные дороги. Такая формулировка оказалась бы удобной лазейкой для бюрократов и формалистов: "На Бартанг дороги нет?.. Позвольте, позвольте же, такого и района на свете не существует!.. " Нет! Пусть будет иначе. Пусть работники области сделают так, чтоб иметь право сказать: "У нас в области нет ни одного сельсовета, куда не мог бы проехать автомобиль". И пусть прямо говорят: какую заботу область проявляет о долине Бартанга и об ее жителях?

Потому что люди Бартанга -- живые, энергичные, жадно стремящиеся к знаниям и к культуре, борющиеся за коммунизм, как и люди всех других районов Советской страны. Они заслужили неподдельного к себе внимания, искренних о себе забот и ничем не затуманенного светлого будущего!

Они заслужили большего, чем восемь строк в Большой советской энциклопедии!

ГЛАВА XII. СТИХИЯ ГОР

Сарез до 1911 года

Что же произошло там, где ныне почти на шестьдесят километров в длину простирается одно из высочайших и глубочайших в мире озер -- Сарезское озеро?

До **1911** года этого озера не существовало. Спокойно, в глубоких обрывистых берегах, на огромной высоте над уровнем моря текла памирская река Мургаб. Пройдя половину Восточного Памира под киргизским названием Ак-су

("Белая вода"), получив неподалеку от Поста Памирского новое, таджикское название Мургаб (от "Мург-об" -- "Птичья вода"), эта река ниже кишлаков Усой и Сарез, там, где в нее вливается мощная Кудара, вступала в дикие скалистые теснины и получала третье название -- Бартанг (что, как я уже говорил, значит: "Высокая теснина").

По долине реки пролегал в древние времена трудный торговый путь между странами Юго-Западной Азии и Китаем.

О том участке Мургаба, где ныне тянется Сарезское озеро, известно было немного. Местность эта среди народов Памира называлась Сарез-Памир, так же как другие высокогорные долины назывались Аличур-Памир, Хоргоши-Памир, Таг-Думбаш-Памир и т. д., то-есть носили собственное название с добавлением слова "Памир", которое обозначало высокогорность района и, по мнению некоторых ученых, было подобно слову "сырт", в ином значении употребляемому в других местах.

Маленькие кишлаки Усой, Ирхт, Сарез были последними верхними таджикскими кишлаками долины Мургаба. Выше начинались кочевья восточнопамирских киргизов. Неподалеку от кишлака Сарез, на древней речной террасе высилась старинная крепостца.

Эти кишлаки располагались у крайних пределов земледелия и плодоводства. Выше -- по долине Мургаба -- зерновые и плодовые культуры вызревать уже не могли, древесная растительность также кончалась, долина Мургаба превращалась в местность, подобную всем долинам Восточного Памира, -- пустынную, каменистую, только вдоль русла реки покрытую типчаковыми и мятликовыми травами да мелкорослыми, характерными для высокогорья "полукустарничками" и "подушечниками"...

В сообщениях первых изучавших Памир ботаников встречались такие фразы: "абрикос разводится на высоте до 8 500 и даже до 9 000 футов (Сарез на Бартанге)".

Сразу окажем: после того как этот "верхний предел земледелия" оказался глубоко под водой, вблизи озера в растительном мире Мургаба произошло интересное явление. О нем в 1951 году сообщает ботаник А. В. Гурский:

"... Дорога закрылась, и значительные территории в районе впадения р. Мургаб в Сарезское озеро оказались изолированными от человека с его животными. Здесь возникли молодые тополево-ивовые леса на площади 1 200--1 500 га. Возраст деревьев этих лесов около 30 лет, то-есть полностью совпадает с возрастом Сарезского озера".

О том, что было там, где ныне, на полукилометровой глубине находится дно Сарезского озера, есть свидетельства двух путешественников.

Первым из них был пионер русской геологии на Памире Д. Л. Иванов, в 1883 году совершивший маршрут по дну будущего Сарезского озера. Дав геологическую характеристику района, он так описывает долину:

"Следует оказать вообще про характер долины Мургаба и про его дороги. Редко здесь выдается узкая полоска или терраска с тугаем или сазом, с ровной и плотной почвой, по которой спокойно можно ехать, не следя за дорогой и лошадью. Большей частью дорога идет по осыпи (чаще крупной) или завалу, что крайне утомительно и опасно для лошадей. Но и это еще ничего, если бы не частые крупные изгибы реки, причем она бросается от берега к берегу, подмывая скалы, и дорога останавливается перед небольшим носом, спускающимся круто в реку. Большие скалы -- редкость; большинство -- весьма невелико (одна из больших 40 м над рекой), но одолеть их редко можно и то с необыкновенным трудом... "

Следующим путешественником, проходившим мимо кишлака Сарез и определившим здесь некоторые высоты, **был**

в 1889 году Б. Л. Громбчевский, известный русский исследователь Канджута и других стран Центральной Азии. В 1897 году здесь проходил ботаник С. И. Коржинский, а через три года после него, направляясь к Бартангу по дну

будущего озера, прошел профессор Варшавского университета магнитолог Б. В. Станкевич. Вот что пишет он об этом отрезке своего трудного и большого маршрута:

"... Дойдя до устья Б. Марджаная (против таджикского кишлака Сареза), мы повернули вниз по левому берегу Мургаба (который представляет из себя здесь уже могучую реку) и заночевали в урочище Гооп-Шабар, в трех верстах от Сареза. Переход этого дня (22 июня) был всего лишь в 25 верст, что обусловливалось трудностями пути по ущелью Марджаная... "

Добавлю от себя, что под устьем Б. Марджаная путешественник имел в виду устье Уй-Суйда, как называется река, текущая от перевала Большой Марджанай, и что урочище Гооп-Шабар теперь на дне озера.

"... В Гооп-Шабаре мы разочли сопровождавших нас киргизов -- погонщиков вьючных лошадей. От Гооп-Шабара были наняты на один переход (до Шундеруя) лошади таджиков...

... 23 июня мы следовали левым берегом Мургаба вниз по течению. Первые пять верст пройдены легко. Между 5-й и 10-й верстой от Гооп-Шабара Мургаб сдавлен тесниной, и течение его очень извилисто; эти 5 верст пути достались нам довольно трудно: пришлось проезжать верхом и проводить вьючных лошадей по узким и опасным карнизам. Против этого участка реки, с высокого горного хребта, который тянется по левому берегу Мургаба, спускается мощный ледник. На 12-й версте от Гооп-Шабара в Мургаб впадает слева довольно значительная речка, которую таджики называют Лянгар.

Идя вверх по этой речке, можно достигнуть перевала, ведущего в долину р. Гунт. Около устья Лянгара нам пришлось покинуть на время берег Мургаба и совершить порядочный обход, в форме приблизительно полукруга, через довольно высокий перевал: по берегу Мургаба в этом месте пробраться было невозможно, по крайней мере в данное время года. Мы прошли сперва несколько сот сажен вверх по речке Лянгар, а затем покинули ущелье речки и начали Подниматься на перевал. Подъем на этот перевал идет громадными уступами: он представляет ряд высоких круч, разделенных несколькими плато. Кручи едва доступны для лошадей. С верхнего плато (очень обширного) хорошо виден ледник, о котором упомянуто выше. Над плато возвышается со стороны Мургаба довольно крутой гребень, через который нам также предстояло перевалить. В высшей точке перевала (на гребне) анероид показал 460 м. Отсюда начали мы спускаться к Мургабу. Спуск представляет

три оката, разделенных двумя плато. Верхний скат -- самый высокий и крутой.

Спустившись к Мургабу, мы очутились как бы на дне глубокого колодца: небольшая площадка на левом берегу Мургаба окружена с трех сторон очень высокими и почти отвесными утесами; на противоположном берегу высятся почти такие же отвесные кручи. Это характерное место, лежащее несколько ниже (по Мургабу) кишлака Усоя (который мы миновали при обходе через перевал), таджики называют Шундеруй.

Мы опустились в Шундеруй около 8 час. вечера, сделав в этот день 30 верст (по показанию "шагомера", на карте расстояние Шундеруя от Гооп-Шабара по прямой линии составит всего каких-нибудь 10 верст)".

Путь, каким шел Станкевич, стал после образования Сарезского озера, невозможным.

Других путешественников, которые проходили бы мимо кишлаков Усой и Сарез до самого дня катастрофы, я не знаю.

Усойский завал

В ночь на 19 февраля 1911 года (по н. ст.), в 23 часа 15 минут, склон гигантской горы, возвышающейся примерно на три километра над долиной Мургаба, внезапно сдвинулся с места и с потрясающим грохотам, колебля земную кору в пределах Памира и Афганистана, соскользнул в долину Мургаба. Этот грандиозный обвал был вызван землетрясением.

Если бы здесь был огромный город, его не увидел бы больше никто никогда. А был здесь только маленький бедный кишлак Усой с сотней жителей, с их тощей скотиной, с их домами, сложенными из ничем не скрепленных, неотесанных, остроугольных камней. Два миллиарда двести миллионов кубических метров камня обрушилось на этот кишлак -- достаточно было бы и тысячи кубометров, чтобы он бесследно исчез.

Шесть миллиардов тонн горных пород образовали стену высотою в семьсот-восемьсот метров и шириною в восемь километров.

Ближайшие кишлаки Рухч, Савноб, Пасор, Нисур были разрушены от сотрясения, в развалинах погибли люди и скот. Сильно пострадали кишлаки Барчидив, Сарез, Ирхт... А на далеком отсюда озере Каракуль вскрылся ледяной покров.

Очевидец катастрофы, случайно уцелевший житель Усоя, Миршоиб Гургалиев, сохранил впечатления от пережитого тогда на всю жизнь. Через сорок лет, уже шестидесятидевятилетним стариком, он рассказывал побывавшему на Сарезе топографу О. Г. Чистовскому:.

"Кишлак Усой располагался на высокой террасе, в теснине, на правом берегу Мургаба. В феврале 1911 года я с друзьями Нашмитом Карамшоевым и Сул; маматом Карамхудоевым отправился на праздник в кишлак Сарез, который находился в двадцати километрах от Усоя на правом берегу Мургаба. И вот в один из праздничных дней произошло землетрясение... Мы почувствовали сильный толчок. Прошло несколько минут -- земля содрогнулась еще от двух толчков такой же силы. Все население Сареза выскочило из кибиток, которые со вторым толчком стали разрушаться, но человеческих жертв в Сарезе не было.

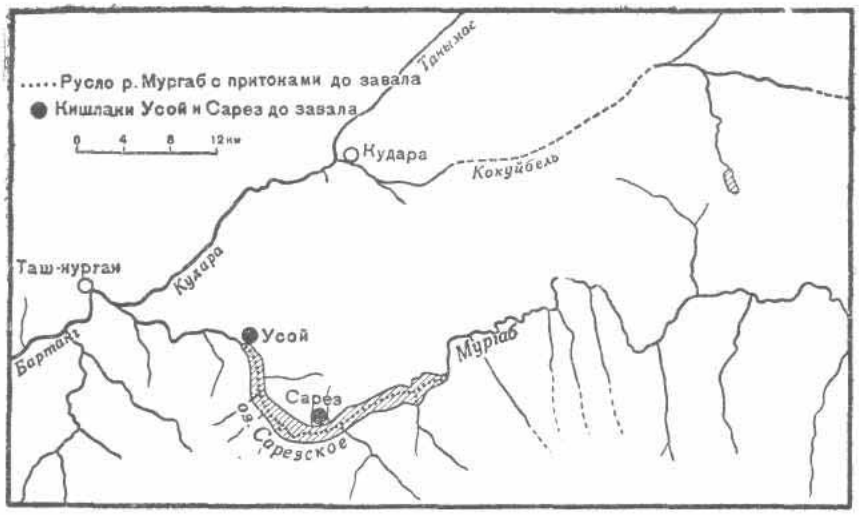
В это время в районе селения Усой стали рушиться скалы. Моментально поднялась плотная завеса пыли и скрыла от нас Усой. Пыль над селением стояла несколько дней. Только через три дня стало возможным пробраться к тому месту, где был Усой. Никакого следа от кишлака не осталось. Погибли все жители, которые находились в Усое во время обвала... "

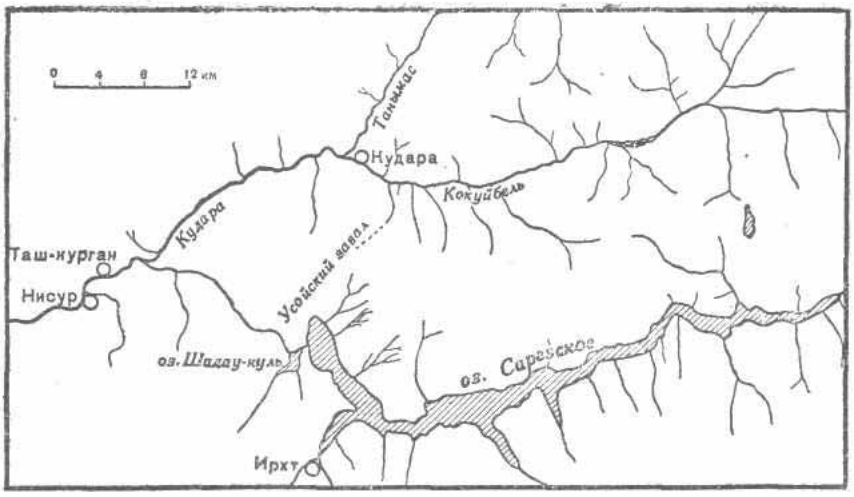
Эту катастрофу геологи назвали Усойским завалом.

Запруженная многоводная река Мургаб уперлась в почти километровую стену. Воде, прошедшей весь Памир, некуда было деваться. Она поднималась все выше, образуя огромное озеро. К октябрю 1911 года, разлившись на двадцать километров, вода стала заливать и раскинутый на высокой террасе кишлак Сарез. Тридцать две семьи переселились в кишлаки по реке Гунт. Несколько семей направилось в долину Кудары. Кое-кто ушел на Бартанг. Миршоиб Гургалиев обосновался в Пасоре.

Озеро разливалось все дальше, поглотило все посевы, сады, все, что было в долине. В 1913 году начальник Поста Памирского капитан Г. А. Шпилько, пробравшись к почти неприступным берегам озера, обследовал его и с огромным трудом произвел топографическую съемку. К этому времени длина озера была двадцать восемь километров, средняя ширина около полутора километров, наибольшая глубина двести семьдесят девять метров. Вода все прибывала, уровень озера ежесуточно увеличивался на тридцать шесть сантиметров. Уже были затоплены кишлак Нисор-Дашт, находившийся на реке Мургаб, и кишлак Ирхт -- в устье его притока. Часть населения этих кишлаков переселилась на Бартанг, часть ирхтцев, поднявшись в верховья реки Ирхт, основала там новый маленький кишлачок. На месте прежнего кишлака Ирхт образовалась глубокая бухта.

Местному жителю, таджику Ниязу Кабулову, капитан Шпилько предложил поселиться на завале и производить постоянные наблюдения за уровнем озера, делая отметки на восьми поставленных в разных местах рейках. Для Нияза





Район Сареза до и после завала (по схеме П. П. Чуенко).

На верхней схеме пунктиром показаны река Мургаб до завала и озеро, таким, каким оно стало к 1913 году. На нижней схеме: озеро в 1934 году.

Кабулова был построен маленький домик. Прибывавшая вода в первый же год поглотила все восемь реек, только в следующие годы уровень озера начал повышаться медленнее.

Первые сведения об озере, названном Сарезским, проникли в печать. В "Туркестанских ведомостях" 3 ноября 1913 года было опубликовано сообщение "Экспедиция для исследования Сарезского озера".

В этом сообщении было много фантастики. Капитан Г. А. Шпилько опубликовал в тех же "Туркестанских ведомостях" письмо в редакцию, в котором сообщал проверенные им, точные данные. В следующем году статьи Шпилько были опубликованы в "Известиях Русского географического общества".

В том же году об Усоиском землетрясении и его последствиях сообщил в "Русских ведомостях" путешествовавший по Памиру ботаник Д. Д. Букинич, а с 1914 года после статьи Шпилько в "Известиях Русского географического общества" и других сообщений весть о новом, феноменальном озере облетела весь мир, им заинтересовались, о нем писали крупнейшие ученые, такие, как В. Н. Вебер и Л. С. Берг.

Упорно воюя с завалом, вода озера начала просачиваться сквозь

пятикилометровую толщу плотины. В апреле 1914 года профильтрованные чистейшие ключи забили с другой ее стороны. Сливаясь в один поток, они родили новую реку, -- соединившись с текущей из танымасских ледников Кударой, река снова стала называться Бартангом. Пенная, бурлящая, холодная, она неслась вниз по извивающемуся ущелью, чтобы в двухстах километрах ниже слиться с водами могучего Пянджа.

Один за другим к озеру стали стремиться различные путешественники.

В 1915 году, побывав на озере, сделав новую съемку и некоторые наблюдения, вернулся в Петербург и выступил с подробным докладом об озере И. А. Преображенский. Его доклад в Географическом обществе обсуждали крупнейшие ученые: К. И. Богданович, Д. И. Мушкетов, Д. Д. Букинич... Много говорилось об угрозе прорыва озера сквозь плотину. Но до Октябрьской революции, кроме отдельных путешественников, устремлявшихся к озеру на свой страх и риск (и даже не всегда способных до него добраться), никто больше им не интересовался.

А оставленный у озера наблюдатель Нияз Кабулов, неграмотный, не сведущий в науке, но преданный порученному ему делу, еще несколько лет продолжал отмечать на новых рейках повышение уровня озера. Вода давно смыла отстроенный для него домик. Он жил в ближайшем кишлаке и, приходя к завалу, каждый раз наблюдал, как уровень поверхности озера становится все ближе к гребню завала...

Советские исследования на Сарезском озере

Первая научная экспедиция на Памир после Октябрьской революции состоялась в 1923 году. Это была экспедиция ташкентского географа Н. Л. Корженевского, уже не раз бывавшего на Памире. В экспедиции участвовала ботаник И. А. Райкова, впоследствии ставшая крупным ученым.

Экспедиция достигла и Сарезского озера, произвела на его берегах ряд наблюдений.

В 1925 году топограф В. С. Колесников, побывав у озера, увидел бьющую из-под плотины огромную реку: из озера вытекало семьдесят восемь кубометров воды в секунду.

Озеро, поверхность которого находилась на высоте 3 400 метров над уровнем моря, быстро росло, угрожая жителям Бартанга новой грандиозною катастрофой. Если бы вдруг прорвалась плотина, миллионы тонн воды Сарезского озера, хлынув вниз по ущелью, чудовищным валом смыли бы все кишлаки Бартанга и понеслись бы дальше, уничтожая все живое по берегам Пявджа, вплоть до Термеза. Десятки тысяч людей погибли бы от этого "каприза природы".

А толком никто ничего о Сарезе не знал. Длина озера увеличивалась с тридцати до сорока, до пятидесяти километров. Пробраться к озеру становилось все труднее, потому что его воды омывали теперь исключительно крутые, а местами отвесные скалы. Эти колоссальные скалы возвышались над поверхностью озера на два с половиной километра по вертикали; врезаясь в кристально-чистую зеленоватую воду, они столь же круто или отвесно уходили в ее глубину, и эта глубина с каждым годом все увеличивалась.

Среди советских ученых, в советских гидрологических организациях росла тревога. Надо было принимать срочные меры.

В мае 1926 года на пленуме Средазэкономбюро состоялось обсуждение вопросов, связанных с организацией постоянного наблюдения за Сарезским озером. В том же году к озеру проникли известный гидролог О. К. Ланге и топограф Тейхман, которым была произведена фототеодолитная съемка озера в масштабе 1: 50 000.

Через два года, когда для изучения Памира впервые была организована крупная экспедиция Академии наук СССР, О. К. Ланге вновь побывал на озере вместе с несколькими другими учеными. Впервые зародилась мысль об организации на берегу озера постоянно действующей гидрометеорологической станции.

Но до осуществления этой идеи было еще далеко. Географические условия оставались исключительно трудными.

В январе 1929 года состоянию Сарезского озера было посвящено заседание Средне-Азиатского географического общества. Летом того же года с перевала Кара-Булак к озеру спустился геолог Г. Л. Юдин вместе со своими сотрудниками Е. Г. Андреевым и М. М. Лавровым. Они зафиксировали новое положение головы Сарезского озера. В 1930 году к озеру пыталась проникнуть экспедиция В. А. Афанасьева, организованная Госпланом Узбекистана. Она не добралась до озера, но ей удалось направить туда водомерщика, местного жителя. С октября того года на озере возобновилась водомерная работа: старик водомерщик делал отметки четыре-пять раз в месяц, кроме зимнего времени, когда на озере образуется лед толщиною до одного метра.

Отправляясь в 1931 году вместе с Юдиным на Памир, я заказал в ленинградском яхт-клубе лодку, на которой мы рассчитывали совершить плавание по Сарезскому озеру. Эта лодка была привезена в Ош, но навьючить на верблюдов ее не удалось, а иного способа перебросить ее от Оша к Сарезскому озеру не было. Лодку пришлось оставить в Оше. В 1932 году, пользуясь широкими возможностями Таджикской комплексной экспедиции, Юдину удалось добыть и доставить к Сарезскому озеру легкую парусиновую байдарку. Юдин и его спутник вдвоем проплыли на этой багвдарке от самого Усойокого завала до головы озера, то-есть прошли его по всей длине -- больше семидесяти километров. Это было первое плавание по Сарезскому озеру!

Работая веслами, на большой высоте, почти в три с половиной тысячи метров (над уровнем моря, борясь с сильным ветром и волнами, ежеминутно рискуя перевернуться, Юдин и его спутник не имели возможности произвести даже глазомерной съемки новых участков долины, к этому времени захваченных озером. Пришлось ограничиться геологическими наблюдениями.

Группа гидроэнергетика Караулова

Планомерное изучение Памира, начатое Таджикской комплексной экспедицией, в 1932 году охватило и бассейн Сарезского озера. Здесь производил магнитную съемку отряд И. Д. Жонголовича. Сюда был направлен начальник гидроэнергетической группы инженер Н. А. Караулов.

Он должен был подробно обследовать озеро и вывести заключение: угрожает ли плотина прорывом? Он должен был также решить: возможно ли использовать в будущем водную энергию озера для строительства гидроэлектростанции?

К 1932 году озеро простиралось почти на семьдесят пять километров. Все то, что было узнано о нем отдельными, с величайшим трудом проникавшими сюда исследователями, было ничтожно малым, почти ничего не определяющим знанием.

Николай Александрович Караулов, один из крупнейших специалистов в Советском Союзе, человек тихий, нервный, самоуглубленный, никак не альпинист, не спортсмен, должен был в Таджикской комплексной экспедиции изучить все главные реки Таджикистана. Его сотрудники разбрелись по разнообразнейшим направлениям. Сам он со своим братом, специалистом по линиям электропередачи, и с одним сотрудником двинулся на Памир и после долгих, тяжелых странствий верхом и пешком добрался до Сарезского озера. Он окреп, загорел, закалился за это время. Он, как и все, научился спокойно рисковать своей жизнью на переправах, на кручах, на льду. Поставив маленький лагерь на крутом берегу озера, он спокойно занимался метеорологией, гидрологией, топографией, -- на любом камне раскладывал свои схемы и чертежи, углублялся в вычисления и расчеты так, словно сидел за большим столом у себя в кабинете.

Выл ветер, полыхал языками костер, мороз пробирался за воротник и рукава овчинного полушубка, а Николай Александрович обсуждал со своим братом: можно ли здесь, на Сарезском озере, построить гигантскую гидроэнергетическую станцию? Ведь если пустить воду Сареза в турбины, просачивание сквозь плотину прекратится, опасность прорыва исчезает.

Турбины!.. Гидростанция на Сарезе!.. Какому фантазеру может явиться в голову такая идея?

Когда незадолго перед появлением на озере Караулова Юдин, рассуждая об озере, усмехнувшись, оказал мне: "Вот бы построить здесь гидростанцию!" -- оба мы рассмеялись: эта мысль показалась нам фантастической.

Но фантазия в трезвом уме гидроэнергетика Караулова облеклась в цифры. Он слишком хорошо знал, сколько его фантазий за предшествующие годы претворилось в реальное дело. Его работа должна была пригодиться не в ближайшем будущем, а в то время, когда Памир окажется настолько освоен, что и электрическая энергия понадобится там в большом количестве. И теперь на диком, почти недоступном берегу Сарезского озера он разговаривал со стариком таджиком, который с 1930 года жил здесь в жалкой каменной лачуге и производил простейшие, но регулярные наблюдения над уровнем воды, над состоянием погоды.

Старик ничего не знал об остальном мире. Старик бывал только в Хороге, -- там его научили отсчитывать деления на рейке, записывать арабским алфавитом даты своих наблюдений. Старик, в оборванном халате, со спутанной бородой,

с глубоким убеждением, что озеро создано дэвами -- духами гор, честно и аккуратно делал то, что ему поручили. Он сам не понимал цены своим записям, он просто относился к ним с благоговением, веря ученым, оказавшим ему, что его работа -- великое дело, что от нее зависит благополучие живущих по Бартангу людей.

Но в уме Караулова эти цифры заговорили иначе. Они помогли ему рассуждать.

И Караулов рассуждал так:

"... Фильтрация вызывает угрозу размыва? Надо, значит, устранить фильтрацию. Как это сделать?.. Снизить горизонт озера... А это как сделать?.. В самом деле, как опустить горизонт? Сбросить лишнюю воду. Как и куда?"

Инженер Караулов, забывая опасности и усталость, лазал по отвесным обрывам берега. Как и куда?.. Глазом, биноклем, рукою -- на ощупь примерялся к завалу. Гигантские стены ущелья вставали над громадой завала. Сверху, от вечных снегов стекали ручьи. Как и куда?.. Караулов по ночам, в палатке, ворочался в спальном мешке. Караулов курил, как курят в своих кабинетах, продумывая сложные проекты, все инженеры.

И однажды весело сообщил старику бартангцу:

Знаешь, рафик! Надо устроить тоннельный водосброс...

Чиз? (Что?) -- почтительно, по-таджикски переспросил старик.

Надо прорыть трехкилометровый тоннель, вот от этого маленького озерка Шадау-Куль до того вон ручья, как он называется? Хурмы-хац, что ли? Мидони? (Понимаешь?)

-- Ич-но мидонам! (Ничего не понимаю!)--покачал головою старик, и Караулов принялся объяснять ему свою идею комбинациями бесчисленных и многоречивых жестов.

-- В самом деле, --торячо обсуждали вопрос два инженера, братья Карауловы, -- здесь тоннель, а чтоб вода из Сареза могла попасть в озерко Шадау-Куль, надо в перешейке между ними прорыть канал. А потом принять меры к кольматированию верхней грани завала. Вот используя эти текущие с верхних снежников ручьи, системой деревянных лотков и труб подавать на завал мелкий глинистый материал. Он засосет все щели... Ну-ка, давай мой расчет!..

Дальше следовали всевозможные цифры и термины. Инженеры пока еще в воображении строили здание станции на реке Бартанг у кишлака Нисур, выбирали лучший из вариантов использования энергии Сарезского озера, спорили, нервничали, ссорились, мирились, набрасывали в полевые книжки сложные графики и, наконец, уехали на своих заморенных лошадях, чтоб сообщить ученому совету, руководившему экспедицией, что ими сделана "схема с

тоннельной деривацией", что мощность гидроэлектрической установки на Сарезском озере (не фантастической, о нет, самой реальной, вполне осуществимой!) составит четыреста тысяч лошадиных сил -- триста тысяч киловатт. А если сделать водохранилище, чтобы регулировать расход воды в зимнее время, то мощность этой станции можно довести до одного миллиона киловатт.

Сразу окажем! Сарезское озеро и сейчас так же недоступно и дико. Работа Караулова дала только проект. Еще неизвестно, куда девать такую энергию. Но этот проект есть точное знание о районе, который до того времени был загадкой. А то, что сегодня советскими людьми проектируется, завтра осуществится. И можно не сомневаться, что это завтра с развитием горной промышленности и народного хозяйства Памира придет. Пока же упорная работа по изучению озера и наблюдению за его режимом продолжается. В 1934 году геологи Таджикско-Памйрской экспедиции Академии наук привезли на Сарезское озеро разборную деревянную лодку, ходили на ней под парусом и на веслах. Вторую такую же лодку в том же году доставила сюда экспедиция В. А. Афанасьева, организованная на этот раз одним из среднеазиатских научно-исследовательских институтов. Орография, гидрология, геология озера были подробно изучены.

Научная станция "Сарез"

7 февраля 1936 года в "Правде" появилась следующая заметка:

"Научная станция у Сарезского озера.

Таджикское правительство решило построить на Памире, на берегу Сарезского озера, на высоте 3 060 метров над уровнем моря гидрометеорологическую станцию... "

Дальше рассказывалась история образования озера. Заметка заканчивалась так:

"По мнению ряда ученых, имеется опасность, что под колоссальным давлением воды завал может прорваться. Организуемая гидрометеорологическая станция будет вести наблюдения над завалом. Одновременно будет изучаться режим Сарезского озера.

В Сталинабаде готовится оборудование для станции. Снаряжается экспедиция, которая выступит к озеру, как только позволит погода".

Гидрометеорологическая станция "Сарез" была создана и в 1938 году начала работу. Впервые режим озера изучался зимою. Наблюдения над озером стали круглогодичными, круглосуточными, непрерывными. Вскоре на озеро была доставлена моторная лодка. Сложнейшие приборы были привезены по головоломным тропинкам на станцию. На станции появились постоянные жители: научные работники -- коммунисты и комсомольцы.

Они работают неустанно. Они скромны: редко-редко сообщают они в печать о своей жизни и о своей работе.

Но в канун нового, 1941 года зимовщики полярных и арктических станций обменялись по радио приветом и поздравлениями с зимовщиками метеорологических станций пустыни Кара-Кумы и высокогорий Памира. И 1 января 1941 года читатели "Комсомольской правды" прочитали сообщение:

"Радио с высокогорной гидрометеостанции "Сарез":

Холодно и ветрено. Мороз 35 градусов. Ночная тишина часто нарушается громовыми раскатами горных обвалов. Наш домик окружают хищные звери -- барсы. По-звериному завывает суровый памирский ветер.

Новый год ждем с нетерпением. Новогодний ужин проведем в дружеской беседе. Меню ужина составлено из восьми блюд: каждому будут поданы фаршированный горный заяц и зимующая на озере утка-лысуха.

Самочувствие зимовщиков бодрое, несмотря на долгую оторванность от населенных мест, от окружающего мира. Поздравляем молодежь цветущей великой Родины с Новым годом, желаем еще лучше учиться, работать, творить чудеса на благо родного советского народа.

С комсомольским приветом коллектив зимовщиков озера Сарез: Берсонов, Градсков, Перченко, Полехин, Мурин, Мухина, Зайцев, Тростянский".

Большую часть года зимовщики "Сареза" бывают отрезаны от всего внешнего мира. Только поздней весною стаивает снег на перевале Лянгар-кутал. Путь через него даже летом опасен и чрезвычайно труден. Но это единственный путь, которым может прийти к гидрометеостанции "Сарез" караван от перевалочной базы, расположенной на Восточном Памире, у озера Яшиль-Куль, куда в наши дни легко доехать на автомобиле.

И надо сказать: этим путем почти каждое лето к зимовщикам станции приезжают гости. Альпинисты, топографы, гляциологи, ботаники, магнитологи, геологи все чаще посещают этот интереснейший, теперь уже не заповедный, хотя и попрежмему труднодоступный район. Станция "Сарез" для них -- опорная база. Каждый приехавший сюда хочет прокатиться на моторной лодке по огромному озеру, даже не для работы, а просто, чтоб увидеть своими глазами и запомнить на всю жизнь удивительную красоту его берегов и его прозрачно-зеленой воды, толща которой над дном достигает полукилометра.

Сейчас у работников станции есть новый моторный баркас и резиновая лодка. Опыт плаваний по озеру многому научил работников станции. Они всегда стараются держаться подальше от берегов, потому что у отвесных береговых круч им угрожают камнепады, "каменные дожди", каменные лавины... Со страшным грохотом рушатся горные породы в прозрачную воду, пораженный участок озера закрывается густым облаком пыли, она оседает медленно, распространяясь над поверхностью слабеющей мглой.

Бывают периоды, когда обвалы следуют один за другим, и тогда пыль поднимается до гребней высоких гор. В 1932 году такие обвалы часто бывали в том районе, где произошел Усойский завал и где после него обнажились те горы, от которых отделилась, соскользнув в долину, вся исполинская масса завала. Н. А. Караулов, работавший в то время на озере, слушал гул этих обвалов примерно каждые полчаса, а облака пыли не расходились над горами иногда по целым дням. Это было похоже на глухое ворчание готовящегося к извержению вулкана, хотя каждому известно, что на Памире вулканов нет.

Природа в районе озера грозна, сурова, капризна. Но людям надо знать главное: многолетнее изучение озера дало ученым право утверждать, что в ближайшее время опасности прорыва завальной плотины нет. А если б такая опасность возникла, точнейшие приборы, внимательнейшие наблюдения указали бы на нее заблаговременно. Население Бартанга и других угрожаемых мест было бы во-время предупреждено.

Работники станции гордятся ответственностью, лежащей на них. Они бдительны!

Обузданный Гунт

Инженер Н. А. Караулов в период работы Таджикской комплексной экспедиции объехал почти весь Памир. Он изучил повадки Пянджа, Гунта, Висхарви, Каинды, Балянд-Киика, Кокджара, Танымаса и других рек Памира. Он рассчитал, какой энергией обладает каждая из них, примерился, где и какие можно построить электростанции. Он побывал на озере Яшиль-Куль, которое в древние времена образовано завалом, подобным Сарезскому. И потом приехал в Хорог и поставил свою палатку в абрикосовом саду, под огромным тутовым деревом. И 10 сентября 1932 года здесь, в областном центре Памира, в столице Горно-Бадахшанской автономной области,

люди из обкома партии -- таджики и русские -- собрались слушать доклад начальника гидроэнергетической группы.

В маленьком белом домике, над пенными водами Гунта, тускло светили, мигая и затухая, две электрические лампочки: работал движок, привезенный в Хорог пограничниками за год перед тем. Надоедливый стук одноцилиндрового мотора, казалось, изрядно мешал докладу инженера-гидроэнергетика. Начальник пограничного отряда смотрел на мигающие лампочки и что-то шептал на ухо начальнику строительства Памирского автомобильного тракта. И председатель правительственной комиссии, посетивший Хорог, толкнул их тихонько под

локоть, чтоб не мешали слушать.

И когда Караулов окончил доклад, с места поднялся один из старых большевиков Памира, местный житель, шугнанец. Он очень серьезно оказал:

-- Гидроэлектростанцию на Гунте нужно построить. И откладывать этого дела незачем. У нас есть средства. Мы должны добиться включения строительства в последний год второй пятилетки... или, в крайнем случае, в первый год третьей... Не только Хорог -- пусть весь Шугнан, весь пянджский берег Рушана мы осветим электрическим светом. Напротив, на афганской стороне, попрежнему будут мерцать во тьме масляные ч и р о к и, а у нас будет свет!

И оба начальника его поддержали и добавили от себя, что топливный голод в Хороге скоро станет подлинным бедствием, ибо шах-даринский лес больше нельзя вырубать, а других лесов здесь нет. Гидростанция должна обеспечить Хорог тепловою энергией.

-- А что это значит? -- спросил молодой шугнанец-комсомолец.

И, прервав на минуту собрание, председательствующий все подробно ему объяснил.

В постановление обкома партии был включен пункт:

"Просить инженера Караулова взять на себя консультирование при разработке детального проекта гидроэлектрической установки на реке Гунт".

Весной 1935 года строительство гидроэлектростанции в Хороге началось. Через несколько лет станция -- первая мощная гидроэлектростанция на Памире -- вступила в строй. Она работает безотказно, питая Хорог и весь Шугнанский район энергией -- дает свет и тепло. Она изменила весь быт шугнанцев -- горожан и колхозников. Я уже упоминал, например, о том, что в колхозе имени Сталина производится электромолотьба. Достаточно сказать, что по степени электрифицированности Хорог стоит на одном из первых мест среди городов Таджикской республики.

О культуре рек

Гидроэнергетическая группа Таджикской комплексной экспедиции в 1932 году изучила все главные реки центрального Таджикистана и несколько рек Памира. Изучить их -- это значит прежде всего пройти их по всему протяжению, от истоков до устья. Уже одно это было огромной работой. Ведь все они текут в узких долинах, сжатых скалистыми, отвесными стенами, где иногда по опасным, неверным тропинкам не только лошадь, а и человек едва может пробраться.

Работники группы определили скорость течения, расход и температуру воды, изучили русла, мощности боковых притоков, условия образования грязе-камемных, катастрофических силей... Всюду, на каждой реке были выбраны наиболее удобные места для постройки в будущем гидроэлектрических станций, водохранилищ, ирригационных сооружений. Ведь в республике все уверенней организовывались колхозы, ведь коммунисты знали, что колхозам не век жить во тьме, весь народ знал, что ленинский план электрификации нашей страны должен быть и будет осуществлен!

Почти половина сотрудников группы болела тропической малярией, но никто не покинул работ до их окончания.

В следующем, тридцать третьем году работы группы были продолжены -- экспедиция в том году уже была переименована в Таджикско-Памирскую, объем работ ее все увеличивался. На этот раз исследования производились на территории тех районов республики, которым предстояло стать центрами развития будущей промышленности Таджикистана. Само изучение речных бассейнов было более углубленным, чем в 1932 году, когда проводилось общее, широкое предварительное обследование. В 1932 году группа изучала главным образом юго-восточные области Таджикистана: Каратегин, Дарваз, Памир. В 1933 году все внимание было сосредоточено на северных, хлопковых и горнорудных районах, на юго-западе, в среднем и нижнем течении Вахша и в бассейне реки

Зеравшан.

Собраны были огромнейшие материалы и составлена карта "Гидроэнергетических ресурсов Таджикистана". Это весьма любопытная карта, сплошь усыпанная большими и маленькими кружочками. Таких кружочков оказалось пятьдесят восемь, и каждый из них обозначал место будущей гидроэлектростанции. Два кружка, огромные, как лики планет на астрономической карте, легли: один на Восточном Памире и другой на середине течения Вахша. В первом из них вписано: " "Сарезская -- 600 000".

Десятки кружков легли в северном Таджикистане -- это

станции мощностью от трех до ста тысяч киловатт. Сумма мощностей всех станций выразилась в гигантской цифре, равной цифре, обозначающей мощность всех электростанций шести Ленинградов, почти шести Днепростроев... Это означало сотни будущих заводов и фабрик в Таджикистане, миллионы гектаров хлопчатника. Это означало, что страна еще недавнего рабства, бесправия, дикого деспотизма и угнетения станет одной из самых передовых социалистических стран!

Путешествуя, исследуя, рассчитывая, проектируя, перевидав сотни горных рек Средней Азии, Н. А. Караулов и сотрудники его группы сделали и общие, исключительно интересные выводы: реки Средней Азии находятся в диком состоянии, но их можно и нужно сделать культурными. Каждая горная река должна находиться под таким же тщательным наблюдением, под каким находится сад у хорошего садовода; реку нужно приручать, как приручают дикого зверя, -- воспитывать, дрессировать, искоренять все ее дурные повадки.

Дикая, находящаяся в первобытном состоянии река кидается из стороны в сторону, размывает свои берега, устраивает бедствия паводками, швыряет на прибрежные селения громады камней, заливает их силевыми потоками -- глинистой жижей, грязью с размельченными скалами, разбивает головы оросительных каналов, устраивает грандиознейшие обвалы, смывает фруктовые сады, посевы, мосты, прибрежные дороги и тропы, вообще ведет себя непристойно, порой вредоносно...

Надо сооружать перепады на размываемых оврагах; запруды, удерживающие донный, твердый сток рек; на береговых горных склонах развивать зеленые насаждения; строить дамбы, чтоб реки не виляли из стороны в сторону, не могли ничего подмывать; нужно множеством других горномелиоративных работ укрощать дикий нрав горных рек.

В ту пору, о которой я пишу, одни среднеазиатские шоферы да караванщики знали, сколько драгоценного времени -- иногда недели и месяцы! -- уходило на поиски или на ожидание переправы. Только статистики вели счет погибшим в реках людям и грузам. Материальные убытки от дикости рек исчислялись миллиардами рублей. В одном лишь 1931 году в одной только Ферганской долине убытки от силей составили три с половиной миллиона рублей.

"Недооценка этого обстоятельства, -- взволнованно, хотя и строго "техническим" языком писал инженер Караулов, -- при возведении гидротехнических сооружений на реках Средней Азии может привести к крупным неожиданностям и дать гораздо более низкие технические и экономические показатели

эксплуатации этих сооружений. Параллельно с возведением в системах горных рек Средней Азии крупных гидроэлектрических установок, плотин и т. д. надлежит интенсивно и непрерывно вести работы по речной и горной мелиорации, систематически приводить реки в культурное состояние... Новейшая гидротехника может дать должный эффект только в том случае, если культурное состояние рек будет также соответствовать современному уровню".

Никакой анархии! Воды Средней Азии должны быть взяты в крепкие руки и дисциплинированы. Нужно создать горные научно-исследовательские станции,

которые изучали бы весь комплекс природных условий в высоких горах!

Такая станция -- первая в Таджикистане -- уже в 1929 году была создана на озере Искандер-Куль, в горах к северу от Сталинабада.

Такая станция -- высочайшая в мире -- была создана на леднике Федченко в 1932--1933 годах.

Такая станция была создана в 1938 году на Сарезском озере.

Десятки таких станций были созданы в Таджикистане, в частности и на Памире, на горных реках и озерах в предвоенные годы и после Отечественной войны.

Огромные работы по строительству дамб, плотин, акведуков, силедуков, всевозможных гидротехнических сооружений велись с тех пор и ведутся сейчас во всех областях и районах Таджикской республики, конечно, и на Памире!

Горные реки в этих областях год от году становятся все более дисциплинированными, все более культурными. Впереди еще очень много работы, но каждый день, каждый час работа идет!..

Краткосрочное озеро

Это явление природы бывает только в горах. В разных странах горцы называют его по-разному: во Франции -- нант, в Швейцарии -- руфф, в Германии -- мур...

В нашей стране на (Кавказе его называют сель, в Средней Азии --силь.

Силь -- это катастрофический, внезапно образующийся, срывающийся по ущелью поток, влекущий вниз огромные массы камней и разжиженных горных пород. Вырываясь из ущелья в долину, растекаясь по ней, силь затягивает и разрушает все на своем пути. Известны случаи, когда силь разрушал селения и даже города: такие грязе-каменные потоки, например, произвели трижды (в 1914, 1934 и 1938 годах) большие разрушения в американском городе Лос-Анжелосе,

расположенном у подножия Кордильер на берегу Тихого океана. Последний из этих силей оставил без крова десять тысяч жителей города, более двухсот из них погибли. Отдельные камни, проносимые силевым потоком по улицам, весили до пяти тонн.

Силевые потоки возникают в горах, чаще всего после обильных ливней, то иногда бывают и при ясной, сухой погоде. Основная причина их -- внезапное сползание крутых, исподволь напитанных водою, "подточенных" ею горных склонов, которые затем уносятся вниз по ущелью в виде густого месива. Низвергаясь в теснине, силевой поток захватывает разрушаемые им берега, а потому стремительно разрастается. Иногда, наталкиваясь на скалистые породы, он образует заторы, которые затем, по мере накопления силевой массы, прорываются и еще более увеличивают мощь и скорость потока.

В горах Средней Азии, в частности Таджикистана, где мне приходилось наблюдать силевые потоки, они явление частое. В населенных долинах с ними успешно ведется борьба. Советские люди научились различными мерами предупреждать возникновение силей там, где они могли бы угрожать колхозным полям, дорогам, человеческому жилью. К таким мерам относятся террасирование склонов, посадки лесов по ущельям вдоль берегов рек, организация постоянной службы наблюдения за мелкими оползнями на горных склонах... Там, где можно опасаться прохождения силевых потоков, уже возведены (например, в Ферганской долине) различные системы направляющих дамб, силедуков и других крупных ограждающих сооружений.

Но в малонаселенных районах стихия гор и поныне еще не обуздана. Мне хочется рассказать читателю об одном из силей, случившемся в долине реки Хингоу, о том, как этот силь образовал озеро в несколько километров длиной и оно четыре недели мешало людям, и о том, как люди устранили созданную для них природой помеху и как в долине восстановилось прежнее положение.

Мне пришлось побывать на этом озере.

С высочайших ледников Памира, с высот, увенчанных пиками Щербакова,

Пулковским, Сакко, Ванцетти, и от гребней водораздела, за которым протягивается к Пянджу долина Ванча, бежит несколько горных рек. Все они сливаются в одну, которая называется Оби-Хингоу и течет в узкой долине между склонами двух огромных горных хребтов: Петра Первого и Дарвазского. Склоны этих хребтов круты и прорезаны множеством узких ущелий, образованных боковыми притоками Оби-Хингоу.

Каждый, кто едет теперь на Памир из Сталинабада по Западно-Памирскому автомобильному тракту имени Сталина, не минует этой долины и запомнит ее: дорога кружится над нею, пересекая горные склоны, делая петли и то спускаясь к самой реке, то поднимаясь на высокие осыпи, на площадки древних речных террас, на причудливые нагромождения древних и современных силевых выносов...

Выше районного центра Тавиль-Дары, пробежав по долине еще десятка два километров, дорога сворачивает в ущелье Дарвазского хребта, чтобы подняться к высотам Сагирдашта, где уже нет деревьев, где, впрочем, колхозники собирают отличные урожаи зерна. Там, после многих крутых и опасных зигзагов, за перевалом Терри-куртар, дорога спускается в каменную межгорную щель Кала-и-Хумба, средневековую столицу феодального Дарваза, а ныне цветущий районный центр на самом берегу Пянджа.

Вот о местности между Тавиль-Дарой и поворотом в ущелье, где расположен кишлачок Кала-и-Гуссейн, я и хочу рассказать.

Этот участок долины ничем как будто не примечателен. Склоны гор над долиной поросли арчой, облепихой, мелкою пастбищной травкой. Несколько маленьких кишлаков, расположенных высоко над долиной, уже давно объединены в колхозы. В узком месте, где река бежит единым потоком, некогда был кишлак Иофташ. Его жители в 1940 году переселились в Вахшскую долину, на новые, орошенные земли. А с тех пор -- со времени строительства Памирского тракта имени Сталина -- здесь существует паромная, переправа и возле нее вырос маленький поселок: несколько домиков, в которых живут со своими семьями паромщики, а для проезжающих есть чайхана, -- в ней ночуют, когда слишком стремительна и высока вода, шоферы и путники, по старинке едущие верхом на дарвазских лошадках или на ослах.

Проезжая это место в автомобиле, обычно не замечаешь его, -- оно ничем не отличается от многих других участков дороги. Те же снежные гребни далеко вверху, те же излучины реки внизу.

В этой местности, в восьми километрах выше Тавиль-Дары по долине, есть боковое ущельице. Оно прорезает правобережный склон и выходит в долину небольшим раструбом. Ручей, текущий в этом ущельице от гребней хребта Петра Первого, промыл овраг, пересекающий долину от раструба ущельица до самой реки Хингоу.

День 20 июня 1952 года был солнечным, тихим, никаких дождей в этой местности уже несколько дней не было. Не наблюдалось и никаких подземных толчков, хотя в этих местах,

отличающихся высокой сейсмичностью, в другое время нередко бывают и землетрясения. Словом, все было спокойно, обычно. Но вот где-то в верховьях ущелья, без особого шума, неожиданно сползла в русло ручья часть крутой горы. Ущелье в этом месте было совсем узким, не шире тридцати-сорока метров. Соскользнувшая масса горной породы запрудила русло ручья и остановилась.

В это время года снега в горах уже начинают интенсивно таять. Запруженный ручей, увеличиваясь, к середине дня образовал выше завала озерко из разжиженной водою глины. Все больше скапливалось воды, все больше напитывала она массу завала. Эта масса тронулась с места, начала пробиваться вниз по ущелью, вовлекая в себя и таща все, что попадалось на пути: валуны, которые здесь лежали, быть может, столетиями, деревья, росшие над ручьем.

Двигаясь дальше, силевая масса замешивала все захваченное, как в бетономешалке. Силь, однако, вначале двигался медленно и каждые пять-шесть минут приостанавливался. Его задерживали крупные валуны, встречавшиеся на его пути. Масса накапливалась, прорывалась через преграду, увлекала ее с собой и вновь неслась вниз, теперь уже со скоростью трехсот-четырехсот метров в минуту. Пройдя несколько сот метров с такой скоростью, силь вновь задерживался, и все повторялось.

Первыми заметили силь колхозные пастухи. Они сообщили о нем старшему паромщику Бегаку Шарипову и его помощникам, жившим в четырех километрах выше ущелья, по долине Хингоу. Там возле парома стояли их домики и тянулись вдоль берега их маленькие огороды и молодые сады...

Возле парома работали инженер дорожно-эксплуатационного участка Вилков и бурильный мастер. Они бурили скважину глубиной в двенадцать-пятнадцать метров: здесь вместо парома предполагалось построить мост. Инженер и мастер узнали о силе вечером.

В 8 часов утра 21 июня они выехали верхами к ущелью. Перед ущельем им встретился таджик-колхозник.

-- Не проедете! -- сказал он. -- Силь!

Они подъехали к мостику через овраг, где дорога проходила мимо раструба ущелья. И увидели, что силь уже прошел по оврагу к реке Хингоу, не выходя из берегов оврага и только заполнив его жидкой глиной, валунами, изломанным, замешанным в глине лесом. Мостик через овраг был сорван.

Через три-четыре минуты послышался страшный шум. Вверху, в глубине ущелья все закрылось туманом, но этот туман оказался вихрями пыли, и когда он расходился по сторонам, то сметал со склонов ущелья кустарник и почву,

мгновенно превращая ее в пылевое облако. Через пять-шесть минут Вилков и его спутник увидели несущийся со скоростью двадцать -- двадцать пять километров в час силь. Все сокрушая на своем пути, он мчался вниз по ущелью. Надо было спасаться. Инженер с мастером кинулись бегом по направлению к Тавиль-Даре. Дорога заходила за мыс, достаточно было пробежать с полсотни метров, чтобы укрыться от силя. Они успели забежать за мыс, стали карабкаться по склону.

С оглушительным шумом силь промчался по оврагу, не уместившись в его берегах, разлился по долине Хингоу и замер. Казалось, масса камней и глины иссякла.

Но через десять-двенадцать минут новый силевой вал вырвался из ущелья, перекрыл нагромождения от предыдущего вала, распространился по долине шире и дальше. Это означало, что где-то вверху образовывались заторы, которые по мере накопления силевых масс прорывались.

С этого момента каждые десять-двенадцать минут все новые и новые силевые валы выкатывались из ущелья непрерывно в течение полутора суток, как лавой затягивая долину Хингоу. Перегородив всю долину, силь добрался до русла Хингоу. Мощная река долго боролась с силем, отбивала нагромождаемые на нее завальные массы, смывала глину, ворочала огромные принесенные с гор камни, но справиться с ним не могла. К вечеру вода реки еще пробивалась сквозь завальную массу. К полуночи силь прекратился. Река была перекрыта полностью. Высота завала равнялась примерно двадцати одному метру.

Всю ночь и все утро перегороженная река Хингоу, бешено кружась, ища себе выхода и не находя его, заполняла долину выше завала. На следующий день вода заполнила долину, образовала озеро. К вечеру она смыла паром, огороды и сады паромщиков, подступила к их маленькому поселку, к счастью, расположенному сравнительно высоко. Река стала подмывать дома, ворвалась в них, поднялась сантиметров на десять, но выше уже не пошла, потому что, дойдя до гребня завала, начала понемногу переливаться через образованную стихией плотину.

В следующие дни силь продолжался порывами. Вода озера частично смыла

гребень завала, и он опустился сантиметра на три-четыре, судя по измерению, сделанному с помощью нивелира Вилковым. Длина озера от завала до места, где был паром, достигала 3 100 метров, а ширина в самом широком месте -- 800 метров.

27 июня силь кончился. До этого он шел спорадически: то остановится, то хлынет из ущелья вновь. Небольшие силевые выносы продолжались еще с неделю.

С первого же дня силя колхозники установили постоянную связь с районным центром, учредили ночные дежурства и организовали сбор унесенного силем леса.

По словам очевидцев, валуны, которые нес в своей гуще силь, были до пятидесяти кубических метров объема, до ста тонн весом.

Специальная комиссия, прибывшая из Сталинабада, решила, что необходимо мелкими взрывами снизить уровень озера. Взорвать же плотину всю целиком не рискнули: хлынув вниз, вода озера могла бы затопить многие населенные пункты по долине Хингоу.

На месте завала ширина русла достигала тридцати метров. Глубина озера доходила до двадцати метров, а в верхнем конце, у парома, равнялась шести метрам. Силевые нагромождения растянулись на километр по ширине долины и метров на шестьсот по длине, в виде гигантского хаотического нагромождения камней, торчавших из затянувшей их вязкой, топкой, медленно просыхающей глины. Вся эта масса состояла из известняков, песчаников, желтоцветных конгломератов.

Много дней спустя после силя по этой массе еще нельзя было пройти пешком: она была настолько жидкой и вязкой, что поглотила бы, как болотная трясина, всякого осмелившегося ступить на нее человека. Но все население здешних мест веками знакомо с силями. Отдельные смельчаки рисковали перебираться по силевой массе, ступая, как по мосткам, по набросанным бревнам и доскам. Ни одной человеческой жертвы во время этого стихийного события не было.

Работы на озере начались сразу же после приезда комиссии. Сюда были доставлены бульдозер, трактор "С-80", перфоратор и другая дорожная техника, аммонал, все необходимое для того, чтоб постепенно взрывать плотину, спускать воду озера, строить в обход его дорогу вместо прежней, затопленной.

Сотни окрестных колхозников вышли на помощь дорожникам, строителям. Дорогу в обход озера вместо затопленной сделали за одиннадцать дней. Еще несколько дней пришлось потратить на восстановление парома.

26 июля первые автомашины двинулись по новой дороге. К этому времени длина озера уменьшилась до 2 600 метров, потому что плотина была частично взорвана. Решено было прекратить работы на озере, -- оно больше никому не мешало, а оставшаяся часть плотины была надежной и не угрожала внезапным размывом.

Ниже озера только огромное нагромождение камней и глины, перекрывших на большом пространстве долину, осталось следом стихийного происшествия. Да овраг бокового

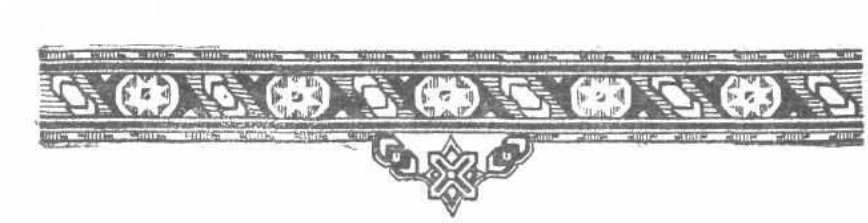
ручья, по которому пронесся силь, остался глубоко прорытым, -- его стенки возвышались теперь на шестьдесят метров. Его ширина -- тридцать-сорок метров -- не изменилась, а глубина увеличилась больше чем вдвое.

Такова история одного из силей, каких в Таджикистане бывало, бывает и еще будет множество.

Я рассказал об этой истории сухо и коротко, чтобы ни в чем не нарушить точности и строгости при изложении известных мне фактов, записанных в сентябре 1952 года, при посещении озера.

Но первый раз я видел это озеро еще в начале августа, видел его с самолета, когда летел из Сталинабада в Хорог. Оно казалось сверху голубою,

овальной жемчужиной, и никто в ту пору не знал, сохранится ли это озеро на долгие годы, как сохранились в Таджикистане некоторые озера такого же происхождения, или исчезнет навеки, как исчезли многие другие, следы которых встречаешь везде на Памире и в прочих горных районах Таджикистана, -- какой-нибудь каменный ригель, размытая плотина завала, затянутое почвой, зеленой травой конусообразное нагромождение силевого выноса. Некоторые из этих озер существовали дни или недели, другие -- десятилетия и даже века. Но теперь их нет, и о них знают только геологи да геоморфологи, да еще кое-где о них существуют представляющиеся нам фантастическими легенды...



ГЛАВА XIV

Река Ванч -- большой приток Пянджа, вытекающий из ледника Географического общества и других примыкающих к нему ледников.

Мне привелось посетить долину Ванча четыре раза -- последний раз в 1952 году, а до этого трижды в первых моих экспедиционных странствиях по Памиру, когда Ванч еще причислялся к Дарвазу, входил в Кала-и-Хумбский район и когда в этой долине еще не существовало ни одного колхоза, а истоки реки были пройдены только немногими первыми их исследователями.

Долина Ванча, ограниченная Дарвазским и Язгулемским хребтами, в наши дни -- один из наиболее плодородных районов Горно-Бадахшанской автономной области. В административном отношении этот район (созданный в 1937 году) охватывает и всю тесную, доныне труднодоступную долину реки Язгулем и часть кишлаков по Пянджу.

Ванч стал богатым колхозным районом. В нем двенадцать (укрупненных в 1950 году) колхозов, из которых три расположены в долине Язгулема, а один -- на Пянджe.

Ванчские колхозы богаты урожаями зерна, бобовых, плодов, овощей, шелковичных коконов.

В каждом из колхозов есть по две, по три, по четыре семилетние и начальные школы, а в двух колхозах -- имени Фрунзе и имени Сталина -- даже по пять школ. В каждом колхозе есть клуб, и чайхана, и по нескольку библиотек (всего в районе их двадцать девять).

Многие ванчцы получили не только среднее, но и высшее образование, многие колхозники и колхозницы стали знатными людьми. Уроженка глухого язгулемского кишлака Вишхарв Кабилмо Баратова -- председатель крупнейшего на Ванче, имеющего полмиллиона годового дохода колхоза имени Сталина; я видел ее, когда она -- депутат в Совет Национальностей СССР -- скромная, пожилая женщина, в своем национальном платье ехала в автомобиле вдоль Пянджа. Русские офицеры, начальники пограничных застав, с почетом встречали ее на дороге и, как члену правительства Советской державы, отдавали ей рапорт, докладывая о положении на вверенном им участке границы.

Правление колхоза имени Сталина помещается в доме, принадлежавшем бывшему мирахуру (чиновнику) эмира бухарского -- местному феодалу Абдулло-беку, который владел всем Ванчем и который, став впоследствии главарем басмачей, совершив в 1929 году налет на Ванч с территории Афганистана, зверски пытал и убивал всех советских работников, комсомольцев, учителей -- в прошлом подвластных ему бедняков.

В 1930 году я еще видел в административном центре Ванча, кишлаке Рохарв, остатки цитадели феодализма -- старинной крепости Кала-и-Ванч, посещенной в 1905 году и позднее подробно описанной Д. И. Мушкетовым.

Эта крепость, столица древних правителей Ванча -- "ша", расположенная над мостом, за которым начинается тропа к перевалу Гушхон, запирала собой единственный в ту пору конный путь на Язгулем, в Рушан, на Памир.

Она потеряла свое значение только тогда, когда головоломная тропинка по Пянджу была настолько улучшена русскими саперами, что по ней стало возможным проводить лошадей.

В наши дни от крепости не осталось и следа. На ее месте стоят здания клуба, райкома партии, базы райпотребсоюза и метеорологической станции. Районный центр Рохарв (чаще называемый теперь Ванч) широко раскинулся вокруг по всей береговой террасе над рекою. Сады, колхозные поля, улицы и дома райцентра простираются от реки до подножия Дарвазского хребта. В райцентре много организаций и учреждений, в том числе средняя школа имени Ленина (ставшая десятилеткой в 1943 году), редакция газеты "Хакикати Ванч" ("Правда Ванча"), больница с хирургическим отделением и родильным домом, библиотека, столовая, магазины, кино, почтово-телеграфное отделение, радиоузел, электростанция, управление одной из постоянно работающих в высочайших горах над истоками Ванча геологических экспедиций. Начальником партии в этой экспедиции работает мой старый памирский приятель, ныне горный директор II ранга, Е. Г. Андреев, до сих пор не

боящийся ни арктического климата ледников, ни разреженного воздуха четырех- и пятикилометровой высоты.

Только изредка удается геологам спускаться с ледников к ожидающему их в верховьях Ванча автомобилю, чтоб приехать на несколько дней в районный центр Ванч, где высота над уровнем моря всего 1 800 метров, где климат великолепен, где в любом плодовом саду можно отдохнуть от ледяного дыхания ураганных ветров, от шелеста лавин, треска льда, грохота камнепадов...

Первый в средних широтах мира

Куда бы, находясь в районном центре, ни обратить взор, всегда в ясный день увидишь снеговые вершины. Повернувшись лицом к низовьям реки, видишь горы Ку-и-бараси. Так называют ванчцы снеговые гребни Афганистана. Взглянув же на северо-восток, вдоль долины, туда, где верховья реки, над темнеющими вдали бесчисленными зубцами различишь в небесах бледные, призрачно-белеющие пятна. Они не похожи на облака, они скорее похожи на легкое бесцветное пламя. Местные жители называют их Ку-и-кашола-ях.

В 1952 году секретарь Ванчского райкома партии, местный житель Аскарбаев, перевел мне это название словами: "Горы Ледяная завеса". И добавил: "А еще точнее: "Горы нависающих льдов".

Но людьми, не знавшими местного языка, это название в старину было произнесено, как Кашал-аяк, в таком начертании перешло к географам и стало с тех пор общепринятым.

На листах десятиверстной карты, напечатанных в 1925 и 1927 годах, в верховьях Ванча значился кишлак Ванван, в десяти верстах выше -- кишлак Пой-Мазар, и этим кишлаком кончался мир: на три стороны света отсюда начинались фантастика, белое пятно, много тысяч квадратных километров территории, никем не исследованной. Там, наугад поставленные на карте, значились слова: "Пик Гармо", "Ледник Гармо", "бывший перевал Кашал-аяк" и "бывший перевал Танымас". Верховья других больших рек, расходящихся во все

стороны света, тянулись от этого пятна неопределенными пунктирными линиями. На севере из этого пятна выдвигалась надпись: "ледник Федченко (Сель-Дара)".

Эти овеянные легендами названия попали на карту с тех пор, как в 1878 году энтомолог В. Ф. Ошанин сделал неожиданно для себя свое замечательное открытие.

С группой казаков и местных киргизов он поднимался по реке Мук-су, впервые исследованной за два года перед тем

участниками военной экспедиции Л. Ф. Костенко и топографом Жилиным и бегло описанной в 1877 году геологом И. В. Мушкетовым, видевшим ее с перевала Терс-Агар.

Ошанин продвинулся на юг дальше Жилина и на пути вдруг, как пишет он в своем сообщении "На верховьях Муксу", "разглядел, что поперек долины проходит какой-то вал, который нигде не представлял значительного понижения, и я недоумевал, каким образом река не размыла этого, повидимому, ничтожного препятствия. По мере того как мы подъезжали ближе, на темной поверхности этого вала стали выделяться белые блестящие пятна и в одном месте виднелось углубление, похожее на вход в пещеру. Я был сильно заинтересован этим странным образованием и долго не мог понять, что бы это могло быть. Наконец, когда мы приблизились на какие-нибудь полверсты, дело разъяснилось. Перед нами был конец громадного ледника".

Изучая окрестные горы, гигантские обломки скал, покрывавших язык ледника, шестидесятиметровые обрывы обнаженного зеленоватого льда, Ошанин решил, что судить об истинной длине ледника он не может, но думает, что этот ледник не короче пятнадцати-двадцати километров, а значит, по мощности один из первых в Средней Азии.

Никакая фантазия не подсказала осторожному в своих выводах исследователю, что в действительности он открыл величайший в средних широтах мира ледник, истинные размеры которого были определены только пятьдесят лет спустя!

После неудавшейся попытки продолжать дальше путь с караваном В. Ф. Ошанин двинулся обратно по реке к урочищу Алтын-Мазар, и здесь старик киргиз рассказал путешественнику, что знает этот ледник, потому что в юности ходил туда охотиться на козлов; что ледник тянется вверх верст на тридцать-сорок и что где-то в его верховьях существует перевал Кашал-аяк, которым в далекие прошлые времена изредка пользовались люди, ходившие в долину Ванча.

Увлеченный этим рассказом, В. Ф. Ошанин, взяв с собою двух спутников, вернулся к леднику, с трудом поднялся на его язык, но, не имея опыта восхождений по ледникам, вернулся вниз, справедливо впоследствии приравняв стремление изучать ледник без такого опыта к попытке "отправиться на тигра без всякого оружия".

И все же через тридцать один год нашелся смельчак, рискнувший без всякого опыта восхождения на ледники подняться на ледник Федченко и изучать его в поисках легендарного перевала Кашал-аяк.

Таким смельчаком оказался топограф Н. И. Косиненко. С группой казаков верхами, перевалив в июне 1908 года перевал Терс-Агар, он по крутым зигзагам тропы спустился к Муксу у Алтын-Мазара. Он так описывает свой путь:

"С перевала долина Муук-Су представляется громадным провалом, глубиной около трех тысяч футов, по дну которого разбегаются многочисленные рукава Муук-Су. Впереди за нею возвышаются три пика высотою не менее двадцати тысяч футов, более чем наполовину покрытых снегом. Здесь, южнее подошвы перевала Терс-Агар, имеется обширный тугай из тала, облепихи и шиповника с разбросанными по нему ветхими зимовками Алтын-Мазара.

В нем находятся пятнадцать кибиток киргизов, на лето откочевывающих на северный склон Терс-Агара. Они занимаются скотоводством и земледелием, и поэтому необходимое в поездке продовольствие у них достать возможно.

Летом здесь жарко, но зимою (декабрь -- март) снег до пояса, хотя сама река льдом никогда не покрывается.

Киргизы заверили меня, что далее пройти летом невозможно: в Сель-Даре (верховья Муук-Су), благодаря сильному таянию ледников, так много воды, что переправиться нельзя ни под каким видом, -- такая попытка допустима только позднею осенью, когда таяние прекращается и вода в реках спадает до минимума. "Дороги нет, вода глубока", -- был один ответ киргизов на просьбу проводить хотя бы только до ледника Федченко. Пришлось до ледника произвести самому предварительную разведку, налегке, без вьюков, с трудом убедив одного престарелого киргиза, Махмет-куль-бая, сделать только попытку.

Широкая стремительная река действительно представляет серьезное препятствие. Она разбилась на множество рукавов на мелкокаменистом речном ложе шириною более двух верст. Прохождение каждого рукава сопряжено с большою опасностью. Оступись лошадь, и спасения почти нет, а оступиться легко, потому что течение непрерывно ворочает по дну большие камни. Махмет-куль-бай останавливался перед каждым таким рукавом, со слезами на глазах упрашивая вернуться, тем более, что вода прибывала с каждой минутой.

Тем не менее рекогносцировка была удачна: хотя с большим трудом, но после полудня мы дошли до конечных морен ледника Федченко, из-под которых вырывается, обильная водою, мутная Сель-Дара; от русла ее конца моренному нагромождению не видать.

Обратный путь пришлось уже карабкаться по скалистой почти козьей тропе правого берега реки вследствие большой прибыли воды.

После дневки рано утром 1 июля выступили с вьюками и проводниками по усеянному щебнем и гальками дну долины. Двигались быстрее -- путь был уже знаком. Но на одном из

рукавов шедший отдельно начальник отряда неожиданно попал на такое глубокое место, что погрузился с лошадью в ледяную воду. Лошадь опрокинулась, и, отделившись от нее, разведчик был увлечен быстрым течением Сель-Дары.

Совершенно изнемогший и почти теряющий сознание, он был вытащен из воды казаками и киргизами другого разведочного отряда (капитана Романовского и кн. Трубецкого), случайно шедшего в полуверсте сзади в этот единственный совместный переход. Через час, под самым ледником Федченко, потерпевший аварию еще раз встретился со своими спасителями. Рукав Балянд-Киик, впадающий здесь в Сель-Дару, оказался вброд непроходимым и преградил дорогу к левому его берегу. Пришлось подниматься прямо вверх по отвратительной гальке и щебню конечной морены ледника Федченко.

Подъем на ледник крут и труден. Попытка пройти по левой боковой морене не удалась: "хаос" глыб и скал преградил нам дорогу. Пришлось заночевать под ледником.

На следующий день снова двинулись по моренному нагромождению оконечности ледника, но по середине его ложа. Лошади скользили по обнажавшемуся от мелкого щебня льду и падали, с трудом поднимаясь. От острого щебня кровавые следы их ног обозначали наш путь. Часа четыре мы шли, ведя в поводу своих лошадей и поднимаясь с одного гребня морены на другой. Верст через шесть с конечной морены ледника мы вступили на чистый лед, где можно было сесть на коней, хотя с ежеминутным риском кувыркнуться. Впереди расстилалась пустынная ледяная поверхность. Жутко было ступать по этой неведомой, никогда не знавшей человеческих следов области, где ожидало нас много опасностей, свойственных этому царству льда.

Все чаще и чаще наш путь преграждали ледяные трещины шириною от фута до сажени, но пока обходить их было легко.

Затем снова пришлось двигаться между грядами морен и колоссальными ледяными пирамидами. Количество трещин так увеличилось, что на 25-й версте от бивака мы попали в целую сеть их, преградивших нам путь на все стороны, и

едва удалось найти обратный выход -- следы копыт на льду были почти незаметны.

Тогда свернули в правый боковой ледник, весь загроможденный моренами, но по бокам ложа которого на скалах зеленела трава. С большим трудом мы пересекли несколько мощных морен, прежде чем попали на этот ледник, и только к вечеру, после невыносимо трудного перехода, мы расположились на бивак, верстах в шести от слияния ледников, и простояли на нем целую неделю, за что и самый ледник получил название "Бивачного".

На биваке дней, благодаря таянию льда, -- непрерывный треск и грохот от скатывающихся галек и щебня в ледниковые трещины и озера.

У ледников не видно и следа древесной растительности, но, к счастью, предвидя отсутствие топлива, мы захватили с собой небольшие запасы его, дней на пять, при условии, что чай можно себе допустить только раз в день -- во время варки пищи.

Отсюда был предпринят ряд разведок без проводника, для отыскания пути в долину Ванча. На другой день возобновили попытку пройти без вьюков к пер. Кашал-аяк левою стороною ледника Федченко, но верстах в десяти от Бивачного ледника опять целый лабиринт трещин преградил нам дорогу, причем одна лошадь едва не погибла, попав в трещину, -- с трудом вытащив ее, вернулись на ночлег.

На следующий день отправились втроем налегке вверх по Бивачному леднику. Движение было очень трудным. Сначала двигались крутым щебнистым косогором правого берега ледника, прошли несколько грязных оползней, на которых люди и лошади сползали вниз вместе со щебнем... "

Косиненко описывает дальнейшие поиски перевала, страшную одышку и сердцебиение от высоты, падения лошадей в глубоком снегу, незатихающий гул и грохот от массовых каменистых и снежных обвалов, снежную пургу, ночевку на камне и рассвет, при котором он увидел под собою пропасть: "отвесные скалистые и снежные обрывы в глубочайшую котловину, а впереди, кроме гор, ничего не было видно. О спуске не могло быть и речи... Был ли это перевал Кашал-аяк? -- трудно сказать... Он не вполне соответствует положению своему на существующей карте. Солдаты назвали его перевалом Разведчиков. Итак, все возможные попытки найти путь в долину Ванча через этот "Ледовитый океан" потерпели неудачу. В общей сложности здесь по ледникам было сделано свыше полутораста верст... "

Косиненко вернулся обратно, к Балянд-Киику, затем другим путем проник на ледник Танымас, по которому продвигаться оказалось еще трудней, чем по леднику Федченко. Попытка пройти через Танымас в Язгулем также окончилась неудачей, и Косиненко спустился вниз по реке Танымас в Кудару, а отсюда прошел в верховья реки Бартанг.

И все-таки слова В. Ф. Ошанина об "охоте на тигра без всякого оружия" оказались во многом справедливыми. Если бы Н. И. Косиненко обладал не только огромной смелостью, но и опытом высокогорных исследований, то он, безусловно, не повернул бы назад от того гребня, за которым открылись ему отвесные обрывы в глубочайшую котловину. Он, конечно,

рискнул бы оторваться от своего каравана, но он не был альпинистом и лазать по отвесным ледяным кручам не умел.

Почти нет сомнений, что перед Н. И. Косиненко и был перевал Кашал-аяк. Но у путешественника не хватило данных, чтобы утверждать и доказать это.

С тех пор стало известно только, что ледник Федченко имеет не меньше тридцати километров в длину, что среди его притоков есть другой мощный ледник -- Бивачный и что легендарный перевал, должно быть, "где-то там" действительно существует.

Но еще девятнадцать лет никто не вступал на этот ледник.

И только в 1928 году оправдалось удивительное по своей научной проницательности предположение, высказанное русским ученым еще в 1885 году, на которое, к сожалению, никто в свое время не обратил внимания и которое было забыто позже.

Ученым, высказавшим это предположение, был Г. Е. ГруммГржимайло, который пытался, но не мог проникнуть в загадочную область с западной стороны. В своем докладе в общем собрании Русского географического общества 4 декабря 1885 года * замечательный ученый говорил:

"... В особенности любопытна северная часть этих нагорий, любопытна потому, что здесь мы должны предполагать громаднейшее поднятие, узел, от которого, как от центра, во все стороны разбегаются громадные кряжи неравной длины.

Этот узел у туземцев носит название Сель-тау, что значит "Ледяная гора". С нее то к северу, то к югу и к западу спускаются ледники, о грандиозных размерах которых мы можем судить только приблизительно. Северный из них назван В. Ф. Ошаниным ледником Федченко, повидимому, самый д л и н н ы й из них и находится в полной связи с другим ледником, идущим на запад (выделено мной. -- *П. Л.)* и, повидимому, замкнутым между упомянутой выше Сель-тау и горой Узтерги, что значит в переводе "болит голова", "кружит голова", название, которое прямо указывает на замечательную высоту этой горы. И действительно, туземцы уверяли меня, что выше этой горы нет в мире другой... влезть на нее невозможно... "

Г. Е. Грумм-Гржимайло приводил слышанные им от горных таджиков утверждения, что от верховий долины Ванча существует трудный, но доступный человеку перевал, после которого, пройдя десять "ташей" по ледникам, можно достигнуть реки Сель-су.

* Опубликован в 1886 году под названием "Очерк припамирских стран" (оттиск из т. XXII "Известий Русского географического общества").

"Таш" ("камень") -- это примерно восемь километров -- мера длины, а река Сель-су (иначе Сель-Дара) есть верхний приток Мук-су.

И только почти через полвека, в 1928 году, стало ясно, какая огромная научная ценность заключалась в высказывании Г. Е. Грумм-Гржимайло.

Участник Памирской экспедиции Академии наук 1928 года топограф И. Г. Дорофеев первый, вступив в верховья огромного неизвестного ледника и пройдя его до середины, установил, что находится на леднике Федченко и что, следовательно, этот ледник громаден.

И когда И. Г. Дорофеев исходил его во всех направлениях и первый прошел его весь -- сверху донизу, то оказалось, что длина ледника превышает семьдесят километров.

"Повидимому, самый длинный" ледник, по точным измерениям Р. Д. Забирова (1951 г.) имеющий 71, 2 километра длины, оказался величайшим в средних широтах мира, которому уступают в длине даже все ледники Гималаев и Гиндукуша и за которым на втором месте стоит тянь-шаньский ледник Инылчек.

В период же древнего оледенения, по исследованиям Н. Л. Корженевского, изучавшего Мук-су еще в 1904 и в 1910 годах, а затем и в следующих годах, ледник Федченко достигал длины в сто семьдесят пять километров. Мощность его ледового тела, достигающего в наши дни семьсот метров (три четверти километра толщины!), в древние времена была не меньше километра.

Вспомним и сообщение Г. Е. Грумм-Гржимайло: "туземцы уверяли меня, что выше этой горы нет в мире другой... влезть на нее невозможно... "

Пик Сталина, открытый в этом районе, оказался высочайшим в СССР, и только утверждение, что влезть на него невозможно, было опровергнуто советским альпинистом Евгением Абалаковым, взявшим эту вершину 3 сентября 1933 года, и группой других советских альпинистов, повторивших восхождение на пик Сталина в 1937 году.

В Ванване и Пой-Мазаре

Хлопотливое поручение -- провести по всем пянджским овринган, от Хорога до Ванча, основной караван ТКЭ -- мне удалось выполнить. 26 сентября 1932 года на двенадцатый день мучительного пути все шестьдесят две лошади каравана с десятью караванщиками, все научные работники, ехавшие с караваном, художник Н. Г. Котов, фотограф В. Лебедев, завхоз экспедиции и несколько русских рабочих были благодаря помощи, оказанной местным населением в пути на пянджских оврингах, благополучно приведены мною в Кала-и-Ванч.

В караване было много образцов горных пород, гербарий, зоологические коллекции, собранные в разных местах Памира, сотни непроявленных фотонегативов. Кроме того, была большая этнографическая коллекция, больше трехсот предметов материальной культуры горных таджиков, собранная мною в Вахане, Шугнане, Рушане; эту коллекцию позже, в Ленинграде, я сдал в Совет по изучению производительных сил Академии наук.

Словом, в большинстве вьюков каравана были результаты многомесячных работ центральной группы экспедиции.

В труднейшем -- для такого огромного каравана -- пути по оврингам ни одна из лошадей не погибла, ни один вьюк не разбился, не утонул, не пропал. Только я один знал, каких сил и нервного напряжения это мне стоило!

В Кала-и-Ванче (Рохарве) я не задержался и на полдня: на своей усталой лошади выехал в верховья Ванча. Мне предстояло через ледопад Кашал-аяк подняться на ледник Федченко.

В августе -- сентябре 1932 года перевал Кашал-аяк (после открытия его в 1928 году снова не посещавшийся никем) стал Вдруг "торной дорогой" Таджикской комплексной экспедиции. Этой "дорогою" должен был пройти и я для того, чтобы на леднике Федченко сомкнуть свой маршрут с маршрутом группы Н. П. Горбунова, которая, поднявшись на ледник с севера, искала подступы к высочайшему в Советском Союзе пику, в том году позже названному пиком Сталина. Было условлено, что вместе с группой, которой я шел навстречу, мне, как ученому секретарю экспедиции, нужно будет участвовать в осмотре места, выбранного у борта ледника Федченко, для строительства высочайшей в мире гидро-гляцио-метеорологической обсерватории.

Перехожу к записям в моем путевом дневнике:

... 27 сентября. Еще при солнце, проехав узкую осыпь, я достиг Ванвана -- второго, верхнего Ванвана, ибо их, маленьких одноименных кишлачков, на Ванче два.

Здесь, под громадным деревом, грецким орехом, наши: геолог А. А. Сауков со своими сотрудниками Голубевым и Каргиным; альпинист Коровин и переводчик Азиз, только что пришедшие за мною с ледника Федченко; художник П. Староносов, с которым я расстался в Вахане, и другие.

Я подъехал как раз в момент, когда дружно опустошался огромный котел супа.

Прежде всего -- взаимное фотографирование, потом сумбурные расспросы, а после супа я с Сауковым пошел через

мост в самый верхний кишлак Ванча -- Пой-Мазар, до которого отсюда километра полтора.

Сегодня в Пой-Мазар, в одно время со мной, с разных сторон явились: геолог Д. И. Щербаков с молодым геохимиком Н. В. Тагеевой и топограф-геодезист И. Г. Дорофеев со своим юным помощником, которого зовут Леней.

Встреча замечательная, сошлись, словно не на краю земли, а в городе, на одной квартире. Кстати, "квартиры" местных жителей здесь тоже замечательные: буквально избушки на курьих ножках, -- свайные постройки, шалаши на высоких столбах, как в фильме "Чанг". Высоко от земли, между деревьями и на деревьях живут люди. Не хватает только кремневых топоров, даже луки есть, из которых

дети охотятся на птиц. Есть тут, конечно, и каменные жилища -- это зимние обиталища людей, а шалаши на столбах -- это, так сказать, летние "дачи". Это одно из самых далеких от культуры селений в Советском Союзе.

Усталость незаметна, хоть я и проехал сегодня километров шестьдесят пять. До полуночи -- разговоры и чаепитие. Узнал все новости о последних открытиях на ледниках, об отрядах экспедиции там работающих. Сообщил все, что знаю сам.

Решили: для подъема на ледник Федченко я объединяюсь в одну группу с А. А. Сауковым и его помощниками, с Н. В. Тагеевой, а из своей группы приглашаю ботаника Л. Б. Ланину и завхоза (к которым завтра посылаю гонца с письмом в Рохарв). Поведут нас Коровин и Азиз. Выходим 30 сентября.

Ночью я с Сауковым вернулся в Ванван.

28 сентября. День -- в Ванване. У нас Д. И. Щербаков. Вечером отправился с ним "в гости" в Пой-Мазар. Карабкались в темноте на береговой откос, сквозь кустарник. У костра разговоры до ночи.

Возвращался ночью, один, и чуть не утонул в реке, выйдя по ошибке на старый, разрушенный мост и провалившись в воду... А потом "дома" сушился у костра и, пока все спали, делал долгие записи...

29 сентября. В Ванване, сборы. Скверное самочувствие, воспалены гланды, сильно простужен. Спать было очень холодно. Тучи, днем холодно даже в свитерах.

Сегодня Щербаков, Дорофеев, весь пой-мазарский лагерь ушли вниз по Ванчу, "сдав" нам Надежду Викторовну Тагееву.

30 сентября. Ванван. Около полудня -- всадники: Ланина, Каргин, завхоз и другие с двумя лошадьми, навьюченными продовольствием и снаряжением.

Завхоз "забыл" привезти карту ледника Федченко, запас сухого спирта; кроме того, на последней ночевке, в Сетарге, забыл мешок с веревками и рюкзаками. Поразительная небрежность! Пришлось за этим мешком сейчас же послать караванщика. Без сухого спирта как-нибудь обойдемся: у Саукова есть немного бензина.

По всем этим причинам выступление пришлось отложить до завтра.

Неожиданно с ледника Федченко явились два молодых альпиниста Гог и Птенчик, бодрые и веселые, -- они посланы в Хорог и дальше -- на месторождение ляпис-лазури. Дал им денег, двух лошадей с седлами, кучу советов, записку в Рохарв о продовольствии из моего каравана -- и через два часа они отправились вниз по Ванчу.

Завтра выходим на ледник Географического общества и дальше -- к легендарному ледопаду Кашал-аяк.

О хорошем, настоящем исследователе

Но сначала я хочу рассказать, как легенда о Кашал-аяке рухнула.

Ледник Федченко был открыт с северного конца. Все позднейшие исследователи ледника направлялись к нему также либо с севера (от реки Мук-су), либо с востока (от реки Танымас). Кажется, никто из исследователей, кроме астронома Я. И. Беляева и сопровождавшего его геоморфолога П. И. Беседина, поднимавшихся по Ванчу в 1916 году и установивших в Пой-Мазаре астрономический пункт, не пытался искать подступы к леднику с юго-запада из ванчской долины. Горцы Ванча привыкли считать, что существующая над верховьями их реки таинственная область закрыта от них недоступною "Ледяною завесой". Они были твердо убеждены, что человеку в наши времена пути сквозь эту "завесу" нет.

Правда, русский путешественник Кузнецов в своем труде "Дарвоз" передает рассказ ванчцев о том, что "лет сто пятьдесят назад управитель Ванча Шабос-Хан ходил через единственный здесь доступный перевал Кашал-аяк грабить киргизов, но с тех пор ледники значительно увеличились и теперь доступ к перевалу преграждается совершенно отвесным ледником".

Правда также, Н. И. Косиненко передает сообщенную ему в 1908 году алтын-мазарским киргизом, семидесятилетним стариком Махмет-Куль-баем легенду, которую тот, "не допускавший и мысли о возможном когда бы то ни

было прохождении этого ледника", слышал однажды в детстве. Легенда гласила, что "когда-то этими ледниками пытались вернуться в Дарваз таджики, пришедшие через Каратегин, но о них больше никто не слышал -- все они погибли".

Схема бассейна ледника Федченко (по карте И. Г. Дорофеева 1928--1929 годов).

Это и все, что можно было услышать у ванчских таджиков и у восточнопамирских киргизов о Кашал-аяке.

Но однажды в 1928 году случилось невероятное.

Дело происходило так.

Пастухи из последнего ванчского кишлака Пой-Мазар пасли скот у летовки на верхнем пастбище; в конце августа ночью здесь было холодно, пастухи в джангале -- в зарослях колючек набрали сухих ветвей, разожгли костер. Вскипятили воду, согрелись, поели лепешек, пощелкали камнем грецких орехов, которых в верхних кишлаках Ванча растет так много.

Один из пастухов отошел от костра, чтобы согнать с кручи овец. Зорко

всматриваясь в кромешную тьму, обратив свой взор в сторону "Ледяной завесы", он неожиданно увидел высоко и далеко во тьме маленький огонек. Он долго всматривался, тер себе глаза, не веря недопустимому... Но сомнений не было: там, где начинаются льды, мерцал небольшой костер.

Испуганный пастух закричал, подбежал к своим, все вместе, суеверные, неграмотные пой-мазарские пастухи, стали вглядываться в таинственный огонек.

Но... Ведь никто, ни один человек с Ванча, не проходил мимо них туда; а все свои были налицо... А ведь и духи гор -- дэвы не разжигают костров. Что это могло бы значить? Может быть, оттуда на Ванч надвигается какая-то непонятная опасность?

Надо было что-то решить, что-то предпринимать.

Но что решили и что предприняли ванчцы, я скажу позже.

А сейчас расскажу о том, что в такую же ночь, 28 сентября 1932 года, расположившись у костра, в кишлаке Пой-Мазар, я впервые во всех подробностях услышал от Ивана Георгиевича Дорофеева.

За полтора месяца перед тем я расстался с ним в Вахане, у подъема на перевал Шитхарв, куда я двинулся, чтоб закончить исследования района пика Маяковского. Он тогда со своим фототеодолитным отрядом ушел по Пянджу вниз, к Ишкашиму.

Теперь мы сошлись в Пой-Мазаре, двигаясь с разных сторон: я с низовьев Ванча, а он откуда-то с ледников, кажется от Язгулема. Здесь же, у костра, расположился, пришедший в этот день с третьей стороны, Дмитрий Иванович Щербаков, с ним была его помощница геохимик Н. В. Тагеева.

Я хорошо знал о замечательных исследованиях Дорофеева, произведенных им за четыре года перед тем в области ледника Федченко и продолжавшихся во все последующие годы.

Простодушный, всегда удивительно скромный, даже застенчивый человек, рослый, сильный, выносливый и очень

спокойный, он в тяжелых памирских странствиях был искренним тружеником, непритязательным, не считающимся ни с какими лишениями. Он мог чуть не по нескольку суток не спать и не есть. Когда другие, больше заботившиеся о себе участники экспедиции питались специально приготовленными для высокогорных восхождений продуктами, он, не любя терять время, скажем, на ожидание их доставки, уходил в свой всегда опасный и трудный маршрут с двумя-тремя глубоко преданными ему красноармейцами, сунув в рюкзаки по куску вареной баранины и по две сухие лепешки... Когда "завзятые" альпинисты спали в пуховых спальных мешках, в специальных шелковых "шустеровских" палатках, Иван Георгиевич Дорофеев и его верные помощники ночевали на льду в овчинных полушубках и при этом -- удивительное дело! -- не простужались, оставались полными сил, всегда энергичными, способными отказывать себе в самом необходимом отдыхе.

Впервые нанесший на карту несколько тысяч квадратных километров территории высочайших ледников, И. Г. Дорофеев только через двадцать три года -- в 1951 году -- решился опубликовать предельно сжатую и предельно содержательную статью; она называется: "По белому пятну Западного Памира". В предисловии к ней академик Д. И. Щербаков, сам один из наиболее смелых исследователей Памира, так характеризует сделанные И. Г. Дорофеевым (только в 1928 году!) замечательные географические открытия:

"... Его съемкой по р. Кара-Джилга, впадающей в оз. Каракуль, и по ее притокам был добыт новый картографический материал, изменяющий прежние представления об этом районе. Было открыто много ущелий и 23 ледника, определено много новых высот. Выполнена съемка по долине р. Карачим, где открыто три ледника, и нивелировка от р. Кокуй-бель до р. Джир-уй на протяжении 16 километров.

Впервые произведено обследование и съемка верховья долины р. Танымас с ее ледниками, установлена возможность прохода от Танымаса по леднику

Федченко в долину р. Муксу. Открыто свыше 20 новых ледников в бассейне ледника Федченко.

Впервые были пройдены перевалы Кашал-аяк, Танымас и новые, ведущие из Абдукагора на ледники Федченко и Академии; произведена полуинструментальная съемка верховьев рек Ванч, Язгулем, Абдукагор. В низовьях ледника Федченко открыто, кроме заснятых мензулой, два новых больших ледника: один, стекающий со склонов пика Сталина длиной около 20 км, другой--с восточного хребта длиной также около 20 км.

Свыше 40 дней пробыл на ледниках И. Г. Дорофеев. На высотах, превышающих 4 км, он работал более 50 дней.

Особая ценность работы И. Г. Дорофеева заключается

в том, что им были пройдены "мертвые" пространства, которые не покрывались еще фототеодолитною съемкой, и, что еще важнее, результаты его съемки были готовы непосредственно после ее выполнения на месте и могли быть использованы для нужд других сотрудников экспедиции.

... Таким образом, И. Г. Дорофееву принадлежит часть существенных географических открытий, его работа является примером самоотверженной деятельности исследователя-топографа в высокогорном районе... "

Так вот... В тот памятный сентябрьский вечер 1932 года, когда перед восхождением через Кашал-аяк на ледник Федченко я особенно жадно расспрашивал о них людей, уже побывавших там, И. Г. Дорофеев рассказал мне много интересного и поучительного о своем путешествии 1928 года.

В подробностях узнал я тогда, как искал он легендарный Кашал-аяк, как разведывал гребень хребта Академии наук, через который, словно через край чаши, ледник Федченко переливается и круто, со страшной высоты, на полтора километра вниз, "дочерними" ледниками низвергается в долины Западного Памира.

Любуясь звездами, я слушал рассказ о восхождении по леднику No 8 (так обозначил его И. Г. Дорофеев на своей карте) и о том, как 20 августа 1928 года вместе с О. Ю. Шмидтом И. Г. Дорофеев впервые обнаружил перевал.

Это был Кашал-аяк!

Я узнал, как связанные обещанием вернуться с результатами географической разведки к основному лагерю, исследователи удержались от соблазна немедленно пойти вниз. И как, только выполнив обещание, И. Г. Дорофеев вновь направился к найденному им перевалу Кашал-аяк.

Первыми, кто 25 августа спустился с перевала в бассейн реки Ванч на другой неизвестный ледник, были два красноармейца из трех, сопровождавших исследователя. И вот причина того, почему этот ледник И. Г. Дорофеевым назван был Красноармейским.

Я смотрел на освещенное затухающим костром простое, русское лицо человека, который первым из всех людей земного шара ступал совсем недавно вот там... в ту минуту я сам находился в тех горах, которые вот там, чуть подальше, в нескольких километрах от меня, вставали высоко-высоко огромной, иззубренной тенью, отсекая собою все нижние звезды безмерно глубокого неба.

Я следил за короткими, не замечаемыми самим рассказчиком жестами, какими указывал он мне туда, где все для него было ясно и где я пока, уже хорошо изучив составленную им

же, И. Г. Дорофеевым, карту, представлял себе только замысловатые линии горизонталей, только ветвистую схему топографических обозначений.

Вот где-то там, по леднику Красноармейскому, Иван Георгиевич со своими спутниками в тот же день дошел до третьего, большого неведомого ледника; ниже из него вытекала уходящая на запад река, та шумливая, быстрая река, на высоком берегу которой, в глухих верховьях долины, совсем близко от ледника,

мы полулежали на траве у костра.

Но тогда И. Г. Дорофеев не знал, что это за река.

Язгулем или Ванч?

Как просто сейчас, найдя на карте ледник Географического общества, сказать, что из него вытекает Ванч!

Но как невероятно трудно было разгадать тайну сплетения гор, ледников и хребтов, когда эту карту еще только нужно было составить, когда все названия еще только нужно было придумать!

Вокруг были льды, уже нависшие сверху; скалистые стены ущелья, нагромождение морен, и -- под ледником -- маленькая травянистая зеленая площадка, нежданная, благоуханная, густая трава, и цветы, и воздух, впервые за долгое время нежащий, теплый...

И, глядя на мерцание звезд, вот тех же, какие теперь видел и я, можно было забыть о всех нечеловеческих трудностях, о всех опасностях, оставшихся позади, даже о том, что все продукты уже на исходе, а людей, людей, никаких обитателей, вот все еще нет!.. Последние местные жители, каких видел И. Г. Дорофеев, были киргизы у озера Каракуль, -- это было, кажется, месяц назад и, кажется, безмерно далеко отсюда!..

И все-таки Дорофеев не поспешил двинуться вниз... Он считал своим долгом прежде всего исследовать тот большой ледник, к которому они вышли. И на следующий день он отправился вверх по этому леднику, по его остро-каменистым моренным буграм, каждый из которых был высотою в полсотяю метров. И, только найдя в верховьях огромный ледопад, который, несомненно, был вторым перевалом Кашал-аяк (Дорофеев обозначил его на карте No 1, а пройденный накануне-- No 2), Дорофеев к вечеру, при луне вернулся вниз, пройдя пятнадцать километров по отвратительным буграм и ямам морен, по снежным мостикам через тысячи трещин, к той травянистой площадке, где его дожидались красноармейцы.

Продукты кончились. Если здесь был Ванч, то до ближайшего кишлака Пой-Мазара оставалось итти недолго. Если здесь был Язгулем, положение могло оказаться катастрофическим, -- кишлаки Язгулема, по всем сведениям, начинались очень далеко от истоков реки.

И вдруг красноармеец Гизятов, справедливо гордившийся своим зрением, увидел далеко внизу огонь. И закричал:

-- Огонь!

Но, кажется, ему это только привиделось. Никто другой не мог во тьме разглядеть огня. И. Г. Дорофеев не обнаружил его даже в бинокль.

На следующий день исследователь со своими спутниками двинулся вниз по долине. Вся группа едва не погибла на переправе через неведомую реку, о которой позже стало известно, что у горцев верховьев Ванча она называется Абдукагор.

И еще ночь -- у неодоленной реки.

Теперь Дорофеев жег большой костер в надежде, что люди, которые -- надо же думать! -- есть где-то внизу, заметят огонь. И теперь уже все увидели: внизу сверкнул огонек. Ктото, какие-то люди внизу зажгли ответный костер!.. Можно было не сомневаться: внизу, недалеко, есть люди!

Впрочем... В числе слышанных И. Г. Дорофеевым легенд была и легенда о существовании где-то, среди этих гор дикого, враждебного цивилизованным людям племени.

Утром 28 августа группа И. Г. Дорофеева, не в силах одолеть реку, вернулась к языку ледника, поднялась на него, обогнула сверху исток главной реки и вдоль другого -- правого -- берега, карабкаясь по отвесным скалам, двинулась вниз.

Когда путники огибали один из скалистых мысов, уходивших отвесно в воду и, как во льду, выламывали в нем ледорубом ступеньки, они вдруг увидели...

Однако я расскажу об этом словами самого И. Г. Дорофеева:

"-- И вдруг кто-то закричал: "Смотрите, люди!" По левому берегу на двух лошадях ехали люди по двое на каждой лошади, один шел пешком. В бинокль мы разглядели, что это таджики. Мы сигнализировали им, кричали, хотя и знали, что из-за шума реки они нас не услышат. Когда мы спустились со скалы, незнакомые люди подъехали к берегу и один из них что-то кинул в нас. Камни? Нет, яблоки! "Ура нашим спасителям!" -- закричали мы".

И в ответ на вопрос, что это за река, люди ответили им: Ванч! И один из них переправился через реку на турсуке. Путешественники обнимали его, трясли ему руки.

"-- Это был председатель сельсовета кишлака Пой-Мазар в долине Ванч. Со своими товарищами он приехал узнать, что за огонь видели пастухи, пасущие стада в горах. Когда я рассказал, что мы спустились сюда именно через эти горы и льды, он был сильно поражен и не сразу поверил, что я говорю правду.

Узнав, что мы голодны, он знаками распорядился, чтоб его товарищи ехали вперед в Пой-Мазар и сварили барана, а пока угощал нас яблоками и лепешками... "

К этому рассказу надо добавить, что, узнав от ванчцев о существовании перевала, ведущего в соседнее ущелье Язгулем, И. Г. Дорофеев на следующее же утро, не дав себе отдыха, отправился в путь и уже вечером того дня снова был на новом, дотоле науке неведомом, леднике, на водораздельном гребне. А затем спустился в Язгулем, начал поиски перевала из Язгулема на ледник Федченко и через несколько дней труднейшего и опаснейшего пути оказался на высотах в пять с лишним километров, на неведомых фирновых полях исполинского ледникового цирка, который, -- к счастью для исследователя и для его спутников, измученных и уже голодающих, -- оказался верховьями ледника Федченко. Отсюда было недалеко до середины ледника, где О. Ю. Шмидтом был организован полный запасов продовольствия лагерь.

Круг был замкнут, вся область большого белого пятна расшифрована!

По леднику Географического общества

Ледник Географического общества назван так И. Г. Дорофеевым, который, спустившись с открытого им перевала Кашал-аяк (No 2), впервые нанес этот ледник на карту. Для этой работы И. Г. Дорофеев 26 августа 1928 года прошел весь ледник снизу до ледопада Кашал-аяк (No 1) и обратно.

Дорофеев определил длину ледника в восемнадцать километров, а площадь -- в тридцать шесть квадратных километров.

С тех пор ровно двадцать лет, до 1948 года, никто специальными исследованиями ледника не занимался, и всякий желавший что-нибудь узнать о нем должен был ограничиваться только данными И. Г. Дорофеева.

В 1948 и 1949 годах ледник, наконец, как и многие другие ледники этого бассейна, во всех подробностях был изучен экспедицией известного геоморфолога профессора И. С. Щукина. За двадцать лет конец ледника отступил на 2 600 метров от того места, где он был в 1928 году.

Длина ледника до ледопада Кашал-аяк оказалась 12, 8 километра, а общая длина до верховий-- 21, 5 километра.

Площадь же ледника со всеми фирновыми и снежными полями была определена почти в восемьдесят два квадратных километра. Средняя скорость течения ледника равнялась почти ста четырем метрам в год.

29 П. Лукницкий

В 1932 году, поднимаясь по леднику Географического общества к ледопаду Кашал-аяк, я сделал в дневнике следующую запись:

... *1 октября.* Встали с рассветом, напились чаю (получив каждый по два куска сахара и лепешке) и в 7 часов 40 минут утра вышли из Ванвана на ледник Федченко.

Мы сразу же разделились: я с караванщиком Мирзоджаном и вьючной лошадью

двинулся через кишлак Пой-Мазар по левому берегу, а все остальные -- по правому. Уговорились встретиться на леднике, там, где его подмывает вырывающаяся сбоку река Абдукагор.

Я шел к переправе через Абдукагор до 12 часов 30 минут дня. Кустарник, а иногда густой джангаль -- заросли колючки -- постепенно редели. Миновал последнее человеческое жилье -- одинокую, пустую хижину: летовку ванчских пастухов.

Перед долиной Абдукагора долина Ванча сузилась, начались морены и открылся вид на морены ледника Географического общества, захламленного, грязного и бугристого, по которому мы пойдем на ледопад. Ходят тучи, ими закрыты все вершины, солнце появляется только на короткие минуты. Прохладно.

И вот я у переправы. Четыре года назад здесь едва не погиб И, Г, Дорофеев со своими спутниками. На пути от ледника Красноармейского, стремясь в долину Ванча, его группа подошла сверху сюда, еще не зная, что это за река, -- название Абдукагор тогда было миру неведомо. Перед И. Г. Дорофеевым оказались четыре рукава реки, такой же бурной, какой два часа назад она предстала перед моими глазами. По сравнительно мелкой воде путники переправились через три рукава, а четвертый -- вот тот, что сейчас передо мною был первым, -- одолеть им не удалось: воды в нем было по пояс, она перекатывала по дну крупные валуны. Обессилев в борьбе с водой, Дорофеев и его спутники решили было отойти назад. Но оказалось, что в трех пройденных рукавах воды прибавилось столько, что и обратный путь отрезан. Все четыре рукава, стремительно увеличиваясь, должны были вот-вот соединиться, поглотив тот галечный островок, на котором в плену оказались Дорофеев и его спутники.

Только героизм самого Дорофеева и его трех красноармейцев, спасавших друг друга с помощью веревки, помог им в последнюю минуту одолеть бешеное течение реки и вырваться из гибельного плена.

В том же году здесь при переправе был сильно покалечен один из участников альпинистской группы. Ему потом пришлось лежать две недели.

Теперь испробовать эту переправу предстояло и мне. Я осторожно вступил в воду, но уже через несколько шагов понял, что еще шаг, и течение собьет меня с ног. Я вернулся и, обвязавшись веревкой, а другой конец ее передав Мирзоджану, сунулся в воду снова. Но... безуспешно.

В конце концов мне удалось перебраться через реку на вьючной лошади, разделив предварительно вьюк на две части. Переправившись, таким образом, дважды, сложив груз на камнях и погнав лошадь обратно, я крикнул Мирзоджану, чтобы он возвращался в Пой-Мазар, и мой испытанный караванщик уехал, оставив меня одного.

И вот уже 3 часа дня -- никаких признаков нашей группы, хотя мы условились, что с ледника сюда спустятся носильщики за вещами и тогда я пойду дальше, вместе со всеми...

Около часа столбом стоял на вершине моренного бугра, -- никого не видно. Дал выстрел из нагана, -- он только чуть слышно пикнул. Вернулся, ждал; ходил к мысу Абдукагор. Наконец услышал сзади свист. Азиз, переводчик, нашел меня. Оказывается, группа блуждала в моренных буграх.

На поиски и ожидание ушло четыре часа. Вместе мы прошли по буграм с полчаса, но двигаться дальше -- поздно, и вскоре мы располагаемся на ночевку. Поднимая облако пыли, разравниваем моренный бугор ледорубами, палаток не расставляем, -- для них нет места, расстилаем общее ложе -- брезент. Набрав среди морен обломки арчи, очевидно сброшенной обвалами со склонов, высящихся над ледником, разжигаем костер, спускаемся за водой по камням моренного бугра: в леднике -- грот и ледяной мост и, если пробить ледяную корку, -- вода.

Быстро темнеет. На ужин для всех две банки грушевого компота и чай с половиной лепешки на каждого. Нудная перезарядка пластинок в спальном мешке, когда все уже спят.

2 октября. Ночью был мороз, но в спальном мешке -- тепло. Утром, до солнца, на морозце, каждому -- по половине кружки чаю, по банке консервов и по три куска сахару.

Желание -- сегодня дойти До ледопада, который хорошо виден был уже вчера. Обманчивое впечатление о его близости.

... Идем с частыми передышками, прыгая с камня на камень, по морене, закрывающей ледник. Постепенно раскрывается грандиозная перспектива на другие ледники, -- системы пика Дарваз *, пика Коммунистической академии, Абдуцагора и Кашал-аяка: мы все глубже входим в мир льда.

* Этот пик при сличении всех топографических материалов экспедиций 1932 года оказался настоящим пиком Гармо, за который до того принимали другой пик -- пик Сталина.

Справа и слева -- отвесные стены, "обработанные" проползавшим ледником, который когда-то был метров на сто выше теперешнего. Левее нас -- ледник обнажен, изборожден трещинами, покрыт фирном. Правее -- громадные холмы, морены, ямы и трещины между холмами. Идем по гребню средней морены.

Нам не до разговоров, потому что легкие заняты трудным делом -- дыханием. Хочется пить, пить; пью часто по одному, по два глотка. Рюкзак надоел, как легко было бы без него! Впрочем, итти по сравнению с прежними моими хождениями по Памиру не трудно.

Погода хорошая, но через пики перебираются облака, а от Абдукагора на ледник Федченко, минуя нас, ползут тяжелые тучи.

Среди дня -- остановка. Сауков, Голубев, Каргин, я и завхоз отправляемся влево, к правому борту, через фирн, трещины и ледяные глыбы, искать под осыпями дрова. Мы хотим взять с собой дров на вечер, на утро и, если удастся, наверх...

Высоко, на склонах боковых гор видна арча. Поиски, разочарование: дров нет, есть только сухие, ломкие куски стеблей ферулы, которых даже не соберешь, -- они в руках рассыпаются. Поэтому разделились: я полез вверх по осыпи, откуда струится ручей, -- по замшелому камню; думал вылезти, подобраться к арче. Оказалось, слишком круто и скользко. Спустился обратно и, набрав охапку веток, корней и стеблей ферулы, балансируя на гребнях ледяных холмов, выбрался к своим. Они за этот час хорошо отдохнули.

Двинулись дальше, немного поплутали среди трещин, через которые все чаще приходится прыгать, и перед самой темнотой стали на ледяном холме, у снежного бугра, против висячего ледника левого борта, следующего за ледником Красноармейским. До сверкавшей весь день стены ледопада осталось как будто совсем немного, но сегодня дойти все же не удалось.

Мороз -- градусов десять, вода в кружках замерзает быстро. Всем нам пришлось вырубать себе в смерзшихся, схваченных льдом камнях спальные ложа. Ланина и Тагеева поставили себе белую палатку; для носильщиков мы расставили зеленую, шестиместную, а сами решили спать без палаток. Сегодня какао на скудном, принесенном с собою топливе, по банке рыбных консервов и по половине лепешки. Носильщики не хотят есть рыбных консервов, ибо "никогда такой вещи не ели". Уговариваем, и наиболее смелые решаются.

Завхоз кипятит воду для какао, и все с затаенной жадностью следят за этим его занятием, сидя вокруг крошечного костра. Завхоз приступает к дележке, выдавая по полкружке на человека. После дележки с веселой перебранкой (настроение у всех отличное) получаем добавку: еще по полкружке, и забираемся в спальные мешки.

На ледник Федченко через Кашал-аяк

3 октября 1932 года. Ночью над нами -- звезды, глубокие и удивительно точные; под нами -- неверный, трескучий и глубокий лед; вокруг -- снег, и все это сковано тяжелым морозом. Отогревшись в мешке, перезаряжаю кассеты, курю трубку и -- не сразу -- засыпаю.

Перед темнотой я сосчитал окружающие нас ледники. Их со всех сторон около двадцати.

Всю ночь трещит лед и где-то слышны обвалы.

Проснулись рано, чтобы как можно раньше выйти. Мороз. Завхоз выдал по банке мясных консервов. Остатки дров ушли на кипячение чая, по полкружке на человека, на сей раз -- строго. Двух носильщиков из шести, тех, кто по вине завхоза оказался без полушубков, мы отправляем назад. Перераспределение груза на четырех носильщиков и на каждого из нас, мужчин.

Оставляем здесь девятнадцать банок рыбных консервов в рюкзаке, соорудили над ним пирамиду из камней, запомнили место. Вышли в десятом часу. Погода хорошая, хотя с утра все небо было в тучах, на вершинах и на леднике Красной Армии выпал снег. К нашему выходу тучи рассеялись.

Идем медленно, все поднимаясь. Иногда забираемся в такой лабиринт трещин, ям и холмов, что приходится возвращаться и высылать разведку, обычно Коровина и переводчика Азиза.

Меня поражает рюкзак Коровина: он больше, чем у всех других. Как можно тащить на эту высоту такую тяжесть?

Выходим к левому борту ледника, но не к самому борту, а к морене, последней в этой стороне. По ней добираемся до ледопада, минуем первый его язык и под вторым останавливаемся, дожидаясь носильщиков. Один из них, увидев, куда ему придется лезть, до крайности испуганный ледопадом, намазал себе назом (подъязычным табаком) глаза и ноющим тоном заявил, что он больной и итти не может. При этом он снял подбитые триконями ботинки и, сев на камень, хотел уже сбросить с себя рюкзак.

Я осмотрел его глаза и убедился, что зрение его не пострадало, а кроме того, понимая, что одного оставить его здесь нельзя, сурово заявил, что обманывать нас не позволю. Он потребовал себе очки, но когда ему дали очки-консервы, он

надел их на лоб, а не на глаза, ноя, что, мол, очки мешают ему смотреть, а без очков он итти не хочет. Только когда другие носильщики, также получив очки, высмеяли его, он снова надел ботинки и двинулся к ледопаду.

Пройдя по низу мимо второго языка, мы начали подъем слева (вдоль правого его борта), по стыку ледника со скалой. Пришлось лезть по скале. В одном месте -- крутом, сыпучем, трудном -- нужно было пролезать, прижимаясь животом к скале. Азиз, Коровин и завхоз вылезли вперед и наверх, а я застрял, зацепившись фотоаппаратом, съехавшим мне на живот. Сзади напирали все остальные, -- им некуда было деться, они стояли на таком месте, где опасно было пошевелиться, поэтому я не мог отступить назад. Просил Азиза подать мне ледоруб, но он ушел вперед, сказав, что ему самому не на что опереться.

Точка опоры у меня была весьма относительная. Завхоз сверху спустил веревку, и мы все выбрались, держась за нее. Отказалась от веревки Лавина: смело и легко пролезла без посторонней помощи.

Взобравшись выше, я размотал свою веревку, спустил ее носильщикам; пользуясь моей поддержкой, они пробрались благополучно.

Мы поднимались по осыпи, перерезая ее чуть выше перегиба, где она обрывалась отвесом. И там, где нам пришлось огибать мыс скалы над отвесом, оказалось следующее скверное место, которое каждый из нас одолел с большой осторожностью.

Мы вылезли на фирновую площадку между двумя ступенями ледопада; тут позволили себе краткий отдых: ледяной водой каждый из нас запил кусочек шоколада и несколько штук печенья. Занялись фотографированием, а потом, надев "кошки", двинулись к подножию верхней гряды ледопада. Коровин, Сауков и завхоз впереди рубили ступеньки, а я, Каргин и Голубев помогали

носильщикам, соединили их всех и себя с ними веревками и медленно поднимались, страхуя друг друга, руководя каждым движением носильщиков, потому что никаких альпинистских приемов они, конечно, не знали.

Затем я один без веревки полез вперед, рубя ступени и расширяя для носильщиков сделанные тремя моими товарищами.

От ледопада я ждал больших трудностей, оказалось, что подъем с "кошками" вовсе не труден и прост, Главная опасность была в угрозе обвалов, Все нижнее поле фирна, далеко под нами, было сплошь завалено глыбами свежих лавин и ледяных обвалов, и каждую минуту мы могли оказаться сметены следующим.

Поднявшись по ледопаду, наперерез ему, к левому его борату, к скале, что высилась "островом" между двумя языками ледопадного потока и выдвигалась над ними острым черным балконом, все мы собрались вместе, сняли "кошки" и полезли вверх по каменной осыпи. Она была предельно крута, но не опасна, и если б не тяжесть подъема с рюкзаками, то мы утомились бы гораздо меньше.

Ушедшие вперед спустили вниз большой камень; он долго, большими скачками летел, направляясь на меня. Я стремительно отскочил в сторону, и он промчался, ударившись в то место, где я только что стоял.

Носильщики отстали опять. Пока мы поднимались по осыпи, солнце зашло за вершины гор. Выбравшись на голову скалы, после небольшого фирнового ската, мы оказались на превосходной, ровной, закрытой со всех сторон скалистой площадке. Она походила на ладонь, услужливо протянутую нам гигантской скалой, чтоб мы, пигмеи, могли все спокойно на этой ладони расположиться. Она состояла из черного, затейливо отполированного ледником, монолитного скального выступа. Мы решили на ней заночевать, потому что здесь были в безопасности от лавин " обвалов, -- они обязательно прошли бы либо левее, либо правее нас.

Примерно через час сюда поднялись носильщики. Женщины (очень смело и хорошо поднимавшиеся весь день) расставили себе палатку, носильщики сделали то же, завхоз, как всегда, устроил себе ложе из продовольственных рюкзаков, я с Каргиным, Сауковым, Голубевым и Коровиным, положив на скалу палатку, развернули на ней спальные мешки, решив спать под открытым небом.

Не было ни воды, ни огня, поэтому я изобрел такой ужин: по полбанке сгущенного молока и по две ложки сухого, замешанного в это молоко какао.

Стемнело. Мороз усилился. Отогревшись в спальных мешках, я с Каргиным съели свои порции. Оказалось, очень сытно, но достаточно противно: женщины и завхоз возмущались такой едой. Я занялся перезарядкой пластинок, а потом созерцанием звездного неба, сопровождаемым подробными астрономическими объяснениями Каргина.

Высунув нос из спального мешка, я вижу и Кассиопею, и Пегаса, и Малую Медведицу, и Змею, и Полярную звезду, и какую-то, с правой стороны, звезду южного неба, Я уже давно не любовался столь удивительно чистыми звездами.

4 октября 1932 года. Ночью было холодно и сверху и снизу; гудели обвалы, внизу и вверху трещал лед, и сны были странными. Встали мы рано и вышли рано, ничего не съев и не выпив, решив отогреться подъемом. Сразу полезли по скале, без особых трудностей вылезли к верхнему фирну, где уже кончался ледопад.

Здесь, пробив ледорубами в трещине лед, обнаружили воду и пили ее из лунки в ожидании носильщиков.

Вышли на фирн и двинулись по фирну, и тут появилось изза гор солнце, осветив снег и лед, которые искрились вокруг, пленяя нас бесчисленными оттенками всех -- и нежных и строгих -- тонов.

Завхоз один ушел далеко вперед. Мы кричали ему, требуя, чтоб он остановился, подчинился альпинистской дисциплине.

Шли, лавируя между трещинами и прыгая через них. Без труда добрались до перевала, почти неощутимого, здесь расселись на снегу отдохнуть. Я дрожал от

холода, потому что, перед тем, выйдя на фирн, когда из-за гор показалось солнце, решил было, что будет тепло, снял ватник и свитер, шел в одной рубашке. Теперь же, сидя на снегу, одетый во все теплое, никак не мог отогреться.

Сидели мы с полчаса, делясь имуществом и продуктами: путь Саукова, Каргина, Голубева и двух носильщиков лежал к Танымасу, а мы, остальные, направлялись отсюда по направлению к Бивачному леднику, чтобы встретиться у места, выбранного для строительства обсерватории, с группой, движущейся по леднику Федченко с севера; Коровин и Азиз спешат: они завтра должны быть в Алтын-Мазаре, где из Алайской долины ожидается караван со строительными материалами для обсерватории.

Разделившись на две группы, в каждой связавшись веревками, мы пошли в разные стороны.

Я со своими пустился вниз, по фирну, сразу же пришлось прыгать через бесчисленные трещины. Многие из них были прикрыты снегом, поэтому приходилось прощупывать путь ледорубом и проваливать вниз карнизы обнаруженных под снегом трещин. Дойдя до левого скалистого мыса -- ригеля, на котором должна быть сооружена обсерватория, и не найдя здесь никого и ничего, мы сняли с себя веревку, немного отдохнули и, пройдя чуть дальше, увидели каменный тур. Под ним в консервной банке оказались записки двух незадолго до нашего прихода ночевавших здесь групп, в их числе Птенчика и Гога -- двух молодых альпинистов, которым я в Ванване дал лошадей в Хорог.

Оставили свою записку и мы. Ледник Федченко, грандиозный, величайший в средних широтах мира ледник, лежал перед нами, не видно было только его верховьев за поворотом.

Группа, с которой мы должны были встретиться, еще не пришла сюда. Поэтому мы спустились на ледник Федченко и, выйдя на его середину, быстро пошли вниз, сначала по одной

из моренных "дорожек", а когда ее стали беспрестанно перерезать непроходимые, глубочайшие трещины, по самому леднику, лавируя между трещинами и прыгая через те из них, ширина которых не превышала полутора метров. Шли очень быстро, торопясь сегодня дойти до Бивачного ледника, где, как мы знали, располагался большой альпинистский лагерь и где мы предвкушали горячую пищу и новости.

Раза два мы останавливались для короткого отдыха, а на третий раз, едва я остановился, кто-то громко крикнул, и я увидел идущую по морене к нам, снизу, цепочку людей. Я выхватил наган, дал в воздух три выстрела. Меня увидели. Мы быстро сошлись, и я сфотографировал момент встречи.

А Коровин (и тут только я понял, почему его рюкзак был так непосильно тяжел!) вынул из своего рюкзака огромную сочную ванчскую дыню, груду яблок и торжественно, со счастливой улыбкой положил их на лед перед своими товарищами, которые уже с месяц находились на ледниках.

И простецкое, добродушное, веселое лицо Коровина было таким хорошим, что я невольно залюбовался им!..

ГЛАВА XV. ВЫСОЧАЙШАЯ В МИРЕ

2 МПГ

"... И ездил он по морю на морских судах 17 лет, и ходил в темную землю, и тамо тьма стоит, что гора темная; издали поверх тьмы тоя видать горы снежные в красный день".

Так говорит русское сказание начала XVII века о мореходе из Колы по имени Афанасий, семнадцать раз плававшем по Северному Ледовитому океану, побывавшем на Шпицбергене или на Новой Земле.

Тысячи таких же русских полярных мореходов с незапамятных времен пересекали во всех направлениях полярные страны. История сохранила имена пинежанина Левки Шубина, и двинянина Коядрашко Курочкина, и пинежанина Фомки Борисова, и многих-многих других российских людей, проникавших в неведомые до них полярные области. Еще задолго до А. Э. Норденшельда, обогнувшего в 1878 году мыс Челюскин на судне "Вега", древнерусские полярные мореходы обошли тот же мыс, --об этом свидетельствует найденная в 1941 году на восточном берегу Таймыра зимовка русских моряков XVII века.

Поводов для плавания в полярных морях становилось все больше: разрастался китобойный промысел; человечество искало кратчайший морской путь из Европы в Китай и в Индию. Эти поиски стоили больших денег и потребовали многих человеческих жертв. Огромные белые пространства начали покрываться сеткой географических карт. Открывались новые земли. Но все больше людей гналось только за богатством, за славой. Экспедиции стремились побить рекорд северной широты. Сама по себе научная работа очень мало кого интересовала, и потому

в общем полярные экспедиции не могли похвалиться обилием собранных ими научных материалов.

Так обстояло дело до 1876 года, когда лейтенант австрийского флота Карл Вейпрехт, один из руководителей экспедиции, открывшей Землю Франца Иосифа, в своем докладе "Основные принципы арктических исследований" выдвинул идею организации "Международного полярного года". Вейпрехт доказывал, что необходимо окружать северную полярную область кольцом станций, на которых проводились бы одновременно в течение одного года при помощи одинаковых приборов и одинаковыми методами различные наблюдения, главным образом по геофизике, ботанике, зоологии и геологии.

Международный полярный год был проведен с августа 1882 года по август 1883 года; в нем приняли участие двенадцать стран, построивших тринадцать станций в Арктике и две в Антарктике. Он принес обильный цифровой материал, однако не дал всех ожидавшихся от него научных знаний, главным образом потому, что семьдесят лет назад общее развитие геофизики и, в частности, метеорологии находилось еще на крайне низком уровне.

За время, протекшее после первого Международного полярного года, исследование полярных стран, особенно к тридцатым годам, благодаря советским экспедициям значительно подвинулось вперед. С развитием метеорологии выявилась та большая роль, какую играют Арктика и Антарктика в общей циркуляции атмосферы. Влияние этих областей на климат всего земного шара уже не вызывало никаких сомнений. Потоки холодного воздуха, рожденные в полярных областях, продвигались иногда до самых тропиков. Было произведено много

научных наблюдений, исключительно важных, в частности, для сельского хозяйства. Удалось, например, установить зависимость между состоянием атмосферы в приатлантической части Арктики зимой и количеством осадков в последующую весну в центральном и юго-восточном районах Европейской части Советского Союза. Эта связь позволила довольно надежно предвидеть весенние засухи, которые так гибельно действуют на урожаи хлебов.

Приняв во внимание все возможные результаты детального изучения Арктики, правительство СССР уже к тридцатым годам значительно увеличило сеть полярных станций в советском секторе Арктики. Правительства других стран по разным причинам, в числе которых важную роль играл мировой кризис капиталистической системы, обращали мало внимания на увеличение сети своих полярных станций. Больше других государств сделали к тому времени, пожалуй, только скандинавские государства.

Но, как говорится, нужда заставит!.. Всем было ясно: исследования полярных стран следует углубить и расширить, а этого нельзя сделать без нового международного соглашения. Поэтому, весьма естественно, возникла мысль о повторении Международного полярного года. Его приурочили к пятидесятилетней годовщине первого полярного года, то-есть к 1932 -- 1933 годам. В Копенгагене была образована Международная комиссия по Второму полярному году в составе представителей десяти стран, в том числе и СССР. Председателем был избран датский геофизик профессор Ла-Кур.

В первом заседании комиссии в Ленинграде, в августе 1930 года, выяснилось, что вследствие общего кризиса и недостатка средств в капиталистических странах основную роль в проведении этого года будет играть Советский Союз, выступивший с огромной программой исследований. Кроме основных работ в советском секторе Арктики, программа Второго Международного полярного года (сокращенно именуемого 2МПГ) предусматривала постановку исследований белых полярных пятен, находившихся далеко от полярных стран. Такие пятна существовали и под тропиками и в средних широтах. Это области высокогорных оледенений. У нас в Советском Союзе к таким областям относятся ледники Памира, Тянь-Шаня, Кавказа, Алтая, Северного Урала.

Во все эти области решено было отправить экспедиции 2МПГ.

Смелое решение

Совершенно естественно было памирские работы по 2МПГ объединить с работами Таджикской комплексной экспедиции и осуществлять их под общим руководством. Выполняя полученные задания, отряды экспедиции проводили разнообразные походные наблюдения по гляциологии, гидрологии и метеорологии на Памире, основали в разных пунктах его несколько высокогорных метеорологических станций. Но главной работой было строительство высочайшей в мире гидро-гляцио-метеорологической обсерватории на леднике Федченко, на высоте 4 300 метров над уровнем моря.

Зачем была нужна эта обсерватория?

Расположенные на окраине памирского нагорья, между пустынями Туркмении и сухой резко континентальной областью высокогорья, ледники поражают своим громадным развитием и разнообразием типов. По выражению Д. И. Щербакова, "области питания ледников Федченко... производят сильное впечатление своей мощностью, позволяющей сравнивать их с фирновыми полями внутри материковых льдов полярных стран... ".

Миллиарды тонн льда находятся на огромных высотах, взнесенных над всем Таджикистаном. Один только ледник Федченко (считая его ширину в среднем три километра, длину -- семьдесят девять километров и глубину ледового тела -- полкилометра) составляет сто восемнадцать кубических километров льда. А если сосчитать все другие ледники этого бассейна, то общий объем их окажется не меньше чем пятьсот кубических километров.

Эта исполинская масса льда находится на высоте в один километр над всеми окружающими высокогорную область долинами.

Это поистине ледяная крыша Средней Азии!

Почти весь Вахш, реки Ванч, Язгулем, Бартанг и другие, полностью или частично берущие начало в этом ледниковом бассейне, впадают в Аму-Дарью (точнее -- в Пяндж, как называется великая река Азии в своих верховьях).

Иначе говоря, все верхние притоки Аму-Дарьи, находящиеся в Советской стране, начинаются на Памире, в его ледниках. Аму-Дарья питается их водой, зависит от таянья этих массивов льда. Нужно ли говорить о значении Аму-Дарьи для всего народного хозяйства среднеазиатских республик? И можно ли допустить, чтобы родина этой воды не была детально исследована? Бассейн ледника Федченко -- это огромный аккумулятор водной энергии. Можно ли развивать энергетику Таджикистана, не зная, как будет вести себя этот аккумулятор? Можно ли строить гидростанции, заниматься ирригацией, развивать хлопок и другие сельскохозяйственные культуры?

Кроме того, ледниковые области Памира -- это "кухня погоды" для всей Средней Азии. Здесь, на ледниках, образуются тучи, возникают ветры, и снежные бури, и дожди. Именно отсюда расходятся в разные стороны "волны погоды". Если ранний мороз губит посевы хлопчатника в жарких среднеазиатских долинах, если в реках перестает течь вода и пересыхают русла, если яростный ветер срывает листья с шелковичных деревьев, если вызванные дождями мутные сили заливают рыжей тягучей жижей посевы пшеницы, если происходит тысяча других неожиданностей, -- кто прежде всего в этом виновен?

Это лед горных высот, который борется с солнцем... В воздухе Памира мы наблюдаем удивительные и загадочные явления. В восточнопамирской пустыне Маркансу внезапно взвиваются смерчи, похожие на те, что бывают в Сахаре. На реке Мук-су нежданно-негаданно возникают пыльные вихри, переходящие в сплошные стены пыли, которые поднимаются на один-два километра над долиной. Ураганы на ледниках, достигая бешеной скорости -- сорока метров в секунду, вздымают

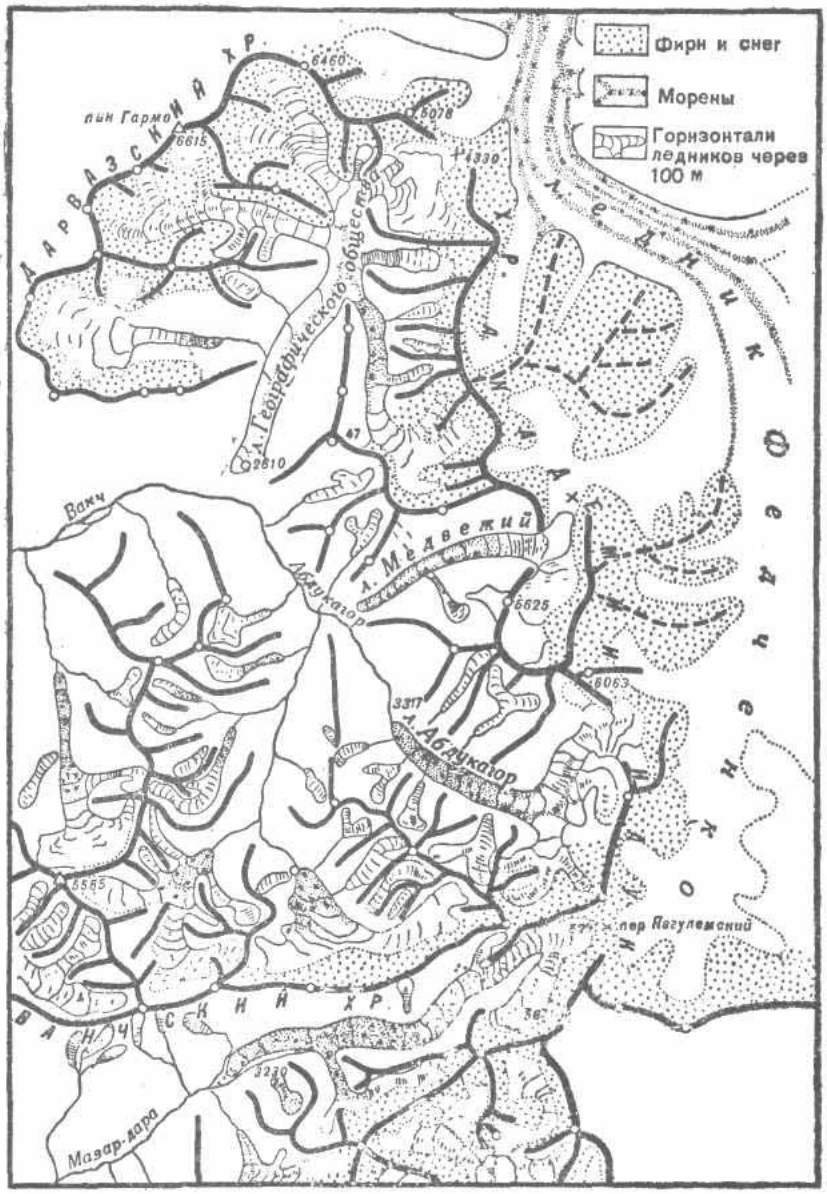


Схема оледенения истоков рек Ванч и Язгулем (по схеме Р. Д. Забирова, участника гляциологической экспедиции профессора И С Щукина 1947--1948 годов).

неизмеримые массы сыпучего, похожего на манную крупу горного снега, нагромождают сугробы высотою с башню Кремля. С ребра пика Сталина и других пиков соскальзывают лавины шириною в несколько километров. С Алтын-Мазарских Альп рушатся "обвалы ветров", такие, будто падает вниз само небо. Из "окон" Сауксайского и других каньонов вырываются столь мощные потоки вихрей, что нет, кажется, силы в мире, способной противостоять им.

Вся эта область -- средоточие исключительных климатических явлений, находящихся в вечной схватке между собой.

В этом бешеном круговороте стихий человек представляется силой так ничтожно малой, что ему даже и пытаться проникнуть сюда кажется невозможным.

Но советский человек всегда отличался бесстрашием и умением справляться с любой стихией. И решение наших ученых было дерзким: следует в этой безжизненной, суровой, холодной, похожей на мертвый лик луны области поселить людей, таких людей, которые не побоятся ни разреженного воздуха, ни диких полярных морозов, ни физического одиночества, которые ничего не боятся

и готовы самоотверженно отдать жизнь за каждое драгоценное показание прибора. Надо разгадать капризный характер льдов; надо узнать законы их таяния в различных природных условиях; измерить скорость движения ледяных потоков; выяснить, сколько влаги они отдают в атмосферу; надо день за днем, час за часом, придирчиво наблюдать, измерять и выведывать, разгадывать тайну за тайной.

На леднике Федченко надо построить постоянную научную станцию, какие бы трудности ни пришлось для этого преодолеть!

На той высоте, где будет поставлена станция, барометрическое давление снижается до четырехсот миллиметров, почти вдвое ниже обычного; поэтому пульс человека там равен ста двадцати -- ста тридцати ударам в минуту; в разреженном воздухе трудно ходить и дышать. Станция должна находиться там, где ураганные ветры давят на каждый квадратный метр с силой до трехсот шестидесяти килограммов, нетерпимой для человека!

Предполагалось, что метеорологическая станция будет совсем небольшая. О капитальном строительстве ледниковой обсерватории никто вначале не думал. Существовало твердое убеждение, созданное исследователями-высокогорниками, что пробраться к верховьям этого гигантского ледяного потока можно только пешком, с небольшим грузом за плечами, рискуя на каждом шагу сломать себе шею. Тащить же на ледник кирпичи, цемент, кровельное железо и доски казалось безумием. В период, когда Таджикская комплексная экспедиция организовывалась в Москве и Ленинграде, большинство специалистов сходилось на том, что строить станцию невозможно, но следует поставить на леднике киргизскую юрту, втащив ее сюда по частям с помощью таджиков-носильщиков, отеплить ее, занести в нее приборы, доставить на спинах людей запас топлива и продуктов и поселить здесь одного-двух зимовщиков. Эту идею поддерживал и Средне-Азиатский гидрометеорологический комитет. Но руководство экспедиции, несколько наиболее смелых специалистов из Бюро высокогорных исследований (имевших опыт постройки Тянь-Шаньской высокогорной станции, незадолго перед тем оконченной), утверждало, что нельзя ограничиваться полумерами, следует решать проблему по-большевистски: если уж надо оставлять на такой высоте зимовщиков, то необходимо и создать наилучшие условия для их жизни.

Решено было: станцию строить капитально, с отдельными комнатами-каютами для каждого из зимовщиков, с настоящей лабораторией, с хорошей радиостанцией, со всем тем необходимым, что способствовало бы как успеху научных работ, так и хорошему физическому и моральному состоянию зимовщиков.

Проект станции был составлен инженером Владимиром Рихардовичем Блезе. Ему же было поручено и руководить на месте строительством. Все годы первой пятилетки он занимался строительством высокогорных научных станций на ТяньШане и по всей Средней Азии. Он был известен как едва ли не единственный знаток в своей редкой специальности.

Необыкновенное строительство

С весны 1932 года началась напряженная организационная и подготовительная работа. Были заготовлены материалы, подобраны кадры строителей.

Обсерватория строилась в Ташкенте, с тем чтобы в разобранном виде перевезти ее по железной дороге в Ош, а оттуда вьюками и на руках доставить за четыреста девяносто километров на ледник. Поэтому каждая деталь обсерватории должна была весить не более тридцати двух -- сорока килограммов. Каждый гвоздь, каждый брусок, каждое крепление нужно было только по леднику протащить несколько десятков километров. Сама станция весила четыре тонны, а приборы, запасы топлива и продовольствия на год еще девяносто шесть тонн. Это значит, что для перевозки грузов требовалось свыше трех тысяч вьюков.

Часть грузов была доставлена по Алайской долине до Дараут-Кургана на пароконных бричках, -- ими вдоль Алая впервые была проложена колесная дорога. В Алтын-Мазар грузы перебрасывались верблюдами и лошадными караванами. Они начали туда приходить с июля, и ранней осенью там была

организована база.

Все работы проводились в тесном содружестве с возглавляемым В. И. Поповым гляцио-метеорологическим отрядом Таджикской комплексной экспедиции.

Только 3 сентября этому отряду с группой включенных в него альпинистов удалось пробраться на ледник Федченко из Алтын-Мазара. Все попытки переправиться через реку Мук-су до этого были неудачны и едва не кончились гибелью людей.

Отряд дошел до ледника Бивачного, раскинул палатки на льду, а у ледника Малый Танымас устроил временную метеорологическую станцию.

Лагерь отряда сразу же стал "гостиницей для проходящих". Сюда, уже за три дня пути мечтая о кружке хорошего горячего чая, заходили те альпинисты, которые помогали топографам распутывать географические загадки в узле высочайших гор. Здесь, в лагере, кинематографисты с факелами лазили в трещины, чтобы снять кадры никогда не виданной хроники. Сюда же сваливались первые материалы для будущей станции, топливо и фураж. Альпинисты, работавшие в составе отряда, с утра до ночи прокладывали ледорубами во льду тропу для вьючных караванов. Эти караваны в Алтын-Мазаре ждали наступления осени, когда воды в реках поубавится, когда можно будет одолеть вброд Мук-су, Сель-Дару и подняться сюда, на ледник.

Руководить организацией всей метеорологической службы был назначен директор бюро высокогорных исследований Иван Емельянович Бойков. 7 сентября он вышел из Алтын-Мазара на ледник. Однако первое же путешествие с лошадьми по тропе, прорубленной во льду альпинистами, убедило И. Е. Бойкова и ехавших вместе с ним студента и проводников-караванщиков Ураза и Колыбая в том, что провести по такой тропе караван невозможно.

Ураз и Колыбай, расспросив жителей Алтын-Мазара и окрестных кочевок, установили, что когда-то ледник можно было пройти по створу. Отправив назад проводников, Бойков и его спутник двинулись к устью ледника Наливкина, где намечалось строительство.

Двенадцать суток И. Е. Бойков со своим спутником блуждали в лабиринте ледниковых трещин, отступая и все-таки шаг за шагом пробираясь вперед. Свой путь, чтобы не заблудиться, чтобы найти потом свои же следы, они отмечали каменными башенками. Ночевать приходилось на льду. Питались впроголодь. Только на пятые сутки добрались до "Чертова гроба" -- убежища альпинистов, где предполагалось устроить промежуточную базу строительства. Место это недаром получило такое название. Над площадкой, приютившей людей и нескольких лошадей, высилась огромная скала. С нее беспрестанно сыпались камни, они пролетали над головами людей. Другого места, получше, здесь нельзя было выбрать. Бойков и его спутник заночевали в "Чортовом гробу" вместе с альпинистами, которые шутили, что до самой смерти они уж, наверное, доживут. Ночью палатка обрушилась на головы спящих. Люди выскочили на мороз в испуге и увидели хрипящих, навалившихся на палатки лошадей.

Утром на снегу обнаружились следы когтистых лап медведя, который тоже, повидимому, собирался переночевать в "Чортовом гробу".

Продвигаясь вверх по леднику Федченко, И. Е. Бойков и его спутник обратили внимание на ригель, врезавшийся в ледник крутолобым мысом; этот мыс возвышался над. ледником метров на двести, а у подножия был обведен каменистым "берегом". Мыс был единственным неподвижным местом, которому не угрожали лавины и камнепады, потому что он был расположен достаточно далеко от склона огромной вершины, возносящейся над левым бортом ледника.

Первоначально обсерваторию было предположено строить километров на восемнадцать выше этого места -- у впадения в ледник Федченко ледника Наливкина. Но, выяснив, что путь туда для вьючных животных невозможен из-за бесчисленных огромных трещин, образующихся там, где ледник делает крутой поворот, И. Е. Бойков решил строить обсерваторию именно на выступе ригеля, на высоте 4 300 метров над уровнем моря. Ригель находился в тридцати двух километрах от конца ледника Федченко, и этот путь, хоть с большим трудом, можно было преодолевать караванами лошадей.

Возвратившись от ледника Наливкина к ригелю, произведя съемку, И, Е. Бойков и его спутник, у которых на три дня пути оставалась одна лепешка и банка консервов, поспешили к Бивачному леднику. Двигаясь вниз по моренам, оборванные, голодные, предельно измученные, они все же значительно быстрей, чем рассчитывали, вернулись в лагерь гляцио-метеорологического отряда. Гостеприимные и радушные научные работники, не видевшие их четырнадцать дней, сказали, что, беспокоясь о них, собрались было уже посылать за ними спасательный отряд.

Тем временем 14 сентября -- через десять дней после установки первой временной метеорологической станции у Малого Танымаса -- начала работать вторая полевая станция, у ледпика No 5. До этого станция непрерывно работала в АлтынМазаре,

Всеми станциями производились наблюдения: метеорологические (давление, температура и влажность воздуха, направление и скорость ветра, облачность, осадки и пр.), актинометрические (изучение солнечной радиации), гидрологические (скорости течения в реках и межледниковых потоках, расход воды, определения взвешенных наносов, наблюдения над радиоактивностью воды, условиями формирования русла, уклонами, образованием донного льда и др.), гляциологические (изучение ледника как продукта гидрометеорологического комплекса, изучение структуры ледникового льда, его образования и особенностей и пр.).

Считалось, что уже в конце сентября жить в палатках на леднике Федченко невозможно. Начинались осенние бураны, закрывались перевалы. Опасность для жизни всех, кто рисковал в эту пору оставаться на ледниках, с каждым днем увеличивалась,

И, однако, все прежние представления об опасностях были опровергнуты героизмом работавших на ледниках советских людей.

Только 17 октября, когда вода в Мук-су значительно спала, на ледник из Алтын-Мазара вышел первый большой караван -- сто восемьдесят восемь верблюдов и шестьдесят лошадей. Через день с величайшими усилиями караван поднялся на ледник. Но оказалось, что верблюды двигаться дальше по льду не могут. Они скользили и падали, калечили себе ноги на острых камнях морены. Груз пришлось сложить на конечной морене, а верблюдов отправить назад.

Люди энергично взялись за прокладку тропинки через камни морены, ямы, бугры и трещины ледника.

Отряд строителей и научных работников, возглавляемый В. Р. Блезе, с частью самых необходимых грузов 20 октября достиг ригеля, выбранного как место строительства обсерватории. Люди и лошади были совершенно изнурены. У людей едва хватило сил, чтобы поставить палатки. Без еды и питья все повалились спать.

С 23 октября В. Р. Блезе приступил к строительству обсерватории. Научные работники расчистили площадку для метеорологических приборов, установили их, и через день систематические наблюдения начались...

Над бортом ледника, на каменном мысу, стояли палатки. Невиданными чудищами на метеорологической площадке высились будки с термографами, гидрографами-испарителями, флюгеры, дождемеры, барографы, актинометры, снегомеры, гелиографы...

Рядом строилась обсерватория. Люди жили не только на каменном ригеле, но и на льду, а лед двигался, таял, трещал. По ночам, когда мороз, доходивший до 30 градусов, сжимал ледяные массы, ледник растрескивался по всем направлениям. Трещины раскрывались мгновенно и неожиданно, иногда разделяя ночующих на льду работников экспедиции. Провалиться в такую трещину значило навеки исчезнуть. По утрам из-за гор всходило великолепное солнце, лучи его жгли сквозь мороз, подтапливали снега. Гигантские лавины с угрожающим шипеньем летели вниз, сметая все, что лежало на их пути. Камнепады рвали жутким грохотом горную тишину. Днем подтаявшие глыбы льда

кувыркались и, разбиваясь вдребезги, с мелодическим звоном летели в трещины. Солнце обжигало лица и руки. Без желтых очков человек ослеп бы наверняка. Кожа на губах и на щеках трескалась, а сухие ветры шершавили ее, и она сходила с лица целыми лоскутами. Теплой воды не было или было ровно столько, чтобы дважды в сутки обогреться строго отмеренной порцией чая; топливо вымерялось на вес золота -- его доставляли снизу, издалека.

К ноябрю уже никаких "посторонних" людей не было ни на леднике Федченко, ни в Алтын-Мазаре. Уже закончила почти все свои полевые работы Таджикская комплексная экспедиция. Ее отряды вернулись с Памира в Москву, в Ленинград, в Ташкент и в Сталинабад. Сквозь ветер, и снег, и мглу все по тем же моренам и ледяным зубьям пробивались караваны Петра Кузьмича Жерденко, -- попросту Пети Жерденко, сына ошского агронома, ведавшего транспортировкой грузов к месту строительства.

Чувство товарищества и дружбы, дисциплина, энтузиазм, бодрое, веселое настроение были характерными чертами строителей.

Но с каждым днем все усиливались страшные снежные ураганы, свирепствовавшие на леднике Федченко, отрезанном от всего на свете живого. Скорость ветра достигала тридцати пяти -- сорока метров в секунду. Пробиваться сквозь такие ураганы ни люди, ни лошади больше не могли. Дальнейшее пребывание на леднике было бы безумием, -- дело могло кончиться гибелью всех строителей. Работы решено было прекратить до весны.

3 декабря произведены были последние наблюдения. На рассвете следующего дня метеорологи и строители двинулись в путь вниз по леднику, оставив на ригеле поставленный за полтора месяца каркас здания.

Новый год все праздновали в Ташкенте.

Дом на нелюдимых высотах

В 1933 году строительный отряд выступил в горы 15 июня и на десятый день прибыл в Алтын-Мазар. Но реки в том году отличались исключительной многоводностью. Все бесчисленные попытки переправить караван через бешеную Сель-Дару оказывались напрасными. Дорог был каждый день, но только через дна месяца, 17 августа, строителям удалось, наконец, одолеть все рукава Сель-Дары. Через два дня отряд достиг места строительства и после суточного отдыха приступил к работам.

Еще через несколько дней к строящемуся зданию обсерватории прибыл и отряд No 21, руководимый В. И. Поповым, гляциологический отряд Таджикско-Памирской экспедиции, сделавший путь по Алайской долине до Дараут-Кургана, на двух грузовых автомашинах. В Алтын-Мазаре художник Н. Г. Котов и все научные работники отряда похоронили молодого художника А. А. Зеленского; вместе с конем он утонул при переправе через свирепую Сель-Дару. В том обильном паводками году это был в экспедиции не единственный случай на переправах через памирские реки.

Окруженные снегами и льдами, строители несколько месяцев жили в палатках и киргизских юртах.

Ветры достигали такой силы, что сбивали с ног человека и разбрасывали по леднику тяжелые строительные материалы. Разреженный воздух, в котором не хватало кислорода, сказывался на работоспособности людей. После двух-трех ударов лопатой или киркой человек начинал задыхаться и должен был прерывать работу, чтоб наглотать в свои легкие побольше воздуха. Передохнув, он трудился дальше, снова тяжело дышал и снова брался за инструмент. Рабочий день на постройке начинался до света и кончался при фонарях, когда люди валились с ног от усталости. Все оказавшиеся слабыми телом или духом были отправлены вниз, остались только те, кто задался целью не покидать работ до их окончания. Коллектив строителей дал торжественное обещание закончить основные работы к годовщине Октября.

Попрежнему не было воды, а чтобы растапливать лед, приходилось расходовать топливо, доставленное снизу. Строители экономили воду даже для

питья. Из-за отсутствия воды долгое время стояли бетонные работы. Тот самый ледяной поток, который внизу рождал бешено бурлящие реки, здесь, в верховьях, не мог бы напоить даже птицу. Штукатуры и каменщики искали глину, -- но где здесь можно было б ее найти?

Ветер сбивал палатки, ломал стойки, рвал боковины, разрушал сделанную работу. Несясь от Кашал-аяка, он переходил в ураган, вынуждая строителей прятаться в обледенелые

палатки и юрты. Однажды утром строители не нашли своего "ресторана" -- той юрты, в которой помещалась лагерная кухня. Ее разыскали, только услышав отчаянные крики повара, погребенного под огромным сугробом вместе со всеми своими орудиями производства.

Морозы доходили до сорока градусов при ураганном ветре. Люди не могли мыться и только мазали лица салом и вазелином. В. Р. Блезе первое время стоически растирал свое тело снегом, но скоро и он бросил эту "спартанскую" затею. Несмотря ни на что, все были здоровы и веселы.

Заведующий промежуточной базой Константин Карабастов громким голосом орал стихи, которые сам сочинял. Стихи были из рук вон плохие, но они развлекали всех: пробиравшиеся наверх караваны привозили эти стихи строителям, и они их повторяли поодиночке и хором. На шутки и юмор всегда оставалось время, а здесь они были очень нужны.

С природою на битву человек Выходит на арену... --

этих строк не напечатал бы ни один журнал, но здесь каждый с гордостью их повторял, сознавая, что именно он-то и есть тот человек. И плотник Шлыков, о котором говорили, что он никогда не предаст и не подведет, и мастер на все руки Дюдяев, и бывший беспризорник Ванька Старухин, завидев возникающих из снежной пурги лошадей, в один голос кричали:

Сквозь бурю, мглу, непроницаемый туман На помощь человеку приходит караван...

Ванька Старухин, который за свою беспризорную жизнь узнал и голодовки под Илецком, и скитанья под вагонами по Украине, Кавказу и Средней Азии, и драки с самой черной шпаной, и ядовитый дым анаши, и бегства из детских домов и из участков милиции, -- этот самый Ванька Старухин говорил, что первым днем его "настоящей" жизни был день зачисления его кладовщиком отряда. Он вел себя великолепно, ничем не подрывал доверия к себе и даже находил время учиться грамоте.

Другой примечательной фигурой на строительстве был казах Колыбай, которого все считали киргизом. Он участвовал в экспедиции с 1932 года. В далеком прошлом--до революции -- он был крупным конокрадом, пользовавшимся печальной славой у сородичей. Здесь о своей бесшабашной молодости он даже не любил вспоминать. Рослый, высокий старик атлетического сложения, кажется, насквозь прожженный солнцем, обветренный, с множеством глубоких складок на здоровом и мужественном лице, Колыбай был человеком изумительной находчивости и самообладания. Много раз он спасал при переправах людей и коней, вытаскивал их из трещин, уберегал от падающих камней. Постоянно пешком пробивался в опасном, закрывающем провалы снегу, чтоб разыскать дорогу для лошадей каравана. Однажды он один вытащил лошадь из глубокой трещины, и в это можно было поверить, взглянув на него. Встретив голодного, он развязывал поясной платок и, вынув из-под халата грязный кусок лепешки -- последний кусок на несколько дней, -- отдавал его встречному. Он делал это просто и даже грубо, но с таким видом, словно за пазухой у него хранился запас продуктов самое малое на неделю.

Он был караванщиком экспедиции, но все звали его только "ака", потому что действительно он был братом и другом каждого из строителей.

С ним вместе работали два других, таких же энергичных и сильных духом киргиза-караванщика -- Ураз и Каримбай.

К 7 ноября строительство станции было закончено. Над ледником, на скале

возникло приземистое, сплошь покрытое оцинкованным железом, здание. Полукруглого сечения крыша, рассчитанная на сопротивление ужасным господствующим здесь зимою ветрам, делала его похожим на здание ангара или пакгауза. Из больших застекленных в восемь слоев окон, часть которых приходится над самым краем скалы, открывался вид на все стороны: вниз и вверх по леднику Федченко змеились морены главного его русла, его глубочайшие трещины, исчезающие в дымке боковые притоки; на западе высились пики Кагановича и Коммунистической академии; на юго-западе, за приборами метеоплощадки, белели фирны перевала Кашалаяк; на востоке, за руслом ледника, чернели, прорывая снега, скалистые громады правобережного хребта.

Юрты и палатки еще стояли вокруг. Нужно было заняться сборкой мебели и деталями оборудования внутренних помещений. В каждой кабинке, похожей на "увеличенное купе вагона, была откидная кровать, которая днем превращалась в диван; другая, запасная, кровать "для гостей"; письменный стол, шифоньерка, полка для книг; Все кабины имели выход в центтральное помещение -- кают-компанию с полукруглыми креслами и круглым столом, с библиотечкой, патефоном, гимнастическими приборами, шахматами и шашками. Из кают-компании -- проход в метеорологический кабинет, радиокабинет, фотолабораторию; а с другой стороны -- выход в сени и переднюю, и сквозь них -- в машинное отделение, электростанцию, кладовую керосина, теплую уборную. К жилым кабинам примыкала ванная, а снаружи эти кабины были обведены кладовыми и коридором. Общая полезная площадь всех двадцати шести внутренних помещений этой удивительной обсерватории равнялась ста тридцати шести квадратным метрам.

20 ноября 1933 года все главные доделки были закончены, и строители стали готовиться к спуску. Накануне, девятнадцатого, начался буран, сквозь него едва пробился сотрудник строительства, приведший с собой последний караван из шести лошадей. Если б ему не удалось пробиться на ледник, строители обсерватории были бы обречены на голодовку, так как расходовать запасы продовольствия, предназначенные для зимовщиков, никто, конечно, не согласился бы...

Строители ежедневно собирались уходить вниз, но буран все усиливался, достиг жесточайшей силы и совершенно прервал всякое сообщение с внешним миром. Ураганный ветер стих только в ночь с 7 на 8 декабря. Тучи рассеялись, в черносинем небе зажглись незыбкие, точные звезды.

До рассвета строители торопливо занимались последними сборами. Они соорудили из листового железа сани, на которых предстояло тащить вниз личные вещи, палатки, остаток продовольствия, документы и фотонегативы. Ближайшая конная база -- "Чортов гроб" -- находилась в пятнадцати километрах ниже по леднику.

Утром, простившись с зимовщиками, строители начали спуск по фирну. Инженер В. Р. Блезе описывает первые дни пути следующими словами:

"С обсерватории уходили последние пятнадцать строителей: бригадир т. Дюдяев, столяры -- тт. Ткачев, Еракин, Касьянов, Велашвиши, печник Зубрелян, каменщик Журавлев, слесарь Никитин, повар Жерехов, подручный рабочий Емельянов, бухгалтер Мельников, агент снабжения и обойщик т. Зайдентрегер и я -- начальник отряда и строительства.

Было тяжело и в то же время отрадно уходить вниз к культурной жизни. Ведь шесть месяцев строители работали не покладая рук, не пользуясь ни днями отдыха, ни правом уменьшенного рабочего дня.

В это утро и горы и ледник представляли чарующую панораму. Все бело кругом, все сверкает мириадами ослепительных точек. Теперь ледник представляет собою ловушку на каждом шагу. Под белым снеговым покровом -- сотни и тысячи больших и малых трещин.

Идем по колено в снегу.

Чем ближе к фирну, к спуску, тем глубже вязнем в снегу.

... Сани начинают обгонять людей. Наконец сдерживать их становится невозможно. Решаемся на отчаянный шаг: ложимся на сани и с нарастающей быстротой летим вниз по фирну -- туда, где под снегом -- глыбы камня и трещины.

Только бы не потерять управление ногами, не свалиться с саней, не наскочить на камень. Не дать саням пойти направо, по естественному уклону -- прямо в пропасть...

Начался буран, а до дров еще километр. Быстро сползают сумерки. Через час из-за тьмы бурана ничего не видно. Тащимся наугад, напрягая последние силы. Более ослабевшие в изнеможении падают на снег, настаивают на ночевке.

-- Товарищи! Еще немного... триста метров... Там, впереди, два больших камня, там дрова!

Я совершенно выбился из сил. Отстаю. Бросаю сани и, поминутно падая от усталости, доползаю до товарищей.

Людей засыпает снегом.

Приказываю ставить палатки.

... Дров нет. Придется жечь сухой спирт, а его у нас всего пять банок. Укрывшись от ветра, заметили, что многие отморозили ноги. Спиртом, снегом, упорством удалось всем, исключая т. Никитина, вернуть отмороженные конечности к жизни".

На третий день, когда изнуренный, вышедший на разведку пути В. Р. Блезе провалился в трещину, он был вытащен пробивавшимся навстречу вместе с караванщиками старшим техником Розовым. Внизу обессиленных людей ждали лошади и продовольствие.

За три дня, при тридцатиградусном морозе и непрерывном буране, строители прошли пятнадцать километров. Только благодаря Розову и караванщикам, вышедшим пешком на помощь строителям, их удалось спасти вместе со всем грузом.

Спуск с величайшего в средник широтах мира ледника в декабре -- факт сам по себе исключительный и необычайный. Выйти в такой путь решился бы не каждый многоопытный альпинист. А этот "ледниковый поход" совершали обремененные тяжелым грузом люди, не претендовавшие ни на какие спортивные рекорды!

Зимовщики

Строители ушли. Но в горах осталась -- привожу стихотворение Константина Карабастова:

Гидрометстанция средь скал и льдов -- Жизнью пылающий костер. Он много лет будет светить На окружающий простор.

Остались зимовщики -- трое мужчин и одна женщина: начальник В. М. Бодрицкий, наблюдатели-вычислители П. А. Бладыко и Л. Ф. Шарова, повар П. А. Пройдохин. Людмиле Федоровне Шаровой было двадцать лет, а самому старшему из зимовщиков -- тридцать три года.

Условия, в которых находились зимовщики, были (даже если забыть о разреженности воздуха!) более суровыми, чем на арктических станциях: средняя годовая температура в оайоне обсерватории равна семи градусам мороза. Но первая зимовка была особенно трудной: радиостанцию в том году не удалось наладить, потому что присланный для организации станции радист оказался неопытным. До весны зимовщики были полностью изолированы от внешнего мира. Только 16 мая к ним пробрался из Алтын-Мазара рабочий строительства Мансур. Он доставил письма и унес записи наблюдений. И снова долго никто на ледник проникнуть не мог.

Всю зиму обсерваторию заметало буранами. Ее откапывали из-под снега при жестоких ветрах и морозах. Извлеченные из-под сугробов приборы не раз приходилось перемещать с места на место. Топлива ушло гораздо больше, чем можно было рассчитывать, его не хватало, им пользовались только для приготовления пищи. Пришлось отказаться от отопления, температура в кабинах

приближалась к нулю. Несмотря ни на что, срочные наблюдения производились регулярно семь раз в сутки. Больше половины наблюдений -- в ночное время.

Лучше всего характеризует жизнь зимовщиков дневник начальника обсерватории В. М. Бодрицкого. Вот несколько отрывков из этого дневника:

"9 декабря 1933 г.

Эллингообразное здание обсерватории готово. Чередующиеся слои кошмы, фанеры, дерева и воздушных пространств заключены в сплошной непроницаемый железный панцырь... Наша "тихая обитель" может противостоять ураганным шквалам ветра, полярной температуре и с успехом выдерживать массы снега. Через восьмислойные стекла проникает к нам свет. Удобообтекаемая форма обсерватории смягчает порывы ветра, мчащегося здесь с быстротой до 40 метров в секунду...

Началась ультраполярная жизнь под облаками.

27 декабря 1933 г.

Громадные сугробы завалили здание совершенно. Всю ночь откапываем верхний люк -- единственный выход наружу.

С 6 часов утра начался жестокий шторм. Снежинки мчатся со скоростью 35 метров в секунду. Штормовой трос, при помощи которого мы ориентировались, идя к приборам, занесен. Но наблюдения ведутся, ведь "нет таких крепостей... ".

Наблюдатели пробиваются, уцепившись друг за друга. Ветер валит с ног, забивает глаза, дышать трудно.

6 января 1934 г.

Петр Алексеевич Пройдохин забрал в плен солнце. Сегодня ясный день. В прозрачной атмосфере почти полное отсутствие пылинок дает громадное напряжение солнечной радиации. Петр Алексеевич обрадовался этому напряжению.

"Фабрику-кухню" он раскинул на воздухе. Наложив котел снега, он, используя солнечную радиацию, получал кипяченую

воду. Мы с аппетитом уничтожали чай, приготовленный гелиокухней.

8 января 1934 г.

Буран. Метелица. Страшное беспокойство. Уже вечер, а Бладыко и Пройдохина нет. Они ушли к леднику на гляциологическую съемку. Что делать? Неужели потеряли товарищей? Ведь так много опасностей!

Собрали тряпки, облили их керосином и бензином. Людмила Федоровна поддерживает костер. Я сигналю выстрелами и ракетами. Но что наша сигнализация по сравнению с той канонадой и шумом, которые принес буран?..

9 января 1934 г.

Вечером Бладыко рассказывал:

-- Я упал в трещину. Пройдохин пошел за помощью в обсерваторию, но вернулся. Мешал буран. Была опасность не попасть на зимовку и потерять трещину, куда я провалился.

Пройдохин решил спасать меня. Он связал все ремешки от приборов, скинул одежду и применил ее как веревку. Вырубив во льду ступеньки, он спустился ко мне. Чтобы вызволить погибающего товарища, было потрачено 4 часа. А тут -- буран. Без спальных мешков зарылись в снег. Крепко прижались друг к другу. Щипали и толкали друг друга всю ночь, чтобы не уснуть навечно. Мороз был 25 градусов. Спички отсырели и разжечь банку сухого спирта не удалось.

6 мая 1934 г.

В ночь с 5 на 6-е во время снежной бури наблюдали СентЭльмские огни. Голубоватые свечки, иногда достигающие полуметра в высоту, горели на выступах скал, они вспыхивали над головами, на поднятых пальцах...

Все светилось. Какая замечательная картина!

15 июня 1934 г.

... Продукты иссякают. Остались мука, рис, соль, сахар. Кислоты кончены, овощей и жиров нет. Бладыко, Шарова, а затем и я заболели цынгой.

Неприятная вещь. Ощущение такое, что будто бы каждый зуб можно вытащить

без труда. Десны распухли. Кровотечение. Опухоль ног и ломота в суставах -- признаки скорбута.

Стараюсь, насколько могу, ободрять товарищей.

2 июля 1934 г.

Вчера пришла смена.

Мы везем в Ташкент полный материал наблюдений, который даст возможность осветить климатический режим района оледенения, разрешить вопросы существования оледенения и зависимости его от метеорологических факторов. Мы везем материал, при помощи которого есть возможность дать прогноз

водоносности рек, питающих Аму-Дарью. А она дает жизнь миллиардам коробочек хлопка... "

Опыт первой зимовки помог исправить те недостатки, которые так тяжело сказывались на жизни высокогорников. Следующие смены зимовщиков располагали бесперебойно работающей радиостанцией. Установленная на ригеле ветросиловая станция избавила зимовщиков от забот о топливе, от экономии электроэнергии. Специальные продукты забрасывались уже в таком количестве, что случаев заболевания цьнгой больше не было.

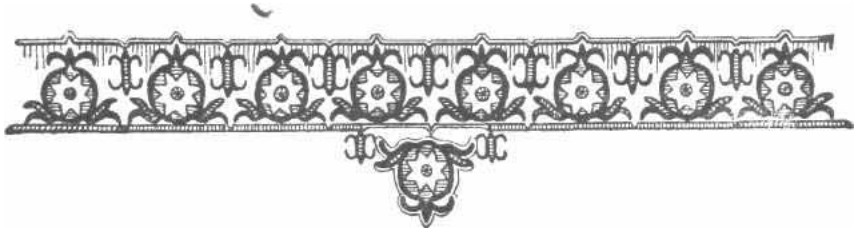
Само представление следующих зимовщиков о трудностях изменилось: никто уже не считал, что больше одной зимы па леднике нельзя выдержать. Нашлись охотники зимовать по несколько лет подряд. Два года подряд, с 1938 по 1940-й, прожил на леднике начальник обсерватории С. П. Чертанов. Он настолько сроднился со своей особенной, высокогорной жизнью, что захотел снова вернуться на ледник Федченко, и еще три года подряд (с 1941 по 1944 г.) пробыл начальником обсерватории. Его товарищ Н. Н. Аршинов, зимовавший с 1943 года, став начальником обсерватории после него, бессменно прожил на леднике Федченко пять лет.

Жизнь зимовщиков полна и интересна.

Метеорологи-наблюдатели несут по очереди суточные дежурства. Радист пять раз в сутки ведет разговоры с соседними высокогорными станциями и с радиометеорологическим центром. Программа ежесуточных наблюдений, производимых на обсерватории, столь велика, что в деловой, требующей непрестанной энергии обстановке скучать никому не приходится. Работа на леднике дает хорошую физическую закалку, настроение у всех создается бодрое и веселое. По вечерам, собираясь в кают-компании, зимовщики слушают по радио последние известия, концерты из Москвы, Ташкента, Сталинабада и других городов страны.

Незаметно приходит весна, а за ней и лето. Гремят обвалы, звенит вода. Днем температура воздуха повышается да 15 градусов, -- только ночи всегда морозны. Между камнями на склонах ригеля развивается растительность: мхи, лишайники; появляются даже тонко пахнущие цветы. Через перевал Кашал-аяк изредка залетают птицы.

Ранней осенью на ледник поднимается новый большой караван...



ГЛАВА XVI

В Шугнане

В этой главе я расскажу о пути от Хорога до районного центра (а в прошлом -- феодальной столицы Дарваза) Калаи-Хумба; о тропинке вдоль Пянджа, по которой трижды довелось мне проехать верхом с караванными, вьючными лошадьми; тропинка теперь превратилась в Большой Памирский тракт имени Сталина, -- я проехал и по этому тракту, но уже в автомобиле.

Река Пяндж здесь совершает большую дугу, направляясь сначала на север, потом от устья Ванча, на северо-запад, а дальше, от реки Висхарви -- на запад, чтобы за Кала-и-Хумбом отклониться к югу, забирая все круче и круче, пока не расступятся теснины сжимающих ее гор.

На этом пути река Пяндж пропиливает высочайшие, островерхие горные хребты, то растекаясь перед ними по ложу спокойной долины, что когда-то была дном подпертого гранитною перемычкою озера, то бунтуя в узких ущельях, в которые вода прорывается с удесятеренною силой сжатая, швыряемая с перепада на перепад, превращенная в пену и водяную пыль.

Реке Пяндж людьми "вменено в обязанность" быть границей двух государств. На правом берегу Пянджа люди строят коммунизм, на левом -- в древних крепостях сегодня живут феодалы, покорные богу и своему эмиру.

Пяндж подобен экрану уэллсовской "машины времени": людям, смотрящим с правого берега на левый, видно все то, что происходило у них самих сто и тысячу лет назад. Людям, которые смотрят с левого берега на правый, видно все, что когда-нибудь их потомкам, детям ли, внукам ли, принесет грядущее.

Через реку Пяндж нет ни одного моста, и на левом берегу от Хорога до Кала-и-Хумба нет ни одной электрической лампочки, ни одной автомашины.

Река Пяндж -- древняя авестийская Ардвисура, древний Оке, о которой уже Птолемею было известно, что она одна из величайших рек Азии и впадает в Каспийское море; река Пяндж -- верховья Аму-Дарьи; она вырезала себе ложе в таких диких, таких недоступных горах, что люди еще совсем недавно не везде могли пробираться вдоль ее берегов, потому что эти ее берега встают высочайшими отвесными, скалистыми стенами.

Такова река и выше Хорога, там, где она проходит Горан и Ишкашим, сбегая с высот Вахана; такова она и ниже Хорога, на том пути, где она пересекает Шугнан, Рушан, Язгулем и Ванч, уходя с Памира, из Горного Бадахшана, вступая в пределы Дарваза, сжимающего ее столь же узкими теснинами.

Однажды, в 1932 году, мне пришлось спуститься и ниже Кала-и-Хумба вдоль Пянджа. Там перед кишлаками Сангоу, Дурвак, Паткан-об и Иогид тропинка на выступах отвесных скал оказалась такой же узкой, неверною и опасной, как в самых труднодоступных ущельях Памира, и усталому от многомесячных странствий по кручам путешественнику казалось, что век ему не выбраться из душных ущелий к равнинам, где и небу просторно над головой, где и взор есть куда устремить вдаль...

Большой западный путь с Памира доходит по Пянджу только до Кала-и-Хумба. Оттуда, покинув Пяндж, он резко поворачивает на север, круто поднимаясь на перевал Хобурабат -- последнее препятствие, грозящее не пропустить к Сталинабаду человека с Памира. В зимние месяцы это препятствие и поныне может одолеть только очень смелый пешеход, не боящийся глубоких снегов, лавин, воющих буранов. Всякое иное сообщение Кала-и-Хумба с внешним миром в зимние месяцы прекращается...

Но летом и осенью в колхозных кишлаках в тех местах благодать, и о них я тоже расскажу в этой главе.

Тридцатые годы!..

Кончены дни в Хороге -- дни отдыха и общения с живущими обычной жизнью людьми. В эти дни мы не седлали и не вьючили лошадей, не ставили палаток, не разжигали костров,

не намечали по утрам маршрут на неверной карте. Вся амуниция висела на гвоздиках на стене, мы (единственный период за все путешествие по Памиру!) разгуливали в белых парусиновых брюках и без полевых сумок; обедали за столом в столовой, ходили по вечерам з гости; иногда смотрели кинокартины. Но такой отдых скоро подходил к концу. Это было переломное время: до него, где бы мы ни блуждали по Памиру, считалось, что мы идем вперед. После Хорога мы знали: мы возвращаемся с Памира, наш путь -- на Сталинабад, и, значит, все ближе к дому!..

Наступало, наконец, то утро, когда ставший родным запах конского пота снова бил в нос, когда мы в истрепанных брезентовых сапогах, обвешанные с плеча на плечо амуницией, вновь топтались вокруг завьючиваемых, заседлываемых, кряхтящих, нетерпеливых и -- с отвычки -- капризничающих лошадей.

Вокруг нас, уже ничем не похожих на горожан походных людей, толпились обретенные в Хороге друзья, их жены, их дети, насовавшие нам в полевые сумки толстые пачки писем... Нас провожали с грустью, и мы расставались с хорогцами с той же грустью, -- пожить бы еще в Хороге!

Но... в путь!

Резким движением я переносил правую ногу через круп коня, садился в седло, пробовал стремена, и мой застоявшийся конь выносился вперед.

Счастливый путь!..

Осторожней на овринrах!..

Ни пуха ни пера до самого Дюшамбе!

В тридцатом году старое название таджикской столицы еще не исчезло из обращения. В тридцать первом году никто в Хороге, кроме дряхлых стариков дехкан, уже не говорил Дюшамбе.

Караван вытягивался по длинной хорогской улице, знакомый звон подков по камням мелодично отдавался в ушах, еще долго-долго за уходящей из Хорога экспедицией бежали мальчишки, -- кто из них тянул двумя ручонками к седлу спелую дыню, кто, суя мятую абрикосину, выпрашивал карандаш; щебет, гомон шугнанских мальчишек оставался последним впечатлением от Хорога, город отсекался надвинувшимся с правой стороны скалистым мысом, хаосом битых, острых, нагроможденных под мысом скал; тропинка, вырубленная в каменном массиве, извивалась у самой гунтской воды, Гунт отступал, начиналась широкая песчаная и мелкокаменистая отмель устья. Слева уже широко и свободно лился спокойный

мутновато-серый Пяндж, за ним высоким горным склоном надвигался афганский берег, мы проезжали через маленький кишлачок Тым.

Теперь в этом кишлачке новый плодовый сад колхоза имени Сталина; тогда сада не было, росли только высокие тополи, но уже и тогда слева от Тыма плоский берег реки назывался аэродромом: именно сюда дважды в истории Памира опускался самолет летчика Баранова, первый раз в 1929 году, второй раз 18 августа 1930 года.

Есть у меня рассказ о том, как жители афганских кишлаков Шив и Кронdиз, расположенных над берегом Пянджа, приняли первый советский самолет, показавшийся в небесах, за "живого бога" своей исмаилитской религии, и была паника в кишлаках, по призыву местного халифа все попадали лицом вниз и

молили о милости, -- ведь бог мог явиться самолично только за тем, чтоб карать отступников, не уплативших вовремя зякет (религиозную подать) главе местных религиозных сил -- пиру.

Но нашлись два-три жителя, что решились вполглаза следить за приближением ревущего "живого бога", -- он опустился на другом берегу. Он, конечно, прежде всего решил покарать неверных... И, однако, все дальше произошло не так, как ожидали и пир, и халифа, и их "пасомые": на том берегу, на советском берегу, люди из Хорога вышли навстречу приземлившемуся "богу" с красными флагами, с музыкою и пением, и был большой праздник на берегу, и два самых смелых афганистанца переплыли Пяндж на турсуках и попросили у русского командира разрешения потрогать этого... "бога"! Им разрешили; летчик Баранов, стоя на фюзеляже, произносил речь.

В тот день я познакомился с летчиком Барановым, с летчиком Машковым и бортмехаником Яницким; они были весело настроены и радовались, что их второй рейс на Памир совершился так удачно.

А в тридцать втором году мне посчастливилось присутствовать здесь, в Тыме, при событии, в ту пору для Памира исключительном. 23 августа 1932 года на новом хорогском аэродроме был устроен аэропраздник. Он так и назывался: не авио, как мы говорим сейчас, а аэропраздник. Накануне сюда прилетел самолет из Сталинабада. И решено было собрать с утра в аэропорту население Хорога и ближайших кишлаков, впервые устроить публичные полеты.

Многие сотни людей собрались с утра: дехкане из Хорога, из Поршнева, из Сучана -- со всех сторон. Люди шли с семьями, -- никогда прежде вместе с мужчинами не собиралось

столько женщин! В белых покрывалах, скрывавших от мужских взоров нижнюю часть лица, женщины шугнанки расположились большою отдельной группой. На афганском берегу тоже собрались сотни любопытствующих людей. Работники обкома и исполкома, сотрудники Таджикской комплексной экспедиции, летчики выступали с речами. Красные флаги, плакаты расцветили замкнутую серыми крутыми горами долину Пянджа. Многие шугнанцы пришли со своими старинными струнными инструментами: дуторами, сэторами и рабобами, и мотивы старинного "печалования" сливались с гулом опробываемого мотора самолета. Летчики объявили, что первый рейс над Хорогом будет бесплатным и что лететь может любой шугнанский дехканин -- кто хочет.

Никто из шугнанцев не решался подойти к самолету, страх перед неведомою машиной был сильнее любопытства. У самолета стояли коммунисты и комсомольцы из местного шугнанского руководства, с большой охотою готовые совершить полет. Но гораздо важнее было, чтобы захотел лететь какойлибо дехканин -- землепашец или садовод.

Летчики долго ждать не могли. Мотор самолета "Р-5" работал, тихонько крутился винт.

Из огромной толпы медленным шагом вышел белобородый старик, в белом суконном халате, в сыромятных пехах и шерстяных узорных чулках -- джурапах. Лоскут ветхой материи заменял на его голове чалму. Он вышел и остановился, обернувшись к своему народу, торжественный, гордый, заговорил. Он говорил о том, что он старый человек, он, Одильбек из Сучана. Он прожил много лет, и его жизнь уже мало стоит, и если он умрет -- ничего, пусть живут молодые!

"Советская власть -- наша власть, -- говорил Одильбек, -- сделала для нас много. Советская власть каждый день показывает нам новое. Много нового, хорошего мы узнали. Теперь советская власть просит: кто хочет слетать на небеса и вернуться опять на землю? Кто хочет быть первым из моего народа? Хорошо! Пусть я буду первым!"

И старик Одильбек торжественно провозгласил, что он готов полететь в небеса и если останется там -- "ничего, разве я пожалею жизнь для советской власти?" Если вернется, "тогда все наши люди станут летать, крылья вырастут у моего народа!"

Речь старого Одильбека была очень торжественной, он отвечал за весь свой народ, как в древности, богатыри -- палавоны, выходившие один на один бороться с драконами и побеждать их. Он с готовностью подошел к летчикам, наклонил голову, чтоб поверх чалмы его обрядили в летный шлем. Поверх халата на него надели черное летное кожаное, на меху, пальто. На

руки -- меховые рукавицы, и затянули их ремешками. Одильбек стал неузнаваем; только седая борода развевалась, когда его провели под струею ветра от работающего винта. Он поднялся по лесенке сам.

За ним, так же одетый, поднялся второй смельчак, вызвавшийся лететь, -- молодой дехканин Назар-Худо.

Через минуту самолет был в воздухе. Через две минуты он исчез в раструбе ущелья Гунта. Через пять минут -- пять минут поразительного молчания толпы -- самолет стремительно пошел на посадку и сел, и вся долина Пянджа огласилась торжествующими криками огромной толпы, которую едва удалось сдержать, чтобы она не хлынула, не раздавила на радостях самолет.

Второй рейс самолета был платным. Летели: председатель облпрофбюро Саин-Али Наврузшоев и директор педтехникума Джават-зали-зода. В третий рейс отправились заведующий областным отделом народного образования Гуломшоев и председатель народного суда.

Самолет еще был в воздухе, когда, неожиданно для всех, произошло нечто необычайное: со стороны Хорога показалась колонна автомашин, первая колонна, пришедшая в Хорог за все времена существования города. Правда, за год перед тем одна из двух впервые вступивших на Памир автомашин побывала в Хороге, но мало кто из дехкан окрестных кишлаков видел ее, -- она пришла и ушла, и только разговоры о ней быстро растеклись по всему Горному Бадахшану. Теперь дехкане, уже возбужденные полетами, уже воодушевленные смелым стариком Одильбеком и дехканином Назар-Худо, воочию увидели восемь украшенных флагами, медленно переваливающихся с камня на камень по еще не приспособленной для автомобилей дороге полуторатонных грузовиков. Это были пришедшие с Восточного Памира в полном составе автоколонна ТКЭ -- Таджикской комплексной экспедиции -- и две машины Памирстроя. Все восемь машин пришли в Хорог случайно именно в этот день!

Я помню восторг, охвативший всех, кто находился в тот день на берегу Пянджа, -- всех до единого человека. Боюсь, что не разделяли этот восторг только шоферы автомашин и начальник автоколонны Г. Н. Соколов, которых толпа стащила с машин в ту минуту, когда, развернувшись и подровнявшись, они остановились. Запыленных, усталых водителей обнимали, целовали, качали, мяли столь эмоционально, что нам пришлось приложить немало усилий для их освобождения.

Аэропраздник в Хороге не забудет никто из тех, кто на нем присутствовал. С того дня местные жители, памирцы, стали пользоваться воздушною трассой Хорог -- Сталинабад. С того

дня хорогцы стали пользоваться автомашинами для поездок в Мургаб и Ош.

В наши дни рядом с Тымом вырос новый, весь в зелени, кишлачок -- маленький поселок Хорогского авиапорта, с двухэтажным белым чистеньким зданием вокзала в центре. Под тополями стоит трактор, которому зимой приходится разгребать снег на аэродроме. Автомашины "Победа", два автобуса, десятки грузовиков всегда снуют под деревьями авиапорта, здесь всегда оживленно и весело.

В 1930 году здесь не было ничего. Медленно миновал я огромный пустырь, что тянулся вдоль берега Пянджа, за мною ехали верхами, жуя на ходу хорогские яблоки, мои спутники. За нами шел маленький караван.

У нас было время вглядываться в круто вздымающийся слева за Пянджем склон горного хребта, по которому высоко над рекой разбегаются сады, дома и

клочковатые посевы афганского кишлака, что обступил древнюю крепость Кала-ибар-Пяндж -- "Высокую крепость над Пянджем", былую феодальную столицу Шугнана. Она и поныне осталась твердынею феодализма на той стороне.

Вот скала -- отвесная скала прямо над Пянджем, с которой поныне сбрасывают казнимых, с которой сброшено за тысячелетия так много людей. Здесь в давности правил всем Шугнаном, еще не разделенным на две половины, шугнанский шах Юсуф-Али-Шо. Даже афганский географ Бурхан-уд-Динхан-и-Кушкеки так говорит о нем:

"Его правление отличалось полным произволом, когда он, считая имущество, жизнь, доброе имя и честь жителей Шугнана за свою собственность, не стеснялся убивать людей, грабить их имущество, продавать жен, сыновей и дочерей их и дарить в подарок знатным людям, причем никто не осмеливался заявить ему, почему он производит такие бесчинства, беспричинно грабя имущество своих подданных и забирая их жен и сестер... "

Между афганскими эмирами, их братьями и сыновьями в это самое время шла борьба за власть, тайно разжигаемая британскими империалистами. Англичане в своей агрессии стремились на север, стараясь надвинуться на загадочный, стратегически важный Памир прежде, чем на нем укрепятся русские, хотя между Россией и Англией еще в 1873 году был заключен договор о разграничении сфер влияния: за Россией признавались все территории правого берега Пянджа (верховьев Аму-Дарьи) и Англия обязывалась не делать никаких попыток распространять свое влияние дальше левого берега. Неудачи, которые потерпела Англия в войнах с Афганистаном,

боровшимся за свою независимость, не остановили империалистических устремлений "островной державы", -- ее разведка начала действовать иными методами, организуя в Афганистане внутренние раздоры, пытаясь после многих казней и тайных убийств добиться трона для своих ставленников. При этом некоторые правители страны умело провоцировались на вражеские действия, имевшие целью ущемить интересы России.

Так, появление в Шугнане первого русского ученого-путешественника (который был вообще первым европейцем, побывавшим в Шугнане) ботаника А. Е. Регеля, хорошо принятого шугнанским шахом, было использовано как предлог для последовавших кровавых событий: Юсуф-Али-Шо был свергнут и брошен в тюрьму афганским эмиром, и афганские войска в 1883 году перешли Пяндж и оккупировали Шугнан, Рушан, Вахан -- те области правобережья Пянджа, которые принадлежали России не только по договору 1873 года, но и потому, что входили в состав Кокандского ханства, присоединенного к России в 1876 году.

Нападение на эти области произошло при афганском эмире Абду-р-Рахмане.

Население Вахана, Шугнана, Рушана бежало от ужасов оккупации на Восточный Памир и в самые недоступные, глухие ущелья Бартанга. Началась борьба населения этих маленьких стран за свою независимость, но силы были слишком неравны. Шугнанцы и рушанцы послали своих представителей в еще неведомую им Россию с мольбой о помощи и заступничестве. В 1886 году один из таких ходоков достиг Петербурга.

Вскоре в северном Афганистане вспыхнуло восстание против власти эмира Абду-р-Рахмана. В это время Шугнану, Рушану, Вахану удалось было восстановить свою независимость. Но восстание было жестоко подавлено, и на маленькие народности Горного Бадахшана обрушились еще более страшные беды. Русский путешественник капитан Б. Л. Громбчевский, пересекавший Памир в 1889 году, свидетельствует о диких расправах:

"Казни производились ежедневно. Деревни, заподозренные в сочувствии к Сейид Акбар-ша (последнему шаху Шугнана. -- *П. Л.)*, выжигались, а поля вытравлялись лошадьми. Все девушки и более красивые женщины в стране были отобраны и частью отправлены к эмиру Абду-р-Рахману, частью же розданы войскам в жены и наложницы. Из Шугнана набрано 600 человек мальчиков в возрасте от 7 до 14 лет, детей более влиятельных родителей; мальчики были

отправлены в Кабул на воспитание. Население изнемогало под афганским

гнетом, а в перспективе ожидался голод и связанные с ним бедствия".

Б. Л. Громбчевский описывает паническое бегство населения от афганцев:

"Спустившись в долину Мургаба, мы в продолжение трех дней по дороге встречали сплошные толпы шугнанцев, направлявшихся в пределы России... Беглецы шли быстро, бросая по дороге уставший скот и имущество, стараясь уйти, по возможности дальше от афганцев... Бедствие этих несчастных не поддается описанию. Все в рубищах, с котомками за плечами, несли на себе, кроме домашнего скарба, грудных и маленьких детей. Тут же гнался домашний скот, половина которого подохла или же разграблена была памирскими киргизами. Дорога буквально устлана была трупами животных, которые, разлагаясь на солнце, заражали воздух невыносимым зловонием. За каждым табором тянулась вереница больных и отсталых, преимущественно стариков и женщин с детьми. Столь ужасную картину народного бедствия воображение европейцев вряд ли может себе представить... "

Рассказывая о жесточайших зверствах афганцев, Б. Л. Громбчевский описывает, как в верховьях реки Гунт "женщины изнасилованы были на глазах отцов и мужей, дети бросались в пылающие костры, а затем вся партия подвергалась поголовному избиению".

Совершенно естественно, что когда вступивший на Памир русский военный отряд полковника Ионова в 1891 и 1892 годах изгнал оккупантов за пределы Пянджа, все местное население встречало русских как своих освободителей, оказывало им всяческое содействие, умоляло не уходить от берегов Пянджа.

В 1895 году действовавшая на Памире русско-английская разграничительная комиссия окончательно установила, что государственная граница России проходит по реке Пяндж.

Войны, казни, рабство на правобережье Пянджа кончились. Исторические пути афганского и русского Шугнана, Вахана, Рушана с тех пор разошлись. Через четверть века на правом берегу Пянджа полную свободу и независимость народам принесла Великая Октябрьская революция, на левом же берегу все осталось, как прежде, как сто и как тысячу лет назад: высится дряхлая феодальная крепость над Пянджем, в ней живут афганские нукеры.

На правом берегу тоже была небольшая старинная крепость. Теперь нет даже ее руин. Из тех камней, какими были сложены стены крепости, построены здания семилетней школы колхоза имени Карла Маркса, а рядом со школою -- колхозный магазин. Фундаменты крепости превратились в ограду плодового сада. Чуть ниже их из-под камня выбивается ключ чистейшей горной воды. Камни вокруг испещрены религиозными изречениями; это место когда-то считалось священным, здесь в кишлаке Поршнев уже при советской власти жил последний из оставшихся в советском Бадахшане ишанов, печальноизвестный всему местному населению поршневский ишан. Здесь был его дворец с искусной резьбою по дереву на столбах, подпиравших террасу, на щитах, укрывавших ее от ветра и солнца. Сохранился лишь сад, тот, что был когда-то единственным в кишлаке -- он устроен рабским трудом "пасомых", в нем был даже виноград, неведомый в ту пору в других местах Шугнана.

В 1920 году, когда у поршневского ишана гостили чиновники эмира Бухары, захватившие на короткое время власть в Бадахшане, на деревьях сада были повешены четыре комсомольца шугнанца. Это были первые комсомольцы Памира из первой на Памире поршневской ячейки комсомола.

Здесь, в Поршневе, была создана первая на Памире школа, -- кишлак Поршнев был в ту пору больше Хорога: Поршнев состоял из двухсот хозяйств, когда в Хороге насчитывалось всего лишь девяносто.

Здесь, между Хорогом и Поршневом, развевались на длинных шестах тряпочки, лоскутья халатов и чалм паломников, приходивших к мазару имама Зайин-аль-Обедина, и здесь же в наши дни виднеется каменная трибуна, которая стала центром советских праздников в дни 1 Мая и 7 ноября: сотни колхозников

и хорогских горожан веселятся на берегу Пянджа, устраивая спортивные состязания, традиционную памирскую игру "гуйбози" (конное поло), мотоциклетные и велосипедные гонки, скачки на бадахшанских конях. И сотни других людей -- по ту сторону Пянджа -- собираются на крышах домов, на скалах смотреть на советский праздник, размышлять обо всем том, что доступно счастливым людям, установившим у себя советскую власть.

Полный день -- от утра до вечера -- требовался мне в тридцатых годах, чтобы проехать от Хорога, через Тым и Поршнев, мимо афганского Кала-и-бар-Пянджа, до кишлака Сохчарв, где становился на ночь лагерем мой караван.

В 1952 году на колхозном грузовике я проделал этот же путь за час пятнадцать минут. Я ехал сплошными садами и пашнями, пересекая сотни оросительных канавок, избороздивших все склоны правобережья Пянджа. И та молодежь, которая встречала меня в колхозах, уже с трудом представляла себе, что такое ишаны, и ша, и халифа. Только вглядываясь в селения за рекой, видя, как человек становится на четвереньки, чтобы подставить свою спину, как ступеньку для ноги садящегося на лошадь важного господина, слыша, как плачут женщины, избиваемые плетьми, советская молодежь понимала, что такое тот старый мир, в каком жили деды колхозных школьников, в каком родились и с каким боролись отцы.

Кишлак Сохчарв, -- над ним высятся отвесные гранитные стены -- высочайшие стены ущелья, и за ним Пяндж впервые после Хорога сжимается каменными теснинами, и шумит, и ревет, ворочаясь с перепада на перепад, -- кишлак Сохчарв принял меня в один из своих плодовых садов, и усталый путник у чистейшего ручья под абрикосовым деревом мог задуматься о величии того мира, в котором ему выпало счастье жить. А на самой высокой вершине, что ощерилась скалистым зубцом в небеса, я разглядел указанное мне алое пятнышко: это был бившийся в порывах ветра большой красный флаг, -- его утвердила там молодежь, назвав эту вершину над Сохчарвом пиком имени Комсомола.

В Рушане

От Сохчарва до старинной столицы Рушана -- Кала-иВамара -- один дневной переход каравана или, как ездят теперь, часа полтора пути в автомашине.

На середине этого пути, вправо от прежней летовки (а теперь -- кишлака) Пас-Хуф, прорезью в высоких скалистых горах поднимается крутое ущелье. Там, вверху, -- изолированная от всего мира узкая долина Хуф. Ее жителям посвятил свои многолетние исследования известный этнограф М. С. Андреев. Когда в 1907 году, возвращаясь верхом из Индии в Туркестан, он посетил это селение впервые, то оказалось, что он первый русский человек, проникший в эту замкнутую, неведомую внешнему миру долину.

"До этого времени, -- сообщает М. С. Андреев, -- как это ни странно, но и самое существование ее не было известно даже начальнику русского памирского отряда, штаб-квартира которого находилась в Хороге -- километрах в 50 от Хуфа, вверх по Пянджу... "

Вновь посетив эту долину в 1929 и 1943 годах, М. С. Андреев получил возможность не только написать свой замечательный труд о патриархальных отношениях, о необыкновенных обычаях, верованиях и других особенностях местного хуфского населения, но и сделать заключение об удивительных переменах, внесенных в жизнь хуфцев советским колхозным строем.

Даже и в наши дни почти никто из пассажиров бесчисленных автомашин, пробегающих из Хорога в Рушан по Пянджу, не заглядывает в эту долину: тропинка, вьющаяся от Пянджа, крута. Кому придет в голову подниматься по ней, если у него нет прямого отношения к делам хуфского колхоза "Аскар-и-сурх"?..

Перед устьем Бартанга долина Пянджа широко распахивается. Береговые склоны высоких гор отступают один от другого километра на два, на три. Воды

Бартанга растекаются десятками рукавов, -- только здесь и можно переправиться через эту многоводную реку вброд.

И в прошлом веке и в нынешнем -- до середины тридцатых годов -- здесь всегда содержались три-четыре пары верблюдов, на которых и совершалась переправа через Бартанг. Так, чтоб не подмочить вьюков, в этом месте не раз перекладывал их с лошадей на верблюдов и я. Впрочем, сами мы, всадники, сотрудники экспедиции, привыкшие на Памире ко всяческим рискованным речным переправам, не оставляли здесь седел своих лошадей. И хотя вода здесь касалась не только стремян, но и крыльев седел, переправлялись верхами.

"Воды разных рукавов реки, -- записал я однажды в дневнике, -- сливаясь и прыгая волнами на мелях, образуют много сталкивающихся течений, иногда почти встречных одно другому. Все они отражают краснеющий блеск заходящего солнца, оно низко над поверхностью воды, вода горит серебром и золотом, мчится так стремительно, что кружится голова. Сверкающая, слепящая глаза вода обдает нас пеной, бурлит и стучит камнями, обгоняя нас, затевается мне за голенища. Моя лошадь держится отлично. Переезжая верхом такую воду, надо в седле отклоняться в сторону течения, чтоб возместить угол наклона наваливающейся на течение лошади. И приходится преодолевать инстинкт, заставляющий наклоняться как раз в другую сторону: туда же, куда и лошадь. Инстинкт обманывает и может привести к падению лошади вместе с всадником, а это в памирских реках нередко кончается гибелью обоих... "

Опытом мы уже обладали немалым, и потому все переправы верхом на лошадях для нас обычно оканчивались благополучно.

В пятьдесят втором году никаких верблюдов здесь я уже не увидел, а легко и просто, не выходя из кабины грузовой автомашины, переправился на надежном пароме, там, против кишлака Шуджан, где единый поток Бартанга еще не разбежался на рукава.

С нетерпением приближался я к старинной крепости Кала-иВамар, памятной мне с тех лет, когда в ней еще жил прежний

правитель Рушана, старый хан Абдул-Гияз. Он сдавал в аренду красноармейскому посту и помещение крепости и хороший плодовый сад, а взамен ему и трем его молодым женам постом были выстроены два маленьких домика в саду, у самой стены над Пянджем (теперь этих домиков не существует).

В тридцатом году, остановившись в Кала-и-Вамаре на гостеприимном красноармейском посту, я побывал в гостях и у хана. В моем путевом дневнике от 23 августа того года записано:

"... После обеда в крепости, иду через сад к хану АбдулГиязу. В саду меня встречают красивые девушки, объясняют: дальше нельзя, там -- марджи, жены хана. Зовут его. Он выходит, высокий, дипломатически приветливый старик в туфлях на босу ногу, в серых штанах, в жилете афганского покроя поверх серой рубашки, подпоясанной красным платком. Садимся под яблоней, служанка выносит сушеные абрикосы на деревянном блюде, затем -- чай ("без сахара!" -- извиняется хан). Хоть и с трудом, но объясняется он по-русски.

На воткнутой ханом в землю толстой палке, охватив когтями ее шарообразный, украшенный мелкой бирюзой набалдашник, сидит, прислушиваясь к нашей беседе, старый ручной сокол, с которым хан некогда охотился...

Абдул-Гияз (мне известно о нем, что он тайком занимается контрабандной продажей опиума) рассказывает мне о себе. Чванливо перечисляет все ветви своей родословной, хвалится своим прапрадедом -- "большим ханом, владевшим Шугнаном и Рушаном" и "взявшим однажды Кашгар". Рассказывает о своем детстве в Кабуле, куда его отец был доставлен закованным в кандалы по приказанию эмира Абду-р-Рахмана; о медресе, где учился вместе с Аманулой-ханом; о бегстве в Россию в период первой мировой войны...

Затем Абдул-Гияз показывает мне тщательно завернутый в белый платок обрывок черной парчи, привезенный из Каабы его отцом, -- на лоснящейся парче вижу матовые части крупных арабских букв. Потом хан читает свои стихи,

демонстрирует свое искусство в игре на примитивной трехструнке и, наконец, приносит серьги с алмазами, купленные по его словам за большие деньги, и просит сказать, хороши ли эти заделанные в золото алмазы?... Передо мною грубая подделка, не алмазы, а горный хрусталь, и старик весьма огорчается, когда я ему говорю об этом... "

АбдулТияз-хан умер через год после моей встречи с ним, объевшись опиума. Старое реакционное духовенство называло и его могилу "вамар", то-есть "свет", стараясь превратить ее в доходное место поклонения. Народ Рушана, однако, на том

месте, где была могила хана, поставил другой источник света: в 1952 году я увидел здесь, в устье реки Одуди, маленькую, достраивающуюся колхозную гидроэлектростанцию. Слово "вамар" -- "свет" теперь относилось к ней.

Сторож и завхоз станции Азизмамадов Палла узнал меня и напомнил, что в 1932 году именно он был одним из носильщиков, шедших со мною на ледопад Кашал-аяк. А теперь он почтенный отец семейства. Его старший сын служит в Советской Армии, его второй сын -- Меджнун Палаев -- учится в десятом классе средней школы в кишлаке Барушан и скоро станет студентом. Его дочь учится во втором классе, а двое последних детей еще не доросли до школьного возраста.

Азизмамадов Палла и сам теперь грамотный человек, зрелым мужчиной окончив семь классов школы, живет он неплохо, и есть у него медаль "За доблестный труд в Отечественной войне", и его имя упоминалось в рушанской районной газете, потому что он недурно работал на строительстве Дирзудского оросительного канала и еще потому, что до пятьдесят второго года был заведующим колхозной фермой и считался передовиком.

Я разговаривал с этим старым своим знакомым (которого не сразу узнал), размышляя о разных судьбах людей, о том, какими были рушанцы во времена Абдул-Гияз-хана и какими стали теперь. И я, наконец, вглядываясь в черты лица моего собеседника -- плотного, коренастого человека, хорошо узнал моего спутника по подъему на легендарный Кашал-аяк: Азизмамадов Палла был тем самым Азизом, который пришел за мною вместе с альпинистом Коровиным, чтоб проводить меня на ледник Федченко. Каким робким, неграмотным, неведающим был этот человек тогда! Но он тогда проявил большое мужество, решившись устремиться в страшные для темных в те годы рушанцев, неведомые им Высокие Льды!

В новом свете видел теперь я весь ставший районным центром Рушан, прежний кишлак Кала-и-Вамар. Я прожил в нем несколько дней, знакомясь с рушанскими колхозами, одними из самых богатых и благоустроенных на Памире, хотя в Рушане и до сих пор нет МТС (а она могла бы быть, могла бы своими тракторами поднять немало целинных земель в широкой здесь пянджской долине!). Моя полевая тетрадь полна записей о новых, высокоурожайных сортах абрикосов, таких, как "раматуллоэ" и "гуро-и-балх", в садах рушанского колхоза "Социализм"; о виноградарстве, картофелеводстве и шелководстве; о шестистах деревьях "чормакса" ("четыре мозга") -- грецкого ореха, и пятнистых яблонях, и почти трех тысячах тутовых деревьев, прекрасных сортов: "бедона", и "усляй", и "хит-хогдуд", и "музафари", и "чаудуд", и "халангдуд", и "нирдуд", и черноягодных "шаартут", и "тыыр-дуд"...

Груши, вишни, черешни, яблони, персики -- сотни и тысячи саженцев каждый год высаживаются колхозниками и школьниками Рушана.

Газета "Советский Рушан" часто критикует районные организации, работу правлений колхозов, райшелка, автотранспортников, взрывпрома, медработников, директоров школ. С возмущением пишут сельские корреспонденты газеты, что в 1954 году в Рушане сменилось четыре директора промкомбината; что сельэлектро не выполняет своих договоров с колхозами; что невкусно готовят обеды в столовых; плох ассортимент товаров в магазинах кишлаков Вознаута и

Дарджомча. Да! Коммунисты и комсомольцы борются с множеством недостатков и неполадок, наблюдаемых ими.

Но кто теперь вспоминает о той борьбе, что велась здесь двадцатилетие назад? Такие слова, как "опиум", "оспа", "холера", "басмач", уже забыты в Рушане. Даже слова "ликбез", "бедняк" уже никому не нужны.

В богатом колхозном Рушанском районе -- лучшие на Памире средние школы-десятилетки, такие, как в кишлаках Барушан и Дирзуд, расположенных в широко раскинувшейся долине Пянджа.

Я посетил барушанскую среднюю школу имени Ленина. В ней тридцать учителей, из них четыре с высшим образованием и восемь с незаконченным высшим. Из шестисот выпускников этой школы многие десятки получили высшее образование в Сталинабаде, Ташкенте, Ленинграде, Москве. Музыканты, оканчивающие Московскую консерваторию; офицеры в званиях майоров и подполковников; артисты и артистки, известные всей стране; художники, режиссеры, врачи, инженеры и агрономы -- вот те уроженцы Рушана, что, став советскими интеллигентами, работают и учатся во всех районах Таджикистана, в разных городах всей Советской страны. Больше ста человек, окончивших высшие или специальные средние учебные заведения, вернулись в Рушан и теперь работают здесь.

Рушан справедливо считается кузницей кадров памирской интеллигенции. Людей, получивших среднее и высшее образование в нем, пожалуй, больше, чем даже в Хороге.

А я хорошо помню, когда медленно-медленно, от кишлака к кишлаку, в которых не найти было азбучно грамотных людей, двигался караван экспедиции, а навстречу ему шел полтора месяца из Сталинабада в Кала-и-Вамар караван с почтой, с газетами, устаревшими на полгода. И измученные лошади экспедиции, израненные почтовые ослики срывались в Пяндж на обрушивающихся оврингах.

У меня есть рассыпающаяся рукописная книга -- "Тавизкитоб".. Ее страницы желты, -- бумага сделана из тутового корня. Этой книге приблизительно четыреста лет. Она написана неизвестно кем. Я купил ее в 1932 году у брата ишана ЮсуфАли-Шо -- дряхлого духовного грамотея Шо-зода-Магомата. Он сказал, что это "Книга Тимуров". Вот единственный вид литературы, какую тогда можно было встретить в Бадахшане.

Теперь в рушаиских библиотеках я видел многие тысячи книг. В кишлачных чайханах-читальнях памирцы на родном и на русском языке читают Пушкина и Горького, Ленина и Сталина, романы своего классика Айни, "Индийские баллады" Мирзо Турсун-заде и поэмы о Пяндже своего Миршакара.

На тридцать пять километров тянется по почти недоступным скалистым обрывам, высоко-высоко над долиной Пянджа, великолепный Дирзудский канал, построенный в 1938--1939 годах. Этот канал, обеспечивший водой половину Рушанского района, -- подлинное чудо строительного искусства горцев, свидетельство их необыкновенной трудовой доблести. Из кишлаков долины, всматриваясь простым глазом в нависшие на чудовищной высоте скалы, этот канал разглядеть можно только едва-едва. Все население Рушана строило этот канал, так же как все население Рушана строило в 1940 году автомобильную дорогу -- Западно-Памирский тракт имени Сталина -- в таких же отвесных скалах. Это был не только добровольный труд, необходимость которого сознавалась каждым рушанцем. Это был труд, в котором впервые весь рушанский народ зажегся одним порывом, ощутил вдохновение строителей своей судьбы, своего счастья. Каждый знал, что вода и дорога дадут рушанцам все, о чем они прежде едва смели мечтать.

Построив Дирзудский канал и Памирский тракт, построив колхозы и школы, советские рушанцы узнали большее: они узнали, что на этой стороне Пянджа есть радость в сегодняшнем дне, уверенность в завтрашнем, а значит, есть счастье, которого у другой половины рушанского народа, -- у рушанцев, живущих на т о й стороне реки, -- нет!

"... Светлые сердца у рушанцев, прозрачные, как стекло. Всю печаль с сердца странника снимают!"

Так в XI веке сказал, пройдя через Бадахшан, предтеча современных таджикских поэтов Шо-Насыр-и-Хосроу.

Как странник, несколько раз прошедший через Рушан, я подтверждаю справедливость слов большого поэта древности!

В теснинах Пянджа

Просторен Рушанский район, но только для тех, кто привык к теснинам. Разве это простор, если между двумя горными склонами всего каких-нибудь пять километров? На дно глубокой продолговатой чаши похожа в Рушане долина Пянджа... Впрочем, разве только похожа?

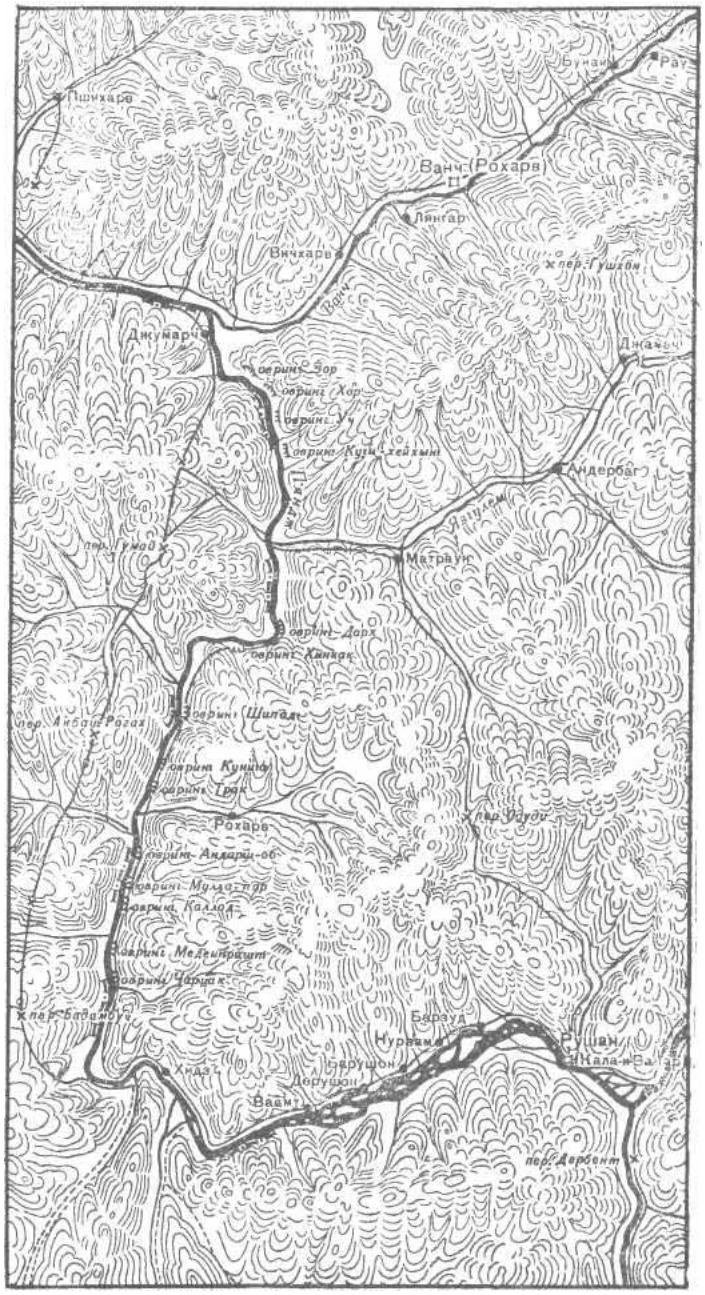
"... Долина р. Пяндж, между к. Хыць (правильно: Хидз. -- *П. Л.)* и Кала-и-Вомар, бывшее обвальное озеро, чрезвычайно живописна и красива... "

Эти слова написал в своем отчете геолог Д. В. Наливкин, впервые в 1915 году совершив путешествие на Памир.

Итак, Рушан -- дно бывшего озера. Оно существовало тогда, когда Пяндж еще не мог пропилить грандиозный Язгулемокий хребет, когда, подпруженный им, метался, ища себе выхода, и сворачивал вдоль хребта на запад, на югозапад.

Барзуд, Дирзуд, Барушан, Дерушан -- вот и все кишлаки советского Рушана, расположенные в спокойной долине, там, где могучая река, разлившись на множество рукавов, образовав травянистые острова, словно отдыхает перед новой схваткой с громадами скал. Уже у Ваамта, готовясь к бою с этими громадами, Пяндж собирает свои рукава в одно русло, словно полководец, собирающий под одно знамя полки. Вокруг нависают утесы. Кишлак расположен среди низвергнутых скал. Легенда гласит: на проходившего здесь Шо-Насыр-и-Хосроу кишлак произвел такое удручающее впечатление, что он назвал его "вамд" ("сумасшедший") и добавил: "бебин бегузор", то-есть: "увидев -- проходи".

Ниже Ваамта Пяндж вдруг под прямым углом поворачивается на северо-запад. Долина стремительно сужается, и в конце ее, размещаясь уже на исполинских глыбах древнего обвала, лепится красивейший кишлак Хидз. Слово "хидз" означает "ключ". Этим кишлаком Рушан заперт как на замок. Вдоль Пянджа к нему не подступишься. За Хидзом -- теснина, узкая, грозная, грандиозная. И не зря Хидз с времен глубочайшей древности был крепостью, -- руины Кала-и-Чуби и доныне громоздятся на отвесных скалах Над кишлаком. Словно свитый в жгут и переломленный, Пяндж, весь в пене, грохочет, низвергаясь между стенами теснины, и слух наполнен стоном могучей, искромсанной острыми скалами царицы рек. До самого Вознаута продолжается хаос скал, нагроможденных древним обвалом. Последний рушанский кишлак Вознаут зажат, как в рачьей клешне, в скалистых слюдяных сланцах с серым гранитом и в гнейсовых толщах. Ниже по Пянджу, до устья Язгу-Овринги на Пянджской тропе в пределах Западного Памира.



(После открытия в 1940 году Западно-Памирского тракта имени Сталина всех этих овринговне существует.)

лема, есть только одна крошечная площадка на скалах, дающая приют летовке Шипад.

Мрачны, темны, страшноваты эти места, похожие на извилистую щель в коре безлюдной, еще не породившей человека планеты.

Здесь и не было прежде никакого пути, ни один путешественник прежде не мог пробраться из Дарваза в Рушан вдоль Пянджа. Шли в обход, поднимаясь на два громадных, нелюдимых хребта -- сначала на Ванчский, чтоб взять ледниковый перевал Гушхон, потом, перебравшись через реку Язгулем, шли на льды перевала Одуди в Язгулемском хребте, о котором Д. В. Наливкин и другие геологи в своем общем отчете в 1932 году писали: "очень высокий скалистый хребет, почти не изученный". Пятью строками ниже, в своем сухом, строго научном труде они восклицали: "Дик, суров и величествен Памир. Ничтожным и затерянным кажется путник на его высотах... "

Через Одуди и Гушхон ходили в Бадахшан все те немногие путешественники,

кто решался выбрать направление не с севера, на Восточный Памир, а с запада, через Восточную Бухару, через Кала-и-Хумб и Ванч. А. Э. Регель, Б. Л. Громбчевский, А. А. Бобринский, Б. А. Федченко, еще два-три имени в конце XIX и в начале XX века -- вот и все исследователи, одолевшие этот труднейший и опасный путь. Пробраться же вдоль Пянджа было еще труднее, почти невозможно. Только местное население сообщалось между собою по опаснейшим овринга м.

Смутные, сбивчивые исторические данные говорят нам, что здесь, в теснинах Пянджа между Хидзом и Ванчем, происходили боевые схватки феодалов и их дружин. Записал и я немало рассказов памирских стариков об этих суровых и неприступных местах. Настоящая же история этих мест еще не написана.

В своем отчете о путешествии 1915 года на Памир, вдоль Пянджа, Д. В. Наливкин пишет о пянджских оврингах:

"... даже собака не может пройти по ним, и ее приходится нести в корзине... в сущности, Дарваз был отрезан от Рушана и Шугнана. Несколько лет тому назад русские военные власти энергично принялись за улучшение путей сообщения и, между прочим, начали прокладывать вьючную дорогу по Пянджу. Работы велись сначала под руководством офицера, но его скоро отозвали, и вся колоссальная работа была проведена простыми солдатами -- туркестанскими саперами. Иногда приходилось рвать пироксилином в отвесной скале на протяжении нескольких десятков сажен. Под начальством саперов работало до 200 таджиков. Не обошлось и без человеческих жертв: вместе с неожиданно оборвавшимся обломком упали в Пяндж один

сапер и несколько таджиков. Все они исчезли бесследно, очевидно на куски разорванные клокочущей рекой. Дорога окончена текущим летом, и я был первым путешественником, проехавшим по ней с вьючным караваном. Саперы сделали ее настолько хорошо, что на всем протяжении можно проехать, не развьючивая вьюков... "

Но Наливкин, кажется, и остался единственным столь удачливым путешественником, что проехал по Пянджской тропе, не снимая вьюков. Обвалы, лавины, камнепады, водопады и половодья вскоре испортили эту тропу. В годы гражданской войны никто ее не ремонтировал. К тридцатым годам она снова стала ужасной. Каждый раз, когда по ней надо было проехать верхом или провести караван, путешественники и местные советские работники прибегали к помощи местных жителей. С хворостом, с берестяными веревками и лозою кустарника, с плитами сланцев жители Хидза, Вознаута, Язгулема и Ванча выходили на разрушенные овринги, как могли чинили их, проносили вьюки на спинах, прижимаясь к отвесным скалам, протаскивали лошадей на арканах -- шерстяных веревках -- над пропастью.

Трижды пришлось мне итти с караваном по оврингам Пянджа. В 1931 году мы потеряли здесь двух лошадей, сорвавшихся в Пяндж. В 1932 году караван, состоявший из шестидесяти двух лошадей, мне удалось провести без потерь. Бывало за двенадцати-тринадцатичасовой дневной поход мы проходили всего три-четыре километра. Развьючивать и завьючивать весь караван, протаскивать каждый вьюк и каждую лошадь по оврингам, непрерывно карабкаясь и повисая над бездной, могли только люди, закаленные многомесячным путешествием. Но и они изнемогали. Это был поистине нечеловеческий труд.

Каждый овринг имел свое название: Чарцак, Медеинрашт, Каллод, Мулла-пар, Андарш-об, Трак, Кунига, Шипад... Последние два овринга перед Язгулемом, Хинхак и Дарх, были, кажется, самыми трудными, доводившими людей до отчаяния. От Хидза до Язгулема в 1932 году мы двигались три дня и здесь, в Мотрауне, вынуждены были дать лошадям суточный отдых. Ниже Язгулема снова начинались овринги: Хейхынг, Уч, Хар, Зор, и, двигаясь с рассвета до темноты, лишь еще за три дня мы добрались до Ванча, где можно было увидеть хоть широкую полосу неба над головой, где ночью небо не казалось узкой, извилистой звездной речкой. Никогда не забуду одной вынужденной ночевки на

овринге, когда, кроме моей лошади, никаких живых существ поблизости не было, а сверху, с километровой высоты, один за другим падали камни.

После передышки на Ванче караван опять двигался по Пянджской тропе, поднимаясь на перевалы и спускаясь к реке, с мучительными усилиями одолевая дарвазские овринги. Я записал однажды в своем дневнике, что эта тропа похожа на вереницу выгнувших спины кошек, -- добавлю сейчас, готовых в бешенстве растерзать любое живое существо.

Усталых после многомесячных странствий людей Памир, казалось, не хотел выпустить на волю, требовал от них напряжения всех нервов, всех физических и душевных сил.

Но горы все же постепенно снижались, их характер медленно изменялся, склоны становились все более пологими, на склонах появлялась курчавая растительность. После устья Ванча земля кишлаков оказывалась все более плодородной, потому что местность была ниже, здесь было значительно теплее. Виноград, гранаты, персики, густая зелень прохладных садов начинали вознаграждать путников за все перенесенные испытания и лишения. Высота тропы над уровнем моря была все меньше: полторы тысячи метров, тысяча триста, тысяча двести... Мы знали, что впереди, за Кала-и-Хумбом, на пути к Сталинабаду остается еще только один большой перевал -- Хобу-рабат, на который уже никому не хотелось подниматься, в снежном буране втаскивать лошадей.

Переночевав в высокогорном кишлаке Сагирдашт, где в тридцатом году мы едва не были -- в самом конце путешествия -- перебиты басмачами, мы в последний раз оглядывались на снежные гребни Памира. И когда мы прощались с ними, все оставшиеся позади трудности и опасности вдруг освещались иным, уже романтическим светом воспоминаний. И всем становилось грустно, что путешествие на Памир кончается. Три с лишним тысячи километров пути по высокогорью верхом и пешком, сделанных за лето и осенью, уже не казались такими трудными. До Сталинабада нужно было ехать по горам еще с неделю, а то и дольше, и на этом пути все постепенно мысленно переключались на ту городскую жизнь, какая предстояла нам в самом ближайшем будущем. Странно было думать, что обедать будем, сидя на стуле, за столом; умываться -- под краном водопровода; спать -- в четырех стенах, под потолком, на постели...

Ни ветра, ни солнца, ни палатки, ни винтовки, ни костра, ни седла, ни лошади, ни дикой памирской собаки, что бежала справа у ног коня или впереди, когда тропа была слишком узкой... Как удивительно, как необычно живут горожане!

Всех этих чувств я уже не мог испытать в 1952 году, когда от Рушана до Кала-и-Хумба промчался в легковом автомобиле по Западно-Памирскому тракту имени Сталина, проведенному

в 1940 году там, где была тропа. Путь от Хидза до Язгулема я проделал за два часа и еще через три часа был в Рохарве, на Ванче, то-есть мы пересекли этот участок не за семь мучительных суток, как прежде, а всего за пять часов! Столь же быстро промчался я и от Ванча до Кала-и-Хумба, который стал многонаселенным районным центром. Ни одного знакомого овринга на тракте не осталось. Только следы старой тропы коегде с трудом я мог разглядеть высоко над собой или далеко внизу. Колеса машины на поворотах узкой дороги проносились в нескольких сантиметрах от края пропасти, борт машины порой нависал над бездной... Но все, все вокруг было иначе: проще, удобнее, совершеннее. Памир теперь уже не был ни загадочной, ни труднодоступной страной. Он стал таким, каким мы, медленно покачиваясь в седлах, хотели его увидеть в наших мечтах. Мечты исполнились!..

Москва, июль 1954 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА. 3
Глава I. МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА ПАМИР
В Геологическом комитете. Год 1930-й 5
Из Ленинграда в Ош 16
Выступление из Оша 23
Наконец в седле..... 28
Маслагат 32
Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ ТКЭ
Первые решения 35
Первый период 39
В московском научном штабе 42
В городах и селениях Средней Азии 45
Последний месяц... 48
В Сталинабаде 50
В Оше 55
Прародитель будущей академии 58
Глава III. БАСМАЧИ
От Оша до Ак-Босоги 61
Тревога... 64
Нападение 68
Первые часы в банде 73
Басмаческий лагерь 81
Коротко о том, что было дальше 83
Освобождение 85
Снова в путь 91

Глава IV. В АЛАЙСКОЙ ДОЛИНЕ
Через перевал Талдык в Сарыташ 94
Переход по Алайской долине 97
Немного географии 99
О древнем ледяном панцыре 101
Исследователи Алая 104
Первая техника на Алае 106
Альпинисты и геологи в Бордобе 108
Мир становится шире 115
Что я думал о будущем? 117
Глава V. НА ВОСТОЧНОМ ПАМИРЕ
От Алая до озера Каракуль 119
У озера Каракуль 123
Долина Муз-кол и перевал Ак-Байгал 129
Мургаб (Пост Памирский) 132
Утро в лагере.. 136
Забота о лошадях 139
Уход Турды-Ахуна 141
Глава VI. АЛИЧУР И МАРШРУТЫ ОТ АЛИЧУРА
Вид с перевала Баш-Гумбез 149
Особенности Аличурской долины 151
Картина, нарисованная Н. Л. Корженевским 154
Аличур в тридцатом году 156
Маршрут к Зор-Кулю 158

В юрте у озера Сасык-Куль . 167
Поликарп Мешков выступает в роли судьи 173
Палатка в урочище Бузула 180
Глава VII ПО КРАЯМ ГРАНИТНОЙ ИНТРУЗИИ
Через все преграды 186
Перемена маршрута 194
В верховьях неисследованной реки 203
О контурах гранитов и человека 210
Глава VIII, ЗА СИНИМ ПАМИРСКИМ КАМНЕМ
Истина и легенды о ляджуаре 221
По Шах-Даре и Бадом-Даре 229
Месторождение найдено 238
В следующие годы 248

Глава IX. ПИК МАЯКОВСКОГО
Что такое пик Маяковского? 257
Первая попытка найти перевал .. 258
Вторая попытка. Над истоками Ляджуар-Дары.... 260
Возвращение в кишлак Бадом 266
Разведочный маршрут к истокам Биджуар-Дары... 267
Отступление к Шах-Даре 269
Третья попытка найти перевал. Вверх по Тусиян-Даре. 272
Перевал найден! 275
У источника Гарм-Чашма 278
К истокам реки Гарм-Чашма 279
Через ледник перевала Шитхарв 281
К истокам реки Вяз-Дара 284
Пик Маяковского 288
Спуск к Истыдойдж-айляку 291
Белого пятна больше нет 294
Глава X. В СТОЛИЦЕ ГОРНОГО БАДАХШАНА
По воздушной трассе 296
Вглядываясь в лицо .. 300
Первый вечер 303
На экзамене 305
По главной улице 309
Впечатления прохожего... 313
В правлении колхоза имени Сталина 315
В маленьком зале 320
Памирский ботанический сад 322
Старый знакомый 328
Глава XI. ПО ПУТИ МАРКО ПОЛО
Свидетельства венецианца 333
В Горане и Ишкашиме 336
Крепости сиахпушей-огнепоклонников..... 340
Под ледниками Гиндукуша 346
Глава XII. БАРТАНГ
Что такое Бартанг? 353
Кто изучал Бартанг? 355
Ночь с Иор-Мастоном.... 362
Бартангские овринги ... 369
На плавательном снаряде 377
Си-Пондж 383
Вопреки бездорожью 391
Молодость 400
Об одном постановлении 406

Глава XIII. СТИХИЯ ГОР
Сарез до 1911 года..... 407
Усойский завал. 410
Советские исследования на Сарезском озере 414
Группа гидроэнергетика Караулова 415
Научная станция "Сарез" 418
Обузданный Гунт 420
О культуре рек 422
Краткосрочное озеро 424
Глава XIV. СКВОЗЬ ЛЕДЯНУЮ ЗАВЕСУ
Ванч. 431
Первый в средних широтах мира 433
В Ванване и Пой-Мазаре 439
О хорошем, настоящем исследователе 442
По леднику Географического общества 449
На ледник Федченко через Кашал-аяк 453
Глава XV. ВЫСОЧАЙШАЯ В МИРЕ
2МПГ 458
Смелое решение 460
Необыкновенное строительство.. 464
Дом на нелюдимых высотах 469
Зимовщики 473
Глава XVI. ТРОПА ПО ПЯНДЖУ
В Шугнане 477
В Рушане 487
В теснинах Пянджа 492

Лукницкий Павел Николаевич

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ПАМИРУ

Редактор О. *Мамаева*
Оформление *Н. Печниковой*
Цветные иллюстрации *Н. Котова*
Картограф *В. Нестеров* На переплете -- фото Г. *Юдина*, 1930 г.:
верховье реки Ляджуар-Дара.
Технический редактор *Л. Назаръянц*
Корректор *Б. Шагалова*
*
А00377 Подп. к печ. 16/IV 1955 г.
Бум. 60x92[1]/16=15, 75 бум. л. =31, 5 печ. л.
+27 вклеек 30, 5 уч. --изд. л. Тираж 90 000 экз.
Заказ 2189 Цена 14 р. 35 к.
Типография "Красное знамя" изд-ва "Молодая гвардия". Москва, А-55, Сущевская, 21.